

ПРАВДА В НАШЕЙ СИЛЕ

Я ФАШИСТ И МНЕ ПОВЕЗЛО

У НАС ДЕМОКРАТИЯ

С чего начинается война?

ПОСТОРОЖИШЬ

Массовые расстрелы спасут

А Польша нас обстреляла!

ХОТИТЕ КАК В ЕВРОПЕ?

Зачем нам такой мир?

Единая Империя

МОЕГО

СТОРОЖА?

КРАСАВИЦА ДОЛЖНА ТЕРПЕТЬ

ЛЮБИМЫЕ ПОДСВИНКИ

ВЕНА - НАША!  
музыка и пролетариат

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЙНА

дефицит народного  
единства

СПАСАЙ СВОИХ!



ДАЯНА Р. ШЕЛАН

18+

**Даяна Р. Шеман**  
**Посторожишь моего сторожа?**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=70403401](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70403401)  
SelfPub; 2024*

**Аннотация**

Русские эмигрантки, Мария и Катерина, пытаются выжить в Европе начала 20 века. Мировые войны, голод и бесконечные переезды – им придется пережить это, чтобы понять важность семьи, любви и родины.

# Даяна Р. Шеман

## Посторожишь моего сторожа?

*Моему любимому «врагу» – С.Ф. (24 февраля 2022 г. – 5 сентября 2022 г.)*

*«И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александра и Руфова, идущего с поля, нести крест Его» (Мк. 15:21).*

– Тебе, конечно, кажется, что я поступил жестоко. Но это не так... Дело в том, что я тебя совершенно невозможно люблю. Вот.

В странном отупении он смотрел на его золотисто-каштановый нимб. Апель ерзал напротив него, почесывал затылок и сжался в плечах, как в страхе, что ему сейчас треснут.

– А-а-а... – Он пытался ответить. – Эм-м-м... А!

Апель опустил боязливо глаза.

– Конечно, я не желал вам плохого, это произошло как-то само, я и подумать ничего не успел и... Я, конечно, не хотел потерять тебя – вот и все.

Объяснение, начавшееся с разочарования и злобы, приобретало иные оттенки, более страшные и опасные для обо-

их. Немыслимо: Аппель признается в любви, причем столь недву­смысленно, что разыграть непонимание уже не полу­чится.

– В конце концов, – начал Аппель опять, чтобы усилить впечатление от прежнего, – я не сказал ни слова неправды. Разве не так, Берти?

Нужно было срочно ответить, и он промямлил первое, что пришло в голову:

– О-о-о... я тебя тоже люблю. – И он неестественно рас­смеялся. – Мы столько дружим... с тобой.

– Ты меня любишь?

– Разумеется.

Аппель больно закусил губы.

Снова он рассмеялся, чувствуя, как ранит это его старо­го друга, который из друга внезапно превратился в опасного человека напротив. Но смех этот был оружием против ужа­са, сузившего горло, мозг, все его внутренности.

– Конечно... – растягивая, как резинку, повторил за ним Аппель. – Ты меня любишь. Я не сомневался.

– Мы все тебя любим.

Тот кашлянул.

– Все – это кто?

– Мария, и Дитер, и Кете, мы все.

– Конечно... Не сомневаюсь.

Аппель встал, но затем сел – без приглашения вошла чер­но-белая горничная. На жестяном подносе стучали фарфо-

ровые чашки; руки были обнажены, в красных пятнах.

– Кто разрешил вам войти? – спросил Аппель.

Она испугалась и отступила.

– Простите...

– Я вас не слышу.

– Мадемуазель Катерина мне приказала...

– Мадемуазель Катерина вам может приказывать?

Чашки застучали сильнее. Он встал и забрал у нее поднос.

– Я, честное слово, я...

– Ничего. Все хорошо.

– Простите, пожалуйста... не говорите моей госпоже. Мадемуазель Катерина сказала, чтобы я не стучалась, что вы разозлитесь, если я постучусь.

– Все хорошо. Закройте.

Дверь она захлопнула ногой, потому что руки не слушались; шаги затарабанили – она убежала.

Аппель отказался от протянутой чашки – в чае болтались два кубика сахара.

– Это же твоя чашка.

– Нет, в моей три. Достань их ложкой – и все.

– Они частично растворились. И после этого ты говоришь, что Катерина хорошо ко мне относится? Относясь ко мне хорошо, она забыла, что я не употребляю сахар, ни грамма?

– Возможно, она позабыла. Я и сам бываю забывчив.

– О, конечно. – Аппель понизил голос. – Конечно, она забыла. Хотя мы только вчера говорили о сахаре, и что есть

его нельзя, и что ты раньше умрешь, потому что три кубика в чашке – это кокаин!

Он тихо вздохнул. Истеричность Аппеля вкручивалась в его виски с болезненной пульсацией. Не думать о Кете, не думать, что... Аппель несколько раз фыркнул, изображая, что у него насморк от недельной болезни, откашлялся, покрутил ботинком у ножки стола, а после сказал, что Мария хотела его рисовать, и что он думает отправиться к ней – в кои-то веки у него есть настроение.

– И кем же она хочет тебя нарисовать?

– Полагаю, королем баварским. У нее был шаблон.

– Скажи ей, что Софи приезжает в шесть. Петер звонил и просил, чтобы мы позаботились.

– А она что, не знает?

– Нет, это я говорил с ним.

– Скажу, хорошо.

Аппель потоптался, потрогал косяк и заметил, что ремонт, конечно, получился хороший. Он не ответил. Нос шмыгал не переставая. Аппель вышел спиной вперед и случайно стукнулся о полосатую стену. И, как горничная, ногой толкнул дверь.

У калитки была воткнута лопата с тонким черенком (диаметром в 3 см) – ею пользовалась только хозяйка. Она самостоятельно занималась садом. Аппель постоял, рассматривая белесый черенок. С востока, с ветром, тянуло запа-

хом свежей травы, и пыли, и засохшей глины, и, быть может, почерневших стен синагоги с противоположной стороны реки. Аппель послушал, как стучит в оконных рамах, а решившись, схватился за черенок и, как вор, побежал с места преступления. Лопату он держал у левого колена, грязный наконечник стучал о его голень.

Он отошел от дома, свернул на полосатую бежево-красную дорожку – там, в окончании полосы в 327 шагов, на высоком парчовом стуле пребывала Мария. Аппель шел близ зелени, испытывая к ней протiwоестественную ненависть. Спроси его, чем виновата трава, – и он бы ответил, что траве не следовало появляться на свет, она грязная и вонючая, и животные, которые ее употребляют, тоже грязные и вонючие. Со злым удовольствием Аппель пустился в размышления, каким бы хорошим был мир, не останься в нем коров, коз, лошадей (и кто там, помимо них, питается травой?). Не то чтобы ему не нравились животные, просто сегодня они его раздражали за их спокойное и не хищное существование. Так Аппель не заметил, как прошел 127 шагов. В упоении ненавистью он размахивал лопатой, как самурайским мечом. Зеленые пятна слева и справа скрипели от его японских ударов.

– Что это вы делаете?

Он выронил лопату и застыл как виновный.

– А, это вы...

– Вы что, за мной шли? – язвительно перебила она.

Ненависть, испытываемая им к коровам, козам и прочей благостной живности, переключилась на явившуюся ему нынче знакомую. Катерина уверенно приблизилась и подняла с земли лопату старшей сестры.

– Марии бы не понравилось, что вы украли ее штуку.

– Я... конечно, я ее не крал!

– А что же вы сделали?

– Я взял ее на время! Конечно, это слишком ясно. Не нужно быть гением, чтобы это понять.

Она кашлянула и улыбнулась. В это мгновение Аппелю хотелось убить ее. Она была намного ниже, каких-то 165 см (он умел высчитывать, это много раз спасало его). В сравнении с ней он был почти великаном – 197 см (и свое тело он знал в сантиметрах). Он кашлянул тоже – было бы немного некрасиво убивать ее сейчас, озаботившись тем, насколько она меньше и насколько тонки ее кости и слабы мышцы. Это не говоря о том, что он гостит у ее старшей сестры и неэтично...

– Как прошло ваше чаепитие с Альбертом?

– А, чаепитие. Конечно. Вы были невероятно милы, послали нам чай.

– О, вам понравилось? – Она счастливо заулыбалась. – Я очень старалась, мне так хотелось, чтобы вы оценили мою заботу.

– Только вы мало сахара мне положили...

– О, а я не сказала горничной, чтобы она взяла с собой

еще? Мне показалось, я положила достаточно, но... сахарница лишней не бывает.

В глухой ненависти он молчал. Тишина этого места усиливала его впечатление – насколько эта женщина желает ему смерти, и как он хочет убить ее, разорвать ее рот (6 см и 6 мм), оторвать нос (ровно 5 см) и выбить глаза (левый – 4 см и 1 мм, правый – 4 см и 2 мм). Губами (ширина – 1 см и 5 мм) она улыбалась, как не зная о его мыслях, а в действительности зная и опасаясь.

Она отступила на шаг, встала боком к нему, а руки свела за спиной. Лопата была серьезным оружием.

– Вы хотите навестить мою сестру?

Волосы (22 см и около того – от корней) опустились на ее щеки – тонкие каштановые прядки в золотистой копне.

– Конечно. А что?

– Вы от нее что-то хотели?

– Ничего. Хотя нет, я должен сказать, что чета Кроль приезжает.

– Можете ей кое-что передать от меня?

Выражение ее изменилось.

– Вы можете пойти со мной. Скажете ей сами. Осталось ровно 200 шагов. В вашем случае 203.

– Скажите Марии: мне жаль, что я испортила ей праздник. Испортила вам всем.

Она мило, как ребенок, поковыряла ногой землю, а затем, не простившись, пошла по дорожке к мосту. Лопата слегка

испачкала ее спину.

Аппелю нужно было пройти 200 (нет, 199!) шагов, и 164 из них он злился на Катерину и мечтал, чтобы она убилась – внезапно, таинственно и навечно. Она, конечно, знала о нем, и об Альберте она знала, и этого было достаточно, чтобы мечтать.

Мария взглянула на него – голова ее склонилась к плечу, и смотрела она сурово.

– Пришли!.. Нечем заняться? Хотите, чтобы я вас рисовала?

– Так, гуляю немного.

Близ деревянной штуки (Аппель не помнил, как она называлась) стояли два низких стула. На первом, аккуратно расправив юбку, восседала Мария (172 см роста). На второй кое-как присел Аппель; ноги его были велики, и он уперся каблуками в зелень (6 см длины, не более). Обрыв, что растянулся в 7 шагах от Марии, а от него шагах в 9, был очень красив и страшен. Аппель боялся высоты, потому что не мог ее высчитать, а все, что не поддавалось измерению, вызывало у него нечто схожее с паникой. Чтобы стало спокойнее, он спросил у Марии:

– Как считаете, какая тут глубина?

– Вы хотели сказать, высота? – заморгала Мария. – А, кажется, мне говорили в поселке, что больше ста метров. Или больше двухсот? Это говорила Эстер. У нее проблемы с па-

мятью. Порой она несет такую чушь! Например, она недавно меня убеждала, что Землю можно обойти пешком меньше, чем за год. Я рассмеялась и спросила: «А как же океаны? Их вы тоже собираетесь пересечь пешком?». А на это Эстер ответила...

Далее пошел рассказ о том, как Эстер (кто такая Эстер?) якобы побывала в Италии и рассмотрела там на главном балконе... впрочем, Аппель прослушал, что Эстер, кем бы она ни была, рассмотрела на этом главном балконе. Ноги у него уже затекли. Он старался не смотреть в широкое – поскольку земля обрывалась – бессистемно раскрашенное и белым, и сизым, и голубым небо. Вместо этого он уставился в картину Марии. Та рисовала тонкими кистями ало-сине-зеленое что-то.

– Я встретил вашу сестру, – перебил он Марию на полуслове.

Мария неприятно собрала губы и критично сузила глаза на необычное полотно.

– Как вам нравится, что я рисую? Я вот-вот закончу, и мы с вами приступим к вашему образу.

– Конечно, мне сложно сказать...

– Говорите конкретно. Есть у меня потенциал?

– Зависит от того, чего вы хотите добиться.

Уклончивость его Марии не нравилась. Должно быть, она спрашивала себя, зачем он пришел. Не за тем же, действительно, что хочет получить от нее свой портрет?

– Но я с удовольствием посмотрю, как вы будете меня рисовать. Конечно, я готов позировать, сколько потребуется.

– Вот как, – проговорила она, – уверена, вам станет скучно уже через двадцать минут.

– О, тут есть, чем заняться, не переживайте.

Мария наклонилась, чтобы сполоснуть кисть от алой краски. Темные волосы, сброшенные на плечи (46 см?), кончиками слегка коснулись травы. Краска окрасила мисочку в некрасивый рыжевато-бежевый цвет. Аппель встал.

– Сожалею, но я не подумала, что вам нужен другой стул. Я оставляю это место для горничной. Она намного ниже вас.

– Конечно, ничего страшного. – он нелюбезно потер колени. – Кстати, ваша сестра просила сказать вам, что любит вас. А, нет, извините, она хотела извиниться, что испортила вам праздник.

– А, это, – Мария уверенно крутила кисть в зеленой баночке, – она считает, что испортила мне... Боже мой, какой она все еще ребенок!

– Вы поругались? Извините мое любопытство.

– Нет. Мы не ссорились ни разу в жизни. Понятия не имею, с чего она решила, что испортила мне что-то. Я ни разу в жизни на нее не обижалась. Ссора – это если обижаются оба.

Она улыбнулась его страху. Аппель хотел и боялся приблизиться к краю.

– Вы так боитесь высоты?

– Нет... конечно, есть риск упасть.

– Вовсе нет. Я стояла на краю множество раз.

– Сколько?

– Хм, не меньше 27, мне кажется. – Она иронично рас-  
смеялась. – Как можете заметить, я по-прежнему жива.

– Вам нравится смотреть вниз? Почему?

– Возможно, меня привлекает близость смерти?..

На иронию ее Аппель улыбнулся. Он не понимал, что чув-  
ствовать к этой молодой женщине, что невинно, случайны-  
ми изменениями в лице, играет с ним. Отчасти она была  
ему приятна (уже потому, что не была Катериной). Вместе с  
тем Мария втайне вызывала у него странное беспокойство,  
природу которого он был не в силах объяснить себе самому.  
Нерешительно он отвернулся от нее и опустил глаза в землю  
– там трава напозла на камень.

– Катерина показалась мне немного обиженной... – начал  
он осторожно. – Немного... скажем так, не на своем месте.

– А, это. – Голос Марии за его спиной был спокойным. –  
Ей нужно привыкнуть. Она же пережила столько несчастий!

– Вы собираетесь поселить ее у себя?

– Нет, естественно, она хорошо чувствует себя с Альбер-  
том. Но город отвратителен в теплое время. Не понимаю, по-  
чему у нас так пыльно. Помню, в моем детстве легче было  
дышать. Возможно, дело в некачественных автомобилях? Их  
развелось невероятное количество! Ужасные машины, кото-  
рые сделаны из ужасных материалов, наверняка на произ-

водстве не соблюдаются правила безопасности. Вы скажете: в нашей стране все делается в наилучшем виде! Но я уверяю вас, у нас тоже умеют делать дешево и отвратительно. Уверена, станет хуже, скоро придут французы, и они ничего не умеют. Моя нынешняя горничная работает у меня только потому, что мне нужно улучшать французский. Но прежнюю я рассчитала, потому что за один месяц она умудрилась разбить сахарницу и потерять вилку. Я не понимаю, как она заработала неплохую рекомендацию?

– Значит, Катерина хорошо живет с Альбертом?

Аппель чувствовал: Мария только изображает, что рисует, но более занята рассматриванием его спины. Закрыв глаза, он закончил 4 шага (он правильно посчитал!). В 12 см и 6 мм от левой ноги была пропасть.

– Осторожнее! У вас не закружится голова?..

– Вы правы, что хотите остаться: тут замечательно.

– У вас закрыты глаза?

– Нет. Я смотрю в небо...

– О, я в восторге! Вы смогли справиться со страхом!

– Конечно, мне очень жаль, что с вашей сестрой случилось...

– Вы все же пришли говорить о Кате, – с озабоченным смешком перебила она. – Скажите честно: что вам от нее нужно?

– Меня беспокоит ее состояние. Вы знаете, какие хорошие отношения у меня... с Альбертом. И его состояние за-

висит от состояния вашей сестры. Мне жаль это констатировать, конечно... Поэтому мой интерес связан с заботой о моем ближайшем друге.

Мария усмехнулась – он хорошо слышал.

– Боюсь, не нам решать, как Альберту жить с ней. На месте Альберта я показала бы Катю хорошему врачу, но он считает, что...

– Но вы ее сестра, вы имеете право решать... вместо него.

Он слушал, как ловко кисть ее скользит вниз и вверх, вниз и вверх, оставляя тонкие полосы. Правая нога (ровно 13 см от края) слегка дрожала – от колена к голени.

– Мсье Аппель! Мсье Аппель!

По траве бежала женщина. В недоумении, что зовут именно его, он повернулся. На мгновение показалось, что он потеряет равновесие и свалится вниз, но Аппель успел развести руки в стороны и остался на ногах. Мария застыла в ужасе с грязной кистью у плеча. Черно-белая горничная добежала до них и теперь встала, тяжело дыша и протягивая Аппелю листок и ручку.

– Я говорила вам быть осторожнее!.. Боже мой! Зачем нужно бороться со страхом, если это может стоить жизни?

Он не слушал ворчание Марии. Знакомый черный герб на бумаге заслонял собой все.

– Вы, конечно, уверены, что это мне?

– Простите, мсье Аппель.

Он отступил от пропасти на 58 см. Его немного трясло.

Горничная боялась пошевелить протянутой рукой.

– Вы должны расписаться... что вы получили. Это обязательно, мсье Аппель.

После колебания он забрал у нее листок и, приложив его к запястью, расписался у головы имперского орла (12 см). Ниже было написано: «"Единая Империя" поздравляет вас с успешным призывом».

– Что это?

Голос у нее внезапно сел. Ей захотелось прочистить горло, но было как-то неловко. Апрель сгорбился, уменьшился разом, легкая неуверенность сменилась откровенным страхом. Показалось, что сейчас он потеряет сознание. Но Аппель сглотнул – она заметила, как шевельнулось у него в горле – и медленно убрал письмо в карман. Лицо его было румяно от ветра, а руки – вот они, эти руки, неестественно побелели.

– Конечно, ничего серьезного... – И Аппель заулыбался. Зубы его – она тоже заметила – были слишком белы. Неужели и зубам его было страшно?

– Значит, вас призывают...

Он опустил глаза и повторно сглотнул.

– Это фронт? Прямо на фронт?

– Я не знаю, конечно... Наверное, фронт. В любом случае, это не штаб.

– Вы... столько лет работали на партию... Неужели

«Empire Today» за вас не заступится?

– О, я всю жизнь писал ужасные статьи, вы, конечно же, правы. Но... это мой шанс!

Боже, отчего мужчины не замечают, как нелепы они в попытках скрыть свои чувства?

Несколько раз – с перерывом – он улыбался, а после, поняв, что ее не обманешь, уставился в небо. Она давила в себе желание закричать: «Мне жаль, мне очень жаль, очень-очень, так жаль!». Но ей было неловко.

– Война – это...

– Что? – спросила она.

– Война – это страшно, конечно, – со странным оптимизмом заговорил Аппель. – Но должен же кто-то воевать... наш великий путь... нужно уметь собой жертвовать! Как вы считаете?

– Я, право, не знаю.

– У вас нет своего мнения?

– Я только женщина, – с усмешкой ответила она и взялась за ближайшую кисть. – А вы хотите, чтобы я высказывалась о политике и войне?

Аппель открыл рот, чтобы ей возразить – что за потребность у мужчин вечно спорить? – но тут слева пронзительно завизжали. Было похоже, что некто женского пола наткнулся в кустах на змею. Впрочем, поблизости змей не было, Мария не встречала тут ни одной. И все же она встала – пришлось отодвинуть картину – и зашагала в сторону протяжного виз-

га. Но тот, кто кричал в ужасе, уже замолчал. Мария в нерешительности остановилась.

– Наверное, это маньяк, – весело сказал Аппель. Ему было приятно, что не он один нынче страдает.

– Не мелите чушь. Тут маньяки не водятся.

– Откуда вам знать?

– Оттуда, что я тут живу, – категорично сказала Мария, – поэтому мне лучше знать, водятся тут маньяки или нет.

– А, конечно, тогда это вражеский диверсант. Сейчас он будет прятаться, а ночью придет к нам и убьет нас во сне.

– Перестанете вы болтать чушь или нет?..

Заплакала женщина. Она бежала, спотыкаясь от слез и постанывая от боли в ногах. Мгновением позже из-за поворота показалась знакомая горничная – она неслась, путаясь в длинной юбке и распустив волосы, как пиратский флаг.

– Мадам Мария! Мадам Мария! Там, там...

Мария стояла, выпрямившись в недоумении. Горничная не приблизилась к ней, а встала в десяти метрах, как в страхе, что ее могут ударить.

– В чем дело?

– Мадемуазель Катерина бросилась с моста!

Она, казалось, не расслышала. В ней ничего не изменилось. Лишь полминуты спустя – в молчании – она интенсивно заморгала глазами. Пасмурный свет – отчего стало пасмурно? – ослеплял ее.

– Я... что-то я... – Она прикоснулась ко лбу.

– Мадам Мария! Пожалуйста! Честное слово, я ничего не могла, я не успела...

– Вы уверены? – резко перебил ее Аппель. – С чего вы это взяли?

– Простите, мсье Аппель. Клянусь, я не успела помочь. Я не успела, я бы очень хотела... Умоляю, простите!

И горничная отвратительно зарыдала. Марии захотелось на нее закричать. Вой, со слезами, со слюной изо рта, действовал ей на нервы сильнее сирены воздушной тревоги. Она, должно быть, попыталась воскликнуть: «Хватит плакать! Я ненавижу ваш голос!» – но ее уже уносило – налево, направо, налево, и вниз, вниз, в бесконечный низ, который бесконечный, потому что низ и...

Человек больно хлопнул ее по губам. Она от боли закашлялась.

– Просыпайтесь, эй! Не время спать!

Отчего мужчины настолько...

– Вставайте, вставайте! Хватит орать! Ты хочешь, чтобы я тебе залепил, что ли?

Женщина захлебнулась воем и замолчала.

– Так, так – суетливо приговаривал Аппель. – Сейчас... Ты успокоилась? Рассказывай, что там стряслось!

– Это все... мне снится... Нет, нет, это чушь! Все хорошо...

– Не спите! Не спите!

Она склонилась к дрожащему плечу Аппеля. Оба были в

траве. Рукой она могла достать пустоту. Низ, из которого ее достал Аппель, свистел и пронзительно каркал.

– Я, я... – Опять этот отвратительный голос! – Я... шла. Клянусь вам, я просто шла. Я решила пройти мимо моста. Не знаю, мне захотелось пройти мимо... этого моста... я не знаю, клянусь вам! И... там... стояла мадемуазель, госпожа... она стояла и я ничего, ничего не заметила. Она просто стояла... Я почти прошла мимо. И... я... шла и потом посмотрела направо. На мост. Я... Я заметила, что она шевельнулась. И я поворачиваюсь, и я... я вижу, как она наклоняется, а потом как-то... слишком низко наклоняется. А потом ее нет! Я, я... я сначала подумала, что мне показалось. Но я не могла... я не стала приближаться. Но она стояла там, я клянусь вам! А потом она исчезла! Она перегнулась... клянусь вам, я не знаю...

– Как она выглядела? – перебил ее Аппель.

– Я, я, я... не знаю...

– Да как ты можешь не знать, если она была перед тобой?

– Я... клянусь вам, я не знаю, не помню! Умоляю, простите...

– Перестань выть! Так, так...

У Аппеля были сильные руки – он легко поставил ее на ноги. Ее сильно тошнило, голова кружилась, пришлось схватиться рукой за мольберт, чтобы устоять. Мысли не слушались. В глазах была пустота.

– Так, Мария, без паники! Конечно, это ошибка. Эта су-

масшедшая, ты посмотри! Мы во всем разберемся. Отведи ее в дом! Хорошо? Вы можете идти?

– Я никуда... не пойду, – прошептала она.

– Конечно, пойдете. Скоро обед. Скоро приезжает Софи. Забыл вам сказать. Уверен, с Катериной все хорошо. Я схожу на мост и посмотрю. Может быть, она потеряла сознание и лежит на мосту. Ты не пошла по мосту?

– Простите меня, я была...

– Вот, она не смотрела на мосту! Это ее безумные фантазии! А если вашей сестре нужна помощь, я, конечно... Мария? Мария?... Женщины! Почему с вами сложно?

– Обнимите... меня.

Он скромно откашлялся и, поняв, что лучше не отказываться, приобнял ее за плечи и похлопал по спине. Впервые Аппель обнимался с живой куклой.

Готический мост – сизый, с вкраплениями темно-синего и бежевого. Аппель слышал, что сделан он был из песчаника. Скалы были притягательны и страшны и в этом месте намного страшнее пропасти – Аппель помнил, что высота тут составляет 40 метров (или же это высота моста?). Но сам мост, несмотря на мрачность, страха не вызывал – только 76 с половиной метров в длину. Он не ошибался и в подсчете пролетов – тут появлялось магическое число 7, которое Аппелю с детства нравилось. Скалы же по бокам были неизмеримы. Возможно, они тоже имели цифру 7 (70 метров? 700?), но

Аппель переживал, что не может узнать точно.

Вблизи было ветрено и зелено. От смотровой площадки шла девушка в военной униформе, но в пушистой штатской шляпе. Старый мост был слишком узок, а его балюстрады слишком низкими. Ступив на мост, Аппель вспомнил, что ошибся: конечно же, высота моста составляет 40 метров, но глубина, глубина ущелья – это целых 194 метра! Но, вспомнив, он опять успокоился: так ли важно, 40 тут метров или 194, если он знает, что именно 194, а не 40 и не 15?!

Пушистая шляпа поравнялась с ним и качнулась.

– Извините...

Она с готовностью остановилась.

– Вы тут девушку не заметили?

Шляпка взлетела выше.

– Девушку? Какую девушку?

– Да самую обычную. Рыжеватые волосы. Обычное платье... а, у нее могла быть лопата.

– Лопата?..

На военной форме зашевелились погоны.

– Кажется, я заметила какую-то лопату. Вон там! – Рукав показал дальше. – Такая, с тонкой рукояткой. Кто-то прислонил ее и ушел.

– Но вы никого не заметили?

– Нет, теперь будний день и почти никого нет.

Он обошел ее. Заинтересованная шляпка обиженно опустилась.

– А вы не военный?

– Что? Нет.

– Значит, служите в тайной полиции?

– Нет.

– Значит, в партии?

– Простите, барышня, у меня нет времени!

Разозлившаяся шляпка ускорилась. Аппель сделал 16 шагов и заметил то, о чем она говорила: знакомая лопата, несомненно собственность Марии, лежала по его левую руку; скорее всего, Катерина ее прислонила, но ветер опрокинул ее. Аппель взял лопату и повертел, словно рассчитывая найти на ней следы преступления. Однако лопата несколько не изменилась с тех пор, как Катерина ее отобрала у него. Аппель попробовал посмотреть вниз (всего лишь 194 м), но пропасть была широка и все же глубока, и у него мгновенно закололо в висках от ужаса. Высматривать тело в пропасти было занятием бессмысленным. От непонимания, что делать дальше, Аппель впал в растерянность. Можно было пойти к Марии и показать ей лопату – доказательство, что Катерина действительно была на мосту. Но лопата не доказывала ни то, что Катерина мертва, ни то, что она жива. Не может же он сказать Марии, что ее сестру постигла судьба кота Шредингера.

Аппель снова посмотрел вниз. Там ничего не было, кроме скал, деревьев, реки и прочей бессмысленной чепухи. Он начинал злиться. Он припомнил, что Катерина нынче присла-

ла ему чай с сахаром, что она знает (знала?) о его чувствах и сама питает (питала?) схожее чувство, то есть является (являлась?) его конкуренткой. От наступившей злости – на себя или на нее – он размахнулся и бросил лопату то ли в скалы, то ли в деревья, то ли в реку. Лопата красиво просвистела и растворилась в бесконечности, вернее, в 194 метрах. Наклонившись слегка, Аппель нашел, что ничего не изменилось – ни лопаты, ни тела, лишь бесполезная, как бы эффективнее сказала Мария, чушь. Небо было пасмурно и ветрено. Аппель с минуту потоптался в полном бессилии, а после пошел обратно. По мосту уже шли туристки в кривых партийных пилотках.

Мария встала и поправила рукава платья. Кожа на запястьях и шее болезненно покраснела.

– Вы нашли Катю?

– Нет... но я нашел лопату.

Она нахмурилась, слушая его описание.

– Вы описываете лопату из моего сада. Какое она имеет значение?

– Она была у Катерины, – перебил Аппель, – когда я видел ее в последний раз. Я нашел ее на мосту. Наверное, она оставила ее... Конечно, это ничего не значит.

Мария возвратилась в кресло. Теперь Аппель заметил на подлокотнике белый конверт (30 на 20 см). Нерешительно он спросил:

– Это, конечно же, мне?

– Что?.. – рассеянно сказала Мария. – Нет... нет. С чего бы это письмо было вам?

– Ох, конечно. Мне показалось, там дополнительные указания по моей отправке на фронт.

– Ну разумеется, все нынче касается вас.

Но резким жестом она протянула ему конверт.

– Прочитайте вслух, что там.

– Так что это?

– Я нашла в комнате Кати. Я... зашла в ее спальню. Все хорошо. Я хочу сказать, в комнате все хорошо, ничего не поменялось, все на месте... Письмо, конверт лежал на кровати. На... на наволочке, вернее сказать... на подушке.

Он стоял, не зная, можно ли сесть, новая мрачность хозяйки сковывала его. После, сглотнув, он заглянул в конверт. Письмо было сложено трижды (30 на 60 см.), машинально Аппель посчитал, сколько строк можно поместить на таком клочке бумаги. Лист был белым, без линий. Он прочитал:

– «В моей смерти никто не виноват. Пожалуйста, не пытайтесь понять, зачем я решила умереть. Я сделала это добровольно. Не нужно искать мое тело. Я не хочу быть похороненной. Мне очень жаль, я не смогу прожить без любви. Это уничтожает меня. Лучше умереть, чем жить так». Взгляните, это ее почерк?

Она отвернулась, чтобы не смотреть на листок.

– Нет, не ее.

– Но вы же, конечно, не посмотрели!

– Это полная чушь! – закричала Мария и стремительно вскочила с места. – Она не могла это написать! Это сентиментальный вздор, бредни четырнадцатилетней девчонки!

– Но это она написала?

Как ни пыталась она отворачиваться, Аппель сунул письмо ей под нос. Она недовольно зафыркала, но опустила глаза и кивнула.

– Это... все... – Голос ее сжимался, и она не говорила уже, а хрипела.

С минуту оба молчали. Мария глядела на пышные белые розы в серебряной вазе. Казалось, мыслями она витала в ином измерении. Аппель в оцепенении ждал ее реакции. Затем, как бы вспомнив, что хотела сделать, Мария медленно подошла к букету, вынула его из вазы и, шаркая, поплелась в курительную комнату (она, конечно, шла в курительную, не в столовую), и Аппель сообразил, что обязан ее остановить. Мария оказалась на удивление резвой и сильной. Она оттолкнула его руки и побежала, Аппель едва поспевал за ней. Мария влетела в курительную и, опять оттолкнув нагнавшего ее Аппеля, обрушила розы (38 штук) на ошеломленного Альберта, который ранее мирно читал книгу на диване. Тот ничего не понимал и оттого не мог сопротивляться. Бессвязно Мария кричала иностранные ругательства и била по ногам, рукам, по любому месту, которое казалось ей уязвимым.

– Вы с ума сошли! – завопил Аппель и сильно толкнул ее.

Мария врезалась в стену и рассыпала по полу мятые розы. Аппель настороженно ждал нового нападения, но Мария отвернулась и сжалась, словно это ей угрожала смертельная опасность. Наверное, она плакала.

– Что, что с тобой? – заикаясь, спросил ее Альберт.

Он, сильно потрепанный, совладал со страхом.

– Конечно, это какое-то недоразумение, – кашляя, сказал Аппель. – Пожалуйста, пожалуйста, успокойтесь... успокойтесь!

– Что произошло?

– Успокойтесь! Ничего не произошло, Берти!

– Как это – ничего?!

Мария ударилась лбом об стену. Мужчины оглянулись на то, но не решились вмешаться – со спины она казалась немного безумной.

– Что произошло?... Хоть кто-то скажет мне или нет?!

– Какая чушь! – громко сказала Мария. – Какая это невыносимая чушь! Чушь! Чушь! Этого не может быть! Все чушь, все!

В курительную принесло ранний запах дождя. Аппель приблизился, отбросил занавеску и захлопнул окно. В пасмурной сизости он заметил женщину – то была Софи, жена Петера Кроля и местная ясновидящая. Она меланхолично махала обитателям дома, словно бы знала, что на нее смотрят и ждут ее.

1937

Мария была уверена: ее сестра поступила так из упрямства.

С Митей Колокольниковым Катя познакомилась весной. В минувшем феврале «Единая Империя» его выслала за сомнительные статьи (нужно полагать, с критикой режима), и в В. он приехал уже в качестве радиожурналиста. Мария понятия не имела, как устроена эта профессия, и объяснения Кати в данном вопросе ей нисколько не помогли.

Серьезный и невысокий, в костюме английского кроя, Митя пришел к их тете Жаннетт и спросил, нет ли у нее в знакомых секретарей и переводчиков. Тетя Жаннетт, которая ничего о нем не знала, обзвонила нескольких бывших генералов, бывших писателей и бывших журналистов. Звонила она, однако, не по просьбе явившегося, а чтобы узнать, не шпион ли он Кремля или иного правительства. Митя шпионом не был.

– Любопытно, зачем вы все-таки пришли именно ко мне, – сказала она, закончив с подозрениями.

Митя ответил, что слышал о ней ранее от знакомого. В В. у него никого не было и, что ужасно, он почти не понимал местный язык.

– Как же вы работали раньше?

– Моего коллегу не пустили через границу. Его выволокли

из вагона, сказав, что он иноагент.

Тетя Жаннетт быстро соображала. Юноша (в ее глазах он был юношей в 27 лет) имел деньги – это было ясно по его костюму, наручным часам и итальянской самопишущей ручке. Молниеносно она прикинула, на чем она могла бы не экономить, плати он ей (не ей, конечно, а Кате) хотя бы 150 м. в месяц.

– Профессиональных секретарей и переводчиков у меня, к сожалению, нет, – присаживаясь близ юноши, заговорила тетя Жаннетт. – Но у меня есть человек, который умеет печатать и в совершенстве владеет языком. И она очень умна и молчалива. Это моя племянница.

– Вот как... Я могу с ней поговорить?

– Обязательно. Но сейчас ее нет... Сколько вы готовы платить?

– Если она меня устроит, 90 м.

– Хм... – Тетя Жаннетт не знала, стоит ли ей торговаться. – А как насчет 120? Не всякий секретарь знает язык.

– Извините, больше 90 м. дать не могу, у меня ограниченный бюджет.

Мысленно Жаннетт обозвала его скрягой. Юноша был неумолим.

Узнав, что тетя торговалась за ее спиной, Катя возмутилась:

– Великолепно устраивать меня без моего согласия! Боюсь вообразить, что за кисельные берега вы ему наобещали.

Но работа была ей нужна. Ранее она не служила и даже не знала, как вот она отправится на поиски работы, начнет спрашивать и требовать собеседования. Тетя Жаннетт избавила ее от необходимости быть просительницей у чужих. На машинке она печатала неплохо (но отставала от профессионалов в скорости), в своем же знании языка не сомневалась. Митя, что пришел опять в воскресенье, после небольшого теста нашел, что она стоит его 90 м. в месяц. Кате он понравился. Он был соотечественником, но необычным, мог многое порассказать о жизни в Европе и путешествиях на Восточном экспрессе. И он был, что приятно, очень симпатичным внешне.

– Вы действительно выросли в столице? – спросил он за чашкой чая в их гостиной.

– Отчего вы сомневаетесь?

– Вы так не похожи на тамошних девушек. Я мало вас знаю, но уверен, что не похожи. С вами это не вяжется... эта родина очередей и бессмысленного бытового хамства.

Катя кашлянула. Она обижалась, но боялась признаться себе в этом.

– Какой бы ни был режим, В. остается интеллигентной, – размышлял Митя. – Что бы ни говорили и те и другие, они, народы, сильно отличаются друг от друга. Эти в тяжелых обстоятельствах держатся культуры и воспитания. Они уважают себя и других. А те, извините, «имперские», только их прижмут обстоятельства, разом теряют и вежливость, и

сдержанность. Они становятся хамами, грубиянами, каких я больше ни в одной стране не встречал.

Катя сильно на него обижалась.

– Я с вами не согласна, – заявила она, – я помню их не такими. Замечу также, что у них нет безработицы. А если бы это было и так, некоторые грубости... Неужели все плохо?

– Я не сказал, что все плохо, – дипломатическим тоном ответил он. – Но вы, Катерина Васильевна, не видели имперские очереди в магазины! Типичная столичная картина: восемь утра, магазин открывается, у его дверей ждет человек шестьдесят, все нервничают, боятся опоздать на работу. Вы знаете, какую дрянь они едят?.. Как вы не умерли лет в десять от этого – вот, что меня беспокоит.

– О, все смерти от еды! Как я жила без этого знания?

– Да, абсолютно все – от еды, – уверенно подтвердил он. – Удивлен, что вы об этом не знали.

С ней Митя говорил всегда на родном языке. Английский он знал, но в изучении местного был ленив. За несколько лет жизни в Б. он заучил лишь основные выражения, чтобы, коверкая слова, спросить дорогу у прохожего или объясниться с полицейским. Катя пробовала выписывать ему слова, объясняла артикли, налепила как-то на вещи в его номере бумажки с их названиями, но старания ее были бесполезны. Митя не хотел учить этот язык, и никакая сила не сумела бы его переубедить.

Первое время он не считал ее привлекательной: она стран-

но зачесывала волосы, носила брюки, широкие юбки и мешковатые жакеты, сшитые на заказ по ее эскизам; шаг ее был широким, почти мужским, а манеры быстрыми и резкими. Он ей, напротив, казался очень милым. В нем она нашла сочетание силы, цинизма и мягкости. Митя был красивым, но не как актер. Ей нравились его глаза и тонкие светлые усы, хорошо сочетававшиеся с низкими светлыми бровями и не густыми, но аккуратно зачесанными волосами.

И работать с ним тоже было хорошо. По вторникам и пятницам он ходил на радио. Тексты он начитывал ей, несколько раз проверял, а после относил их на цензуру. Вымарывали там обычно четверть. Митя же не злился – в Б. с цензурой обстояло хуже. Иногда он еще писал статьи для воскресного приложения газеты, обычно то был обзор политического состояния Европы. Но с этим он справлялся сам, потому что писал статьи от руки (говорил, чтобы не забыть окончательно, как пользоваться ручкой). Звонил ей Митя в любое время – если что произошло. Его самого будили посреди ночи и звали на место, а он, еще сонный, звонил Кате и просил ее ехать вместе с ним, и поскорее. Незаконно они тряслись в тамбурах, потому что не успевали купить билеты. Часто ехали по часу и больше, стоя, иногда – в дожде, тумане. Стреляли в горах, расстреливали полицейских, взрывали на улицах, в кинотеатрах, в кафе – все было важно, все было неотложно. Она старалась поспевать, не путаться в его речи. Митя ругался по-русски и спрашивал поспешно:

– Ну почему, почему, почему в этой проклятой стране никто не говорит по-английски?

После он успокаивался и выслушивал со стоическим выражением. Катя была терпелива, но скорее от жалости – без нее Митя был бесполезен. И она чувствовала, насколько он одинок – совсем как она, в чужом мире, с чужим языком и незнанием, какое место она занимает в этом хаосе.

– Я ни о чем не жалею, естественно, – в машине, что везла их обратно в В., сказал Митя. – Мне нравится моя жизнь. Я хотел стать журналистом. Я мечтал об этом с восьми лет. Мне не о чем сожалеть.

Ночевал он в отеле в В. Комнат у него было две, поэтому после работы Катя оставалась у него, из вежливости Митя уступал ей спальню, а сам спал в гостиной. Засыпая, она слышала, как он листает за стеной Гончарова. В шесть она вставала и, не заглянув к нему, уходила. Тетя ждала ее и спрашивала, почему она снова опоздала домой.

– Я вам говорила, что у меня работа. Я записываю за ним до двух часов ночи. Как, по-вашему, мне добираться домой?

– У его отеля нет такси?.. И что вы такое таинственное записываете в два часа ночи?

– Вы и так все знаете из новостей! Вы что, не читаете газет, не слушаете радио?

– Мне сказали, – опять начала ее тетя, – что Дмитрий Иванович – коммунист.

– Вот как? – ответила Катя. – Ну и что, если коммунист?

Какое мне дело?

– Он с тобой не говорил о коммунизме?

– Нет.

– Мне начинает казаться, что он плохо на тебя влияет.

– А мне кажется, что я в состоянии разобраться сама. Вам уже не надо меня опекать, как ребенка. Я работаю и приношу зарплату, а с кем мне общаться, я сама уж буду решать и прошу не лезть не в свое дело.

Раз она проговорила Мите, что ей стоило бы возвращаться ночью домой, и он вызвал ей такси. Она повторяла, что справится, разозлилась, но он все равно доехал с ней до ее дома и даже пошел провожать на этаж. Она же бесилась и чувствовала себя полной дурой.

На темной лестнице, близ ее этажа, он остановил ее, чтобы поцеловать. Она не оттолкнула его, губы у него были приятные, но какие-то не такие – как и все в нем было отчасти не таким.

– Эм... ну вот, – неловко сказала она.

– Извини.

Ничего нелепее с ними случиться уже не могло.

– Нет, ничего страшного... Почему вы извиняетесь?

– Ну... не знаю... у меня мало опыта... – как бы оправдываясь, начал он. – И я знаю, что у тебя... никого нет. И... мы оба молоды. Может, ты влюблена в кого-нибудь?

– Нет...

– Я тоже. Понимаешь... Ничего, что я говорю «ты»? Про-

сти, я немного...

– Все хорошо. Честно, все хорошо.

В темноте она яснее почувствовала, как ему – и ей – плохо. Одиночество было мучительно. Ну неужели мне уготовано годами ждать и надеяться, а не жить собственной жизнью? Внезапно ее охватила злость – на свою нерешительность, на обстоятельства, политику, знакомых и, черт возьми, чужое мнение. Митя заметил, как заблестели ее глаза, и схватил ее руку.

– Понимаешь, я не в состоянии влюбиться. Поэтому я не могу сказать, что люблю тебя и остальное... Но ты замечательный человек. Ты мне нравишься. И знаю, я нравлюсь тебе в ответ. Я не хочу, чтобы ты была... как это сейчас называют... наверное, ты поняла. Но я бы мог на тебе жениться. Если ты захочешь.

Ее взяла оторопь.

– Пожениться?

– Ты согласна?

– Что? Нет, – воскликнула она. – Я хочу сказать... не знаю. Как-то это... странно. Меня ни разу не звали замуж. Я не успела научиться...

Он помолчал, должно быть, размышляя о чем-то.

– И все же соотечественникам лучше держаться вместе. Наступают сложные времена. Боюсь, нас выкосят быстрее евреев.

Митя отпустил ее и отошел. В нерешительности она уста-

вилась в его спину. Ей было жалко и его, и себя. И в темноте было очень страшно. Не может быть, нельзя оставаться так, как сейчас!

– А почему мне нельзя выйти замуж? – громко спросила она. – Неужели потому, что Мария не замужем? Но это, знаете ли, от меня не зависит!

Тетя Жаннетт не собиралась сдаваться.

– Ты выражаешься очень вульгарно!.. Я растила тебя не за тем, чтобы отдать тебя коммунисту! Не за него, Катерина! За любого, за кого хочешь, но – не за «красного»! Только через мой труп, слышишь?

– Неужели вы действительно умрете? – иронично ответила Катя.

Тетя Жаннетт поперхнулась смешком.

– Я этого всего просто не понимаю. – Катя заговорила с наигранной томностью. – Мне жаль, что у вас плохие воспоминания о коммунистах. Но я вас уверяю, что эти воспоминания меня ни в коей мере не касаются.

О том тетя Жаннетт написала Марии и отправила срочной почтой. В ответном письме, которое было полно расстроенных восклицаний, Мария умоляла сестру не торопиться, «ибо обратного пути уже не будет». Катя не понимала, как может не быть «обратного пути», и стояла на своем. В итоге она объявила, что станет женой Мити до отъезда из В. – с ее слов, он собирался уезжать этой весной. В отчаянии Жан-

нетт вызвала в В. Марию, рассчитывая, что та, во плоти, настолько ошеломит Катю, что заставит ее отказаться от всяких планов с коммунистами.

И вот как-то Катя возвратилась с работы – и нашла, что Мария привезла с собой Альберта.

– Вот это сюрприз!..

Позже, оставшись наедине с ней, Катя решила высказать ей претензии. Без стеснения Мария присела на ее постель (не совсем ее – ее постель зачем-то досталась приехавшему) и улыбалась на ее возмущение.

– Вот интересно, отчего ты мне не сказала?.. Можно решить, я тут лишняя и меня ничего не касается. Спасибо. И теперь вы хотите, чтобы он, он... жил в нашей квартире! С незамужними женщинами!

– Глупости... Словно раньше тебя интересовали приличия.

– А я знаю, что у вас на уме!

– И что же?

Улыбка Марии пугала ее.

– Не вижу проблемы, – сказала Мария, – вы замечательно уживались. Что бы могло помешать вам теперь?

– Хм... например, Митя?

– А зачем тут Митя? Не вижу никакой связи!.. А? Чего он хочет? Ничего он не хочет. Человек в гости приехал. Соскучился по тете Жаннетт. Ты, знаешь, не единственный человек во Вселенной.

– Ой, лучше не ври!

Она легко рассмеялась. Мария ответила тем же.

– Хорошо, Катя, убей меня теперь! Убей меня за то, что я вру! Я хочу, чтобы ты была счастлива. Никто тебя не заставляет. Послушай! Не нужно спешить.

И она – вот же идиотка! – согласилась потерпеть. Альберт понимал, что стесняет ее, но притворялся. Это было внове обоим: она мечтала, чтобы он уехал, но разыгрывала гостеприимство, а Альберт уезжать не хотел, но разыгрывал занятость, которая держала его в В. К концу первой недели они дошли до абсурда: она притворялась, что его нет, а он заявлял по пять раз на дню, как велико его желание вернуться домой. Мария смотрела на них и улыбалась. Она была успешнее в любовных играх, но с увлечением наблюдала за этим поединком воли и разума с плохо скрываемым интересом.

– Как похорошел Берти в последнее время, – скрывая смех, говорила Мария.

– Разве? Мне показалось, наоборот.

– А, значит, ты все же присматривалась?

– В каком это смысле – это «присматривалась»? – взрывалась она. – Разве я должна закрыть глаза и не смотреть на него?

Ночью она злилась на него, на себя и, более всего, на Марию. И от злости ей становилось нестерпимо больно. Она терпела, сжимая зубы и считая собак – их учил считать Альберт, уверяя, что с собаками легче уснуть, чем с баранами.

Это не помогало. Она вставала и начинала вышагивать по комнате, а боль была такая, что хотелось убиться об стену. И она с размаху обрушивалась на постель и комкала ее в ненависти к себе.

Раз ей стало настолько плохо, что невозможно было оставаться в спальне. Она набросила халат и вышла. Заметив, что в гостиной горит свет, она пошла на него – и нашла Альберта, но он не оглянулся на нее, как обычно. Ей стало не по себе.

– Вы спите?..

– Нет.

Нужно было говорить или уйти. Она же стояла, не в силах шевельнуться.

– Есть у тебя платок?

– Платок?..

По спине побежали мурашки.

– Я, я... посмотрю в тумбочке.

В тумбочке нашелся ее, клетчатый, в фиалковых духах. Она поколебалась, но затем возвратилась и, встав за спиной Альберта, сказала:

– Я нашла платок.

– Спасибо.

Она снова колебалась. Не поворачиваясь, Альберт протянул ей руку. В отупении она смотрела на его раскрытую ладонь.

– Платок, Кете. Пожалуйста.

– А-а-а...

Рука с платком окаменела. Не понимая, что с ней, Альберт повернул к ней голову – и она невольно отступила; необычность этого было сильнее ее памяти. Она заметила, что он тоже испугался – он боялся отторжения в ее глазах. Рука ее была слаба, и, быстро наклонившись, Альберт сумел схватить ее кулак с платком. Катя опустила голову.

– Кете...

– Простите. Я забыла, как это бывает.

С тихим вздохом он приложил платок к глазам.

– У тебя голова... кружится?

– Спокойной ночи, Кете.

Но она застыла. Он опустил платок и решительно его скомкал.

– Верни... мне его, – еле слышно прошептала она. – Его нужно постирать.

– Я его сам постираю. Не беспокойся из-за этого.

– Нет, я его постираю, я! – выпалила она с внезапной яростью. – И мне не жалко платка, я только постираю его, ясно?

С усталым выражением Альберт бросил ей платок. Она справилась с желанием: разозлиться, бить его руками, кричать, обвинять в том, что приехал и испортил ей жизнь. Она выскочила в ванную, включила кран на полную и бросила в раковину скомканную ткань. Из платка светло-розовым потекла кровь. И как может быть, что у Альберта больные глаза и из них может вытекать столько крови?

1940

– А, это вы?.. Вы приехали.

Меланхолично Софи склонила голову. Мария уставилась на ее темные, лишь слегка покрытые шляпой, прилизанные волосы. Боже мой, какая же идиотка!

– Ну, что вы стоите... пожалуйста.

Не показывая глаз, Софи вошла. Мария нервно растирала руки, не зная, совершенно не зная, что сказать и делать. В гостиной Аппель говорил по телефону: «Жалею, но вам лучше приехать, конечно, вам нужно приехать... конечно, это срочно, как вы можете сомневаться? Я вам, в конце концов, приказываю приехать!» (боже мой, какой невыносимо-спокойный голос у Альриха!). Несколько раз она вытерла нос, хотя он был сухим, и глаза тоже вытерла, которые тоже были сухими. И ей захотелось убить Софи, которая стояла, не шевелясь, в прихожей, словно намеревалась в ней поселиться.

– Пожалуйста... у вас... я хотела сказать, у нас есть комната... Поставьте свой саквояж, мальчики его... Мальчики!

Никто не пришел.

– Мальчики! Возьмите кто-нибудь вещи Софи!.. Извините. Наверное, они заняты.

Невротизм ее – остановись, сделай глубокий вдох, и тебе полегчает! С неестественным оживлением она улыбнулась.

– Ничего, ничего... Оставьте тут. Я покажу комнату.

И, взяв Софи за руку, она быстро заговорила об Элизабет Херт, что накануне хвасталась ей по телефону, что достала эксклюзивные выкройки из Италии, а говорят, их хотела заполучить некая популярная английская актриса, которая... Софи не отвечала. Она не шла, а почти плыла, могло показаться, что и ноги ее не соприкасаются с полом, настолько плавно и меланхолично она двигалась. Мария, с ее решительным шагом, в иной раз сочла бы себя деревенщиной, но нынче ей было наплевать на более изящное создание в ее доме.

– Пожалуйста, располагайтесь. – с нервной улыбкой она открыла дверь спальни. – Ужин... кажется, через два часа. Мне нужно... уточнить. Отдыхайте.

Не взглянув на нее, Софи вплыла в пасмурную комнату. Боже мой, хоть бы она не показывалась весь вечер!

Спотыкаясь и чертыхаясь под нос, она вернулась в гостиную. Ее никто не заметил. Аппель стоял у телефона, уставившись в окно. Альберт как-то жалко скрючился в кресле и закрыл руками глаза. Мария почувствовала себя лишней.

– Вот... – Она тоже присела. – Софи приехала... все хорошо...

Аппель упрямо молчал. И какого черта он, спрашивается, молчит? Неужели он ненавидит ее? Молчание затягивалось. Пробили настенные часы. Больше молчать было невозможно.

– Так... что они сказали? – Слева билось так больно, что

она морщилась.

– А? – спросил Аппель, словно не слышал.

– Я хотела сказать... я хотела спросить, что они ответили?

– Они собираются... – Аппель был мрачен и спокоен. – В течение двух часов...

– Двух часов? – завопила она внезапно. – Каких еще двух часов? Они обязаны приехать в течение десяти минут!

– Они не могут приехать в течение десяти минут. Им нужно снаряжение для поисков. Им нужно собрать тех, кто согласится спуститься...

– Чушь! – закричала она и вскочила. – Моя сестра может погибнуть! Какое, к чертовой матери, снаряжение! На счету каждая минута!

– Мне жаль вас расстраивать... – Аппель смотрел не на нее, а на Альберта, – но если Катерина сбросилась с моста, шансов выжить у нее не было. Там высота...

– Я знать не хочу о вашей высоте! Это все чушь!

Ей хотелось бушевать, крушить мебель, выть, как собака, и она бы бушевала, крушила и выла – если бы не дикое спокойствие Аппеля. Альрих внушал ей ужас и вместе с тем сдерживал ее порывы. Она кричала, но – не срывая горло. Она бегала по комнате, но, как ни было велико желание разбить статуэтки с камина, она не решалась к ним прикоснуться.

Спины ее коснулась чья-то рука – то был Альберт, который встал и наткнулся на Марию, будто ее не заметив.

– Я пойду, Альдо.

Глаза Аппеля изумленно расширились.

– Куда ты пойдешь?

– Наружу.

– Нет, скажи мне, куда ты пойдешь.

– Кто-то должен поискать Кете.

Мария оглянулась – и ей стало страшно от странного безразличия, что сковывало черты ее старого друга. Отпускать Альберта было бы полным безумием. Аппель заморгал, как пытаясь избавиться от соринки в глазу, а после сказал:

– Конечно, ты никуда не пойдешь. Нужно дождаться спасателей. У тебя нет снаряжения.

– Я спущусь без него.

– Да ты, черт возьми, спятил! – Спокойствие изменило Аппелю; щеки его пошли красными пятнами. – Ты видел эти скалы, Берти? Это не шутки! Ты сдохнешь, стоит тебе начать спуск без поддержки и снаряжения! Или ты думаешь, Кете, увидев тебя снизу, отрастит себе крылья и взлетит вверх? И поймает тебя, когда ты полетишь вниз? Этого ты хочешь, не так ли?

– Я не спятил.

– О, конечно... Мария, скажите ему, что это полная чушь!

– Два часа – это слишком много, – глухо ответил Альберт, – она может быть жива, и ей нужна помощь.

– Да вы издеваетесь, не иначе! Я вам отвечаю, как человек, который умеет считать и знает физиологию! Нельзя выжить,

упав с такой высоты! Нельзя! Хватит этих чертовых иллюзий! Вы в нашем мире живете или в мире розовых пегасов?!

Хоть бы он заткнулся! Невыносимый, отвратительный, жуткий, болезненный голос!

Со злостью она оттолкнула Аппеля – должно быть, он решил, что она падает, и попытался ее подхватить. Она выбежала в двери, потом в еще одни – и побежала через сад, дальше, через калитку, и еще дальше, по дорожке, которая вела к деревне, к людям, и ей думалось, что там, в деревне и среди людей, ей смогут помочь. Она знала, что бежать слишком далеко, она не справится. Но она спотыкалась, билась ногами о большие камни, но – бежала, почти как в приступе горячки. Коричневые и зеленые пятна мелькали у нее перед глазами. Выдохшись, она остановилась у деревянной вывески, что указывала направление – к ее дому. Внизу, под названием, было написано (Катя, будь она проклята, перевела): «Входи, путник, тут силы зла не коснутся тебя». Мария взглянула поверх деревьев – говорят, недалеко была синагога, но ее сожгли года три назад, в большие погромы. От воспоминаний этих ей стало не по себе. Нужно сказать Дитеру, чтобы он разбил указатель! Черт бы побрал Катю, что заметила: «О, у вас еврейские указатели, вот красота!». Отчего ранее она не замечала, что у них еврейский...

Стук копыт заставил ее вскинуть голову. Из-за поворота показалась знакомая рыжая лошадь, она была в пыли и поте, шкура ее приятно блестела. Мария выбросила к ней руки.

Лошадь остановилась близ ее маленькой фигуры, и наездник наклонился, чтобы схватить одну из протянутых рук.

– А, и чего ты тут стоишь? Меня ждешь? И бросила всех без хозяйки?

Мария не дала ему руку. Она сжалась, плечи ее опустились, как у провинившейся в отсутствие мужа жены.

– Да что с тобой? Что-то стряслось?

Вопросы были грубыми, но голос – ласковым. И, как против воли, она заплакала; она стояла, совершенно обессиленная, и уткнулась лбом в рыжую шею, и плакала, как в первый раз в жизни. Ярость и страх уступили место горю.

## **1905-1918**

Так же она плакала в детстве, прижимаясь к пятнистой шкуре маленького коня, отчетливо чувствуя запах конского пота и запах грязи с сапога всадника. Плакала она, наверное, от испуга, но кто помнит, что еще может испытывать ребенок, если ему угрожает нечто большее, чем он сам.

Коня привел отец Дитера, офицер императорской армии. Красивое, в необычных розоватых пятнах животное досталось ему как военный трофей. Но вынести взрослого коня не мог, и старший Гарденберг подарил его двенадцатилетнему единственному сыну. Учившийся ранее на чужих, тоже офицерских, лошадях Дитер легко взобрался на дорогой подарок и заявил, что конь этот в будущем прославится, как

спутник генерала.

– Я скорее умру, чем это произойдет, – ответила на это его мать.

А она стояла на террасе и глядела, как Дитер теребит гриву, трет широкую шею и похлопывает круп, уже как заправский наездник. Обычно он не обращал на Марию внимания, и ее это даже радовало. Как-то он прокричал ей из седла, чтобы она не лезла под копыта, а то он позволит коню растоптать ее; то было бессмысленно, ведь она всегда стояла в стороне, но Дитеру нравилась власть, что, казалось, исходило сильное, уверенное животное.

В серое раннее воскресенье она вышла за ворота – заболела голова от криков маленькой сестры. Тетя Жаннетт кричала, что устала и бросит все немедленно. Лизель возилась с Катей и просила Жаннетт кричать потише или уйти в ее спальню и там уже злиться, сколько ей захочется. А она ушла, набросив поверх ночной рубашки пальто, и шла по тропинке, и наклонялась за полевыми белыми, голубыми и красными цветами. Заслышав стук копыт, она вскинула голову. Пятнистый конь плелся, опустив голову, а мальчик на нем был печальным и сонным.

– Почему ты вышла? – спросил он с непривычным для нее дружелюбием.

– Прогуляться.

– Ты сбежать, что ли, хочешь?

– Нет... нет.

Он понял, что она бы хотела спросить, и ответил:

– Отец уехал опять на войну. Я хотел его сопровождать.

Я провожал его на вокзал.

– Но война уже закончилась, – сказала она.

– Нет. Он уехал на Юг, воевать с «красными».

Она понятия не имела, что это за новая война, что за Юг, на который нужно уехать, не пробыв с семьей и недели. Она вспомнила собственного отца, которого не видела более двух лет, и в глазах у нее налились слезы. С невыносимым презрением (вот же девчонки!) Дитер ответил:

– Не реви, раздражаешь! Я же не реву! Вот еще!

И потому, что она не слушалась и продолжала всхлипывать, Дитер схватил ее за воротник пальто и поднял над землей. Она разом замолчала и забила ногами в воздухе, а Дитер грубо затащил ее на коня и руки ее направил в гриву, чтобы она крепко держалась.

– Не реви! Я тебя покатаю!

– Не хочу! Я боюсь!

– Чего? Чтобы офицерская дочь чего-то боялась? Я тебя сейчас огрею!

Говорил он с поразительной серьезностью. Хотя он был лишь на три года старше, он в ее глазах был уже взрослым человеком, уже мужчиной, а тем более на коне – так решительно и грубовато ей говорил отец, если она жаловалась или не хотела нужного. И она послушалась, взялась за гриву и наклонилась, чтобы прильнуть всем телом к теплому телу,

от которого привычно (как и от лошади ее отца) пахло пылью и потом.

Чтобы не пугать ее, Дитер пустил коня легко и постарался, чтобы ее не трясло слишком сильно. Она закрыла глаза и наслаждалась мягким движением. Уверенность, сила, безопасность – конечно, безопасность, давно утраченная, – и она была в этом движении. От облегчения ее клонило в сон.

Разом сон оборвался – кто-то сбросил ее вниз. Она больно приземлилась на камень, и от пронзительной вспышки в колене и в глазах громко вскрикнула. Конь остановился. По обеим сторонам в мрачном ожидании стояли два солдата, обросшие, с всклокоченными волосами, в которых, ей показалось (богатое воображение), шевелились вши. Кое-как она встала и позвала, но она была бесполезна – важен был конь, красивое животное, которое можно было пустить на мясо или обменять на новое обмундирование. Дитер отказывался слезть. Стоя поодаль, она заметила, как он возмущен: впервые он, ребенок из уважаемой и богатой семьи, столкнулся с пренебрежением, впервые его оскорбляли старшие, безвестные, ниже его по статусу.

– Убери руки немедленно! – с нелепой угрозой воскликнул он. Голос его был очень высок.

Солдаты на него не злились. Им, наоборот, было смешно. Оскорбившись от их смеха, он закричал:

– Отойдите! Отойдите, говорю! Мой отец – офицер! Не трогайте меня руками!

Взрослые руки стянули его и бросили на землю. Он приземлился на ладони и перекатился на спину.

– Не отнимайте, это мой, мой, он мой!

– Иди домой, – сказал старший, с большим шевелением в волосах. – Наплевать, кто там у тебя. Революция!

– Это подарок отца! Он – офицер! Он вас убьет! Он вас найдет и убьет!

Солдат помоложе оттолкнул его, и он опять упал, на этот раз больнее и со слезами.

– Проваливай домой! Если твой отец офицер, то так тебе и надо. Твой отец – преступник. Кровопийца! Хватит нашу кровь пить! А нам тоже жрать надо! Проваливай к мамкиной юбке!

Коня увели. Длинный его хвост безразлично покачивался – он не понимал, что его забирают у хозяина и ведут – возможно, на бойню. Дитер стоял и смотрел ему вслед. Минут пять он не шевелился, глаза его застыли, как у мертвого; а потом он развернулся и пошел обратно.

Она помнила: то был самый красивый конь на свете. Много лет спустя Дитер искал похожего, но не было такого, что сравнился бы с тем, с розовыми пятнами.

Жаннетт не была болтлива. Пришлось долго ее упрашивать, чтобы она рассказала, как помнила.

– Знаете, вспоминая, я размышляю, какая я стала старая... Ты не помнишь, Мария. Катя тем более не помнит. А я тоже была... как вы. Какой ужас! Мне было двенадцать или

около того, когда мы познакомились. Мой отец умер около года назад. И мы уехали из Т. в ту ужасную глушь. Нынче кажется, что то было невыносимо – я привыкла к городской жизни. А там что? Дом – да, крепкий, добротный дом... правда, на болотах. А на западе был лес. Мы там гуляли. У Лизель на заднем дворе рос багульник. Ну да, ее с детства называли Лизель. Лизавета Петровна... Ее отец привез из столицы моду на иностранные имена – мой, впрочем, тоже. Твой дедушка, Дитер, не жил с ними, со своей семьей; он, кажется, работал в столице, а приезжал, чтобы пострелять белых куропаток. Ну, и привозил что-то. Лизель он привез щенка – такая огромная собака выросла, пушистая, пятнистая, только я не вспомню, как она называется. Помню, Лизель звала ее Мишкой – а я говорила, что это Джонни... А твоей бабушке он привозил отрезы на платья – вот и на кой черт, спрашивается? До портнихи ехать было тридцать километров. Правда, потом мы посылали Василя, моего брата, в город, он привозил кое-что – но вырос-то он не сразу! Не хочу ничего говорить о твоей маме. Все равно она была прекрасным человеком. Не такая вертихвостка, как я – и это я не кокетничаю, у меня, знаете, возраст не тот. Тихая, послушная... может быть, меланхоличная... ну, и чуть-чуть ленивая, конечно – но я тоже была ленивой, это ничего. Все-таки расти на болотах – не большая радость. У меня-то в Н. была компания по возрасту, а у Лизель только и был ее братец, тусклый, унылый, все звал меня замуж. Лизель считала, что

мне нужно выйти – вот и все! Я знаю, что бы вышло, если бы послушалась: он же застрелился потом! Терпеть не могу таких мужчин! Слабовольный дурак!.. Да, мы оказались соседями. На второй день, помню, я пошла в лес... я вообще шаталась тогда одна, это сейчас дети всего боятся, нос из дома просто не высунуть. А мы ничего не боялись. Шла я, шла – вижу: она выгуливает своего щенка. А ветер был жуткий, деревья прямо шатались. «Твою собаку потрогать можно? Как ее зовут? А не кусается она?» Она, кажется, не ответила – головой качала. «Как зовут?» – «Мишка». – «Да не ее – тебя! Меня Женька, Жаннетт. Мы в понедельник приехали, вон там живем». Я хотела ее – ну, его – погладить, а Лизель стала дергать за поводок. «Ну, ты чего? – сказала я. – Ты что, дружить не хочешь?» Она ответила, что хочет. «Ну, давай дружить. Я младшая у Воскресенских. А ты здешняя? Ты где живешь?» Так мы с ней сошлись. От скуки и разные люди могут подружиться. Правда, мы обе терпеть не могли учиться: со мной все ясно, мне скучно, а Лизель... не хочу плохо сказать... была непонятливой. Она вообще была слабоватой – физически. Она мучилась давлением, головными болями, слабостью. Легко простывала. Как-то чуть не умерла: промокла на прогулке – а потом началось! Как мать ее, твоя бабка, Дитер, – та тоже от любой глупости трястись начинала, голова у нее кружилась часто. Да еще старуха Клотильда доводила ее до слез – не бабушку твою, а Лизель. Старуха нас учила иностранному, Лизель била по рукам за то,

что непонятливая. А я ей за это плевала в уличные ботинки – она об этом так и не узнала, наверное. Нет, Лизель выучилась все-таки, но, мне кажется, не учи она проклятые языки, прожила бы дольше – меньше нервов потратила бы! Ей вдруг захотелось стать ученой – не потому, что эмансипация и права женщин, Лизель всегда было плевать на это с какой-то колокольни. Она даже «Обрыв» осилила – Василь уж больно им хвалился, словно сам написал. Василь – мой брат. Василь Дмитрич. Твой папаша, Мария. О, вот кто был амбициозен! Правда, что хорошего в армии? В ваше время умные мальчишки идут в юристы, да в экономисты или, там, в пропагандисты – на другое для Кати я не рассчитываю! А наши умные мальчишки были так глупы, что шли в армию. А вообще мы были немного похожи с ним – оба рыжие, и кожа в веснушках, но ему-то простительно! Он тогда только учился, готовился к своей армии, приезжал к нам на каникулы, мать больную навещал – и вот тут, тут! Он был кобель, прости меня, Боже. Не мог пройти мимо самой обтрепанной юбки. Решил вскружить головку нашей Лизель. Сам-то – красавец-мужчина, хм-хм... а у нас в округе что, мужчины были молодые? Все бежали, кто мог. Кругом – болота. И лес – что, на лесников девчонкам охотиться?.. И тут он, блистательный братец – в столичном костюме, только в сапогах, потому что кругом сам понимаешь что. Э-ле-гант-ность! Я ему сказала: «Что ты творишь? Лизель – мой друг. Что ты ей голову кружишь?» А нам обеим по шестнадцать лет. Не знаю, что у них

получилось, я не шпионка, но я честно пыталась им помешать. Она в него влюбилась, конечно, и язык учила, книжки читала, чтобы с ним было, о чем разговаривать, – а он уехал, как каникулы кончились, и забыл себе спокойно. Наверное, они и поссориться успели. Помню, собака Лизель убежала, мы все пошли ее искать, и Василь тоже. Лизель с ним ходила, а я с ее братцем, который все ко мне приставал – не поиски вышли, а приключения какие-то! Нашли, псина стала на нас бросаться, Лизель руку прокусила. Снова убежала, как чокнутая; мы не пошли за ней, решили, что свихнулось животное. А домой к Лизель приходим – она в слезы! «Я знаю, что я невыносимая, что я такая некрасивая! Никто меня не полюбит, никто!» Мать ее спрашивает, что стряслось, а та: «Меня никто не любит – вот!». Это все девчачьи бредни. Но Лизель была убеждена, что умрет старой девой. Ты ее помнишь взрослой женщиной, и, ты знаешь, в возрасте... она была лучше. Тогда она была неловкой, не умела интересно говорить, вообще спотыкалась в речи – и шарма никакого! Но глаза были красивые, и волосы – знаешь, я завидую натуральным блондинкам, мой цвет мне не очень нравится, он грязноватый, а брюнетки – это зло какое-то! Так вот, Лизель решила, что личной жизни у нее не будет. Ну, и понятно – с кем у нас было встречаться? Замуж и то выйти не за кого! Ей, конечно, повезло, что мать рано умерла – это ужасно, но зато честно! Отец забрал ее в столицу. Нам было лет по семнадцать. Я тоже уехала месяца через два, но успела ей сооб-

щить, куда поеду, и мы стали переписываться. Не буду рассказывать, как я жила – это вам неинтересно. А Лизель писала, что ей не нравится столица, и жить с отцом не нравится, и все ужасно, омерзительно! Отца своего она не любила – она видела-то его до того раз двадцать, не больше. В ее воспитании он не участвовал. А тут захотел выдать замуж. Нет, я не хочу сказать, что твой дедушка принуждал ее, она сама хотела замуж; все равно Лизель бы не сумела работать. Это я – по работе, журналистом при политической газете. Но ей-то – зачем? Она и вышла замуж. Помню, написала мне письмо: о том, что ее позвали, пожилой иностранец, отставной военный и сам вдовец; приезжал, чтобы навестить свою младшую дочь. А эта младшая дочь, знаешь, – ровесница твоей матери. Дочка не обрадовалась, что папа на старости лет решил взять себе молодую жену – это мне тоже Лизель рассказала. Они поссорились – ее будущий муж и, прости меня, падчерица. Лизель все-таки уехала с ним в его страну. Да, ему было за шестьдесят, ей двадцати не исполнилось – но с отцом она жить не хотела! А тут заграница, обеспеченная жизнь, неплохой дом – какое-никакое будущее. Нет, я не говорю, что она по расчету или что-то такое – она не была корыстной, она была растерянной, а своего мужа считала хорошим, нежным человеком. Повезло, что она знала хорошо его язык – он-то на русском ни слова не знал, наверное. Ни разу она не сказала о нем плохо. Ну, хороший человек, хоть и старик – неужели нельзя выйти?.. Потом, правда, что-то странное

случилось. У меня, понимаешь, своя жизнь, у меня любовь, я в политике и в искусстве – и наши пути разошлись. Да, мы писали друг другу, но... о чем нам было писать? Я рассказывала, как мы живем, что-то о войне ей рассказывала, а она мне – о своем доме, о розах... ну, очень интересно! Нет-нет, я не... Но потом она мне написала, пригласила меня в гости. Помню, я спросила, можно ли мне приехать с другом. Лизель разрешила – и мы поехали к ним на Рождество. Ты сейчас не волнуйся, хорошо?.. Не расстраивайся. Это было много лет назад. И я точно не знаю... я не скажу, если не знаю. Хорошо?.. Я познакомилась с твоим отцом, Дитер. Как его описать?.. Высокий, если я ничего не путаю, светлые волосы, как у твоей мамы, но глаза – вот что было, пожалуй, красиво. Мне нравятся красивые глаза у мужчин. У твоего папы были... не карие, а светло-коричневые... нет, пожалуй, немного желтоватые глаза. И оттенок чистый, красивые прозрачные глаза. У тебя глаза, правда, чуть темнее, но желтизна есть. Дай Бог памяти, сколько же ему было?.. Наверное, лет двадцать шесть. Ты, пожалуйста, не подумай обо мне плохо, я приехала с возлюбленным, но полюбоваться на постороннего мужчину я могу. Понимаю, Лизель он очень нравился. Его же Раймунд звали, Райко. Ну, Райко – я услышала, как она его называет. Нет, я ни на что не намекаю... твоя мама была приличной и... ни за что бы не стала... ну, ты сам понимаешь. Райко – с твоего позволения я буду называть твоего отца, как его Лизель называла, – он приехал позже нас, с

цветами, подарил мне и Лизель розы. Я спросила ее, кто он; она сказала: «Это сын моего мужа, мой пасынок. Он служит и нечасто нас навещает». Понимаешь, какая новость? Сын мужа. А этот муж – тут же, с нами. Нет, я ничего не хочу сказать... и ничего же, что я честно говорю?.. Честный человек, этот ее муж, на пенсии, гостеприимный – и явно очень любит нашу Лизель. Но... влюбленных сложно не заметить. Наверное, он знал – ее муж. Наверное, они любили друг друга платонически. Я же не знаю! Как я могу... Но потом я пришла к ней в спальню, той же ночью, и стала спрашивать. «Что ты нашла в этом человеке? И что у него с воспитанием? Сноб и капризный, все ему не так... Как на моего-то посмотрел! Ты заметила? Что это такое?.. Никакого уважения к человеку творческому! Казарма, военщина, отсутствие эстетики и... чувства». Не хочу сказать плохо о твоём папе, но... «А что муж? – спрашивала я. – Разве это нормально? В семье, в твоей же семье! Это... и с моим характером это чересчур!» А Лизель сказала, что от меня никакой пользы: ни выслушать, ни посоветовать ей не могу, она так больше жить не может! Ну, я ушла к себе... к нам. Мы заснули. А ночью... мой пошел вниз – и нашел старика мертвым! Ты только не пугайся! Мы сбежались на крик... Понимаю, слышать, как умер твой дедушка, умер странно – это неприятно... но кто-то должен тебе сказать об этом! Он упал с лестницы. Наверное. Лизель и Райко прибежали. Лизель упала в обморок, Райко успел ее схватить. Понимаешь... это было так... слов-

но... она так правильно упала, понимаешь? Ты на меня не злись! Я же ничего не знаю, честно тебе говорю! Мало ли что случилось... Пошел ее муж в темноте, споткнулся – и все, пожалуйста, свернутая шея! Мало ли нелепых смертей на свете! Чем эта хуже?.. Честно тебе скажу, было бы что-то криминальное – полиция бы нашла. Она нас допрашивала, осматривала дом, потом снова допрашивала. В итоге решили, что произошел несчастный случай. Ну, упал в темноте человек... Пусть, пусть глупая смерть! Мало ли, что мне пришло в голову! Я ничего не сказала полицейским – зачем портить жизнь Лизель? Я спала, не слышала ничего. Наговорю чепухи, а ее затаскают по участкам, она же оказалась единственной наследницей своего старика. Я с моим уехала. А Лизель позже вышла замуж за твоего отца. Я с моим рассталась: он увлекся патриотизмом, начал писать патриотические стихи, а их отказались печатать в «Мире Божьем». Был у нас такой журнал, редактором был либеральный О., он же отрекся от стихов, хотя раньше обещал напечатать – не их, конечно, а нечто абстрактно-философское. И мой ушел в «Русское знамя» и «Московские ведомости», стал невыносим, все критиковал меня, что я отказалась от истинного православия и не хочу, понимаете ли, блюсти их сложнейшие религиозные обычаи! А, ну и мой брат потом женился на Ашхен. Лично я не понимаю, что он в ней нашел привлекательного, разве что пожалел ее, знакомство их было нелепо: она каталась по Волге и вывалилась, барышня такая, из

лодки – ну, и Василь поплыл к ней! О, как это было... Ну и женился на ней потом. Она – дочь какого-то торговца, разорившегося и умершего, как говорили, от пневмонии. Из-за нее мы с братом поругались. Василь напомнил мне, что я хуже, потому что живу с мужчинами и отказываюсь рожать детей... Что же, теперь у меня достаточно детей, только не моих, а его. Сволочь такая, паскудничал сколько, пока был жив! А потом подох, а некоторые его до сих пор героем называют! Подох за святые идеалы «белых людей»! Хорошо, что Лизель за него не вышла. Плохо бы получилось. Лизель очень любила твоего отца. Они с Райко были такой красивой парой! Понимаю, она была молода и мечтала о любви, и Райко дал ей то, что она жаждала, чего хочет любая женщина, в любом возрасте. Он был трогательно влюблен в нее. Туповат, может быть, но это со всеми военными, не в обиду тебе, Дитер. Но Василь губил всех женщин, с которыми встречался. А твой отец сделал твою мать счастливой. Всю жизнь бы прожили вместе, я уверена, если бы не та проклятая война.

О ней говорили заранее. Ее предчувствовали, предвкушали и звали. О войне обязательно заговаривали на вечерах отца (обычно в воскресенье, суббота считалась днем матери).

Начинали с интересов местных землевладельцев, решений в парламенте и экономических успехов страны. Обсуждали (он помнил хорошо) новое правительство Б., что пыталось примирить консерваторов с набирающими популяр-

ность социал-демократами. Разногласия в блоке Б. по внутривнутриполитическим вопросам вели к острой его критике, а после реформы избирательной системы на Севере многие в Б. разочаровались. К тому же блок его так и не смог провести долгожданную налоговую реформу. Но преемник Б., по мнению гостей, был и того хуже, потому что не сумел примирить в парламенте либералов с консерваторами. Сказывался и внешний кризис. Много говорили о том, что новый глава правительства явился на первое выступление в парламенте в форме майора запаса, и о симпатиях к нему Флотского и Националистического союзов. «Ну точно хочет выставить себя бравым воякой!». И обязательно: «Обязательно начнется война! Но с таким главой? С либералами у него плохо, с социал-демократами не договориться в случае войны».

На материнских вечерах, впрочем, тоже вспоминали возможную войну. Он запомнил потому, что его звали к гостям, чтобы он сыграл на фортепиано из Шопена или Бетховена. Сначала в гостиной собирались женщины; говорили о новых течениях: платье в стиле «неогрек», с прямой юбкой и завышенной талией, влияние «Сезонов», работы Рериха, Бакста и Бенуа, ориентализм, шаровары с платьями-халатами Пуаре и его же «хромающие» юбки. Позже появлялись мужчины, и платья с юбками расталкивали статьи из «Литературного эха» и карикатуры из «Сим-уса», что выписывался Лизель почтой из Минги. Потом шла работа Буркхардта об Италии или шеститомный труд Брандеса, книги Фонтане или пье-

са Грильпарцера. Дамы закуривали, а длинноволосый юноша болтал о Бернхарди, что умно высказывался с позиций социал-дарвинизма и объявлял будущую бойню биологической необходимостью и, как далее шло, «требованием истинно нравственным». Лизель в новейшей биологии ничего не понимала и только пожимала плечами. Ей хотелось, чтобы сын хорошо играл на фортепиано, а дочь выросла красивой; чтобы мужа повысили в звании и оставили в столичном штабе; чтобы хорошо получился ремонт на даче и можно было расширить аллею. Биологические потребности большинства в некой войне не вписывались в ее жизнь.

– Может, я, конечно, только глупая женщина. Право, это так скучно. Не понимаю, зачем нам нужно желать войны. Те же милитаристические работы Чемберлена...

– Но воевать мы будем, – отвечал ее муж.

– Зачем же?

– Сложно объяснить женщине.

– О, конечно! – Лизель пожимала плечами. – Отчего-то нам, женщинам, ни с кем не хочется воевать, только вам, мужчинам, все неймется! С чего бы это? Скажи, вот ты понимаешь, что мы... нет, ты – ты можешь воевать со мной?

– Зачем мне воевать с тобой? – Он рассмеялся.

– Именно что не за чем. Начнется война, и тебя отправят воевать – может быть, с моими друзьями, с Жаннетт и ее братом. У наших детей смешанная кровь. А я, твоя жена, из страны, с которой ты можешь воевать. Мой брат, напо-

ню, тоже военный. И он служит там, он может быть твоим врагом.

– Это было давно, – легко ответил он. – Вся твоя жизнь связана с нами. И сопереживать ты станешь нам – не им.

– Ты считаешь так? Значит, зря наши дети говорят на двух языках? Объясни мне, глупой, за что мы станем воевать?

– Ну, чтобы нам не навязывали чуждые нам ценности... социалистические и либеральные. Они нам не нужны. Наша страна не создана для демократии и либерализма. В нас силен воинский дух и память о прежних войнах. Мы издревле воины и консерваторы.

Она размышляла – сложно было не потеряться в логических построениях политически образованного большинства. Конечно, эта страна – особенная, не может жить ни по восточному образцу, ни по западному, либеральному. Враги их желают столкновения и способны на провокации для раскачивания ситуации. Наконец, война будет за их исконный быт, испытание нужно, чтобы выстоять против либерализма и социализма. Они отстаивают национальные нравственные ценности и не позволят вмешиваться посторонним.

«Не переживай, Лизель. Это закончится в течение двух месяцев. Может быть, быстрее. Я не попаду на самый фронт, так что меня не разорвет, голова останется цела. Эта великая война – за наше будущее».

Он с матерью ехал на велосипеде – домой из солнечного парка. Вдруг Лизель остановилась, слезла и, бросив сына на

тротуаре, выбежала на проезжую часть.

– Сколько?.. – бессмысленно спросила она.

Ее не замечали.

– Так сколько же?.. – повторила Лизель.

Ей наконец ответили – бесплатно. Нерешительно она взяла газету, просмотрела первую полосу...

– Поехали, поехали! – поторопила она сына.

– Ты что, расстроилась? Но почему?

Что-то теперь в ней было странно.

– Я тебе потом скажу, – наклонившись, ответила она.

– А можно сейчас?

– Нет, сейчас – нельзя.

– Мне страшно. Тебе что, жалко?

– Давай лучше пройдемся, – взявшись за руль, ответила она. – У меня в кармане есть пряник – хочешь его взять?

– Нет.

– Ну, пошли тогда. Возьми же мою руку.

Он схватился за ее руку и зажмурился, чтобы не видеть нервных, радостных и злых людей вокруг; он шел на ощупь, в страхе споткнуться, упасть, и сильнее сжимал ему доверившуюся руку.

– Дитер, мне больно, – тихо пожаловалась Лизель.

– Прости...

– Ну, что ты? Ничего. Я тут, не бойся. Просто не жми мне так руку, хорошо?

– Прости меня, мама.

Он извинялся, сам не зная почему. Лизель наклонилась.

– Мама тебя очень любит, мой хороший, самый лучший Дитте. Не бойся. Дома все снова будет хорошо, вот увидишь.

Он боялся плакать и кивал.

Дома мать бросила газету в печь и заявила:

– Твой отец уходит на войну.

А так, в основном, были довольны: бои велись далеко, многие и не слышали ранее о таких лесах, полях и деревнях. Звучало «Сражение в...», «Отстояли...», «Вытеснили противника из...», «Разбили того-то в...» – познавательно, интересно, но как из учебника.

Говорили теперь только о боях – поначалу оптимистично или отстраненно, как о научном вопросе; после поражения на М. («главная катастрофа нынешнего века», как окрестили его либералы) – наивно-трагично или с руганью в адрес правительства и генералов. В августе в парламенте говорили, что война закончится в августе... может быть, в сентябре, если противник покажет себя хорошо. Но осенью уже мало кто верил в победу в этом году. Близкие и случайные знакомые сходились на том, что жить нужно и можно. Волноваться – но, говоря объективно, волнение никому не поможет.

С войны отец писал часто, но больше глупо и сухо, и письма его, от его страха высказать лишнее, были скучны. На его фронте с августа шли позиционные бои; противники увязли и, не уступая друг другу ни километра, несли большие поте-

ри. Лизель хмурилась, читая об этом. Затем убирала письмо в шкатулку и говорила, что напрасно Райко пожертвовал их коттедж на В. мобилизационному штабу. Она хотела новой весной оставить столицу, но, из желания Райко быть полезным военным, не могла уехать в собственный дом.

В новом году в столице начался большой голод. В январе, по распоряжению правительства, из свободной торговли изъяли пшеницу, рожь, ячмень и овес. Тыловое население снабдили продовольственными карточками с указанием норм на человека: вначале на хлеб, а позже на молоко, жиры, яйца, сахар, картофель, морковь и другие овощи. Взрослый человек мог получить в неделю два килограмма хлеба или же 220 граммов муки в день.

Дети первое время обедали в школьной столовой, где плата за завтраки была скорее условной. Позже питание у них отменили. Теперь на большой перемене Дитер и его сестра Регина (ее он обычно не вспоминал) прибежали из школы домой, и Лизель кормила их супом с ржаным хлебом. Она во многом отказывала себе, чтобы им было полегче, отчего за полгода сильно похудела и рано начала стареть.

Посоветовавшись с мужем, она пошла в военный госпиталь и предложила там свои услуги. Лизель ничего не умела, даже замотать рану бинтом, но руки были нужны, и ее приняли. В первый свой день она несколько раз повторила сыну, чтобы он позаботился об уроках сестры и чтобы они не ждали ее и сами стготовили себе ужин. Возвратилась

она очень поздно и, не включив свет, упала с облегчением в кресло. Дитер вышел из своей комнаты и спросил:

– Очень устала?

Она не ответила. Он решил не мучить ее.

Но во второй вечер, после полуночи, Лизель еле доковыляла до постели, от ужина отказалась и, должно быть, плакала у себя. В третий раз сыну пришлось самому разувать ее, усаживать в кресло и растирать ее опухшие ноги. Вдруг Лизель упала лицом в ладони и воскликнула:

– Не могу так больше! Меня тошнит! Я ненавижу себя...

Дитер, прости, я не могу больше!

Повторяя это, она позволила уложить себя в постель.

Трое суток она отлеживалась. Он же прогуливал школу, чтобы ухаживать за ней, а близ него все время вертелась младшая сестра и, как назло, капризничала. Разозлившись как-то на ее манерные стоны, он влепил ей пощечину. Регина завизжала и бросилась жаловаться. Он на то лишь ответил:

– Сама напросилась! Нечего путаться у меня под ногами.

Мать и так больная, а ты и к ней лезешь, и ко мне. Покоя от тебя нет.

Злился он и на мать, потому что она заставляла его кормить Регину вареной брюквой, а та опять бралась капризничать и хныкать:

– Не хочу я ее есть!.. Сейчас вырвет! Сам съешь!

– Ну и умри с голоду! Дура!

Денег оставалось мало, но, имей они больше, это бы не

помогло – военный дефицит уравнивал военных, богатых, интеллигентов и рабочих. Нормы уменьшались и ухудшалось качество: в магазинах вместо говядины отпускали вонючую конину, якобы мясные паштеты (из бумаги?), кофе заменила смесь ячменя и цикория, сахар – сахарин, масло – маргарин, свежие овощи – сушеные или же незрелая брюква. Женщины, которые лучше мужчин чувствовали время, гонялись за новыми рецептами: варенья из шиповника, мушмулы и диких яблок; желе, суфле, паштетов и колбасы – из речных и морских ракушек. «Военные кулинарные книги» ценились больше, чем священные тексты.

В газетах писали, что «излишки» отправляют военным, но Райко с фронта утомленно писал: «...Мы все, вне зависимости от званий, питаемся либо сухарями, либо зачерствевшим или заплесневелым хлебом. Мясо бывает, но часто оно испорчено, с червями, и есть его невозможно. Счастье – кусок мягкого хлеба с кусочком маргарина или несколькими капельками меда. В войсках настроение ужасное не от поражений, а от плохого питания. Вы пишете нам из тыла, и мы знаем, что живете вы хуже нас. Нам пишут, что из картофельной кожуры вы печете хлеб, из травы варите супы или готовите „голубей крыш“ – я слышал, так сейчас называют кошек. Всякие у нас есть – и патриоты тоже, но больше таких, что устали от войны и хотят вернуться к себе, заняться устройством хозяйства. Мало кто может ответить, зачем мы сражаемся. Я и сам не могу сказать, зачем мы сражаемся. Я

забыл это – или не знал никогда...»

Из тыла она отвечала: «...Спасибо, что не забываешь нас! Среди прочего ты пишешь, что отправлял нам очень много писем, но почта наша работает нерегулярно, и за последние три месяца это первое твое письмо, которое мы получили. Спасибо тебе за него. Я по тебе очень скучаю. Спасибо тебе и за те деньги, которые ты нам прислал. В магазинах сейчас все очень дорого. За овощами простоять можно шесть часов разом, за мясом или хлебом – часов пять, за сахарином – часа четыре, не меньше. Дети болеют. Они ослабели. Я плачу, жалею их, но не знаю, что делать. Я не могу накормить их досыта. Умела бы воровать – пошла бы. А так знаю, что возьмут меня, – с кем я их оставлю? На кого? Картошки нет. На рынке можно купить что-то, но стоит огромных денег. Разве что те украшения, что ты дарил мне на свадьбу, обменять на свежее молоко? Если прижмет – обменяю. Заранее прошу за то прощения. Не обижайся на меня, милый мой Райко. Я очень часто болею. Дети лежат больные. Не знаю, куда деваться. Прости мне мои жалобы. Не знаю, настанет ли время, когда мы встретимся и больше не расстанемся. Прости меня за слабость. Но больше писать нечего...».

Потом, в других письмах, она еще лгала, что еду можно найти, что она ходит в магазины и на рынок и даже обменивает детям молоко – так она не хотела волновать его.

А они с ноября ели раз в день в кухмистерской на открытом воздухе, на площади Александра. Чтобы получить свою

порцию, стояли часа три на холоде: очередь тянулась через две улицы, мешались бедные одежды и прежде модные, кепки и широкие женские шляпы. За плату на выбор выдавали овощной суп или питательный «айнтопф» – субстанцию из дешевого белка, из прессованных дрожжей, из отходов с бойни. Младшая Регина заставляла себя есть, рыдая в голос; часто ее рвало тут же, и опять она рыдала, жалуясь на голодное жжение в желудке. Брат обрывал ее грубо, но тихо, чтобы не вмешались старшие и тем более мать; ругательства он выучил отменные и потчевал ими сестру с удовольствием.

К этому времени он стал слабым, тощим и ненавидел себя за неослабевающее чувство голода. От недоедания у него часто болела голова. Учиться он не мог, но заставлял себя вставать с постели и идти на занятия. В классе его оставалось семь человек, остальные одноклассники слегли с болезнями или были так слабы, что не выходили из дома. Как-то, возвращаясь из школы, он потерял сознание и, очнувшись у себя, узнал, что его донес знакомый матери. Встать он более не мог; голова раскалывалась, он чувствовал невыносимый жар, конечности его словно были скованы, и он слышал, как кровь бежит по венам. Болело так, что сердце, казалось, разорвется. Это начинался тиф. Очнись он от тяжелейших путаных галлюцинаций, узнал бы, что не он один страдает. Сестра его скончалась. Мать, что была близ них обоих, перенесла Регину в его спальню, устроила ей мягкую постель и вслушивалась то в ее, а то в его дыхание. Регина умерла,

пока мать спала, от усталости упав на краешек постели сына.

Он проснулся через две недели. В голове стучало, в горле было сухо и противно. Чуть приподняв затылок, он сквозь пелену увидел истощенную фигуру матери. Красноватый свет дрожал в ее прическе, истончившиеся руки лежали на его ногах.

– Мамочка... – Он попытался сесть.

– Боже... тише... тише... Ты поправишься.

И она зацеловала его лицо с неестественно огромными глазами. Потом со вздохом отпустила. Бессильно он рассматривал голубые вены на ее белых запястьях. Он не был счастлив. Не был и спокоен. Он устал и хотел спать, спать много и мучительно.

## 1940

– Уверен, это глупая шутка. Катя решила нас напугать.

– С чего ты взял? Это на нее не похоже. Она бы... как бы она могла...

– Так с тобою поступить? Полагаю, она разозлилась.

Он помог Марии спуститься. Она слегка сжала его запястье и сказала:

– Нам нужно убрать указатель, тот, что на дороге. Он... неправильно написан.

– И что же?

От изумления у Марии приоткрылся рот. Беспечность его

была и мила, и невыносима. Он с улыбкой поглаживал круп лошади и, казалось, размышлял о хорошем, далеком и от нее, Марии, и от их дома.

– Как – что же? – резко спросила она. – Я не хотела тебя беспокоить, но это уже слишком! А если о нас скажут в деревне или приезжие, что мы... что мы...

– И пусть. Почему тебя это беспокоит?

– О, а ты забыл, кто у нас в гостях? Альрих Аппель. Твоя кузина и ее муж.

– И Альберт? – улыбаясь по-прежнему, закончил он. – Что с того? А, я должен сразу навестить Софи. Как она?

– Сейчас же? Пока Катя не нашлась? Что может быть важнее моей сестры?..

– Спроси ее о Кате, Софи, возможно, сможет сказать. Она единственная была уверена, что мы поженимся.

– Твоя несерьезность, Дитер, меня убивает.

Он рассмеялся и, быстро поцеловав ее, повел лошадь в стойло.

– Дитер! – беспомощно крикнула она. – Мы не закончили! Дитер!

Вновь до нее донесся его ласковый смех. Нет же, он смеется, а я только и могу кричать ему вслед: «Дитер, вернись, я должна тебе сказать!». И все же пусть он напоминает ей юношу, которым не был и в 16 лет, чем снова заметить в его глазах бессильную, унижительную обреченность. Пусть веселится, раз уж так, хочет бравировать и не бояться, как иди-

от, – что она может сделать? Не отправится же сама ломать эту проклятую вывеску?

На ступеньки к ней вышла грустная горничная. Мария мельком взглянула в ее блеклое выражение, но прошла мимо, и та ничего не сказала. Далее, в дверях, стояла Софи и смотрела в пасмурное небо на границе с верхушками елей.

– Ваш кузен приехал, – минуя ее, сказала Мария.

Но Софи не ответила.

В гостиной по углам метался Аппель. То показалось Марии странным – его она оставила спокойным. Альберт, напротив, был безразличен; он рассматривал пушинку на своем рукаве и постукивал каблуком по ножке дивана.

– Что случилось?

Аппель остановился.

– Моя сестра нашлась?

Вышло ровно, как о чужом человеке.

– Нет, – ответил Аппель. – И пока никто не приехал.

– Понятно.

Она присела близ Альберта; он не обратил на нее внимания.

– Конечно, мне наплевать, – Аппель был слишком зол, чтобы молчать, – если вы хотите услышать – пожалуйста. Конечно, вместо того, чтобы готовиться, морально и физически... меня отправляют воевать, но зачем-то меня не могут оставить в покое, уже отправив мне повестку. Нет, я должен

быть на службе, я должен запускать свои колесики вне зависимости от моих переживаний и даже внешних проблем. Повестка – чем вам не проблема? Конечно, она не столь значительна, чтобы избавить меня от дальнейшей работы.

Он был столь саркастичен, что обязательно произвел бы впечатление, не переживай его слушатели по иному поводу. Не понимая, что он хочет сказать, Мария переспросила:

– Так что же произошло?

– А произошло, конечно же, то, что вот на этот самый телефон мне звонят и спрашивают бессовестно: «Конечно, мы знаем, что вас отправляют на фронт и вам нужно собираться. Но не могли бы вы написать речь г-ну М.? Это срочно! Никто, кроме вас, не справится! Конечно же, отказ не принимается, г-н М. привязан к вам, больше – он в восторге от вас! "Единая Империя" рассчитывает на вас!». Спасибо, конечно, что вы признаете мою «гениальность». На протяжении последних лет вы кормите меня комплиментами: «Вы восхитительны! Ваш талант проникает в самую суть! Никто не пишет такие глубокие и одновременно простые статьи, способные впечатлить необразованное большинство!» И что в итоге? Конечно, вы мучаете меня. Вы пьете из меня все соки и, кроме ваших похвал и бесполезных подачек, я, конечно, не получаю ничего. Даже отсрочки от армии! «Конечно, вас направят в штаб». В штаб на линии фронта? Меня заставят стрелять. Возможно, меня будут высмеивать. А когда я буду лежать в грязи и крови в вашем штабе на линии фрон-

та, сверху на меня, конечно, будут сыпаться ваши письма: «Срочно напишите статью, "Empire Today" умирает без вас». И это не кончится. Это, конечно, не кончится, пока кто-то с той стороны не прострелит мне голову.

– Возможно, штаб – это не так уж плохо, – ответила Мария.

– В сравнении с чем?.. О, меня убьют там! Я чувствую! Чувствую! И пусть меня убьют! Хорошо! Но, конечно, знаете, что мне обидно?

Он оглянулся на Софи, что возвратилась и снимала в промежутке грязные туфли (она гуляла в деревьях). От безучастности ее – она слышала его – Аппель стал мрачнее прежнего.

– А неприятнее всего то, – с вызовом сказал он, – что она нисколько не раскаивается. Она ошиблась! Она сказала, что я спасусь. Она сказала, что я не умру...

Альберт зло рассмеялся – то был жуткий низкий смех, от которого Марию пробрала дрожь.

– Она никогда не ошибается, – сказал Альберт. – Не так ли, Софи? Она всегда знает, чем все закончится.

– Но она ошиблась! Слышишь, ты ошиблась! Ты что мне предсказала?.. Ты сказала, что я, конечно же, не умру!

– Я. Вам. Этого. Не. Говорила.

Аппель замолчал, как поперхнувшись голосом. Софи прошествовала мимо него босиком и с безразличием, словно он был тенью из нереального мира. Невесомая сила ее ошеломила присутствующих настолько, что они не могли пошеве-

литься. Ни на кого не взглянув, Софи полетела на второй этаж. Мария сморгнула.

– Конечно, но как это так получилось?.. Она знала, с самого начала знала, что мне придется сделать этот выбор. Она говорила, что я умру, если не уступлю. И все закончится – вот этим? Конечно...

– Вы сходите с ума, – сказала Мария. – Фронт – это не обязательно смерть.

– Ты говорила с ней о Кете? – глухо спросил Альберт.

– Что? Нет.

– Ты убежала, а потом, минут через пять, она спустилась.

– Что? И что? – воскликнула Мария. – При чем тут Софи?!

– Она спросила меня, нашли ли тело «моей девушки».

## 1938

Письмо от Марии пришло в феврале, 19-го числа, и было спрятано в коробке с пластинками. Писала Мария так:

«14 февраля, 03.21 ночи.

Мои милые!

Извините, если мои ранние письма принесли вам несколько неприятных минут. Нынешнее, я боюсь, доставит вам не меньше разочарований, но мне нужно что-то написать. Нет, я счастлива, счастлива настолько, что мне совестно.

Но Д. переживает, которую ночь не может заснуть, и мне нужно давать ему успокоительное. Он говорит, что все само образуется, но сам не верит в это – он хочет меня ободрить, но лучше бы он испугал меня.

Его начальника сняли с должности – что говорят об этом? Что мне – его начальник? Глупость, пусть я малодушна, пусть я ничего не понимаю и не знаю, но мне ничто не важно, кроме любимого мною человека. Это Д. брался защищать своего, этого; хотел, глупый, невиновность доказать, чтобы того восстановили в должности. Глупый! Он смеется, что я называю его так, но смеется весело, понимая, что я не ругаюсь, а беспокоюсь за него. Тех, кто был за Ф., нынче увольняют и ссылают, и его может постигнуть та же участь. Он же ничего не умеет – только служить. Он так разумен, так эгоистичен – но он был очень привязан к Ф., считал его своим учителем.

„Может, не нужно было беспокоиться о генерале Ф.? – не утерпев, спросила я. – Сам был бы целее!“

Он меня не понял.

„Как? Не хлопотать о генерале Ф.? Он был мне на службе вместо отца. Ты ничего не понимаешь. И я знаю, что он невиновен. Я не мог не заступиться за него!“

„А если они из-за этого тебя уволят?“ – снова не стерпев, спросила я.

Он поразмыслил и затем сказал: „Тебе не в чем меня упрекнуть. Если бы речь шла о Б., я бы ничего не сказал. Но

человек, которого я люблю и уважаю? Да хоть весь мир бы ополчился против него – но это близкий человек!“

Не скажу, что не понимаю его. Возможно, я лишь ревную его – как, он любит кого-то? Пусть Бог сжалится над ним и пошлет покой его голове.

У него появились боли в сердце. В семье у него разлад. Если его уволят и он в это же время лишится жены, он останется совсем без средств к существованию. Я уговариваю его не пить, вместо алкоголя даю успокоительное, но спать он все равно не может. Он постоянно курит. Ночью у него слабое дыхание; раз или два ему казалось, что он задыхается.

Ты, возможно, станешь смеяться, Катя, но самое прекрасное в человеке, в мужчине, – это его дыхание. Я все лежу и слушаю, и слушаю, и в голове у меня вертится что-то смутное, как в полусне – а я не сплю.

Простите, если встревожила вас своим письмом.

P.S. С партией сложно.

Со столичным единым имперским приветом, ваша Мария».

Ознакомившись с письмом после Кати, Митя спросил у нее:

– Ты напишешь ответ?

– Я боюсь, его могут прочитать, – честно сказала она. – Мне ничего не будет, а Марии может и влететь. Меньше всего я хочу ей неприятностей.

– Но это письмо, кажется, никто не нашел, – возразил Митя.

– Ты в этом уверен?

– Она сумела его спрятать. Ты тоже можешь спрятать свое. Пошли ей пластинки или что-то... что можно использовать, полезное, и вложи письмо... так, чтобы его не заметили.

– Марии можно послать шляпу, – поразмыслив, решила она. – Я видела их шляпы – это сущий ужас! Да, я пошлю ей шляпу. Тем более, что я больше не сержусь на нее. Я куплю ей белую шляпу. С вуалью, чтобы летом носить.

Так она написала Марии:

«...А меня вот недавно слегка покалечило. Я отлеживалась несколько дней. Я считаю, бессмысленно ходить на митинги – нового на них не скажут, а по голове дубинкой получить можно. Тетя Жаннетт отобрала у меня Чехова, депрессивного автора, и втюхала мне Фицджеральда – а его я терпеть не могу. Я всего лишь хотела доказать Мите, что он не прав – это бы меня успокоило. Митинговавшие побили витрины; а потом стрелять начали, потому что приехали полицейские. Кого-то в панике затоптали. Митя меня бросил! Он убежал, а вернулся за мной в порванном пальто и без бумажника. Я была на земле и не могла встать без его помощи. К счастью, мое пальто цело, но ногу я поранила. Митя дал мне отпуск. Тетя на него налетела: „Кто вы такой, чтобы подвергать жизнь моей Кати опасности?“. Своей близостью

она, наверное, хотела довести меня до самоубийства. Потом пришел Митя и сказал, что мне нельзя лежать, а нужно работать. И мы поехали. Я решила, что Ш. убили, но оказалось, что случилось соглашение. Никто не умер! Мы с Митей поругались – опять. Он сказал, что плохого мнения обо мне – я же женщина! Он сказал: „Я плохого мнения о большинстве женщин, если честно. Мне кажется, у женщин не бывает принципов, только чувства“. Скажи, что это за намеки? Я ему пожаловалась, что у меня нет дома, а он не понял меня. Почему? Прости, что я сказала ему о тебе. Прости, пожалуйста, а? Я сказала: „Я всем чужая! А это Мария чужая – не я! Это нечестно! Мария – чужая, а я своя, у меня их язык, их прошлое, их память. Я ничего плохого не... я же люблю их!“ Он считает меня идиоткой. Он оскорбляет все, что я люблю. Он ничего не понимает и меня же считает во всем виноватой. А это нечестно! Нужно спросить А., но я не знаю... он на все, на все, на все обижается...».

Днем у них выбило окно – неудачно бросали бутылки с зажигательной смесью. Попасть пытались по квартире чиновника, что бежал из страны тремя днями ранее.

Тетя Жаннетт, которой испортили аппетит, часто вставала и выглядывала, словно сама хотела получить по лбу новой бутылкой.

– Ах, как это похоже на нас! У нас, в Петрограде, тоже кричали: «Долой правительство!»

– О, воображаю вас на баррикадах, – ответила Катя. – Вы, я уверена, были лучше всех.

– Конечно. Отчего тут баррикады – исключительно мужское предприятие?

Жаннетт села обратно за остывший искусственный кофе.

– Мне начинает казаться, что нас прокляли, – менторским тоном сказала она. – Ах эти несчастные «австры»! Право, мы приносим несчастье всем странам, в которых оказываемся.

– Любопытно, зачем вы нас пугаете? – устало спросил ее Митя.

– Жаль, что мы ничего толком не знаем, – притворившись, что его нет, сказала Жаннетт. – Если бы мы могли узнать больше...

– Мы знаем достаточно, чтобы... – снова перебил ее Митя, но на этот раз она не дала ему договорить.

– ...Мне кажется, нам нужно позвонить Альберту и спросить. Как ты считаешь?

– Я? Вы меня спрашиваете?

– Ну не саму же себя! Почему бы не позвонить ему и не попросить его, скажем, прийти?

– Ага, конечно, – перебил ее Митя. – Давайте, звоните! Кому знать, как не ему, верно? Он, наверное, затем и приехал, чтобы тут шпионить. Его сюда и послали эти, его, из партии, чтобы он все тут вынюхивал. Это не так? А, может, он – специалист по взрывчатке? Он приехал, чтобы что-то взорвать?

– Делать ему больше нечего, – ответила Катя.

– Но кто-то же все-таки взрывает! Кто убивает? Кто гранаты бросает?.. Это «Единая Империя» их сеет смуту, ей хочется устроить бардак по соседству. Но, конечно, он не такой!

– Ты бываешь невыносимым!

На их нервный диалог тетя Жаннетт улыбалась. Она умело влияла на Митю, который был уязвим в злобе и, невольно подыгрывая Жаннетт, действовал Кате на нервы. Желая более позлить его, Жаннетт расписывала ему положительные качества того, второго человека, а Митя это истолковывал иначе, со знаком минус, оттого вообразил себе дополнительно пороки и грехи, о которых знать не мог. В какой-то момент, наслушавшись Жаннетт, он решил, что Катя во всем того человека понимает и поддерживает, и это привело его в ужас. Чтобы выплеснуть озлобление и разочарование, он без причины стал придирается к невесте, а раз и вовсе упрекнул ее в лени – из-за ее нежелания пойти на очередной митинг.

– Интересно, а на что там смотреть? – возразила на его претензию Катя. – Я тебе могу написать, что они тебе скажут! Неужели лозунг «Долой то и вон то!» нужно разьяснять? Почему я позволяю тебе собой помыкать?

– Потому, что я плачу тебе деньги за это, – не сдержавшись, выпалил он.

Они замолчали на время, пока он расплачивался с офици-

анткой за кофе. Она слушала радио: «Около десяти миллионов наших соотечественников живут в двух государствах, расположенных близ наших границ. Для мировой державы больно сознавать, что наши братья по крови подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией и разделить ее судьбу. В интересы нашей страны входит защита этих наших братьев, которые живут у наших границ, но не могут самостоятельно отстаивать свою политическую и духовную свободу».

– Радио сожрет твой мозг, – тихо заметил Митя.

– Знать бы, зачем он нужен.

Вместе они вышли в черную улицу.

– Снег...

Чтобы она не обижалась, Митя обнял ее за плечи, как близкого человека; сказал:

– Прости меня... не хотел на тебя срываться. Эта работа... мне тяжело.

– Ах, а мне легко, разумеется.

В новом молчании они шли с полчаса. На дальней улице захлебывалось «правительство» и его «долгой» – но Катя все равно отказалась идти и встала на углу, прислонившись спиной, ослабевшая и странно бледная для февральского холода.

– Я трусиха – так ты считаешь? – внезапно спросила она. – Ну, скажи! Я трусиха?..

– Не знаю.

– А, ты не знаешь!

– А если скажу, что трусиха, то что? Если скажу – тебе станет легче?

– Станет! Знаешь, станет!

– А-а-а...

Спотыкаясь, как проваливаясь в ямки, он ушел без нее за угол. С закрытым лицом она простояла несколько минут, а почувствовав что-то мягкое и влажное близ ног, посмотрела вниз – там была грязная бездомная кошка.

– А ну пошла прочь! Убирайся!

Ей стало стыдно и страшно за себя: она понимала, на что обижается Митя, и жалела его. Схватившись за стену, она перешла за угол и пошла, постепенно ускоряясь, надеясь догнать его, быть может, на соседней улице. Он действительно стоял у остановки, один. Он даже не заметил, что его схватили за руку, а обернулся на слова:

– Митя, Митя, я прошу тебя, прошу тебя, пойдем домой! Пожалуйста, пойдем домой! Пойдем же, Митя!

– Что? Неприятно? Испугалась? – Он не отнял руку.

– Что? Ну что? Пожалуйста, прошу тебя!

– Не нравится смотреть, что это такое?

– Они просто идиоты!

– Да, да... идиоты. Ты так считаешь? Звучит очень... мягко. А? Я знаю! Тебе неприятно... Когда ваши партийные подначивают толпу и громят, притворяясь борцами за справедливость, оправдывать их сложно, так же, Катя?

– Ну вот зачем ты начинаешь?

– Чтобы ты это признала! Ты хочешь оправдать своего дружка, одного из них, я знаю! Ты боишься посмотреть правде в глаза! Он такой же, как они! Какой душой нужно быть, чтобы этого не понимать?!

– Да как ты можешь говорить о человеке, которого не знаешь? – воскликнула она. – Ты ничего о нем не знаешь!

– О, да, ничего! Зато ты его хорошо знаешь, Катишь, а? Он милый, пушистый, добрый и все такое прочее! Они все такие, пока до дела не дойдет! Я его не знаю... Не хватает еще, чтобы я его знал! Милый, пушистый «Берти». Я навел справки о его семейке. Ты знаешь, что это такое – его семейка? Мать руки целовала их лидеру. Отец жертвовал деньгами. Знаешь, что писал его отец? Знаешь, что он написал? С каким восторгом его папаша писал о лагерях, размышлял, какие казни выгоднее и сколько можно уничтожать в лагерях ежедневно! И ты думаешь, сын чем-то лучше? Как отец гнида последняя, такой и сын, могу поспорить! А ты губу раскатала, оправдываешь: «Ах, он такой хороший!» Да, хороший! Как форму красивенькую снимет и ручки от крови отмочет, так сразу и хорошим станет! Почитай, с каким удовольствием в семье его рассуждали о казнях! Это уже давно не фантазии! У меня были друзья, которые узнали это на собственном примере. А твой хороший и милый, может быть, их арестовывал, допрашивал их, мучил их! Это уже давно не просто слова, не чьи-то размышления, – это наша жизнь! Почитай,

тай, получи сама удовольствие! А потом помечтай о нем ночью, если совесть позволит! На вот, возьми!

С наслаждением он швырнул ей в лицо пожелтевшую газетную вырезку. Опешив более от слов, чем от удара, она застыла, и не знала, что ответить, и злилась тоже, считая себя незаслуженно обиженной.

– Ты просто... ужасный идиот, – наконец произнесла она.

Она не запомнила, как вернулась домой, одна ли она шла или ее провожал Митя. Она очнулась в своей спальне, за чтением; читала, половины не понимая и часто возвращаясь в начало абзаца. Жаннетт, что зашла к ней после полуночи, присела на кровать и обняла ее голову.

– Почему в мире так много несправедливости?

Жаннетт еле слышно вздохнула.

– Почему нельзя жить спокойно? Зачем мы мучаем друг друга? Ради чего?

– Этот мир... он разрушается, милая.

– Но почему?

– Потому что больше нет Бога, и некому нас защитить. А мы слишком слабы, чтобы не мучить друг друга. – Помолчав немного, она добавила: – Этот юноша, Дмитрий, не принесет тебе счастья. Оставь его, пока не пожалела.

– Не хочу.

– Но ты его не любишь.

– Ну и что?

Жаннетт промолчала.

– Любовь – это большая боль, – сказала она. – Быть может, в чем-то ты и права. Любовь тоже хорошим не закончится.

И аккуратно Жаннетт разжала ее кулак и взяла у нее старый листок.

Митя долго не появлялся; позвонил лишь 24-го числа, чтобы спросить о самочувствии Кати. Лежа в постели, накрывшись двумя одеялами, она за металлическим шумом пыталась расслышать его странно неровный и обеспокоенный голос.

– Эм-м... а где ты находишься?

– В Г. Я не хотел тебя беспокоить. Я нашел, с кем мне работать. Можешь за меня не... а, черт! Можешь не волноваться!

– Ты считаешь, что я ни на что не гожусь?.. Я понимаю.

– Я думаю, что тебе с твоей теткой лучше уехать. Куда захотите. Остаться в В. небезопасно.

– Пока ничего страшного не случилось, – ответила Катя. – Не понимаю, к чему такая спешка. Ш. сказал, что нам не о чем беспокоиться. Протесты имперцев скоро закончатся. И никто страну не оккупирует.

– Разве он это сказал?.. Я слышал, что в В. опять была демонстрация.

– И что? Они у нас постоянно.

– Ну, послушай! Они агрессивные... и неменяемые, что ли, – волнуясь, перебивая ее, заговорил он. – Полиция на

их стороне. Все разумные люди... ты разумный человек, Катишь? Ш. ничего не может, понимаешь? Послушай меня! Твое счастье, ты не видела, что творилось у нас. Полиция никого не... Катишь, ты меня слушаешь?

– А что?

– Катишь, пока можно достать билеты, в любое место... как у вас с документами?

– Как вернешься, навести нас.

– Нет, послушай, это срочно...

Осознавая, что он искренне беспокоится за нее, она оттого и хотела поступить наперекор ему. Уезжать ей совсем не хотелось, пусть бы хоть все фашисты страны вышли и требовали отставки правительства. Она даже не заговорила о том с тетей и с упрямством решила, что останется уже потому, что Митя считает катастрофу неизбежной.

Недели через две, правда, она передумала.

Жили они теперь с тетей на втором этаже и в районе, который часто бывал центром уличных схваток. К первым числам весны в их квартире не осталось целого окна; занавески были предусмотрительно сняты – на случай, если прилетит «зажигалка». Ночью за окнами визжали кареты скорой помощи, в кого-то ежечасно стреляли и, говорят, убивали.

Числа 5-го, оголодавших, с головной болью, их нашел Митя. Поняв, что им страшно, он спросил, не нужно ли сходить в магазин вместо них.

– О, это было бы замечательно! – забыв о неприязни к

нему, ответила тетья Жаннетт. – Возьмите деньги. Мы боялись выйти... мало ли что еще, понимаете?

Он поторопился уйти, а возвратился спустя час (что обеспокоило их, ибо он обещал дойти лишь до ближайшего магазина, на соседней улице), причем вернулся в порванном плаще и без шляпы.

– Что с вами случилось? – зачем-то спросила его тетья Жаннетт.

Не отвечая, не снимая верхней одежды, он передал пакет Кате, а сам упал в кресло.

– Мы, наверное, хотим уехать, – тихо сказала Катя, присаживаясь на пол близ него.

– О, неужели?.. Вас не убило камнем? И националисты не разорили ваш дом? Счастье-то какое!

– Ну зачем ты издеваешься? Сейчас не время ссориться, ты же понимаешь.

Нехотя он согласился. Жаннетт с облегчением выдохнула. Как бы она ни презирала коммунистов (а Митя по-прежнему был коммунистом), этот человек единственный мог им помочь. Понимая это, и не услышав ее просьбы, Митя сказал, что сам обо всем позаботится и им не нужно будет бегать по вокзалам, выясняя подробности и подвергая свою жизнь опасности.

Провожая его до двери потом, Катя поинтересовалась, как же он останется в В., рискуя быть арестованным или убитым фашистами.

– О, ничего страшного, – наигранно ответил Митя. – Ну, подумаешь. Я не первый и не последний.

– Ну, тебе смешно, – обиженно сказала она. – А мне как-ково? Почему ты обо мне не думаешь?

– А что я делаю, по-твоему?..

Оба замолчали, злые друг на друга.

– Катишь, моя работа очень неприятна, – после паузы ответил он. – Корреспондент всегда рискует безопасностью, а в нашем случае и жизнью. Ты знала это с самого начала.

– Но мне не нравится, что ты...

– Хорошо. Но кто расскажет людям правду?

С осознанием, что он до отвратительного прав, она качала головой.

– Мне жаль, но не я решаю, какой должна быть наша жизнь. Я... мне честно... очень жаль. Я не хочу ничего, всего лишь рассказать людям... самым разным, на другом конце света, какую несправедливость мы видим здесь, под нашими окнами. Я не верю, что это что-то изменит. Но мы должны... должны рассказывать, пока есть возможность. Наверное, со стороны это глупо звучит.

– Нет, – тихо ответила она. – Извини меня. Это твоя работа. И я полностью... я...

– Я понимаю. Спасибо.

Он наклонился, чтобы поцеловать ее.

– Как узнаю, позвоню, – бросил он, уходя. – Приготовьтесь.

Оббежав все места, в какие ему советовали обратиться, и потратив на это двое суток, он сумел достать билеты на 11-ое, на поезд, отбывающий ночью переполненным. Других вариантов не было – все было занято, многие соглашались ехать стоя, в основном, из иностранцев и местных, боявшихся за свои семьи из-за прошлого у коммунистов.

– Что же мы будем делать до 11-го? – спросила Катя.

Думая о ее неблагодарности, Митя напомнил, что это их единственный шанс уехать из страны.

– Ну, это хоть что-то... это уже успех, – сказала она после, чувствуя его обиду.

Так, нужно было ждать до пятницы 11-го числа.

В среду Митя их обеих сводил на «Трех сестер» в местном театре. Так как на улицах установилась тишина, даже не было машин, они до дома шли пешком, думая синхронно, что вот-вот наступит оттепель и можно будет отказаться от теплых шапок и перчаток.

Хотя сгустился вечер, Митя к ним поднялся и без стеснения уселся в их гостиной; он был спокоен, отчасти и весел, но что-то в нем, неловкое, не нравилось и раздражало Катю. Она, не избавившись от вечернего туалета, не присаживаясь, изучала комнату, и все в ней чувствовало, что на нее странно, в ожидании смотрят. Устав от них, Жаннетт извинилась и ушла к себе; ей тоже было неловко, как пожилому человеку, который мешает молодым решать свои проблемы.

То, как ее бросили, испугало Катю.

– Чего это она ушла?..

– Она устала, очень много хлопот, – объяснил Митя. – Не хочет нам мешать...

– А что – мешать? Разве она нам может помешать?

Зачем-то она присела, чтобы он мог до нее дотянуться.

Происходящее было необъяснимо ужасно, словно она в одно мгновение лишилась воли и не понимала, как с этим можно справиться.

– Ты можешь меня не трогать? – возмутилась она, хотя сама же села так, чтобы он мог к ней прикоснуться.

– Катишь, ты странная, – убирая руку, сказал Митя.

– Я? А ты?

То, что мог с ней сделать этот человек, казалось ей теперь противоестественным.

Понимая ее неприятие, он поспешно встал и взял свои перчатки – в них он был похож не на журналиста, а на военного. Уже раскаиваясь, она его окликнула:

– Извини, Митя, я... оставайся, если хочешь.

– Мне нужно быть в И. пораньше утром. Да и не хочется твоих одолжений. Хорошо вам... попутешествовать.

С облегчением она закрыла за ним дверь: она чувствовала себя корыстной (я же воспользовалась добротой хорошего мужчины!) и сама же отговаривала себя, успокаивала, что не желала быть эгоистичной с ним.

Наутро Жаннетт у нее поинтересовалась, во сколько ушел

Митя.

– Сразу после того, как вы отправились спать, – резко ответила она.

– О-о-о... понятно. Он по-прежнему жених?

– А что? По-прежнему.

– Так что же ты его выгнала?

– Я его не выгоняла, – сквозь зубы ответила она. – Он сам ушел.

– Он с нас денег не взял, – заметила Жаннетт, – поступил по-мужски, знает же, что нам тяжело было бы заплатить за билеты. Старомодный. Вашего поколения мужчины сначала спрашивают: «А что я буду за это иметь?». Хотя он такой миленький временами...

– Ну тетя, пожалуйста.

– У коммунистов бывают такие миленькие мальчики...

– Мне нравятся постарше.

– Ха, это пока. Девочкам вечно нравятся старые да седые, они считаются умнее и серьезнее. Хотя вот мне всегда нравились помоложе. Сейчас в тридцать пять уже наполовину седые, некрасиво. Я хоть крашусь, а они считают, что седина делает из обезьяны человека. А она старит.

– Вы совсем не изменились...

Она пробовала размышлять, как Мария: «Какая чушь! И почему меня заботит этакая чушь?». Но внешний мир был спокоен, только временами взрывался громкоговоритель: «Уважаемые граждане! Обязательно участвуйте в пле-

бисците... это решит судьбу нашей страны! Она должна остаться независимой, социальной и христианской! Если вы хотите, чтобы наша страна осталась свободной и...». Конечно, плебисцит! Возможно, они поторопились и лучше было бы остаться с Митей и посмотреть, чем кончится конфликт. Сомнительно, что Он втолкнет свою армию в страну, которая только что проголосовала за независимость от партий и империй. А если после этого начнется бойня...

Конечно, не стоило обижать Митю. Она полностью на его стороне – на стороне уязвимых, но честных. Как и Митя, она против того, чтобы Он оккупировал соседние страны... наверное. Она против. Поэтому не стоит обижать Митю.

В своей комнате она присела у собранного чемодана. Затем встала – чтобы оторвать лист календаря. 10 марта – вот-вот я покину это место. Опять скитаться по чужим углам – вместо того чтобы вернуться домой и жить, как раньше, устраивать политические вечера, играть в шахматы с Альбертом и в карты – с Альбрехтом. Опять уезжать, не имея ничего, кроме одежды и билета в один конец, уезжать – и снова все начинать сначала.

Она не могла спать. Полка ее была неудобной, под самым потолком, что не нравилось и очень мешало. Оттого она ворочалась несколько часов и слушала сонное дыхание остальных, и злилась, что единственная в вагоне не может заснуть.

Вдруг кто-то постучал металлом близ ее головы.

– Что?..

Решив сесть, она случайно и больно ударилась затылком.

– Вы кто? – требовательно спросила она.

– Спускайтесь. Одевайтесь! Живо!

Темный человек отошел – стучать около голов зазевавшихся. Другие уже показывали личные вещи и прилюдно переодевались из ночного в теплое. Шумно плакала, растянувшись на грязном полу, молодая женщина, а ей объясняли, нависнув над ней чиновничьим мундиром.

– В чем дело? – попыталась спросить Жаннетт, когда ее, хватая за руки, поволокли к двери. – За что? Вы что?.. У нас билеты, документы! Вы не имеете права!..

За полусонными людьми в сугроб полетели чемоданы и саквояжи. Жаннетт, которая по-прежнему не понимала, что происходит, из-за своего протеста грубее многих была выброшена из вагона; она неудачно приземлилась и подвернула ногу. Вылетевший за ней чемодан, ударившись о землю, распахнулся, и вещи из него вывалились в снег. Катя получила меньше – лишь оборвали ремешок на ее жакете, пока выталкивали с высоты. Она сумела встать, не потеряв сапожки, и тут же ей стал помогать энергичный пожилой еврей.

– Ничего, соберем, – сказал он ей и похлопал по плечу. – Вас не покалечили?

– Нет, нет... спасибо. Но почему? За что? Они... не дали нам проехать.

– Старый Исаак слышал, они говорили, что граница с утра

на замке. Мы первыми приехали.

– И... что же нам делать?

– Они нас с вами не выпустят. Как ваша бабушка?.. А, это ваша тетя?.. Понятно.

Он, кряхтя, помог Жаннетт встать. Идти сама она не могла из-за заболевшей ноги, и он, понимая, что племянница не справится с ней, взял заботу о Жаннетт на себя.

Шли они, поддерживая друг друга, в конце длинной процессии, по грязной узкой дороге, меся кое-где ногами сугробы. Катя волокла чемодан; ей было страшно и грустно. Постепенно светало, стало теплее, и вдалеке уже различить можно было бледные стены домов и их высокие и яркие черепичные крыши. То была ближайшая к границе деревня.

– Старый Исаак сожалеет, что вам тяжело. Но у меня самого, понимаете...

– О, конечно, – ответила Катя, – вы и так оказали нам большую услугу.

В обшарпанном постоялом дворе она и Жаннетт без аппетита съели по булочке с кофе. Место, как ни было тихо в нынешний час, навевало тревогу, и после завтрака Катя спросила у хозяина, могут ли они добраться до ближайшей железнодорожной станции, с которой возможно уехать обратно в В.

– Четыре с половиной километра.

– Сколько?.. Так далеко?

– Говорю вам, больше четырех километров. Пешком.

– Послушайте, – заговорила она поспешно, – неужели никто не может довезти нас до станции? У моей тети болят ноги, она не может идти. Мы не можем сидеть здесь, пока она не поправится.

Опуская глаза, тот объяснил, что ехать по дороге никто из местных не хочет – ночью, говорят, там были фашистские митинги.

– Но мы за все заплатим! Как вы не понимаете? Нам нужно ехать! Тут до границы рукой подать, а на ней черт знает что происходит. Мы не можем сидеть на границе, ожидая непонятно чего. Я заплачу, сколько вы скажете, только найдите мне возчика.

Несколькими часами позже, не забыв показать ей, как сложно ему это далось, он отыскал готового ехать на станцию человека. Катя пошарила в своем кошельке, после забралась в кошелек тети и все же наскребла озвученную сумму – это была грабировка, сравнимая с десятью поездками на такси в В.

– Ты заплатила ему **СТОЛЬКО** денег? – возмутилась после Жаннетт.

– А что я должна была делать?

– Торговаться! Почему ты ничего не сказала мне? Я бы сумела сторговаться!

– Вы себя плохо чувствовали. Я не хотела вас тревожить.

Тонко вившаяся в горных тенях дорога запружена была транспортом, а тот забит вещами – все старое и бесполезное,

увозимое из жадности, как бы это не забрали чужаки: слух, что армия вот-вот пересечет границу, пролетел по приграничным районам скорее рассветных оттенков. Кто побогаче, уводили с собой скот, привязывали к телегам; с коровами и козами путались, осмелевшие дрались до крови, если показалось, что сосед пытается поменять свою полудохлую тварь на откормленную. Жаннетт позже сказала, что шли они, как подранный собаками зверь. Мимо, с другой стороны, встречать чужую армию шли с транспарантами и флагами, запевали известную песню: «Я – фашист! И я знаю, что мне повезло! И я не отступлю никогда! Я – наследник отца всему миру назло!».

– Боже мой, я надеялась, что больше не услышу эту чушь, – пожаловалась Жаннетт.

– Не зарекайтесь.

– Я не зарекаюсь. Но мне страшно. К счастью, я не верю в ад. Потому что, Катя, если ад существует, я буду гореть в нем оставшиеся столетия.

– Оттого, что услышали эту песню первой? – ответила та.

– Оттого, что была соучастником этого преступления. Это творилось на моих глазах! В моем доме! Я... принесла вам всем несчастье. Не нужно было пускать Альберта и его братию. Мой эгоизм погубил меня и вас с Машкой.

– Бросьте! – Катя смотрела вверх. – Вы многих приглашали. Я помню вечера социал-демократов.

– Нельзя было связываться с «Единой Империей». Аль-

берт – это с него пошло! Нужно было прогнать его! И этого Дитера тоже! Нет же... умно, умно! Две девки молодые дома! Я, я из собственного эгоизма устроила шашни в своем доме!

Драматизм речи Жаннетт развеселил Катю. Она искренне рассмеялась.

– Вы уж определитесь, вы Альберта ненавидите или любите? Напомню, пару месяцев назад Альберт жил в нашем доме. Больше вам скажу: по возвращении в В. вы позвоните Альберту и попросите у него заступничества.

– Ну разумеется! – воскликнула Жаннетт. – В партийной стране просить можно только партийного! Остальные бесправны!

– Не пойму я вашу логику, – ответила Катя, – Альберт, значит, плохой. Режим плохой, получается. Вы их презираете. Но вам бы понравилось, стань я частью, как вы сами сказали, преступления, соучастником которого вы сами были. В чем же логика?

– В выживании. Вы с Машкой и без того погибшие. А оно понятно: от осинки апельсинки не появится. Я вас попортила, расхлебываю сейчас. И желаю одного: чтобы вы обе, если не получается жить по совести, выжили... быть может, и были счастливы. Лучше быть счастливыми с партийными, чем сдохнуть от их рук.

– Какого плохого вы обо мне мнения...

Она замолчала – и решила молчать столько, сколько смо-

жет. Она разозлилась на Жаннетт, что вызвала у нее сильные, болезненные воспоминания. От уверенности тети, что она не изменится, было страшно и противно. Как забыть, как Софи взяла мои руки и прошелестела, смотря выше моей головы: «О, я знаю, вы любите и любимы! Вы проживете долгую и счастливую жизнь. Я вижу красивый дом, и вас на втором этаже, вы живете в далекой жаркой стране, в которой растут пальмы и каждый день можно купаться в океане. С вами мужчина, которого вы знаете. Он очень любит вас. Вы просыпаетесь, если лают собаки. Вы боитесь, что за вами пришли. Но за вами никто не придет. Вы будете жить долго и, когда вы умрете, мужчина положит в ваш гроб засохшие листья и белые розы». Альберт, это был он, и Софи мне сказала...

– Что вы сказали?..

Хозяин отеля повторил прежнее.

– Я столько бы в «Империале» заплатила!

– Так езжайте в «Империал». Что вам мешает?

– Да что нам, на улице оставаться? Нет у нас таких денег!

Имейте совесть!

Смягчившись, он спросил у нее золотой кулон.

– Вы с ума сошли? Это память!.. А серьги не хотите?

– Видно, что дешевка – ваши серьги. Кроме кулона, ничего не возьму. Хотите?

Никаких пальм, океана и листьев с розами, нет, нет! Альберт, неужели я отдам ему твой подарок?

– За... забирайте.

Она заметила, что за ней следит незнакомый человек, судя по костюму, иностранец. Снова она встретила его в столовой, уже устроив тетю в комнате. Мужчина спросил, воспользовавшись моментом:

– Что, пройдоха выпросил у вас дорогую вещицу? Подарок?

– Да... от мамы осталось. А вы нездешний. Тоже журналист?

– А вы что, журналист?

– Нет, а вот мой жених – да. Акцент у вас жуткий.

– Спасибо за комплимент. Вы южанка? Не из Минги случайно?

– Вы слышите диалекты?.. Из Минги. А что в В. творится?

– Сами что, не знаете?

– Откуда мне знать, – возразила она. – Мы выехали ночью. Мы сутки шатались. Что я могу знать? Вчера все было спокойно. Может, вы знаете, если приехали недавно.

– За своих фашистов можете не переживать. Повесят они Ш., боюсь, по радио выступить не успеет.

– А что полиция?

– Полиция стоит и смотрит. Постойте... а вы не беженка?

– Именно.

– О, в этом случае... приношу извинения. Я вас не понял. Я решил, что вы за этих... Извините. Привет вашему жениху-коллеге.

Он услышал, что я много лет жила в Минге. Ничего не зная обо мне, он сказал о фашистах и партии и что они – мои... Как любезно с его стороны указать на это!

В комнате она тихо, чтобы не мешать тете, включила радио. Там играл классический вальс. Держа руки близ груди, она ходила из одного угла в другой, уговаривая себя не бояться. «Внимание! Внимание! Через несколько минут вы услышите важное сообщение!».

– У Марии тоже был метроном, – сказала себе она. – Омерзительный стук... А ей нравился. Как музыканты его выносят?

«Сегодняшний день поставил нас в трагическое и очевидное положение. Я должен подробно изложить моим соотечественникам события этого дня. Сегодня известное вам иностранное правительство вручило президенту М. ультиматум. М. должен был в течение непродолжительного времени назначить на пост главы правительства человека, которого назовет Его правительство. В ином случае Его войска вступят на территорию нашей страны. Сейчас я говорю всему миру, что распространяемые слухи о беспорядках в наших рабочих кварталах, о проливаемых потоках крови, о неспособности нашего правительства контролировать ситуацию являются от начала и до конца наглой ложью. Президент М. просил меня сказать нашему народу, что мы подчиняемся силе, что даже в такой тяжелейший для нас час мы не желаем кровопролития. Мы решили дать нашим войскам приказ не

оказывать сопротивление в случае вторжения. Я прощаюсь с соотечественниками с молитвой, идущей от самого сердца: боже, храни нашу несчастную страну!...».

Тишина – и за этим поставили старую пластинку с национальным гимном.

– Значит, вы вернулись, – сказал Митя.

Он прошел в гостиную, в которой Катя расселась на «обломках» бывшего благополучия. Из спальни тетя ей кричала: что в комнатах слишком жарко, и ярко светит солнце, и сквозняк, и плохие новые стекла – отчего они решили не заклеивать углы?

– Вот, лежит в постели и капризничает, – прошептала Катя.

Он заметил, что как-то неуютно с разбросанными по полу вещами.

– Ах, потерпишь! Я бы уже давно занялась этим, если бы тетя не валялась в постели второй день. Ее нога прошла, и шла она от поезда спокойно. Пока она не встанет и не поможет мне, я сама ничего не буду делать.

Митя сделал другое замечание, касающееся ее якобы бесчувственности, но его она словно не услышала.

– И что же известно? Я пропустила все самое интересное. А ты, небось, достал отличный материал. Конечно, ты вечно лезешь в самый эпицентр.

– Ты права, материал хороший, но... все равно мне нужно

смагиваться. Я серьезно... После 10-го числа я точно убе-  
рись отсюда. Я не дам засадить себя в тюрьму, пусть и не  
мечтают!

– Значит ли это, что я снова смогу с тобой работать? –  
оживилась Катя.

– Если хочешь, то конечно. Нам все же стоит пожениться.  
Сейчас. Тут.

Кате это не понравилось.

– В смысле, не уезжая из В.? До 10-го числа? Но ты мне  
говорил...

– Ну а теперь передумал! Какие-то проблемы? Не хочешь  
– так скажи!

– Ты не так меня понял, – нерешительно ответила она.

– Не хочу я жить с тобой без брака, ясно? Я консервати-  
вен.

Она тихо рассмеялась.

– Хорошо. Пожалуй, я согласна. Но что мне делать с те-  
тей? Мы поженимся и уедем. Правда, не знаю ничего о твоих  
планах. Но не думаю, что тетя поедет с нами. Кстати, может,  
ты хочешь ехать в А.?

– Никакого А., Катишь! Что там интересного? Мне что,  
писать о каких-то мелких случаях? Может, об убийствах?  
Нет, П. – вот, куда нужно ехать! Если будет война, то нач-  
нется она именно там. Даю голову на отсечение.

На вопрос о тете Жаннет он не ответил. Казалось, он наде-  
ялся, что проблема эта решится сама собой, он не хотел ду-

мать о том, что Жаннетт – человек пожилой и рассчитывает на помощь Кати. Его невесте нужно было принять сложное решение, и Митя ей сочувствовал, но – был в глубине души категоричен: в их совместной жизни тети Жаннетт быть не должно. Жаннетт, которой по возвращении в В. стало хуже прежнего, особенно зависела теперь от Кати и боялась своего соперничества с сильным и молодым мужчиной. Она осознавала неизбежность поражения, но желала держаться до последнего. Размышляя о скорейшем замужестве племянницы, она вспоминала заодно и Альберта и, вопреки своей нелюбви к нему, призвала его на помощь. Альберт бы ни в коем случае их не разлучил! Он бы не потребовал, как Митя, выбирать между прошлым, близкими и новой семьей в чужой стране! Альберт, несомненно...

– Решительно не понимаю, что за потребность отправляться в П., – заметила Жаннетт. – Вы, Дмитрий Иванович, говорите, что в П. может начаться война... так тем более там нечего делать, и Кате особенно.

– К сожалению, – нехотя он улыбался, – отбытие в П. связано с моей журналистской работой. Вам ли не знать, Евгения Дмитриевна, как сложна жизнь журналиста?

Жаннетт, что много лет отработала штатным корреспондентом, тут прочистила горло.

– Война сожрет вас, юноша. Вы не поймете меня. Вы не виноваты. Вы молоды, вы, молодежь, наивно уверены, что через все можно перешагнуть, можно пережить, можно вер-

нутья и начать заново. Не ваша вина, что вы наивны. Вы не поймете их никогда.

– А зачем мне их понимать? – сухо ответил ей Митя.

– Зачем?.. Я вам скажу, как человек их поколения, и я вам говорю, что мы прокляты. Я говорю вам: мы прошли через самую страшную войну в истории, миллионы погибли на ней, бессмысленно погибли, а мы, что остались, выжили телом, но не выжили душой. Разве вы это поймете? – Жаннетт с насмешкой глядела на него. – Не рвитесь на войну – вы не вернетесь с нее. С нашей войны никто не вернулся. Невозможно было пережить ее. Я вам как свидетель говорю: есть два пути – неприятия и смирения, и оба приведут вас к гибели. Неприятие – путь сумасшедших, одиночек, которые потом гибнут от водки или вешаются под окошком. А смирение – это их путь, тех, кто заглянул в глаза этому ужасу и стал искать ему объяснение. Это люди, которые видели слишком многое, и этот мрак поглотил их.

– Наверное, вы хорошо разбираетесь в их психологии... – с легкой шутливостью сказал Митя.

– Да. За годы общения с ними я поняла, что они ищут смысл в насилии. Должно быть оттого, что война, которая их покалечила, не имела никакого смысла. Психолог, с которым я говорила об этом, выдвинул теорию, что мы пытаемся найти смысл в событиях, на которые не могли повлиять и которые нас травмировали. Отчасти мы желаем повторить это, нам кажется, что второй раз, повторение опыта мо-

жет принести нам понимание, а вместе с ним облегчение. Говоря просто, если не закрытая травма связана с насил-ем, вы с большой долей вероятности захотите повторить этот опыт. Поэтому известны случаи, когда жертва специально вела себя так, чтобы снова стать жертвой. Например, жертва насилия нарочно не соблюдала правила безопасности, чтобы снова получить болезненный опыт. Или, например, жертва становилась мучителем, как бы сливалась с образом палача, перенимала его поведение – например, чтобы возвыситься, вытеснить его образ собственным или из веры-смысла, что быть палачом безопаснее и не так болезненно, как быть жертвой, то есть из страха новой боли и желания ее предотвратить, поставив себя на уровень мучителя. «Я не стану жертвой во второй раз!». Жертва попадает в кольцо насилия, из которого выхода нет. И опыт насилия перекрывает все остальное, становится... главным опытом в жизни. Насилие – это хаос, юноша. А в их понимании единственный способ побороть этот хаос – это подчинить насилие каким-то законам, раз уж без него невозможно обойтись. И очень тяжело жить с мыслью, что все было бесполезно, спонтанно и ни к чему не привело. Тяжело жить, если не можешь ответить на вопрос: «А за что мы сражались? За что погиб мой ребенок? Во имя чего я страдаю? Во имя чего я убиваю – более того, во имя чего я *хочу* убивать?». У вас есть идея, Дмитрий Иванович, от которой зависит ваша жизнь?

– А вы философ, я так посмотрю.

– Так как же?

– Ну, возможно, это моя работа. Я хочу, чтобы люди знали правду. За этим журналисты и нужны – чтобы рассказывать, как было на самом деле.

– Как и вашими противниками, вами движет абстрактность понятия.

Совершенно не понимая логику ее теории, он возразил:

– Правда не может быть абстрактной... если мы с вами не будем уходить в солипсизм, конечно.

– Зачем же? Допустим, сделанный вами снимок – правда. Но, делая снимок, вы вкладываете в него смысл. Вы хотите сказать: «Посмотрите, какой ужас! Это неправильно!». Правда целиком и полностью зависит от вашего восприятия. И смысл вашей работы не в том, чтобы показать снимок обществу, а чтобы раскрыть вашу позицию: посмотрите, какой кошмар! Соответственно, ваше журналистское «зачем?» заключается в распространении лично вашего смысла – а он не совпадает со смыслами ваших противников. И ни вы, ни они ни за что не признаете, что смысла ни в том, ни в этом никакого нет. То, что мы понимаем под моралью, не более чем отражение чужого опыта и личных травм. Вы не поймете противника не потому, что вы глупы. Вы его не поймете, потому что не имеете его травмы и опыта. В ваших глазах он столь же ужасен, как вы – в его глазах. И это очень печально. Из-за этого и начнется война.

– Честно признаюсь, я не поклонник современной психо-

логии, – устав уже от ее размышлений, ответил Митя. – Хуже того, я не верю в достоверность психологических разборов. Ваш психолог бы, наверное, сказал, что моя категоричная позиция целиком и полностью связана с тем, что у меня не было отца.

– А у вас не было отца? – переспросила Жаннетт.

– Не было. Впрочем, матери не было тоже – она умерла в мои пять лет. Меня воспитали ее дальние родственники.

– О, как у моих девчонок. Мать Машки умерла и оставила мне ее. А мать Кати умерла при родах. Она была прачкой.

– Да? Она не рассказывала.

– А разве это имеет значение? Нынче все равны – графья, князья, горничные и таксисты. Вы из кого?

– Из московских профессоров.

– О, понятно, и коммунист!.. Василь, мой брат, изменял своей жене постоянно. Он много детей нагулял. А как приехал с войны (а потом опять уехал), так в собственном доме связался с прачкой. Потом укатил, а та призналась, что беременна. Ашхен, мать Марии, не стала ее прогонять – я об этом просила. Потом та умерла. Ашхен хотела утопить Катьку. Ванночку наполнила, топить, как котенка, приготовилась. Она не знала, что я приду. Прихожу – а она уже готовится. Я на нее бросилась, по башке ее дурной ударила, обозвала ее. Очень уж она злилась, сама знала, что Васька от нее гуляет. Я сказала, что ребенка топить нельзя. А скоро нам пришлось уехать. Мы бросили все, что у нас было. Все

иначе было бы, опоздай я тогда на пять минут.

Жаннет помолчала. Затем спросила у Мити:

– Дмитрий Иванович, я размышляла о том, как мы ищем смысл в совпадениях, я человек рациональный... но вы верите в судьбу?

– М-м, нет. В моей жизни не было ничего, что заставило бы меня о ней задуматься.

– Иногда я сомневаюсь в собственной разумности. Я знала раньше человека, который несколько пошатнул мое мировоззрение. Это была девушка, немногим младше Кати. Ее звали... дайте, боги, памяти... ее звали Софи. И она дважды говорила очень точные вещи. Однажды она сказала, что у Марии и Дитера роман, хотя ничто на это не указывало, и она не могла знать об этом. А в другой раз она пересказала мне, как я спасла Катю от смерти. Сказала, что это была судьба и еще многого наговорила о Кате, что поставило меня в тупик.

– А там не было ничего обо мне? – в шутку спросил он.

– Нет... но Катя обмолвилась как-то, что там было о другом человеке.

– И она в это... верит?

– Я не уверена. Возможно. Или же нет. Вам лучше спросить у нее.

Звучало сомнительно. Он не понимал, говорила ли Жаннет искренне или же притворялась, чтобы вывести его и Катю к конфликту. Он, по ее мнению, должен был заревновать и спросить: «Веришь ли ты, что ты предназначена другому»

мужчине?»». Ничего более нелепого в их образованный век спросить было нельзя.

И все же он спросил у Кати, воспользовавшись позже моментом:

– Скажи, ты веришь в судьбу?

Лоб ее нахмурился – вопрос ей не нравился.

– А почему ты спрашиваешь?

– Любопытно.

Она уставилась на него с подозрением.

– Нет, не верю, – резко сказала она.

– А Жаннетт сказала, что веришь.

– Ага, а Мария бы сказала, что это полная чушь! – Она зафыркала носом. – Я считаю, что всякий человек сам... этот... кузнец своего счастья. Легко все списывать на судьбу. Ты еще скажи, что у партийных тоже судьба и это их оправдывает.

Он рассмеялся; затем ему стало печально. Отчего-то теперь он жалел тетю Жаннетт. Должно быть, расчувствовался, узнав, как она спасла Катю два десятилетия назад.

– Твоя тетя очень больна?..

– Нет! – решительно ответила та. – Она притворяется. Не хочет отпускать меня в П. Считает, что я откажусь от замужества и отъезда, если она будет притворяться больной. А в действительности она сильнее меня.

Он не знал, хорошо это или плохо – что Жаннетт лишь притворяется. Неприятное чувство не исчезало. Жаннетт

столько раз убежала, а сейчас – какво было бы умереть в В., новой колыбели партийной империи?

Другой ночью она по телефону говорила с Марией – та дозвонилась ей, ее слабый голос еле звучал в трубке.

– Мне очень одиноко сейчас. Мне плохо. Я хотела услышать твой голос. Мне страшно...

С аппаратом Катя пришла в кухню; не включая света, полезла за стаканом. У нее сушило горло.

– Сейчас половина первого, – напомнила она сестре.

– Мне нужно поговорить... очень, очень нужно поговорить!

– Ты беспокоишься... из-за того? Ну... что ты написала?.. Это был несчастный случай.

– Конечно, это несчастный случай! – воскликнула Мария. – Никто не виноват!

– И чего ты беспокоишься, если никто не виноват?

– Это невозможно! Слышишь? Катя?.. Дитер ни в чем не виноват, а они затаскали его по допросам. Представляешь, в каком он состоянии?

– Он... ну... это его жена, это... естественно.

Мария заплакала ей в ухо.

– Ну, не плачь! Чего ты плачешь?

– Я боюсь его потерять! Катя, если бы ты знала! Я не смогу! Я умру, если с ним что-то случится!

– Ничего с ним не случится, – грубовато уже ответила она.

– Ничего? Ничего? Они отрубят ему голову!

– Как? Зачем? За что?..

Мария громко жаловалась и местами всхлипывала. Со стаканом Катя расхаживала из угла к балкону, ей хотелось пить, но было как-то неудобно. Мысли у нее плыли, как у пьяной, но сонливость осталась в спальне, реальность была слишком четкой и оттого неприятной.

От короткого звонка – ей стало очень страшно. Стакан выпал и разбился.

– Катя, что это?

– Это... у меня руки дырявые, – еле слышно ответила она.

– Что? Я тебя не слышу!

– К нам пришли.

– Что?

– Прощай, Мари. Прощай.

– Какое «прощай»? Катя? Катя!..

На цыпочках она пробежала в прихожую – и снова, уже близ нее, позвонили, теперь резче и длиннее. Мгновение или два она постояла в нерешительности; потом, с приливом силы, рванула дверь на себя.

Альберт даже испугался ее искаженного лица.

– Что? – ошеломленно спросил он.

– О-о-о... кто с вами?

Она выглянула в коридор.

– Никого. У меня тут саквояж и чемодан. Я... Можно войти?

Она отступила от дверного проема.

– Я не смог дозвониться, – объяснил он виновато.

– Вы... я убью вас!

– Но за что?

Чтобы успокоить ее, он спросил:

– Ты еще выросла, Кете? Ты стала выше меня!

– Что вы врете? Все те же сто шестьдесят семь сантиметров.

Он ласково посмеялся с этого – то было как раньше. Она отошла подальше, чтобы оценить его новый облик.

– Бог мой, неужто тренч в Минге больше не носят?

– Носят. Правда, мне он надоел, захотелось экспериментировать. Тебе нравится?

Она хмыкнула: все же тренч ей нравился больше, так как отсылал к персонажам американского нуара. Сейчас же вместо него был свободный короткий черный бушлат, зато на месте остались клетчатый шарф, синий свитер и светлые брюки.

– И как это ваше... называется?

– Это бушлат. Кете, ты серьезно?

– То-то я думаю, что это вы на героя «Потемкина» похожи, – ответила она. – Но вам идет, конечно. Я, пожалуй, тоже себе что-нибудь революционное заведу.

Альберт переставил свои саквояж и небольшой старенький чемоданчик. Шляпу и бушлат он снял, как человек привычный, по-хозяйски. Не смущаясь вопросительных взгля-

дов Кати, он снял и шарф и повесил его рядом с верхней одеждой.

– Вы смотрели на часы? – спросила она. – Я только что заставила тетю заснуть. Чего вы пришли?

– Я хотел попроситься. Мне показалось грубым уехать, ничего не сказав. Я возвращаюсь в столицу. Не знаю, приеду ли снова. Мне передать что-нибудь Марии?..

Говорил он поспешно и тоном таким, словно желал оправдываться.

– Что? Марии?.. Ничего. Она звонила мне... нет, ничего не нужно.

Они помолчали. От его дружеского участия ей было больно. Невероятным образом он умудрялся мучить ее, не прилагая для этого никаких усилий.

– Вы были больны? – спросила она, потому что молчать было невыносимо.

– Нет...

– Вы очень бледный, прямо белый, как стена.

Он пропустил это мимо ушей.

– Значит, вы сказали... хм... Когда вы уезжаете, вы сказали?

– Завтра утром.

Она ждала какого-то разумного продолжения.

– Извините, что я с вещами, – неловко сказал Альберт. – Я съехал с жилья и... мне негде переночевать. Я думал, я уезжаю вечером, а выяснилось, что утром. Сейчас поезда не

ходят по расписанию. Я ухожу. Извините.

– А, так вы пришли переночевать! – воскликнула Катя. – Так что сразу не сказали? Оставайтесь.

– Нет, я переночую у знакомого.

– Но вы уже пришли!

– И все же, – начиная злиться, сказал он, – это очень неудобно.

От злости ли его, от собственной растерянности – но она громко рассмеялась. Смех был металлическим, в нем отражалось унижение, раздражение, отчаяние и боль.

– Ну... прекрасно... – выдавила она с трудом. – Уходите. Проваливайте! Давайте! Давайте же!

– Тебя услышит твоя тетя, – тихо сказал Альберт.

– Ой, да плевать мне на тетю! И что с того? Что с того, я вас спрашиваю?

Унизительно было: он слишком хорошо меня понимает. Нервность ее, показанная со смехом, говорила лучше любых ее слов.

Альберт заложил руки за спину и прошел мимо нее в гостиную; не поворачиваясь, спросил:

– Чего ты хочешь, Кете?

Он принимал ее вызов, уверенный, что выйдет победителем.

– Я хочу, чтобы все было нормально. Чтобы вы были нормальным! Как раньше! Чтобы мы были как раньше... друзьями.

– Когда-то все было нормальным? – с иронией спросил он. – Это когда?

Не дав ответить ей, он продолжил:

– Когда-то было прекрасное время, когда жизнь была свободной, дружба и любовь были сильнее обстоятельств, когда не говорили о войне и не готовились к ней. Время мира и человеколюбия, которое, нам казалось, никогда не закончится.

– Не издевайтесь надо мной!

– Прости, Кете, – он заметно погрузтел, – но, боюсь, «нормально», которое ты хочешь вернуть, никогда не было. Все было плохо всегда, но ты была юна и не понимала этого.

Она прислонилась к стене, на мгновение показалось, что она не удержится и заплачет с дикими воплями. Чтобы вернуть здравомыслие, она сделала несколько вдохов. Он прав, он полностью прав! Ты хотела этого! За этим ты уезжаешь с Митей! Зачем сейчас себя мучить? Но почему, почему, почему не может быть, как раньше? За что разрушилась иллюзия счастливого мира, зеркального мира, в котором я любовалась своим отражением? В 16 лет я искренне верила, что любовь победит все – преубеждения, комплексы, политику и даже прошлое. Вот бы вернуться в тот январский день, когда она, полная уверенности во взаимности, воскликнула: «Я вас люблю, очень-очень люблю!».

– Наверное... вы правы, – прошептала она.

Она не поняла его тяжелый вздох – было то разочарование или же облегчение.

– Мария сказала, ты выходишь замуж. Это... хорошо. Полагаю, вы уедете. Мария так сказала.

– Зачем же... вы пришли?

Альберт оглянулся, в его выражении проступило странное недоумение, будто он сам не понимал, что делает в этой квартире.

– Ты не веришь тому, что ты говоришь, – как выбивая каждое слово, проговорила она. – Я прямой человек...

– Я знаю, – тихо сказал он.

– Ты пришел, чтобы увидеть меня?

Опять этот необъяснимый вздох.

– В тебе есть то, что я не пойму никогда, – сказала она.

Он хотел пройти мимо ее, но не сдержался и взял ее за плечи. Голова ее упала вперед. Невозможно было сопротивляться теплу, что, казалось, вливалось в нее через мучительную близость с ним.

– Ты приедешь к Марии? – нежно спросил он.

– Нет, я... я...

За противоречивость она его любила и ненавидела: минутой ранее он искренне желал с ней полного разрыва, а сейчас словно уговаривал ее передумать и уехать в Мингу. Скажи он хоть что-то о себе, она бы не сдержалась и закричала: я согласна, я согласна, увези меня, я согласна! Но он уже отпустил ее плечи, и надежда, против воли заморозившая ее разум, исчезла. То было не более чем дружеское участие, дань прошлому и проявление порядочности. Альберт или не

любил ее, или не мог быть с ней и боялся в этом признаться.

– Я не вернусь к вам, – глухо сказала она. – Никогда не вернусь.

– Это... наверное, правильно. Тогда прощай, Кете.

За желанием броситься ему на шею пришло иное – поскорее его выпроводить. Поняв, что настроение у нее сменилось на противоположное – как и у него, – Альберт поспешно отступил и во второй раз попрощался. Она молчала. Он ждал, сможет ли ее поцеловать, но она отвернулась и всем видом показала, что устала. Происходящее напоминало вымышленный абсурд.

– Я скажу Марии, что был у тебя...

Она что-то отвечала, и он пошел к двери. А когда дверь за ним закрылась, она ушла в свою спальню и там расплакалась. В голове мелькали сценки, много лет обкатанные в мыслях. Вот зачем Софи ей предсказала, что она станет его женой и они поселятся в далекой стране с пальмами и океаном?

Мария приехала в мае – румяная, с волосами, убранными по новейшей моде, в костюме из блестящего бордового атласа, французской шляпе и солнечных очках в толстой оправе.

– Мне ужасно жаль, что мы не могли приехать раньше, – глаза опуская, чтобы спрятать ложь, сказала она Кате. – Дитер не мог раньше выбраться, а я боялась ехать без него. Жаль, я не успела попрощаться с тетей. Она, наверное, хотела меня видеть?..

Закусывая накрашенные губы, она косилась на Митю, что застыл за спиной Кати. Костюм его, мятый после работы, ей сильно не понравился, усталое лицо было недружелюбно.

– Дмитрий Иванович... – Мария натянула улыбку и пошла к нему. – Как хорошо, что вы нашли время... выразить соболезнования нашей семье. Наверное, вы обычно очень заняты.

– Мария Васильевна, я бы не смог оставить мою невесту без поддержки, зная, как она была привязана к Евгении Дмитриевне.

Мария покусывала щеку. Брови ее были красноречивы – Митя был швалью и, естественно, Катя заслуживала большего.

– Это невыносимо! – наигранно воскликнула она затем. – Дитер, может, ты все-таки соизволишь подойти? Что ты там нашел в своей газете?.. Я здесь, это мной нужно интересоваться!

Тот стоял у вокзальных часов и читал первую полосу. Неестественный тон Марии удивил его, но он послушно подошел и быстро обнял Катю. Она легко вспомнила его, хотя давно не видела. Он был такой же – небольшого роста, с лицом сухим и неприветливым и с желтыми глазами; глаза эти могли быть и красивыми, если он был заинтересован, но чаще они были либо скучающими и оттого словно бы плоскими, либо, как нынче, пренебрежительно-надменными. Костюм новый, иссиня-черный, блестящий и шурша-

щий, не шел ему; шляпу, в тон костюму, он держал неловко и не соответствующе этикету.

От платформы они шли парами – как Мария захотела. Затем ей захотелось сказать Гарденбергу, и нарочно так, чтобы ее слышали другие:

– Я отказываюсь понимать... Что она нашла в нем? «Красный» журналист, который...

– Мари, это не наше дело.

– А чье, мне интересно? Конечно, она же не твоя сестра! Коммунист... враг нашей семьи! Вот, кого она выбрала! Коммунисты убили нашего отца!

Митя был поражен ее откровенным хамством. Он тихо обратился к Кате:

– Что у тебя за родственники... этакие?

– Извини ее, она... она какая-то странная сегодня.

– Странная?.. Ты не пригласишь ее на свадьбу, я надеюсь?

– Как я могу не пригласить ее? Она же моя сестра! – озабоченно и тихо ответила она. – Может, это стресс? Наверное, она расстроена или встревожена... не знаю... Это поведение совсем не в ее духе.

Давно она столь отчетливо не чувствовала зависти. Нынешняя красота и изысканность Марии, в сочетании с ее новыми манерами, ошеломили Катю. Отличие ее от Марии было слишком явно, как и отличие спутника Марии от Мити: непоколебимая уверенность первой пары, подкрепленная финансовым благополучием, уважением, которое оказыва-

лось военным и их женщинам, – это, твердое и сильное, диссонировало с бедностью, усталостью второй пары, не пользовавшейся схожим уважением и не имевшей состояния. Чувствуя сама, что это омерзительно, Катя позавидовала даже костюму Марии, будто это могло составлять вершину всех мечтаний женщины. Она завидовала условиям, в которых Мария путешествовала, и тому, что жить она будет в «Империале», хоть это и сплошное разорение.

Не зная, что вызывает зависть, Мария позвала ее в отель, настояла, чтобы Катя осмотрела номер и заказала им чаю с местным штурделем. Со служащими она была мила, как человек, работавший ранее в сложных условиях, но временами появлялось в ней нечто горделивое, словно повелительное.

– А как ты живешь? – спохватилась Мария, счастливая, что Кате у нее понравилось. – Не хочешь переехать к нам, сюда? Мы за все заплатим.

– Я живу на прежней квартире, – сказала Катя. – Мне на ней хорошо.

– Но тетя умерла там. Ты уверена, что не хочешь пожить с нами? Тебе бы не пришлось ни о чем беспокоиться...

– Нет, спасибо. Мне там хорошо.

– Ну, как хочешь... – ответила Мария, опечаленная искренне. – Очень жаль тетю. Она тебя любила. Она умерла тихо?

– Да, во сне. Я чувствую себя виноватой из-за этого.

– Почему?

– Тетя говорила мне, что плохо себя чувствует, – ответила она. – А я ей не поверила. Я думала, она притворяется... чтобы я осталась с ней. Я ее подозревала, обвиняла в том, что она пытается меня поссорить с Митей и... Я боюсь, это я довела ее своим поведением. Я не знала, что все этим закончится!

Так как она начала плакать, присев близ чемодана Марии, старшая бросилась успокаивать ее, а затем и сама расплакалась. Общие слезы отчасти примирили их.

Она уже не собиралась ругаться с Митей, но, когда у себя дома сказала, что Мария желает остаться на свадьбу, более того, помочь с ее организацией, он возразил:

– Катишь, я понимаю, родственные связи и все такое, но она отвратительна и ведет себя, как парвеню, как обыкновенная выскочка! Сразу понимаешь: вот человек, который получил деньги и всем теперь доказывает, что он – значительная персона.

– Зачем ты так? Она не такая! – разозлилась Катя. – Да, она пока не знает, как вести себя, она не умеет... она никогда не была богатой дамой!

– Нет, это твоя сестра, я понимаю... Но не нужно защищать ее! И это деньги не ее, между прочим, а ее любовника. Кстати, почему ты не сказала, что он военный?

– Разве я не говорила?

– Нет, не говорила. Я не слепой. Ты не сказала, потому что знала, как мне это не понравится. У вас в семье кто не

партийный, так либо военный, либо...

– Ну и что? Если ты собираешься ругаться со мной постоянно, нам вообще лучше не жениться. Если ты хочешь быть моим мужем, ты должен хотя бы не ругаться с членами моей семьи.

Митя помолчал многозначительно. Потом сказал:

– Мы с ним и с его дружками скоро будем воевать. Он и прочие его будут нашими врагами, они будут нас бомбить! Да, кончится тем, что твои родственнички окажутся по другую сторону баррикад!

– Я больше не могу слышать про войну! – воскликнула она. – Давайте заранее убьем друг друга! В этом случае война точно не начнется!

– Я не стану с ними любезничать.

– Не будь таким коммунистом, Митя, умоляю, – перебила Катя. – Дитер мне как брат. А баррикады давно разобрали.

В день похорон был сильный ливень.

Мария в этот раз оделась скромно. В церкви ей было скучно, уголки губ ее были опущены, и по сторонам она смотрела неуместно. Спутнику ее вообще было неловко; пока все шли на кладбище, он хватал ее за локоть, а она ему рассказывала об испорченных туфлях. Чулки ее уже намокли, ей стало холодно и мерзко.

– Как-то все не так, – сказала она Кате, когда та, близ могилы, нырнула под ее раскрытый зонт. – Когда хоронили ма-

му – ты этого не помнишь, – все было по-другому как-то. Не могу это объяснить. Мне странно думать, что тетя умерла. Мне кажется, я и не верю, что она умерла. Я начала сомневаться в церкви. Я даже плакать не могу, потому что я не верю!

И она заплакала за этими словами. Катя попыталась приобнять ее, но Гарденберг, быстро оказавшийся близ них, отстранил ее.

– Нет, нет! – сказал он, потому что Катя снова потянулась к ней. – Я сам, я сам.

Катя обиженно отпрянула от них. Мария не возражала против его тона. Вынужденно Катя вышла из-под их зонта, под дождь, и повернулась к Мите, зонт которого никак не открывался.

– Извини, но зонт сломался, – виновато сказал он. – Может, они поделятся своим?

– Они меня только что прогнали.

– Как это отвратительно! Знаете ли...

– Но это же твой зонт не открылся, – ответила она.

– Нет, я не о том. Прогонять близкого человека от плачущей женщины! Как это низко!

Слышавший его хорошо Гарденберг улыбнулся.

– Чего он улыбается? – обижаясь сильнее, спросил Митя.

– Пожалуйста, не нужно ссориться, – попросила их Мария. – Мы на похоронах, если вы забыли. Дитер, ты его дразнишь! Перестань, пожалуйста.

Она возвратила ему его платок. Головы не отрывая от плеча своего спутника, она, вспомнив, оглянулась на Катю и сказала:

– Ну что ты там стоишь? Иди сюда, к нам! Стоишь, мокнешь! Дитер пошутил.

– Ничего страшного, – ответила та, – у меня все хорошо. Несколько раз Мария еще звала ее под зонт, но она отказывалась с достоинством, противоречащим ее жалкому, облезлому внешнему виду.

– Ну и пусть стоит! – разозлился на ее упрямство Дитер. – Она у нас гордая! Пусть мокнет и заболит, если ей хочется. Принципы, видимо, важнее здоровья.

– Отстаньте от нее, вы, фашист! – крикнул ему Митя с другой стороны могилы.

– Да прекратите сейчас же! – воскликнула Мария. – Это все из-за тебя, Катя! Если бы ты пошла под зонт, этого бы не случилось!

Потом они стояли в молчании; никто не желал разговаривать. Мария бросала на сестру возмущенные взгляды; Гарденберг, не отпуская ее от себя, улыбался; Катя злилась на них, а Митя почему-то злился на нее, Катю, будто она была виновнее всех остальных.

Когда от закопанной могилы Гарденберг убежал, чтобы подогнать машину к воротам, Мария приблизилась к сестре и тихо сказала:

– Что мы опять ссоримся? Это плохо, очень плохо, понимаешь? Ты вся промокла! За что ты разозлилась на меня?

– Он был не прав в этот раз, а ты заняла его сторону, – ответила Катя.

– Прости. Но чушь это все. Ничего же не случилось?

– А ты почему разозлилась?

– Из-за твоего, этого, – ответила Мария, кивая в сторону стоявшего дальше от них Мити. – Зачем он полез к Дитеру? И... как он смеет оскорблять его? Жалкий репортеришка!

– Можно подумать, Гарденберг – властелин мира.

– Нет, но... Пошли под зонтом! – попросила Мария, хватая ее свободной рукой за плечо. – Чтобы он нас не слышал. Опять еще начнет шуметь! На могилах нельзя кричать.

Оборачиваясь боязливо на Митю (он поплелся за ними на расстоянии десяти метров), Мария почти тащила за собой Катю. Обе спотыкались, из-за зонта и пелены дождя многого не видя, сбивались то и дело на грязи и натыкались на могилы и оседавшие деревянные кресты с влажными и заржавевшими табличками на них.

– Бедная тетя Жаннетт, – шептала тем временем Мария. – Быть похороненной в такой день – не лучшая участь.

– Зато уже не жарко.

– О, это потрясающе. Знаешь что?.. Я была удивлена, узнав, что Альберт вернулся домой.

– Чем он занимается сейчас?

– По-прежнему работает в криминальной полиции. В от-

деле по расследованию этих... особо тяжких преступлений.

– Он рассказывал?..

– Что?

– Ну, об аннексии, – ответила, наклоняясь к ней, Катя. – Он говорил что-то об этом?

– Нет... А зачем?

– Я была, смотрела, как голосуют. В зале были партийные, они смотрели, кто голосует и как. Было открытое голосование. Митя был в ярости. Он постоянно толкует о войне.

– Что? О войне?

– О том, что начнется война. Неужели мы... действительно будем воевать?

– Дитер тоже твердит о войне, – перебила ее Мария. – Он напуган. Деньги не смогут спасти нас.

Катя высвободила руку. Старшая сестра остановилась.

– Ты можешь сказать мне честно?.. Ты уверена, что это был несчастный случай?

Мария странно повела плечами и отвернулась.

– Он объяснил тебе, что произошло?

– Нет.

– Его жена странным образом погибла, оставила ему огромное наследство – и он никак это не объяснил?

– Это не мое дело, – сухо ответила Мария. – А ты должна радоваться за меня. Через полгода мы поженимся и уедем в путешествие. У нас скоро будет новая машина. Катя... она умерла! Мне ее не жалко. Я не хочу больше об этом говорить.

– А если он убил ее?

– А если и убил, то что? – воскликнула Мария. – В этом мире вечно кто-то кого-то убивает. Причем более бессмысленно.

Катя прислонилась к мокрой серой ограде. Откинув назад голову, словно задыхаясь, Мария ждала, вернется ли Катя под ее зонт; и наконец, с досадой, побежала между могил к показавшимся далее распахнутым воротам.

– Я с ними не поеду, – заявил догнавший их Митя.

– Да пожалуйста! – сказала Катя.

Стало очень холодно, и, желая почувствовать себя в безопасности, она сильнее прижалась к ограде. Но и она была холодной и внушала страх.

Несколькими днями позже Мария написала ей письмо, в котором интересовалась, не откажется ли она, Катя, от ее помощи в подготовке свадьбы. Мария, на самом деле, считала, что со свадьбой лучше подождать, выждать положенный срок траура по тете, но готова была и простить спешку просто из любви к сестре. Почему-то обижаясь на нее, Катя ответила, что ни в чем не нуждается и помощи не хочет, тем более если помощь эта будет оказываться на сомнительные деньги.

Не получив ожидаемого поощрения, Мария все же послала к торжеству сотню белых роз и фату с жемчугом, купленную в здешнем магазине для новобрачных. И розы, и фа-

та возвратились к ней даже без записки. Мария за этим не отступила и приехала к сестре сама, вечером перед ее свадьбой, желая застать ее в одиночестве.

– Не понимаю, чего ты все дуешься, – сказала она Кате, когда та впустила ее. – Я хочу, чтобы моя сестра была красивой невестой, хоть бы и с таким женихом. Если ты считаешь, что поступаешь правильно... разве могу я тебе советовать?

– Стоит тебе начать советовать, как ты сразу становишься похожей на тетю Жаннетт, – отрезала Катя. – Стоит вам захотеть советовать – и вы начинаете почти командовать. Я, кстати, за тобой раньше этого не замечала.

– Да, ты думала, только ты можешь быть такой. Ну, к делу! – уже весело заговорила Мария. – Не знаю, в чем ты собираешься венчаться, но подозреваю, что в каком-нибудь старье. Нет, ни за что! Я привезла тебе кремовый костюм.

– Платье?

– Нет, костюм, – терпеливо ответила Мария. – И если ты не хочешь фату – а к этому костюму она и не пойдет, – то наденешь шляпку. Я ее тоже привезла.

Она была довольна, показывая купленное.

– Я не возьму, прости, Мари. Я не могу.

– Что? Почему? Ты... ты меня нарочно обижаешь?

– Я не обижаю. Это куплено на деньги Дитера, я знаю.

– Я купила это на свои деньги, – заявила Мария. – Я купила и решила...

– Вот же ты врушка!

– Нет, я... я хочу, как лучше. Это все на мои деньги. Не обижай меня, пожалуйста. Ну, Катя...

Поддавшись порыву, Мария обняла ее.

– Тем более я уезжаю завтра, – добавила она. – Дитер уехал, ему нужно быть на работе. И вы тоже уезжаете после свадьбы. Я не хочу, чтобы мы расставались врагами. Дитер и этот твой, Митя, могут собачиться, сколько хотят, а нам с тобой делить все равно нечего.

Отпустив ее плечи, Мария сняла шляпу, бросила ее на стул в прихожей, наклонилась, чтобы снять высокие ботинки. Смотревшей на нее сверху Кате хотелось наклониться вместе с ней и поцеловать ее; но она стала распускать неудобно собранные волосы Марии, распределяя их ровно по плечам каштановыми волнами.

Как в детстве, когда зимой часто не топили, они легли вместе в постель, укрылись и, чувствуя тепло друг друга, засыпали. Проснувшись ближе к рассвету, Мария заметила, что сестра лежит, прижавшись щекой к ее плечу, с открытыми глазами и с сердитым выражением.

– Ты почему не спишь? – шепотом спросила у нее Мария. – У тебя сегодня важный день, нужно быть бодрой. Ты что, испугалась уже?

– А ты бы не боялась?

– Чего же тут бояться? Или тебе плохой сон приснился?

– Не знаю. Странные сны.

– И что тебе снится?

– Так... странное.

– Ну что?

– А ты точно счастлива? – внезапно спросила Катя.

– А чего ты спрашиваешь?..

– Мне страшно за тебя. Что-то в тебе изменилось.

– Просто на меня косо смотрят. Знакомые, даже Альберт. Даже он. Потому что живу с мужчиной, который... недавно овдовел.

– Может быть, они боятся за тебя.

– Нет... Катя, ты же знаешь Дитера. А они живут несчастными. Это потому, что трусы, боятся, как бы кто плохо о них не сказал, как бы кто не посмотрел зло, а страх свой прикрывают нравственностью. Несчастливы – но зато нравственны. В их глазах мы – преступники. Они отчего-то считают, что я хочу денег. Я была с ним много лет, когда у него ни черта не было, а теперь внезапно захотела денег?

– Но у него же была жена, он обманывал ее... А если он обманет тебя?

– Катя, как ты можешь так думать о Дитере? Он никогда не причинит мне вреда.

– А может, его жена тоже так думала?

Мария тяжело вздохнула.

– Все-то ты знаешь, Катя. Все у тебя... Вообрази, какая я простая! Вы мне постоянно задаете сложные вопросы. А я всю жизнь мечтала о любви и семье... о своем быте, укромном уголке, и чтобы встречать его после работы. Ты и твой

Митя из тех людей, что все хотят объяснить. Все вы пытаетесь препарировать, все хотите запихнуть в малюсенькую коробочку, осмыслить, изучить и понять. А что мне в ваших смыслах? Что мне в чужих и ваших словах? Мир проще, чем вам кажется. Он – о том, что нужно жить; нужно работать, нужно любить и быть любимой; нужно рожать и воспитывать детей.

Мария села на постели. Плечи ее были тонки и белы в синей спокойной темноте.

– Ну зачем все усложнять? – жалобно сказала она. – Мы придумали столько правил, столько условий «честной жизни», но за этим забыли, что человек приходит в этот мир, чтобы стать счастливым. Может быть, нравственнее быть несчастным, вечно страдающим за других, но было бы из-за чего быть несчастным и страдать! Неизвестно, есть ли жизнь после смерти. Если нет жизни там, то каково мучиться тут? Кому нравится страдать, пусть страдает, а мне не хочется.

– Наверное, мы живем, как умеем, – ответила Катя. – В квантовой физике больше смысла, чем в наших спорах. Мне нужно переучиться...

– А сможешь?

– Не знаю. Быть может, если я выучусь, в восемьдесят лет я возьму ручку и напишу во всю стену огромную, на миллион знаков, формулу – и в этой формуле будет заключен смысл нашей жизни. Но ты права: толку нам от действующей «аксиомы всего» не будет никакого. У тебя получается луч-

ше – в двух словах. Не то что наши бесконечные цифры да скобочки.

Рассмеявшись, Мария прижалась к ней головой; лицо ее стало нежным, и были на нем глаза – темные и притягательные, как у красивого животного.

Наутро Катя была бледна, и Мария беспокоилась, как накрасить ее. Тоже мало спавшая, Мария зевала, но хотя бы не боялась. У церкви ей доверили мешочек с белым рисом, чтобы бросать им в новобрачных. Это было неудобно делать из-за кружевного зонта, который ей некуда было деть. Затем она же принесла хлеб с солью, все так же пытаясь не уронить зонт.

– Долгих лет жизни, – сказала она.

Взглянув с улыбкой на ее утонувшее в тени лицо, Катя сказала:

– Митя, поцелуй ее по-человечески, как свояченицу.

Он послушался, нырнул в синеватую густую тень и коротко поцеловал Марию в щеку.

– Живите счастливо, – нехотя сказала Мария.

## 1940

– Так что у вас произошло?

Суровость этого человека пугала Марию. Она залепетала, проглатывая некоторые слоги:

– Понимаете, моя сестра, она пошла гулять... наверное,

она пошла гулять, вернее, она точно пошла гулять... А потом ко мне прибежала горничная и сказала, что она сбросилась... я хотела сказать, упала... упала с моста...

Нетерпеливо человек потирал маленькую записную книжку. Он не открыл ее. Он слушал, а Мария говорила так торопливо, как только можно говорить в сильном волнении; и ей было страшно.

– Так она сбросилась? Или упала?

– Упала, – Марии было неловко обманывать, но иное было опасно.

– Что же, – сказал человек и убрал в карман пиджака книжку, – в таком случае мы отправляемся вниз и...

– Г-жа Гарденберг ошибается.

Следователь – а это был он – усталился поверх плеча испуганной хозяйки. За ее спиной стоял Альберт, засунув руки в карманы широких брюк. Следователь вначале узнал эти брюки, затем клетчатый пиджак, а потом уже физиономию коллеги, с которым он был знаком со столичной полиции. Он откашлялся.

– Итак? Вы имеете что-то сказать?

– Покойная покончила с собой, – с ужасной невозмутимостью заявил тот.

Шея и руки Марии напряглись. Она боялась взглянуть на Альберта.

– Вот как? – ответил следователь и снова достал записную книжку. – С чего вы это взяли, комиссар Мюнце?

– Об этом нам сказала горничная. Та самая.

– Вот как... А горничная могла ошибаться?

– Сомневаюсь, что она ошиблась, – ответил Альберт. –

Ко всему прочему, в комнате покойной мы нашли записку, в которой она просила никого не винить.

Мария тяжело вздохнула. Следователь спросил предсмертную записку, но Альберт признался, что Мария – именно она! – сожгла ее после прочтения.

– А вы у нас скрываете детали, не так ли? – Ей захотелось убежать от этих строгих глаз. – Нехорошо. Очень плохо, г-жа.

Закончив с этим, следователь объявил, что за трупом немедленно отправятся поисковики. Он позволил себе похлопать Марию по плечу, но то было так унижительно, что она внутренне сжалась. Однако спокойствие, что нашло на Альберта спустя час после ужасной новости, было ей неприятнее. И как только следователь оставил их, она тоже поспешила выйти, чтобы не оставаться с Альбертом наедине.

В спальне лежал, закрыв голову подушкой, Дитер. В другой день она бы подумала, что ему плохо, и ушла, но теперь она села близ него и потрогала его спину. Рубашка на спине была мокрой – он не переоделся; китель валялся на полу. Дышал он медленно и глубоко.

– Хочешь, я уйду?

Он отрицательно промычал из-под подушки. Ласково Ма-

рия провела по его лопаткам, но после, не встретив отклика, опустила руку на постель. В мягком сумраке она едва различила, что он не снял обувь, а завалился на постель как есть – уже невероятно.

После минуты молчания он перевернулся, голова его показалась, свесилась с кровати, а подушка отлетела к ее спине.

– Почему она это сделала? – тихо спросил он.

– Не знаю...

– Почему?.. Это наша вина.

Он закрыл глаза обеими руками. Оттого, что он плакал, ей захотелось убить Катю своими руками. Появись она сейчас – и Мария без сожаления впилась бы ногтями в ее щеки.

– Ты не виноват, – проглотив ком, сказала она. – Мы хотели ее вылечить. Мы бы вылечили ее...

– Нет, Мари. Бесполезно.

– Это Софи что-то наговорила ей, – сказала Мария. – Она... и Альберт... это они виноваты. Они – а не мы. Это они, только они!

И она тоже заплакала. Дитер не трогал ее, пока она сморкалась и вытиралась, он смотрел на нее снизу и размышлял о чем-то ином.

– Она видела во мне врага, – медленно заговорил он, – который пришел с оружием в завоеванную страну. А она... была маленькой девочкой, как ты – много лет назад. Она стояла в дверях и смотрела на меня. И впервые я увидел в ее

глазах... ненависть. Я видел Катю тысячу раз, но никогда в ней не было ненависти ко мне.

– Она была больна, – жалостливо прошептала Мария, – она не могла тебя ненавидеть. Катя всегда тебя очень любила. Она очень тебя любила. Дитер... ну как так? Ты ошибаешься.

– Нет, Мари.

– Она знала, что ты выполняешь свой долг. Она никогда бы не винила тебя.

– Да. Она часами сидела в ванной и плакала. Я и Альберт – мы не могли ее спасти. Мне... тяжело. Мари, я очень ее любил. Она была крошкой. Она была... Я не могу.

У нее не было слов. Не было мыслей. Не может быть, чтобы Катя ненавидела их.

Ссутулившись, но улыбаясь, за улыбкой пряча усталость и обиду, он осматривал прихожую. Катя безразлично топталась на месте, избегая смотреть на него.

– Мария сказала, как тебя найти, – не в силах больше молчать, заговорил он, – она сказала, что, если я буду у тебя... чтобы я поселился у тебя... если это не принесет тебе... Она беспокоилась.

Катя пропустила его слова мимо ушей. Он снял китель и повесил его близ ее жакета.

– Как ты себя чувствуешь?

Тягостное молчание.

– Не хочешь со мной говорить?

Теперь он спрашивал на русском, рассчитывая, что уж на это она откликнется. Не ожидавшая того Катя вздрогнула, руки ее задрожали; она прислонилась к стене и еле держалась, чтобы не зарыдать.

– Катя, Катя, что с тобой?

Она отшатнулась от его рук.

– Не трогайте меня... не трогайте. Не надо.

И после:

– Я выдам вам белье. Комнату. Обед в семь вечера. Только не трогайте меня.

Не смотря на него, избегая и прикасаться к нему, как к больному, она передала ему постельное белье, показала свободную спальню и кухню. Он молчал, втайне злясь на нее, в желании схватить ее и трясти, пока она не объяснит, что происходит. Он думал, что Катя на пороге бросится в его объятия, как преданная младшая сестренка, а вместо тепла и нежности (после унылого штаба и неприятной дороги) она отвечала на его ожидания ужасом и омерзением. Словно он был и бешеным псом, и отвратительным насекомым, на которое и смотреть мерзко.

Он попросил ее не беспокоиться, но она в тупом ожесточении накрыла ему стол.

– Ты не поужинаешь со мной? – спросил он после этого.

Но она выскочила из кухни, и в ванной ее вырвало. Он оставил тарелку и чашку и закурил. Плевать было, что скажет

на это хозяйка. И за это мы воевали – чтобы наших близких тошнило от нашего присутствия. Я стал врагом девочки, которую двадцать лет назад держал на руках.

*«...Касательно работы на период 08-12. Просьба следовать изложенным ниже правилам:*

*1. Старайтесь использовать слово "война" не менее 5 раз (на столбец), при этом дополняя его словами "победная", "справедливая", "благородная", "необходимая". Ни в коем случае не используйте негативные слова (и их однокоренные) "кровь/кровавая", "жестокая", "тяжелая" и т.п.*

*2. Помните, что основные читатели – это средний класс. Согласно нашим данным, средний класс испытывает разочарование из-за затяжного характера военных действий. В номере обязательно должно быть: а) о том, как справиться с трудностями из-за войны (материальными или психологическими); б) о том, как улучшится жизнь после войны; в) обязательно – что призванные на службу счастливы оказаться в рядах армии, организуют воинские братства, "война – лучшее занятие для мужчины" и все в таком духе.*

*3. "Наш противник очень опасен и угрожает нам, поэтому мы должны его уничтожить. Уничтожить навсегда, чтобы он никогда не поднял своей грязной головы. Но он недостаточно силен, чтобы мы не могли его победить" (сгладьте это противоречие!)*

*4. Напоминайте (минимум 5 раз в номере), что в стране*

*действуют иностранные агенты, ими могут оказаться наши друзья, родственники и соседи. Будь бдителен и наблюдай за ними! (вскользь)*

*5. На занятой территории царит порядок, местное население радо жить под нашим владычеством (нужны убедительные фото!), мы кормим детей шоколадом и прочее положительное на ваше усмотрение. Минимум – 2 стр.».*

Отложив памятку для журналистов, он уже хотел взяться за речь, но отчего-то ему стало грустно. Стол тоже был грустный (1 м 50 см) и подозрительно аккуратный – наверное, тут ошивалась горничная. Стало настолько тягостно, что он встал и начал расхаживать по комнате (ковер – 7 м на 3 м, какая точность!). Получалось глупо. Он вспомнил, что Кете умерла, но торжества за этим воспоминанием не было, как не было и горечи. Потом он вспомнил Софи – и на него нахлынула бессильная ярость, он даже остановился и уставился в стену в ужасе, что ничего не может сделать. Конечно, можно вернуться за стол, постучать на машинке (чертовы тугие буквы) и явить миру новую бессмысленно-великую речь. Но, вопреки разуму, бессмысленное в этом преобладало над великим.

Конечно, это ужасно, зачем я это делаю? Потому что Софи сказала ему... Нет, впрочем, Софи не говорила ему что-то делать. Она лишь сказала, как говорила ранее Катерине, Альберту, Марии и всем остальным: «Я знаю, что ты дви-

жешься по пути, что тянется из твоего сердца. Это путь сложный. Сейчас ты хочешь верить, что в финале этого пути тебя встретят с почестями. Что ты одержишь победу – или хотя бы увидишь ее своими глазами. Но ты боишься смерти – ранней и мучительной. И я должна сказать тебе: если ты будешь идти по этому пути до конца, тебя ждет смерть, такая смерть, которую ты боишься. Не будет победы, не будет ни прижизненных, ни посмертных почестей. Твое имя скоро исчезнет, тебя забудут даже те, кто знает и любит тебя сейчас. Запомни это хорошо – на этом пути нет ничего, только СМЕРТЬ. И я вижу, что ты привязан к одному человеку, эта привязанность не позволит тебе уехать. И это погубит тебя – эта привязанность и твоя работа». Конечно, очень оптимистично. Может, стоило все же уехать, пока была возможность?

Машинка не слушалась. Аппель потыкал в клавиши, но давление было слабым, буквы не отпечатывались. Он вспомнил повестку, за этим достал ее из кармана – и там было обыкновенное, чем пугали с начала войны большинство мужчин его возраста: «...в течение 96 часов... явиться на призывной пункт...»

К Аппелю постучали. Это был Альберт. От его появления Аппель разозлился сильнее.

– Я тебя отвлекаю?

– Нет, – сказал Аппель резко, – но мне казалось, конечно, что ты больше не захочешь со мной говорить.

– Нет... Ты был прав, я там не нужен.

Альберт присел на кровать.

– Можно с тобой поговорить?

– Конечно, сейчас?

– Ты сказал, я не отвлекаю тебя.

– Вот... и что тебе нужно?

Пришлось встать, чтобы небрежно опереться на стол.

Обоим было как-то неловко.

– Ты уезжаешь воевать? Почему?

Аппель был удивлен.

– В каком смысле? Ты хочешь сказать, у меня есть выбор?

Альберт промолчал.

– Почему тебя волнует, что я уйду воевать? – как можно

ровнее спросил его Аппель.

– Вдруг тебя убьют на войне?

– Конечно, меня там убьют!.. Конечно, именно меня!..

Черт, Берти, не сейчас, умоляю.

– Я ненавижу эту войну.

Поразмыслив немного, Аппель решил, что испытывает схожие чувства, но больше ненависти у него к тем, кого он учит любить эту войну. Они были хуже него (21764269 потребителей), потому что верили в бред, а он, Аппель, знал ему цену. И ему стало больно не только за себя, но и за страну (великую, обновленную, спасительницу и прочее), которая потеряет одного из 24784 человек – их название должно быть, на языке учебника, «человеки разумные».

– Вот как... – Аппель знал, что Альберт не провокатор, но

все равно было не по себе. – И чего же ты ее... это вот... Мне казалось, конечно, что ты был бы счастлив отправить меня на смерть. А война – отличный способ избавиться от меня.

– Я не желаю тебе смерти. Я был очень зол на тебя... но я признаю: ты не сказал ничего, кроме правды. Это я виноват, а не ты. Правда может убить, но виноват не тот, кто озвучил ее.

От благородного прощения Альберта ему захотелось убраться 127 раз.

– Я больше не вижу смысла скрывать, что ненавижу войну и империю, которая ее начала. Не оттого, что я милосерден, напротив – я ненавижу войну, потому что она открыла мне правду, которую я не хотел признавать. Я ничем не лучше Альбрехта. Я тоже чувствую наслаждение, убивая людей.

Аппель не считал названное убийством в обычном значении слова, но знал также, что Альберт разозлится, если он ему возразит. Поэтому он ответил:

– Конечно, это плохо, но это совсем другое... Не считаю, что тебя можно сравнивать с твоим этим кузеном.

– Ты не переносишь Альбрехта, а меня...

– Конечно, я не переносу Альбрехта, – перебил Аппель. – Он псих и маньяк. Он действительно убивал по 150 человек в сутки? Не понимаю, как ты любишь его.

– По той же причине, по которой ты любишь меня – этой причины нет, у этого нет объяснения.

Аппеля трясло от гнева. В мгновение это не понимал, как

может (мог?) любить этого человека. Альберт пришел мучить его, разыгрывать раскаяние, или сожаление, или бичевать себя, рассчитывая, что его оправдают.

– Конечно, ты пришел, чтобы я тебя пожалел. Но тебе меня не жалко, Берти. Поэтому оставь меня в покое. Мне нужно писать речь.

– Зачем? Какая речь, Альдо, если скоро тебя забирают на войну?.. Тебе нужно было уехать. Не нужно было доводить себя до такого состояния! Я знал, что это плохо кончится! Я говорил, что это плохо кончится!

– Пока ничего плохо не кончилось! Дай мне поработать, пожалуйста.

Но на первом этаже зашумели – из громкого автомобиля вышли кузен Альберта, Альбрехт, и их общий приятель (и муж Софи) Петер Кроль. Альберт сказал, что их нужно встретить и поспешил выйти. Аппель же, после колебания, пошел за ним встречать новых гостей.

Альбрехт крутил фуражку, рассматривал ее и цокал языком. Затем почесал волосы (3 см и 8 мм) и спросил, скоро ли вернутся «поисковики». Ему не ответили. Альбрехт надел фуражку и достал сигареты.

– Она оставила записку? – сухо спросил он.

– Да, – сказал Альберт, – Мария нашла ее в комнате. И вон Альрих тоже...

– Ты... это... как, нормально?

– Ничего.

Не знай Аппель Альберта, он решил бы, что тот шокирован и оттого неестественно спокоен. Но Альберт отошел от первого чувства, и на лице его было странное смиренное выражение, что не соответствовало ситуации. Должно быть, и Альбрехт был схожего мнения. Он спросил у Альберта закурить и, выпуская дым, сказал:

– Да что это?.. Чтобы Кете покончила с собой? Кете? Сложно в это поверить.

– И все же это так, Альбрехт.

Тот искоса смотрел на старшего кузена. Аппель с неприязнью заметил, что запястья у Альбрехта слишком волосаты (98 волосинок на одном); звериное начало в нем могло быть привлекательным, имей он интеллигентный облик Альберта. Удивительно, что Катерина не сошлась с Альбрехтом – в обоих есть (или было?) нечто судорожное и злое.

Альбрехт быстро моргал и почесывал густые темные брови (конечно же, больше 4 см).

– Как чувствовал, что не стоило ехать, – сказал он потом. – Не хочу на это смотреть. Берти... нет, я не могу это понять! Мне нужно прийти в себя.

– Она тебе нравилась.

– Что? Нравилась, да, – воскликнул Альбрехт. – А почему бы она не... Нет, Берти. Я старые отношения не забываю. Она очень хорошая. Да мы... мы все ее любили!

– Да?

– Не нужно сарказма, Берти! Мы ее любили. Дитер гово-

рил, она была больна. Надо было отдать ее на лечение!

– Она чувствовала себя чужой в нашей компании, – возразил Альберт.

– Не может быть! Она не была чужой! Я знаю, на что ты намекаешь, – это не так! Это... другое. Это другое!

– Ну да, другое.

Разочарованно Альбрехт повел плечами. Отбросил окурок – он приземлился на клумбу с желтыми цветами (головки – 7,5 см).

– Это... я пойду выпью, – взявшись за дверной косяк, сказал он. – Надо будет – приходи. Слышишь, Берти?

– Отстань.

– Нет, давай напьемся... Ну хорошо, черт с тобой. Кстати... – Альбрехт морщился так, словно уже был пьян и тяжело соображал. – Вы записку нашли? А дневник?

– Она вела дневник? – неуверенно спросил Аппель.

– Это не твое дело. Слышишь, Берти, вы нашли ее дневник?

– Я его искать... не собираюсь, – ответил тот.

– А значит, его найдет следователь. Или... я не знаю...

– Мы не видели дневник в ее комнате, – снова вставил Аппель.

– И чего? Он должен на виду лежать? Или вы все ящики опрокинули и стенки простучали? Не хотите – все равно, пожалуйста.

Нет, глупость, не хватает начать охоту за мифическим

дневником.

Он избежал встречи с Марией – она вышла из супружеской спальни – и забежал в комнату Катерины. С прошлого раза в ней ничего не изменилось. Аккуратная кровать, чисто (конечно, не сама Катерина убиралась, какая она была лентяйка!), на столе – женская косметика, 7 тюбиков. За занавесками был уличный свет. Подушка высокая, может быть, 11 см в высоту?

Собственно, это глупость. Зачем ему дневник Катерины? Это лишено логики. А если она написала о нем? Альбрехт подозревает, оттого источает презрение (и это взаимно), но доказательств у него нет. То же касается остальных – никто из них не решится пойти против него и компании. Как бы ни был жесток Альбрехт, он не напишет донос – есть риск встретить неприязнь и рассориться с Альбертом. Маленький безопасный мир – в нем забываются законы, в нем любовь и преданность важнее высших указаний. Карточный домик, который можно обрушить единственным касанием – нет, им необходим дом, в котором можно быть человеком вне положения, политических взглядов и национальности. Жаннетт называла это «тайным братством-сестринством». Каким бы ни считал его Альбрехт – нет, любой из них, – он не станет той силой, что сметет последний оплот нормальности. Опасна лишь Катерина – потому что она мертва.

Признаюсь, мне вас жалко. Я не хочу вас оскорбить. Мне

вас просто жалко. Прав был Альберт, говоря, что вам нужно уехать. Они же превратили вас в калеку. Это Софи вас так напугала... и сейчас вы служите тем, кого ненавидите, а они запрещают вам чувствовать. Потому, что Софи напугала вас смертью. Но неужели ваше... нельзя назвать это жизнью, это существование! Неужели подобное существование лучше смерти?

Что она могла написать? Если дневник существует (скорее всего, иначе бы Альберт не соглашался в этом с Альбрехтом), могла ли Катерина написать в нем – о нем? А если она прямо и написала: «Вон, я давно знаю Альдо – и как забавно, что он влюблен в Альберта! Как сложно представить, что мужчина может любить другого мужчину!». Конечно, лучше умереть на фронте, чем быть обвиненным в ЭТОМ. Катерина всячески старалась им помешать. Каковы были ее мысли? Что она записала в дневнике?

Стараясь не шуметь (за дверью ходили), Аппель просматривал все ящики, проверял под кроватью, за занавесками. Он вздрагивал каждый раз, когда казалось, что шаги остановились напротив спальни Катерины. А если явится Мария? Или, хуже того, полицейские? Он лег на пол, чтобы заглянуть в щель (1 см) между полом и низким столом, и заметил нечто пыльное – но раньше белое-белое. Рукой было не достать. Аппель уже взялся за край стола, намереваясь сдвинуть его – и тут же сообразил, что на этакий шум кто-то, но прибежит. Поискав немного, он вспомнил, что на подокон-

нике есть тонкое – меньше сантиметра диаметром – растение. Оно было достаточно длинным – 23 см. Поколебавшись, Аппель вырвал стебель из горшка и просунул его в щель. С третьего раза листья подцепили бумагу, получилось извлечь это на свет – и то было 5 страниц, исписанных рукой Катерины. Казалось, она не потеряла их, не выбросила, а нарочно засунула их под стол – но зачем? От странного умысла Аппелю стало не по себе: либо Катерина писала что-то столь запрещенное, что не доверяла никому, даже сестре и Альберту, либо хотела, чтобы любопытный некто нашел именно эти записи после ее... после ее... Неужели она умерла? Как хорошо! И Альберт не кажется разбитым. Нет, вопреки всему – ужасно, он поступил плохо, толкнув ее в этот обрыв. Как хочется жить – как можно самому... невозможно.

## 1918

«...Страшные события у нас в тылу, – писала его мать на фронт. – Стачки и бунты. Моряки бунтуют, солдаты бунтуют. И есть, от чего: хлеба нет, мы пухнем с голоду, а работать заставляют, и воевать заставляют. Как не бунтовать? Нашим политикам важнее престиж, военные успехи, а наши жизни им – что?.. Что с того нам тут, что вы наступаете? Какие-то реформы в парламенте... Рассказывают, что в К. была массовая демонстрация моряков; они словно бы саботировали приказ напасть на вражескую эскадру в открытом море. Ко-

нечно, об этом толком не пишут, газетчики наши боятся. В К., я слышала от знакомого твоего, взял власть объединенный Совет рабочих, солдат и матросов; якобы такие же Советы борются в Г., Б. и Л., в Ш. и Ф. Из Минги пишут, что их землю восставшие объявили „независимой республикой“. Ты не знаешь, как там? Знаете на фронте вы, что происходит? Как путано, неумело получается у меня описывать, и как неточна я, возможно, и в основных деталях...».

С фронта муж Лизель отвечал спустя непродолжительное время: «...У нас тут совершеннейший хаос. В армии заправляют „красные“ агенты. Дисциплины в войсках никакой, начальников не слушают и грозятся расправиться с ними, если они станут препятствовать идеологической работе „красных“. Ты знаешь, я сам устал от войны, мне хочется, чтобы она поскорее закончилась, я также не являюсь большим сторонником нашей власти, но „красные“ – это слишком, по моему мнению. Приезжают какие-то личности и рассказывают о грядущей „мировой революции“, о новых порядках, об успехах их в новой России. Может, закончится война – и они успокоятся? Это усталость от бессмысленности всего на фронте бросает их в лапы этих агитаторов. Не знаю, что мы станем делать тут, в войсках, если наши во главе с „красными“ начнут бунтовать и в нас же стрелять, как было и в К., и в Б., и, кажется, в Минге...».

Одновременно с этим письмом прибыла телеграмма, в которой говорилось о скором приезде в столицу Жаннетт Вос-

кресенской и членов ее семьи. Жаннетт умоляла встретить их на вокзале, ибо они в полной растерянности и ничего не имеют. В Лизель сильны были дружеские чувства, оттого она поехала в указанный час на вокзал и домой возвратилась с гостями.

Увидевший их впервые Дитер боялся к ним приближаться. «Жаннетт новая», как сказала о ней Лизель с улыбкой, казалась моложе своего возраста; у нее были короткие, по линии скул, рыжеватые волосы и болезненность оголодавшего человека. Жакет на ней был мужского кроя, с ремешками красными вместо военных погон и тонким черным поясом; прямая юбка, пошитая неумело, была коротка и открывала ноги, обтянутые дешевыми бумажными чулками; сапоги носились ею по-военному, как на фронте, и являли собой пример тамошней, окопной, неухоженности. За Жаннетт робким шагом вошла девочка лет девяти в красном пальто и красном берете. Слабые ножки ее были тяжелы из-за плохих сапог, обострившееся маленькое лицо опустилось к огромному свертку с ребенком, и, хотя ей было сложно держать его, Жаннетт себе ребенка не забирала. Полминуты спустя, когда Жаннетт уже начала осматриваться, в дом, наконец, вошли хозяйка с Ашхен Александровной. Ашхен нерешительно, но потянувшись за свертком, приняла его от девочки и стала младенца укачивать, но все это с омерзением.

– Боже, ну успокой его! – воскликнула Жаннетт, зажимая уши. – Не могу я слышать этот вой! Сирена – не иначе!

Ашхен молча на нее взглянула; глаза ее были очень злы.

– Позвольте... если вам сложно... – пролепетала Лизель. –

Я у вас возьму. Это мальчик?

– Девочка, – сквозь зубы, не посмотрев на нее, ответила Ашхен – и не отдала ребенка, а почти сбросила его на чужие руки.

Вытирая лоб, она прислонилась к стене и уставилась на сына хозяйки. Проследив за тем, Жаннетт также повернулась к нему и спросила:

– А ты кто? Сын Лизель с Райко?

– Сын, – сухо сказал он.

– Звать-то тебя как, хозяйский сын?

– Дитер.

– А отец твой где?

– На службе, – резко ответил он и отвернулся.

Мать была оскорблена его грубостью. Ухмыльнувшись, руки положив на пояс, Жаннетт заявила:

– Ничего. Хоть не запуганный – и то неплохо. А вежливость – она не всегда нужна.

– Совсем маленькая девочка, – сказала робко Лизель. – Ее нужно молоком кормить. Молоко у вас, позвольте спросить... чтобы, если не хотите так, хоть сцедить немного...

– Нету молока, – тихо отрезала Ашхен.

– Но как же?.. У меня немного... куплено коровье, я могу развести...

– Покупаете?.. Бог мой, как? – Жаннетт за ней прошла в

кухню. – Я успела посмотреть: в магазинах ничего нет! Может, полегчает с окончанием войны?

– Я не знаю... мы берем в деревне. Я сама не могу ездить, далеко... и незаконно. А Дитер, он... после занятий и по выходным, на велосипеде, ездит и... обменивает... на картошку, на муку, на то же молоко. Там-то у них все есть, это не наши магазины.

– Кто же знал? Мы, когда ехали, думали, что у вас лучше. У нас-то голод страшный. Война из всех все...

– Жаннетт, что?..

– А, ты хочешь спросить, как мы тут оказались?.. Я не хотела тут быть. Я хотела остаться там. У меня там и... все, и мое, и... но я тебе потом скажу! Брат, Василь, взял с меня слово, хоть мы были в ужасных отношениях... но об этом потом, потом... я поклялась, что позабочусь о его жене и... о ребятах... чтобы они уехали, а я... как захочу потом. Но я потом это все, потом... У меня есть деньги. Пока нам хватит. Мы кое-что смогли продать. Нам нужны меблированные комнаты или что-то похожее, чтобы хоть на первое время устроиться.

– Ты потом обратно поедешь?

– Не знаю. – Жаннетт пожала плечами. – Она очень больна. Его жена. Как бы я к ней не относилась, но... если она умрет, а с детьми что-то случится, это останется на моей совести. Мне нужно знать, что у них все хорошо. Пока я не буду уверена, что она сама сможет заботиться о детях... Ты

нам поможешь? Только найти комнаты, а там мы... мы сами уже.

Комнат нужных не нашлось – никто не хотел брать беженцев, бывших врагов, к тому же с маленькими детьми. Поэтому Лизель отвезла их на дачу на озере – неделю назад ее освободили от военного штаба. Взяв с собой и сына, Лизель помогала гостям обустраиваться. Беспokoить ее начала девочка – имена детей за хлопотами она забыла спросить, – настолько та была молчаливая и хмурая. Она стояла постоянно поодаль, но слушала внимательно, о чем говорят взрослые, понимала многое, бывало, и улыбалась странной улыбкой.

– Как тебя зовут? – по-русски спросил у нее Дитер.

Девочка не отвечала; он был выше и мог только видеть опущенную голову и темно-бронзовый отблеск на ее затылке.

– Ты что, немая? – разозлившись, спросил он и слабо толкнул ее в плечо.

Не показывая лица, плечи еще больше опустив, она покачала головой.

– Если не немая, отвечай! Имя у тебя есть?

А поскольку она молчала и этим злила его, он сильно ударил ее по предплечью, а когда она пошатнулась, вlepил ей затем и звонкую пощечину. Она вскрикнула – и на это явилась Лизель, что была шокирована его поведением.

– Дитер, не бей ее! Разве можно? Что отец говорил?.. На женщину поднимать руку?!

– А что она не отвечает? – обиженно спросил он. – Не немая же! А как ее имя, сказать не хочет.

– Что ты кричишь? Если я тебе по лицу дам, больно тебе будет? Не хочет – пусть не говорит!

– Ее Машей звать, – сказала Жаннетт. – Она сейчас не говорит. Мари, к матери иди! Она в кухне. Ей нехорошо... успокой ее.

Девочка убежала. Дитер хотел пойти за ней, чтобы опять пристать к ней с вопросами и все-таки добиться вразумительных ответов, но мать его остановила и силой усадила на диван. Жаннетт тем временем распаковывала саквояж.

– Хочешь посмотреть? – спросила она, доставая фотографии. – Тут я и мой поэтический герой.

– Неужели? – хотел было съязвить он, но успел прикусить язык.

– Мы тут в Киргизии. Путешествовали вместе по Средней Азии. Снимались на озере Иссык-Куль. Место замечательное, тепло, света много, купаться можно... Не знаю, встретимся ли мы снова. Неужто новости из нашей глуши не произвели впечатления на вас, местных?

– Нам хватает и своих, – ответила Лизель. – Как младшую девочку звать, ты не сказала.

– Нет?.. Катериной ее звать. И девчонка не ее.

– Как же – не ее? А чья?

– Василь, паскуда, постарался. Он, кобель приبلудный, успел с десяток детей заделать. Все по вдовам офицерским.

Если какая забеременела – все знают, от кого! Слава впереди бежала!.. В отца пошел. Тот тоже матери столько горя причинил! И девчонка эта как раз от такой же, несчастной, очередной. Мать при родах погибла. Так и пожалели, оставили у себя, с собой взяли... ребенок все-таки, не бросать же! Жить и такое, нагулянное, хочет! А от Василя больше и ничего, только письма. К «белым» патриотам ушел.

– Вы рассорились из-за... этого личного?

– Личного... если бы. Курить-то можно? – спросила Жаннетт, вынимая из саквояжа портсигар. – Мы из-за политики изначально разошлись. Он – устойчивый консерватор. Такого ничто не собьет – с такого-то пути. Эти прогнившие, жалкие «скрепы»... Так мы и рассорились. Но он попросил меня, уезжая, позаботиться о его семье, увезти их, если... собственнно, и случилось. А твой что? Живой, пишет?..

– Он... я не знаю. У нас тоже говорят о революции, и я боюсь, как бы Райко на нее не ушел.

Воспользовавшись растерянностью матери, Дитер тут выскользнул у нее из рук и убежал в кухню. Там сидели Мария с ее матерью Ашхен, и Ашхен плакала, уткнувшись в волосы дочери.

– Я знаю, знаю... они, они – говорят обо мне! – приговаривала Ашхен. – Они насмежаются! Не боятся за моей спиной сплетничать! Пусть, все равно я скоро умру! Я знаю, знаю, что умру!.. Но лучше бы все в глаза сказали... а это – мерзко, мерзко!..

За стонами и мокрыми всхлипами Ашхен он услышал и ласковый, тихий голос ее дочери. Заметив его, девочка замолчала. Внешне они были похожи с матерью: острое, необычно ханское было в их лицах, их раскосых карих глазах и темных, тонких суровых губах. Это было ему странно: таких лиц он ранее не встречал, разве что видел на картинках в учебнике. Лица людей, оставшихся без родины. Эти же черты он ожидал увидеть в девочке, что шевелилась в свертке, но Катерина была светленькой и смутно знакомой. Непривычно было вблизи смотреть на чужого ребенка. Но в любопытстве он потянулся к нему, а потом эта девочка оказалась у него на руках, и на мгновение он решил, что она его узнала. Он не очень-то любил свою сестру Регину и не скучал по ней после ее смерти, но теперь ему захотелось вернуть Регину, сестру, или получить новую сестру, чтобы злиться на нее, дергать ее за волосы, а потом отгонять от нее плохих мальчишек. Вот бы вернулся отец, и у матери родилась маленькая сестра. Ведь после смерти Регины мать неделю ничего не ела, и в глазах ее навечно застыла тоска.

Сутки спустя сменилась власть, правление перешло к социал-демократам, у которых разрастался конфликт с коммунистами. Империя, казавшаяся непоколебимой, разрушилась, и новая страна оказалась на пороге гражданской войны. В письме Райко, муж Лизель, писал, что «республика» – нечто странное в его понимании. Письмо принес его сослу-

живец, отозванный в столицу уже по окончании войны, после подписания перемирия. Человек этот, потрепанный, с уродливым от оспы лицом, спешил к своей семье и на вопросы Лизель отвечал отрывисто, желая избавиться от нее поскорее. С письмом он привез неизвестно как добытые Райко колбасу и несколько банок консервов. В семье очень обрадовались передачке и стали высчитывать, как растянуть еду на неделю. С проснувшейся от долгого голодания жадностью Дитер спросил:

– Нам обязательно делиться с этими, твоими гостями?

– Но мы же все делим пополам, – возразила Лизель с обиженным выражением. – Они тоже давно не ели мяса. Будет нехорошо, если мы от них утаим.

– Но это отцовские консервы! И колбаса тоже его!.. Нам самим есть нечего! Почему мы должны что-то им отдавать? Они приехали, чтобы мы с ними делили еду, которой нам самим не хватает!

– Но они тоже нам помогают...

– Очень мне нужна их помощь! Без них раньше справлялись – и ничего!..

Разочарованно Лизель смотрела на него, и он сильнее разозлился – от осознания, что ей больно от его жадности. Ранее он не говорил, что устал от якобы взаимной помощи, но сейчас не смог держаться; было нелепо, что Лизель дорожит чьей-то дружбой, когда могут быть только интересы семьи.

За едой, в провинцию, нельзя было ездить поездом, на машине, по крупным дорогам: «мешочничество» объявили вне закона, и на вокзалах и дорогах дежурили полицейские и отбирали у возвращавшихся в город купленные у деревенских продукты. Объяснять, что «мешочничество» – единственный способ выжить (а магазины закрыты!), что за еду уплачены деньги или отданы украшения, – все было теперь бесполезно. Полицейские не смотрели на возраст, бывало, распускали руки и грозились посадить в тюрьму за нарушение закона суток на десять. Можно было проскользнуть лесными тропинками, с велосипедом, но и то иногда заканчивалось плачевно: могли напасть местные, отобрать все, побить или даже убить.

Но, так как все лучше было, чем помирать, Лизель послала сына в деревню; сама она была слишком слаба, чтобы ездить с ним. Воскресенские снаряжали с ним Марию – Ашхен, ее мать, боялась местных правоохранителей, а Жаннетт занялась переводами и часами просиживала за письменным столом. Марии достали маленький велосипед, и, когда Дитер приезжал из города на дачу, они вместе ехали в деревню, за четыре километра. Эта вынужденная близость ему сильно не нравилась, он хотел побыть один, а Мария мешала ему, даже если они ехали молча. В иные моменты он находил, что она приятна ему своим терпением, что она умеет договариваться с деревенскими и немного снижать цены. Но потом ее достоинства вызывали в нем гнев еще больший. Он не мог

смириться, что еду с Марией нужно делить поровну, и, чтобы справиться с гневом, обрушивал на ее голову угрозы и оскорбления. Если случалось, что их ловили полицейские и все отбирали, он и в этом винил Марию и, поскольку на слова его она не отвечала, мог и вклеить ей пощечину с бешеным наслаждением. Поначалу она пробовала заслоняться от его ударов, но потом, привыкнув к избиениям, стояла ровно и смотрела прямо. Ей было больно и обидно, но она решила терпеть, раз уж ничего от нее не зависело.

Раз ей удалось поймать кошку, заплутавшую в их саду, и в тот день он впервые почувствовал к ней что-то, схожее с благодарностью. Мария лишь хотела ее успокоить, погладить и не поняла, зачем Дитеру это истощенное злое животное.

– Не нужно! Зачем ты?... – беспомощно сказала она.

Легко оттолкнув ее, Дитер вырвал из ее рук шипящую кошку.

– Мурлыка! Зачем? Что ты делаешь? Это мурлыка! – испуганно прошептала Мария.

Еле удерживая у земли голову кошки, он камнем с первого раза размозжил маленький череп. Мария громко заплакала.

– За что? Что ты сделал?

– Это еда, – ответил он тихо. – Я хочу есть.

Из трупика кошки Лизель был сварен бульон. Немного подумав, она в него бросила оставшуюся половину морковки и еще чуток чеснока.

– Покушай с нами, – сказала она Марии, уже разливая бу-

льон по тарелкам.

Та, чтобы не обижать Лизель, проглотила несколько ложек; но потом ее стало тошнить, и она убежала в туалет.

В другой раз, остановившись с ней по дороге домой, он спросил – чтобы позлить ее:

– Что, запугал я тебя?.. Что не отвечаешь?.. Боишься?

– Я не боюсь, – зачем-то тихо сказала она.

– А отворачиваешься что?.. Что сюда приехала? Думала, с тобой тут ласково станут? И без вас есть нечего, а вы и последнее, как саранча, отбираете! Что у себя-то не сиделось?.. Приехали у нас оставшееся отбирать! У себя бы и жили, что к нам полезли?

– Мы не лезли, – тише ответила она. – Мы скоро уедем.

– Куда это?

– Домой вернемся. Папа у нас воюет. Он напишет нам – и мы вернемся. Мы вам потом все вернем, если попросите. А сейчас у нас нет.

Тихая искренность Марии заставила его в досаде замолчать. Почувствовав в нем перемену, она осторожно повернулась, показала глаза и серьезное выражение утомленного лица. И смотрела очень долго. В невыносимой злости он первым отвернулся, встал с земли, отошел, чтобы не оставаться близ нее, а тем временем в нем зашевелилось внезапное и раньше такое знакомое чувство стыда за себя.

За разговором этим почти ничего не изменилось, разве что приступы совести теперь настигали его временами.

Наступил кровавый декабрь; и в это же время приехали новые родственники.

Все было в том, что у Лизель открылось кровохарканье, усилилась слабость и обнаружился сильный жар в голове. От тяжелейшего воздуха ей было плохо. Она обильно поливала шейный платок туалетной водой и, если делалось невмоготу, дышала сквозь него. Окна открывать теперь было нельзя. За окнами же дрались и строили баррикады разные политические элементы.

Гости явились без записки, не посчитав ее необходимой. То была красивая еще, но больная, плохо одетая женщина, показавшаяся Лизель знакомой, и ее муж – уставший человек с пустыми глазами и деревянной походкой.

– Не вспомните меня? – сухо спросила эта женщина. – Мы с вами встречались, помните?.. Хартманны.

– Слышу в первый раз, – ответила Лизель. – Извините.

– Но... Анна и Георгий. Неужели не вспомните?.. Я – дочь вашего покойного мужа. Вы мне – мачеха.

– О-о, – испуганно ответила Лизель. – Я вас вспомнила.

– Он нас познакомил, несчастный папа. А что с моим братом, с Райко? Вы о нем не слышали?

Всплыло тут же, что, живя много лет с мужем в России, она ничего не знала о браке своего брата. При выяснении новых деталей лицо ее становилось то страшным от шока, то изумленным и подозрительным. Муж ее, присутствовавший

при этой беседе, не говорил, деревянно сидел в кресле и не выказывал ни малейшего интереса к теме разговора.

– Что же, – узнав все, сказала сестра Райко и встала. – Я вас поняла. Когда брат вернется, известите меня. Я оставлю вам наш нынешний адрес.

По тону, по обращению ее Лизель поняла, что Анна Хартманн испытывает к ней сложную смесь из презрения, неприязни и зависти – из-за того, что она, дочь покойного, ни на что не имеет прав в доме своего детства.

Зная, что Хартманны в безденежье (все, что было, отобрали в России), Лизель несколько раз отправляла им деньги, совсем немного, чтобы не чувствовать себя виноватой. Конверты с деньгами носил Дитер, что ему сильно не нравилось. Вернувшись после первого раза, он доложил, что у Хартманнов есть маленькая дочь Софи. Это осложняло дело – помогать деньгами было можно, но купить на них хлеба?

– Это лишнее, очень лишнее, – разозлился на размышления матери Дитер. – Достаточно, что ты посылаешь им отцовские деньги, которых нам едва хватает. А теперь хочешь отправлять им еду? Которую привожу я? И рискую собой? Нет, извините.

– В таком случае я попрошу Марию. Анна Хартманн – твоя тетя, а ее Софи – твоя кузина. Ты хочешь, чтобы они померли с голоду?

– Мы и так им заплатили!

– Не смей кричать на свою мать!

Он нехотя понизил голос:

– Пусть сами ездят за едой. Почему мы должны покупать все за свои деньги, возить это... а они только берут и берут! И спасибо от нее не услышишь! Считает, кажется, что ее обделяют. Зачем такая благотворительность, если за нее и спасибо тебе по-человечески не скажут?

– Спасибо, что война закончилась, – отвечала Лизель, и не слушая его толком. – Пусть так, как случилось... но Райко вернется, и снова все будет хорошо. Война закончилась – и мы не будем больше бороться за еду, как сейчас. Только бы он поскорее к нам вернулся...

Он не писал уже длительное время и в семье о нем много беспокоились.

Приехал Райко уже в январе, никого не известив заранее. Долгое отсутствие и нежелание писать объяснил вступлением в добровольческие отряды, которые подавляли коммунистические восстания против демократического правительства. В столице он оказался в составе этих, «белых», частей, домой зашел, как только смог, и принес с собой две сумки с хорошей едой.

– Не ждали? Не ждали! – весело говорил он на радостные восклицания жены. – Как знал, что получится неожиданность. Не хотел беспокоить... а вы и так все знаете. Кто это такой вырос? Юноша почти! Тринадцать вот-вот исполнится! Ну, молодой человек, как поживаете? А привез я вам много всего!..

Из сумок он стал вытаскивать настоящий хлеб, колбасу, банки с мясными консервами и даже бумажный сверток с яблочным, хрустящим на зубах сахаром мармеладом. Лизель вдруг расплакалась и отвернулась.

– Дитер, только не спеши, а то стошнит, – всхлипывая уже меньше, сказала она сыну и нарезала ему затем хлеб и колбасу.

Лишь получив бутерброды, забыв мгновенно о наказе, он проглотил их огромными кусками, даже не пытаясь прожевать и не чувствуя насыщения. Полчаса спустя его желудок взбунтовался, его рвало несколько раз, после чего, ослабевшего, его перенесли в спальню. Отец бережно уложил его на постель и гладил его волосы, и говорил, что достал своему мальчику коня, настоящего коня, на котором он... А тот не слушал. Ему хотелось плакать, но сильнее хотелось рассказать, как много они пережили и как страшно ему было.

– Мне... – начал он бессильно, как ребенок.

Но не смог закончить: в горле у него встал большой шероховатый ком.

Райко снова нужно было уехать, и, объясняя это жене, он говорил:

– Как в наших обстоятельствах я могу отсиживаться дома?.. На юге у нас гражданская война. Не могу я остаться в стороне, ты понимаешь? Если мы с этим не покончим, покоя нам не будет.

На прощальный ужин решено было позвать его сестру с ее мужем и Воскресенских. Приехавшая раньше мужа Анна не помогала Лизель в кухне, а приставала к Райко, что в кабинете уже собирал вещи в дорогу.

– Райко... Райко... Мне бы хотелось поговорить с тобой. Я понимаю... может быть, не сейчас... или столько времени прошло... но неужели мы не можем?.. Мне так плохо! Если бы ты знал...

– Я знаю, понимаю, – мягко сказал он. – Все наладится. Это у тебя из-за смены обстановки. Я понимаю, тебе тяжело. Но, может быть, у вас там все успокоится, и вы вернетесь... у вас там свое, своя жизнь, а тут... Но если вы не сможете вернуться, о тебе я позабочусь. Я же вернусь, и мы с тобой поговорим об этом... Что твой муж об этом думает?

– О чем?

– О вашем... о случившемся.

– О-о-о... мы с ним не говорим. Как это началось, что-то в наших отношениях поломалось. Я знаю, он во всем винит нас.

– Нас – это кого? Тебя и Софи?

– Нет, нет... Зачем тут Соня? – Анна, приложив усилие, покачала головой. – Нашу с тобой страну. Спорить с ним бесполезно. С чего он это взял?.. Но он сказал, что знает. Что их на самом деле никто не выбирал, никто революции не хочет, а успехи у них такие потому, что вы им платите... в смысле, ваше правительство или... ваши промышленники. Чтобы

они раскачивали ситуацию... Это очень больно, Райко! Как можно выбирать между своими половинками?.. А сейчас он и меня винит. Нет, не в этом. Нет... он и сам не хочет винить. Он хотел уйти к тем, их противникам, «белым»... но не смог. Я отказалась, я сказала, что не уеду без него. Что либо мы уезжаем вместе, либо я остаюсь с ним. Он хотел остаться, я знаю, очень хотел, но не мог допустить, чтобы я и наша дочь... чтобы мы оказались с ним в этой каше. Я боялась за него и... за это он и винит меня. Я не смогла отпустить его. Я не хочу его смерти.

– Он своего мнения не изменил?

– На что?.. О, нет... нет. Поэтому не ругайся с ним, если он скажет... Мой муж пережил войну и переворот. Ему можно простить.

– Мы тоже пережили войну и революцию. И что же?..

Анна покачала светлой, блестящей пушистыми волосами головой. Полминуты спустя она произнесла сквозь зубы:

– Ты мог бы мне написать... что вы поженились. Это меня, честно говоря, ошеломило. Я не знала, что после смерти папы вы на такое решитесь.

– Я не хотел тебя беспокоить. Я знаю, что ты ее не любишь. Я не хотел, боялся, что ты не так это поймешь.

– А за что мне ее любить?.. Что отец в ней нашел? Я ужаснулась. Он ко мне приехал в гости, все было замечательно, и тут новость: женится, и на ком? На ком, спрашивается? На ней?..

– Вы с ней и не говорили толком. Что ты могла понять?

– Может, и ничего, – резко ответила Анна. – А разве приятно иметь мачеху своего возраста? Но нынче она мне не мачеха. Ты что, женился на ней из-за ее денег?

– Что за... это за дикость?

– А что? – тише заговорила она. – Я знаю, все деньги отошли ей. Она была его женой, ей все и осталось!

– Не смей так говорить! Это... это низко! Ты себя не слышишь?..

Очень ей хотелось возразить, но она не успела: Райко услышал за дверью кабинета мужской голос и суше прежнего сказал:

– Твой муж приехал. Иди его встречать.

Марию отослали в комнату Дитера. Он грубо осведомился, чего она явилась, на что она ответила:

– Твоя мама послала меня к тебе...

В руках у нее были белые розы.

– Мать не любит белые, – язвительно заметил он.

– Я это уже поняла.

– Они у нее плохие воспоминания вызывают.

– Я пока оставлю тут, – присаживаясь на пол, ответила

Мария. – Что ты сейчас клеишь?

– Самолет.

– Он из бумаги?

– Из бумаги. Это мой пятый. Хочешь посмотреть?.. Толь-

ко не сломай!

Осторожно и с уважением она осмотрела бумажную фигуру, потрогала прямые крылья, еще влажные от клея, и возвратила самолет на его стол.

– Красивый. Хочешь, я тебе буду помогать?

– Ты не сумеешь. Девчонки ничего полезного не умеют, а ломают только!

– А вторые ножницы у тебя есть?

– Я же сказал: не трогай!

– Я не за этим.

Взяв ножницы, разложив цветы на полу, она стала обрезать бутоны. Он с удивлением на нее посмотрел.

– И вот зачем ты эти цветы портишь, а?

– Твоей матери они не понравились. Ничего такого, – сухо ответила та.

Тут появилась ее тетя и громко позвала их к столу.

– Почему у тебя все руки исколоты? – озабоченно спросила Жаннетт, усаживая ее за стол, между собой и Дитером.

Напротив Жаннетт – и большого зеркала – сидела Ашхен Александровна, и лицо ее, желтоватое, с сузившимся ртом и впавшими темными глазами не предвещало ничего хорошего. По левую руку от Ашхен и напротив Анны сел Георгий Николаевич, ее муж; выражение у него было замкнутое и усталое. Райко сидел близ него, тоже слева, и смотрел мимо Лизель и Анны.

– Ай! – воскликнула громко Мария, которую Дитер пнул

ногой под столом.

Все на них посмотрели.

– Что ты кричишь? – прошипела ей еле слышно Жаннетт.

– Он пинает меня!

– Нет! Она врет! Она врет!..

Последовала небольшая нотация, после которой от детей вновь отстали. Поскольку взрослые увлеклись разговором, Дитер затем опять стал пинаться, попадая то по стулу Марии, то по ее голени; ближе придвинувшись, он начал нашептывать ей обычные школьные пошлости, которые она, будучи младше, еще знать не могла. Мария молчала, притворялась глухонемой, а он все наклонялся к ней, будто пытаясь выдавить ее из-за стола.

– Право же, я знаю таких, как вы! – спорила с Георгием Николаевичем Жаннетт. – Такие, как вы, против любых достижений, вы хватаетесь за прежний уклад, не желая по тупости своей заметить, что времена империй и авторитаризма прошли и что наступил новый век, демократический, в котором мнение всякого должно уважаться, вне зависимости от его происхождения.

– Я знаю, знаю! Вы из тех, кто представляет, по их словам, весь народ. Вы – защитники народа! Любители народного скотства.

– Решительно вас не понимаю! О чем вы, позвольте?

– Это смешно!

– И что же смешного?..

– Смешно слушать, как наши интеллигенты заботятся о народе.

– Что смешного? – сильно возмутилась Жаннетт. – Разве интеллигент, вне зависимости от своей национальности, не должен заботиться об остальных?

– Да вы же ничего не знаете об этом народе! Это ваши фантазии! Как все наши интеллигенты, выросшие в парниковых условиях, вы себе народ, деревню, тамошнюю жизнь представляете по «деревенской» прозе и по воспоминаниям писателей, что шли в этот народ, что-то пытались наблюдать и воображали, сделав какие-то замечания, что народ этот они хорошо знают. Та самая «народная» душа, светлая и радушная, которую эти писатели из интеллигентов и аристократов наблюдали, – это отражение их интеллигентных и аристократических душ, это фантазии, миф, не выдерживающий столкновения с жизнью. Хороший и честный, умный, воспитанный на глубоких книгах человек стал восхищаться необычным колоритом народной жизни, к колориту этому добавил свое внутреннее содержание – а вы этому столько лет поклоняетесь! Много вы рабочих и крестьян, скажите мне, видели? Жили сами в деревне? Общались ли сами с этими людьми? Вы сказали, что наступило время, когда мнение каждого должно уважаться. Но как вы можете ставить мнение человека невежественного, более того, живущего только жизнью тела, не способного к мысли абстрактной, наравне с мнением человека образованного, понимающего историю

и политику? Вот станут образованный и дурак вместе, на равных, государство строить, и министерствами управлять, и армией командовать – и что получится? А хаос получится! Тупой так все запутает, что и десять образованных не справятся, не распутают. Вы же этого хотите, я вас правильно понимаю?

– Что же вы все... – озабоченно сказала Жаннетт. – Я вам пыталась рассказать об образовании, о том, что нужно учиться, но чтобы у всех были равные возможности... а вы с чепухи начали!

– А разве нужно им образование? Разве они его хотят? Как по мне, им, если и хочется чего-то, так это наглотаться водки до озверения, а потом драку затеять на ровном месте да песни горланить у вас под окнами. Сколько мы скотства насмотрелись с ними – и воровство, и изнасилования повальные, и богохульство...

– Ох, мы начнем нынче слушать, как ужасно не верить в Бога!

– Помолчите же! – большим и тихим голосом перебила ее Ашхен Александровна. – Вы сами от Бога, Евгения Дмитриевна, отошли, иконы в нашем доме ставите к стене образами и дочь мою по рукам бьете, если на ночь она крестится.

– А зачем вы ребенку навязываете? – возразила ей сейчас же Жаннетт. – Как вырастет Машка – выберет! А пока маленькая, учить ее не нужно! Осознанность нужна, осознанность, а не тупое запоминание и молитвы вечные, бессмыс-

ленные! Вы бы о своем муже вспомнили. Муж ваш и брат мой очень уж верит, иконку с собой носит, крестик свой не снимает, а гуляет, кобель, вас не стесняясь, и глаз не опускает, виноватым себя не чувствует. Сколько уж детей от всяких получилось, а верит зато!.. Дети! – воскликнула она вдруг, опомнившись. – Уйдите отсюда!

Желая узнать, какие непристойности последуют дальше, они медлили, нехотя вставали и шумно задвигали стульями.

– Ну, брысь отсюда, немедленно!

Из комнаты Дитера сложно было следить за дальнейшим течением спора. Ясно было лишь, что принимает он масштаб широкий и спорить начинают все и со всеми. Бросивший клеить самолет Дитер слушал из-за стены их голоса, он забрался на постель и раскачивал ногами, и спрашивал:

– Почему Жаннетт не осталась у вас, если она тоже «красная»?

– Она о нас заботится, – тихо ответила Мария. Она распускала розовые бутоны на лепестки. – Мама очень больна и не может о нас позаботиться. И тетя Жаннетт – не «красная». Она демократка.

– Вас отец бросил?

– Нет, он нас не бросал.

– А Жаннетт сказала, что бросил, – улыбаясь, ответил он. – Что у него полно других женщин.

– Это не так. Он нас не бросал!.. Он воюет. Он позовет нас обратно, и мы вернемся.

Полчаса спустя за ней явилась Жаннетт; грубовато подняла ее за руку со словами:

– Безобразие какое-то! Пошли же, пошли! Хватит с меня этого общества! Хватит!

Не сопротивляясь ей, Мария вышла из комнаты. После нее пол был словно засыпан гигантскими снежинками. За стеной уже никто не спорил.

Сначала умер отец.

До сырого, дождливого мая от него пришло два письма. А в выходной день приехал его товарищ из добровольческого отряда и, не заходя в дом, захотел говорить с Лизель. Дитер и Мария, что вернулись из обычной поездки в деревню, в это время тащили по лестнице велосипеда. Они спотыкались от тяжести и часто поправляли одежду – под нею была спрятана еда. Лизель стояла, прислонившись к косяку входной двери, и глаза ее были странно тупы. Человек в униформе протягивал ей коробку, а она не брала. Дитер издали крикнул ей. Человек повернулся и наклонился к нему:

– Это ты, его сын?

– Чей? – туповато переспросил он.

– Вот, возьми! Это отца твоего.

– Что это?

– От отца. Я с ним служил.

Не понимая, чего мать не шевелится, он взял коробку и велосипед начал вталкивать в открытую квартиру.

– Что там такое? – робко спросила Мария, зайдя за ним следом.

– Не знаю. От отца. Не лезь!

Поспешно Мария отдернула руки. Он сам открыл коробку и вытряхнул из нее на столик отцовскую записную книжку, огрызок карандаша, награды, золотые наручные часы с вмятиной на крышке, серебряный тонкий портсигар и зажигалку. Мать вошла в прихожую, посмотрела на привезенные вещи и отвела глаза; не рассчитанными, косыми шагами двинулась в закрытую дверь.

– Что это такое? – испуганно спросил он.

Лизель вошла в кухню и там уселась за стол.

– Что?.. – еле слышно переспросила она. – Ты иди... поиграй пока.

– Кто это был? – не отставал от нее он. – Что с отцом? Что он сказал?

– Он... я... я не знаю...

– Но ты соберись! Что он сказал? Он ушел уже?.. Что он хотел?

Спрашивал он испуганно и умоляюще, не желая, чтобы она отвечала, но чувствуя уже, что внутри у него что-то судорожно бьется. Чтобы стряхнуть это, он слабо затеребил плечи матери.

– Он сказал... что твой отец погиб. В Минге. Там... были бои и... я не могла больше... я не помню, что он хотел мне

сказать, не помню!..

И она заплакала, убрал лицо в раскрытые ладони.

Не зная, о чем они говорили, по лицу его Мария все же многое поняла.

– Твой папа умер, да?

– Что? – не услышав ее словно, переспросил он.

Она повторила громче. Он смотрел на нее долго и думал, что не сможет вынести бесполезного сочувствия. Была в этом какая-то необъяснимая, нечеловеческая несправедливость, перенести которую нельзя было в здравом уме. Не от желания причинить боль, а за тем, чтобы она перестала смотреть, он с размаху ударил ее по лицу. Тихо и жалобно Мария вскрикнула. Схватив ее за плечи, он вытолкнул ее из квартиры и как мог сильно захлопнул за нею дверь. Постучись она обратно, он бы, возможно, захотел ее придушить. Но теперь он стоял, как оглушенный, со сбивчивыми мыслями и с неприятной пустотой в районе живота. Он ничего не понимал.

Затем, в комнате, его захлестнул страх. Его будто бросили из 12 лет в 30, и отныне он должен был заботиться не только о себе, но и о матери. Он и ранее чувствовал ответственность, но ранее на заднем плане была тень отца, надежда на отца, вера в отца, который вернется и исправит его ошибки, а за правильные поступки щедро похвалит. С этого дня он был единственным мужчиной в доме. Некому было исправлять его ошибки, некому было дать мужской совет. Отец не

вернется. У него никогда не будет могилы. Он никогда больше не войдет в этот дом. Отец умер. И вместе с тем умирала его любовь к матери.

Их не сблизило исчезновение отца. Они стали чужими друг другу – во многом по его, сына, вине. Он боялся ее успокаивать, просто смотреть на постоянно скорбное вопрошительное лицо – боялся, что не справится с собой и расплачется. Обычное проявление боли воспринималось им хуже обнаженности – будто позволить снять с него все и рассматривать полностью, с волосками и родинками. Так дом их, прежде общительный, погрузился в молчание. И чем дольше они тонули каждый в собственном горе, тем быстрее разрасталась отчужденность.

Чуть позже к ним пришла Анна Хартманн и сбивчиво, в платок, рассказала, что ее муж повесился.

– Что же это такое?.. Написал, чтобы себя ни в чем не винила... что сам виноват, не смог свою обязанность исполнить, не остался в России... а я, получается, и не виновата... как же не виновата?.. Повесился, а я с ребенком остаюсь?.. Или мне с собой что?.. А что с Соней станет? Как я ее растить стану, без него? На что? У меня ничего нет...

А потом уже позвонила Жаннетт и сказала, что Мария не сможет нынче поехать за продуктами, но они очень просят привезти немного еды и им, ибо обстоятельства у них тяжелые. Дитера с бумажным пакетом на пороге встретила сама Мария, она была с опухшим лицом и в траурном платье.

Жаннетт в это время возилась с младшим ребенком.

– Так что у вас случилось, а?

Мария зашмыгала носом.

– Мама минувшей ночью умерла, – просто сказала она.

– Как?.. Почему?

– От сердца. Она очень волновалась. От отца принесли письмо.

– Значит, он жив? Если он написал письмо...

– Мы не знаем. Он пишет, что у нас очень плохо. Гражданская война, очень страшная. И домой мы не вернемся. Дома у нас больше нет. Не нужно мне было говорить, что мы вам с тетей Лизель все вернем. Мы этого не сможем. Получается, я лгуныя из-за этого.

Она вышла за письмом отца, протянула Дитеру. На высохших, пожелтевших по краям листках он смог различить чуть расплывшиеся синие слова: «Милые мои, любимые Ашхен и дочка Машенька! Я вам пишу из-под Царицына...». Не желая читать после, он резко оттолкнул от себя руку Марии.

– Только не бей меня сейчас, – попросила она. – Спасибо, что принес это. Мы вам потом заплатим, у тети сейчас нет.

Он хотел сказать ей что-то утешительное, но не мог вспомнить слова.

– Хотите, я вам помогу? Например, посижу с Катей. Наверное, у тетки твоей много дел.

– А ты разве сможешь? Она маленькая и требует много заботы.

– Да ничего. Что я, с ребенком не справлюсь?

Отчего-то взяв у Жаннетт Катю, он почувствовал себя лучше. Сразу она успокоилась и приятно стала играть его пальцами.

– Ты очень хорошо на нее влияешь, – сказала тетя Жаннетт.

Весной начали отменять продовольственные карточки – сначала на яйца и рыбу, а после – на мясо и картофель, хлеб, крупу и молоко. Но блокада пока сохранялась, порты были блокированы вражескими войсками, и импорта (обычной еды) в стране по-прежнему не было.

28 июня с новым демократическим правительством подписали мирный договор, по которому страна, признанная единственно виновной, обязалась возместить противникам гражданский ущерб. Война, унесшая более 2 миллионов человек, наконец-то закончилась. Но нынче говорили не о наступившем мире, а о развале страны: они лишились колоний, в некоторых районах оставались иностранные войска, что-то объявлялось демилитаризованным, где-то проводились плебисциты.

– И какие слова странные придумали на этот счет! РЕСПУБЛИКА! И еще хуже – ДЕМОКРАТИЯ! Как будто нам без них плохо жилось! ДЕМОКРАТИЯ, наверное, – это когда заграничные офицеры занимают вашу землю и говорят, что это ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ.

Так скатившаяся после войны в анархию страна неуверенно возвращалась к миролюбивой жизни.

– Может мне кто-то объяснить, что такое демократия? – узнав из газет о новом явлении, спросил Лизель ее сын.

– Раньше я была уверена, что это свобода, – глупо, пожимая плечами, сказала она.

– А разве то, что ты сказала, не анархия?

– Нет... а может, и она. Не знаю. Я не разбираюсь в политике.

Он в досаде смотрел на ее равнодушие.

– Тебе что, наплевать, что на нашей земле стоят чужие войска? – после паузы спросил он.

– Нет... но вот что за слова!..

– Обыкновенные это слова. Но ты... словно ничего не заметила. То, что мы считали своим, теперь отошло кому-то еще. Тебя это не беспокоит?

– Можешь ты оставить меня в покое?.. Мне все равно.

Он понял, услышал уже в ее изменившемся голосе, что ее беспокоит память о муже или же боль за умершую дочь – что угодно, но только не он, ее сын, не наступившее там, за окном.

– Мама, а ты умеешь зарабатывать деньги?

Она была поражена этим.

– А зачем мне зарабатывать деньги?

Теперь уже он был поражен.

– Как это – зачем?

– Мы продаем дачу и будем жить на это, – ответила Лизель.

– Этого хватит на полгода. А потом?

– Давай вложим во что-нибудь деньги.

– И во что же?

Она безразлично пожала плечами.

– Значит, я должен зарабатывать, правильно? – требовал ответа он.

– Нет, тебе рано работать. Ты должен учиться и стать юристом или инженером.

– Но на что мы станем жить?

– Дитте, я говорю: мы продадим дачу.

Он был обессилен бессмысленным разговором.

Дача была продана, а деньги от нее потрачены за три месяца – они получили менее четверти от ее стоимости. После этого, чтобы не умереть с голоду, нужно было искать работу. Не ожидая, что мать отправится стирать или печатать на машинке в конторе, Дитер пристроился к редакции – распространять утренние выпуски какой-то новой партии. В пять часов утра он на велосипеде заезжал за Марией – теперь она жила на съемных комнатах в городе – и с ней уже ехал в редакцию, где они получали каждый по три стопки свеженапечатанных газет. По утрам Мария была рассеяна и утомлена плохим сном. В школу потом она плелась неохотно, учиться не любила не из лени, а от того, что от усталости ей ничего не хотелось. Позволь ей тетя, она бы вообще школу бросила,

считая это лишней тратой своего времени. Дитер ее понимал, но не прогуливал, и средних отметок ему должно было хватить, чтобы сразу после школы пойти в армию.

– ...Но мать желает, чтобы я занялся чем-нибудь другим, – сказал он Марии, когда они раздавали газеты. – Она считает, что хватит нашей семье военных. Ей хочется, чтобы я стал кем-то особенным, умным, необычным. Не зря же она меня раньше на фортепиано гоняла! Она не понимает, что у меня нет способностей ни в какой области. А раз способностей нет – значит, нужно служить в армии. К тому же, этого хотел от меня мой отец. Не нужно пренебрегать его желанием.

Остававшаяся абсолютно бесстрастной с ним Мария только пожимала плечами. Ей было все равно на него, на армию, на то, кем она станет спустя много лет. Ей хотелось много спать и много есть – желания почти преступные. Лишь однажды он заметил ее улыбающуюся – когда они увидели сыр – его завезли в магазины после снятия продовольственной блокады. Какому-то мужчине она приглянулась. Он купил кусок сыра и вынес его в белом платке, а Мария уже хотела взять – но Дитер ударил ее по руке. Мужчина испугался, что он ее брат, и ушел.

– За что? – закричала она, когда он за шкурку потащил ее от магазина.

– Ты просто идиотка! Запомни, дура: увидишь человека, что захочет тебя угостить, – тут же уноси ноги! А то будешь

тут потом с животом ходить, а мне о тебе опять заботиться, ты поняла?..

Не понявшая его толком, но испуганная, Мария соглашалась. Не стесняясь в выражениях, он тряс ее за воротник пальто, а сам думал, не пожалеть ли ее, не быть ли снисходительным к такому – она, как и все, хотела попробовать и сыр, и мясо, какао и фрукты.

– Нет, я не осуждаю! – удивляясь ее незнанию, выпалил он. – Но не в моем присутствии, понятно? Ясно я выражаюсь, а?..

Она не отвечала, не зная просто, чего он от нее хочет.

Проклятая разница в возрасте, разница в их положении, непохожие характеры с разными вкусами и осознанием жизни – это его тяготило, он не мог говорить с ней на равных, а вел себя, как начальник, деспотичный и мрачный, причем с намерением спасти ее – без понимания, зачем ему все это делать. Раздражало то, что Мария легче него переносит безденежье, способна бороться с соблазном и терпеть, сколько уж потребуется, тогда как ему неисполнение его желания было почти невыносимо. За страхом не успеть купить съестного к нему пришел страх, что ни на что не хватит денег; цены, сколько бы ни было товара, оставались высокими, а зарплаты урезали. «Деньги, деньги, деньги!» – навязчивость эта испугала бы Лизель, скажи он откровенно о своих чувствах. Постепенно и незаметно для себя он шел к какой-то мании: мучаясь бессонницей, ночами он высчитывал, на сколько вы-

растет цена необходимого на будущей неделе, а если зарплату не повысят, а быть может, и урежут, в каком магазине лучше торговаться....

– Постой, – говорил он себе вслух, – больше никаких деревенщин, достаточно спуститься в магазин... но торговаться в нем нельзя!

– Мил человек, да ты просто повернулся на своих подсчетах, – сказала Жаннетт, услышав от него такое. – Ты уже сам с собой разговариваешь и считаешь там что-то себе... Ой, плохо! Не женишься – уж больно расходы на женщину вырастут. Ты этого не вынесешь, я чувствую.

Ранее она удивлялась его жалобам на мать – что она отказывается работать, а занимает дни плачем по покойным, занавешивает окна и ставит свечки у икон, и молится, как больная. Но, услышав, что ребенок – она считала его ребенком – один занимается домашним хозяйством и даже следит за матерью, чтобы та не забывала есть, Жаннетт сказала:

– При всем моем сочувствии к твоей маме, ей нужно перестать это... не может же она всю жизнь молиться и сидеть в четырех стенах! Я-то сумею ее пристроить. Нужно ее согласие, но я с ней, вот узнаешь, поговорю.

Надавив на Лизель, Жаннетт смогла устроить ее кондуктором в трамвае. Не зная, тяжело ли это – сама Жаннетт зарабатывала статьями в «Демократическом вестнике», – она советовала ей быть исполнительной на работе и обязательно помогать сыну, и хоть не забывать о нем – Лизель же так лю-

била его раньше! И теперь Лизель ходила на работу и приходила отупевшей. Она уже была седа и в усталости своей страшна. Сын не мог привыкнуть к ней и, к собственному тайному стыду, испытывал к ее ранней старости юношеское отвращение. Понимая, что творится с ним, она старалась его не беспокоить. Дитер и счастлив был, что почти ее не видит; появлялась она поздно, спрашивала, позаботился ли он об уроках, довольствовалась сухими ответами и уходила к себе после скорого ужина, так как вставать ей нужно было рано. В нечастые выходные Лизель, ближе к полудню, выбиралась к знакомым, а по возвращении выпивала у себя в комнате, полагая, что сын ее об этом не знает. Нового своего пристрастия она стыдилась не меньше, чем он стыдился своего нынешнего отношения к ней. За коротким нетрезвым выходным она опять встраивалась в рабочую рутину, и, как бы ей ни хотелось избавиться от ответственности за себя и за сына, была на удивление терпелива.

В доме Марии было беспокойно: всем была недовольна Жаннетт, ругалась и иногда отвечивала подзатыльники племяннице. Та старалась как можно меньше времени находиться дома – убегала рано, чтобы успеть постоять с газетами перед школой, шаталась по дворам в поисках кошек, у Дитера и Лизель мучила фортепиано, а после снова бродила по улицам.

– С кем ты дружишь? С кем гуляешь? – тоном полицейского спрашивал он, когда она уходила на улицы.

– С девочками, – отвечала Мария.

Как-то она робко спросила, не хочет ли он погулять с ними.

– Чтобы сифилис отхватить? Совсем я, что ли?

– А что это такое? – любопытствовала она.

– Получишь – узнаешь.

– А тебе что? – с внезапным вызовом выкрикнула она.

– А, так знаешь? – в бешенстве выпалил он. – Так что в дурочку играешь?

Она не знала, а только обижалась, чувствуя что-то мерзкое, липкое за его словами.

– Ты со своими мальчишками гуляешь. Меня с собой не зовешь. А мне что?.. Мне хочется поболтать. Что в этом плохого?

– Они балуются. Тебе-то что в этой компании делать? Мне-то что, я не дурак, чтобы с ними, а ты же дура.

– Сам такой, сам дурак!

– Твои девчонки, научат они тебя – знаешь чему?

– Нет. Они милые и добрые. Не то что ты. Ты только и умеешь, что рявкать.

Желая отругать ее, теперь он промолчал. Ее искреннее возмущение успокоило его, он думал, что она опытнее, смелее его. Притворяясь знающим, он боялся, что болячки передаются через прикосновение, оттого в последнее время старался не дотрагиваться до Марии. Насмотревшись за компанию взрослых фильмов в кинотеатре на углу, он из благора-

зумия решил, что лучше начать ее образование, пока это не сделал посторонний, но его что-то останавливало – быть может, жалость или невольное уважение к ее неопытности.

– А сколько тебе лет, обезьяна? – спросил он ее однажды, специально обзывая, чтобы скрыть странность своего вопроса.

– Через три месяца будет четырнадцать.

– А, ясно. Похоже, гадкий утенок так и не станет этим... как он?..

– Сам ты урод! – как бы всерьез выкрикнула она и, оттолкнув, побежала от него.

– Уродина! Нищенка! – крикнул он ей вдогонку.

Но прежнее отношение к ней уже было невозможно – и он это понимал.

Раз он обозвал ее за то, в чем был виноват сам – за намокшие газеты, – и думал, что она стерпит, как прежде. Но оскорбленная уже как женщина, Мария вдруг бросилась на него и успела поцарапать ему шею и дать две пощечины. Затем он отбросил ее, и Мария ударилась о стену. Он не знал, что делать. Мария была очень зла. Минутой ранее он не знал, что она, покорная и наивная, способна на такую самоубийственную ярость.

– Ну, чего смотришь? – воскликнул он. – Работать надо! Не убилась хоть?

– А сам что не бьешь? – со злостью выпалила она. – Трус! Давай! Слышишь, как я тебя называю?

– Ой, какие мы смелые стали! – сказал он и поднял газеты с земли. – Взрослой себя чувствуешь? Только нежная очень уж для взрослой!

– Ты, кроме как оскорблять, ничего не умеешь. – Она плелась за ним и вытиралась рукавом. – Что, разве твоя мама тебя научила?

– Твоя тетка. Ругается, как пролетарий.

– А я тебя буду бить, если будешь ругаться так!

– Ой, как страшно! А я тебе когти насильно остригу! Как без них будешь драться, недобитая кошка?..

Недолго они шли молча.

– Во мне вообще ничего красивого нет? – с обидой спросила она.

– Ну... нет. Красивая – это, понимаешь, как в эротическом фильме. Ну, понимаешь?

– Без всего, что ли?

– Да почему – без всего? Чтобы приятно было смотреть. А у тебя на что смотреть? Руки, может быть.

– Что – руки?

– Руки, говорю, красивые. А ну дай!

Без спросу он взял ее руки, приблизил к себе, оттянул назад рукава, чтобы рассмотреть тонкие и светлые кисти с голубоватым пересечением вен.

– Да что с тобой? – спросила Мария.

– Ну да, красивые, как я сказал, – отпуская ее, сказал он.

Сухое волнение казалось неприятным теперь, неумест-

ным и стыдным; и неприятно было осознание, что он – почти мужчина, а она – почти женщина, хоть и нелепая в мешковатой одежде и некрасивая.

– Ты бы легла со мной в постель? – слетело у него с языка до того, как он успел подумать.

– Что? Нет, конечно, – искренне возмутилась она. – Вот еще!

– Почему? Я что, урод?

– Да.

Мария пошла скорее, чтобы он отстал от нее.

– Ты правда так считаешь?

– Что? – раздраженно спросила она.

– Ты считаешь, что я урод?

– Да! Самый настоящий! Самый уродливый парень на свете!

– Понятно.

На смущенный тон его она оглянулась. Иностранные глаза были неправдоподобны в новом обещании – ласки.

– Обижаешься? – тихо спросила Мария. – Не обижайся. Я так... Но ты сам виноват! Сам же меня обзываешь!

– А ты сказала, что я...

– Ой, какие мы нежные! – передразнила она.

Надеясь, что он продолжит, она пошла лицом к нему, а спиной – к улице. Он же, замороженный игрой нежности на ее лице, ничего не мог сказать. Не дождавшись, чего ей хотелось, Мария сменила выражение на унылое и протянула:

– Я буду работать на Л. Отдавай мои газеты. Иди на Н., а со мной не надо. Вот и оставайся.

И, радуясь его смущению, она забрала свои две стопки и перешла на другую сторону улицы.

Политикой отчасти интересовалась Мария, он же притворялся равнодушным: она читала о чужом, о стране, из которой мечтала уехать, а он слышал о своем, о доме, о близких, ныне живых или умерших.

– Ты знаешь, какой сейчас курс доллара? – спрашивала она наступившей осенью.

– Можешь ты от меня отстать? – кричал он в ответ на нее.

Она замолкала, а он злился: что-то мерзкое в нем заставляло его думать, что она радуется, спрашивая о плохих новостях.

– Я все вижу, – зло, чтобы напугать ее, говорил он. – Ты нас ненавидишь. С тобой тут плохо обращаются? А должны нянчиться, так же? А то – ненависть! Пожалейте ее! А сама-то ты умеешь жалеть других?

Она молчала, но уже не испуганно, а с неким скрытым вызовом. С ненавистью к ней, сдерживаясь, чтобы не влечь пощечину, он отбирал у нее газету, хотел рвать – но не мог. Руки дрожали.

– Ну, тебе-то что? – словно захлебываясь, говорил он Марии. – Ты же все хочешь уехать! Давай, поезжай в свое пряничное государство!

Как-то, не стерпев, Мария сказала:

– Любишь ты чужую кровь пить. Меня нищей называешь, а на себя не смотришь. Сам нищий, похуже меня, оттого у тебя такая злоба в глазах. Не умеешь ты быть нищим.

Сказано это было так, словно она насмеялась, но глаза ее были серьезны, а губы – спокойны.

Чтобы показаться ей лучше, он рассказывал громко, что хочет сбежать в район Р. и пойти к партизанам – героям всех старших мальчишек.

– Ты не умеешь стрелять, – легко возразила Мария.

– Я?.. Вот и умею! Умею, умею!

– Мой папа был лучшим стрелком в нашем городе, – улыбаясь, говорила Мария.

– А еще он таскался по женщинам, – насмешливо сказал Дитер.

– Это тебя не касается! Ясно?..

– Какие мы нежные!.. Я потренируюсь – и стану лучшим стрелком, вот увидишь! А еще я дослужусь до генерала и пересплю с сотней женщин.

Она пробурчала себе что-то под нос.

– Что? – спросил он, думая, что произвел на нее впечатление.

– Заранее тебя поздравляю, – громче сказала она, не скрывая, что ей очень смешно.

Что-то шаблонное, неестественное было в их разговорах: они говорили чужими словами – фильмов и музыки, школы

и улицы.

– Сбежать к партизанам – и то что-то, – говорил он с наигранной смелостью. – Чем сидеть тут – уйти воевать с оккупантами. Никакая это не «мирная» оккупация. Что они забыли на нашей земле?

– Тебя просто убьют, – отвечала Мария. – Ничего ты там не докажешь. Когда ваши начнут опять платить по репарациям, те сами уйдут.

За оккупацией Р. и партизанством обесценились деньги: по рукам они шли, пачкая дешевой краской – ею, поверх старых цифр, проставлялись миллионы и миллиарды.

В войну сохранив часть семейных реликвий, теперь Лизель решила продать их по объявлению. Оставалось у них немного: золотой гарнитур с фианитами и серьги с рубинами, брошь с аметистом и золотой тонкий браслет; коллекционные книжные собрания, четыре картины раннего импрессионизма и пианино «Бехштейн». Человек, согласившийся выкупить разом, пришел раньше времени и расхаживал по комнатам, размышляя, как в них живут.

– Все-таки пять долларов за пианино? – с сожалением ответила Лизель. – Но вы... это же «Бехштейн»! Эксклюзивное пианино с необычным сочным звучанием! Мы покупали его за сотню, не меньше, если считать по нынешнему курсу.

За украшения она надеялась получить не менее пятнадцати долларов, но согласилась на семь; в итоге же вышло всего тридцать долларов. Засаленные заграничные бумажки она

убрала в книгу, а ее спрятала в дальнем углу, полагая, что там ее не заметят (в последнее время она очень боялась воров).

– Ты отдала все за тридцать долларов? – позже спросил ее Дитер.

– Ты говоришь мне, как ребенку, – обиженно потупившись, сказала она.

– Потому что ты ведешь себя глупо... Знаешь ты, сколько это – тридцать долларов? Да мы на эти деньги дважды сможем поесть! Господи, как ты глупа! Ты отдала все золото, и пианино, и наши картины... Совсем ты мозги пропила!

Как пьяная (но трезвая в эту минуту), она с унижением заплакала.

– Ты меня не разжалобишь! – выкрикнул он с облегчением. – Вой, сколько хочешь! Но если ты хочешь, чтобы с тобой считались, веди себя по-человечески, ясно?

– Да что же я сделала? Я не виновата! Сколько дали – взяла! Что мне, в ногах у него нужно валяться, чтобы дал, сколько ты хочешь?

– Без этих жалостливых... вот без этого! Что ты спектакль устраиваешь? Хочешь, чтобы мы голодали?

Испугавшись себя, он замолчал.

– Их нельзя оставлять у нас, – решила она вдруг и заметалась, забыв, куда спрятала деньги. – Нужно положить их в банк. Тут, у нас, небезопасно...

– В банк нести нельзя, – перебил ее он. – Их могут конфисковать, это валюта. Не слышала, что кто-то из правитель-

ства хочет отобрать все доллары – в счет казны? Нет, деньги ты отдашь мне. Я сам позабочусь. Ты их можешь потерять. Ты и сейчас забыла, куда их положила!

Этого она не хотела не из страха, что он деньги присвоит или бесполезно потратит. Ей и легче было бы, спусти он деньги на развлечения – ее пугало его внешнее безразличие к обычным человеческим радостям. Но он оставался серьезным, как взрослый, и не показывал, что у него на уме. Нехотя она согласилась, а он, пока она искала, стоял над ней, холодный и мрачный; и деньги взял сухо, без удовольствия, а больше с омерзением к мокрым от руки ее мелким бумажкам.

Посторонние знали, что смотрит он на мать, как на существо никчемное, будто он был старше и обязан был указывать ей, как вести себя, чтобы не позориться. Из желания властвовать над ней он захватил ее зарплату: вначале Лизель его просила отнести домой ее деньги, что упаковывали в большие мешки, а позже он заявил, что сам знает, как распорядиться ими и покупать по лучшим ценам – и мать, из страха перед ним, с тем согласилась. Затем ей приходилось просить у него на свои нужды. Догадываясь, что она хочет купить, в первый раз Дитер спросил:

– Тебе, наверное, на то, чтобы выпить, нужно?

Она успокоила его.

– Хм... и сколько же тебе нужно?

– А сколько можно?...

Отсчитывая деньги, он говорил:

– Это все, больше не могу. Мне нужно многое купить. Денег ни на что не хватает, а у тебя такие... потребности.

Она молча взяла деньги, боясь его глаз и мысленно повторяя, что более ничего у него не попросит (как ошибочно).

Принесенные с ее работы мешки он ставил в своей комнате, что запиралась им на ключ. Оттого Лизель стала красть из них в день полочки и на рабочем месте. Две небольшие кражи он не заметил, но в третий раз обратил внимание, что мешки как-то слишком уж легки, и указал на это – в присутствии ее коллег.

– И нечего меня обманывать! – в злобе кричал он на нее. – Я что, утаиваю деньги? Я все приношу, за любую мелочь отчитываюсь, все записываю за собой – можешь посмотреть! А ты – воровать, из семьи утаскивать? Я все... а ты?..

Стыдясь, боясь новых скандалов, она начала тайно от него делать долги, не заботясь, как их позже пересчитают. Это не помогало – сын все равно допытывался, кричал в гостиной, зывал к ее благоразумию и этим доводил ее до слез.

– Сколько можно реветь? – в бешенстве от бессилия спросил он однажды. – Ревешь и реवेशь! Достало! Все ревут!

– На себя посмотри, – ответила Лизель. – Как ты со мной разговариваешь? Все на работе удивляются, что сын меня тиранит. Мне больно на тебя смотреть.

– А мне разве не больно? Я, получается, доволен всем?.. Мне что, не стыдно, что моя мать спивается? Что моя мать

– алкоголичка?.. Я тебя просил не пить? Просил?

– А тебе не стыдно меня упрекать?

– Мне? Нет, не стыдно! Я себя веду прилично. Станешь спорить?.. Это ты меня упрекнуть хочешь? Только я не пью, почти не курю, не шляюсь где-то и деньгами не разбрасываюсь.

– Я тебя звала как-то выпить, а ты отказался. Выпил бы, мне что, нравится так?

– О, давай, утаскивай меня в свое болото! Хороша мать, которая сыну за компанию рюмку выставляет. Да мне жить еще, знаешь? Сопьюсь с тобой – что будет? Хорошая жизнь? Я, может, хочу с девчонками гулять, но я же не ною тебе, что не получается у меня, денег на них жалко. Я-то могу потерпеть, а ты что, не можешь? Потребности у нее!..

Что-то о себе он преувеличивал, чтобы она уважала его (все же она была его матерью), а что-то, напротив, преуменьшал. Он боялся, что ей пожалуется одноклассница, которую он завел как-то в подъезд, не купив ей прежде заварного крема; что придет другая девочка, из школьного туалета, и тоже начнет жаловаться на его жадность – это бы уронило его в глазах матери.

Рассказал он об этом одной Марии – чтобы с ней поторгаться. Они, как обычно, стояли в утренней очереди, и он тихо, чтобы взрослые не услышали, спрашивал:

– Хочешь яблоко?..

Она отмалчивалась.

– Может, ты апельсин хочешь?

Промокшая, болезненная, она кашляла с мокротой в горле.

– Хочешь таблетки от кашля? – в шутку спросил он.

– Не хочу...

– Ну, ты хоть не ноешь, – сказал он. – Не выношу женщин, которые ноют! Это отвратительно!

– Тетя Жаннетт вечно жалуется, – дую на замерзшие пальцы, ответила Мария. – Что она растит чужих детей, что денег не хватает, что меня нет дома часто, что я мало зарабатываю, не учусь, и что я неблагодарная. Мне ее жалко.

– Ну и дура!

Мария приложила руки к ярким, почти алым щекам.

– Тетя говорит, – начала опять она, – что через год мы уедем. Если пропадут снова продукты. Как ты считаешь?..

– Да я тебе про то, дура? Давай договоримся!

– Отстань, пожалуйста.

– Ну какие у тебя радости в жизни, а?

– Кто тебя научил так разговаривать? – раздраженно спросила она. – У кого ты позаимствовал свои фразочки? Это глупо! Сам разве не слышишь?

– Сама такая! – воскликнул он и покраснел.

– Пожалуйста! Продолжай сыпать чужими фразами! Интересно, есть в тебе что-то свое, настоящее? Идиот!

И, чтобы не соприкоснуться с ним, она ушла в конец очереди.

На оставшийся после покупки картошки миллион он купил маленький шершавый мандарин и, встав на тротуаре, стал дожидаться Марию. Он и не думал брать его, но заметил, как мандарин блестит на солнце, как насыщенно красива его оранжевая кожа, – и купил, хотя было очень жалко денег.

– Вот, смотри! – с вызовом сказал он, когда Мария вышла из магазина. Трофей его был великолепен.

– Ну и что?

– Я тебе купил. Только отдай мне кожуру, хорошо?

– Я одна домой пойду, – ответила она.

– Ты глухая, что ли? Я тебе от души купил.

– Ну, конечно, – с еще большей обидой ответила Мария. – Ври дальше! А я пошла.

– Что-то ты самостоятельной стала. Тебе, наверное, уже чулки покупают и белье? Мандарин – уже не то?

– Раньше ты и то лучше был! – выпалила она. – Мерзко от тебя! Противно!.. Не ходи за мной!

Но он прошелся за ней, позади, до ее дома, думая, что она это все не всерьез.

Летом он с одноклассниками обворовывал магазины. Нынче это называли продовольственными бунтами и не наказывали за них – часто воров прикрывали полицейские. Они били витрины и вытаскивали все, что могли унести. Хозяева были напуганы и не сопротивлялись.

Домой он приходил с картошкой и морковью, иногда ему доставались пикша или говяжьи кости, хлеб из бумаги, овсянка или саго. Сбросив принесенное в кухне, он ложился в гостиной и долго лежал на диване, укрывшись отцовской шинелью.

– Умоляю, не маячь тут! – кричал он на мать, если та заходила к нему.

Потом приходила Мария – ее приглашали поесть – и докладывала, что завтрак готов.

– Да сейчас я, сейчас! Оставьте меня хоть на минуту в покое!

В эти минуты он как-то особенно ее ненавидел – за то, что смотрела она на него с жалостью; за то, как однажды поправила шинель на нем, не спросив разрешения.

– А можно без нежностей? – не стерпев, сорвался он на нее.

– Что молчишь? – спросил он опять. – Что, ласки вдруг захотелось? Понежничать хочется? Лезет она!

– Вот же идиот! – сказала она.

К августу опустели рынки и магазины. Ставни булочных, бакалейных и зеленных более не открывались каждое утро. Мария заявила, что нужно вернуться к вылазкам за город, и он с ней согласился. В их городе, и то с рук, можно было купить лишь траву для супов и очистки для выпечки хлеба, и воровать такое было бы унижением.

– Мы что, будем красть у крестьян? – выслушав его план,

ужаснулась Мария.

– А ты что, хочешь сдохнуть с голоду?

– Мы можем покупать, – настаивала Мария. – Обменять, скажем, на шинель, на пальто или сапоги, если хочешь.

– Что? Зима на носу, а ты предлагаешь отдать им пальто?.. Деньги они не берут. Что они стоят, твои деньги?..

Доехав на велосипедах до знакомой деревни, они остановились на ночь в ближайшем лесу, а после полуночи забрались в дом на окраине, тот, что с коровой и курами.

– Это же не наше, – повторяла Мария в тревоге. – Дитер, слушай, нельзя же нам воровать!

– Это еще почему?

– А если нас поймают? Знаешь, как прилетит?

– Не поймают. Я заберусь в кухню. Я смогу вскрыть замок. У них колбасы, и молоко, и сыр... они не умрут, если мы немного стащим!

Дрожа от страха, она шла за ним в темноте, ловила его рукав, случайно натыкалась на его локоть и больно сжимала.

– Можешь ты не виснуть на мне? – шипел на нее он. – И так пользы от тебя никакой!

Вскрыв аккуратно замок, он провел ее в кухню и сложил в ее сумку два кусочка козьего сыра, масло в пергаментной бумаге, немного картофеля и начатую черствую ржаную буханку.

– Посмей мне поднять шум! – за руку выводя ее обратно во двор, прошептал он.

По темноте они не хотели трогаться с места и остановились за деревьями; от холода и страха, что за ними явятся с жадной мести, не могли уснуть, боялись и одиночества в шуршащей, ухающей тьме.

– Лишь бы велосипеды не угнали! – повторял Дитер и уходил их проверять. За велосипеды и убить теперь было не жалко.

Раз в несколько дней они наведывались в дома, что казались не богатыми, но благополучными. Часто их пугали хозяева, слышавшие шум, а бывало, и собаки гоняли, и если случалось, что они не могли поживиться на чьей-то кухне, они отправлялись на местные поля и там, как многие их сверстники, набивали карманы и сумки картофелем или морковью, рискуя в темноте быть подстреленными охранником. Старый отцовский револьвер он носил из осторожности, хоть не был уверен, что сможет из него выстрелить. Лишь однажды он достал оружие: как-то они на картофельном поле наткнулись на группу подростков. Он опустил револьвер сразу, разобрав, что скитальцы эти им не опасны, а так же хотят наполнить мешки, пока не появился кто-то из сторожей.

Не смог он выстрелить и тогда, когда проснувшийся от лая собаки хозяин догнал его в темноте и ударил, не примериваясь, чем-то острым по лицу. Вжимаясь порезанным лицом в землю, он попытался уползти, но его крепко схватили и подняли на ноги.

– Отдай, что взял, мразь, пока я всю душу из тебя не вытряс!

Бросившаяся его спасать Мария закричала:

– Дяденька, простите! Возьмите, простите нас! Не бейте его!

Она заплакала, упала, словно обессилов, униженно подползла к высокому человеку и ухватилась за его штанину.

– Дяденька, пожалейте его! Умоляю вас!

– Убирайтесь оба отсюда! – отпуская его и забирая свое, ответил тот. – Чтобы больше вас тут не было! Увижу еще раз – стрелять буду!

Она помогла Дитеру встать с земли; но, не пройдя с ней и ста метров, он вырвался и, еле выпрямившись от усталости, пробормотал:

– Дура ты. Нашла перед кем валяться. Как подстилка какая-то. Дешевка!

– Да жалеешь ты кого-то, кроме себя?

– А, простите! Что, спасительницей себя почувствовала? Нравится? Спасибо, благодетельница!

Тихо она расплакалась. Теперь он ненавидел Марию за то, что плачет она не от обиды, не от его жестоких слов, а из жалости к нему, ослабевшему и в ее глазах ничтожному сейчас. Из этой ненависти он сказал:

– Конечно... меня окружают честные и милосердные люди, которые за другого готовы пожертвовать своим достоинством. Это я скотина! Я один жестокий среди вас! Жаль, что

сами вы ни на что не способны. Все Дитер, понимаете! Еду достать – Дитер! Решать ваши проблемы – тоже Дитер! Всем я должен, только вы мне ничего не должны!

– О, продолжай дальше, – всхлипывая, ответила Мария. – Мне очень нравится это слушать.

– В другой раз я выстрелю! – не слушая ее, выпалил он. – Я застрелю его, клянусь! Больше он ничего у меня не отберет! Я ему покажу! Я ему покажу, вот увидишь!

И в ненависти он уверял себя, что убить несложно – разве так уж сложно спустить курок, если и хочется, и нет иного шанса остаться при награбленном?

Так, с испугавшим его позже спокойствием, без внутренних сомнений, он и выстрелил – в полицейского, вставшего у них на пути. Тот появился на лесной дороге и полез в их сумки. Встав за его спиной, он неловко потянулся за револьвером. «Я лишь припугну его» – одними губами сказал он Марии, заметившей его движение. Пальто его знакомо зашуршало – и полицейский резко обернулся; лицо это, молодое, с впавшими щеками и тонкими бровями, было равнодушно.

– Сколько тебе лет, мальчик? – спросил он, качая головой. – Не рано тебе с игрушками баловаться?.. Не нужно пугать, ты стрелять не будешь. Зачем?..

С испуганным вскриком Мария метнулась между ними, лицом встала к Дитеру и обе руки подняла на уровень груди.

– Дитер, умоляю тебя! Нас обоих – и в тюрьму! Не стреляй! Ну, пусть, пусть... забирает...

Не опуская оружие, он жестом велел ей отойти. Не успела она отступить, как почувствовала, что сзади, за плечи, ее взяли сильные руки. С человеком, рассмотреть которого она не могла, они были приблизительно одного роста, и он пытался прикрыться ею. Она застыла, понимая, что сейчас случится. И руки эти ослабели и отпустили ее, в мгновение на нее перекинулась их дрожь. Она не закричала, только попятилась от опрокинувшейся у ее ног окровавленной головы и тихо сказала:

– Ты мог меня убить. Ты мог промахнуться.

– Я бы не промахнулся.

– Ты убил его. Нельзя было его убивать. Это... нельзя.

– Пусть бы он нас ограбил? – озлобленно спросил он. – Нельзя было!.. И вообще... чего он тебя лапал?

– Он пытался заслониться...

– Ты моя девушка! Никто не будет тебя трогать без моего разрешения! Ты тоже... Все, хватит! – закончил он. – Помоги мне его оттащить! Нельзя бросать его тут! Нужно... чтобы он был за деревьями! Тут лес, его тут позже найдут.

Минут за десять они справились. После отправились искать воду, чтобы отмыть испачканные кровью и землей руки.

Мария молчала. Она была необычно серьезна и спокойна. Она встала на колени у ключа и опустила руки, умывалась, как во сне. Казалось, минула вечность. Сначала Дитер пытался поднять ее, но потом постелил на земле ее пальто и перетащил Марию на него, а сверху накрыл своим и начал

согреть ее озябшие руки своим дыханием. Задумчиво Мария смотрела вверх. Он, замерзнув, лег около нее, укрылся своим пальто, обнял ее, постепенно согреваясь ее теплом, от него заражаясь уже знакомым волнением. Мария закрыла глаза и слушалась, но словно пребывала в ином измерении. Несколько раз она тихо вскрикнула и обняла его за плечи, глаза ее опять открылись – но в них была та же потусторонняя жизнь, войти в которую он не сумел.

А потом она лежала, не замечая, что ее укутывают, очень нежно, беспокоясь за ее здоровье.

– Что с тобой? Тебе что, плохо? Почему?..

Полчаса спустя она села, оттолкнула тревожно потянувшиеся к ней руки и набросила свое пальто.

– Что?.. Больно?.. Почему?.. – беспокойно спросил он ее снова.

Мария не ответила, а пошла обратно; что-то в ней было странно. Он не пошел за ней, поняв, что она хочет одиночества. Он почти любил ее в эту минуту.

– И как же так вышло? – спросила Лизель.

Он неуверенно пожал плечами.

– Дитте, неужели тебе нечего сказать?

– Нечего...

– Жаннетт накричала на меня, – Лизель всхлипывала, – потому что я неправильно тебя воспитывала. Тебе 17 лет, ты лучше меня знаешь. Снова я виноватой оказалась.

Он старался не дышать. Мать ничего не знала об убийстве, Мария не проговорила тете, но он боялся жестом или выражением показать, что все не так, иначе, чем вчера. Лизель всхлипывала долго – она уже была пьяна. Потом она сказала:

– Жаннетт увозит своих девочек – и я ее поддерживаю. Я согласна... вы с Марией плохо поступили. Вы плохо повлияли...

– Плохо повлияли друг на друга? – переспросил он.

– Да, да! Жаннетт права, что собирается уехать. В Минге им будет хорошо.

Жаннетт не пришла попрощаться, и девочки тоже не пришли. Они уехали, не оставив адреса, но Лизель сказала, что Жаннетт напишет ей, как только устроится на новом месте.

Поначалу он был безразличен, но недели через две тоска по Марии проявилась. Без нее было скучно – не с кем воровать, некого критиковать и выслушивать в ответ «правильные» замечания, не было уже азарта, без которого невозможно ухаживание за девушкой. Он злился, что скучает по Марии – он-то был уверен, что она несколько не скучает, наоборот, счастлива от него избавиться. Быть может, в Минге она встретит парня, что начнет таскать ее портфель, а она влюбится в него и уже с ним будет валяться на траве.

– Девочке 14 лет только, – напоминала Лизель.

– И что с того?

– А с того, Дитте, что она ребенок.

– Ну конечно.

С нетерпением он ждал восемнадцатилетия, чтобы уйти из дома, и заранее продумывал, как отвечать на возражения матери. Без Марии знакомые места были невыносимы.

К счастью, наступил новый год, а с ним закончилась инфляция. Он в тот день принес газету с огромным, набранным красными буквами заголовком: «Инфляция закончилась! Один миллиард по новому курсу – одна единица!», – а под ним шла статья о г-не Ш., который договорился с зарубежным банком о большом займе и создании их, национального, «золотого» банка. Мать расплакалась, уронив руки на колени. Он подумал, что плачет она от счастья, но, наклонившись к ней, понял: она расстроена. Он знал, что вертится в ее мозгу: что, если бы положение их ухудшилось, он, сын ее, остался бы с ней, не ушел бы, бросив ее в одиночестве. И самой Лизель материнский эгоизм был неприятен, а перед сыном стало очень стыдно. Окончания им школы и отъезда она боялась, но изображала радость, чтобы не портить своему мальчику праздник. Отбывая на службу, Дитер не скрывал от нее облегчения – так он жаждал самостоятельной жизни. Она с тревогой смотрела в его глаза и гладила плечи, и говорила, что он должен быть бережлив, и чтобы он не упивался свободой – в ней много соблазнов.

– Не беспокойся. Отца я не опозорю.

Армия, в которую он пришел теперь, переживала сложные времена. По условию мирного договора офицерский корпус сокращен был на 26 тысяч: из приблизительно 30 тысяч име-

ли право остаться на службе 4 тысячи при общем количестве войск в сто тысяч человек. Вставший во главе армии генерал С. задумал реформу системы военного образования и подготовки офицеров. Принцип его был прост: «У нас должна быть армия командиров». По задумке генерала, в ней каждый офицер, унтер-офицер и рядовой в случае необходимости должен был быть готов занять следующую ступень: так, рядовой обязан был уметь командовать отделением, унтер-офицер – взводом, лейтенант – ротой и так далее. Имея на постоянной службе столь профессиональный состав, возможно было, в случае нападения, развернуться в армию из 21-й дивизии – это был нужный минимум для обороны страны. Отсюда к желающим служить предъявлялись завышенные – в сравнении с теми, что были до войны – требования. Взамен предлагались регулярные выплаты и хорошие жилищные условия: уже будучи унтер-офицером, можно было рассчитывать на отдельную комнату. В каждом подразделении открывались солдатские клубы и библиотеки. Из-за обещанных благ и потому, что профессия эта по-прежнему считалась престижной, конкурс был серьезным – по пятнадцать человек на одно место. Лучшего из пятнадцати отбирали ротные и батареинные командиры. Желающие стать офицерами записывались в армию в качестве кандидата, фанен-юнкера. Увеличивался также срок службы: ранее можно было получить лейтенантский чин по прошествии года обучения, а ныне требовалось не меньше четырех лет, и за

это время отсеивалась большая часть поступивших. Мельчайшая неосторожность, небольшая лень и вредные привычки могли оборвать карьеру и самого перспективного кандидата.

Начинал кандидат в учебном батальоне со стандартного курса молодого бойца продолжительностью в шесть месяцев. После, на правах рядового, фанен-юнкер переходил в строевую роту и в ней посещал дополнительные занятия по командованию отделением – все в течение следующего полного года. Если он отличился старательностью и сообразительностью, его отправляли обратно в учебный батальон (на положении ефрейтора), в котором он оставался три месяца, а после на унтер-офицерской должности участвовал в маневрах своей дивизии. Важно было, чтобы юноша установил хорошие отношения с сослуживцами и научился завоевывать авторитет. Получив хорошие отзывы о своих знаниях и человеческих качествах, он отправлялся дальше – в единственную в стране пехотную военную школу.

Из нее сын Лизель стал писать чаще, но характер и настроение его писем не изменились: он писал из обязанности и чтобы мать за него не волновалась. Он был счастлив. С иронией или ласково он рассказывал о мелких случаях на службе. В школе он изучал тактику на уровне усиленного батальона, географию, гражданское право, вооружение, автомобильное дело и иностранные языки. Спустя полгода он уехал в спецшколу в Минге и восемь месяцев зубрил военную ис-

торию, новейшие методы применения танков, авиастроение и основы воздушной разведки. Заканчивая курс в Минге, он перестал писать совсем. Позже он сослался на сложнейшие экзамены. Мать он обрадовал, сообщив по телефону, что отлично сдал их, но на вопрос, скоро ли приедет к ней, ответил неопределенно, не желая связывать себя обязательством, исполнить которое не сможет. «Мне нужно быть в полку, это очень важно, образование, понимаешь, мама? Ты же хотела, чтобы я учился». Он устал, но не желал отступать. От постоянных курсов и семинаров порой хотелось вешаться. Он часами читал книги по военным, экономическим и политическим вопросам, затем решал тактические задачи и составлял планы и приказы. Уже с больной головой, на кровати, он заучивал правила из русского, английского и французского языков. И засыпал с блокнотом, многократно повторяя фразы с *didn't*, *I have eaten*, *I ate* и *I'm going*.

Лизель, к которой он приехал впервые, его едва узнала: он был очень красивым в униформе, но утомленным, с красными от усталости глазами и блеклой кожей. Она поседела, поэтому теперь носила платок, но при сыне обнажила голову и спросила:

– Ничего, что я постарела?

От ее объятий он стал отбиваться.

– Мама, ну ты что? Что ты плачешь?..

Давно ему не было так стыдно: он понимал, что любит мать, но не мог терпеть ее – ее растрепанную, униженную

внешность, ее испитое лицо.

Дома стало еще хуже. Он, раньше не имевший сил на нежность, сейчас просто не мог выразить ее: ему было невыносимо стыдно. Мать, плача временами, старалась угодить ему. А он отлично понимал ее вопросительный взгляд и пытался спрятаться.

– Я тебе кое-что привез, – начал он, чтобы начать. – Отрезы на платье... и еду... и деньги... это все тебе.

– Хорошо дома? – присаживаясь напротив, робко спросила Лизель.

– Замечательно... ты знаешь.

– Ну... как ты живешь?

– У меня отличная служба, я доволен. В этом году собираюсь держать военно-окружные экзамены, чтобы попасть в Генштаб. Мне нравится учиться. У нас в гарнизоне учебные группы, нас готовят к этим экзаменам.

– Ты очень устаешь?

– Немного. Но это полезно.

– Ты амбициознее, чем твой отец, – сказала Лизель.

– У отца было состояние, которое перешло от деда, а деду оно досталось от его отца.

Лизель вздрогнула.

– У тебя хорошие товарищи?

– Отличные. Вот бы тебе с ними познакомиться...

Внезапно он представил, что они будут оценивать ее, говорить о ней, сравнивать со своими матерями, быть может,

не измученными работой в трамвае, вечным безденежьем и пьянками. Она тоже поняла

и поспешным жалким голосом спросила:

– А у тебя есть... как это... возлюбленная?

– Возлюбленная? А-а, девушка. – Он краснел, не зная, как ответить.

– Милый, это же... это же не то, не...

– Я знаю. Так... извини, конечно, но нужна же мне какая-то практика.

Стыд подавлял его; будь они оба другими, лучшими версиями себя, он бы у нее спросил совета, попытался бы понять, есть ли в нем сентиментальное, нежное, – но теперь было так мерзко, что хотелось куда-то убежать.

Не пробыв дома и трех дней, он собрался обратно.

– Как? Уже? У тебя же отпуск!

– Но что я могу?.. Это работа.

Он с облегчением уехал; писал он, как раньше, посылал ей деньги, но зарекся появляться дома.

В начале зимы он получил телеграмму от Жаннетт – к собственному удивлению – из столицы. Жаннетт сообщала, что мать его при смерти, а она, Жаннетт, за ней ухаживает. Она просила его приехать как можно скорее. Он отпросился со службы и выехал через сутки.

– Очень жаль, – сказала Жаннетт на пороге.

– Что?.. Что?

– Очень соболезную, – сообразив, что нужно впустить его,

сказала она и отступила.

– Но... как?.. Я же приехал! Вы за мной послали... что я успею и...

– Я очень соболезную, – настойчиво повторила она и взяла его под руку. – Хочешь на нее взглянуть?

– Я... я не понимаю...

За руку, как ребенка, она провела его в комнату и показала на что-то белое – статую под покрывалом с застывшим неживым овалом вместо близкого лица. Он попятился от этого, отмахнулся слепо от Жаннетт, спиной вышел из комнаты, мотая головой, как собака.

– Хватит! Возьми себя в руки! – резко сказала Жаннетт, считая, что ему это скорее поможет. – На тебе вся ответственность. Ты понимаешь? Возьми себя в руки!

– Что? Что ты говоришь?

– Я прошу тебя...

– Я что-то устал... можно мне сесть? Пожалуйста.

Жаннетт не приближалась, а он более всего хотел, чтобы сейчас его обняли и пожалели. Вместо жесткого тона – немного сочувствия и теплых прикосновений. Он боялся спросить о Марии, но вспомнил ее – и воспоминание было ужасно в своей насыщенности. Она бы не стояла в стороне, как Жаннетт.

Поломав что-то в себе, он встал и вернулся к постели матери, и, во власти странного чувства, сел на самый ее краешек.

– Мне лучше, спасибо. Можете не беспокоиться.

– Мне кажется, есть, о чем беспокоиться, – сказала Жаннетт. – Лизель попросила тебя посмотреть финансовые... ну, эти ваши книги.

– Что с ними? Этот тон, я его знаю... С ними что-то не то?

– Тебе позже нужно об этом позаботиться.

– Позже? Лучше сейчас. Я сейчас ничего не чувствую.

Принесите их мне.

Ознакомившись с ними, он сказал:

– Не может быть такого! Чтобы все было настолько плохо... не может быть!

– Это из-за инфляции, – ответила Жаннетт. – Твоя мама не позаботилась о пересчете своих долгов. А сейчас уже поздно.

– Чепуха! – выпалил он. – У меня их нет, этих денег! Я не знаю, была ли у нас в семье раньше хотя бы часть их!

– Мне жаль, – сказала Жаннетт, показывая, что на нее он может не рассчитывать.

Он понял ее и замолчал.

– И все же я помогу с похоронами, – сказала она. – У меня есть опыт. Лизель хотела, чтобы все было образцово. К счастью, умерла она тихо, во сне, и ничего не чувствовала.

И, отстраненно улыбнувшись, она прикрыла за собой тяжелую дверь.

Умерла ли мать, умирали ли миллионы неизвестных лю-

дей, но военно-окружные экзамены не откладывались.

Утомленного, едва себя осознающего человека на четыре дня оставляли с тремя экзаменаторами, а те оценивали его работы по прикладной тактике, теории тактики, инженерной подготовке, вооружению, чтению карт и черчению, праву, истории, географии, математике, химии, физике и иностранному языку.

– Хорошо, что вы не забрасываете самообразование, – услышал он после сказанное со снисхождением. – Но вам нужно больше времени уделять истории права и французскому языку.

– Меня теперь разжалуют? – с отупевшим видом уточнил он.

– Нет, это замечание. Мы вас берем.

– Все равно повезло, – сказал ему сослуживец, уезжавший с неудачей обратно в часть. – На курсе всего-то сорок человек. Смотри, доковыляй хоть до второго курса, не срами нас тут.

Еще четыре года обучения, часы в библиотеках и архивах, частые аттестации – и ощущение бессмысленности времени. Штаб округа, маневры, кочевой образ жизни – из штаба в штаб; во второй год – свой гарнизон, а в третий – стажировка в штабе пехотной дивизии. Экзамены отсеивали обленившихся и уставших, отдельные комиссии – пьющих, необщительных и слабохарактерных. Итого на четвертом курсе осталось девять человек из сорока принятых тремя годами ранее.

Приятно на четвертый год было возвратиться домой, в столицу, хоть это и обязывало заниматься делами матери, т.е. разговаривать, успокаивать, унижаться, умоляя об отсрочке. Но можно было отныне гулять по чистым улицам и в штатском, ходить в кино и на выставки современной фотографии, еще из развлечений были клуб и казино, но там не пили, особо не играли, а всё читали книги или резались в шахматы. О политике не разговаривали – дурной тон, – а притворялись, что ничего не знают ни о партиях, ни о нынешней экономической программе или выборах в парламент.

Чтобы как-то прожить, он пустил к себе трех товарищей по Академии, что вкладывали в общий бюджет немного из ежемесячного жалования. Все образованные ребята, вечерами они читали газеты, болтали о поэзии и что-то чертили. Иногда младший из них, деревенский, делился присланными его родителями шпиком и овечьим сыром; он же однажды привел девушку из музыкального училища, которая боялась офицеров, на невинные вопросы отвечала испуганно, еле слышно, и ушла сильно встревоженная.

– Что такие испуганные пошли? – спросил Дитер, немного обиженный.

– Бойтся, неясно?.. Замуж хочет, а не гулять.

– Что – сразу замуж? А узнать друг друга? Нет?.. Неужто перемерли все девочки моей юности? Все в порядочные, я смотрю, записались.

– Ну тебя. Приличная же. Отец был банкиром, пока банки не закрылись. Хорошее воспитание, понимаешь? Не то что у тебя!

Он тихо посмеялся.

– Так она за тебя замуж хочет выйти?

– А что в этом плохого?

– Да ничего. Только у тебя денег нет. На что ты ее будешь содержать?

Приятель размышлял.

– А все равно я лучше, чем второй, – заявил он минутой позже.

– Какой второй?

– Музыкант. Из консерватории. Он уж точно содержать ее не сможет. А мне жалованье повысят. И меня точно не уволят. Я считаю, я прекрасная партия. Нам банкротства и аукционы не грозят.

– За себя говори. Мне, может, и грозят, я и без жилья так останусь.

– Ты вот не ной. Нам платят? Служба есть? А пять миллионов без работы, а потом семь будет – читал партийные газеты?

– Тихо ты, – перебил его Дитер.

– Тут не свои все, что ли? Да сам Б. говорит, что у нас будет зима, «наихудшая за истекшее столетие». А он в правительстве.

– Достал ты со своей политикой!

– А тебе про баб хочется?

– Может, и хочется. Привел бы кого посмелее, раз такой умный. От твоих приличных проблем не оберешься. Поташит тебя потом за шкуру к старшему, а он тебя, тоже за шкуру, – жениться.

– Ну, и не проблема.

– Она же нищая, сам говорил!

– Да тебе что, с миллионом надо? – возразил приятель.

– И с неполным бы пошла...

– И с каретой? Ну, с машиной? И с лошадами?.. Да со своим особняком. Женись на генеральской дочке. У нее особняка нет, но карета своя. Но она же старая, а? Вот сколько ей?

– Альме? Чуть за тридцать. Это нынче старость?.. Нет, ну ты смеешься? Ты же первый рассмеешься, узнав, что она меня послала куда подальше! А ее отец меня исключит и выгонит. Пока он живой, я к ней ни за что не подойду.

– Ну так убей его, – со смехом посоветовал приятель. – Тайком стрельни из-за угла. На политическое спишут, а? Он же этот, либерал.

Генерал, в которого советовали стрелять «по-политически», учил их в Академии тактике высшего уровня. Он знал всех слушателей поименно и, интересуясь ими, часто заходил послушать, как они отвечают по экономике, политике, международным отношениям и европейским языкам. То было в некотором смысле его хобби – отыскивать талантливую

молодежь и позже, по окончании обучения, ее проталкивать в военное министерство. В главных кабинетах сидели его бывшие протеже и помогали новичкам, помня свой, сильно облегченный, путь наверх. Выбрав нескольких молодых людей, с его точки зрения перспективных, он звал их в гости и начинал сводить с успешными людьми, обучая так их заодно и светскому тону. Подлинной же его привязанностью пользовалась его дочь от второго брака, единственный ребенок, залюбленный до невозможности. Дитер увидел эту дочь однажды, когда она пришла встречать отца после работы; она стояла поодаль на тротуаре, интересуясь митингом рабочих. Заметив, что отец вышел из дверей, она громко закричала:

– О, наконец-то! Хотя я тут не скучала.

Она посмотрела на спутника отца, но в глазах ее застыло равнодушие. Это взрослое лицо было не столь ухоженно и красиво, сколь живо и интересно; костюм на ней сидел прекрасно и радовал очень дорогим голубым оттенком. Без интереса к ней Дитер пожал протянутую руку. Станным было то ее пожатие – опытно, но не по-женски, словно она вовсе не прикасалась к мужчинам.

– Я вас повезу, с вашего разрешения, – добавила она, оглянувшись на отца. – А-а-а... как ваша фамилия?

– Гарденберг.

– Просто? Без всего?

– Просто... – Он кашлянул.

– А-а-а, – с заметным разочарованием ответила она. –

Приятно познакомиться.

И, покачивая головой, словно он был виноват в плебейском своем происхождении, она отошла к машине.

Поразительно, но она даже не поняла, что обижает человека ни за что, и тем вечером, когда он впервые пришел к ней и отцу ее в гости, воскликнула, встречая его:

– О, вы тот самый человек «просто без всего»! Я вспомнила вас! Хорошо, что вы пришли.

Будто не услышав последних ее слов, он обиделся.

– Что вы скривились? – заметив его унижение, после сказала Альма. – Вы что же, оскорбились? Но я не хотела! Я пошутила!..

Помолчав, она добавила мягко:

– Простите меня, если я вас оскорбила. Я не всегда понимаю, что могу оскорбить. Привыкла, что на меня никто не обижается.

Удивляясь молча ее новому тону, он смотрел мимо нее. Спокойная и сытая публика вызвала у него нечто, схожее с ужасом.

– Не смущайтесь, – сказала Альма и, по-дружески взяв его за локоть, отвела в сторону. – Вас не укусят. Разве я вам страшна? Скажите!

– Нет, вы... прекрасны, – честно ответил он.

Притягательна была не женщина – нет, лишь ее модное синее платье, изумрудная заколка в собранных по-выходному волосах, дорогая помада и тушь...

– Это нас же на митинге познакомили? – спросила Альма, чтобы отвлечь его.

– А-а-а... конечно. Такое забыть непросто. Я помню, митингующие были в красном, а вы – в голубом.

– Знаете, вы меня изумили, – как другу искренне улыбаясь, сказала Альма. – Я, как заметила вас, нашла, что мы похожи – внешне. Мы оба светлые. Вон, посмотрите! – Она указала на зеркало. – Но у вас глаза, как у меня, – золотистые. Мне сначала стало обидно. Папа говорил, что такие глаза редки, и я гордилась своими. А встретила вас – и поняла, что никакая это не редкость. Вот и обиделась. Вы меня простите, хорошо?..

Он невинно улыбался, стараясь скрыть, как смешны ему ее слова.

– Ну, мы вас накормим, – как новому человеку, сама уводя его в столовую, говорила она. – Вы такие голодные, я знаю, бедные мальчики. Вы не бойтесь, кушайте. Я слышала, у вас был голод, – с сочувствием добавила она.

– А у вас разве не было? – сухо спросил Дитер.

– Я выросла за океаном. У нас все было. Но я вас понимаю.

Чтобы его не стеснять, она посадила его подальше от важных гостей. Невыносимо стыдно ему было за то, что покровительство ему оказывает эта домашняя, но чужая женщина. Если от старого и почтенного человека, ее отца, он еще мог снести долю сочувствия, то ее доброе чувство было еще оскорбительнее, нежели ее нетактичные слова.

За столом говорили о партиях, о том, что напечатали у Него и чем ответила местная либеральная газета «Берсенкуррьер»; о кризисе, об отменившем золотой стандарт заграничном банке, о миллионах безработных, о последних коррупционных случаях у них и – с особенной злобой – о своих подозрениях касательно президента. Он едва слушал – еда была восхитительна. Но тяжела была мысль, что двумя десятилетиями ранее те же самые блюда стояли на столе в его доме, те же разговоры велись с его отцом, а мать, так закончившая, спившаяся мать надевала вечернее платье и украшения и усаживалась за рояль. То, казалось, был иной мир. Иная жизнь, затонувшая после столкновения с айсбергом.

– Вам не нравится наша болтовня? – позже спросила его Альма.

– Нет. Вернее... Я слышал достаточно политических разговоров и ни один из них не привел к хорошему делу.

Она слабо улыбнулась.

– Папа нынче сказал, что помнит вашего папу. Папа сказал, его звали Райко.

– Все так. Если он помнит, что его звали Райко, значит, ваш отец хорошо знал моего.

– Папа сказал, вы из очень хорошей семьи, просто вам не повезло. Оттого мне нельзя задирать нос. – Она опустила глаза. – О чем вы думали за столом? У вас был такой сосредоточенный вид.

– Наверное, о том, как легко все потерять, намного легче,

чем нам кажется, и часто мы не можем это предотвратить.

– Я считаю, можно предотвратить все, – ответила Альма.

– Даже войну? Голод? Смерть близких?

– Я не вправе судить об этом. – Она прочистила горло. –

Но я считаю, что мы можем... принять правильное решение.

Например, я – папа отправил меня в Америку, и я ни в чем не нуждалась.

– Я понимаю, о чем вы. Но все же я верю в судьбу. Вернее, в то, что большинство событий неотвратимы.

Внезапно Альма рассмеялась.

– Вы верите в судьбу? – весело спросила она. – Неужели?

Значит, вы захотите посмотреть на нашу девочку. Нет, она не наша. Ее нашла Жаннетт, приятельница папы. Она милая маленькая девочка, но она угадывает, что было в прошлом у человека, и главное – она рассказывает, что с ним произойдет дальше.

– Вы в это верите? – неуверенно спросил он.

– Во что?

– Что она умеет предсказывать судьбу.

– Нет. Я не верю в судьбу. Я верю в волю и правильный выбор – как я сказала ранее. Но гостям Софи нравится. Раньше крутили столы, чтобы вызвать духов, а Софи... точно такая же.

– Значит, она шарлатанка? – уточнил он.

– По моему мнению, она сама верит в то, что говорит. Но, я считаю, она очень хорошо понимает людей. Как это назы-

вают? Психолог? А будущее она выдумывает, как ей самой хочется. Если вы ей понравитесь, она нагадает вам долгую жизнь и богатство. Жаннетт приводит к нам ее иногда. Можете прийти к нам посмотреть на Софи.

– А Жаннетт, – спросил он внезапно, – это кто?

– Жаннетт Воскресенская, журналист, они с папой дружат. Вы ее знаете?

– Мы с ней встречались, – решив не лгать, сказал он.

– Так хотите?

– Да... да. Но если вы пообещаете, что ваша девочка нагадает мне 90 лет жизни и пять миллионов.

– Возможно, в следующий раз Жаннетт еще приведет кого-то из партийных, – уже говорила она, – не очень хорошо, что я ни разу не говорила ни с одним партийным. Да, это не очень хорошо. Хочется посмотреть своими глазами. Они, наверное, ужасны, но... хочется с ними поспорить.

Софи – невысокая девочка-девушка в черно-белой школьной униформе, с лицом изящнейшим, утонченно-горестным, на котором выделялись особенно глаза – глубокие глаза, сильные печалью. Встретив его внимание, она не опустила этих глаз, не отвернулась – она смотрела прямо, а он был мебелью, не человеком.

Альма появилась и обняла ее за плечи.

– Как вы хороши, Софи! Спасибо, что пришли.

Теперь Софи опустила голову. Она не отвечала. Левая ру-

ка ее держала правую, ноги скрестились, как в кокетстве, но столь не чувственно, почти неестественно, как у тряпичной куклы...

– Вот, позвольте, мой новый гость, – улыбаясь, говорила Альма. – Полагаю, ваш новый поклонник. Посмотрите, как у него обстоят дела?

Софи кивнула, не смотря на них.

– Замечательно. И с вами захочет поговорить г-н Л., ему нужен ваш совет касательно... А, впрочем, сами услышите. Пожалуйста, синяя комната – ваша. Софи?

За руку Альма повела ее в гостиную. Их приветствовали радостными восклицаниями – Софи в доме генерала считалась знаменитостью. Жаннетт, с которой Альма мимолетно обнялась, иронично улыбалась. Нынче она показалась ему постаревшей, но знакомо энергичной, прямой и яркой. Жаннетт его узнала – и улыбка слезла с ее губ.

– А, это... – сумела проговорить она.

– Приятно с вами встретиться, Евгения. Как вы поживаете?

Из-за спины Жаннетт донесся кашель. То был ее второй спутник – лет двадцати пяти, явно южанин, но чрезмерно бледный, словно бы больной; лицо у него было беспокойное, с крупными чертами, глаза на нем – темные, но и неестественно красные, что отторгало от него; волосы стрижены по андеркату, популярному на юге. Одет он был по молодежной моде: бежевый пиджак был велик ему в плечах, вместо гал-

стука – клетчатый объемный шарф, здесь же – массивные бежево-черные ботинки и бежевая шляпа, и тонкий зонт с ярким узором по краям.

– Привет, – просто сказал этот новый человек.

– Э-э-э, хорошего... вечера.

Альме, что возвратилась в прихожую, не понравилось незнакомое лицо. Она с сочувствием взглянула на длинный нос с горбинкой и сказала:

– Кажется, я несколько отстаю от моды. А что это у вас вон там?..

– Это же тренкот, – как дикой, сказал этот человек.

– О-о-о... а обычные плащи уже не носят?

Тот глядел на нее, как на обыкновенную дуру, и молчал.

– Ну, вы можете пожать мне руку. Я Альма, хозяйка.

Нехотя тот взял ее раскрытую ладонь. Дитер рассмотрел, как по-женски тонка незнакомая рука.

– А как вас зовут, извините?

– Альберт Мюнце, – сказал он тихо.

– Просто?..

– Да, – ответил он, не смутившись.

– Как-как ваша фамилия, простите?

Он повторил.

– А вы не родственник партийного?.. Что идеолог.

– Я его сын.

– Понятно... Но кем вы все-таки работаете? Извините за такой допрос...

– Я понимаю. В прокуратуре.

– О-о-о... правосудие.

– Да.

– Вы очень молоды, – явно намекая, заметила она.

– Извините, но я вас не понимаю.

Речь его была мягка, но и по-южному неправильна. Беззастенчиво он путал суффиксы существительных, неверно произносил дифтонги, привычные слуху северянина слова заменял своими, южными. Альма вслушивалась в его речь, отчего выражение ее стало неприятно напряженным. Быть может, эта чужая речь вкупе с внешностью так подействовали, но Дитер почувствовал неприязнь к Альберту Мюнце. Человек этот был опасен. Неприязнь отразилась в его глазах, и Альберт, взглянув на него случайно, различил ее. В краткое мгновение Дитер заметил, как глаза эти налились красным. Потом Альберт Мюнце поспешно отвернулся и полез за носовым платком.

– Извините... извините.

Альма ничего не понимала. Она заглянула Альберту за плечо – и прижала руку ко рту.

– Боже правый... – прошептала она.

Жаннетт приблизилась и что-то сказала Альберту.

– Нет, это ничего, – ответил он еле слышно. – Не беспокойтесь.

Неуверенно она отступила.

– Извините, – повторил спокойнее Альберт Мюнце. Он

повернулся к хозяйке. Опускать глаза ему было больно – в уголках, ближе к нижнему веку, скопилась кровь.

– По... жалуйста, – проговорила Альма, – в гостиной... почувствуйте себя как дома.

В дверях она прошептала Дитеру, как сильно испугалась. Обнаружив, что новый гость истекает кровью, и столь необычным способом, она в ужасе хотела звать на помощь, а не позвала потому, что ей было стыдно. Она спросила, как называется эта болезнь. Он признался, что не слышал о такой.

– Это генетическое, – сказала Жаннетт, что шла за ними. – Семейное заболевание. Не обижайте моего хорошего друга.

– Ну что вы, мы бы не стали, – пролепетала Альма.

Отпуская от себя Дитера, Альма напомнила, чтобы он шел в синюю комнату и ждал Софи. Но Софи пока что безучастно слушала военного человека, что жаловался на свою жену. Интереснее было остаться и послушать негромкий диалог Альмы с Альбертом: не успел тот сесть в кресло, как она пристала к нему с вопросом, какое место он занимает в партии своих родителей.

– Нет-нет, вы не поняли, – вежливо ответил Альберт. – Я не состою в партии.

– Как это? – спросила Альма.

– Я не состою, – повторил он. – Мои родители состоят. В партии мой кузен. И муж сестры. А я – нет.

– Отчего же?

– Служба не позволяет, – просто ответил он.

На попытки расшевелить его Альберт Мюнце улыбался устало, на хозяйку смотрел, как на человека лишнего, но в то же время словно наслаждался необычным вниманием к нему. Альма стала раздражаться на взятый им тон, думая, что он хочет унижить ее. Чтобы не слушать неестественно-бессвязной их беседы, Дитер ушел от них в другой угол. Он заметил, что Софи освободилась и теперь направляется в синюю комнату. С некоторой неловкостью он прошел за ней.

В комнате стояли стол со скатертью и два стула, был приглушен свет, отчего на стены отбрасывало синие тени. Таинственность, черт ее возьми, напомнил он себе. Он закрыл двери и присел напротив Софи. Та чертила пальцем на скатерти. Было тихо и беспокойно. Он тупо смотрел на этого ребенка-девушку, не зная, что он тут делает, зачем занимается чушью, в которую желает поверить, и все за тем, чтобы убежать от удушливой скуки. Софи молчала, и он тоже молчал, ругая себя за то, что играет в ее глупую игру. Логичнее было бы, если бы я...

– Мы с вами знакомы, – тихо и лениво, но четко проговаривая слова, сказала Софи.

От неожиданности этого его пробрала дрожь.

– Простите?..

– Я знаю вас очень-очень давно. Не понимаю, что нас связывает. Но это больше, чем случайное знакомство.

– Хотите узнать мое имя? – Ему было не по себе.

– Нет. Оно мне не нужно.

Он прочистил горло и спросил:

– Альма права – вы знаете, что ждет каждого из нас в будущем?

Софи водила рукой по скатерти, любуясь мягкими складками.

– Зачем вам знать, что ждет вас в будущем?

– Полагаю, любой хочет это узнать. У меня, скажем так, есть проблема, и мне интересно, смогу ли я ее достойно решить.

Необычно, с некой скрытой усмешкой, она улыбнулась.

– Ваша проблема – это деньги. Вам нужно много денег, намного больше, чем вы можете заработать.

– Вы правы, но мне кажется, нынче это распространенная проблема, не в этом доме, возможно, но в этой стране...

– Я знаю, что вы хотите услышать... – протянула Софи. – Вы хотите от меня утешения, но не верите мне.

– А почему я должен вам верить? Я ничего не знаю о ваших... этих способностях.

Она пожала плечами. На минуту наступило тягостное молчание.

– Ваш отец погиб на фронте, не так ли? На прошлой тяжелой войне. – Он открыл рот, чтобы перебить, но Софи успешно его перебила: – Ваша мать много пила и оставила вам много долгов. Вас беспокоит, заплатите ли вы по ним или нет. Вы вправе не верить мне. Хотите услышать, что я

знаю о вас?

Сейчас он не был уверен, что хочет: быстрота верных слов столь его ошеломила, что он потерялся, мечтал уйти и одновременно с тем желал остаться и бесконечно смотреть, как эта Софи играет со скатертью.

– Вы должны знать... – очень тихо заговорила она, – вы должны знать, что у вас одна судьба и ваша натура хочет одного – подчиниться ей. Но вы можете все изменить.

– Как можно изменить судьбу, если она одна? – выпалил он внезапно.

– Зная, что вас ждет, вы можете поступать иначе. От вас зависит, исполнится ваша судьба или нет. Что будет, если вы откажетесь от судьбы, я не знаю. Будет этот путь лучше или нет – я не знаю, но вы вправе следовать за судьбой или отказаться от нее. Ваша душа жаждет, чтобы вы исполнили свою судьбу. Хотите знать, что будет, если вы будете следовать за своей душой?

– И что же будет? – с непонятной ему злобой спросил Дитер.

Софи откинула голову, коснулась макушкой спинки стула и сказала:

– У вас будет много денег. Много денег, много возможностей и много удачи. Вы ни в чем не будете нуждаться. Вы будете любить и будете любимы близкими.

– А, это замечательно, – с облегчением ответил он. – Мне нравится.

– Хотите знать, как вы умрете?

– Полагаю, в окружении близких?

– Вы умрете рано и мучительно, раньше сорока лет.

Ранее счастливый, теперь он застыл с приоткрытым ртом.

– Что?.. Я умру раньше сорока лет? Это как? За что?

Софи словно не замечала его возмущения.

– Этого не может быть! – заявил он наконец. – Нет, может быть, я умру завтра, меня собьет грузовик или я убьюсь на учениях, чего не бывает в жизни. Но зачем мне говорить об этом?

– Чтобы вы имели шанс все изменить.

От глупости своего положения его затошнило. Он попытался встать, опершись о стол, – и не сумел.

– Хорошо, – обессиленно спросил он, – и как же я умру?

– В очень далеком и очень холодном месте. В чужой стране вы умрете от руки врага.

– Что? Какого врага? – опять возмутился он. – Какого... мы живем в мирное время! Никаких врагов нет!.. Хорошо. Вы заметили, что я служу. Пожалуйста... и почему я умру? Как мне избежать смерти?

– Всею виной женщина, на которой вы женитесь, – громче заговорила Софи, – вы хотите жениться на ней – и она станет причиной вашей ранней смерти. Она привлечет к вам несчастье. Вы окажетесь в темном и страшном месте, вас арестуют. Вас будут пытаться. Вы проведете в тюрьме несколько месяцев, а затем вас отправят в то далекое место. Это

судьба вашей жены – вы погибнете там же, где погиб много лет назад ее отец.

– Как вы... милы! – наигранно он рассмеялся. – Вы всем рассказываете... об арестах, пытках? Любопытно, за что меня арестуют, у меня будет много денег, почему бы мне не откупиться? Многим вы говорили это?

– Мне жаль, – Софи смотрела в потолок, – мою мать тоже арестуют и убьют. Мама не верит и смеется.

От страха заболели конечности, вязло во рту, разлетались мысли. Он несколько раз сглотнул, чтобы вернуть самообладание.

– А если я не женюсь на ней? То что изменится? Я умру?

Софи закрыла глаза.

– Я не знаю.

– А как я пойму, что это она? На свете миллионы женщин.

– Вы знаете ее. Она одна знает, откуда у вас шрам на щеке. Другим вы говорите, что вас ранили на юношеской дуэли. Вы знаете, о ком я говорю.

Устало она упала головой на скатерть и зашептала:

– Хватит, оставьте меня, оставьте...

Он вскочил и попятился. Его слегка тошнило. Спиной он вышел из синей комнаты – и наткнулся на Альберта.

Альма шла на гостя, а тот отступал от нее. Альберт был бледнее прежнего и явно не желал спорить с хозяйкой.

– Позвольте, я вас не оскорблял, – не повышая тона, а ти-

ше сказал он. – Зачем опускаться до оскорблений?.. Или вы не заметили, что в стране кризис, что правительство ничего не может, не пытается... чтобы исправить положение... Но вам-то что с того, с деньгами вашего отца?

– От вас другого и ждать было нельзя! – перебила его Альма. – Вы оскорбляете меня, не имея новых аргументов!

– Я вас пока еще не оскорблял.

– Как вы смеете работать в правоохранительной системе?.. Впрочем, что это я? Все знают, что наши правоохранители сплошь купленные мрази!

– Если вы можете доказать, что я не соответствую занимаемой должности, – холодно ответил Альберт, – я прошу вас уведомить об этом мое начальство. А вот так, бездоказательно... это очень глупо.

– Как же, как же...

– А ваши аргументы я могу услышать?

– Я сказала... все сказала вам... – заикаясь, произнесла Альма. – Такие, как вы, недостойны быть в обществе порядочных людей.

– Но, полагаю, я имею право на свое мнение?

– Честно? – разозлившись, сказала Альма. – Вы мутите всех, призываете к насилию!

– Ни к какому насилию я не призывал! Позвольте...

– Как же, не призывали! И это не ваши... громят лавки, избивают ногами людей, ни в чем не повинных!

– Где возбужденные дела по описанным вами происше-

ствиям? Прошу вас, приходите ко мне, пишите заявление, если вы пострадавшая, – и, клянусь вам, я возбужу дело. Я не имею права отказать, если мне докажут наличие... Но вы не готовы меня выслушать, да? С каких пор юрист – враг человека?

– Вы лжете, вы все лжете! – ответила Альма. – О, послушать вас – вы чистенькие, ни пятнышка на вас нет! Спрашивается, отчего вас боятся? Таких, как вы, нужно изолировать! Вы опасны!

– Пожалуйста, – с улыбкой, уже не злой, сказал Альберт. – Но моя совесть меня ни в чем не упрекает.

И, ни на кого не посмотрев, он взял тренкот и с досадой ушел. Жаннетт постояла неуверенно, после избавилась от чашки с чаем и поспешила за Альбертом из квартиры.

– Софи, Софи, собирайся! – закричала она из прихожей.

Расстроено Альма опустилась на стул и сказала, заметив близ себя Дитера:

– Мне показалось... не говорите мне, что я была с ним груба! Вы не знаете, что они вытворяют? И все прикрываются благом! Я не верю ни единому его слову! Тут не эмоции, а здравый смысл, понимаете? И нет в этом ничего плохого... что я честна, понимаете?.. А вы успели поговорить с Софи? Много она вам сказала?

Помолчав немного, она добавила:

– Этот злой человек, он, наверное, похож на своего отца. Тот страшный, жестокий человек. Вы читали, что он пи-

шет?.. Все-таки мы очень зависим от нашего происхождения.

**1940**

Завизжала женщина.

– Что случилось? – спросил Аппель.

Услышав его, в гостиную бросилась горничная и закричала:

– Мадемуазель Катерину принесли!

И выскочила за парадные двери. За нею побежали остальные. Аппель замешкался, потому что производил вычисления: сколько прошло минут от ухода полицейских до их возвращения? Он прошел к дверям, но в них неудобно стояли Альберт и Альбрехт, мешая хорошему обзору. Без спросу он их потеснил.

Мария сидела на земле, вернее, почти лежала, хватаясь за тело на носилках; их опустили, полицейские стояли поодаль, как часовые на торжественном мероприятии. Тело было очень некрасиво: он заметил 17 ушибов и 12 ссадин, остальное, должно быть, было под одеждой и затрудняло счет. Лицо было не столько некрасиво, сколько странно, но в чертах его легко узнавалась Катерина.

Все, кроме Марии, молчали. Она то ощупывала руки покойной, то гладила ее грязную голову. Катенька, Катенька! Я не верю! Катенька! Как ты это сделала? Прости меня, про-

сти, миленькая! Я не хотела! Катенька, зачем? Скажи, зачем, умоляю! Аппель насчитал 17 повторений слова «Катенька» и 7 повторений – «прости». Он оглянулся на Альберта и его кузена, оба смотрели выше, в кроны деревьев, и они были слишком похожи в напускном безразличии. Какова бы ни была неприязнь Аппеля к Катерине, его болезненно впечатлило это безучастие Альберта; нежный, заботливый Берти...

– Нет, нет!

То завизжала Мария: ее муж выбежал к ней и попытался оторвать ее от трупа. Она кричала, словно ее насилуют, и что было сил била его по рукам и животу. Это Катя! Пожалуйста! Это же Катя! Не хочу, нет, нет!

– Заносите тело! – крикнул Дитер старшему полицейскому.

Альберт первым ушел в дом, за ним прошел Альбрехт. Второй желал что-то сказать, но Альберт пожал плечами. Альбрехт сначала собирался уйти в свою спальню, но отчего-то возвратился – чтобы помочь занести Катерину. Несли ее небрежно – должно быть, Альбрехту это не понравилось. С носилок опустилась левая рука – 2 ссадины и 5 ушибов, – и Альбрехт бережно подхватил ее и уложил на грудь покойной.

Аппель окликнул Альберта, что уже поднимался на второй этаж:

– Тебе нужна моя помощь?

– Нет, – бросил тот, не останавливаясь.

Мария кричала и пробовала вырваться из рук мужа; она то повисала на них, то начинала бороться, а он сильно сжимал ее и встряхивал. Когда у нее ушли силы, Дитер затолкал ее в кабинет слева от гостиной и захлопнул дверь. Носилки внесли в гостиную и опустили на пол.

– Нет, мы сами! – сказал Альбрехт.

Тело было легким для него. Так нежно, как мог, Альбрехт взял Катерину на руки и уложил на диван (155 см). Только теперь Аппель заметил, что глаза у нее открыты и прозрачны, как искусственные, из стекла.

– Значит, вы считаете, что девушка покончила с собой? – Главный полицейский достал блокнот.

– Я ничего не считаю, – ответил Альбрехт.

– И все же? Возможно, девушка была убита, а вы вешаете мне, как говорится, лапшу на уши.

Мрачность Альбрехта, обычно действовавшая безотказно, на сей раз дала сбой. Полицейский был спокоен.

– Выйдем на крыльцо, – сказал Альбрехт.

Возвратился он 5 минут и 42 секунды спустя. Он был не злым, скорее усталым.

– Что? – спросил его Аппель.

– Отвязались. Сейчас они уйдут. Черт, как стемнело!

– Сколько ты ему дал?

– Двести.

В необычном приливе нежности Альбрехт стал «расчесывать» пальцами волосы Катерины. Как опомнившись, он за-

крыл ей глаза, а после продолжил ухаживать за волосами, извлекая из них комочки грязи. Аппелю стало неловко. В естественном, казалось бы, проявлении любви к покойной было нечто непристойное. Мертвую Катерину Альбрехт явно любил больше живой.

Он был прав: стемнело, включили лампу, закрыли шторы, в тусклом белом свете Катерина не была человеком. Быть может, и раньше она не была человеком, ее плоть была неправильна, запах ее, неопишное выражение не были остатками живого существа. Аппель поборол желание потрогать ее – мягкая ли она, не слепили ли ее из глины, не высекли ли из мрамора. Альбрехт тихо напевал южную мелодию и гладил нечеловеческую голову. Живот этого – грязная ткань, а руки обнажены, и в раны забились пыль и песок (миллионы частичек), и по шее ползет жирный муравей. Аппель отвернулся. Его затошнило.

– Я... к Альберту, – прошептал он.

Но он не пошел к Альберту. Конечно, он приблизился к его комнате (от носков его ботинок до двери – 12 см.), но не постучался. В комнате стояла тишина. В груди заболело, его как парализовало, он тупо смотрел в дверь и не думал ни о чем. Мысли тоже будто бы парализовало. Сделав невероятное усилие, он отступил и прошел дальше по коридору.

Левая дверь была приоткрыта – там горничная подавала суп. За маленьким столом у зеленого окна ужинали Петер и

его жена Софи.

– Не стой, пожалуйста, в дверях, – с мягкой галантностью, неуместной в этот момент, сказал Петер. – Присаживайся за стол.

– Что-то у меня нет аппетита, – сказал Аппель.

Горничная жалобно взглянула на него и с пустой супницей вышла. Петер аккуратно расправлял салфетку величиной 20 на 20 см, Софи с удивительной точностью повторяла его движения – как она была похожа на Катю, что лежала близ Альбрехта и терпела его ласковые руки. Петер взглянул на Аппеля – и Софи тоже взглянула. Глаза ее были пусты.

– И все же присаживайся, раз зашел, – сказал Петер, – нам очень приятна твоя компания.

Аппель сел в ближайшее кресло.

– Я понимаю, отчего ты не хочешь есть. – Петер вежливо улыбнулся. – Это ужасное несчастье. Но, полагаю, ты не станешь относиться ко мне хуже, если я позволю себе и своей жене утолить естественные потребности.

– Конечно, нет. Это, по крайней мере, не мое дело.

По тону, глазам, жестам Петера никогда нельзя было понять, что он думает и чувствует. Улыбка его, с возрастом ставшая слишком уж безразлично-любезной, немного напрягала Аппеля. Он заерзал в кресле (чертово узкое кресло, он не успел его рассчитать). Спрашивается, чего он пришел? Чтобы посчитать, сколько у пары на столе разложено приборов?

– Смею предположить, что Альберт плохо себя чувствует, – сказал Петер. – Ты навестил его?

– Конечно... в смысле, не совсем...

– Он сильно был привязан к этой девушке. Очень жаль. Моя жена считала, что они обязаны пожениться. Что же, милая, вышло, что ты ошиблась. Я, признаюсь, не был сторонником этого союза, но предсказания моей жены уважаю.

Он подносил ложку ко рту – и Софи повторяла за ним. Она двигала рукой с той же скоростью и с тем же заученным изяществом, коим отличаются некоторые любители (не члены) высшего общества. Если Петер говорил, она внимательно смотрела на его губы, оттого посторонний мог решить, что она глухонемая. Раз она по собственному желанию поправила рукав платья, но после возвратила руку на скатерть – как она лежала у мужа. Петер и не замечал этого. Его более интересовал Аппель.

– На какой фронт тебя отправляют? – полюбопытствовал он.

– Я пока не знаю, конечно. Нужно посетить воинскую часть, у меня только повестка.

– Уверен, ты станешь героем. Это лучше того, что говорила тебе моя жена. Если не ошибаюсь, она считала, что ты умрешь бесславно. Полагаю, умереть за наше великое дело – это достойно. Я счастлив, что ты с нами.

– Почему я должен умереть за великое дело? – спросил Аппель.

– По той же причине, по которой ты пишешь замечательные статьи и наставления нашим журналистам. Полагаю, я не преувеличу, если скажу, что это звенья общей цепи.

– Но зачем мне умирать? – спросил Аппель. – Я могу выжить и вернуться.

– Это возможно. Но умереть за великое...

– В таком случае, – перебил его Аппель, – почему ты не хочешь умереть за великое дело?

Петер улыбнулся.

– К сожалению, я сломал ногу, упав с коня полгода назад. Это сделало меня негодным к строевой службе. Могу тебя заверить, если бы не эта позорная травма, я бы пошел на фронт с благодарностью.

Большим усилием Аппель подавил усмешку. Он считал, что Петер подстроил собственное падение, и ничто не изменило бы его мнение.

– Вкусный суп? – кашлянув, спросил он.

– Пожалуй. Как тебе, милая? Согласись, чего-то не хватает. Готовит эта француженка? Томатный суп не должен быть столь густым. И не хватает розмарина. Она пожалела, стоило насыпать больше. Какая жалость, что у них нет звонка. Я попросил мадемуазель вернуться через десять минут. Остается верить, что отбивная будет хороша.

Он доел суп. Софи меньше брала в ложку, а пользовалась ею синхронно с мужем. Получилось, что треть супа осталась у нее в тарелке, но Софи опустила ложку и более к ней не

притрагивалась. Возвратилась горничная, чтобы убрать со стола.

– Как хозяйка, позвольте узнать? – спросил ее Петер.

– У мадам Марии истерика. Мсье Гарденберг утешает ее.

– Какое несчастье! Очень милая девушка. Альбрехт, боюсь, напьется. Можете спрятать от него крепкий алкоголь?

– Сожалею, он уже забрал у меня водку.

– И вы отдали ему водку? – вежливо возмутился Петер. – Как вышло, что вы пожертвовали ему водку, полагаю, не спросив разрешения своих хозяев?

– О, мсье, он сказал, что служит в тайной полиции и убьет меня, если я не послушаюсь. Что я должна была ответить, мсье?

– Какая жалость! Альбрехт не меняет репертуара. У вас телефон звонит, мадемуазель. Взгляните, какая прекрасная... впрочем, нет. Отбивная... и все же низко критиковать непрофессионала. Мы поверим, что не отравимся и не умрем. Позволь я порезу тебе, милая. Я встретил твою последнюю методичку. Она очень хороша. Хотя я бы, с твоего разрешения, добавил несколько пунктов, позже я с тобой поделюсь. И твоя речь, написанная Г., была экспрессивна, но красива. Ты не оставишь эту работу, я полагаю?

– Конечно, нет, – стараясь не язвить, ответил тот, – на фронте у меня будет масса свободного времени.

– Правильно. Не стоит переживать. Я рассказал о нашем знакомстве г-ну З. из иностранного министерства, и он со-

гласился, что ты – человек больших дарований. Хорошо, что партия не даст тебе загубить талант. Тебя попросят написать речь к сентябрьским выступлениям?

– Не знаю пока.

– Прошлая сентябрьская речь Ш. была скучна, ужасная речь. Ее писал Л.? Что такое?

Вошла горничная и сказала:

– Вас к телефону, мсье Аппель. Из столицы.

– Опять из Пропаганды?

– Нет. Простите. Из тайной полиции. Срочно... Мсье Аппель? Мсье?..

## **1905-1918**

В остальном же дети были плохо воспитаны.

Виновата была семья – отец, который в творческом экстазе забывал о нуждах домашних, или мать, избаловавшая или запугавшая отпрысков, но винившая во всех неприятностях кузена Альбрехта и его семью – с их неправильной верой.

В семье его отца звали Кришан – от Кристиана; у него был старший брат, той же профессии, но противоположных взглядов – ново-социалистических. Оба жили в Минге, в двух кварталах друг от друга, но переписывались, так как встречались редко, в основном по праздникам.

Портреты отца и дяди Альберт составлял по сохранившимся черновикам и письмам и во взрослом возрасте уже

не понимал, как мог запомнить их, увидеть их совсем другими. Но, впрочем, помнил он, что отец его был то меланхоличным, то веселым, чересчур ранимым и больным, а дядя Иоганн – шумным, громким и назойливым, причинявшим неудобства, но не стеснявшимся того.

В первом, им найденном, черновике письма Кришан писал с восторгом брату: «...Если бы ты знал, что тут у меня творится! Почтение ко мне ужасное, любопытство огромное. Ты знаешь, я ненавижу танцы, скачки, вечера, но почему-то на них бываю – может, чтобы пощекотать свое тщеславие? Бывают и смешные ситуации. Не далее как вчера хозяйка вечера обратилась ко мне: "Ах, это вы? Вы писатель. Я читала ваш роман! Как же он называется?.. "Газе...", "Газен..."... Ох, эта моя память! Как же? Подскажите!..". Девушка, стоявшая около меня и слышавшая это, прыснула от смеха. Я ее понимаю. Ее зовут Лина. Знаешь ли ты семейство Вранич? Очень почтенное семейство. Отец – профессор, фигура очень известная и почитаемая, человек исключительной внимательности. Дочь его я знаю мало, но могу тебя заверить: она замечательная, и красива, и умна! Наше знакомство началось с ее смеха. Волосы темные, лицо красивое. Какого цвета глаза, я не запомнил или не заметил. Как так можно? Я часто не замечаю подобные мелочи. Если бы волосы у нее так не блестели и не были так красиво уложены, я, может, и на них бы не обратил внимания и не мог бы сейчас сказать, какого они оттенка. Вот такой я подчас рассеянный! Не

ругай меня! Все равно она прелесть, и мне безумно хочется навестить ее, благо профессор, ее отец, считает меня вполне достойным молодым человеком, хоть и провинциальным, увы...».

Тут же лежал черновик другого письма, датированный мартом – первое было от января: «...Хочу, хочу безумно – и боюсь ужасно, страх какой-то противоестественный, ничего другого я так в жизни не боялся. Жажда моя, я полагаю, от вечного моего стремления к гармонии. А какая гармония – без женщины? Помнишь ли ты, Иоганн, как Платон писал об андрогинах, совмещавших в себе оба пола, равнявшихся от двуединства своего божествам Олимпа, за что Боги их, из злости на их силу, и разъединили, – помнишь, что Платон так утверждал большую важность любви как поиска и признания второй своей сущности, с появлением которой силы человека вдвое увеличиваются?.. С другой стороны, меня пугают ответственность и знание, что это будет отнимать время – и это у моей работы, и еще мысль, что личное счастье может уничтожить талант, настоящий на одиночестве и тоске. Могу ли я так рисковать? Что ты скажешь? Я уже столько передумал, что мне и от этого страшно. И, несмотря на мою готовность пойти на жертву, она пока не соглашается. Я не хочу настаивать. Это такой характер! Ни в коем случае нельзя настаивать! Это неизбежно станет причиной ее отказа! Она пока молчит, я боюсь настаивать, и она это понимает и пользуется. Это, может быть, не по-мужски, но

нельзя ее мучить, нельзя ставить ей крайний срок, если я, конечно, не хочу, чтобы она отказалась. Что мне сделать, как ты считаешь? Хочется что-то сделать – и ничего не делать. И я не знаю, как и почему...».

Читать письма родителей, где-то романтические, а где-то шуточные, Альберту было неловко. Он сжег их, не прочитав, лишь пробежал глазами последнее, от отца, перед помолвкой: «...Вы постоянно спрашиваете, как мы с Вами станем жить, если поженимся. Понимаю, что Вы говорите не о моем состоянии, в общем-то, расстроенном, а больше о сложностях моей профессии, говорите, что мы с Вами, может быть, никак не соответствуем душевно и станем только мучить друг друга. Я же, напротив, уверен в обратном и не устану Вам об этом говорить. Я понимаю лишь, что Вы должны выйти за меня замуж. Вы постоянно ссылаетесь на Вашего отца: хоть он не имеет ничего против меня, он якобы хочет, чтобы Вы не были замужем. Я же знаю Вашего отца и знаю, что он ничего не скажет против нашего супружества. Вы напоминаете, что моя семья против (но с чего бы? я не спрашивал у них разрешения!). Вы говорите, что мне нужна чистокровная южанка, а не вы, потомок смешанных кровей. Но, поверьте мне, вы больше патриотка Минги, чем все, в ком течет якобы чистая кровь. И зачем Вы обманываете меня? И какая Вам разница, как я буду смотреть на Вас в нашем с Вами браке? Я люблю Вас. Неужели Вы не понимаете, что это значит?...».

Далее все несколько смешалось, что бывает, если не хватает материалов для оценки: молодые провели медовый месяц в Риме и, возвратившись, поселились в центре Минги. Дядя Иоганн же через три месяца привез из северной столицы протестантку, свою жену, хотя всю жизнь смотрел на «северян» со снисхождением. Северянку знали как Луизу; и маленькая, тонкая, в какой-то мере привлекательная строгой светлой красотой, она во многом уступала Лине – загорелой, статной, с темной прической, с итало-венгро-сербскими корнями. Любви в этой семье быть не могло: Луиза боялась образованного мужа, а он ее презирал, но находил красивой.

Мужья их отдалялись друг от друга, а вот они сошлись – устроили соревнование, кто скорее произведет на свет наследника. Первого ребенка раньше родила Луиза, но он умер, не прожив и месяца, из-за полученной во время родов травмы. Лина родила шесть месяцев спустя – большого мальчика, Георга, которого в честь Гофмана домашние прозвали Мурром. Разочаровавшись постепенно в романтической любви, она внимание все отдала появившемуся мальчику и баловала его так, словно нарочно его решив испортить, тиранила его своей любовью, и, если бы не сила воли мальчика, из него бы сделала беспомощное и, того хуже, глупое существо.

Не занятые, в общем, семьями, их мужья ругались из-за литературы, культуры, обстоятельств; позже мирились, извинялись в письмах, чтобы опять потом критиковать и обви-

нять друг друга.

«...Ты хотел меня оскорбить, – читал Альберт у своего отца в черновиках, – заявив, что я пишу для развлечения тех, кого не интересуют значительные темы. Что ж, у тебя, замечу, получилось. Ты сказал это, зная, сколь мне отвратительна толпа, масса с ее склонностью к жизни без каких-либо нравственных усилий, только для собственного удовольствия. Да, она мне отвратительна. Ты пишешь и о тех, которые ничем не интересуются, ничего не хотят, кроме удовлетворения низших потребностей и – обязательно, как без этого! – своего тщеславия. Ты о них пишешь, потому что знаешь, что они составляют большую часть нашего прогнившего общества, и называешь романы о них "социальными". Пусть, пусть они будут социальными и, как ты сам говоришь, "злободневными". Но мне это не интересно! Я не хочу твоих героев, не хочу банальных и пошлых любовных интриг, как у тебя, и пусть мои романы не будут "социальными" и "злободневными", но я не могу опуститься до описания жизни тех, кто мне омерзителен! Что может быть хуже, чем писать о герое, который только и мечтает о богатстве, как бы пыль в глаза пустить, а попутно болтает всякие политические глупости?.. Нет, тут дело не в том, что ты пишешь плохо, а я пишу хорошо. Я понимаю, почему ты взял именно "социальное", могу понять, хоть не могу и не хочу писать так же. Помнишь, мы с тобой говорили о Толстом? О трех его ступенях деградации личности. Первая ступень по Толстому – это

гегелевское признание существующего разумным, и, значит, необходимость приспособления к нему; вторая ступень – это признание среди людей борьбы за существование; а третья – исповедание принципа жизни "в свое удовольствие, не обращая внимания на жизнь других людей". Ты знаешь, что я поддерживаю первый и третий пункты, но второй считаю глупым. Второй пункт очень гуманен, и мне следовало бы активно его поддерживать в силу своей морали и принципов – но он совершенно нежизнеспособен. Сам же Толстой писал, что нельзя принимать нынешнее положение вещей, он первым пунктом вывел полную покорность человека условиям жизни, в том числе и политическим, именно с этой покорности начинается деградация. Но мы должны признать, что положение это, нам плохое, кем-то было намеренно создано – по вере, слабости или для собственной выгоды, – и у положения этого, каким бы мерзким оно ни было, будут всегда свои сторонники, и борьба с этим, с этой накипью, неизбежна. Невозможно победить, признав скверну ею же, без борьбы, одним только убеждением, и это та самая борьба за существование – либо разумное и честное в борьбе одержит победу, либо безумное и злое, бесчестное. Между угнетенным и угнетателем не может быть мира, даже если бы угнетенный захотел его, захотел простить своего угнетателя. Тот бы воспользовался его добротой: утихнув, подумав, потом снова бы закабалил и без того обиженного им, и из его слабости, коей он бы посчитал милосердие, еще больше бы над

несчастливым издевался, как раз в отместку за проявленную тем доброту. Нет, этот второй пункт не может быть претворен в жизнь, но с остальными двумя я согласен полностью... К чему я это? Я не хочу, чтобы мы с тобой ссорились из-за разных подходов к нашей работе. Каковы бы ни были наши различия в работе – все равно мы с тобой стараемся из-за одного и того же и должны по всем правилам быть большими союзниками...».

Узнав, что старший брат увлекся социалистическими идеями, даже книгу написал, арестованную властями за тематику и призывы к бунту, Кришан убеждал его письменно: «...С твоей необыкновенной самоотдачей тебе нельзя этим заниматься! Может, с моей стороны это прозвучит грубо, но я напишу тебе: хватит заниматься политикой! Раньше это было некатастрофично, потому что ты не ухватывался ни за чью точку зрения, а за событиями "социальными" наблюдал слегка со стороны. Но сейчас это становится опасно! Я пишу тебе так не оттого, что я, как ты знаешь, националист и патриот нашей земли – и Минги, конечно. Нет – с твоей энергией любая, и самая замечательная, идея может стать деструктивной. Я могу это утверждать, потому что сам являюсь человеком увлекающимся, но – научившись сдерживать себя. Да, и я из моей веры стану категоричным и от того очень тяжелым, если не жестоким. Зная тебя, как самого себя, я боюсь твоей страсти. Прав ли я, боясь за тебя?.. От чистого сердца желаю тебе добра и умоляю одуматься, пока еще не поздно!».

И в кипе этих сложных, путанных писем едва не потерялось единственное важное Альберту – о рождении Марты, с которым его отца ранее поздравлял дядя Иоганн.

«...Спасибо тебе большое за поздравления. Жаль, вы с Луизой в столице и не можете посмотреть на нее. Лина обожает ее. Ты знаешь, она много лет мечтала о девочке. Наверное... Прости, я немного не в себе, наверное. Лина так изменилась после рождения нашего дорогого Мурра, что я, признаться, боялся за него: как она испортит его своим баловством, игрушками, сладостями, потаканием любимым его желаниям! Но он оказался стоек, наш милый мальчик. У Лины с детства была мечта об идеальной семье, с двумя детьми разного пола, и она после появления Мурра прожужжала мне уши, как ей хочется очаровательную девочку. Она решила, что назовет ее Мартой, что у нее будут обязательно темные волосы и карие глаза – ее наследница, ее юный портрет. Не знаю, люблю ли я ее до сих пор, но мне стало жаль ее: я согласился, чтобы она не страдала. Я люблю всех детей, ты знаешь без моих слов, но Мурра я люблю, как нашего старшего, первого, а Мисмис начинаю любить за ее очарование, обаяние удивительное – и у такой слабенькой крошки! Луиза меня не понимала, я знаю. Я искренне радовался за вас, узнав об Альбрехте. Уверен, ваш сын вырастет достойным человеком. Я посылаю ему с письмом новые игрушки, национальных цветов, чтобы он не забывал родину Мингу. Ты помнишь, я оби-

жался на его имя – ох уж наша Луиза! – и за ее слова: "Они будут, как братья, – ваш Альберт и наш Альбрехт". Это просто некрасиво. Прости меня за мое замечание, я... Я знаю, как Луиза полюбила Альберта. Скажи ей спасибо за карандаши и раскраски для него. Альберт очень обрадовался, узнав, что тетя Луиза его не забыла; он теперь немного ревнует к вашему сыну и... Помню, мы не знали, как сказать ему, что у вас появился малыш – как чувствовали, что он расстроится, поняв, что у Луизы он больше не единственный любимец. Должен признаться, я иногда чувствую себя виноватым перед ним, но, как ни стараюсь, не могу вызвать в себе любовь. Мы с Линой поверили, что родится девочка, Лина молилась о ней, беременная, успела купить многое для девочки – и все нам пришлось отдать знакомым, потому что мальчику это не полагается. Бедная моя, она расплакалась, узнав после родов, что у нас второй – мальчик. За что ей было то огорчение? Мне нужно было уговаривать ее покормить мальчика, ей смотреть на него было больно, но глупо винить ее: я знаю, в душе она мучилась, она тоже хотела бы полюбить его, но слишком сильно было разочарование, велика обида на Бога, которому она молилась прошедшие девять месяцев. Мы решили в семье нашим детям давать домашние прозвища. Марту, нашу маленькую, Лина придумала называть Мисмис – тоже из любимого ею Гофмана. И у нас дома сейчас Мурр и Мисмис, как в сказке. Альберту она отказалась придумать, а я не сумел. Ей имя Альберт всю жизнь не нравилось,

но она решила... Мальчик теперь очень скучает по Луизе, попросил приложить к письму рисунок для нее. Но, я уверен, Лина начнет относиться к нему с большей теплотой – ее мечта о Мисмис сбылась! Неужели ее материнской ласки не хватит на троих детей? К тому же Мурр вырос взрослым мальчиком и готовится к взрослой жизни вдали от дома. Как сложится его жизнь? Я мало уделял ему внимания, но Лина заботилась о нем, ни в чем не отказывала. Лина ласкает Мисмис, забыв обо всем. Девочку испортить легче мальчика. Не вырастет ли она капризной? Альберта скоро будем собирать в школу. Я вынужден отвлекаться от работы, не знаю, как исправить... то малышка плачет, то Альберт лезет, заставляет играть с ним. Хоть сбегай на край света! Но вечерами я доволен. Дети спят. Мурр читает в моем кабинете или играет на пианино. Лина вышивает. Тепло и светло. К счастью – успокоились...».

Он многого не понимал в то время, многое им рассматривалось неправильно или было не замечено. Моменты апатии сменялись у него минутами оживления, пугавшими, бывало, его домашнего учителя – человека маленького, в вылинявшем костюме, но с манерами измельчавшей теперь местной аристократии. Он любил этого случайного человека в своей жизни, считая наивно, что человек этот им искренне интересуется, переживает из-за его небольших успехов в обучении, и если заставлял себя заниматься, то потому, что не хо-

тел обижать своего учителя, боялся, что тот его разлюбит. В иные моменты за него начинал беспокоиться отец и в не самое лучшее время интересовался, знает ли его второй сын буквы, может ли складывать легкие цифры и отвечать на вопросы о религии. Он становился на допросах отца рассеянным, но извлекал все же какие-то клочки знаний из ленивой памяти, и учитель его поэтому оставался на посту. Позже он сильно обижался на учителя, все-таки уволенного за ненужностью с его поступлением в школу, плакал от расставания с ним, осознав, что тот не тоскует от их разлуки, и на себя злился, что привязался к нему сильнее, чем следовало.

Школу он, ранее монастырскую, невзлюбил с первого дня. Мало того, что она все еще содержалась в традициях католического монашества, так еще классы были темны и сыры, с низкими потолками, и зимой не отапливались. Преподаватели придерживались консервативного подхода к воспитанию и поведению в классе, программа же школьная более отвечала не за качество знаний и не за развитие человеколюбия, а за воспитание патриотизма. Так, выше чистописания и арифметики ставились уроки идеологические, с лекциями, что составляет их здоровое общество и какие явления не могут быть названы полезными их стране в наступившем только что веке. Но хуже остального было то, что со сверстниками он был в странных отношениях: тоненький, болезненный мальчик с аккуратно приглаженными темными волосами, в новом традиционном костюмчике с кожаными шортами, —

он у менее обеспеченных детей вызывал зависть и уже поэтому не мог рассчитывать на их дружбу, а те же, что были из круга одного с ним, словно бы чувствовали в нем что-то чужеродное, им несколько не свойственное, и сами от него отстранялись. По этим причинам он переживал гнетущее одиночество и честными ответами о своих чувствах повергал старших в смущение.

– Нет, это совершенно нетипично, – сказала в ответ на откровения его тетя Луиза. – Детям, всем детям нужно учиться, и то, чему тебя учат...

– Он правильно говорит! – перебил ее дядя Иоганн. – Об этом я писал, если ты не помнишь! Конечно, ты не помнишь, тебя это не интересует! А я писал о том, что нашим детям навязывают агрессивный милитаризм, чтобы они из-за парт бежали в окопы, в армию. Посмотри на Мурра!

– А что – Мурр? – сразу оскорбилась Лина.

– А то, что он побежал в армию записываться от этого же чувства – этого желания войны, оно в нем засело так глубоко, что он не мог не пойти!

– О боже, глупости! – стала активнее защищать сына Лина. – Разве может кто-то желать войны? Он пошел в армию, чтобы защищать нашу страну от внешних врагов.

– От каких внешних врагов? Всюду у вас враги! Где вы только их отыскиваете?

– А что же, получается, у нас врагов нет?..

– Может, и есть, но большинство – мнимые. Вот они, по-

следствия нашего воспитания!

– Ну, ну... – обиженно ответила Лина. – Посмотрим... нечего о моем сыне такое говорить. Вы не знаете, уважаемые, что из вашего сына получится, из вашего Альбрехта... Только моего и можете ругать!

– Ничего плохого из него не получится, – парировал на это дядя Иоганн, – если вот эта дура его не испортит своими столичными вещами. По ее мнению, он не так говорит, как нужно. Нужно, видите ли, говорить по-северянски. Это шик и эталон. А мы, южане, – провинциалы, равняться на нас нельзя.

Краснея более шеей, чем лицом, тетя Луиза подозвала к себе растерявшегося младшего племянника, одернула на нем кожаную приталенную курточку и сказала, как-то заискивающе ему заглядывая в глаза:

– Не слушай, что твой дядя говорит! Ты должен всему учиться, Альберт, без этого никак! Нужно учиться письму, Альберт, счету, а потом чтению, а затем и иностранным языкам, и истории...

– Ага, – ответил он апатично, желая, чтобы его оставили в покое.

Своего старшего брата Георга он любил какой-то беспомощной любовью – за то, что тот бывал с ним, по настроению, нежен – и не меньше матери восхищался его новой униформой, выправкой, резкими и мужественными манерами. Почти каждое воскресенье, получая увольнительное, Ге-

орг приезжал к семье, пил в гостиной чай и сносил счастливые и беспокойные вопросы матери: «Ты нынче не мерзнешь, Мурр-Мурр? Ты не носишь шарф? Ты заболеешь, обязательно заболеешь! Разве так можно?». Не понимая, сколь старший сын снисходителен к ней, Лина как раньше начинала хлопотать вокруг него, а он, краснея от ее заботы, с легкой досадой отвечал:

– Мама, ну зачем вы?.. Я замечательно себя чувствую! Вам не нужно так переживать из-за меня! Заботьтесь о Берти и Марте, им это сейчас нужнее, чем мне!..

Как человек чуткий и совестливый в душе, он понимал, что мать обделяет отчего-то любовью второго своего сына и пытался с ней несколько раз об этом поговорить. После тяжелых его слов, почти упреков, Лина заливалась слезами и за что-то у старшего сына просила прощения; потом шла к Альберту, заставляла его врасплох своей непонятной лаской, плакала и близ него, обвиняла себя в том, что была к нему недостаточно внимательна, затем уходила – и на другой день все опять шло по-прежнему. Несколькими часами ранее она с искренностью говорила себе и сыновьям, что станет идеальной матерью для всех своих детей, но позже чувство раскаяния притуплялось и сил менять что-то у нее не было – и она смирялась, почти довольная собой и отношениями в семье.

Накануне войны дядя Иоганн оставил семью в Минге и

уехал в северную столицу, и из нее писал брату, что рассказывают о боевых действиях и каковы настроения нынче: «... Собственно, ничего другого от Севера не ждешь. Все, в том числе социалисты, на которых я возлагал внушительные надежды и которых правитель-Отец не уставал называть паразитами, встали сейчас на его, патриотическую, сторону... молятся на начавшуюся войну. Как мы воюем! Ты, конечно, на их стороне!.. Не знаю, как у нас, а тут новый бонтон – проклятия в сторону наших противников: их пишут на плакатах, на почтовых марках, на трамваях они есть, некоторые их произносят вместо обыкновенного приветствия, что само собой поразительно и, безусловно, отразится в истории, как позорное проявление здешнего менталитета. С тобой, получается, раскланиваются по-человечески, а ты в ответ: "Пусть будут прокляты наши враги, гореть им в аду, подонкам!". Услышав этакое в первый раз, лишаешься на несколько мгновений дара речи. Из иного: войска провожают на фронт с цветами и песнями, матери и жены плачут, а если их спросишь, плохо ли им, отвечают, что плачут от счастья – как же, "лягушатников" отправляются бить! Какие-то необычайные нравы! Нечеловеческие! Исчезла французская и вообще заграничная речь. Ты знаешь, раньше в салонах она присутствовала общим анахронизмом, а нынче обычного "Adieu" не услышишь, а ежели кто-то скажет по-французски или, для разнообразия, по-английски, то он или шпион, или враг, и его допустимо сдать полицейскому. Кришан,

я убежден: мы скатываемся в самую пучину и не замечаем этого, или же счастливы и, кажется, собираемся пучину эту обжить, сотворить из нее что-то элегантное, чтобы и в ней можно было переживать неутолимое нынешнее желание военного экстаза...».

В другом письме он сообщал, что уезжает на фронт «из любопытства, и чтобы написать в кои-то веки о военных действиях и их влиянии на психику участников», а жене и сыну слал множественные поцелуи и пожелания счастья. Оставленная им Луиза не была опечалена; самыми счастливыми моментами ее брака были те, что она проживала в отдалении от мужа, и жизнь ее теперь изменилась в лучшую сторону.

Начавшаяся война мало интересовала Альберта. Из сыновнего любопытства он читал частые статьи отца, мало понимал в них – то все было сложно для детского ума, – но чувствовал в них нетерпение, неуверенное желание, тягу к малопонятной жизни. В начале войны отец и сам обмолвился, что было бы неплохо уехать и заметки вести на поле боя – но так и не решился; хотел он этого не сильно, не из патриотизма, а от усталости, от проблем в семье, нервного, но смирившегося характера жены с ее приевшимися выражениями.

Потом в семье узнали о любовнице.

– Я лишу тебя права на этот дом! – кричала женщина, бегая за ним по комнате, а из нее – в прихожую, затем – в их спальню. – Я расскажу папе, он разберется, он тебя накажет!

– Что ты болтаешь? Твой отец давно в могиле!

– Я расскажу все Мурру. Я все, все расскажу ему!

– Ты можешь говорить спокойно?.. Я тебя слышу.

– Ты больше, больше не увидишь его, ни за что! Я не подпущу тебя к моему мальчику, ни за что! Он меня любит, он меня поймет! Ты больше не увидишь Мисмис, я скорее умру!

– Как с тобой можно разговаривать?.. Перестань шантажировать меня детьми! Это... глупо! Это пошло, низко! Как тебе не стыдно?

– Мне? Мне?!

– Тише! Дети тебя слышат!

Они перешли на нервический шепот. Подслушивавшие Альберт и едва ли что-то понимавшая Мисмис прижались к двери детской спальни – пытаясь различить их голоса.

– Убирайся сейчас же! – не выдержав, вдруг закричала женщина. – Не трогай меня! Я спокойна! Я сейчас позвоню в полицию! Я выброшу твои вещи за дверь! Десять минут! Слышишь?

– Да с тобой ни один нормальный человек не останется! Истеричка! Я заберу у тебя Мисмис! Если ты не отдашь ее, я докажу...

– Могу прямо сейчас поделиться!

Натыкаясь на стены, как помешанная, она побежала к двери. Испугавшиеся ее дети отлетели подальше, вглубь темной комнаты. Кажется, себя не контролируя, Лина схватила за

руку старшего, стала поднимать его на ноги; Мисмис, зарыдав, вцепилась в другую его руку и захныкала:

– Бертель, пожалуйста, мама!

– Что? Мне больно! – возмутился он, не сумев вырваться от матери.

Не слушая, она выволокла его в гостиную, швырнула, что было сил, отцу. Запутавшись в ногах, растерянный Альберт упал на край дивана и закричал:

– Мне больно! За что?

– Ты в уме, а? Ты как с ребенком обращаешься? Вставай, Берти! Не ударился?

– Лицо! Глаза!

– Сейчас, сейчас...

– Хочешь ребенка – возьми! Прямо сейчас забирай! Мисмис я не отдам!.. Куда ты пошел? Я твоя мать, ты будешь подчиняться!

От ужаса и бессилия он тихо заплакал. Лицо закрыв обеими руками, побежал наугад; плечом стукнулся о дверной косяк, локтями натолкнулся на большую дверь, открыл ее и упал, споткнувшись, на обе ладони. Он вышел в подъезд. От боли и отвращения к себе его вырвало. Потом он сидел, уткнувшись лицом в ладони, и думал о чепухе – наверное, о школьном хоре или прочитанном вечером рассказе.

Случайно задевший его приличный мужчина в пальто с меховым воротником отшатнулся.

– Кто тебя пустил? Что за вонь?

– Ну и идите себе! – немедленно огрызнулся Альберт.

– Сейчас скажу внизу!..

Сбегая вниз, он продолжал громко ругаться. Пришедшая с ним на этаж пожилая женщина с изумлением воскликнула:

– Это же ребенок Мюнце, писательский. Вы что?.. Ты себе лицо разбил? Дай посмотрю!

– Не трогайте! – Он оттолкнул ее руки и встал. – Старуха!

– Да чей это ребенок? – кричал, ничего не понимая, мужчина. – Что за хамство? Я на вас пожалуюсь! Вы уберете это или нет? Пройти нельзя!

Женщина испугалась налитых кровью глаз ребенка, даже перекрестилась. Не поворачиваясь к нему спиной, позвонила в квартиру:

– Что вы там? Ребенка потеряли!

Альберт побежал вверх. Руки у него ныли, но он сильнее хватался за перила – на случай, если откажут ноги и он опять споткнется. На последнем этаже, не имея хода дальше, на чердак, он сел и колени обхватил руками. Так его нашел отец; в уличном костюме, с волосами, уложенными для прогулки, он остановился в лестничном пролете и, заметив сына издали, позвал:

– Пошли домой! Мать волнуется. Сестру надо успокоить. Альберт тупо на него смотрел, ничего не понимая.

– Ты себе висок разбил, я вижу. Мать вымоет тебе лицо.

– Глаза! Глаза!

– А, это. Это не так страшно.

– Я выбил их! Они выпадают! Я чувствую!

– Они не выпадают. Это от матери, у нее тоже бывает. Никто от этого еще не ослеп и не умер. Немного крови, ничего страшного. Вставай! Мне надо спешить! Да ты промерз весь! Мать промоет тебе голову, тебе полегчает, вот увидишь.

За руку Альберта провели в квартиру, в ванную. Отодвинув его отца, заняв собой все пространство крохотной комнатенки, Лина взялась за вату с перекисью.

– Он уходит, уходит! Это он виноват, он толкнул тебя. Я тоже виновата. Прости меня. Больше ты его не увидишь. Ну, будь хорошим мальчиком! Дай маме обработать твой висок...

Война тем временем шла к завершению, о чем свидетельствовали и частые поражения на фронтах, и положение в тылу, особенно в крупных городах.

Семье своего брата Иоганн писал из части, в которой был в качестве военного корреспондента: «...Настроения в армии ужасные, и говорят у нас о разном. Что случится?.. Сначала пайки урезали, и у нас начался голод, нам приходится питаться крысами. Мы тут как-то взбодрились после заключения мира с СР, рассчитывали на наступление Л. у нас, об этом очень много говорили, много о нем писалось, и каково же было наше разочарование, когда мы поняли, что оно провалилось! Значит, все наши усилия пошли прахом... Но что это я? Неужели я, как Кришан, становлюсь милитари-

стом? Нет-нет, не думайте обо мне так. Мне хочется, чтобы война закончилась как можно скорее. Тут жутко умирают люди. Мне не хочется больше это видеть, понимаете? Нужно признать, что наш мужественный правитель погубил нашу страну из-за своей тупости и жадности. Я знаю, как живут в тылу. Я знаю, что вы не можете купить еды, что нет ни хлеба, ни муки, ни молока, чтобы накормить детей. Как вы там выживаете? Как дети – и Ваши, и мой Альбрехт? Я писал Луизе, но она почему-то мне не ответила. Получила ли она мое письмо? Спросите ее... или напишите мне сами. Так вот, я знаю, как вы все там живете. И как можно призывать к войне и дальше? Как можно воевать на наших нищих, подпорченных крысами пайках – и знать, что наши жены и дети там, в тылу, голодают? И Вы можете как-то защищать правителя, которому наплевать на свой народ?.. Мне кажется, это должно закончиться. Многие не хотят воевать, пишут мелом на вагонах: "Мы воем не за Родину, а за миллионеров!". Эти надписи я видел не один раз, и почему-то мне становится спокойнее от них. Можете ли Вы понять меня?.. А потом к нам приехали фронтовики из госпиталя, на грузовиках, с красными лентами на кителях, с красными флагами, и стали призывать к борьбе за наши "свободу, красоту и достоинство". Неужели это все-таки Революция? Мне часто виделось такое развитие событий, быть может, я мечтал о нем, но боялся всю жизнь, и сейчас боюсь самой мысли, что все может измениться – и понимаю, что изменения нуж-

ны, без них никак...».

В ноябре уже, в Мингу, Лине написал ее муж: «...Узнал, что и Иоганн с ними. Как он мог – после того, что с нами случилось? Известно ли тебе что-то о нем?.. Ты знаешь, я опять у нас, но не в городе. Мы с *ней* успели расстаться. Очень хочу с тобой встретиться. Возможно, ты не захочешь больше со мной жить, и я пойму это, но, боже мой, не время нам сейчас ссориться. У меня нет никого, кроме тебя и наших с тобой детей. Я виноват, и я прошу тебя простить мне мою слабость – единственный раз, ибо ранее ты не прощала мне ни одного, и самого незначительного, недостатка... Да, все возмущены вероломством этих... Они не воевали, как фронтовики, – нет, они, получив деньги от наших врагов, отсиживались в тылу в ожидании момента, когда лучше ударить в спину нашей доблестной армии – и ударили, ударили! Пока наша армия проливала кровь, сдерживая противника, пока там, на фронте, гибли наши мальчики – наш Мурр там воевал и знает! – эти трусливые крысы прятались по углам, и только армия ослабла, только положение ухудшилось и правительство немного растерялось – и они тут же развернули свои красные тряпки! Разве могут тряпки быть флагами? Они, тыловые крысы, стали разъезжать со своей красной рванью по фронту и призывать военных сложить оружие. И это на войне! Вблизи нашего врага! Сложить оружие! На фронте – я знаю, мне написал наш благословенный Мурр! – никто их слушать не хотел, их били и гнали, зная их, как пособников наших

врагов, – но они смогли взять власть. Понимаешь ли ты, что это значит? Сначала Юг, затем Север! Всюду революционная истерия! В Минге, я слышал, они захватили власть тихо, как-то без нервов, без шумихи, не то, что в столице. Там сейчас всюю бушуют "красные", у них какие-то невозможные социальные реформы, все в руках исполнительного комитета советов рабочих и солдатских депутатов. В Минге, кажется, спокойнее, но я не хочу пока к вам ехать. Ты можешь назвать меня трусом, но я знаю, что в Минге меня могут взять за мою публицистическую деятельность – на Севере и за такое арестовывают, и за меньшее, – а тут меня никто не знает. Позже либо ты с детьми ко мне переберешься, либо я постараюсь вас навестить. Но нынче рано об этом писать тебе... Какое это имеет значение, наши с тобой отношения, в сравнении с такими-то масштабами? С ужасом я осознаю свою малость и неспособность что-либо изменить...».

Уехавшая из города Луиза воссоединилась со своим мужем в провинции и также написала Лине: «...Я ничего не знаю о политике и не хочу ничего знать о советской республике. Мы живем в одной квартире с приезжими, это русские коммунисты, они работают в комитетах и советах. Мне это, право, неинтересно. Мне страшно за себя, но особенно за Альбрехта. Ты знаешь, я ничего не понимаю в политике, но эти митинги, флаги, выступления рабочих, агрессивные... я боюсь. Я слышала, твой Мурр возвратился в Мингу. Неужели?.. Все счастливы? У нас много ненависти, нас агитируют

вступать в Красную Армию. Знаю, я пишу путано, это все от того, что в мыслях у меня абсолютная неразбериха...».

Кое в чем она была права: старший сын вернулся домой к самому Рождеству. Он писал, что теперь служит в войсках, расквартированных в Минге, и, соответственно, сможет жить дома, как прежде. Мать волновалась по случаю его возвращения и, благодаря сохранившимся связям, достала сверх положенного немного муки, сгущенного молока и масла, чтобы приготовить праздничный торт. Страстная любовь ее к старшему сыну все усиливалась, и к чувству этому ревновать стала и ранее не остававшаяся без изобильной ласки Марта. Что касается второго сына, то он совсем был забыт всеми накануне явления Мурра семейству, да и позже о нем не заботились, считая, что он менее важен, нежели получивший награды Георг.

Помня внимание к нему брата, Альберт и нынче пытался привлечь его, но тот сделался мрачным и чуть ли не резким, что в довоенное время за ним не наблюдалось. Георг начал грубить и матери, уставая от ее назойливых вопросов: «Не слишком ли ты меланхоличен, Мурр? Не нужно ли тебе развеяться?.. Ах, Мурр, тебе не дуется?.. Не болит ли у тебя голова?.. Не хочешь ли ты чего-нибудь?..». Встречая его озлобленность, Лина тихо плакала у себя – опять же, боялась обеспокоить его своими слезами. Начала она гнать от себя и Марту, отказываясь от сочувствия:

– Что вам всем от меня нужно? Гнусные, невоспитанные дети! Оставьте меня! Играйтесь в другом месте!..

Как-то, в минуту разговорчивого отчаяния, Георг признался ей, что переживает из-за усиления коммунистической пропаганды, неуважения к военным и нежелания слушать человека образованного, профессионала. Он, и в семье, и в обществе встречавший повышенное внимание, не мог смириться с отсутствием уважения к себе как к офицеру.

В добавление к уже имеющимся проблемам без их согласия к ним подселили коммуниста, приехавшего по заданию заграничной партии, чтобы помогать в строительстве коммунистического общества. Работал он, кажется, в каком-то из местных комитетов и приходил домой после шести. Как звали человека этого, семейные так и не узнали; он понимал язык, но поначалу был печален, отчасти угрюм, и в первые недели лишь смотрел – все больше вопросительно. К детям он относился с жалостью, но больше жалел второго мальчика, Альберта; и так, о них заботясь, он приносил мало кому доступный сахар, молоко, принес как-то бисквит и вафли. Боявшийся его не меньше матери сначала, Альберт постепенно стал к нему тянуться: жалостливое, теплое что-то было в этом человеке. Он взял в привычку встречать его с работы, прибегал из своей комнаты, а тот, глядя в его улыбающееся лицо, пожимал его протянутую руку и надевал ему на голову огромную фуражку.

– Дядя, дядя, а расскажите!.. А как там?.. А вы расскажи-

те!..

Человек же злился на его родных: считал, что неправильно воспитывают младшего ребенка, слишком сухо обращаются со вторым мальчиком; с Мартой он был немного строг, а Альберта обещал научить казачьим трюкам на лошадях – и у обоих детей завоевал доверие.

Но Лина его боялась – с ней он не был вежлив или осторожен. В оживленном настроении он рассказывал ей жуткие истории, пугал ее вольностью своих формулировок. Обычно он смотрел, чтобы при этом не было детей – но как-то не заметил Альберта: тот прохаживался мимо приоткрытой двери и посматривал, как мать месит тесто, и невольно прислушивался.

– Простите, а можно спросить? – заинтересовавшись, выпалил он внезапно. – А что такое «национализация женщин» и что это за долг, который им нужно платить?

Услышав это, мать повернулась; выбежала и резко схватила его за ухо, и так поволокла в спальню.

Спустя некоторое время она опять к нему зашла.

– Вот кто тебя просил слушать? Кто тебе позволил?

– Да я просто спросил! – возмущенно возразил Альберт. –

Ответить, что ли, сложно?

– Уже взрослым себя чувствуешь?.. Ну, я сейчас тебе послушаю!..

И не успел он от нее отступить, как со всей силы она обеими ладонями ударила его по ушам – это был обычный спо-

соб наказания в их армии. Ошеломленный режущей болью в ушах и голове, он заплакал. Он не услышал, как она ушла; с сильным головокружением и мутной пеленой перед глазами он упал на постель и заплакал уже шумно и злобно, чувствуя себя сильно униженным.

Часом позже пришел его брат и, испугавшись, что он не успокаивается, стал гладить его по голове и ласково шептать: – Будет, будет тебе! Не стоит это того, глупый.

Весной вновь сменилась власть.

Убийство важного чиновника в Минге привело к новым демонстрациям, рабочим забастовкам, затем – к расколу во власти, наверху Первой республики. Слабый, безнадежный путч националистов подавила Красная Армия, и в тот же апрельский день заводские советы под командованием иностранцев Левине, Левина и Аксельрода упразднили Центральный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, себя объявили высшей властью, а регион – Второй коммунистической республикой Советов. По их распоряжению комендантом Минги (столицы) и главнокомандующим Красной Армии стал ранее никому не известный юный матрос по фамилии Эгельхофер.

В Мингу наконец-то пришел революционный террор. Никто не знал, сколько было убито, а сколько арестовано. Неопытность, необязательность и жестокость исполнителей добавляли неразберихи: то забирали, то отпускали, а то

неизвестно куда ссылали; конфисковали квартиры, личные вещи, а то и просто грабили, не отчитываясь ни перед кем; закрывали газеты, агентства новостей, магазины и столовые. Через неделю почти не стало продовольствия – город был закрыт властями до установления порядка. Был хлеб, вылепленный из чего-то клейкого, и гнилые овощи, разбавленное молоко назначалось врачами лишь для спасения «правильной», с классового точки зрения, жизни. Все слышали заявление коммуниста Левине: «Что с того, что в город не станут совсем поставлять молоко? Какое нам до этого дело? Им питаются, в основном, дети буржуазии. Что с того, если они умрут? Это, по сути, никому и не повредит, из них в любом случае вырастут закоренелые враги пролетариата!». Он же был ответственен за комендантский час для ненавистного им класса; он же обещал красноармейцам в ближайшие недели выкосить врагов режима и тех, кто может ими стать. Вторая коммунистическая республика Советов не могла позволить себе милосердия – слово из вражеского времени, как говорили в Красной Армии.

Мурр из своей части приносил известия о «белых», что наступали с Севера и якобы уже успели вступить в бой с Красной Армией. Правдивость его рассказов чуть позже подтвердили власти, призвав все население выйти с оружием и сражаться против «детей буржуев и белогвардейцев, наемников капитализма, явившихся теперь к воротам Минги».

– Ты хочешь сказать, что «пройсы» будут тут? – спраши-

вала Мурра Лина. – Но они не пощадят нас! Или ты думаешь, они идут к нам с миром? Они хотят, чтобы мы подчинялись их Северу, им не нужна наша республика, им не нужна наша свобода!

– Так эти нас быстрее уничтожат! Ты раньше не была за общее, за единую страну, и с Севером?

– Я была, была за общую страну! Но мы были особыми, ты знаешь. Когда «пройсы» нас подчинили в прошлый раз, наши деды склонились перед ними и признали их правителя своим. Но, несмотря на это, у нас был свой король и с нами обращались, как с особенными, все знали, что это особый регион, особенное место... что наш народ – не их народ. Мы – не северяне. У нас своя культура, свой язык, который они не уважают... Они хотят, чтобы мы перемешались с остальными, нашими соседями!

– Да что за устаревший национализм?.. Да, мы – не они. Но они не плохи! Я был в их городах, служил с ними, мы были вместе... мы все же братья!

– Мурр, что ты говоришь? Мы – не братья!.. Ты хочешь, чтобы они опять нами управляли?.. О, они не будут управлять, как раньше. Ты наивен! Ты думаешь, они идут к нам, чтобы нас спасти? Они хотят нас завоевать! Они злы на то, что мы теперь республика, независимы, отделены от империи! Они бы никогда не дали Минге свободу!

– Так ты что, мама, за коммунистов? Лишь бы не пришли северяне? Хочешь, чтобы мы были независимой страной –

но этой ценой? Ты понимаешь, что у тебя отнимут все, включая наш дом?

– Я не хочу их войск здесь, – сухо ответила она. – Мы должны быть гордыми. Они потребуют от нас унижения, нашей благодарности – именно потребуют! Они же наши спасители! И их войска опять будут стоять под нашими окнами! Как в те дни, когда твой предок воевал против северян, но проиграл, черт бы побрал его и его поражение!

– Ну что за пещерный патриотизм? – настаивал ее сын упрямо.

Лина злилась на него, бросалась обнимать, а он отстранял ее – и после она убежала в спальню и там заплакала от обиды.

А на другой день его арестовали.

С час Альберт и сослуживец Мурра приводили ее в чувство, отпаивали слабым чаем и шептали что-то очень глупое. Очнувшись, сумев собраться с мыслями, Лина заявила, что идет в тюрьму к Георгу.

– Зачем?.. – воскликнул Альберт. – Они его не выпустят! Зачем, мама?.. Ну зачем?..

Она, боясь расплакаться, от него решительно отмахивалась.

За день Лина сбегала в тюрьму несколько раз: вначале уговаривала пустить ее к ребенку, плакала, будто бы стояла на коленях; затем воротилась опять в тюрьму, но уже с просьбой принять у нее передачу, а получив отказ, в истерике чуть не убила об стену. К вечеру ее доставили домой, ей было

стыдно, она была страшна и потому гнала от себя детей, а сама легла в спальне. Марта, ее не понимая, все вопила и рыдала, и стучала ногами об ее закрывшуюся дверь.

– Закончишь ты кричать? – воскликнул Альберт и силой увел сестру в свою комнату, и усадил на постель. – Сиди тут! Матери плохо – что, не понимаешь?..

Вставать их мать не хотела, но потом пришел жилец и пригласил ее выпить с ним и с его компанией, которую раньше тут никто не видел. Друзья эти, в кожаных куртках, кепках и страшных сапогах, хозяйничали в кухне, гремели посудой и смеялись очень громко. Лина согласилась, вышла к ним; лишившись воспитанной в ней грации, она села за накрытый стол, то расслаблено откидывалась на спинку стула, то оба локтя пристраивала у тарелки, смеяться начинала в ответ на безобидные слова, а после затихала, словно у нее заканчивался воздух, и сникала. Потом началось нечто очень странное – Альберт понял это, потому что внимательно смотрел за ней из другой комнаты. Мать его, изрядно пьяная, встала и обеими руками схватилась за широкий стол; большие румяные волосатые руки взяли ее за талию и ноги. Она, не понимая, что им нужно, слабо отбивалась, сумела не упасть, выбежала в гостиную и оттолкнула сына, что бросился навстречу ей. Получив от нее толчок, он налетел на чью-то кожаную куртку и хозяином ее был пойман за шиворот. Он лишь испугался сильно, когда его вытолкали в его комнату и закрыли, кажется, приставили что-то тяжеленное к двери,

чтобы он не выбрался. Испуганный, со сбившимся дыханием, он прижался к теплой деревянной двери; зашикал на заплаканную сестру, что тоже испугалась и за защитой бросилась к нему:

– Ой, сейчас прибью тебя! Ну! На кровать пошла! Живо! А то прибью тебя, клянусь!..

Дрожа от страха перед ним, Марта ползком добралась до кровати, уселась на нее, голову порывисто закрыла подушкой, захныкала из-под нее.

– Сейчас придушу тебя этой подушкой, если не заткнешься! Ничего из-за тебя не слышно!..

Могло показаться, что ничего не происходит, так как из-за двери мало что было слышно – но потом появились растянутые, вязкие мужские голоса и иной – визгливый, женский, тоже очень пьяный, но и сильно испуганный. Голос этот затем искусственно стал затихать, зажимаемый кем-то в горле; он сменился звуками, похожими на бульканье, отчего-то потом сорвался почти на крик – и опять заглушился, более решительно, и перешел в ослабленное животное мычание. Понимая не разумом, а инстинктом, Альберт бессмысленно толкался в дверь и теребил ручку, но закричать боялся, боялся показать другим способом свое присутствие вблизи этого, и, поддаваясь ужасу, со всякой минутой все более боялся дышать и себе уже зажимал рот, опасаясь, что может произвольно вскрикнуть. Мерзким, неправильным, неестественным было то, что случалось это там почти в молчании; неча-

сто прорезался мужской голос или протяжное хриплое восклицание, в остальное же время различимы были лишь настойчивый скрип дивана, осторожные шаги, тяжелое дыхание и слабое женское мычание. И это было одновременно неопишимо ужасно, и неопишимо возбуждающе; этого он тоже испугался и наконец попятился, сел на пол, обе ноги обхватил в районе колен и притянул их к себе. Показавшая заплаканное лицо из-под подушки Марта по одному на него взгляду догадалась, что с ним творится что-то плохое. Она соскочила с постели и стала хватать его за руки, чувствуя от него сильную дрожь. Он слабо отталкивал ее, почти закричал со страхом, захлебываясь будто словами:

– Отстань! Не трогай меня! Мне плохо!..

Он захлебывался уже слезами, лицо уткнул в колени, Марту оттолкнул со всей имевшейся у него силой. Успокоился он очень быстро, но не вставал с пола и головы не поднимал; только в половине третьего перебрался на постель. Примостившаяся у него в ногах Марта захныкала. Как и она, он спать не мог и все слушал, слушал что-то в тишине, одной ногой машинально слегка пинал сестру, а лицо убрал в одеяло и пытался снова не заплакать.

Выпустили их уже ближе к обеду следующего дня. Оба не спали несколько часов до этого, но боялись шуметь и на постоянного жильца, что зашел с опухшим синеватым лицом и опущенными глазами, посмотрели с туповатым равнодушием. Марта вышла первой, молча, голову держа так, будто ис-

кала что-то на полу, а брат ее остался на скомканной за ночь постели и смотрел на взрослого человека, не понимая, что чувствует сейчас.

– Ты... прости... – запинаясь, сказал тот. – Мы... выпили... не знаю, как... не хотели же плохого! Ты что сам-то не шумел? Испугался?.. Ну...

Альберт начал на слова шмыгать носом, но старался сохранить серьезное и спокойное выражение лица. Человек с жалкими темными глазами потянулся к нему почти произвольно, обнял его плечи, прижал к себе его нечесаную голову и стал ее гладить – до тех пор, пока он не затих и не лег, совсем обессилив, на кровать. Он заснул сразу же, а когда после недолгой дремы очнулся, обнаружил, что человек ушел – забрал все имевшееся у него и выехал окончательно, предварительно накормив Марту и уложив их заболевшую мать в постель.

Более суток она не вставала, хуже того, не разговаривала, отказывалась от воды и той скудной пищи, что у них оставалась; не хотела к себе пускать Альберта, а Марту звала к себе жестами, разрешала ей лежать у себя в постели и ластиться к ней, и та, как собачка, и на ночь улеглась у матери в ногах и плакала тихо от того, что мама не хочет с ней говорить. Потом, обнаружив опять близ себя сына, Лина велела ему поклониться и еле слышно сказала:

– Сходи... нужно узнать... как наш Мурр...

– Опомнитесь, мама, – испугался он, отшатнулся. – Вы

же не знаете, что там! «Пройсы» уже воюют на окраинах! Нельзя же выходить! Вы что?.. Не сейчас, мама! «Пройсы» подходят, неужели вы не понимаете?..

Не желая понимать, почему он не хочет выполнить ее просьбу, она все гнала его в тюрьму, за старшим любимым сыном, – и Альберт, не справившись с ней, боясь за ее состояние, пошел все же, куда она приказывала.

«Белые», как он узнал, начали сражение за город. От окраин к центру летела громкая сила разрывающихся артиллерийских снарядов. На некоторых улицах возникала толчея, серые толпы с выделяющимися красными повязками на рукавах стекались, подгоняемые комиссарами. Трамваи стояли брошенные близ остановок; автомобили с коммунистическими флажками, набитые работниками комитетов, неистово сигналили, требуя дать дорогу; к лобовым стеклам прилипали оторвавшиеся от стен, сероватые от пыли обрывки политических требований.

Возвратился он домой часом позже, с тяжестью на сердце. Коротко взглянув на его виноватое, некрасиво осунувшееся лицо, мать рукой закрыла себе рот; сквозь эту плотную преграду выговорила так, что не сразу он понял, что она сказала:

– Его... его убили?

– Они... они мне... они мне сказали... что он...

Она молча попросила его замолчать. Он попытался схватить ее за руки, ища у нее бессознательно защиты. Она же, также от бессознательной злости, отстранила его и отверну-

лась. Не смирившись, он притулился к ней, лицом уткнулся в ее спину, прерывисто стал повторять:

– Я же... я ничего... я ни в чем не виноват... Почему? За что ты меня?..

– Да оставь ты меня! Уйди! Ты наказан! – Она заплакала от своей жестокости к нему. – Ты наказан! Почему ты за меня не заступился? Какой ты мужчина после этого? Как ты мог меня бросить?..

– Мамочка, родная, но я так тебя люблю! Прости меня! Пожалуйста, прости меня, прости меня! Я хочу умереть! Прости меня!

– Мурр никогда бы меня не бросил! За что его?.. Я тебя правильно не хотела! Ты за меня не заступился! Твой отец бы заступился... они бы все заступились... а ты... Крыса ты, мерзкая... Из-за тебя его убили! Пошел, пошел... Отстань!..

Понимая, что нельзя так говорить, она повторяла машинально, зло, но и успевая глубоко раскаиваться. Сама его прогнав, она без него заплакала сильнее и не успокаивалась, пока он не принес ей чашку чая.

– Помоги мне сесть... мне это нужно...

Альберт присел близ нее, поддержал ее, пока она выпрямляла утомленное тело.

– Я сама, – еле слышно сказала она, поняв, что сын хочет поить ее с ложки.

Она заметила кровь у него на руках и спросила:

– Ты поранился? Что это? Как?

– Ничего. Я случайно.

Готовя чай в кухне, он нашел близ плиты острый нож и несколько раз полоснул им по левой руке.

**1940**

– Милая моя, милая девочка! Зачем же ты так? Моя хорошая... Как так получилось, как это получилось с тобой? Расскажи мне с самого начала... Моя хорошая. Я бы все для тебя сделала. Зачем ты так с собой?

Та не отвечала. Мария пробовала ее волосы губами. Коричневый свет отливал болезненностью, в нем умершая казалась старше, лет, быть может, тридцати. Мария вспоминала, как в похожем тусклом оранжево-коричневом свете Катя лежала вот так же, как раненая, но в самое нутро, которое ныло, нестерпимо тянуло, но – не убивало.

– Это я виноват, – сказал Аппель. – Конечно, я поступил эгоистично, но я не мог простить, что она с Альбертом. Я... я заслуживаю вашего презрения.

Она оглянулась и поежилась от его слов.

– Чушь... детские глупости... – сказала она после паузы.

– Альберт не простит меня, ни за что, конечно, не простит. Это попытка.

– Просто оставьте нас в покое.

Аппель виновато попятился. Вытерев слезы, Мария накрыла голову сестры простыней. Позже должны привезти

гроб – и они снимут белую ткань, обученный человек облачит тело в красивое платье, а она расчешет волосы и отрежет совсем чуть-чуть, на память, и положит в музыкальную шкатулку. От образов этих ее затошнило. Любимый человек, милый человек – она тут и не тут. Больше нет Кати, но словно бы она есть.

В дверях она встретила Альберта. Он пришел к ней, потупив глаза.

– Нет, – сказала Мария.

– Я хотел посмотреть...

– Нет. Не приближайся к ней.

Заметив, как исказилось его лицо, она справилась с желанием закричать. Это ты убил ее! Она умерла из-за тебя! Не смей к ней прикасаться! Но – это же Альберт, который ни за что бы не причинил боль ее сестре.

Альберт взглянул на нее, и она тоже уставилась в его глаза.

– Она умерла, – просто сказал он.

– Я знаю. Мертвым нужен покой. Оставь ее в покое хотя бы сейчас.

Неуверенно он отступил. Мария решительно достала ключ и щелкнула им в замке.

– Я хотел посмотреть на нее, – бессильно повторил Альберт.

– Хватит с тебя. Насмотрелся уже. Ключ ты не получишь, пока я тут хозяйка.

Она уловила тонким женским чутьем, что он желал ска-

зять, но изобразил кое-как губами: я пытался, я должен был ее спасти. Я пытался. Я должен был. Должен был ее спасти. Нет, имей Альберт все блага на свете, и в этом случае он бы не спас Катю. Он, как и она, они все – он столкнулся с силой более страшной, чем человеческая.

– Прости меня. Прости меня, Мари.

Она покачала головой.

– Нет.

Плечи его опустились. Он был опустошен. Больше всего она желала закричать на него, визжать истерически, насколько бы хватило связок. Я знаю, что ты сделал! Не Катя, но мне рассказали! Мой муж рассказал мне! Я все о тебе знаю!

– Пусти меня, – сказала она. – Мне нужно на свежий воздух.

За домом было сыро и неприятно, моросил дождь. Тусклые сизо-черные тучи выше головы тянулись к линии горизонта. То был бесконечный мокрый мрак, в котором не было окон, не было жилья, не было даже живых или мертвых. Не шумели деревья, не скрипела дорожка, не стучала калитка, отчего-то не звучал и дождь. Неужели она вошла в немое кино? Не онемела ли и она вместе с остальным миром?

За углом зашелестела чья-то одежда. Потом застучали мужские шаги. Спасение явилось – удивительно, но то опять был Аппель, который не прогуливался, как могло показаться в ином случае, – нет, он шел к Марии, он искал Марию. Она

поняла это по его напряженной фигуре.

– Снова вы? – спросила она.

Со лба она убрала влажные волосы.

– Конечно, вы меня прогнали, но я должен поговорить с вами.

Она отступила на шаг.

– Опять? Из-за Альберта? Меня не касаются ваши отношения.

– Конечно, нет. Речь не об Альберте. Это касается вас и... вашей семьи.

Неуловимо Аппель изменился. Она испугалась, но постаралась скрыть это – и спросила:

– Это из-за звонка? Вам звонили из-за меня?

– Из-за?.. Ах, в этом доме невозможно скрыться, любое действие станет общим достоянием. Вам, конечно, француженка рассказала? Конечно, я должен кое-что сказать вам... Но можно сначала простой вопрос?

– Какой?

– Вы сильно привязаны к вашему мужу?

Этого только не хватало! Она понимала, что и зачем он спрашивает, но решила разыгрывать незнание – быть может, получится выиграть немного времени.

– Что, извините?

– Вы сильно привяз...

– Не понимаю вашего интереса.

– Конечно, вам и сказать неловко... – притворяясь серьез-

ным, ответил Аппель.

– И что же?

– Я уверен, ему угрожает опасность.

– Не понимаю вас, – решительно ответила Мария.

Темная фигура Аппеля, не очень-то внушительная днем, сейчас казалась ей невероятно сильной и огромной.

– Я, конечно, рад, если вы не понимаете, – начал он опять, – но что-то мне подсказывает...

– Мой муж, – Мария уверенно его перебила, – мой муж не сделал ничего плохого.

– А хорошее он тоже не сделал?

– Он... – Она запнулась. – И хорошее... тоже.

Аппель оглянулся на затемненные окна – но никто не шевелился за ними. Темные кусты, близ которых они говорили, впитывали тихие слова.

– Честно признаюсь вам... – заговорил Аппель, – я нахожусь в затруднительном положении. Пожалуйста, из уважения к вам, давайте оставим глупые игры. Вы заставляете меня чувствовать себя... сообщником! И я обеспокоен этим, понимаете?

– Ну, так вам ничего не угрожает, – ответила Мария.

– Вы считаете?... Поговорите с вашим мужем. Меня он, конечно, не услышит. Он назовет меня провокатором. Но вы... он ценит ваше мнение. Разве вы не боитесь?

– Я ничего не боюсь, – уже зло ответила она. – Так и скажите это остальным.

– Ну, каким остальным? Вы о чем? Мы же не на эшафоте, чтобы громкие речи... Чего здесь стесняться? И он вас может послушать... Вы ему запретите!

– Да разве я могу ему что-то запретить? – воскликнула Мария.

– Ну, тише вы! Можете! И, конечно, обязаны! Вы, женщины, выкручиваете нам все жилы, если хотите, так, что жизни с вами нет!

– Я не понимаю, – начиная задыхаться, сказала она. – Я вас... не понимаю.

Проступающее в темноте лицо Аппеля имело сочувственное выражение, но Мария принимала его за насмешку. Показалось, он вовсе не хотел ей помочь – нет, он игрался, он наслаждался ее растерянностью. Она была слишком измотана, чтобы отличить дружеское намерение от вражеского.

– Я сейчас позову моего мужа! – воскликнула она и махнула в сторону окон. – Что вы хотите от нас? Говорите! Деньги?.. Вы получите их! Забирайте! Или вы переспать со мной хотите, а иначе не заткнетесь?

– Боже мой, вы неправильно истолковали мои слова, – стараясь скрыть ужас, произнес Аппель. – Конечно, я не... но чисто из любопытства: а вы готовы?

– Чтобы вы заткнулись?

– Ну... вам лучше знать, – нервно рассмеялся Аппель. – Вы напрасно меня боитесь.захотел бы – вам бы уже жизни не было. Напротив, я желаю вам помочь.

– Так же, как вы желали помочь моей сестре?

– Я... я должен заслужить прощение Альберта. Поймите меня. Он так любит и вас тоже, вы же ее сестра...

Мария отбросила голову и повторяла:

– Что вы хотите? Что вы хотите?..

– Совсем ничего. Поговорите с мужем. Пусть оборвет все связи, уничтожит все бумаги, чтобы они ничего не нашли. Смерть – это страшно! Хватит смертей!

– Чушь! Неужели вам не все равно?

Негромко Аппель выругался и зашагал мимо нее к калитке. Он был сильно обижен.

## 1938

Они поселились в гостинице с окнами на узкую и грязную улочку.

Она наблюдала мужа осторожно, желая понять его, желая сделать их совместную жизнь счастливой. Днем он был озабочен работой, нервозен и тороплив, а вечером становился задумчивым и тихим, не хотел, чтобы его трогали, и говорить тоже не хотел и отдыхал в ее обществе молча, испытывая удовольствие от возможности просто видеть ее близ себя. Поначалу, считая странным, что муж не говорит с ней, она сама спрашивала его о чем-то, улыбалась, ожидая ответа. Он же мог и не услышать ее и, если она повторяла вопрос, удивлялся.

– Не понимаю, почему мы не можем поболтать вечером, как самые обычные молодожены, – начинала расстроено Катя. – Другие пары, наверное, разговаривают, и не только о работе, как мы с тобой, понимаешь?

– И о чем они говорят? – без интереса спрашивал Митя.

– Не знаю. О всяком... может быть. Я могла бы почитать, но...

– Это лучше всего. О работе мы днем достаточно поговорили. И о нас мы много раньше говорили. Не знаю, что мы можем сказать друг другу нового. А болтать по пустякам я считаю глупостью. Это... скучно. Если ты не хочешь снова говорить о работе...

– Нет, я не хочу снова говорить о работе. Мне лучше взять книгу и не мешать тебе больше.

На обиду ее он улыбался виновато, но более не отвечал. Он не собирался обижать ее, он и не мыслил такими категориями, оттого она и не сумела бы хранить эту обиду долго.

Ей многое, за исключением мелких таких моментов, нравилось. Приятно было, что он серьезен, собран, с ней держится по-дружески и со сдержанной нежностью – на чувства бурные, демонстрируемые откровенно, она не знала бы как отвечать. Страстным человеком он себя не показал, увлеченность его касалась лишь работы, избегая другие стороны жизни. В физических проявлениях любовь его была спокойна – ни надоедлива, ни внезапна, что ее устраивало. Ожидав от новой для себя стороны любви головокружительного вос-

торга, она быстро разочаровалась.

Беспокоило ее, что нет у них своего быта. Митя, понимая ее беспокойство, все же не торопился обнадеживать и не обещал переехать с ней из гостиницы в квартиру, потому что для него самого это было неудобно. Его, мало замечавшего обстановку, устраивал их номер с желтоватыми жалкими обоями, со старой прогнувшейся мебелью, с унылым видом из окна и с гнилыми запахами с улицы. В этой гостинице селились многие его коллеги. Почти все знакомые тоже были с женами; именно их женщины днем оккупировали столовую и большую гостиную на втором этаже, читали дамские журналы и делали друг другу маникюр, обсуждая красивых актеров-мужчин. Так как Катя плохо говорила по-английски, общение у нее с ними не задалось. Не страдая, в отличие от нее, без бытового общения, Митя, однако, был способен посочувствовать ей. Нынче он чаще служил ей переводчиком.

Бывало, он брал ее с собой, работать, и в такие дни представлял ее не как свою жену и называл по прежней фамилии. В другие дни она выполняла обязанности его секретаря – он научил ее прилично печатать на машинке, давал для редакции статьи и поручал готовить материалы по его заметкам для радиоэфиров. Старательная по натуре, она хорошо со всем справлялась; ей хотелось быть полезной, быть по-прежнему его коллегой, а не просто женой в неуютной и мрачной обстановке.

Она интересовала многих – человек из неприятельской

страны, с опытом общения с врагом. Журналисты живо спрашивали о партийной жизни и отношении к ней обывателей. Меньше всего желала она о таком распространяться, но Митя уговаривал ее и объяснял, как важны ее «свидетельские показания».

– Если бы вы знали, как я устала это повторять по много раз, – сказала она как-то, еле сдерживая раздражение. – Мне не хочется возвращаться в прошлое, а вы пытаетесь меня заставить. Что я интересного могу сказать, чего не можешь рассказать им ты?

– Твои свидетельства важнее моих, – просто сказал Митя. – Ты жила рядом с ними, ты училась с ними, была с ними на равных. Черт возьми, ты выросла рядом с ними! А я так, заезжал, осматривался! Мне нравится подробно рассказывать о В.

– И нужно обязательно рассказывать о наших приключениях в аэропорту, – отвечала она раздосадовано. – И, конечно же, в моем присутствии, зная, что мне это вдвойне неприятно! Я бы предпочла не слышать твоих пересказов, но тебе... неужели все равно?

Там, до их отъезда, с ними работали из политической полиции, проверяли их личные вещи. Если то были местные, они были добродушными, деньги в обмен на вежливость принимали с благодарностью и улыбались, довольные работой и сравнительно легкими обязанностями. Если же приходили из партийных, то были равнодушнее, задавали неудоб-

ные вопросы и заставляли говорить под угрозой ареста.

В аэропорту их встретили. В зале ожидания Митю отделили от супруги и повели для досмотра багажа; в маленькой комнате обыскали его карманы и бумажник, после чего за чем-то заперли минут на десять. Когда ему разрешили выйти и отвели к жене, он увидел ее еле сдерживающей слезы и в помятом, неправильно застегнутом костюме и со спущенными чулками.

– Они меня раздели! – воскликнула Катя. – Они меня заставили! Скажи же им!

– Тихо, не кричи!.. Что я им скажу?

– Что они не имели права! Я ни разу в жизни не...

– Если я им скажу, – тихо ответил он, – они не выпустят нас. Самолет задержался из-за нас. Ты хочешь, чтобы нас тут бросили?

Она кивала понимающе, но обижалась, что он не заступился за нее из страха быть наказанным.

В самолете, со злой дрожью, она опять сказала:

– Они меня раздели, понимаешь? Совсем, полностью раздели! Так они меня еще и трогали! Меня сейчас стошнит! Ты мог бы им сказать?..

– Нет, не мог бы. Они в лучшем положении, ты не знаешь? Они бы нас арестовали!

– А если бы меня изнасиловали – что, тоже ничего бы не сказал? – спросила она, потеряв терпение, но это было столь жестоко с ее стороны, что ей самой стало стыдно.

И то, что нынче он рассказывал об этом, как о факте а-ля «посмотрите, какой там ужас», – ее это злило, раздражало так, что хотелось закричать. А Митя не понимал ее неприятного чувства и пожимал плечами.

В августе снова заговорили о войне.

Началось все с известной газеты, опубликовавшей статью с содержанием: «...Правительству Ч. стоит задуматься над тем, чтобы либо принять, либо отклонить в определенных кругах получивший распространение проект превращения Ч. в однородное государство путем отделения от нее Области, в которой проживает, стоит напомнить, чуждое Ч. национальное меньшинство, желающее слиться с нацией, к которой оно принадлежит по расовому признаку. Стоит заметить, что преимущества Ч. в данном случае могут оказаться серьезнее, нежели недостатки...». Обсуждалась статья так, будто за ней стоял не конкретный автор, а европейское правительство.

– Ну и что? – сказала Катя, услышав рассказ об этом от мужа.

– Ну, как тебе сказать... – о ней не думая, ответил Митя. Она с тоской на него смотрела.

– Они не станут воевать из-за какой-то Области, – небрежно заметила она потом. – Их армия, знаешь, не готова. Это все говорят. Это Мария говорит...

– А ты знаешь, что она пишет тебе правду?

– Конечно. Это же Мария!

– Кто ей сказал? Ее любовник?

– Ну и что? – ответила она.

– Да ничего. Может, они нас обманывают. Дурят! И у них не десять дивизий на границе, а целых пятьдесят уже.

– Такого не бывает! Где они возьмут их? Из воздуха, что ли? Они пока колдовать не научились, я надеюсь.

– Но ты считаешь, что я прав...

– Ничего я не считаю, – ответила она нетерпеливо. – Неважно, что я думаю. Мы все, как полоумные, повторяем: «Война, война, она начинается, война, война, о боже мой!». А лучше не паниковать. Тебе что, легче станет от того, что ты у себя все стены испишешь этим словом?

Но в сентябре он ей принес противогаз и попросил надеть.

– Зачем? – поинтересовалась Катя.

– Хочу узнать, красива ли ты в нем. Убери-ка волосы!

От смеха она едва не задохнулась. Впервые в жизни увидев измененное свое «лицо» в ближайшем зеркале, она изобразила истерику с причитаниями и быстрыми слезами юмора. Митя на нее глядел, как на полусумасшедшую, не понимая просто, как можно насмеяться над этой ситуацией.

– В нем нужно читать стихи на утреннике, – сказала Катя. – Я его себе оставлю, ты не против?

– Носи его с собой, хорошо? Ты часто выходишь?

– Митя, ты правда считаешь, что меня можно заставить надеть противогаз на улице? – веселясь, спросила она.

– Это не смешно! Как это... глупо! Глупо, Катишь! Ты...

Чтобы вызвать в ней раскаяние, он ушел в другую комнату и сел за столик с шахматами. Зная, что он злится, Катя все равно пришла, заняла кресло напротив и, взявшись переставлять фигуры, заметила:

– Ты первым стал смеяться, а виновата я?..

– Хорошо, Катишь, – устало сказал Митя.

– Я знаю, тебе страшно, но я в этом не виновата.

– Да... прости, тяжелый... ох, непросто все, и я... прости,

Катишь.

– Хочешь чаю? – с сожалением спросила Катя.

– Горячий? Нет...

– У меня есть остывший, целая чашка. Я сейчас, я принесу...

Возвратившись с чаем, она уверенно сказала:

– Как скажешь, Митя. Я буду носить противогаз с собой... я не безответственная! Напрасно я хотела тебя развеселить.

– Ты... успокоишь меня этим.

– Что стряслось-то?

Он рассказал, как был на радио, спрашивал разрешение передавать, но его прогнали, аргументировав тем, что нынче выступает президент. Сразу он решил не уходить, в столовой задержался с коллегами из В. и слушал с ними обращение: «...Я уверен, что не понадобится ничего, кроме моральной силы, доброй воли и взаимного доверия. Если мы сможем мирным путем решить наши национальные пробле-

мы, наша страна обязательно станет одной из самых замечательных, наилучшим образом управляемых, одной из самых богатых и справедливых стран мира. Я говорю это вам не из страха перед будущим – нет, я никогда в жизни ничего не боялся. Я был всегда оптимистом, и мой оптимизм сегодня силен как никогда. Давайте сохранять спокойствие, давайте будем оптимистами и не забудем, что вера и добрая воля способны сдвигать горы...». Митя столкнулся с ним в фойе – слабым, утомленным человеком; не узнав его, хотя встречал в Доме радиовещания, президент толкнул его плечом и, не извинившись, побежал за своим секретарем. Вслед ему Митя закричал, что речь у него вышла совершенно беспомощная.

– Рита мне сказала, что в парке копают траншеи, – тихо сказала Катя.

– В нашем?

– Да. И в центре... Это должно иметь какое-то объяснение.

– Я не знаю, что тебе сказать, Катишь.

Поиграв в молчании с полчаса, Митя у нее спросил:

– Ты сможешь поработать со мной 12-го? Нам нужен переводчик.

– Конечно. Что от меня требуется?

– Как обычно. У вас партийный съезд по расписанию, а у нас все с посредственными знаниями и как я, необразованные. Сможешь нам помочь?

Как ни покорило ее это «у вас», им естественно произнесенное, она из чувства долга согласилась.

– Сколько я просила не болтать... – обронила Катя уже позже, собираясь спать.

– Но что? Как можно оскорбляться из-за правды?..

12-го сентября с самого утра лил дождь, что помешало митингам. С Митей Катя вышла из дома ближе к вечеру – их обещали на машине довезти его друзья. Обещанную речь они прослушали на незнакомой квартире, за случайным ужином, без алкоголя, даже без воды – отчего-то в тот день парализовало водоснабжение. Хозяин бил радиоприемник сверху, чтобы тот не отплевывался на них помехами. Катя наговаривала по-русски Мите, а тот за нею повторял для остальных.

– Да перестаньте! – возмутилась она громко. – Из-за вас он больше барахлит!

Добавить было нечего: свободу угнетенному народу; право представителям его на самоопределение; национальное меньшинство должно возвратиться к своим родным, матерям и братьям. Это было очень скучно.

В паузе, посматривая на показавшие семь стрелки, она сказала:

– Я не хочу никого оправдывать, нет, я их не люблю и...

– И что? – откликнулся Митя.

– Я вовсе их не оправдываю! – воскликнула она. – Но... я знаю, что их соотечественников... ну... этих людей из Обла-

сти... их унижают, им... некоторым... запрещают говорить на их языке, их детей переучивают, насильно. Я не знаю, так ли это, но... многие говорят об этом. Разве они не имеют права быть недовольными? Конечно, эти люди, если они в Ч. подвергаются унижениям из-за своей национальности... они хотят воссоединиться со своей нацией. Можем ли мы их осуждать? Я не знаю...

– Что она говорит? – спросили у Мити.

Он, недовольный, перевел ее слова.

– Я не хочу никого оправдывать, – повторила Катя. – Но разве они действительно не имеют права на самоопределение? Что, они не могут требовать к себе человеческого отношения? Конечно, если все так, если им плохо... Воевать из-за этого глупо, невозможно!

– Она их понимает, ясно? – громко сказал кто-то, кому Митя переводил ее слова. – Она – ИХ, не понятно? У нее нет акцента, она выросла с этими психами, она их защищает, как себя! Если она с «Единой Империей», то что она делает тут? Их шпионка, что ли? Ехала бы к ним, если сильно их любит!

Понимавший, что он говорит, Митя покраснел за нее. Ему сделалось стыдно за нее – он сказал это потом, когда они оставили этих уставших людей, вышли от них и пошли по улице в сторону своей гостиницы.

Им обоим было холодно из-за дождя, что с самого утра не прекращался, стекал с зонта на тротуар, попадал на размокшие туфли, на плащи и тулья шляп. Темнота была страшна –

нынче боялись самолетов. Слушавшая радио с шести часов столица застыла пустынными, необузданными улицами.

Из ближайшего телефонного автомата Митя захотел позвонить в К. и Р. и узнать обстановку в них; и, пока оператор связывал его, он сказал нырнувшей в тесную кабинку Кате:

– Знаешь, Катишь, при всей моей любви к тебе... сегодня мне было невыносимо стыдно за тебя. Я не думал, что мне придется так за тебя краснеть, как это было час назад.

Отстранив мокрый зонт от своего плеча, она ответила:

– Ой, ну подумаешь! Я не просила переводить мои слова! Кто тебя просил? Сам и начал первым!

– Дело не в том, что я перевел им это. Я не понимаю, как ты могла сказать об этом! Ты оправдала их, ты понимаешь?

– Ничего я не оправдывала, нет! Я сказала... я сказала то, что... что я почувствовала. Неужели мы начнем опять воевать... из-за какого-то клочка земли? Из-за земли, на которой 95% жителей хотят попасть в партию и империю и поэтому хотят выйти из состава Ч.? Вы собираетесь воевать – из-за них?

– В следующий раз советую подумать прежде, чем что-то говорить. Повтори это еще, когда на нас посыплется! Да, на нас могут сбросить бомбы, если ты не в курсе! Не смотри на дождь! Объявят войну – и минут через двадцать их летчики возникнут у тебя над головой! Скажи еще такое! И... да, да! – заговорил он в трубку, отворачиваясь.

Через пять минут, без трубки, он ей сообщил:

– Там беспорядки, шесть тысяч вышло в Области. Требу-  
ют референдум по «национальному признаку». До насилия,  
к счастью, не дошло. Довольна? Ты, как я смотрю, с ними  
толком не познакомилась! Несчастные, выбора им не дают!

– А почему ты говоришь со мной подобным тоном? –  
разозлилась она. – Мне уже и мнение высказать нельзя? Что,  
я не имею права на собственное мнение? Я должна полно-  
стью повторять твои мысли, чтобы тебе за меня стыдно не  
стало? Так или не так? Да?..

Но он, усталый, отмолчался. В злости ей хотелось закри-  
чать, замахнуться на него, но что-то ее остановило – быть  
может, уважение к нему. Помни, Катя, что он не может, он  
ни за что не поймет тебя. Он говорит, что твоя страна – ок-  
купант. Что твоя страна развяжет войну. Помни это – и про-  
сти ему это.

В следующую ночь он взял ее с собой в «Амбассадор».

Минувшим утром в пяти районах объявили военное по-  
ложение – там после рассвета начались бои: сторонники ре-  
ферендума (оккупации партией) выступили против местных  
властей, и за это их обстреляла армия. В седьмом часу ве-  
чера правительство получило от Него ультиматум со сроком  
до полуночи с требованием отменить военное положение и  
вывести из «районов боевых действий» полицию и армию.  
Еще до истечения срока ультиматум был отвергнут.

В «Амбассадоре» с семи часов ожидали новостей – всё

журналисты и дипломаты, не сбивались, а рассеивались по углам, и молча пили и читали старые газеты. От напряжения болела голова; некто вышел за лекарством, но так и не вернулся. Казалось, это уже была война. За что же мы собираемся воевать? Зачем кому-то понадобилась эта несчастная, чужая, бесполезная территория?

В девять часов кто-то выскочил через раскрученные двери, крича дальнему знакомому:

– Да я тут сидеть не намерен! Хотите подышать – воля ваша! Не слышали, что они бомбить умеют?

Чуть разминувшись с ним, Митя убежал к очереди – к телефону; вернулся он полчаса спустя со вспотевшим лицом и взъерошенными волосами.

– Все хорошо? – еле слышно спросил он.

– Конечно. Замечательно.

– Нужно бежать! Вы что, не поняли?.. – воскликнули слева. – Самолеты прилетят к полуночи!

– Нужно принять ультиматум! Они нас разбомбят, сбросят свои бомбы!

– Вы хотите, чтобы мы, вся цивилизованная Европа пошла... чтобы мы согласились на их условия?

– Вы хотите воевать?

– Нет, это они хотят воевать!

– Нет, вы тоже хотите воевать! Отдайте Ему этот треклятый клочок земли! Это лучше, чем миллионы убитых!

– Вы хотите?.. А если они завтра потребуют себе Австра-

лию? Или Аляску?

– Не преувеличивайте.

– Послушайте, возможно, он прав. Послушайте! Так ли важно, чей останется эта Область? Отчасти у «Единой Империи» есть основания требовать эту Область – там проживают, как они говорят, «этнические соотечественники».

– Воевать за этнических кого-то – безумие! Я не приемлю, никто, никто из разумных людей не приемлет имперских амбиций!

– Поймите, но почему я, мои близкие, ваши близкие, вся Европа – почему мы должны воевать с Ним из-за какой-то Области, которая к нам отношения не имеет? Поймите! Потому что Европа должна выступить против войны единым фронтом? Но проблемы Ч. – это не мои проблемы. Почему нас втягивают в новый конфликт?

– Хороший вопрос: почему мы должны умирать за Ч. и Область?

– Потому что мы, цивилизованные европейцы, договорились помогать друг другу и не допустить новой войны!

– Именно! Мы не должны допустить...

– Значит, нужно отдать Область Ему, чтобы не было войны? Но Ч., которой эта Область принадлежит, не согласна!

– Так вы хотите воевать за Ч. и Область?

– Кто это? – спросила Катя.

Она кивнула на суетливую группу, что спустилась на лифте и теперь спрашивала что-то у нетерпеливого портье.

– А, местные евреи, – ответил Митя. – Хотят уехать, им отказывают – билетов нет. Впрочем, это невозможно.

– Почему?

– На границе все в огне. Армия пытается подавить восстание в Области.

– Что, масштабные бои? Тебе сказали по телефону? Что началась война?

– Лучше не шуметь, – Митя растянулся в парчовом кресле, достал шляпу и опустил ее на глаза, – чего они раскричались? Не услышим самолеты.

– Да плевать мне на самолеты! – воскликнула Катя. – Что тебе сказали по телефону?

– Самолеты – это очень важно, Катишь.

– Говорю тебе, мне наплевать, услышу я их или нет! Если нас начнут бомбить, мне будет все равно! Тут даже... негде спрятаться! – Она покусывала щеку. – Митя, а может быть... что на нас распылят газ сверху? Я читала в книжке Ремарка, как это бывает. Газ проникает в тебя, а потом ты несколько суток отхаркиваешь свои легкие, по кусочкам. Он сжигает тебя изнутри, ты представляешь?

– Не нужно читать Ремарка, – пробубнил Митя. – Лучше надень противогаз. Хотя я сомневаюсь, что он тебе поможет.

– О-о-о... и мы все наглотаемся этой мерзости и станем отхаркивать свои легкие, и...

– Спасибо, Катишь, – перебил ее Митя. – Мне стало легче, намного легче! Замолчи, пожалуйста!.. А вам что?

Человек, явно не журналист, а из постояльцев, улыбнулся ему вежливо и ответил:

– Я не хотел вам мешать. Узнаю нашу эмиграцию. Вы журналисты?

– А вы шпион! – оборвала его со злостью Катя. – Стоите, уши греете!

– Да это она шпионка! – с нервным смехом крикнул кто-то слева. – Патриотка и любительница партии! Она слушает, что мы говорим, и по телефону им доложит наши настроения!

– Если я и патриотка, – ответила она, – то демократической страны. Кто вы такой, чтобы меня судить?

– Поколотить ее, шпионку, надо, чтобы знала! Эта демократка оправдывает преступления: «Это все во имя объединения великой нации!».

– Ну, не связывайся с ними, – тихо сказал Митя и взял ее за руку.

– А почему я должна перед ними оправдываться?

– Ты ничего не должна, Катишь. Зачем ты грубишь всем?.. Как я устал!

Потом он спросил:

– Можешь пересесть поближе ко мне?

Она уселась на ковер у кресла, близ его вытянутых ног.

– О чем ты думаешь? – спросил Митя очень тихо.

– О Марии, – честно сказала она. – Вот как она там? Спокойно ей? Я давно ей не писала.

– Ты хочешь ей написать? Сейчас? К ним?

– Она все же моя сестра, – ответила Катя, – она растила меня с тетей Жаннетт. Вот вы, идейные, вы легко отказываетесь от своих, вы выше нас, сильнее. А как быть нам?

– Я понимаю – вы, женщины, созданы для любви. Напрасно я начал, извини.

– А что на уме у тебя? – обижаясь, спросила она.

– Так... мысль, что часто мы совершаем хорошие поступки из любви к себе, а не из сочувствия к ближним.

– Лучше совершить хороший поступок, имея на то любые причины, чем совершить плохой, – сказала Катя. – Неужели тебя это беспокоит?

– Нет, я... так. Тяжело собрать мысли.

– Что произошло с той девушкой, с которой ты расстался в Минге?

– Кто тебе сказал? – Митя поднял шляпу с глаз.

– Ты. Сам. Пока мы работали в В. Не помнишь?

– Нет, не помню... А, у нас был роман. Я работал в Минге в то время. Потом она вступила в партию. Чтобы остаться на работе. Она работала в конструкторском бюро, через нее я познакомился с несколькими ребятами, из авиаконструкторов. Влюбленные в свое дело, в мечту, в эти полеты. На работе днюют и ночуют, дай им волю – так часами будут рассказывать об авиации и тебя своей убежденностью заразят. Они были хорошими ребятами. Интересно, что теперь они думают о своих самолетах?

– Что с ней случилось?

– Она стала партийной, из милой и талантливой девчонки превратилась в резкую, категоричную, жестокую бабу с партийным значком на пиджаке. Мы раньше любили друг друга. Потом она вспомнила, что я иностранец, а я обнаружил, что больше не уважаю ее. Любовь разрушили иностранный паспорт и партийный значок – вот так. Я уехал, а она вышла замуж.

– Ты скучаешь по ней?

Он опустил шляпу обратно – на глаза.

– Нет, Катишь, я по ней не скучаю.

– Вранье.

– Боже мой, как женщины любят драматизировать!

Тише, как не ей, а самому себе он сказал:

– Не слушай, что говорят о тебе. Ты – не они. Ты не с ними, ты со мной. И ты хорошая! Ты хорошая, ласковая, и ты с нами, ты же с нами! С ними, кроме воспоминаний, тебя ничто не связывает. То – прошлое. Пожалуйста, не оправдывай их.

– Я... я люблю человека из партии.

Он тяжело и шумно вздохнул.

– Понятно.

– Ты меня осуждаешь?

– Нет.

Они помолчали. Краем уха она слушала, не пробьют ли полночь часы – но те молчали, и время, казалось, тянулось

бесконечно. Митя внезапно встал.

– Мне нужно позвонить, – уныло сказал он, – а тебе бы прилечь, ты болезненно выглядишь. Я могу спросить комнату...

– Комнату? О, нет! Я же проспю самое интересное!

– Если начнется война, я разбуджу тебя. Честное слово. А завтра мы поедем в Область работать.

И минут пять спустя Митя вернулся с ключом и всунул его ей в ладонь, и поцеловал ее в лоб и в зажмуренные глаза. И нестерпимо ей захотелось улечься спать. Часы странно молчали. Время остановилось. Какая тихая ранняя осенняя ночь! Моя кровь от земли, и мне повезло всему миру назло.

Ближе к утру он разбудил ее; с обессиленной улыбкой присел на постель, убрал с ее лица волосы и ответил на сонный вопрос:

– Ничего не случилось.

– Ничего?... – Катя перекатилась на спину. – Ясно... А чего ты меня тогда разбудил? Который вообще час?

– Около четырех.

– Ты будешь ложиться? Ты очень устал, я же вижу.

– Не сейчас, через час нужно ехать, – улыбаясь, ответил Митя. – У нас работа в Области.

– А... можно я посплю полчаса? Я не хочу завтракать.

Он ласково гладил ее плечо. Катя закрыла глаза и перекатилась обратно на бок, и притворилась, что засыпает. Легче

было заснуть или изобразить сон, чем объясняться с мужем. Но Митя не убрал руку, и она, не выдержав, спросила его:

– Все очень плохо?

– А, ты об этом. – Он не убрал руку. – Ночью были бои в Области, нам сказали, что артиллерия била.

– Не верится, что такое может быть с нами, сейчас. Армия смогла... это...

– Временно.

– Вот черт. Прости.

Словно замерзая, Катя набросила одеяло на плечи и голову. Мите пришлось отпустить ее плечо. Она лежала с закрытыми глазами, пытаясь услышать по его дыханию, понимает ли он ее или обижается.

– Катишь, все хорошо?

– Все хорошо.

– Может, ты плохо себя чувствуешь?

Она закусила губу, чтобы не выругаться. Именно теперь странная настойчивость и любопытство Мити бесили ее сильнее любых армий и заграничных врагов.

– Я не могу... сегодня, – прошептала она, не убирая с лица одеяла. От прилившей неловкости она покраснела.

– Да, конечно... ничего страшного, Катишь. Все равно скоро выезжать. Но ты уверена, что чувствуешь себя хорошо?

Столь естественное сочувствие, и после ее стыда, взбесило ее еще сильнее. Катя в злости отбросила одеяло и села.

– Я отлично себя чувствую. Поверь мне. Но я не могу делать... это... сегодня. Я... боюсь забеременеть.

Уже вставший с постели и взявший пиджак Митя возвратился к ней и быстро заморгал в ее раздраженное выражение.

– А, Катишь, вот, в чем дело... Ты не хочешь забеременеть?

– Нет, не хочу, – излишне резко повторила она.

– Вот как... Конечно, я понимаю. Я понимаю. Ты имеешь право... беспокоиться об этом. Но, скажи пожалуйста, в чем причина?

Она закрыла глаза и, как в разговоре с глупым, ответила:

– Митя, сам посмотри... прошлая ночь, эти новости, нынешняя поездка – ты считаешь, это совместимо с... ребенком?

– Понимаю, – с некоторым облегчением Митя перевел дух, – твои страхи естественны. Хорошо, мы позаботимся о том, вернее, я позабочусь о том, чтобы ты не забеременела.

– Спасибо...

Обняв ее плечи, он поцеловал ее закрытые глаза и повторил, что беспокоится о ее благополучии и позаботится....

– Но, если ты забеременеешь, ничего... страшного не случится, – с внезапной после этого нервозностью сказал Митя. – Детей рожают и во время войны. Мы с тобой, например, родились во время прошлой войны. Уверен, мы справимся, если что.

– Я не хочу рожать, Митя, – не вытерпев, воскликнула

она. – Не хочу! Понимаешь? Я не готова к беременности!

– Тише! Не бойся. Я буду очень осторожен, обещаю. Потом мы поговорим об этом, согласна?

Из шкафа Митя принес ей одежду, а из гостиной – остывший кофе.

После, в вестибюле отеля, она стеснялась своего мягкого серого костюма – но заметила, что остальные похожи на нее, тоже плохо одеты, бледны, с воспаленными глазами и сухими губами. На лицах их было одинаково обидное выражение, будто и мысли у всех были одни: их обманули, потратили их время. И Катя поняла, что чувствует что-то похожее: что их запугали и словно использовали.

– Да, такое у меня странное чувство, – сказала она шепотом Мите. – Меня позвали на великое историческое событие, а оно так и не произошло. Я понимаю, это плохо. Я должна радоваться, а я обижаюсь.

У Мити разболелась голова и оттого он не отвечал. В машине он признался жене, что сильно устал и хочет побыть в тишине.

– От усталости давит в висках...

– И ты мерзнешь, – заметила Катя. – Я говорила вчера, что нужно было надеть пальто вместо этого легкого плаща. Говорила? А ты не послушался из обычного упрямства!

– О боже, можешь ты помолчать? А, любимая? Из любви ко мне, пожалуйста!

– Что там, в Области? – спросила она у водителя.

С тяжелым вздохом Митя запахнул тренчкот, ближе придвинулся к окну и прислонился лбом к стеклу.

– Я слышал, пани, мятежники отступили в Ш. Огонь остановили.

– Армия больше не обстреливает их? Почему?

– По Ш. нельзя стрелять из артиллерии, он на границе. Снаряды могут задеть наших соседей.

Она уставилась в окно. Деревья у дороги все стояли черные, без зеленого и желтого. Машины часто останавливались – армейские спрашивали документы; за воинскими пунктами можно было рассмотреть невысокие и бедные жилища, в красноватой глине, с покосившимися крышами, уродливыми и темными. На дорогу изредка выбегали дети, смуглые, неряшливо одетые, и выпрашивали у приезжих хлеб.

– Эй, тетя, дай еды! – закричал Кате тот мальчишка, что был с белой повязкой на левом глазу. – Слышь, тетя, ну дай, пожалуйста! Мы есть хотим! Тетя, слышишь? – И он кулачком забарабанил по стеклу.

– Чего он хочет? – спрашивала она рассеянно. – Взять его с собой?.. Безобразие какое-то!

Поняв, что от нее хотят, она не без колебания вытащила из сумки завернутый в бумагу хлеб с сырным ломтем и, опустив стекло, протянула его ребенку. Мальчик быстро выхватил у нее хлеб и сыр; на него с криками бросились другие дети и стали отнимать, а мальчишка с повязкой бежал от них, на бегу заглатывая бутерброд огромными кусками, кажется, и

не прожевывая. Остальные дети с гиканьем неслись за ним, угрожая побить за то, что утаил съестное.

– Тут что, такое нищенство? – пораженно сказала на это Катя. – Если так, понятно, чего у них случился бунт!

Митя нервно рассмеялся.

– Смешно ему! – ответила она. – Ну, смейся! Безобразие!

Ей нужно было говорить, хоть бы и полную чушь, хоть бы и бессодержательные фразы, лишь бы не сидеть в молчании, которое угнетало ее, усиливая впечатление от увиденного.

Быть может, с закрытыми глазами она заснула – уж больно неожиданным ей показался голос Мити:

– Не выходи пока лучше, посиди тут. Я скажу тебе, когда можно будет выйти.

– Что такое?..

Но Митя уже выскочил из автомобиля. Растирая глаза, она потянулась, посмотрела в суровый затылок их водителя – и на мгновение ей стало так спокойно и хорошо, что и страх неизвестности ушел. Без разрешения она вышла из машины. От утреннего умиротворения, омытого дождями, ей сделалось и зябко, и любопытно. Приехавшие в других машинах стояли поодаль, с плачущими женщинами, но Мити близ них не было. Наверное, верно решила она, он ушел искать кого-то по улицам.

В наставшей сизости ей было неуместно хорошо. Никем не замеченная, она прошла между машин, постояла, прислушиваясь к иностранным словам, а затем пошла дальше, бес-

цельно, по прямой этой, незнакомой улице. Безусловно, повторяла она в голове, она ищет Митю (зачем он привез ее? чтобы бросить в машине?), но осмотреться ей хотелось больше. Жертвы недавнего обстрела – здания слабо светились за сизой гладью утренних сумерек. От песка в ветре заслезнились глаза и запершило в горле.

Он стоял под серым небом, за каменной стеной. Близ него была женщина-фотограф, у которой он просил съемку – нужно было заснять обгоревшие ветки на фоне закопченного окна. Катя слышала их разговор и полезла к ним по острым камням. Митя озабоченно оглянулся и воскликнул:

– Ну и что ты вышла? Я просил тебя оставаться в машине. Почему ты никогда не слушаешься?

Со спокойным безразличием Катя пожала плечами. Фотограф ответила что-то, и Митя повторил за ней что-то.

– Не хочешь в машину? – наклонившись к Кате, спросил он мягче и тише. – Ну, не хочешь! Что это я? Не пугайся! Действительно, что это я? Пошли с нами! Мало ли, может, твои знания... Ну, все хорошо. – Ему показалось, что ей страшно.

– Мне хорошо. Но я ни разу в жизни... нет, на фотографии.

– О чем ты?

– О фотографии, – тихо повторила она. – Я видела разрушенный город на фотографии. В Испании, на гражданской войне. Это... вот это – это тоже гражданская война?

– Нет, Катишь.

– Но если армия обстреливает свои же кварталы...

– Они сражались с фашистами, Катишь, – перебил ее Митя.

Фотограф не понимала их речи, но снисходительно улыбалась; шла она решительно, ускорила, но Кате казалось, что она их слушает и смеется. От этого ей стало противно. Они прошли по развалинам, но в их обезличенности не было ничего примечательного. И все же фотограф несколько раз открывала объектив и снимала: обнаженные черные кирпичи, мерзкие кровавые полосы на земле, обгоревший ствол и сломанную винтовку. В сильной злости Катя пнула эту винтовку; та отскочила к стене и разбила осколок от окна. Чем дальше они шли, тем сильнее ей хотелось кричать от злости: на тупость воевавших, на хрупкость домов и на собственный неправильный интерес к чужому несчастью. Больно ей было не от мрачной картины, а от непонимания, за что стреляют, разрушают, убивают. Как ей могло быть спокойно в сизой сумрачной свежести?

– Я хочу вернуться, – тихо сказала она Мите.

У машин их окликнули полицейские: они просили вывезти из Области раненных местных детей. Среди детей этих, осиротевших или потерявших родителей в суматохе последних дней, были обе национальности; за то же они успели передрались между собой.

– Национальный вопрос, – сказал полицейский на Катин

вопрос, – он очень сложный. Пока не пришли эти, видит бог, было спокойно. Мы с женой разных наций, жена ездила учиться в Мингу. Не было у нас вражды, пока не явились эти. Они поделили нас и сказали, что моя жена и ее родственники должны быть с фашистами, потому что фашизм – это национальный вопрос, и они должны проявить национальную, понимаете, сознательность. До детей это безобразие дошло. Год назад учились вместе, дружили, а теперь бросаются друг на друга с воплями: «Фашист! – Нет, это ты фашист!».

– Мне... очень жаль ваш город, – сказала она. – Ваша жена, она...

– Ее отец – да. Он бежал. Но они не больно-то общались. Жена за Вензеля Якша. Знаете, кто это?

– Конечно... это хорошо.

«Важнее всего спокойствие в регионе. Давайте не скатываться к огульным обвинениям. Не бывает так, что одни люди – бесы, а другие – ангелы. Неважно, какой национальности ваша мать, давайте не забывать, что все мы люди. Давайте не позволим искусственной ненависти затопить наш край». Все бесполезно. Любые слова – бесполезны.

Она так злилась, что согласилась взять в свою машину двойняшек лет восьми – девочку с порезанной ногой и мальчика с ушибами и ссадинами на запястьях и лице. Дети были «партийной национальности», отец их отступил в Ш. с другими мятежниками, а мать потерялась. Девочка громко жаловалась, что их побили другие дети, «правильной нации»,

и что их будут притеснять до тех пор, пока не вернется папа с национально-освободительной силой. Оттого Митя схватился за голову, а потом достал из внутреннего кармана две карамельки и разделил между детьми. Он оставил Катю на заднем сидении с двойняшками, а сам сел близ водителя.

– Что же нам с ними делать? – спросила Катя.

– Отвезем их в приют, – Митя растирал больные виски, – ты должна их расспросить: их имена, место жительства, родители.

– Да... разумеется.

Мальчик безучастно смотрел в окно, карамельку он не съел. Девочка сосала карамель и что-то без слов напевала.

– Все хорошо? – спросил Митя.

Она покачала головой. Она не понимала собственных чувств, она спорила не с собой – с воображением, в котором она могла вызвать любого, и *его* тоже. За окном мелькали фотографии. Девочка сосала карамель. Митя спрашивал, все ли у нее хорошо. Кете, ты считаешь, что мне это нравится? Нравится война? Убийства? Я ничего не знаю о тебе! Нет, ты знаешь меня, как никто, Кете. Нам нельзя воевать. Зачем все международные органы, если они не могут остановить бойню? Девочка облизывала нежный привкус. Шесть часов нужно, чтобы уничтожить столицу и убить миллион человек. На месте П. – черное пятно. Кете, и на месте Минги – черное пятно. Пожалуйста, останови это. Я не могу. Меня никто не спросил. Почему я должна воевать с тобой? Я люблю тебя,

Альберт. Мы не враги. Почему ты ушла, Кете? ЕСЛИ БЫ ТЫ НЕ УШЛА!

– Ты можешь поехать ко мне домой, – сказал Митя, – там безопасно. Хорошо, Катишь?

– Нет, – ответила она, – никакого твоего дома. Ни за что. Я остаюсь.

Как написать Марии? Она ничего не знает. Они ничего не знали.

**1940**

Она не спала, слушала, как скрипят в ее воображении входные двери. Они визгливо открываются, стучат ручками о стены, хрипло смыкаются... Чушь, не может быть, чтобы Аппель был прав!

Сбросив одеяло, Мария села в постели и зажгла лампу. Мужа не было – она об этом знала, но в светлой спальне его отсутствие обеспокоило ее. Она прислушалась – не открывались комнаты, не стучали шаги, не свистел сквозняк... неестественная, очень страшная тишина. Так быть не должно! Неужели об этом говорила им Софи? Об этой – неизбежности? Чушь, Аппель нарушил правило (или нет?), он вмешался, и она может, она может, она может изменить все.

Она помнила – ключ от кабинета лежит в левом кармане кителя, третья (коричневая) вешалка в шкафу. Она возьмет его и тихо, очень тихо, она не желает быть пойманной, она

тихо откроет кабинет, а после – стол. Нет, стол тоже заперт, а ключ от него Дитер носит с собой. Но, быть может, теперь он оставил ключ на столе, и она, быть может, откроет верхний ящик и...

Ключ был в кителе – Мария не ошиблась. С ключом она извлекла свой маленький портрет и служебную записку, в которой поняла элементарное: «...Капитан Г., отправьте капитану Л. пакет №771». Пакет? Какой пакет? Что значат эти 7, и 7, и 1? Нет, чушь, они ничего не значат! Не отвлекаться, взять ключ и погасить свет. Она вышла из темной спальни в темный коридор, темные двери напротив, справа и слева были закрыты, ее движение в темноте – и больше ничего.

Она повернула налево – и на шаг отступила: библиотека была приоткрыта, на полу вытянулась тонкая белая линия. Там, за светлой полосой, стояла тишина – должно быть, кто-то из гостей читал, а после забыл выключить люстру. Неслышно Мария переступила через свет и прижалась к черной стене. Зайти в библиотеку ей было страшно. Держась за стену, она дошла до кабинета и с облегчением открыла его. Пакет №771 – что же это такое, что капитан Г. должен был отправить капитану Л.?

Лампа щелкнула и потухла, оставив ее в сизой темноте. Но она достаточно знает кабинет, и она не слепа, легко найти стол с бумагами – и она поискала поверх аккуратно уложенных счетов и чеков нечто, похожее на ключ от ящика. О ногти ее слегка стукнуло что-то похожее – значит, Дитер

не забрал ключ! Близ пресс-папье она нащупала зажигалку и посветила себе; слабый скрип – и ответ попал на слишком уж, неправильно аккуратные бумаги (черт бы побрал ее мужа, у которого в документах отвратительная стерильность!). С разочарованием Мария присела в кресло: она призналась себе, что хотела получить что-то понятное ей, что она могла бы прочесть, что объяснило бы, что ей делать дальше – настолько бы то оказалось ужасно. Но в руках ее были странные листы, на первом четыре латинские буквы: «TGWW». И второй ничем не лучше: «47534 97427 46843 64567 33668 24678 24678 35799 42578 24678 35378 75478...». Ничего не понимая, Мария полезла вглубь ящика, и за старыми счетами нашла похожие бумажки с пятизначными цифрами. Чушь какая, плевать, что она не может перевести эту галиматью, но те, кому нечего скрывать, не станут составлять шифры! Она поискала глазами, нет ли поблизости чего-то, в чем можно сжечь эти бумаги.

– Зачем тебе мои документы?

В ужасе она застыла. Муж вошел, пока она рылась в ящике, она была столь увлечена и зла, что не услышала его появления.

– Пожалуйста, положи на стол то, что взяла.

Мария сглотнула и опустила бумаги на стол.

– Спасибо.

Она чувствовала, что краснеет. Хорошо, что было темно и Дитер не мог заметить, насколько же ей неловко. Он присел

на стол, взял ее за опущенные плечи и привлек к себе.

– Расскажи мне, что случилось.

Мария шмыгнула носом.

– Мари, так нехорошо. Объясни мне, зачем ты ночью пришла в кабинет и взяла мои документы...

– Дитер, мне очень плохо... из-за Кати!

И она расплакалась. Она и сама не знала, почему плачет – накатила ли на нее тоска или то был страх, плакала ли она о Кате, что лежала по-прежнему в дальней закрытой комнате, или о Дитере, который скоро мог занять это место – если она не исправит положение.

– Чушь какая! Прости меня, – прошептала Мария сквозь слезы. – Я бы ни за что... милый, я бы ни за что не... это меня не касается...

– Мари, я лишь хочу знать, зачем ты пришла в кабинет и...

– Потому что ты в большой опасности!

Он отпустил ее плечи.

– Что? С чего ты это взяла?

– Мне сказал Аппель! – Мария старалась не повышать голос, но хотелось кричать, вопить, чтобы муж услышал ее панический страх. – Ему звонили, он говорил по телефону со своими, из отделения. Я встретила Аппеля снаружи. Он... остановил меня... он сказал, что тебе угрожает опасность! Что нужно уничтожить доказательства и оборвать связи!

– Какие доказательства? – с нарочитой невозмутимостью спросил он. – Какие связи? Я не понимаю.

– Все ты понимаешь! Хватит притворяться! Или ты считаешь, что нас могут сейчас слушать?

С дрожью она замолчала, чувствуя, что у нее закрываются губы. Муж смотрел мимо со странным, непривычно туповатым выражением.

– Ты обещал мне! – громко зашептала она. – Что домашние разговоры не выльются... вот в это! Ты обещал мне! Мы говорили об этом! Ты знаешь, чем это закончится!

От сдерживаемого крика ее трясло: «Ты помнишь, что говорила Софи? Софи, которая не ошибается!». Но Катя смогла сломать историю, она не выполнила главного условия – она должна была жить, но она умерла. Если Катя смогла убежать от слов Софи, то и мы тоже сможем!

Мария вытерла слезы, понимая, что муж их не замечает и размышляет о своем. Они помолчали несколько минут, разве что стучали часы на стене, которых Мария не слышала ранее. Затем Дитер мягко и виновато сказал:

– Прости. Ты права. Я... не исполнил твоей просьбы.

– Но почему? Почему?

– Потому что я не могу так больше.

Она опешила:

– Как – не можешь больше? О чем ты говоришь?

– О чем?... Я устал притворяться, что ничего не знаю!

– Чего не знаешь? Я не понимаю, не понимаю!

– Ты и не поймешь. Катя понимала – поэтому она и умерла!

Мария отступила от него к стене.

– Ох... значит, я чего-то не знаю. – Она не злилась, ей было не по себе. – Так чего же я не знаю?

– Ты... почти ничего. Что ты знаешь, например, об Альберте? Или об Аппеле? Что ты знаешь обо мне?

– Ты держишь меня за какую-то идиотку! – воскликнула Мария. – Я знаю, что вы были на войне. По-твоему, Дитер, я не знаю, что такое война?

– Это не просто война, Мари.

– Чушь! Я знаю, что ты – военный. А Альберт и остальные – они исполняют волю партии. Я не питаю больших симпатий к партии, сам знаешь, я не сторонник партии и мне не нравится эта война. Я знаю, что партия и война жестоки. Я знаю, что Альбрехт убивает людей. Я не наивная идиотка! Но что мы с тобой можем поделать?

– Не знаю. Возможно, ничего.

– Так к чему это? – беспомощно воскликнула Мария. – Боже мой, тебя словно бы тянет в эту бездну! Софи не ошибалась насчет тебя! Она сказала тебе: бросишь вызов партии – сдохнешь, ничего не добившись. Она говорила это! И Аппель сказал: нам нужно спасти тебя!

– Раньше я боялся предсказания Софи, потому что она напугала меня страшной смертью. Я не знал, как я могу умереть, не достигнув и сорока лет. А затем, Мари, я поехал на войну. На войне ты можешь сдохнуть в любую минуту. Ты перестаешь бояться любых предсказаний, любой обещанной

тебе мучительной смерти, потому что на войне тебе в любое мгновение может оторвать голову и все конечности разом.

– Сейчас ты не на войне, – возразила Мария, – ты дома, и ты можешь умереть из-за бумажек на вот этом столе! Если ты их не уничтожишь, как сказал Аппель!

– Я их сожгу, если тебе станет легче. Я справлюсь и без них. Но не проси меня о сделке с совестью.

Прикусив язык, она слабо застонала от боли. Пока муж молчал, она вспоминала все ругательства, какие знала. Она ничего не понимала. О чем он говорит? Чего она не знает? Что изменилось в прошлом сентябре? Что он узнал такого, что ему легче умереть, чем жить с этим?

– Объясни мне, что происходит, – тихо попросила она. – Почему умерла Катя? Почему ты хочешь умереть?

– Я не хочу умирать, – с невольной иронией ответил он. – Я сожгу то, что ты просишь. Но я знаю... завтра или послезавтра к нам могут прийти, их не волнует, что я хочу или не хочу. Вопрос совести – не в том, чтобы умереть. Вопрос – это... прозвучит нелепо, но... сохранить свое достоинство.

– Мы... можем спастись! Мы... можем уехать!

– Я могу отправить тебя. Я пойму, если ты бросишь меня.

– Ты прекрасно знаешь, что без меня ты тут не останешься! Я не понимаю тебя! Что с тобой? Чего я не знаю? Из-за чего умерла моя сестра? Это связано с тем, что говорил Альбрехт?

– А что говорил Альбрехт? – резко спросил он.

– Я слышала, он говорил что-то Альберту. Я плохо его поняла. Все свелось к тому, что война – отвратительная штука. Альбрехт говорил о каком-то лагере и вспышке холеры в нем. А Альберт ему не поверил. Наверное, он говорил о воспитательном лагере для политических заключенных. Наверное, он там убивал кого-то.

– Он работает в лагере, – подтвердил Дитер. – Альбрехт. Он говорил о какой-то болезни?

– Кажется, о холере. Которая убила всех заключенных. А что?

– Это не воспитательный лагерь. Не для политзаключенных. Это механизм уничтожения.

Наверное, ей послышалось. Она поспешно спросила:

– Что, прости?..

– Как-то я был на машине... нет, не так. Мы с Катей собирали справки о ее муже. Она попросила меня поехать, она не могла просить Альберта... И Альбрехт помог нам кое в чем. Он попросил завезти его на работу, место было в 30 километрах, и я согласился, потому что хотел оказать ему услугу в обмен на услугу. Кате место... не понравилось. Она спросила Альбрехта: «Почему тут этот жуткий запах?». Он нам объяснил. Он прямолинеен. Он сказал «спасибо» и... пошел работать. А мы... ехали обратно.

Бессильно Мария опустилась в кресло. Она молчала, ей было омерзительно спокойно – она не понимала, отказывалась понимать. Что он говорит? Ничего не знала. Я ничего

не знала. Катя ничего не знала. Дитер ничего не знал. Что, что, что они не знают?

Муж принес кастрюлю и бросил в нее часть документов.

– Дай мне, пожалуйста, зажигалку.

– «TGWW» – это же название книги? – спросила Мария.

– С чего ты взяла?

– Альберт говорил, шифры делают по книгам.

– Он прав.

– Значит, я знаю эту книгу. У нас одна книга, в которой четыре слова с этими заглавными буквами: «Gone With The Wind». Нужно сжечь и ее.

## 1920

После Марта рассказывала, закрываясь руками от знакомого врача:

– Я не хотела, не хотела этого! Мама попросила узнать, как там Бертель. Нет, она попросила спросить, отчего он так долго купается, и так рано, обычно он купается вечерами, а сегодня... Я постучалась. Я... спросила, скоро ли он освободит ванную, потому что маме нужно умыться. Он не ответил, и я... кажется... я закричала маме, что Бертель не отвечает... Нет, она была в кухне. Мы были в магазине. Она сказала, чтобы я громче стучала и звала. Я... я постучалась. И... я нажала на ручку. Я не хотела входить! Я случайно нажала на нее... Я вошла. И... Бертель... он был в ванной. В рубашке.

И он был в воде. И... там... стена была в крови! И на полу была! Я... очень... я хотела позвать маму. Я... испугалась. Я не знаю, почему я ее не позвала! Честное слово!..

После Лина услышала:

– Покой. Просто покой. Не тревожьте его вопросами. Ни в коем случае не спрашивайте об этом. Ни в коем случае не говорите о шрамах.

– Ему нужно лечение, – сухо ответила она.

– Врач вам не поможет в этом.

Она проглотила неприятные, страшные слова: «Мой сын сходит с ума, сделайте с этим что-то, я не знаю, что мне делать!».

Муж ее приехал двумя неделями позже.

Он был небрит, в старом неухоженном костюме; в потертом саквояже оказались выменянные в деревне гостинцы: хлеб, рыжая и твердая колбаса, немного джема в пергаментной бумаге. Детей отправили с бутербродами в гостиную, а родители ушли в спальню и оставались в ней час или полтора. Вернувшись к Альберту и Марте, заплаканная Лина позаботилась о дочери, у которой от хлеба заболел живот. Марту стошнило в корзинку с сухими цветами, после чего ее унесли в кровать. Были опасения, что ей может стать хуже. Альберт безмолвно выковыривал жиринки из трех кусочков колбасы. Расхаживая по гостиной, отец вполголоса рассказывал, что не смог по-человечески похоронить брата Иоганна.

– Как это – убили? Кто?.. – спросила тихо Лина. – За что

его убили?

– «Белые» убили, – ответил тот, остановившись у грязной корзинки с остатками чужого ужина. – Он на «красных» работал, в их газете. Мне Луиза рассказала... он, знаешь, домой ввалился, велел ей и сыну собираться, сказал, что уезжают... они тут же собрались, попытались выехать... и... их и взяли.

– А как тетя Луиза? – еле слышно спросил Альберт.

– С ней ничего. Она потрясена... и сын их тоже. Эти расстреляли Иоганна на их глазах.

Отец хотел, чтобы после ужина они вместе помолились за всех покойных, на чьей бы стороне они ни были, – но Лина категорически отказалась и ушла к себе. Оставшись с отцом наедине, Альберт изображал безразличие, словно тот был ему чужим человеком. Тот спросил, хочет ли он, сын, помолиться, но не получил ответа. Немного смутившись, отец разрешил ему уйти спать; и все же пошел за сыном в его спальню и присел на постель с неприкрытым желанием залезть ему в душу.

– Ты вырос взрослым и красивым мальчиком, – неловко заговорил он, не придумав ничего лучшего.

– Да?

– Да. Мама хорошо о тебе заботилась, наверное. Вы же не ругались?

– Нет.

Первый разговор зашел в тупик. Альберт был настроен

враждебно, а отец не понимал, как эту враждебность поборошь – каким бы сильным ни было его желание поладить с младшим сыном, он никогда не любил его как Мурра или Мисмис. Бессознательно угадывая родительскую нелюбовь, Альберт отстранялся и физически: он сел так, чтобы отец не смог дотянуться, и смотрел в сторону.

Отец откашлялся и спросил:

– Ты поправляешься, верно?.. Руки болят меньше?

Альберт пожал плечами.

– Не хочешь рассказать... почему ты... Я не считаю тебя слабым или... плохим. Из-за этого. Хочешь поговорить?

– Нет.

– Почему? Не хочешь? Может быть, тебе станет легче. Я смогу тебя понять.

Снова сын пожал плечами, а потом ответил:

– Я не хочу, чтобы вы меня понимали.

– Но почему?

– Вы бросили мою мать.

Как в сильном оскорблении отец встал с постели; помолчал, заложив руки за спину.

– Берти, это взрослые дела, – с долей раздражения ответил он. – У нас с твоей мамой было... некоторое недопонимание. Мы его разрешили. Отныне мы снова семья.

– Вы бросили нас, – очень тихо ответил Альберт. – Во время войны – вы бросили нас. Тут. С коммунистами. Вы предали нас.

– Берти, извини меня, но это слишком!

– Зачем вы вернулись?

– Потому что я твой отец! – воскликнул тот. – Я хозяин в этом доме! И я вправе возвращаться в него, когда мне захочется!

Невольно оба прислушались – в гостиной пробило полночь.

– Берти, я тебе... клянусь, – с новой мрачной убедительностью заговорил отец, – если бы я знал, в каком вы положении, я бы немедленно приехал. Я был в полной уверенности, что вы в безопасности в Минге.

– Все вы знали. Я вам не верю.

– Послушай меня...

– Я хочу лечь спать. Извините.

С тяжелым вздохом отец отвернулся – не стесняясь его, Альберт начал снимать брюки, собираясь улечься на кровать. Постояв с минуту в молчании, слушая, как шелестит постельное белье, отец вышел из спальни. Он особенно хлопнул дверью – не зло, не раздраженно, а разочарованно. В гостиной он закурил трубку, посмотрел на пыльные книги, пыльные занавески, пыльные подушки на диване – и успокоился.

Могил от Мурра и дяди Иоганна не осталось. Тело первого так и не было выдано родителям, его успели похоронить на одном из участков, что отдавались под расстрелянных и

закапывали на которых по десять человек, из экономии места. Лина на удивление быстро примирилась с этим. Все состояние ее говорило, что она не хочет, более того, не может найти силы, чтобы продолжать поиски сына, и она первой согласилась, что лучше бросить начатое дело и достаточно поставить плиту на их семейном месте на кладбище. Красивая серенькая плита появилась – и была вскоре совсем забыта. Семья не бывала на кладбище, и спустя пять лет плита Мурра покосилась и покрылась плесенью.

Домашним Лина приказала ничего не трогать в комнате покойного сына, а сама раз в несколько дней меняла постельное белье, хотя на кровати никто не спал и не прикасался к ней; утром она раздвигала шторы на окне, а вечером их задергивала и включала настольную лампу, и часто оставляла ее гореть до нового утра. Порой Лина останавливалась на пороге этой спальни и начинала говорить что-то: или сбивчивое и бессмысленное, или рассказывала, как она отдыхала ночью, или что приготовит на ужин, – не произносила имени сына, но несложно было догадаться, что она обращается к нему. Если она замечала, что за ней наблюдают, она пугалась, краснела, и после несколько часов была очень подавлена и не говорила с окружающими.

– Мне кажется, – серьезно сказал сестре Альберт, – что она притворяется, что Мурр не умер. Она и постель меняет, и свет включает будто бы для него... Наверное, это какая-то болезнь, – закончил он.

Устав, наконец, и от этого, Лина перестала заходить в комнату покойного сына и начала делать вид, что Георг уехал – возможно, в длительное путешествие, быть может, в Америку, и потому не может с ней связаться. Новая версия отсутствия сына заметно облегчила ее жизнь: не нужно было более разговаривать с пустотой, беспокоиться, хорошее ли сыну постелено белье и не забыла ли она включить ему свет, чтобы он, читая, не испортил себе зрение в поздний час. Втайне и она мечтала быть понятой, но Марта была слишком мала, Альберт – слишком мрачен, а муж – слишком бездеятелен. Время от времени она на них жаловалась, но, не встречая сочувствия, погружалась вновь в собственные печали.

Муж, быть может, и сопереживал ей, но не показывал того. Если Лину уничтожала тоска по сыну и бывшему благополучию, то ее мужа – воспоминания о войне и связь его с их поражением. Отложенные иностранные деньги он тратил в барах и пивных, в которые уходил каждый вечер после шести часов. В прибежищах столь же обиженных и потерянных душ он слушал военные байки и фантастические политические планы и угощал пивом за понравившиеся истории. Лина просила его купить новую школьную форму детям. Несколько раз он отвечал, что денег нет, но Лина, пошарив в его карманах, нашла листовки из клубов и закатила скандал: она знала, сколько в этих местах зарабатывают на любителей поностальгировать. В ответ на это муж оскорбительно спросил:

– Тебя беспокоит что-то? У тебя еще есть дети, кроме Мурра?

Это был вызов. Казалось, он был близок к тому, чтобы во второй раз покинуть дом. Лина залилась краской и ответила сквозь зубы:

– За этим ты вернулся? Чтобы попрекать меня смертью сына?

– Лина, пойми, денег у нас нет.

– Вот как? А на что мы станем жить? Если ты не перестанешь тратить деньги, а они у тебя есть, я знаю... Это твои дети! Марте в этом году идти в школу! Почему бы не найти работу?

– А почему бы не продать что-то из вещей?

От злости Лина сильнее покраснела:

– Ты, получается, считаешь, что работать на обычной работе – это не писательское дело? Писатели работать не умеют? Намного лучше тратить последнее в барах? Как раньше? Мы же богема, нам можно!

– А почему бы тебе не пойти работать? – отбил он. – Или ты тоже не умеешь работать?

– Вот как... это я должна работать? Я, твоя жена и мать твоих детей?

Они раскричались, выясняя, на чьи плечи должна лечь финансовая ответственность. Лина была глубоко оскорблена и перешла на визги. Разозлившись на то, Кристиан забежал в комнату Мурра и стал стряхивать с его кровати постельное

белье, выкрикивая:

– Вот это! Если тебе нужны деньги, иди и продай это! Продай его книги! Костюмы наконец! Это стоит денег!

Вторжение его в спальню покойного Лина перенести не могла. Она побежала за мужем и бросилась на него с кулаками:

– Не смей! Это вещи Мурра! Нельзя трогать его вещи!

– Это почему? Он умер, Лина! Пойми это наконец! Смирись!

– Да как я могу?.. Не трогай!

Лина упала на пол – возможно, муж толкнул ее.

– Это комната твоего сына! Это вещи твоего сына! Наш сын!.. Не отнимай его у меня!

– Ты же жалуешься, что денег нет.

– Нет, нет! Не нужны! Не надо никаких денег! Это вещи Мурра!

Постельное белье было возвращено на кровать, но книги (многие – редкие довоенные издания) Кристиан вынес и заявил, что продаст их знакомому антиквару. Несколько раз Лина напоминала ему прежние ошибки – и любовницу, и болезненное расставание, – угрожала выгнать его вновь из дома, но муж отчего-то был уверен, что в этот раз она стерпит его оскорбление. Когда он ушел со связкой книг, она улеглась у себя и громко плакала, а по его возвращении отказалась смотреть на деньги – ничто не оправдывало разорение комнаты Мурра.

Спустя час они помирились, но Лина отныне отказалась ночевать в одной спальне с мужем. С категоричным выражением она явилась к Альберту и заявила, что он должен переехать в бывшую комнату покойного Георга, а она поселится у него.

– Вы хотите, чтобы я жил у Мурра? – сухо спросил Альберт.

– Да. Что в этом такого?

– Это комната Мурра.

– И что? – воскликнула Лина. – Это спальня, обычная спальня.

– В таком случае почему вы не хотите жить в ней?

Тяжело дыша, мать полезла в его шкаф – за костюмами и рубашками. Он искоса смотрел на нее, не препятствуя в этом.

– Так... не хочешь жить в комнате Мурра? – оглянувшись, резко спросила Лина.

– Мне все равно.

– Берти... – Ей словно стало совестно. – Быть может, я прошу многого. Но... у нас с твоим отцом... мне нужна спальня, личная. Пожалуйста, уступи мне свою комнату.

– Вам не нужно меня спрашивать.

– Нет, твой тон отвратителен! – не удержалась она. – Почему я должна его терпеть?

– Потому что не дали мне умереть.

– Что? Что ты говоришь?.. Я виновата? В чем? В чем я

виновата?

Отстраненно он пожал плечами.

– То, что произошло, – это ужасно! А ты... Я очень переживала! Я так волновалась! Ты же мой сын! Если я прошу у тебя одолжения, это не значит, что я плохо... что я не... не хочу тебе блага.

Она застыла с его рубашками в опущенных руках. В мгновение это она сама верила, что очень любит своего сына... этого сына.

– Пожалуйста, не нужно быть столь строгим со мной, – прошептала она. – Я не желаю тебе ничего плохого. Я всего лишь...

– Вы хотели, чтобы я был на месте Мурра. Чтобы он жил, а я умер.

– Что ты говоришь? – испуганно ответила Лина. – Зачем ты так?.. Нет, как можно пожелать смерти своему ребенку – хоть тебе, хоть... Боже мой!

– Вы сказали, что я плохой сын, – сухо сказал он. – Я не смог заступиться за вас. Он бы заступился, а я не смог. Я должен был убить того человека, чтобы вы были довольны. Я не мужчина, потому что не смог вас защитить.

– Нет... нет... нет же! – воскликнула она. – Это нелепость, что ты мог... нет же! Нет!..

Она отступала от него, боясь словно бы, что он может на нее махнуть. Но он решительно приблизился и вырвал у нее из рук свои мятые рубашки.

– Мне все равно. Как хотите. Мне не сложно жить у Мурра. Только унесите из его комнаты синюю лампу, она меня раздражает.

– Я, естественно, люблю его, – закусывая губы, повторяла мать, – но я совершенно его не понимаю и не умею ставить его на место! Я понимаю, он взрослеет... но это какое-то неестественное взросление, не такое, как нужно! Он то молчаливый, тихий, и ничего ему не хочется... а то начинает злиться ни с того, ни с сего, а я не понимаю, что с ним! Он же всех сторонится, всех сверстников сторонится. Мисмис его спросила: «Отчего ты с ними не играешь?». Он ей отвечает, словно и от нее, как от мухи, отмахиваясь: «Мне с вами скучно». Может, поговорить с ним нужно? Может быть, у него... сложности?

– И что я ему скажу?..

– В смысле? – воскликнула она. – Ты все-таки ему отцом приходишься. Должен ты знать, как разговаривать с ребенком! Что ни говори, с Мурром не было таких проблем! Он ласковый, нежный... и его вечно знобит!

– Его не знобило, – нетерпеливо ответил он, – это ты себе фантазировала.

– Нет, нет, – повторяла она упрямо. – Он так легко простужается! Не так завяжет шарф – и простуда на несколько дней! И ему нужно обязательно укутывать ноги, они у него тоже мерзнут!.. Кому это знать, как не мне, его матери?..

Покончив с проблемным сыном, Лина начала спрашивать о партии – ужасная тема, которая отнимала душевные силы и последние финансы.

– Сколько-сколько в ней человек?.. Десять?.. О-о-о...

Она замолчала, считая себя очень глупой.

– Нам нужно экономить, – начала она опять минутой позже. – Ты витаешь в облаках. Денег тебе не платят, писать ты ничего не хочешь... Нужно же нам как-то выживать. А ты вместо этого бросаешься деньгами, словно мы миллионеры! Даешь их партиям, в которых сидят бездельники и только и могут жить на такие вот жалкие подачки!.. Можно подумать, у тебя занятия никакого нет!

– Занятие у меня есть, – невозмутимо сказал он. – Жаль, если ты этого не понимаешь.

– Нам нужно искать деньги на дополнительные занятия Мисмис, – не слыша его, причитала Лина. – Нужно, чтобы она занялась музыкой.

– У нее нет слуха.

– Появится. Мы найдем отличного учителя! Я в ее возрасте уже играла на фортепиано и на виолончели. У моих покойных родителей, позволь заметить, был не последний дом в этом чертовом городе!

– На кой черт ей эта музыка? Зачем ей дополнительные занятия? Берти без них как-то обходится – и ничего!

– Мальчику это не нужно. Никто не станет интересоваться, умеет он играть или нет. Но чтобы девушка не умела иг-

рать хотя бы на одном музыкальном инструменте...

– Ты могла бы сама ее учить. И вышло бы дешевле! Сама говоришь об экономии! – Он помолчал, о чем-то размышляя. – Вполне может быть, что я начну писать в газету.

– В какую это газету?

– Публицистику. Раньше я же писал статьи, набил себе руку... смогу и сейчас.

– Скажи, пожалуйста, в какую такую газету?

– Ну... в обычную газету, в нашу газету. – Опасаясь новой ее вспышки, он кашлянул. – Если у нас успешно пойдут дела, будет и своя газета. У партии, я хочу сказать.

– Партийная газета?.. Боже мой!.. Неужели нельзя закончить книгу? Вместо этого нужно писать в газетенку какой-то паршивой партии, в которой состоит пять или... сколько там... десять человек?..

– Уже не десять, а несколько десятков.

– О, какой успех! Вот это внезапность! У них уже несколько десятков! И как это вы успели? Неужто много таких идиотов, которым приятно бросать деньги на ветер?.. И во главе настоящий пролетарий, рабочий-железнодорожник.

– Да, он рабочий – но что с того?

– Рабочий-железнодорожник... – повторила она.

– Зачем ты смеешься?.. Это нечестно! Я хочу познакомить тебя с ним, с ними всеми.

– С рабочими? Как тебе это в голову пришло? – возмутилась она. – Как ты можешь ставить меня рядом с *ними*? На-

верное, они все бывшие «красные», но теперь скрывают это.

– Ну, хорошо, – согласился он, – я могу познакомить тебя с умным юношей, интеллигентным. Хочешь? Он не рабочий. Мне кажется, он служил в театре – но я не уверен. Я не знаю, можно ли мне спрашивать...

– Театрал? Ну и ну. А как его фамилия?

– Не знаю, к сожалению.

– Как так? – не поняла она. – Ты хочешь познакомить меня с человеком, имени которого не знаешь?

– Имя я знаю, а фамилию – нет. Когда нас познакомили, стоял ужасный шум, я едва мог расслышать наши голоса. А потом никто не называл его по фамилии. Понимаешь, показать человеку, с которым ты не один час проговорил, что не знаешь даже его фамилии, хотя вас познакомили... Начинается на «Н» или «Х».

– На «Н»?.. Не знаю такого.

– Опять ты смеешься! Может, на «Х». Фамилия, в смысле.

– На «Х»?.. Зачем мне, скажи, пожалуйста, на него смотреть?

– Они живее нас, Лина. В них жизнь, настоящая, от которой ты привыкла прятаться в нашей квартире.

– Какие громкие слова! – перебила мужа она. – Но нет – спасибо. Мне не хочется расхаживать по кабакам с пошлой публикой. Так низко я не могу позволить себе опуститься.

Зная, что настойчивостью и нежностью ее можно одолеть, он продолжал настаивать изо дня в день и терпел вечерами

ее злобу с нервозностью. Месяца четыре спустя она сдалась: согласилась пойти с ним, но с условием, что ее посадят отдельно, в уголке, чтобы она не соприкасалась с рабочими и просто безработными.

Они возвратились домой в десять вечера, и Мисмис бросилась к ним из детской комнаты и повисла на руке матери.

– Я говорил, что тебе понравится?.. Я часто ошибаюсь?

– Очень, очень часто! И я не сказала, что мне понравилось. Эти странные идеи...

– Но тебе же понравилось?

– Не знаю, – честно сказала она. – Мисмис, моя малышка, мне больно, отпусти меня! Позволь маме снять пальто!.. Что мне твое «понравилось»? Да, это безусловно талантливо. Но... понравилось? Не знаю... странно это. Ты говоришь, он служил...

– Я не знаю. Можем пригласить его к нам, ты сама спросишь, что тебя интересует.

– Странно это, – говорила она, не слушая, – в этом есть какая-то исконная магия... Наверное, во времена Инквизиции за такое сжигали на кострах. Мисмис, мое сердечко, почему ты не спишь? Альберт не уложил тебя спать? Альберт? Что ты там делаешь?

– Извините, – устало ответил тот. – Она меня не слушается. У нас что, будут гости?

– Да, наверное, завтра, – ответила Лина. – Я заставлю тебя помыть уши. И не смей хмуриться! И за ушами я тоже за-

ставлю тебя помыть! А то решат, что я безалаберная мать...

Детей она желала показать, как игрушечных, чтобы в глазах постороннего выглядеть успешной женщиной. Оттого с раннего утра она занялась их внешним видом – и наставлениями, как отвечать гостю, если их начнут спрашивать. Пришел Он к девяти часам вечера, какой-то облезлый в устаревшем синем костюме; и вообще что-то сказать о нем было сложно из-за краткости знакомства – приятные черты, подвижные, оживленные глаза; ненавязчивость и скромность, в остальном – неизвестность. Говорил немного, но умно, не о политике, а о классическом искусстве, о былом своем увлечении Шиллером; с хозяином поговорил о Древнем Риме, у хозяйки осведомился, любит ли она современную оперу, взялся играть и с маленькой Мартой, что, как и взрослые, приняла его положительно. На мальчика Он внимания поначалу не обратил, с ним не говорил, так как тот сидел в дальнем углу; но затем, пожалев его, желая втянуть в общее, семейное, обратился к нему:

– Ты учишься?..

– Учусь, – после паузы ответил Альберт.

– Кем ты станешь, когда вырастешь?

– Я уже взрослый.

– Не груби, – тихо сказал ему отец.

– Не буду. Извините. Я стану юристом.

– Бог мой, почему юристом?.. Это мерзкая профессия!

Хуже не может быть!

– Он шутит, – ответил его отец. – У него нет способностей для этого. У него способности художественные. Ты понимаешь, Берти?

– Вот еще! – отозвался Альберт. – Я выучусь на юриста. Я буду сажать преступников – и точка.

– Это намного лучше, чем быть писателем или журналистом, – сказала его мать. – Юристы пользуются уважением нынче. И неплохо зарабатывают. Постоянно, к слову. От этого не отмахнешься в наше время.

И улыбнулась мимолетно. Альберту, заметившему, как другие напряглись, стало до слез стыдно за мать. Что-то промямлив о том, что собирается спать, он вышел из комнаты и, поеживаясь, как виноватый, побрел в свою комнату.

Около часа ночи он выбрался из спальни в поисках воды и услышал диалог родителей из-за приоткрытой двери гостиной.

– Нет, он очарователен, этот юноша. Но образ его мыслей... – Лина что-то натирала тряпкой. – Я поразилась, узнав, что он из А. Станный он южанин, это факт. Мыслит как истинные «пройсы».

– Ох, как ты говоришь... ну разве это плохо?

– Это...

– Вы с Иоганном бы поняли друг друга. Меня больше удивляло, как в нем умещались национализм и коммунизм.

– Этот юноша – не националист. Ты знаешь, после 19-го я стала националисткой. Но твой юноша... он же не из наших.

Он хочет... нет, послушай! Я вас не понимаю. Ты не веришь в нашу самостоятельность?

– Лиана, нет никакой самостоятельности!

– Как это нет? Но мы – не «пройсы»! Я его послушала. Твой юноша – талантливый, не спорю... но грезит он империей! Огромной! Чтобы не было различий! По его словам мы и эти «пройсы» – мы, по его мнению, являемся одним народом. Кришан, ты знаешь сам, что это исторически неверно! Мы не один народ, мы никогда и не были одним народом! Да, мы проиграли «пройсам», когда воевали с ними в прошлом веке, они нас захватили, но не поглотили нас. Мы... отдельная нация, Кришан!

– Лиана, это невозможно. То, что ты говоришь, – это отделение...

– И собственное государство! Времена империй кончились! Вы грезите мифическим братством, которого не было. Вы хотите взять северян и южан, и с Востока и Запада – взять нас и перемешать, чтобы мы забыли свои корни, родные языки, традиции – и остался один общий язык, чтобы мы ничем не отличались друг от друга. Разве о таком мы мечтали в 14-м году? Чтобы нас закатали в это общее тесто? Юноша...

– А я согласен с ним. Южный национализм – это зло.

– Нет, ты послушай! Он стыдится своего акцента. Он хочет говорить, как северяне. И свою империю он будет строить не в Минге, а на Севере.

– Лиана, я согласен с ним: он хочет построить большую и

сильную империю. А ты... хочешь, чтобы страна распалась на части.

– Эта общая страна – это не наша страна! Их столица – не наша! У нас одна столица – Минга! Другой быть не должно!

– Нет, правильно он говорит: местечковый национализм – это огромное зло! Не зря императоры собрали национальные земли в империю. Ты не думаешь о наших соседях. Если мы разбежимся и создадим маленькие государства вместо империи, наши соседи легко сожрут нас за 10-15 лет. Мы должны держаться вместе, Лина! Если мы распустим регионы, мы станем слабее. Кто спас нас от коммунистов, забыла?

– Посмотрим. Заставит он нас говорить, как северяне, – вот мы и посмотрим. Посмотрим, как... Альберт!

В испуге он отскочил от двери. Побежал в свою комнату, расплескав по полу воду.

– Стой!

От голоса отца – не резкого, а очень спокойного – он замер и прижался к стене. В коридоре не горел свет, и фигура отца казалась внушительнее обычного.

– Почему ты подслушиваешь?

Он опустил голову, хотя ему не было стыдно.

– Простите. Я... не хотел.

– Ты разлил воду.

– Простите. Я хотел пить.

– И поэтому на полу вода?.. Возьми тряпку и вытри.

Но не успел он сойти с места, как отец остановил его:

– Много ты слышал?

– Что-то о «пройсах» и южной самостоятельности.

– Вот как? – спросил тот. – И какого ты мнения об этом?

Не нужно говорить, что у тебя нет мнения.

– Меня это не касается. Извините.

– Хм... ты учишь в школе «общий» язык?

Невольно он усмехнулся и ответил:

– Я не считаю, что это важный вопрос в час ночи.

На высокомерный тон его, явно выражавший его отношение к «общему» языку, отец улыбнулся.

– Хорошо бы подтянуть его. Думаю, Альбрехт поможет тебе в этом.

– Альбрехт?

– Твой кузен, сын Йоганна. Я два дня хотел тебе сказать. Скажу, как есть: твоя тетя, она очень больна и, я знаю, умрет... Я сказал ей, что Альбрехт после ее смерти будет жить с нами. Он младше тебя, но ты сможешь с ним подружиться.

– Кузен Альбрехт будет жить с нами? – с легким испугом переспросил Альберт.

– Да. Потому что его мать умирает. У него никого больше нет, кроме нас. Я хочу, чтобы ты позаботился о нем. Побратски. У тебя есть мы, отец и мать, а у Альбрехта уже не будет никого.

То было столь внезапно, что Альберт спросил себя, не спит ли он. Он даже ущипнул себя, пока шел за тряпкой, и от

боли его слегка замутило. Он, казалось, разучился понимать что-либо. Зная, что его потрясло это, отец потрепал его за плечо и хотел было обнять, но сдержался, сочтя это неуместным.

– Тетя... умирает? – глухо спросил Альберт.

Он безалаберно водил тряпкой по полу, не замечая, помогает это или нет. Он вызывал в себе прежние чувства к тете с ее нежными объятиями и поглаживанием по щеке, закрывал глаза, воображая ее в ночной кухне, – но боль всасывалась в пустоту слева, как в черную дыру.

– К сожалению, Берти. – Голос проникал сквозь темноту. – Много кто умер уже и, боюсь, не скоро смерти закончатся.

От воспоминания у него пересохло горло – переливчатая речь тетки с типичными ошибками северянки, болезненный смех интеллектуалки северных земель, и как она была не похожа на них, крепких и сильных жителей Юга, напитанных фёном, она же не переносила фён, у нее сильно болела голова, и она лежала часами с мокрой тряпкой на лбу... Неужели он думает о ней в прошедшем времени?

– Я хочу, чтобы все было как раньше! – внезапно воскликнул он.

– Чтобы все были живы? – спросил отец.

– Да! Как было до войны!

– Я был бы счастлив исполнить твое желание, Берти, но, боюсь, оно неосуществимо.

– Почему? Почему?.. Просто верните все назад, как было!  
Отец тяжело вздохнул.

– Да, Берти. Я знаю все. Не слушай мать, она напрасно ругает меня. Я несу ответственность за вас, за тебя и Мисмис. Я не могу вернуть, как было, это не в моих силах, но я попытаюсь обеспечить вам счастливое будущее. Твоя мать не понимает, чем я занимаюсь, а я...

– Она хочет, чтобы вы пошли работать, – перебил Альберт.

– И это я знаю. Но я работаю – на благо нашего Отечества. Я многого не понимал раньше. Только когда началась война, я понял, насколько я был оторван от остальных людей, от их нужд. Я осознал, что я не понимал их из-за собственного тщеславия. До войны я всем был удовлетворен. Я не хотел опускаться к ним... Я был особенным. Я ни в чем не хотел участвовать, ничего не хотел знать из «их» жизни, ничего не хотел замечать! Я... Я ошибался раньше. Я чувствовал себя лучше других, более развитым, со свободной волей, был счастлив в своей независимости от всех, в оторванности от толпы. Я был слишком горд. И мои книги были книгами гордого человека, который не хочет обычной жизни, а мечтает о жизни особенной, вымышленной, нечеловеческой. Они были не о людях, и им мои книги бы сейчас негодились. Сейчас я вижу, что случилось. Пока все было хорошо, я оставался в стороне, а теперь не могу... Я словно жил на другой планете! Разве так можно? Я хочу что-то дать

этим людям, которых я презирал раньше. И вам с Мисмис я ничего почти не дал. Но я постараюсь... правильная политика изменит нашу жизнь!

– Это всего лишь слова, – ответил Альберт, – их не обменяешь на хлеб. А есть мы хотим сейчас.

– Нужно потерпеть. Совсем немного.

– И это не спасет тетю.

– Нет, не спасет. Ее – не спасет. Но спасет многих других. Тебя и Мисмис, и твоего кузена.

От нереалистичности рассказываемого у Альберта закололо в висках. Прорываясь сквозь пелену боли, он прямо спросил:

– Вы хотите, чтобы я учил язык северян?

Отец вздрогнул, словно забыл о его присутствии.

– Да, – поколебавшись, ответил он. – Это будет очень полезно тебе. Не слушай мать, которая называет их «пройсами». Думай о том, что это язык твоей тети Луизы и Альбрехта.

– А если мне лень?

– Это важно, Берти. Это... язык мира. Взаимопонимания.

Не об этом ли спорила мать? Что вскоре их попросят говорить на «общем», всем понятном языке? Но тетя Луиза – ее треснувший голос в неправильных дифтонгах, как она проносила, сбрасывала с языка невыносимо ласково: «Мой хороший, мой милый мальчик...». И одними губами он сказал: «Хорошо, я попытаюсь».

Вскоре приехал кузен Альбрехт. Он был с коричневым чемоданчиком с отбитыми углами, сам в маленьком ему костюме из серой шерсти. Он возник как-то тихим утром на пороге, без сопровождения, – и на много лет остался.

Для своих лет это был высокий, красивый темноволосый мальчик, похожий очень на старшего кузена. Был он так же вежлив и ласков, что отчасти смягчало тетю Лину, взглянувшую на него в первую же минуту, как на лишний балласт в их семье; и позже, наблюдая его вблизи, она убедила себя, что проблем от него новых не будет и он, понимая свое положение у них, постарается стать как можно более неприметным.

С появлением в их доме кузена Альбрехта началась новая жизнь и у Альберта. Окончательно его с кузенком примирило то, что к Альбрехту отнеслись с еще меньшей заботой. Задумавшись, что кузену этому хуже, чем ему, Альберт решил приложить все усилия, чтобы с ним подружиться, завоевать его симпатию – и чтобы кузену Альбрехту уютно было на новом месте, и в тайном желании оказывать на него моральное влияние, чуть ли не в страсти занять так собственную живую игрушку. Кузен Альбрехт ничем в быту и в общении не показывал, что его может что-то тревожить. Со всеми, начиная с членов семьи и заканчивая случайными знакомыми, он был не только вежлив, но и как-то счастлив этой вежливостью: он так и сиял на всех, не имея на то причин, вне зависимости от того, вызывал у него человек симпатию или нет,

и это казалось очень многим странным. Учителя изумлялись этой «солнечности», как они это называли, но им было приятно теплое отношение, и они невольно проникались к нему ответными чувствами. Учившиеся с ним дети, быть может, боялись его или считали непонятным, а он не беспокоился из-за их попыток любыми способами от него отстраниться, а если бы и беспокоился, ни за что бы не показал, что обижается на них.

Со старшим кузеном, Альбертом, у него образовались спокойные отношения, но без желанного влияния Альберта на него. Кузен Альбрехт чувствовал, что Альберт относится к нему немного снисходительно, и в этих отношениях оберегал свою душевную независимость. Избалованную семейной нежностью Марту, немногим его меньше, он любил больше и почти мужской любовью. Если бы это заметили родители, они бы испугались, не зная, что нужно делать в этой ситуации, но пока это замечал лишь Альберт и не считал это чем-то неестественным, разве что отчасти забавным. Марта против пылкого почитания ее личности не возражала, как маленькая женщина им наслаждалась, но с тем же затаенным женским чувством понимала, что не нужно об этом говорить, тем более со старшими.

Постепенно, за сближением, всплывать стало и то, что кузен Альбрехт старательно скрывал, в том числе и неприятные черты его характера. Как ни пытался он всем казаться благополучным, ласковым и счастливым ребенком, бывало,

внезапно в тоне или выражении его проскальзывали истинные чувства, не столь светлые, к коим все привыкли. Он мог быть временами и обиженным, и злым, и ревнивым, но одновременно и искренним в своем обращении с другими. Выяснил у кузена Альберт и то, что мать его, Луиза, на самом деле спилась, и что те месяцы, что отделяли гибель отца и кончину матери, она им, Альбрехтом, не занималась, забывала даже покормить его и не беспокоилась, пришел он со школы в положенное время или нет. Из объяснений кузена Альбрехта складывалось впечатление, что он не чувствует себя несчастным из-за ее смерти, что, возможно, он и радуется тому, что ее больше нет. Но в другой раз он в присутствии Альберта, ничуть не лукавя, с совершенной искренностью вспоминал о матери и жалел, что больше не сможет побыть с ней.

Каждый вечер, перед сном, он читал в постели доставшуюся от матери «Книгу согласия», старенькую, в переплете кое-где порванном, с многочисленными заметками на полях. Затем повторял обязательно маленькие заученные куски из нее и молился за оставшихся родственников. Ночами он изредка плакал, что слышно было Альберту, не ложившемуся обычно до двух часов ночи. Из лучших побуждений Альберт как-то пошел к нему в такую ночь (Альбрехта поселили в гостиной) и начал приставать с утешительными словами.

– Отстань от меня! – в злости стал отбиваться от него кузен Альбрехт. – Чего тебе?

– Я хочу тебе помочь. Могу я тебе как-то помочь?

– Зачем? Что ты ко мне пристал?

– Я сказал отцу, – серьезно ответил Альберт, – что буду за тобой присматривать. Я не могу послушаться отца. Вот ты по своему отцу скучаешь?

– Да... а что? – успокоившись немного, ответил кузен Альбрехт. – Он был очень хорошим, заботился обо мне. Мы с ним часто гуляли, и с мамой тоже. Как-то мы с ним были в зоопарке. Знаешь?.. Там есть жирафы. Мне очень нравилось смотреть на этих жирафов. Они самые красивые, как ты считаешь?.. Ты бывал в зоопарке?.. Там еще есть карусели. Я безумно люблю карусели... Ты бывал в столице?

– Нет. А как там?

– Там мало зелени. Камня много. Но там мамина речь. Тут мне тяжело говорить. Мама учила меня, но я почти все забыл. Ты же тоже слышишь, как много у меня ошибок.

Альберт притворялся, что не замечает ошибок.

– А почему у тебя эти порезы? – внезапно спросил кузен Альбрехт. Он смотрел на новые, не успевшие посветлеть, шрамы.

– Это так... я случайно. Я вечно калечусь.

И поспешно он сменил тему:

– Тетя Луиза была... она была замечательной. Я ее очень любил.

– А я – уже нет. Она меня бросила. А твоя мать на меня смотрит, как на обузу.

– Нет... нет-нет, – тихо ответил Альберт. – Она не успела

привыкнуть к тебе. Она...

– Я слышал, она сказала дяде Кришану: «Вот, новый рот в семье, а поступлений никаких!». Понятно? Я вас всех ненавижу! – в возросшей злости воскликнул кузен Альбрехт. – Мне никто не нужен, обойдусь без вас! Тетя Лина сказала, что отошлет меня, если я буду плохо себя вести и плохо учиться, а я нарочно так буду делать, узнаю, отошлет она меня или нет. Мне тут никто не нужен!..

– Никто тебя не отошлет. Это она сказала, чтобы напугать тебя. Если бы и хотела, отец этого не допустит. А учиться нужно. Тебе нужно получить профессию. Ты кем хочешь стать?

– Никем, – отрывисто, отворачиваясь от него к стенке, ответил кузен Альбрехт. – Я уже есть...

Говоря об отце (что он не позволит матери отослать из дома кузена), Альберт не был в этом уверен. Заговорив с ним об этом несколько позже, он услышал мимолетный ответ – из тех, коими отец разбрасывался, когда бывал очень задумчив, и которые могли ничего не означать впоследствии.

– Ничего, ничего... пусть пока тут поживет... – расхаживая рассеянно по гостиной, сказал отец. – А там как-то... сам потом уже...

– У тебя точно все хорошо? – уточнил отчего-то Альберт.

– У меня?.. О-о... замечательно. Почему ты спрашиваешь?

– Не знаю...

– Берти, ты знаешь, я... не знаю, о чем с тобой можно говорить.

– Ну... о том, где взять уголь, например.

– Хм, значит, ты знаешь?

– Нет, но мы можем об этом поговорить. Что будет, если мы его не достанем?

– Я думал, ты можешь знать, – не слушая его, говорил отец. – Молодежь сейчас обо всем осведомлена. Может, ты спрашиваешь в школе? Я слышал, в школах все об этом знают – если не купить, так хоть украсть.

Столь резкая перемена в тоне ошеломила Альберта.

– Ты что, хочешь, чтобы я воровал? – возмутился он. – Ты же знаешь...

– Знаю я.

– Я не смогу... Я слышал, что мать говорила обо мне!

Разговор, начавшийся с безобидного, принимал отвратительный оборот.

– Ничего она о тебе не говорила, Берти, замолчи!

– Нет, говорила! Говорила, что другие дети что-то, да принесут, выгащат, а я – вот такой, ничего не могу! Да, я не вор, я не умею! Я знаю, что вы говорите за моей спиной. Вы говорите, что я ни на что не способен!

– Никто ничего не... Что ты выдумашь?

– Ага. Выдумываю! Украсть – это отнять у другого, который тоже нуждается. Это... нечестно. Не заставляйте меня.

С удивлением отец смотрел на него. А Альберту стало

неловко: казалось, он успел наговорить лишнего.

Когда у них закончился уголь, гостей заметно поубавилось.

Уже в декабре мало кто мог себе позволить отапливать квартиру, но им в преддверии Рождества прислали в качестве подарка целый мешок угля. Голодные, замершие партийные грелись у них в те дни до поздней ночи; жаловались на кризис, на пустые лавки, на холод и горные ветра. Некоторые, как «Трибун», оставались ночевать – им стелили в кухне и в гостиной, хоть было хозяевам неловко предлагать старое белье и давать пальто вместо теплых одеял. Но в январе они перестали приходить – отправились искать место потеплее. И пусть это избавляло хозяев от множества забот, Лина обижалась, говоря:

– Нет, как же бывают неблагодарны люди! Мы им и простыню, и стулья, и диван. А им все мало!

Ей было страшно и хотелось плакать: она замерзала ночью, мерзла в часовых очередях за хлебом и крупой, на «черный» рынок убегала в чистых сапогах, а возвращалась, вся облепленная грязью, с мокрыми ногами. За молоком, беспокоясь за здоровье Мисмис, уходила в пять утра, и приходила через три часа с жестяной кружкой, в которой молоко застывало сверху коркой. Она не хотела того, но оставалась избирательной: лучшее, что у нее получалось достать, она отдавала младшей Марте, что умела все так же капризничать

и не соглашалась каждый день есть хлеб без ничего или овсяную кашу без меда. Мальчикам доставалось меньше раза в два, и то кузен Альбрехт, если не чувствовал себя плохо, передавал причитающееся ему Марте. От этого Альберт на него злился и как-то честно, по дороге в школу, обвинил его: что он потакает Марте, словно святой, балует ее, хоть та и так смеет крутить носом и показывать, что ей не нравится в их нынешней еде.

– Тебе самому нужно есть, тебе понятно? – закончил он свой пропитанный ядом монолог. – Я вот почти ничего не ем, и мне плохо, а как ты не ешь, я вообще не понимаю! Ты разве слабости не чувствуешь?

– Я ничего не чувствую, – обиженно, голову опуская, ответил кузен Альбрехт. – Ей нужнее. Она маленькая, она с ног свалится, если не будет есть...

– А мы с тобой что – не свалимся?.. Как можно нами пренебрегать, скажи? Это разве честно? Все ей, ей... а мне, значит, не нужно? Я умираю!

– Ты не умрешь, – оборвал его кузен Альбрехт. – Хотя бы раз не думай о себе! Хотя бы раз подумай о ком-то, кроме себя! Все «я», «я»... ты, Берти, эгоист!

– Это я эгоист? – разозлился на него сейчас же Альберт. – Потому, что хочу есть? Я, может, тоже молока хочу, и каши хочу, и всего... Чем я хуже нее? Потому, что я старше?.. Но это нечестно! Легко тебе говорить! Ты был у родителей единственным ребенком!

– Зато теперь они мертвы! – зло выпалил кузен Альбрехт. – Тебя это успокаивает? Пожил бы в семье, что к тебе только из жалости... А ты все о себе! О матери, о сестре – ни одной мысли! Только «я», «я»... Или что, твоя жизнь такая ценная, а все остальные – пустые, ничего не стоят? А, Берти? Что ты отмалчиваешься, Берти?.. Эгоист!

Тот, разозлившись, с размаху ударил его по лицу. Кузен Альбрехт, более от неожиданности, болезненно охнул, упал спиной в сугроб и грязной ладонью вытер разбитую губу.

– Что?.. – со злым смешком спросил его Альберт. – Что, отцу моему скажешь? Или матери? Ну, скажи! Станет он меня еще учить!..

Не дожидаясь, пока кузен Альбрехт встанет, он пошел от него; хотел оглянуться на Альбрехта, если тот его нагонит или окликнет, но тот незаметно как-то оказался близ него и со всей имеющейся силой толкнул в спину. От толчка этого Альберт упал и в кровь разбил лицо об мостовую. Прижимая руку к носу, он уже смог сесть, в грязи и снегу, и хрипло выкрикнул:

– Трус! Это трусы набрасываются со спины! А слабо по-настоящему? Только со спины и можешь, значит?..

Не слушая его, кузен Альбрехт, с белыми следами на пальто, со снежными хлопьями в волосах, необъяснимо красивый – он жутко и искристо хохотал. Это был сильный и болезненный смех счастья, от которого любому бы стало не по себе.

Обрабатывая ранки обоих мальчиков, Лина шумно ругалась, оставила их без скудного ужина и велела ложиться спать, а затем еще ходила по их спальням, проверяя, спят ли они. В своей комнате Альберт лег лицом к стене, укутавшись в одеяла, под ними еще завернувшись в отцовское пальто, и голову показывал, лишь чтобы вдохнуть порцию свежего воздуха, а после убирал ее и дышал тяжело, стараясь не стучать зубами от холода. За стеной хворо кашляла Марта, слышался шепот пробравшегося к ней после полуночи кузена Альбрехта – и слушавший их Альберт сильно завидовал их непонятной – и от непостижимости привлекательной для него – радости. Он долго не мог заснуть и, не справляясь с эмоциями, два раза порезал себе левую руку. Завернув потом руку в пальто, он наконец успокоился.

На следующее утро Марта серьезно заболела. К ней приглашали врача, из знакомых, и он долго о чем-то говорил с Линой в кухне после осмотра девочки. Заглянувший к ней Альберт нашел сестру лежащей в постели, раскрывшейся из-за нестерпимого жара; она была очень худа и бледна и лежала расслабленно, словно не понимала, что с ней происходит. Лина гнала его от сестры, опасаясь, что он может сбросить на нее еще какую-то заразу; потом плакала на постели девочки, не отвечая на хриплые и робкие вопросы больной о ее состоянии. Кузен Альбрехт, беспокоясь, рвался в ее комнату, но его не пускали. Он доставал тетю Лину вопросами, в спальне своей метался и плакал, снова шел к комнате забо-

левшей и шуршал под дверью, выводя Лину из себя. Услышав его голос, Марта попросила, чтобы его пустили к ней, и расплакалась, не вынеся его тревоги, и ослабевшими руками обняла кузена.

На второй день, в беспокойстве, Альберт попытался снова пробраться в комнату Марты, миновал выбегавшего от нее кузена Альбрехта, но наткнулся тут же на мать, которая спросила, что он тут делает.

– Не гоните его, не гоните, мама, – тихо и слабо попросила ее Мисмис. – Пустите его ко мне.

С облегчением Альберт присел на ее постель и посмотрел, склонившись, на неровно-белое лицо, уменьшившееся будто бы от болезни, обрамленное по краям тонкой паутинкой темных волос. Когда мать вышла, чтобы развести ей лекарство, Марта зашептала хрипло, огромные усилия прилагая, чтобы звучать внятно:

– Спасибо тебе, что ты пришел. Мне страшно, Бертель.

– Почему? – ответил он. – Ты не умираешь. Ты поправишься.

– Я знаю. Но мне почему-то очень страшно. Посиди со мной, пожалуйста.

– Я никуда не уйду... Не бойся, Мисмис. Бог нас не оставит.

– А мама говорит, что Бог уже оставил нас. Что Он бросил умирать нас, хотя мог нам помочь. Почему же Он такой жестокий? Почему Он оставил нас умирать без Его участия?

– Ты не умрешь, – повторил он резко. – И никто не умрет. Перестань болтать глупости! Что ты в этом понимаешь?.. Глупая!

– Я вас всех очень, очень сильно люблю, – поспешно, с большим усилием, чем раньше, зашептала Мисмис. – Почему ты такой злой, Бертель?

– Я не злой.

– А Альбрехт сказал...

– И что тебе Альбрехт сказал?.. Он первый начал!

– Нет... нет. Не обижайся. Я знаю, ты на меня обижаешься.

– Я не обижаюсь, нет.

Серьезный тон, взрослый, испугал его. Он знал, что она поправится, обязательно поправится, но тон этот навел его на мысль, что Мисмис может стать хуже и она прежде него это понимает. Словно бы подтверждая его опасения, она тихо добавила:

– Бертель, я знаю, что не умру. Но я... я часто не замечаю... что теряю сознание. Мне будет спокойнее, если я составлю завещание.

– Завещание?.. – переспросил он, не понимая.

– Да, завещание. Я хочу... его продиктовать. Ты запишешь за мной? Я знаю, ты хочешь стать юристом. Юристы же это делают?.. Пожалуйста...

В тумбочке ее обнаружили бумага и чернильный карандаш, и поспешно, за ней, Альберт стал записывать. Мисмис

только и просила разделить ее книги, пишущие принадлежности и игрушки между близкими, ничего другого у нее не было, но диктовала она, как человек уже взрослый. На словах о себе Альберт споткнулся. Тон, каким она с ним заговорила, как просила написать о нем, детской искренностью резал его по живому. За ним он уловил, сколь сильные чувства она питает к нему, брату, и сам отчетливо почувствовал к ней что-то жалобно-застенчивое и звенящее до дрожи. В порыве нежности к ней, в благодарность за непередаваемое ощущение любви взаимной, он поцеловал ее сухие щеки, пылающий лоб и лежащие поверх одеяла руки.

– Заразишься, – слабо и ласково сказала Марта.

– Нет... нет. Поправляйся.

– Пусть бумага останется у тебя. Так же положено? Они остаются у... юриста?

– Так, так... ты поправляйся поскорее.

Он посидел с ней еще немного, но уже в присутствии матери, а затем, когда Марта уснула, ушел к себе в комнату. Завещание он сначала захотел порвать за ненадобностью, но опомнился и спрятал его, сложенное вчетверо, в книгу «Полколение, засыпанное цветами и пеплом» Б. Т. Симмонса.

Компания, конечно, у них собралась своеобразная: отставные пехотные офицеры и бывшие летчики, безработные и просто отчаявшиеся люди, потерявшие семьи, а с ними прошлую и настоящую – какой бы она ни была – жизнь.

Лишь одного из них можно было назвать благополучным: его привел как-то «Трибун», сказав, что их познакомил неназванный иностранный подданный, и после человек этот стал приходить, иногда с супругой-американкой, даже приводил с собой маленького сына, чтобы тот играл в гостиной с Мисмис. В собственности их семьи была ныне типография, а дом их до войны привлекал заграничных звезд оперы, театра и балета.

Как единственная красивая, счастливая, элегантная пара, они становились примером для детей хозяев. Поняв важность внешнего облика в успехе, Альберт показал родителям, что хочет лучше одеваться, чтобы хоть одеждой соответствовать им созданному в мыслях образу хорошей жизни. Когда же Марта выразила схожее желание, правда, в более категоричной форме, мать их – как ни неприятно было отказывать любимой дочери – громко возмутилась.

– Они что, разве не знают, что денег у нас нет? – сказала она мужу. – Я все понимаю, они заразились этим веянием... им хочется красивого и богатого... а нам-то что?

– Скажи Мисмис, что денег у нас нет, – услышала она в ответ.

– Я ей сказала. Она не понимает.

После долгой паузы она добавила:

– Лучше бы они – хотя бы Берти – подражали нашим летчикам. Это дешевле и намного легче. Или вот, твой «Трибун». Он только и носит что свой потертый синий костюм.

Галстук у него, кажется, тоже один. Одни ботинки, один плащ... И ничего! Почему нельзя ему подражать?

– Ты хочешь, чтобы юноша его возраста отказался от стремления к прекрасному? То, что ты говоришь, – не от хорошей жизни. Х. лучше одеваются, у них лучше условия. Понятно, что мальчик и Марта хотят быть похожими на них. А ты просишь их обратить внимание на старый плащ кое-кого другого и...

– Не нужно так! – укоризненно ответила она. – Он такой милый молодой человек, и такой робкий, необычный, хоть и заигрывает с имперскими мотивами... А то, что Берти гоняется за шиком, мне решительно не понятно. Я могу более-менее понять Мисмис, как будущую женщину... но не юношу. Ему гимназию скоро заканчивать, а он думает о пу-стяках. В мое время юноши не были такими, можешь мне поверить.

Поняв быстро, что мать не способна оплачивать его новые «причуды», не очень-то и расстраиваясь из-за этого, Альберт в свободное время стал подрабатывать печатанием на машинке в маленькой конторе нотариуса; платили за это по-часово, и почти все, таким образом заработанное, он спускал на одежду, лишь мизерную часть оставлял на книги, журналы и шоколад для Мисмис и кузена Альбрехта. Он обзавелся синим костюмом модного кроя, черным пальто с поясом, шляпой, галстуком, завел не менее пяти пар перчаток и более дюжины шарфов. Пополнение шкафа этими прекрасны-

ми вещами вызывало у него сильный восторг, связанный с самим осознанием, что все эти драгоценные предметы являются его собственностью и что, в них облачаясь, он выглядит хорошо. Консервативная мать не могла найти это нормальным и беспокоилась, словно была сама виновата, а он своими желаниями не обладал и поступал лишь ей назло. С взрослением его она начала испытывать к нему чувства более правильные, материнские – пусть не столь пылкие, какие вызывала Мисмис, – должно быть, привыкла к нему или же заметила, как он похож на нее, и искренне желала ему счастья. Она не знала, как начать разговор о его «странностях», смущалась и боялась, что он – из-за прежних их сложностей – не станет ее слушать.

Решившись как-то, для нее самой внезапно, она зашла в его комнату и спросила, чем он занят.

– А что? – ответил он.

Он, полулежа на постели, пришивал пуговицу к синему пиджаку.

– Смотрите! – сказал Альберт за тем, как его мать вошла. – Новая рубашка. Хотите взглянуть на новый шарф?

– Нет, не хочу.

Осторожно она присела на его постель, руку протянула, чтобы погладить его по волосам.

– Ну, зачем? – почти капризно, отстраняясь от нее, ответил он. – Что за телячьи нежности?.. Право, вы показываете себя странно.

– Ты стал очень взрослым, Берти.

Он на слова ее меланхолично улыбнулся.

– Я и не заметила, как ты вырос.

– Ага... ага.

Он отвлекся от нее, чтобы закончить работу. Лина осмотрелась, потянулась к его тумбочке, желая узнать, какие книги он читает; и смутилась, обнаружив у него вперемешку уголовный кодекс, энциклопедию, романы Достоевского и Фонтане, биографию Бисмарка, сборник статей Берты фон Зутнер и порнографические книжки какого-то современного автора.

– Не трогайте, пожалуйста, – заметив, что мать хочет что-то взять, попросил он.

– Нет, нет... Ты считаешь, это можно вот так оставлять?

– Что?

– А если твой кузен это прочитает? Или Мисмис?

– Мисмис ничего не читает. А насчет Альбрехта... ну и что?.. Вы что-то хотели?

– Нет, – ответила она поспешно и встала.

Но, не сумев выйти, возвратилась на прежнее место на постели и начала:

– Мне нужно с тобой поговорить. Было бы лучше, если бы с тобой об этом поговорил твой отец, но он совершенно не умеет воспитывать детей. Поэтому говорить придется мне...

Она краснела и заикалась, а остановившись, обнаружила, что сын улыбается.

– Ну что ты так улыбаешься? – обиженно спросила она.

– Да потому, что я давно, много лет это знаю! Зачем вы говорите мне то, что я уже знаю?

– Нет, я... это совсем не то, что ты подумал!

– А, может, хватит мне лгать?

– Не смей так говорить со мной! – оборвала его она.

Помолчав, собравшись с силами, она добавила:

– Ты должен понять, должен... это не то... и вон то, что пишут в твоих книгах, показывают в фильмах... ты должен понять, что это не так, это не в реальности, не... не так все получается.

– В книгах и фильмах как раз все нормально получается, – отбил поскорее Альберт.

– О-о-о... прости, что я доставила тебе несколько неприятных минут. Ты... говоришь со мной, как с врагом. А я пытаюсь объяснить... чтобы ты понимал разницу. Потом у тебя будут девушки, и я не хочу, чтобы это повторилось с ними... чтобы ты считал это нормальным. То, что произошло в ту ночь, с теми, «красными».

– Нормальным? Нормальным?.. Значит, я такой же, да? Я такой же... как они? Ты считаешь, я такое же животное?

Она опешила от его внезапного «ты» и воскликнула:

– Нет, конечно, что ты говоришь?

– Ты сама сказала! Ты считаешь, я способен на это. Ты сказала: «Я с тобой говорю, чтобы это не повторилось с другими».

– Мне пришлось... пришлось тебе сказать! Вы, мужчины, часто не понимаете, вы не знаете, что поступаете ужасно с нами! Вы не всегда видите разницу между согласием и насилием. Каждый из вас может отступить на этом пути.

Она почувствовала: он был глубоко оскорблен. Он словно бы внутренне сжался, и глаза его изменились.

– Спасибо за заботу... но это не нужно. Я лучше совсем не буду этим заниматься, чтобы никого не травмировать. А то мало ли – я не увижу разницы между согласием и насилием. И вот! – зло добавил он, выхватывая из книжной стопки то, от чего она возмутилась. – Можешь забрать! Раз ложь – то забирай! Мне это не нужно!

Расстроенная, она взяла эти книги; почти выбежала от него, плечом ударившись о дверь.

– И не нужно лезть в мою личную жизнь! – крикнул он ей вдогонку.

Отношения их, и ранее плохие, после этого объяснения стали ледяными. Обиженная на него, не способная первой пойти на примирение, Лина старалась с ним теперь не говорить, и постепенно молчание, полностью поддерживаемое сыном, стало чем-то обыденным между ними.

Разговаривать они опять начали лишь несколько месяцев спустя, оказавшись в сложной ситуации.

Как и всех, их затронул кризис, начавшийся после оккупации западного промышленного района. Нынешний прези-

дент обратился в связи с этим к населению, призвав, в отдельности жителей оккупированной области, к пассивному сопротивлению врагу. Это «сопротивление», во многом, и стало причиной обесценивания национальной валюты. Инфляция, а также допущенные оккупационными войсками инциденты – массовые грабежи, избиения, убийства и изнасилования, – привели к поддержке населением местных патриотических сил, выступавших за достойный военный ответ оккупантам. Негативное отношение поддерживалось репортажами побывавших в оккупированном районе корреспондентов; указывалось на омерзительное поведение враждебных войск, в том числе офицерского состава, на частые убийства за неповиновение. Оккупанты запрещали местным ходить по тротуарам, отмечался всплеск безнаказанного садизма. Но больше шуму наделал репортаж о девочках-гимназистках, которых, с попустительства командования, продолжительное время использовала в качестве сексуальных рабынь группа зуавов; в районе и за его пределами это стали называть «черным позором».

Раньше читавшая газеты за завтраком, Лина теперь отказывалась брать их в руки.

– Никому не стоит их читать, – говорила она Мисмис, но на самом деле обращалась к Альберту.

Тот не отвечал ей, рассматривая жуткие фотографии на второй странице.

– Почему так много не наказуемого насилия? – спросил

он отца. – Это же очень нечестно.

– Станешь старше – поймешь.

– Не знаю... все равно нечестно! Должно быть наказание... может быть, даже смертельное. Это ужасно. Куда смотрит их начальство?

– Так сложно, Берти... легко судить, стоя в стороне.

– Ты говоришь так, словно их оправдываешь, – перебил его Альберт.

– Нет... но рубить сразу? Не живется по написанным правилам. Жизнь – это не твой свод законов.

– Ты еще скажи, что мы животные, а те, что ведут себя по-скотски, ближе нас стоят к истинной природе.

– Берти, ты...

– Пожалуйста, перестаньте, – оборвала обоих Лина. – Мы можем не обсуждать мерзость за столом? Можно вообще не обсуждать мерзость?.. Давайте лучше о квартире.

– О, боже мой...

– А разве мы не решили?.. Разве тема жилья менее важна для вас? Мне вот важна! Давайте о том поговорим!..

Деньги у них были, заграничные, полученные от повторных зарубежных публикаций. Но за эти бумажки Лина очень тревожилась: возник слух, что валюту конфискуют в пользу национального банка; за этим она решила, что держать деньги на руках нельзя, а нужно вложить их в жилье. Ее муж согласился, но с условием, что жилье они купят в столице, на Севере, потому что «там все перспективы, не то что в нашей

Минге». Лине его категоричность сильно не понравилась, но цены были смешные для тех, кто имел иностранные деньги. Не живя в этой квартире, можно было отдать ее под съем и получать за то хоть какие-то деньги, а позже, в случае нужды, заработать на ее перепродаже. Муж даже взвалил на нее ответственность за покупку. Он отказался выезжать из Минги и предложил взять с собой старшего сына. Лина, по-прежнему с Альбертом не говорившая толком, на то возражала; она бы взяла с собой Мисмис, но побоялась отрывать ее от учебы, а кузен Альбрехт отказался сам.

– Ну, значит, возьму Альберта, – нехотя согласилась она, потому что боялась одиночества в чужом городе.

А Альберт решил с ней поехать больше для того, чтобы позлить ее, не имея интереса к столичным людям и достопримечательностям. Не покидавший прежде пределов родного города, он чувствовал себя в столице ужасно; все было как-то неуместно, суетно и, ко всему прочему, заносчиво. Отсутствие привычного тепло-сухого фёна компенсировалось гулянием странных, словно зачумленных, пронзительных ветров. Многого из грубой местной речи Альберт до сих пор не понимал, и его тоже почти не понимали.

Полагаясь на собственный буржуазный вкус, мать его после нескольких забегов остановила свой выбор на квартире, что отдавалась со всей обстановкой. Район ей imponировал; тут было уютно и с аристократической роскошью. Она чувствовала себя важной, расплачиваясь валютой, и словно

бы копировала покойную герцогиню, коей не могла быть ни по родословной своей, ни по состоянию финансов. Альберту неприятно стало из-за ее желаний казаться выше, чем она была; он не понимал, зачем это нужно, и от нынешнего его чувства и сама квартира произвела на него мрачное впечатление.

Ужинали они поздно, вне этого дома, и возвратились почти с наступлением полуночи. Альберт старательно показывал, что хочет спать, что он устал, но Лина, бывшая весь вечер беспокойной, нарушила их невыносимое молчание:

– Не лучше ли нам вернуться?

– Как? – изумился он, забыв о том, что они не разговаривали. – Сейчас? Ночью, что ли?.. И с чего бы это?.. Только что все было отлично...

– У меня плохое чувство, – рассеянно ответила она. – Из-за твоего отца. Мне кажется, что-то случилось с ним или...

– Что с ним могло случиться?.. Ты столько времени не расставалась с отцом, что сейчас не можешь без него. Тебе все кажется. Ну что с ним может случиться, а?

– Не знаю. Мне кажется, он потому отказался с нами ехать... что у него дела. И я боюсь за Мисмис.

– Глупость это! – ответил Альберт резко. – Сейчас уже поздно, чтобы ехать. Если хочешь, можем ехать завтра. А сейчас бессмысленно. Ночью спать нужно, а не бегать по чужому городу в поисках вокзала.

Резкость его глубоко ее опечалила – и она согласилась

ехать завтра. Чтобы возражать, сил у нее не было, и она отпустила сына спать. Сама же она не ложилась до раннего часа: бросалась в темноте в кухню, блуждала, забыв, что не у себя дома, пила воду, шла умываться, читала в гостиной.

После полудня ее разбудил Альберт, сбегавший на Ф. за газетами.

– Ты знаешь, что у нас случилось?.. Конечно, не знаешь, – перебил он себя, захлебываясь словами в волнении.

– Что такое? Что случилось?.. Вот я как знала! Вот я как...

– Не знаю... Это похоже на чью-то фантазию! Сегодня же не первое апреля, нет?

– Нет... Ну что?

– Ну... какой-то бунт или... путч. Или как это называется?

– Что, у нас, в Минге?

– Ну, конечно, – перебил ее Альберт. – Это чей-то розыгрыш, я уверен. Да я просто не верю в это! Вот, посмотри!

И он показал ей большой красный заголовок наверху главной страницы.

– Твой отец – не патриот, – заявила мать в озлоблении. – Он забыл о нашем национальном достоинстве. Если бы не *они*, мы были бы отдельной страной. А сейчас... Мы останемся слугами «пройсов» до конца своих дней. И все из-за них! Из-за того, что твой отец против нашей независимости, он за империю во главе с «пройсами» и «Трибуном»!

– И поэтому ты с ним разведешься? – полюбопытствовал

Альберт.

Лина поразила мысль, что они могут развестись.

– Нет, я поклялась испортить ему жизнь после такого. – Она громко хмыкнула. – Я покажу ему, каково устраивать путчи против настоящих патриотов!

Она сузила глаза в подозрении.

– Ты же не на стороне своего отца, верно? Ты не мечтаешь о гигантской и бесполезной империи?

– Наверное, нет.

– Значит, ты хочешь, чтобы мы стали отдельной страной? Чтобы у нас не было хозяев с Севера?

После паузы Альберт спросил:

– Почему нельзя жить в мире, какой он есть? Зачем создавать империи? Или отделяться? Чем плоха нынешняя республика?

– Как – зачем? – воскликнула Лина. – Это оттого, юноша, что политические процессы... Впрочем, позже ты поймешь сам. Твоя мысль – мысль конформиста, а не патриота. Либо ты участвуешь в историческом процессе, либо нет, но если нет, не удивляйся, что однажды тебе не понравится результат.

Отчего-то ему стало печально; он смотрел, как мать разрывает газету на клочки, и переживал оттого, что его не понимают.

– Разве плохо, что я мыслю иначе, чем вы с отцом? – решившись, спросил он.

– Нет. Но в моих глазах ты взрослый ребенок, – ответила Лина. – В твоём возрасте я не понимала, и в 25 лет не понимала, должно быть. Я должна была пережить войну, чтобы понять, о чём мне говорил отец. И раньше говорил мой муж, твой отец. Теперь твой отец забыл своё место. Однажды приходит час, когда мы вспоминаем своё место. Наше место – в Минге. Даже если ты уедешь из неё навсегда, ты будешь помнить, кто ты – в тебе течёт наша кровь, южан, наших героев, которые больше всего мечтали о независимости Минги, о свободе нашего народа. И мне больно смотреть, как твой отец уничтожает последнюю надежду нашего народа на независимость. Поистине имперское мышление – это болезнь.

– Тогда отпусти его, – угрюмо ответил Альберт, – пусть он уйдёт. Зачем тебе жить с ним, если он предатель?

– К сожалению, я люблю твоего отца.

Она пожала плечами и добавила:

– Я не смогу его отпустить.

И, поколебавшись, она выбросила клочки газеты в вазу с сухими цветами.

**1940**

Он снял с лица сухую и тяжёлую книгу – заснул с ней на диване. Близ него растекся оранжевый круг (примерно 56 см в диаметре) от настольной лампы. Он взглянул на страницы

– 56 и 57, как это похоже на...

Аппель прислушался – некто, стараясь двигаться как можно тише, спускался по лестнице в прихожую. Пятая ступенька снизу заскрипела, человек оступился от испуга и схватился за перила (и скрип, он слышал скрип перил) – и Аппель узнал Альберта, сомнений в том не было. Он тихо, осторожно (не более 10 см за шаг) приблизился к двери и выглянул из гостиной.

– Берти...

Тот вздрогнул и уставился на Аппеля, что уже открыл полностью дверь и оперся о косяк.

– Который час? – после паузы спросил Альберт.

Аппель заметил: он беспокойно растирал руки, должно быть, в желании поскорее уйти.

– Конечно, около трех часов ночи, – ответил Аппель, – если точнее... 57 минут третьего. Ты прости, пожалуйста, что я лезу не в свое дело...

– Нет, ничего, – резко ответил Альберт. – Мне душно. Я выйду прогуляться. Скоро будет светать, тем более я не потеряюсь.

– Конечно... хочешь, я пройду с тобой?

– Нет, спасибо. Извини.

Покусывая губы, Альберт отвернулся и снял с вешалки летний плащ. Как на поводке, в одной рубашке, несмотря на раннюю утреннюю влажность, Аппель поплелся за ним до калитки. Близ дорожки Мария оставила фонарь, оттого бы-

ло не столь темно, как он боялся. Он забыл, что должен считать шаги – он шел за Альбертом, смотрел на его склоненную черную голову и думал, как было бы хорошо, если бы Альберт внезапно оглянулся и они бы столкнулись. Альберт остановился у калитки и положил руку на щеколду; и Аппель отметил, какая эта рука белоснежная, нежная, очень тонкая и красивая.

– Из... извини, – проглотив что-то (может быть, слова?), сказал Альберт. – Я...

– Конечно. Ты хочешь побыть один.

Стоило бы отступить, но Аппель стоял как вкопанный. Альберт покусывал губы и смотрел в черноту за забором.

– Эм, Альдо, ничего, если я спрошу?.. Я... очень плохой человек?

– Что?.. Нет, Берти! – воскликнул Аппель. – Конечно, это не так. Ты... хороший. Конечно, ты скажешь, что я не могу быть объективным. Мне кажется, что ты излишне строг к себе. Ты... Берти, ты не виноват!

– Я не знаю.

Они помолчали. Он чувствовал себя совершенно больным – и спросил:

– Ты не считаешь меня больным, Берти?

– Нет, – ответил тот, – если не считать болезнью всякое искреннее и глубокое чувство.

– Берти... я... я бы сделал для тебя все. Все на свете! Честное слово! Если бы... конечно, если бы у меня были силы, я

бы... я бы умер, чтобы воскресить Катерину. Я... но это не в моих силах! Это не в моих... Я так виноват!

– Не виноват. Ты... всегда будешь моим другом.

– Я ошибся, Берти, я, конечно, очень ошибся! Я не понимал, как она важна! Если бы я понимал... Я боялся, что ты с ней счастлив. Прости меня...

Коротко тот кивнул и вышел за калитку. Аппель поспешно зашагал к дому; он справился с сильной потребностью по-тушить – опрокинуть, разбить фонарь, который унижал его. 3 шаг, 5 шаг, 7 шаг. 15 шагов – и он окажется у двери. Он остановился, не сделав положенные 7 шагов. Ему одновременно было больно, стыдно и страшно; скручиваясь вместе, чувства эти рождали опустошение. 4 минуты и 17 секунд Аппель стоял, уставившись на фонарь. Он был в 4 шагах. Сколько же в нем сантиметров в высоту? Он закрыл глаза, пытаясь посчитать. Наверное... не меньше 20. Нет, 23 сантиметра. Теперь все правильно.

Небо на востоке постепенно светлело. Темный, почти черный, там вливался в сине-чернильный, а тот впитывал сине-зеленый. Он остановился на дороге и, растирая руки, смотрел, как меняется жизнь далеко-далеко. Деревья на западе стояли темные, восток тянулся к ним, но был пока слишком далеко. Шевелились высокие кроны. Он хотел пойти дальше, но было странно тяжело – к внутренностям привязали камни, веревки эти чесались, и тело стало таким тяжелым, что движения были на грани с невыносимым. Разве

что руки хорошо слушались.

Шелестел утренне-ночной ветер. Двигалось разное небо. Кроны слегка посветлели. Он машинально растирал запястья.

Кете шла со стороны моста – легкие, меланхоличные шаги, не похожие на ее естественные, но то была она, это она приближалась к его спине. В полутора метрах Кете остановилась и сказала еле слышно:

– Я вас не узнала поначалу. Извините.

Пересилив себя, он оглянулся. Софи безучастно на него смотрела, в сумрачной тени лицо ее было не некрасиво-серым, как у обычных людей, а божественно-серебристым. Розовое платье ее шелестело, словно ангельские крылья; в руках она держала букет полевых цветов. Она не удивилась, встретив так рано знакомого, быть может, ее не удивляло ничто на свете или же безразличие ее было так велико и возвышенно, что...

– Почему вы вышли так рано? – спросил Альберт, не в силах больше молчать.

– А разве это плохо, что я гуляю рано?

Альберт хотел сказать, что это может быть небезопасно (какая чушь, как сказала бы Мария!), но Софи заговорила снова:

– Мне приснился сон. Мне снилось, что я должна пойти на мост. Я проснулась и... поэтому я отправилась на мост. Вам нравятся мои цветы?

– Цветы?..

Лунно-серебристое сияние заулыбалось – это заиграли ее губы.

– Вам не спалось? – прошептала Софи.

– А-а-а... мне нужно было освежить голову. Мне...

– Вам нелегко. Я понимаю... Хотите пойти со мной на мост?

– Но вы же только что там были! – возразил Альберт.

– Ничего. Я могу вернуться с вами. – И она первой пошла обратно, зная, что он послушается.

И он, как Аппель ранее, словно привязанный, поспешил за ней. Софи, что поразило его, скользила очень быстро, движения ее, плавные и нежные, были почти неуловимы – из живой женщины она превратилась в духа, что заманивает очарованного мужчину в таинственное место в единственном желании – высосать из него силы. Раз Альберт окликнул ее, попросил ее сбавить шаг, но Софи как не слышала его.

Пропасть закуталась в сизый туман. Мост летел и, показалось Альберту, раскачивался. Софи первой ступила на него, а после взглянула на своего спутника – и глаза ее были слишком близко и далеко, пустые и неправильно красивые глаза.

– Я не смогу, – глухо ответил он.

Он отступил, чтобы не смотреть в туманную бесконечность.

– Нет, я не... нет. Я... пожалуйста, вернитесь, там может быть опасно.

– Разве я могу упасть? – спросила Софи.

– Нет, я... я ненавижу этот мост! Я не хочу быть тут! Понятно?

С небесным спокойствием она смотрела на него сверху, а полы ее платья раскачивались ветром – вот-вот она взлетит. Образ этот причинял невыносимую боль. Он закрыл глаза руками, чтобы она перестала на него смотреть. Отчетливость, которую приобрел ее облик вопреки законам раннего утра, – она резала глаза. Нет, глаза болели от напряжения – от ресниц отделилось несколько капель крови. Он кое-как отыскал землю и сел.

– Вам плохо? – спросила Софи.

Он притворился, что не расслышал; она повторила вопрос.

– А, черт! Черт, мне плохо! Да, мне плохо!

– Это из-за меня?

– Из-за... Нет!

– Я не знала, что Катерина...

– Я не хочу об этом говорить!

Рукавом он вытер глаза и взглянул на Софи – волосы ее растрепались на фоне посветлевшего неба. Меланхолично она трепала букет, обрывала лепестки и бросала на ступени моста.

– Я понимаю ваш гнев, – негромко сказала она. – Я понимаю ваше горе. В ближайшее время я испытаю схожее горе. Мой муж, Петер, умрет в эти дни.

– Что?.. – то было так внезапно, что Альберт не понял ее.

– Мой муж скоро умрет, – повторила Софи.

– Петер? Но почему?

– Он выполнил последнее условие, чтобы сбылась его судьба. Это его рок.

– А что такого сделал Петер?

– Вы хотите знать?

– Естественно! Вы только что сказали, что Петер вот-вот умрет!

– Вы знаете, что Альриха Аппеля призывают в армию?

В недоумении Альберт что-то пролепетал. Он ничего не понимал.

– Петер написал донос на него. Альриха бы не призвали, потому что он работает на пропаганду. В доносе мой муж написал, что Альрих Аппель любит мужчин. Петер исполнил условие своей судьбы.

Сказала она это спокойно, но Альберт ей не поверил. Мост, и Софи, и небо, и туман – в его сознании они сливались, как в мучительном сне (или у него закружилась голова?). Опершись о влажную землю, он встал на ноги. Встав к нему вполоборота, Софи смотрела на свои туфли.

– Нет, я... не верю в это... Не может быть! Альдо – наш общий друг! Это... лишено смысла! Зачем? Зачем ему это?

– Вы думаете, мой муж преследовал какую-то выгоду? – тихо спросила Софи.

– Это вы мне скажите! Это вы говорите о доносах! Черт!

Это... это ваши безумные выдумки! – закричал он. – Вы думаете, вам верят? В ваши бредни, которые вы выдаете за предсказания? Да никто вам не верит! Над вами насмеются, за вашей спиной! А почему! Потому что ты ненормальная! Тебе нужно лежать в психушке! Ты...

Как не слыша его, она смотрела вверх. Не переставая ругать ее, Альберт пошел обратно; на повороте налево он споткнулся и упал бы, если бы не схватился за дерево. Софи не шевелилась. Наступало спокойное и светлое, обыкновенное летнее утро. Софи взглянула вниз. А после взмахнула букетом – и бросила его с моста в туман.

## 1930

Как-то он узнал, что они с Альбертом Мюнце живут на одной улице. Выходили они из дома приблизительно в одно время и шли навстречу друг другу: Дитер – к трамвайной остановке, а знакомый его, кое-как удерживая портфель, – в сторону вокзала. Желая быть культурным, последний считал нужным снимать шляпу, а Дитеру не оставалось ничего иного, как отвечать ему кивком, дабы не лишиться самоуважения. Увидел он затем и членов его небольшой семьи: мать его, сухонькую слабую женщину в старом пальто и шляпке с опущенной вуалью, обязательно в перчатках, и, кажется, сестру, похожую очень на Альберта внешне, красивую темной южной красотой. Идя за ними однажды по ули-

це, невольно Дитер услышал их разговор, узнал, что девушку зовут Мартой, а брата она по-домашнему называет Бертель: «...Мне кажется, Бертель слишком строг. Он считает меня безответственной, но сам он излишне сух и серьезен. Даже Альбрехт не столь замороженный, мама...». Альбрехтом звали их кузена.

Вечером, закусывая и читая в дешевом кафе на углу, он заметил за столом поодаль Альберта Мюнце; тот то читал из криминальной психологии, то выписывал нужное в огромный блокнот. Несколько раз Альберт вставал и шел долить кофе, и, когда он проходил мимо Дитера, тот видел его покрасневшие от усталости или напряжения глаза. Через час утомившись, Альберт достал из кармана платок и приложил его к глазам, чтобы убрать капли крови; чтобы скрыть это, он вышел в туалет, а вернулся из него слабым и каким-то рассеянным. Не сумев читать дальше, Альберт убрал книгу в портфель и, посидев немного над чашкой кофе, тихо ушел.

В следующий раз, тоже вечером, он сидел уже с Альбрехтом и, наливая вино себе, говорил. Чтобы послушать их, в любопытстве Дитер сел за ближайший стол, но спиной, чтобы Альберт его не узнал.

– Нужно учиться. Ты понимаешь?

– Все понимаю, но... не могу я заставить себя! Вот ты мне скажи, кузен Берти: что ты видишь тут? Ну?

– Пиратские корабли в южном море. Разве ты не слышишь, как поют русалки?.. Я люблю женские голоса, их неж-

ность...

– Ну, хватит притворяться! Ты не романтик, Берти. Тут же простая мазня! Тебя послушать, так в любом нагромождении можно увидеть хоть корабли, хоть подлодки. Большое мышление! Вот, это ты видел?

– Я не понимаю твою логику. Что в этом больного? Ты мне объясни, Альбрехт...

– Объясняю... тут и слепой заметит, что больного! Природа, животные, люди так не выглядят! В этом нет и толики правды! Разве мир такой, каким его показывают эти люди?

– Нет, но... Альбрехт... но это не тот вид искусства! Я хочу сказать, это же не фотография!

– А чем плохи классические работы? Разве они плохи, Берти?

– Нет, они не плохи. Но художник не обязан рисовать... Я хочу сказать, задача художника показать, какое впечатление на него производит окружающий мир. На место обычного изображения действительности приходит личная правда художника, что и делает его работы узнаваемыми, исключительными.

– Я знаю, почему ты это говоришь.

– И почему же?

– Ты начитался «умных» книг.

– Эм, а умные книги – это... неправильно?

– Нет, если они не пытаются вбить тебе что-то в голову. Некие всезнающие специалисты, желая прослыть умными и

перещеголять друг друга, в свое время повешали на эту дрянь ярлыки с глубокомысленными пометками, потешили свое самолюбие, а вы, бараны, стали за ними повторять всю эту чушь, чтобы и самим прослыть интеллектуалами. А в действительности вы – обычные бараны, настолько заморожены этой заушной мутотенью, что не способны от нее отвлечься и посмотреть собственными глазами!

– У тебя мышление, Альбрехт... я хочу сказать... не абстрактное.

– Я знаю это оскорбление. Это что за мышление, скажи мне, – видеть во всякой чепухе глубины Вселенной?.. Покажи эту дрянь любому из нормальных, не оболваненных, людей – и ты услышишь то же, что услышал от меня. Но в глазах эстетов это плебейское, обывательское.

– Эм, я не хотел тебя обидеть, Альбрехт.

– А я не чувствую себя обиженным!

– Зачем нам спорить? Мы с тобой выпили... Ты знаешь статистику по уголовным преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения?

– Опять ты о работе! Если у тебя и есть свои мысли, Берти, то они все о работе! Работа, работа, уголовка! Что ты знаешь, кроме своей работы?

– Не понимаю тебя. Прости, Альбрехт, но...

– Разве это нормально? Это разве жизнь, скажи мне?!

– Кажется, ты знаешь все о моих мыслях и моем предназначении, Альбрехт.

– Нет, но я знаю тебя и понимаю...

– Я снова даю тебе совет: учись и учись, если не хочешь оставаться бесполезным.

– Чтобы стать похожим на тебя?.. Ответственным, правильным. Правильным... Не хочу.

– Ага... Лучше всю жизнь по улицам шататься?

– Я не шатаюсь. Мы с ребятами распространяем партийные газеты. От нас пользы больше, чем от тебя, ученого Альберта.

– Да, Альбрехт, я на работе веселюсь, зарплата начисляется, а я ни черта не делаю!.. Битые витрины – тоже ваше?

– Нет. Нет, нет.

– А нам потом за вами это разгребать! Этим вы хорошую славу партии не сделаете! Лучше сделать что-то полезное!.. Мусор на улице убрать... хоть бабушку через дорогу переведите! Ваши поступки должны олицетворять величие революции, а не... О-о! – воскликнул он, заметив, что Дитер встал. – Я с вами! Да!

– Берти, я хотел с тобой...

– Ничего, ничего, потом! Я с вами... как вас... Гарденберг?..

На улице Альберт неожиданно звонко рассмеялся и, схватив Дитера за рукав, воскликнул:

– Вы не знаете, что вы сделали! Вы меня просто спасли!.. Вы его не слушайте, – не отпуская его руки, улыбаясь ласково, заговорил Альберт. – Он мальчишка! Какая-то мешани-

на в голове!

– Ужас какой!..

– Вы не обижайтесь, – избавляясь от улыбки, но весело мигая глазами, ответил Альберт. – Хотите хорошее общество?.. Вы Жаннетт знаете же? Она мне сказала, что вы – ее старый знакомый. Хотите – и к ней? Они на набережной живут. Пешком можно...

– Как вы познакомились?

– А, это! С Минги я ее знаю. Отличная тетка!

– Она... с кем-то живет?

– А-а-а... у нее племянницы. Мария, старшая. Вы знаете, кругом одни иностранцы! Кого только нет, а соотечественники на пересчет! Мне Кете рассказала что-то из их иммигрантских баек: «Встречаются их эмигранты на нашей Ф. Первый: "Какая внезапность! Десять лет не виделись! Как живете?". Второй: "Замечательно! Поразительное место! Всюду встречаю знакомых! За минувшие недели я встретил столько людей, с которыми не виделся годами! Одно плохо: слишком много иностранцев, даже в Петербурге такого не было!"». Не смешно?

– Мне – нет.

– А, пускай!

– Вы сильно пьяны?

– Слегка. Вы со мной?..

Альберт старался спрятать улыбку. Глаза у него сделались краснее прежнего. Отпустив руку знакомого, он привычно

полез за платком и им стал вытирать нижние веки.

Навстречу им выбежала девочка, почти уже девушка, лет четырнадцати, и закричала:

– Вы к нам же, к нам?.. Скажите, что вы к нам!

– Куда ты выскочила?.. Без шапки, без всего!

Рыженькая, в распахнутом пальто и в сапожках, она остановилась близ них и опустила руки по швам. Что-то нежное и невинное проступило на лице ее в этот момент – на лице не столь красивом, сколь оживленном, с подвижной мимикой мягких черт. Сзади все было сострижено, как у мальчика, одна короткая рыжеватая прядка опускалась слева на щеку. Россыпь веснушек, может быть, и уродовала ее, но от того отвлекали небольшие, под маленьким лбом, карие глаза, и само сочетание светлого (с кожей), золотого (с волосами) и темного было очень привлекательно.

– Ну, и что скажет Мария? – улыбаясь, говорила она и стягивала тут же перчатки. – Вот, я нынче и без перчаток – уже! Что, донесете? Ну, вы смешные!.. Вы смеетесь – значит, вы немного пьяны.

– Ты не можешь это знать, Кете.

– Не могу? Вы наивны! Вы только и смеетесь, если пьяны.

– Ох, что-то меня ругают все, ужас! – со смехом ответил ей Альберт. – Никто не жалеет несчастного работника сами знаете чего!

– Не знаю. Чего?.. А вас я знаю, – переключившись на Ди-

тера, сказала тише она. – Вас зовут Дитер. Вы мне брат.

– Ну, не совсем, – смутившись, ответил тот.

– Нет, не по крови, конечно. Но я вас помню. Я хотела вас встретить, сказать вам спасибо за то, что были нежны со мной. Спасибо вам.

– О-о-о, ну что ты?..

Он чуть не рассмеялся – не весело, а нервно – от прилива внезапной нежности и любви к ней, сейчас уже взрослой, но вспомнившей его.

– Я вас тоже люблю, тебя и Марию, – тихо, не сдержавшись, сказал он. – Я словно домой пришел. Не знаю, что... Что мне сказать?..

Загрустивший потому, что его забыли, Альберт вдруг сказал девушке:

– Кете, хочешь, я покажу тебе волшебство?

– Фокус, что ли?.. Я их все наизусть знаю. Альбрехт мне их показывал.

– Нет, не фокус. Гарденберг, дайте мне монету! Есть у вас мелочь там? Что, ничего не осталось?

– Но вы вернете, – протягивая ему последнюю, ответил он.

– Не знаю, верну ли. Вам жалко?.. Вот, Кете, смотри: у меня в руках монета. Так?.. Момент – и ее нет. Куда же она делась?

– Она у вас в рукаве, – с ироничной улыбкой ответила Катя.

– Нет.

– Что значит – нет? Вы убрали ее в рукав.

– Нет, – улыбаясь, повторил Альберт и протянул ей руки. – Смотри! В рукавах ничего нет. Можешь прощупать.

С недоумением уже, хмурясь, Катя изучила рукава и тренчкота его, и пиджака под ним, и даже рубашки, лезла подальше, а после, не стесняясь, стала осматривать руки, думая, что монету он прятал за пальцами.

– Ну, так нечестно! – воскликнула она, ничего не найдя. – И в карманах ничего?.. А во внутреннем?.. Вы что, ее съели?

– Не поднося руки ко рту?

– Я не играю так! – выпалила она, отбрасывая с досады его руки. – Вы обманщик!

Дождавшись, пока она забежит в подъезд, Альберт поднял из снега холодную монетку и передал ее Дитеру.

– Как знал, что не заметит. Мы слишком редко смотрим себе под ноги.

В прихожей Дитер снимал пальто и незаметно вытаскивал на свет примявшийся маленький букет фиалок, который он купил, идя с Альбертом по набережной. Ему и в момент покупки, от взгляда Альберта, по сути, безобидного, стало стыдно, а теперь и вовсе показалось немислимым, что он подарит цветы эти женщине на глазах у посторонних. Опасаясь, пряча глаза от Альберта, он положил букетик на тумбочку у двери и прикрыл его журналом – и вовремя, потому что вошла Жаннетт и сказала:

– Почему ты не зашел раньше, Дитер? Хоть повспоминали

бы вместе Лизель... А ты исчез – и с концами!

– Как я мог прийти, если вы не оставили мне своего адреса? – сдерживая раздражение, спросил он.

– Разве не оставила?.. Неужели забыла?.. Извини старуху. Все у меня вылетает из головы!.. Жаль, что мест нет. Придется пока вам постоять. У нас больше нет стульев.

Уходя в следующую комнату, она понизила голос.

– У вас что, Герман? – тише, ее догоняя у дверей, спросил Альберт.

– Что?.. А-а, он самый. По голосу узнаете!

Юноша, о котором они вспомнили, оглянулся тут на Альберта и помахал ему; странным образом он уместился в куче разрозненного барахла, загромоздившего гостиную, и даже торжествовал в этом фаталистически-необъяснимом хаосе.

– Это муж моей сестры, – пояснил невозмутимо Альберт. – Германн, работает в партийной газете.

– Что, Герман Германн? Это как?

– Эм, у папы с мамой не было фантазии.

– Такой юный – и уже женат?

– Сейчас женятся рано, сами знаете. Это мы, старики и холостяки...

– Говорите за себя! Сколько вам лет, Мюнце?

– Позвольте... да, двадцать семь. Эм-м-м... в следующем году будет.

– О, мы ровесники. Да, и что тут вообще?..

– Да ничего, знакомые пришли, кружок для болтовни. У

вашего генерала, в основном, кто-то из либералов и из умеренных консерваторов бывает. А тут – либо социал-демократы, либо мы. Жаннетт пишет о нас в свою газету, что-то в стиле: «Их нравы, особенности, пристрастия и все такое». Она считает себя независимой, беспристрастной – поэтому нас не ругает. И тон у нее интеллигентный. Не то, что у моего отца сейчас.

Альберт постоял немного, прислонившись плечом к двери; потом сказал, опять понизив голос:

– Если Жаннетт спросит, я за шахматами.

– С кем играете?

– С Кете, младшей. Она великолепна в этом... моя ученица. Она...

Он не закончил, посторонился, чтобы между ними прошла старшая племянница. Задев Альберта плечом, глубоким тихим голосом она сказала:

– Извините, не хотела.

На другого знакомого она не посмотрела, словно не заметила, но невнимательность эта была нарочитой и для него оскорбительной. Сутулое и неловкое в ней выступило отчетливо, будто бы она застыдилась себя. Поправляя воротник на вытянутой шее, Мария так прошла в дальний угол и не поблагодарила Германа, который уступил ей место.

– Нет, это всего лишь статистика, – говорил Герман Жаннетт. – Часто от смешения ничего хорошего не получается. Несчастный ребенок не знает, к какой себя относить нации.

Стираются границы, но не всегда это работает на объединение людей.

– Позвольте, – возразила с улыбкой Жаннетт, – вы женились на сестре Альберта, а у них какие крови, из чужих? И итальянская, и сербская, и венгерская.

– Я лишь хотел сказать, – краснея, продолжал Герман, – что не стоит разное в один сосуд лить. Я не против нашего дружеского общения, нет ничего плохого в том, чтобы изучать чужую культуру или язык, но это все... Бывает, что смешение просто невозможно! Разные миры, религии, история... Собственно, я хотел рассказать о моем знакомом, приятеле, если позволено мне так выразиться. Его сестра собралась замуж за еврея. Родители их – люди хоть и консервативные, но во многом чересчур терпимые. Посмотрели, что влюблена она, как девчонка, – и смирились, стали звать родственников жениха к себе знакомиться. Пришла еврейская семья – без оскорблений сейчас, уверяю! – зажиточная, явно из тех, что на спекуляциях в инфляционные годы состояние делали. Пришли, чопорные, разнаряженные, расселись в скромненькой гостиной. Жених около матери своей суетится: понимает, что неуютно ей, а на невесту и не посмотрит, словно застыдился ее. Осмотрелись гости, сквозь зубы с хозяевами заговорили, все больше о финансах и о вере. Полчаса спустя, все выяснив, заявили, что не женится их сын на невесте – и вера у девушки не та, и финансы ее не позволяют, и знакомые их, из еврейской общины, станут на них косо

смотреть, что разрешили сыну на чужачке жениться, не их она крови, не их воспитания. Сказали – как в душу хозяевам плюнули. Дочка на своего жениха обиженно смотрит, а он отворачивается, матери помогать бросается. Так и не объяснился с тех пор, и прощения у нее не попросил. Я считаю, так лучше, своим у чужих не станешь, как ни старайся, но не объяснишь же это влюбленному человеку, девушке... Я могу только о тех говорить, которых встречал и о ком слышал от тех, кому доверяю, и все, как ни странно, или торгаша худшей масти, или спекулянты, или приспособленцы на тепленьких местах. Ну вот такие представители нации мне встречались! У нас-то это неоднородно, разные есть, а с ними очень мерзко получается, что гниль эта, гадость вся, на поверхности, а те, что попримличнее, честные, не воры и не спекулянты, – их не слышно, по каким-то углам попрятались и вымирают себе потихоньку. Я не говорю уж о венце мученичества. Чем больше они страдают, тем лучше: они себя со своими муками избранным народом чувствуют, особенным, с уникальным историческим и культурным путем развития. Что с ними станет, если исчезнет их ореол мученичества в чужих и в их собственных глазах?.. Как вы относитесь, Жаннетт?

– Не люблю, – спокойно ответила она.

Заканчивая, Герман присел на освободившееся от другого гостя место. Более по виду его, изменившемуся к концу монолога, можно было понять, что он хотел не выговорить-

ся, а оживиться. Замолчав, он стал сникать, лицо его, раньше открытое, юное, стало замкнутым и неприятным ему самому; он взялся неловко потирать руки, а потом и встал, и начал расхаживать, раздражая этим всех остальных.

Воспользовавшись тем, что его игнорируют, Дитер сел рядом с Марией и стал смотреть – в высоком зеркале отражение ее профиля было хищно и прямо. Волосы ее казались темнее от неверного отсвета, уложены пышно вокруг головы большим «солнышком». Ее прическа дрожала, стоило ей повернуть голову. Она смотрела в сторону Германа и гладила красивого кота, что слегка прихватывал когтями ее платье. Невнимательность эта была наиграна, и она наконец смутилась и чуть покраснела.

– Что?.. – не выдержав, сухо спросила она.

– Ничего. Нельзя посмотреть?

– А что нужно?..

Мария на него покосилась; губы поджала, заметив и несколько мятый костюм, и сапоги – вместо положенных городских ботинок. Сапоги были облеплены грязью и глиной.

– Это твой кот? – кашлянув, тихо спросил он.

– Это кошка, – сквозь зубы ответила Мария.

– Ясно...

– Это Кати.

– Ясно...

– Что с обувью вашей? По каким траншеям вы лазали?..

У нас это не принято.

– Извини. Я... это случайно вышло.

– Случайно?..

– Прости. Это не повторится.

Раздвоенный профиль Марии задрожал.

– Я извинился, – повторил он уже мягче.

– Нет, это... чушь, не из-за этого, – сказала Мария. – Это личное.

– Вот как...

– Вы стали очень взрослым. Что-то такое... неопишемое.

– Но и ты стала взрослой... Я пришел просить прощения.

Прости меня за прежнее. Я вел себя ужасно с тобой.

– Я не злюсь. – Она смотрела поверх его плеча. – Это все?

– Ты не хочешь меня видеть? – У него пересохло горло. –

Я могу уйти. Ты ничего мне не должна.

Мария заметно колебалась.

– Я думал о тебе и... хотел тебя увидеть. О чем ты думаешь?

– Вы мне человека напомнили одного. Но какая разница?.. – с досадой сказала она и поспешно встала.

Он не пошел за ней, хотя она оглянулась. Севший близ него Альберт хотел спросить у него что-то, но он с ним обошелся холодно – и, оскорбившись сменой его тона, Альберт от него отсел.

Мария отказалась выходить из своей комнаты и провожала его одна тетя Жаннетт.

– Можно мне приходиться? – прямо спросил он у нее.

– Я не знаю...

– Я ничего плохого вам не сделаю, – мягко сказал он. – Или вы считаете, что за минувшие восемь лет я не изменился?

– Я не знаю... простите.

– Обязательно! – закричала Катя, выбегая к нему из гостиной. – Не смейте не приходиться! Слышите? Можно же, тебя Жаннетт? Он наш друг. Он много помогал нам, я помню! Можно?

– Ну, если ты хочешь... – как бы в шутку сказала Жаннетт.

– Обязательно?... Можно звать вас по имени? Очень уж красивое у вас!

– Конечно, Катя. О, прости! – словно опомнившись, сказал он. – Я оставил у вас на тумбочке... это тебе, Катя, цветы!

– Как мило, – понимая его, ответила она. – Красивые, Мари? Поставишь их в вазу?..

– Умоляю вас, – прошептала ему Жаннетт, открывая дверь, – пощадите наши чувства, не трогайте старшую. Она достаточно от вас натерпелась! Неужели забыли?

– А вам что? Забыли, что сами ее во всем обвиняли? Вот и не учите меня теперь!

И, в злобе на растерявшуюся Жаннетт, он вышел от нее и хлопнул дверью.

Дом этот поражал его своей ненормальностью, по всем законам человеческой логики он существовать не мог. В гости-

ной перестановки бывали каждый день: зачем-то перемещались с места на место кресла и стулья, диван то отъезжал к стене, то выпячивался ближе к дверям, менялись тумбочки, лампы, картины перевешивались или исчезали вовсе; бывало, что мебели в гостиной становилось как-то очень уж много, а иногда комната встречала гостей почти пустой, с голыми стенами и даже без занавесок на окнах. Пианино, на котором часто гостям играла Мария, оставалось у стены слева от двери, но то появлялось у окна, то вновь становилось близ самого дверного проема и чуть ли в него не втискивалось. В остальных комнатах царил обыкновенно похожий бедлам: одни стояли без мебели, а в иных находились лишние стулья, столики и настольные лампы. В доме, помимо этого, ощущалась острая нехватка самых обычных вещей: от стаканов, тарелок и столовых приборов до письменных принадлежностей и ниток с иглками.

Гости, обнаружившие это место до Дитера, относились к неудобствам с уникальным пониманием и принимали перестановки как что-то естественное. Делились они на несколько групп и не пересекались друг с другом из соображений безопасности. Меньшую часть составляла либеральная буржуазия, «интеллигенция»; с тетей Жаннетт представителей этого вида познакомил близкий ей генерал. Они же были наиболее пессимистичными: их очень беспокоили кризис, потеря капиталов, усиление левых и правых партий, отсутствие внятных перспектив, неумелая политика кабинета ми-

нистров и тупость избирателей, которые вечно голосуют не за тех и уничтожают демократию, давая больше власти политическим авантюристам. Поклонники социал-демократии, в свою очередь, составляли вторую по численности группу гостей; сила эта пользовалась уважением рабочего класса и некоторых интеллектуалов, но много социал-демократы потеряли в среднем классе, что с развитием кризиса увлекся радикальной политикой. По количеству и активности их значительно превосходили члены партии «крестов» и ей сочувствующие. Уровень их оптимизма, связанный с ухудшением экономического положения, был несоизмерим с оставшимися у либералов и социал-демократов положительными чувствами. Партийные, как это ни было странно, также делились на три категории. Первая группа, самая многочисленная, состояла из людей категоричных и отчаявшихся, имевших страсть к военной профессии; к ним – из-за их «плебейской» грубости – Дитер испытывал омерзение, и, более всего, его оскорбляла их «военщина» в одежде, поскольку к подлинной службе отношения не имела. Вторая группа тоже была ему неприятна, но своей элегантностью в той же самой униформе. Эти были образованными, показывали себя воспитанными, а форму носили не из желания подражать армейским, а от того только, что внешне они в ней казались себе и окружающим красивыми. Стиль партии и ее «романтичность» влекли их, отменяя сомнения по части партийной идеологии. Наименьшую же пока группу составляли моло-

дые интеллектуалы; многие из них в партии не состояли, а лишь ей сочувствовали или были из «семей партийных билетов». Они блюли местную штатскую моду и, месяцами откладывая с зарплаты, заказывали себе одежду в ателье по английским выкройкам, ибо английский стиль опять стал актуален. Так, они считали обязательными английскую шляпу, светлый тренкот и разноцветный свитер, а потом уже легкие ботинки, перчатки и зонт-трость яркой расцветки.

Альберт Мюнце был почти типичным представителем последней группы. Жил он со своей семьей, преданной партии, но в партию не вступал, поскольку состоял на государственной службе. Подражая столичной элите, он завел себе бежевый тренкот, английскую шляпу и клетчатые брюки. Шарфов он имел бесчисленное множество, и за долгий период их знакомства Дитер так и не смог пересчитать и запомнить их все. Приехав с Юга, Альберт чувствовал себя чужаком на новом месте. Сравнивая с Мингой северную столицу, последнюю Альберт называл «уродливым городом, каменным лабиринтом, удушливым и грязным», жителей ее – «похабными хамами и плебеями», местный язык – «резким, неприязненным и невыносимо сухим». Обижаясь на его южный снобизм, Дитер стал вести себя с ним холодно, чуть ли не злобно. И Альберт тоже, поняв его неправильно, сделался в ответ сухим и неприятным.

Не имея отношений ни с Марией, ни с тетей Жаннетт, Альберт приходил ради Кати; часто они играли в шахматы

или что-то вместе читали, а потом обсуждали. Девочку эту все очень любили, даже Мария, которой пренебрегали с детства – ради самой маленькой. Заласканная всеми, избалованная, Катя порой была капризной и своенравной, но все же любила тех, кто к ней хорошо относился, а Альберта почти боготворила. Марии она желала самого лучшего, а именно она считала, что сестре ее обязательно нужно выйти замуж за Дитера (ей же, как она полагала, нужно было во что бы то ни стало оставаться с Альбертом).

– Вы, к сожалению, Марии не нравитесь, – размышляла Катя как-то в его присутствии. – Я бы сказала, но вы же обидитесь. Все мужчины – как дети. На все обижаются!

– Нет, я... не буду, – помедлив, с улыбкой произнес он. – Можешь сказать.

– Ну-у-у-у... Так нечестно. Вы просто обязаны обижаться. Давайте сыграем по правилам. – Улыбаясь в ответ, Катя прошла мимо него. – У вас лицо – особенно, когда вы молчите – высокомерное, снобистское, временами и злое на что-то. Ей это очень не нравится. Она мне сказала. Она вас надменным считает. Вы и не заговорите с ней по-человечески, и все с выражением таким, будто это ниже вашего достоинства – с ней говорить. Мне кажется, дело тут не в Марии. Это на вас общество и тетя Жаннетт так влияют. Вы боитесь показать свои чувства.

Помолчав, она забралась в кресло слева от него.

– Вы брат мне, Дитер?

– Ну... в некотором смысле. Конечно.

– Это был правильный ответ. Вы знаете, как правильно. Как Альберт! Поражаюсь вам! Но за это я вам помогу. Хотите?

Он снисходительно смотрел на нее.

– Вот обязательно нужна эта мина!.. Скажите, вы влюблялись когда-нибудь? Я вас как близкого человека спрашиваю и... как мужчину.

– А тебе-то зачем?

– Ну, я просто... как нужно вести себя, если ты влюблена?

– Снимаю шляпу, Катя, – пытаюсь не рассмеяться, ответил он. – Ты очень храбрая, даже странно. Как нужно вести себя? Не навязываться объекту любви.

– Ну вы даете!

– Что, прости?

– А как же объект любви узнает о моих чувствах? Письмо – это тоже навязывание?.. Вы такой скучный! В наш век девушки первыми должны бросаться на шею – а если нет, так мужчина сам ничего не сделает. Хотела бы я появиться на свет этак лет сто назад... А, так мне хочется, чтобы все были счастливы!

Он понимал, что она шутит, но ему от того было слегка беспокойно.

– И все-таки я смогу сделать «как лучше», – говорила она, улыбаясь. – Вы потом еще спасибо скажете. Скажете же?.. Я с вас обязательно требую.

На другой день Катя захотела посмотреть самолеты.

– Это такое шоу, понимаете? – рассказывала она тете, зная, что та ей не откажет. – Да, ехать на поезде, но оно того стоит! Яркое шоу, с трюками, знаете, и там... с этими... ну, «шлейфами» в небе!

– И за этим полтора часа нужно трястись в поезде? – уточнила сейчас же тетя Жаннетт.

– Вам не обязательно ехать со мной. Можно мне взять Мари с собой, а? Но там может быть опасно... не знаю...

Жаннетт не хуже нее знала об опасности: за городом было несколько лагерей для нищих, что выбирались из них на подобные шоу в поисках денег и пропитания. Подумав немного, она решила приставить к девочкам Альберта, но сможет ли он заступиться за них, сомневалась; просить же было некого, кроме него, никому Жаннетт больше не доверяла, а на вопрос Альберта, не взять ли им так же с собой Дитера, ответила, что точно не рассматривает того в качестве провожатого... хотя бы и гипотетически.

Зная отношение ее, Дитер и не думал навязываться – и не поехал бы, если бы Альберт не позвонил ему утром, в день поездки, и не спросил, не может ли и он собраться – если, конечно, это возможно и Дитер хочет того.

– Что? Как я узнал номер? – удивившись, воскликнул Альберт. – Вы оставляли его Жаннетт. Мария попросила вас зайти за ней. Я вам скажу, как ее найти. Она заканчивает в час.

– Мария сказала?

– А что? Она не могла сказать?..

Казалось, Альберт не заметил в том ничего необычного.

– Так вы ее встретите или нет? – перебивая размышления Дитера, спросил он опять. – Приходите к часу, если вы свободны. Встретимся на вокзале, запомните.

Спрашивать, почему Марии захотелось поехать с ним, было ли такого пожелание ее тети или Мария поступала по собственному усмотрению, – спрашивать об этом Альберта было неловко, хоть и оставались сомнения, в том числе и те, а не шутит ли с ним Альберт. Он сказал ему, что обязательно придет.

Кафе-булочная, в котором работала Мария, было сумрачным, из-за маленьких его окон и темных обоев появлялось чувство небезопасной тесноты и отстраненности. На углу, близ булочной, толклись нищие в тряпье и с кружками, и трясли мелочью на проходивших, прося добавить больше на «безработное житье». Замерзая, они пытались втиснуться в кафе, и раз за разом крупный человек в потертом пиджаке их изгонял обратно. Дитера, который был потрепанным в штатском пальто и шляпе, тоже попытались выставить, но он успел сказать имя Марии. Крупный человек нехотя отправился на кухню и, возвратившись, прохрипел:

– Ждите, через пять минут она придет.

Мария вышла, покраснев и на ходу снимая старый фартук. Она попыталась улыбнуться, но вышло рассеянно и да-

же несколько неловко.

– Вы пришли пораньше... Я не хотела, чтобы вы меня тут ожидали.

Затем Мария побежала к вешалке и взяла с нее бежевый плащ и коричневую шляпу. Не снимавший своего пальто, он за ней переступил порог кафе, думал, что Мария спустится с крыльца, – и чуть с ней не столкнулся. Она остановилась.

– О, извини.

– Ничего, – машинально ответила она. – Зажигалка у вас есть?

– Ты что же, куришь?

– Пытаюсь бросить. Тяжело без сигарет... привыкла.

Она пошла уверенно и очень быстро.

– Кем ты работаешь? – стараясь не отстать, поинтересовался он.

– А?.. А-а-а. Я пеку разное. Я многое научилась печь, я люблю готовить сладкое. Я научилась печь маковый рулет, шоколадный торт, пирожные с заварным кремом, и сырники с шоколадной начинкой, пряники медовые, пироги со смородиной, и еще блинчики с начинкой, и яблочный штрудель с карамелью... Это целое искусство, что бы об этом ни говорили.

– Любишь сладкое?

– Нет. Есть – не люблю, только печь. Странно? А мне нравится закармливать других! Это интереснее, чем есть самой! А по выходным я даю уроки детям, на фортепиано. Я нена-

вижу своих учеников! Сплошь избалованные и наглые! Мы такими не были! Но это дополнительный доход. Катю нужно готовить к школе, покупать все, а тетя Жаннетт мало получает, меньше меня. Так что...

Улыбаясь искренне, Мария позабыла о ранней своей неловкости; тело ее стало послушнее, а она будто бы сделалась элегантнее и за лицом более не следила, позволяя ему быть открытым, оживленным, с естественной краской ближе к скулам. Шаг ее был ровен и неспешен, как на прогулке, и несложно было ей соответствовать сейчас.

– Да, а почему вы так легко одеваетесь? – спохватившись, воскликнула она затем. – У вас должна же быть шинель! А вместо нее вы в этом пальто... в нем, должно быть, холодно! У меня вот пальто новое украли. Это смешно, я знаю! Я шла с работы, сошла уже с трамвая, а он... просто стащил его с меня и убежал! Я ничего не успела сделать, даже не вскрикнула! Я опешила, я... Забавно это, должно быть, да?

– Ты мерзнешь, получается?

– Нет. Я бы не сказала...

Обоим стало неловко. Как естественно, внезапно нашло на них спокойное настроение, так и теперь оно сменилось смущением и желанием отвернуться и смотреть мимо.

Мария обрадовалась, встретив на вокзале Катю и Альберта; те ожидали почти полчаса и уже поругались по пустяку.

– Я вообще с ним разговаривать больше не буду! – громко сказала Катя, проходя с Марией в вагон. – Пусть вон с

Гарденбергом разговаривает! Отличная пара получится! Это модно нынче, вот!

Мария в ужасе покраснела и зашептала умоляюще Альберту:

– Извините, извините нас, Альберт, я не уследила! Она не понимает, что болтает!

– Еще как понимаю! – изображая опытность, перебила ее Катя. – Я знаю больше, чем ты думаешь. Это ты все играешь невинность, а сама?

– Ах, так! – обиженно ответила Мария. – Ну, знаешь ли! Извините, Альберт. Тетя ее не воспитывает! Тетя все ей позволяет, любую... глупость, пошлость!

– Эх, Катя, Катя... – шутя, сказал Дитер, – выпороть бы тебя ремешком!

– Ага! Конечно! – с ухмылкой ответила та.

– Что вы говорите?.. Ремнем! Ужасно! – покраснев, воскликнула Мария. – Нельзя никого пороть! Нельзя! И это слабого, женщину...

– Ты неправильно меня поняла, наверное.

От слов его Кате стало смешнее прежнего; она закусывала губы, чтобы не рассмеяться на весь вагон, и дрожала плечами и шеей. Мария, чтобы не смотреть на обоих, все еще красная, уткнулась уже в книгу. Альберт, скрывая любопытство, уставился в окно; лицо его было жадно и необъяснимо красиво в этом выражении.

Не найдя занятия, Дитер посматривал по сторонам, на чу-

жих людей; раза четыре натыкался на Марию – пока та, оторвавшись от книги, у него прямо не спросила:

– Что?..

– Ничего, – тихо ответил он.

Альберт и Катя дружно уставились на них.

– Что? – снова спросила Мария, на этот раз у них.

Те промолчали и, испугавшись, отвернулись.

На месте Катя сразу увела Альберта вперед, попросив найти киоск с лимонадом. Альберт поначалу оборачивался через плечо, на отставших, но Катя упрямо тянула его за собой, словно забыв, что они приехали не одни.

– Мы что, будем гулять, отбившись друг от друга? – спросил после паузы он.

– А вы что, не сможете за меня заступиться?..

Самолеты и их шоу мало занимали приехавших: тут больше пили, грабили, женщины искали работу, смеялись за кружками свежего пива. Теперь уже Альберт вел за собой Катю, не желая, чтобы она смотрела на всякие «безобразия». Ей же очень хотелось посмотреть на проституток, и она обижалась, что Альберт не считается с этим.

– Ну! А мне хотелось посмотреть!

– Не на что там смотреть! Посмотришь на самолеты! Ты хотела газировку? Получай свою газировку!.. О, нагнали все-таки! – окликнул он Дитера, чтобы Катя перестала с ним спорить. – Идите сюда! Ведите его сюда, Мария! Вы стрелять будете. Я вам заплачу.

– Зачем это? – недовольный, что его отвлекли, спросил Дитер.

– Выиграйте в тире для Кете... что ты хочешь, Кете?

– Ой, я хочу... ту штуку, вон! Я видела такую в школе!

– Что, подшипник?

– Да не подшипник это! Это такая штука, что вечно крутится! Как волчок.

– О-о-о... Какой ты еще ребенок, оказывается. Ну, постреляйте, что вам стоит? – мило говорил Альберт. – Я заплачу. Не расстраивайте девочку.

– Вы не умеете?

– С чего бы мне уметь?..

Узнав в нем военного, хозяин попытался отказать, но, чтобы не выслушивать претензии, потом нехотя выдал ружье.

– О, вы просто чудо! – впечатленная, сказала Катя. – Я в вас не сомневалась! Хотите, покажу, как это работает?..

Дитер, улыбаясь, смотрел, как она возится с полученной от него игрушкой.

– Я в детстве играл в солдатиков, – зачем-то сказал он ей.

– Какой вы старый! – со смехом сказала Катя. – Из наших мальчиков никто в них не играл. Мы играли в гонки. Ну, еще были плюшевые – но в них мало кто играл.

– Боюсь вообразить, во что полюбит играть новое поколение.

– Вы-то не стойте, – напомнила Катя весело и ласково. – С нами вам скучно, я знаю.

Убрал с ее лба случайную прядь, Дитер отошел.

– А вы во что играли, Альберт? – поинтересовалась Катя не без иронии.

– Да ни во что. Я книжки читал.

– Как знала. Серьезным людям это не положено.

Старательно избегая Дитера, она с Альбертом ходила от одного киоска к другому, рассматривая выставленное, но более ничего не прося и радуя этим его.

Потом пошли смотреть самолеты.

– Что они все ржавые? – возмутилась, к ним приблизившись, Катя.

– Ну, может, это естественный оттенок.

– Что-то не верится. Как же плохо у нас все с армией, со всем!

– У нас? – спросил Альберт.

– А что, не у нас?.. Что за намеки?

Она встала, ковыряя носком ботинка землю.

– Нет, я... счастлив, что ты так... воспринимаешь, – неуверенно ответил Альберт. – Но, понимаешь, я тебя... немного иначе воспринимаю.

– Как? Как иностранку?

– Эм... а что в этом такого?

– У меня что, появился акцент? – требовательно спросила Катя.

– Нет, нет, но... почему ты так реагируешь? Что в этом плохого?.. Разве можно оскорбить человека упоминанием

его национальности?

– Прекрасно, – язвительно ответила она. – Простите, но я устала. Я хочу домой.

– Да, конечно.

Она отошла недалеко; встав спиной, вдруг сказала:

– Вы нас любите, дружите с нами, но все равно в ваших глазах мы – чужаки. Приехали на ваши хлеба. Я слышу, как шепчутся за моей спиной... что мы отнимаем у вас работу, забираем себе ваши крохи, хотя вам самим не хватает. Скажете, не так? Я не понимаю, в чем я виновата. От меня не зависело... Нет же, я все равно нищая иммигрантка из разоренной войной страны, приехать решила на все готовое...

– Замолчи! – перебил ее Альберт. – Не приписывай мне то, что я не говорил и... не думал.

– Ложь. Вранье!

– Не смей со мной так говорить!

Она разозлилась:

– Вот значит как? Решили включить заботливого старшего брата? Но только вы мне никто! И опека ваша мне не нужна!

– Даже если я что-то там думал, – он разозлился в ответ, – это неправда – и ты это знаешь. Я чем-то оскорбил тебя? Если оскорбил, я готов извиниться. Но мне кажется, что виновата твоя мнительность – не я.

Держась от нее в стороне, он пошел по главной дорожке. Опустив голову, очень грустная, Катя шла медленнее, а по-

тому он скоро нагнал ее; так же внезапно она потянулась к нему и поймала рукав его тренчкота.

– Простите меня, – едва не плача, прошептала она. – Я знаю, что вы не хотели... не могли так... Это так, вдруг прорвалось.

– Не нужно. Я понимаю... Вон и наши! – чтобы отвлечь ее, сказал Альберт. – Не плачь... а то Мария решит, что я тебя обижаю. Будь хорошей девочкой, хорошо?

– Я уже не девочка. Я не ребенок!

Мария помахала им перчаткой; сказала, приблизившись:

– Чуть было не потеряла шляпу. От самолетов так шумно, шумит в ушах ужасно.

– Мы решили вернуться, – мягко перебил ее Альберт.

– Хорошо, – сказал Дитер. – Мы с вами.

– Что с тобой такое, а? – опомнившись, спросила Мария. – Ты плакала?

– Нет, у меня глаза слезились. Ветер же.

Мария промолчала; губы ее были словно искусаны. В глазах ее сестры были зависть и тоска.

## 1940

– Значит, хозяин уехал в половине восьмого? С чего бы это, он не сказал?

– Мсье сказал, что по похоронным делам, мсье Аппель. Покойной нужен гроб...

– Конечно, а что же хозяйка?

– Она сказала, что нужны похоронные... как же... украшения.

– Известно, где ее похоронят? – спросил Альбрехт, не отрывая глаз от газеты.

– Мадам сказала, что на Темном холме. Мадемуазель Катерина была иной веры. И она... из-за того, что произошло... мадам сказала, ее нельзя хоронить вместе с католиками. Вы позволите мне... меня ждут в кухне.

– Конечно, но каково самочувствие хозяйки? – быстро спросил Аппель.

– Мадам у себя. Она просила не беспокоить ее. Извините меня.

– Налейте мне больше кофе, на 3 сантиметра, пожалуйста. Держа на весу чашку, Аппель уставился на смутно знакомый желтый конверт с имперской печатью (25 см длины и 10 см ширины). В мгновение это в голове его проскользнул страх: пришло письмо от военных, быть может, его хотят поторопить, на фронте он окажется уже на новой неделе... Совладав с собой, он разрезал конверт столовым (1,3 см) ножом. На колени выпала аккуратно сложенная бумага со знаком министерства «правильных новостей». Чертова повестка, проклятые указы насчет хозяев, он забыл, что просил отправить ему по адресу Гарденбергов свежую сводку «пропагандистских событий»! Альбрехт поинтересовался, что ему пришло. Раньше бы Аппель ни за что не показал, но сейчас

он был столь зол, что швырнул «события» в своего визави.

– Как мило с твоей стороны...

Альбрехт отставил кофе и посмотрел в чужое письмо. Аппель рассматривал его (с расстояния в 97 см) с обреченностью 98-летнего человека.

– Часто ты получаешь такое? – полюбопытствовал Альбрехт.

– Раз в месяц примерно.

– А зачем это нужно?

– Это события, которые, конечно, нужно учитывать, составляя пропаганду для новых территорий.

– Что такое Гаага? – спросил Альбрехт.

– Гаага?.. Конечно, город, который является частью нашей территории.

Со смешным видом Альбрехт задумался, явно пытаясь представить карту Европы и возможное расположение данной «части территории». После он беззаботно рассмеялся и прочитал вслух: «Жители Гааги не осознают своего положения: 29 июня они позволили себе устроить протест у памятника Вильгельма Оранского, близ которого возложили цветы».

– Альрих, кто такой Вильгельм Оранский?

– А ты как считаешь? – ответил Аппель. – Возможно, он вывел знаменитые тюльпаны?

– Правда?..

– Это лидер Нидерландской буржуазной революции, иди-

от.

Нисколько не обижаясь, Альбрехт оглянулся на старшего кузена – тот спустился с верхнего этажа и остановился в открытых дверях гостиной.

– Как мило, Бerti, – дружелюбно сказал Альбрехт, – но отчего же я идиот? С чего бы мне знать, кто такой Гаага и что такое Оранский? Я не люблю революционеров. За что он воевал?

– За независимость.

– Мы, южане, обожаем борцов за независимость, – заметил Аппель. – Южная непокорность неистребима, конечно.

На это Альберт не отвечал. Могло показаться, что он скучает: он прошелся бесцельно по комнате, рассматривая случайные мелкие штуки, заглянул в чашку Аппеля, за плечо Альбрехта, посмотрел в окно и на картину с собаками, которые загоняли раненого оленя. У картины Альберт постоял с минуту, но с выражением удивительного безразличия. Потом он спросил:

– Вы собираетесь уезжать?

– Я пока остаюсь, – ответил Аппель.

– У меня отпуск, – сказал Альбрехт, – и меня пригласили хорошо отдохнуть.

– А, хорошо отдохнуть. – Он упорно смотрел в картину с собаками. – Вы хотите отдыхать? Замечательное время, чтобы отдыхать...

Аппель открыл рот, чтобы сказать нечто утешительное

(но что?), но Альбрехт его обогнал:

– Мне жаль, что это произошло. Берти, ты знаешь, мне жаль. Но ни я, ни ты этого не исправим. Почему я должен отказаться от отпуска?

– Ты можешь отдыхать в другом месте.

– Я хочу отдыхать здесь! – выпалил Альбрехт. – И ты не можешь мне запретить!

Аппель вскочил, намереваясь встать между ними. Взаимная неприязнь кузенов была так сильна, что Аппелю стало тяжело дышать.

– Давайте не ругаться, – благоразумно начал он, но его опять перебили.

– Ему просто некуда ехать! – сорвавшись, выпалил Альберт. – Он будет торчать здесь, потому что тут он хоть кому-то нужен, только тут к нему относятся по-человечески. Потому что остальные его ненавидят и боятся! Да? Никому ты не нужен!

– Как... почему ты говоришь это? – в ужасе ответил Аппель. – Берти, ты чего?

– Я хочу, чтобы он убрался отсюда! И ты тоже!

– У тебя это... нормально все с головой? – серьезно спросил кузен Альбрехт. – Я никуда не пойду. Меня пригласила Катерина.

– Перестаньте, – беспомощно попросил Аппель. – Берти, если ты просишь меня, я уеду.

Как не понимая, что ему говорят, Альберт повторял, что

его кузен «должен обратиться, иначе он его вынесет». Злой донельзя Альбрехт встал, как бы рассчитывая на драку, но, к его удивлению, Альберт этого даже не заметил: он упрямо смотрел на картину с собаками и оленем, а голоса Аппеля и Альбрехта доносились до него, как из иного измерения. Невротическое состояние его проявилось в дрожи в руках и странном покачивании головы (на 3-4 см вниз и вверх). Словно почувствовав сильную боль в животе, он затем согнулся пополам и заплакал. Альбрехт отвернулся. Аппель в смятении замер, не зная, что делать. Это был громкий, истерический плач с резкими всхлипами и жуткими смешками; он схватился за волосы и опустил на колени. Желая помочь, Аппель наклонился к нему, то тот лишь громче засмеялся, и Аппель (спустя 3-4 секунды) распрямился.

В открытом окне жужжал большой шмель. Колыхались прозрачные занавески. На верхнем этаже стучали шаги – Петер и Софи танцевали. Альбрехт откусывал ноготь на указательном пальце.

Слева принесло топот копыт – это возвратился хозяин.

Неужели раньше он жалел покойную? Она была страшным, омерзительным монстром. Эгоистичная, жестокая девка, что решила наказать своего оступившегося любовника, он знал, что она принесет несчастье, от женщин сплошные неприятности, за что, за что, ЗА ЧТО Альберт полюбил ее? Он ненавидел и Альберта – тупой, сумасшедший, столько

лет мучает его, а он, как собачка, бежит за ним, надеясь на мимолетную ласку, на милость мучителя. Нужно готовиться к смерти. Там, далеко, неизвестный фронт и смерть, от которой он убегал. Софи, и она заставила его, она сказала, как он умрет, если не послужит режиму – и чем, чем, чем это кончилось? Нет, конечно, нужно беспокоиться за Альберта из-за мерзкой, эгоистичной девки, которая...

Мне жаль, я не могу пустить к ней, Мария просила тебя... **ВСЕ РАВНО! ПУСТИ МЕНЯ!** Не заставляй меня применять силу, Альберт. Пожалуйста. **Я ДОЛЖЕН С НЕЙ ПОГОВОРИТЬ!** Альберт, Альберт! **КТО ОНА ТАКАЯ, ЧТОБЫ МНЕ ЗАПРЕЩАТЬ?** Альберт, не заставляй меня. Мария – сестра Катерины. Она не хочет, чтобы ты смотрел на нее. **Я ДОЛЖЕН ПОГОВОРИТЬ! Я ДОЛЖЕН!** Нам нужно уложить ее в гроб. Хорошо? Хорошо, мы не закроем гроб, ты посмотришь на нее, но потом. Хорошо? **НЕТ! НЕ В ГРОБ! ЕЙ НЕ НУЖЕН ГРОБ!** Она мертва, Альберт. **ВЫ ПОХОРОНИТЕ ЕЕ ЗАЖИВО! ЭТО СОН! ОНА СПИТ! ВЫ УБЬЕТЕ ЕЕ!** Альберт, это точно – она мертва. Мне очень жаль. **УБИЙЦА! ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЕ! Я СПАСУ ЕЕ! ОТДАЙ ЕЕ МНЕ! ТЫ ЗАКОПАЕШЬ ЕЕ ЖИВУЮ!**

Альберт был слаб, и с ним смогли справиться. Из домашней аптечки Дитер достал лекарство на основе опиума. Спустившись вниз, он хмуро сказал, что насильно вколол тому дозу, чтобы успокоить его на несколько часов. Пока Мария

помогала укладывать Катерину в гроб, ее муж звонил в поселок и просил прислать им врача для человека в нервном срыве. Положив трубку, он доложил, что врач появится вечером.

– Конечно же, после похорон? – спросил Аппель.

– Не знаю, точно не сказал. Я вколол ему достаточно, чтобы он спал до вечера. Софи останется с ним.

– Нельзя хоронить ее без Альберта, – возразил Аппель.

Дитер взглянул на него и со вздохом ответил:

– Он не в том состоянии. Ты слышал, он не понимает ничего и не может себя контролировать. Похороны превратятся в цирк.

Спросили, заколачивать ли гроб – тело начало пахнуть. Дитер ответил, чтобы заколачивали скорее, пока запах не распространился на весь дом.

– Альберт не простит вам с Марией, что вы похоронили ее без него, – сказал Аппель.

– Я знаю... Не говори так, словно мне наплевать, – в его голосе зазвенела злость. – Я хороню, можно сказать, свою сестру.

Чтобы соблюсти приличия, Аппель поднялся в свою комнату и переоделся в черный костюм (был куплен 289 дней назад). Его немного тошнило. Было страшно от близости Альберта (меньше 13 метров), он, казалось, слышал за стеной его утомленное, опьяненное дыхание. Опасаясь, что Альберт проснется от его шагов (какая глупость!), он двигался очень

тихо и спустился тоже на цыпочках. Тошнота усилилась, стоило ему взглянуть на темно-коричневый, с искусственным бело-зеленым венком на крышке, (190 см, не слишком ли большой?) гроб. Заколоченное тело лежало в гостиной, а близ него стояли в черном Мария и Дитер, Альбрехт и Петер Кроль. Мария так устала, что на лице ее застыла неестественная безучастность. Муж держал ее за плечи. Петер вежливо рассматривал венок (боже мой, какой ужасный, 90 см!), а Альбрехт смотрел на часы – собирались ехать минут через пять. Аппель встал около Петера. Втайне он желал уничтожить это тело и этот чертов гроб. Явись к нему Мефистофель (обязательно 190 см ростом), он бы умолял его стереть воспоминания о Катерине: Альберт не знал бы ее, не любил ее, не болел сейчас из-за нее. Но Софи сказала, что Катерина и Альберт были обречены, и останься Катерина с Альбертом, они были бы счастливы и прожили долгую жизнь в далекой стране с океаном и пальмами. И вот – она лежит в гробу. Сбылось ли хоть что-то из фантазий этой чокнутой?

– Пора, пожалуй, – прозвучало слева.

Незнакомые коричневые руки понесли гроб наружу. Мария и Дитер шли первыми, за ними – остальные.

– Нашел что противозаконное? – прошептал Аппелю Петер Кроль.

Сквозь зубы тот ответил:

– Нет. Я тебе не полицейская ищейка.

После успокоения валютного курса, к зиме, стало несколько легче, а ближе к весне в продуктовые магазины большими партиями завезли еду. Первые поставки хорошего, без привычных синтетических примесей, хлеба, овощей и крупы стали событием для всего района. Прохожие останавливались близ магазинов, обменивались мнениями о свежих булках, о возвращении наконец-то картофеля и моркови.

Марта и кузен Альбрехт, что шли из школы, как и остальные сбавили шаг у булочной. За стеклом на желтоватую бумагу выкладывали румяные новые буханки. Они стояли у витрины несколько минут, не в силах уйти от этих свежих, наверняка ароматных кирпичиков из пшеничной муки с добавлением дрожжей. Марта пожаловалась, что хочет хлеба. Денег у них не было, и она спросила, могут ли они перехватить после гимназии Альберта и спросить у него денег на покупку.

Альберт заявил, что денег у него нет. Марта оскорбилась и воскликнула:

– Ты обманываешь нас! У тебя точно есть хоть что-то! Ты работаешь... в отличие от нас!

– У меня нет денег, – невозмутимо сказал Альберт, – я получу зарплату послезавтра и половину отдам матери. Спроси у нее.

Марта опустила плечи и зашагала, сильно шаркая по мок-

рому асфальту. Кузен Альбрехт, что привык к отказам и принял новый со стоическим спокойствием, поплелся за кузиной. Он бил Марту по бедру своим портфелем, но та не реагировала.

– Брат Берти... – начал он затем.

– Ну что?

– Тебе скоро будет восемнадцать?

– И что?

– Ты же умный, – добавил кузен Альбрехт. – Скажи, почему мы так плохо живем?

– Сейчас станет легче, – ответил Альберт. – Цены опустятся, и мы сможем больше покупать.

– А нам в школе сказали, что ничего не изменится, – перебила его Марта. – И что в этом виновата нынешняя власть.

– Отчасти, конечно, виновата... Но нужно понимать, что была война, а мы столкнулись с ее последствиями. Нужно пытаться жить так, как... как возможно.

– Косноязычно, – ответил кузен Альбрехт. – Выражаешься ты косноязычно, Берти. Тебе нравится нынешняя власть?

– Это не моя забота. Не забивайте себе голову всякой ерундой. Не этим вам нужно заниматься. Нужно учиться... Это вас обоих касается.

– Понятно, – тихо ответил кузен Альбрехт, – только вот кушать хочется всегда...

Старший кузен хотел что-то возразить, но не нашел слов и помрачнел.

– А правда, что тетя Лина будет выступать свидетелем на суде?.. Или это тоже не мое дело?

– Не твое.

– Точно будет, – ответила за брата Марта. – Ее позвали, я видела бумагу. Бертель тоже может пойти. Его просто приглашают, в слушатели.

– Тетя Лина станет защищать путчистов? – с сомнением спросил Альбрехт. – Разве она не за национальную республику?

– Какое это имеет... – начал Альберт, но Марта снова его перебила:

– Мама, безусловно, настоящая патриотка и за республику, но папу ей жалко. И «Трибуна» тоже.

– Не понимаю, как можно жалеть того, кто противоположных политических... этих... – ответил Альбрехт.

– Но мама любит папу, – обиженно ответила Марта.

– Я считаю это... короче, я не верю в такую любовь.

Юная и романтическая Марта была поражена таким цинизмом. Она даже остановилась, чтобы смотреть Альбрехту в глаза.

– Я... – Альбрехт покраснел. – Ну... ты можешь со мной не согласиться...

– Так, я не согласна! – воскликнула она и театрально ткнула его пальцем в грудь. – Ты считаешь, что мама с папой – не пара? Только потому, что у них разное мнение о политике?

– Э-э-э... нет. Я... считаю, что... что... нужно любить тех,

что на тебя похож. Я хочу сказать... что демократу нужно быть с демократом, националисту – с националистом. А тетя Лина и дядя Кришан немного...

– Но какое это имеет значение, если люди любят друг друга? – громче спросила Марта.

– Да прямое! – не сдержавшись, выпалил Альбрехт. – Тетя Лина предает свои взгляды, чтобы быть с твоим отцом, разве это хорошо?

Решив, должно быть, что ее кузен слишком циничен или юн, чтобы судить о столь важных вещах, Марта обратилась к старшему брату: тот стоял поодаль, уткнувшись в блокнот, и явно ждал, когда они закончат.

– Бертель, не притворяйся, что ты нас не слышишь. Как ты считаешь, мама предает свои... себя?

Альберт пожал плечами, не отрывая глаз от блокнота. Марта обиженно шмыгнула носом.

– Берти на это наплевать, – ответил за него Альбрехт. – Он даже на суд не пойдет, верно?

Меньше всего Альберту хотелось, чтобы они опять говорили о предстоящем суде. Он отмалчивался, но старался не показать, как устал от этого.

Лина невротично готовилась, специально сшила себе платье, пообещав за него заплатить по завершении процесса, и размышляла перед детьми, не постричься ли ей по новой моде. Альберт ее отговаривал, объясняя, что прическа такая будет странна в ее возрасте и что лучше ей остаться вер-

ной классическому стилю. И все же мать, поначалу согласившись с ним, перед первым заседанием сходила в парикмахерскую и постриглась, как подумывала, коротко. Обнаружив за этим, что стрижка ей не к лицу, она дома ударилась в слезы и клялась, что ни за что не отправится в суд, а лучше сядет в тюрьму за игнорирование повестки, если работники суда так решат. Более часа Альберту потребовалось, чтобы переубедить ее, и, только найдя более-менее удовлетворительную шляпу, она согласилась ехать и выступить. Лина верила, что процесс займет не более одного дня, может быть, двух, но он в итоге растянулся на два месяца, на февраль и март. А она исправно посещала заседания, не зная, когда ее допросят как свидетеля, и Альберт ходил вместе с ней – мать думала, что из сочувствия к подсудимым, но в действительности из интереса будущего юриста.

В пехотном училище, в старом зале, было не протолкнуться от слушателей – родственников и знакомых, юристов, журналистов местных и иностранных. Дело называли «беспрецедентным». Зрители спрашивали, как наказывают за путчи в демократической стране. Первым в списке обвиняемых значился герой войны, генерал Л., но всем ясно было, что главной фигурой является не он, а человек менее прославленный. Этот главный организатор выступал первым и выгораживал генерала Л., всю ответственность за путч взяв на себя: «Остальные только помогали мне, но не влияли на меня». Он произвел большое впечатление на судью и проку-

рора, которые были схожих взглядов с обвиняемыми – поклонниками империи и противниками малых национальных республик. Оттого вначале образцовый судебный процесс над изменниками превратился в митинг. Организатор путча пускался во многочасовые речи о политике и никто его не останавливал, лишь журналисты тихо возмущались:

– Мы точно в суде? Не на площади?.. Что происходит?

– Это цирк какой-то, а не суд, – сказал Альберт матери. – Когда же будет перерыв?

Глаза Лины были тусклы и смотрели мимо. Как объявили перерыв, она сразу встала и, забыв от Альберте, пошла к дверям. Там ее поймал столичный журналист и на ломаном местном спросил, не согласится ли она на интервью.

– Вам известно, что с вашим мужем? Верно ли, что он сбежал из страны?

– Мне ничего об этом неизвестно, – мрачно ответила Лина.

– Верно ли, что вы не разделяете взглядов своего мужа? Вы считаете, что он предал мечту настоящих патриотов Минги?

– Мне нечего вам сказать. Не приближайтесь ко мне!

Альберт догнал ее на проспекте. Она плакала, опустив вуаль на шляпе.

– Без него тебе было бы лучше, – сгоряча сказал он.

– Нет.

– Посмотри сама, он убивает тебя!

Она лишь тяжело вздохнула.

– Послушай оглашение без меня, – глухо сказала Лина после. – Я не хочу присутствовать при этом. Потом расскажешь мне.

– Их признают виновными, – жестко сказал Альберт, – и ты знаешь, что это значит: он не сможет вернуться к Мингу.

Он разрывался между жалостью, злостью и отчаянием: он не желал быть частью этой истории, но все же был ею, как был и частью этой, глубоко любимой им и ненавистой, семьи.

1 апреля он оставил мать дома и в одиночестве поехал на оглашение. На приговор его не пустили, зал был оккупирован журналистами, и результат он узнал уже после закрытия заседания. Благодаря непререкаемому авторитету в «массах», генерал Л. был полностью оправдан, капитан Р. получил пятнадцать месяцев и тут же был отпущен под залог, а трое других революционеров во главе с зачинщиком получили по пять лет с учетом предварительного заключения. Между собой журналисты сошлись на том, что наказание назначили небывало мягкое – за путч против правительства могли бы наказать строже. Журналист прославленной британской газеты выразил затем общее впечатление: «Что же, суд смог нам показать, что заговор против государства не считается в демократической стране серьезным преступлением».

8 апреля семье пришло письмо от второго беглого револю-

ционеру – от «Египтянина», как его все называли. Он встретил Кристиана на некой лыжной базе, и после долгих споров они решили возвратиться в Мингу. «...Сами понимаете, – написал он мелким, еле различимым почерком, – Кришан боится Вам писать, боится, что Вы начнете его отговаривать, и от этого он передумает. Мы решили, что нам нужно возвратиться. Они не смогут обойтись с нами жестче (нежели с Ним, Вы понимаете). Если мы не вернемся сейчас, нас, как Вы понимаете, все равно отыщут и, возможно, не в самый лучший момент, а так мы можем рассчитывать на снисхождение – все-таки явились сами. Согласитесь и с тем, что в это тяжелое время мы должны быть рядом с нашим „Трибуном“, чтобы поддерживать и утешать его. Не знаю, как у Вашего мужа, но у меня появится время для учебы, а еще интересная компания, и отличный стол, и личная спальня, очень милый вид! VVV... Итак, ждите нас, мы скоро будем. Он скучает по Вам и детям, особенно по Мисмис...».

Следом за странным письмом явился и он, глава семьи; домой он зашел на час – за саквояжем с вещами. Лина втайне поплакала, а затем заявила, что была в ужасе от путча и ни за что его не простит. Кристиан знал цену ее упрекам, оттого не принял их всерьез. Не встретившись с детьми, лишь попросив сказать им теплые слова, он переменял одежду на чистую и отправился в полицейский участок – сдаваться. Решение по нему приняли скоро – в мае он получил 18 месяцев заключения.

Началось тяжелое ожидание. Письма из тюрьмы прибывали регулярно, в них Кристиан писал, что жизнь у политических сносная и им можно прогуливаться по саду, есть и общая комната, а к ужину в тюремной лавке можно купить пол-литра вина или пива. Посылки Лина отсылала каждые две недели, но после муж попросил ничего ему не присылать, а позаботиться о «Трибуне». Она не стала перечить. «Трибуну» она отправляла колбасу и немного конфет, но и тот был не очень-то ею доволен и попросил в ответном письме присылать ему маковый рулет или пирог с яблоками. Мясное ему шло ежедневно от его поклонников и глав политических организаций, и все это он из жалости отдавал уголовникам, которых держали в большей строгости и кормили намного хуже политических.

«...Конечно, я мог бы расценивать мое вынужденное нахождение здесь как своего рода отпуск. Меня ни к чему не принуждают, по шесть часов мы гуляем в здешнем саду, нас хорошо кормят, у нас в постоянном пользовании ванная комната, есть горячая вода, у нас чисто, и относятся к нам очень хорошо. Меня лишь то беспокоит, что я ничем не могу заняться серьезно. Как там партия? Я слышал уже всякое. Значит, Р. с Ш. и некоторыми другими выступили в блоке, и это на наших земельных выборах. Я слышал, в парламент прошли и Р. с Ш. и Л. Что же, очень неплохо... Х. – я слышал, он возвратился, его не наказали, к его счастью, – счита-

ет, что в развале движения виноват Р. Черт их поймет! „Трибун“ ни за что не согласится на создание новой партии, которую хотят Ш. с Л. Он очень зол на них и, к тому же, очень занят. Нынче он смеялся над той карикатурой, если ты ее видела... В журнале он сам – на белом коне, в доспехах, въезжает в столицу. Вначале он был озабочен, потом улыбнулся и сказал: „Ну-ну, пусть сейчас смеются, все равно я туда попаду!“. Хотя ему дали на суде целых пять лет, мы слышали, что отпустят его уже в этом году. И мне, кажется, не грозит тут отсиживаться долго. Не замечательно ли это? Но если это только слухи и нам нечего ждать снисхождения? Кто их знает, эти наши власти... Может, они все же смилостивятся над нами, несчастными пленниками, как ты считаешь?...».

Слухи, каким-то образом проникшие в тюрьму, подтвердились новой зимой: главного отпустили 19 декабря, а после Рождества на свободу выгнали всех его сторонников.

После тихих посиделок в кафе все разъехались по домам, и Альберт, возвратившийся после шести часов, застал родителей дома и в приподнятом настроении, слегка навеселе. Всем стало немного неловко, и Альберту не терпелось уйти, но он не смог – не позволила совесть. Он сел за стол с ними и молился, чтобы Марта и Альбрехт пришли как можно скорее. Но их, как назло, не было. Мать улыбалась, показывая много морщин, а отец трепал ее за плечо, как старого приятеля. Альберт сидел на краешке стула, выпрямившись, но

голову чуть опустив. Он не понимал, почему не краснеет и отчего не провалился пока что сквозь землю.

– Мать сказала, ты поступил?.. Как ты учишься? Хорошо?.. Неужели? Мы с твоей матерью не успели заметить, как ты повзрослел.

Стоило ответить, но не получалось вымолвить и неловкое: «Эм, я... естественно...». Язык распух, слова прилипли к небу.

– Он совсем не развлекается, – с неловким смехом сказала его мать. – Меня это, признаюсь честно, беспокоит....

– Может быть, ему не нужно? Ты знаешь, я не люблю шум... а по молодости ненавидел. Мне кажется, раньше меня вообще бесило общество людей. Не хочет он, может быть, развлекаться? Я не хотел.

– Ну, конечно, – ответила она и покраснела. – Но ему бы отвлечься от его книг... этих законов! Я понимаю, ему хочется в юристы, он целеустремленный и все такое. Но нужно и повеселиться по-человечески...

Ну вот, сейчас он спросит, есть ли у него девушка. Он покосился на отца и испугался его бестактности, за которой крылась беспомощность. Он совсем не любил этого человека, который считал его, Альберта, частью себя... опять чьей-то частью!

– Может, хватит меня пилить?!

В комнате повисла тишина. Мать застыла, опустив ложку в супницу. Чувствуя, что краснеет – неужели? – Альберт

вскочил и выбежал от них.

В гостиной он поскользнулся и больно налетел на Мисмис, которая только что возвратилась.

– Что с тобой, Бертель?

– Ничего!

Глаза ее обиженно раскрылись.

– Что ты... почему ты мне грубишь?

– Оставь меня в покое!

Но внезапно Марта улыбнулась и бросилась ему на шею, руки ее сошлись на его затылке; она так нежно его утешала, что он не вырвался, а склонил голову на ее плечо. Она сказала:

– Не обижайся, Бертель, мы же тебя любим.

С расколом в партии нужно было что-то делать. Конфликт «Юга», центра партийного движения, и «Севера», что игнорировал приказы и замалчивал директивы, – конфликт этот мешал обновлению партии и восстановлению контроля. На «Севере» склонялись «влево», тем вызывая критику «южан» – но ехать, разбираться там, в чужой враждебной области, «южанам» было страшно.

– Ты хочешь, чтобы мы поехали?.. – в изумлении спросила Лина, сначала не расслышав мужа.

У нее и в мыслях не было, что он может принять решение, не посоветовавшись с ней. После путча, казалось ей, они уговорились...

– Ты хочешь, чтобы мы уехали? – медленно начала опять она. – В столицу?.. Как – в столицу? Какая столица?.. Зачем мы уезжаем? Партия тут... и дети тут! Альберт учится, и Мисмис... и Альбрехт, этот мальчик, будь он проклят... Что нам с ними делать? Я не понимаю.

– Альберт может остаться, – собранно ответил он, расхаживая по гостиной. – Ему не нужно бросать университет. С ним ничего не станет. Он самостоятельный, справится и без нас, можешь быть уверена.

– Но Мисмис... Альбрехт...

– Их мы возьмем с собой. Мы их устроим там.

Рассеянно она кивала. Она не знала, как оставит Мингу, в которой прожила всю жизнь, уже затосковала и вместе с тем соображала, что им взять с собой и как объясниться с членами семьи.

– Нет, мальчика мы с собой не возьмем, – решив внезапно, выпалила она тут же.

– Но почему?

– А зачем он нам... и там?

– Как?.. – беспокойно запыхтел на это ее муж. – Он ребенок. Мы не можем его бросить без взрослого присмотра. Мисмис мы забираем, нужно брать и Альбрехта.

– А как – без взрослого? – уперлась Лина. – С ним остается Альберт, а ему вот-вот исполнится двадцать. И не такой он и ребенок. Уже почти юноша! И Марта тоже взрослая...

Она осеклась, осознав, что показала собственное беспо-

койство. Муж ее, не заметив этого, воскликнул:

– Нельзя бросать тут мальчика! Мало ли что! Почему ты упираешься?

– Почему?.. Я не хочу его там! У нас без него забот будет достаточно! А от него проблемы и суета! Зачем он нам?.. Мы оставим им с Альбертом все, пусть остается с Альбертом, ничего... с ним ничего не случится! Ты печешься о нем больше, чем о Мисмис!..

Упрек ее попал в цель: муж ее надолго замолчал.

Позже он попытался смягчить ее, но испугался ее гнева, испугался настолько, что примирился с ее решением и объявил на семейном собрании, в присутствии всех членов семьи, как обстоят дела по переезду и как им следует себя вести. Альберт остался единственным спокойным человеком тут, а Марта, наоборот, заволновалась и начала капризничать.

– Мы не можем так! – восклицала она обиженно и красиво морщила накрашенное лицо. – Нужно взять Альбрехта! Без него я не поеду! Что ты молчишь, Альбрехт? Так нельзя! Скажи же это!

– Что? – резко сказал тот. – Если они так решили, что я могу...

– Но это же... не так, не так! – закричала Марта. – Я не поеду! Ни за что!..

Ее попытались образумить, успокоить: отец говорил тоном очень мягким, чувствуя свою вину, мать же была нежна,

чуть ли не сюсюкала с ней – но затем неестественно как-то разозлилась и воскликнула:

– Никто тебя не спрашивает, Мисмис! Он остается! Хочешь, не хочешь – все равно, понятно?

Впервые в жизни встретив настолько явное сопротивление ее желанию, Марта мгновенно успокоилась; лицо ее, красное прежде, побледнело, пошло слабо-зелеными безобразными пятнами.

– Ага, получила! – со злорадством сказал Альберт. – В кои-то веки несравненной Мисмис кто-то отказал! Она в отчаянии! Смех – и только!

– Лучше заткнись, Берти!

– Сам заткнись, дегенерат!

– Хватит! Вы что?.. Мальчишки, сын! В присутствии матери!..

Марта заплакала уже не потому, что хотела разжалобить – показательно, пытаясь сохранить свежую привлекательность, – на этот раз она заплакала жутко, всхлипывая и дрожа плечами; и с искаженным лицом выбежала из комнаты, оставляя за собой эхо собственных страданий.

Почти целые сутки, уже использованными словами, ее пытались образумить. Как непослушный ребенок, она отказывалась слушать, а бывало и грубила родителям, более матери, которая в борьбе с капризностью Мисмис проявила невероятную стойкость. Угрозы лишить ее многих привычных вещей подействовали быстрее нежности, и сквозь зубы, не

вставая с постели, с наибольшим презрением, на какое была способна, она согласилась ехать без кузена Альбрехта.

В день отъезда ее все же пришлось заставлять: так, встретив ее сопротивление, мать вынуждена была лично ее одевать. Не получив желаемого, Марта хотела хоть добиться удовлетворения от терзаний родителей. С кузеном Альбрехтом, злым не меньше, она прощалась дома, очень быстро. Альберт же поехал провожать их на вокзал и всю дорогу не мог скрыть переполняющей его радости.

– Что ты улыбаешься? – зло спросила его в трамвае Марта.

– Ничего, – ответил он со странной безмятежностью.

Что-то затаенное, агрессивное, подсказывало ей, что Альберт счастлив не от отъезда родителей, а потому лишь, что она, Марта, ничего впервые не добилась слезами, истериками, просьбами о жалости. Против кузена Альбрехта он действительно не имел плохих чувств, возможно, и не хотел оставаться с ним в качестве его «надзирателя» – но мысль, что случившееся далось ей больно, будила в нем осознанное злорадство.

– Ты просто свинья, – не сдержавшись, сказала она ему на вокзале. – Улыбаешься все, весело тебе! Самая обыкновенная свинья!

– Счастливо тебе доехать, Мисмис.

Она собиралась ответить, но передумала и отошла к вокзальным часам.

– Мисмис, ну что ты... как ребенок! – крикнул он ей

вслед, уже желая мириться.

Но она, как ушла от него, так и встала спиной к нему и более не поворачивалась.

Кузен Альбрехт же после этого стал неуправляем.

Почти не бывая дома из-за университетских занятий, добавочных предметов, необходимости ходить в библиотеку и заниматься дополнительно, Альберт не мог следить за кузеном как следует и удивлялся, что учителя Альбрехта заваливают его просьбами явиться в школу, на личную беседу. Письма некоторые были уклончивыми, иные же прямо оповещали, что Альбрехт вытворяет на уроках и что никто не может его приструнить.

«Это что-то совершенно ужасное! – писал матери Альберт по новому ее адресу. – О нем рассказывают разное. Все поражаются изменениям! Раньше все его любили, „солнечный мальчик“ и все такое прочее. А что сейчас? Черт в него вселился! Учителей высмеивает, девочек оскорбляет, чуть ли не до насилия доходит! Какую-то девочку он облил зеленкой, а вторую загнал в уборную во время занятий и хотел ее раздеть. Дома он по-прежнему тих и спокоен, но в школе!.. Я не знаю, что из него вырастет. Хуже того, я решительно не знаю, что мне делать! Учителя меня все требуют к себе, а я не могу бежать к ним и пренебрегать своей учебой! И что они мне скажут? Воспитатель из меня никакой! Может, вы заберете его все-таки к себе?..».

Начиная письма свои сентиментально-женским приветствием, мать его сообщала, что на них нынче свалилось столько забот и проблем, связанных с местной партией, с устройством жизни тут, что у них нет никакой возможности забрать к себе кузена Альбрехта и начать его перевоспитывать.

«...Нынешнее поколение распустилось, я замечала это и раньше, – писала она как-то. – Это касается вас всех – в особенности, конечно, Альбрехта и нашей Мисмис. Как ни воспитывай, это поколение не то, что наше было, благоразумное. С Мисмис управляться мне не легче. Я не упоминаю, что она абсолютно безалаберна и не считается ни с кем. Какой замечательной она была малышкой, ангелочком, ласковым и светлым, – и какой она становится! Как страшно мне из-за нее! Что же касается твоего кузена, тебе не обязательно с ним возиться. Если он плохо поступает, лишай его ужинов и завтраков, не давай денег в школу, не пускай в кино или гулять. Поступай с ним так же плохо, как он поступает – и он тут же образумится. Говорить с ним бесполезно. Какое счастье, что мы его с собой не взяли! Как повлиял бы он сейчас на нашу Мисмис! Она и так не хороша, а он еще хочет испортить ее, и это бы у него получилось, не лиши мы их предусмотрительно друг друга...».

Растягивалось у нее такое на несколько страниц и за-

вершалось чем-то меланхолично-слезливым. На последней странице у нее бывали желтоватые пятнышки с расплывшимися чернилами в них: она возвратилась к привычке щедро надушивать письма. Как правильная мать, она спрашивала в письмах о делах сына, о его знакомых, и так же, как заботливая мама, звала его на летних каникулах в гости, но «без кузена Альбрехта», – и знала, что сын не согласится.

«...Пожалуйста, не нужно на меня обижаться, – написал он, тоже зная, что она не расстроится из-за его отказа. – В отличие от Альбрехта, который шляется по неизвестным местам и мне не докладывает о своих приключениях, я усиленно занимаюсь. С возобновлением занятий у меня будет больше практики, и я хочу к ней подготовиться. У меня все замечательно. Читаю одновременно „Психологию бессознательного“ Фрейда, „Научные основы допроса на предварительном следствии“, „Психологию для следователей“, „Пособие по расследованию преступлений особой тяжести“ и „Криминалистическую методологию“. Люблю эти книги, но они напрягают мой мозг и мне хочется как-то развлечься. У меня появились друзья, Альдо и Петер. Через П. я познакомился с милой семьей политических иммигрантов. У них можно долго болтаться и пить даровой чай. У них еще к чаю подают пряники, хотя Бог знает, где они их берут и на что вообще живут. Безалаберность, но приятная. Пишите мне, как Мисмис. Не обижайтесь, если я не отвечаю. Я очень занят

и так устаю, что у меня нет сил писать то, что вы знаете и без меня. Итак, пишите и не обижайтесь. Я тут сам как-то со всем управлюсь. Ваш сын, с любовью, А.М».

Так получилось, что познакомился он сначала с Петером Кролем, который поступил на год раньше него. Знакомые попросили обоих быть секундантами на дуэли, в общем-то мальчишеской и несерьезной: только что вернулась мода на поединки и считалось позорным никого нынче не вызвать или не быть вызванным самому. Так как оба дуэлянта были плохи в фехтовании, а на пистолеты не решились, дуэль вышла курьезная, всех расстроившая и рассорившая, но к Петеру, что сохранил при этом мрачноватое достоинство, Альберт почувствовал уважение и своеобразный интерес.

Несколько старше Альберта, успевший закончить обязательный краткий курс военной подготовки для резервистов, стрелявший, по слухам, лучше всех в университете, двадцатидвухлетний Петер Кроль у всех вызывал уважение. Вышел он из известной многими интеллектуалами, кажется, и каким-то музыкальным гением семьи, но в ее нынешнем составе творческих личностей не осталось, хотя мать неплохо играла на фортепиано, а отец, занимавшийся профессионально геополитикой, временами позволял себе рисовать сомнительные по качеству акварели. Творческого чутья не было уже совсем у юного Петера, и это был, похоже, тот главный недостаток, что беспокоил его, съедаемого затаенным тще-

славием. Он не оставлял попыток что-то изобрести в стихосложении, но в свободное время; хотел выбрать профессию, приближенную к искусству, но отец, более прагматичный, успешно посоветовал ему выучиться на юриста. Отношения своего к будущей профессии Петер старался не показывать, но готовился к ней как никто другой – это была его особенность, портившая ему, как он сказал как-то, всю его жизнь. Основная проблема его, если забыть об утраченном величии семьи и отчаянии в творческой области, в том и заключалась, что он прилагал невероятные усилия для поддержания легенды о своей исключительной идеальности. Начинаясь мания эта с внешности: с женской точки зрения Петер был красив, но это не отталкивало от него мужчин, так как красота эта была, хоть и ухоженная, но холодноватая и мрачная. Кажущаяся часто пасмурной, наружность его не соответствовала его настрою: никто бы не назвал его меланхоличным или пессимистичным, печальным, – напротив, в повседневном настроении Петер был оживлен, умел понравиться, никому не навязывался, относился ко всем с одинаковой дружелюбностью и не отказывал в совете и дружеской поддержке, чем заслужил скоро единодушное положительное мнение о себе на факультете. Те, что были с ним в близких отношениях, убежденно говорили, что он так же честен, ни за что не возьмет чужого, не станет обманывать человека и не возьмется отбивать девушку у знакомого. Были и такие, что свидетельствовали о его превосходстве в стрельбе, фи-

гурном катании и плавании. Учился он старательно, упорно, но без увлечения и наслаждения целью, лишь из необходимости и в учебе быть самым лучшим.

Незначительная разница в возрасте не могла помешать Альберту с ним сойтись. Альберта влекло к нему, он завидовал популярности нового друга, упрямству, с каким тот овладевал всем, за что брался, и за эту же зависть полюбил его. Петер, в свою очередь, захотел ближе сойтись, зная, что из семей они приблизительно равных и схожего воспитания – но так же заинтересовался фанатичной увлеченностью Альберта в учебе. Четкой и им вполне осознаваемой жизненной цели у Петера не было, от будущей своей профессии он ничего счастливого не ждал. Искреннее увлечение тем, что ему, Петеру, в силу его душевного устройства было недоступно, заставляло его быть ближе к Альберту. Он, что бы там ни мнил о своей личности, был любопытен и желал разгадать тайну непохожести одного человека на другого.

Мерзкие же недостатки характера Петера проявлялись постепенно, с пониманием им, что Альберт привязался к нему. К недостаткам других Петер относился достаточно снисходительно, хоть и замечал их и не забывал. Не критично он относился и общему их другу Альдо – на самом деле, Альриху – Аппелю. Объяснялось это тем, что Аппель более был привязан к Альберту, а Петера воспринимал хоть и хорошо, но как конкурента за внимание. Что заставляет Петера дружить с Аппелем, было непонятно многим. Учился Ап-

пель на журналиста и часто болтал, что станет лучшим политическим репортером на свете, если ему раньше не прошибут голову в очередном пабе. Аппель умудрялся сочетать поразительное безрассудство и осторожность, романтичность и невротизм (оказалось, что Аппель одержим счетом, но что это значит для него, Альберт не совсем понимал). Порой казалось, что Аппель очень умен. Порой можно было решить, что у Аппеля в голове ничего нет. Аппелю Альберт завидовал тоже – естественности, душевной смелости и жажде жизни, которых, в отличие от приятеля, он не имел. И то, что Петер не донимал Аппеля своей критикой, его глубоко обижало. В Аппеле Петер словно бы не замечал ничего, достойного осуждения – не оттого ли, что Аппель был столь гармоничен? Его же, Альберта, Петер со временем начал тиранить, постоянно указывая ему на ошибки, на малейшую его, самую нечаянную, оплошность. Выяснилось как-то вдруг, что Петеру не нравится многое в нем: то, как небрежно Альберт повязывает галстук, как он сворачивает носовой платок, как обращается с портфелем, как размашисто делает заметки на полях, не нравился сам его почерк; его бесило пристрастие Альберта к синим и бежевым костюмам, ярким шарфам, к Ван Гогу, Шопену и Берте фон Зутнер. Обнаруживая это снова, Петер начинал все это критиковать, считая искренне, что оказывает Альберту услугу, наставляя его на путь к исправлению. Если Альберт, устав терпеть его резкости, злился, Петер спешно давал задний ход и мягко отвечал, что не

хотел его обидеть. Когда же Альберт забывал о ссоре, Петера снова прорывало – и все повторялось в известной последовательности, истощая душевно одного и насыщая яркими чувствами другого.

Жертвой Петера бывал часто и другой человек, много моложе, с которым Альберт познакомился благодаря ему же: достаточно было спросить, куда Петер уходит после занятий. То была юная девушка, Мария, почти еще девочка, не закончившая школы, из семьи, с которой Петер Кроль сошелся благодаря родителям. Растерянная, с потребностью в мужской поддержке, она советы Петера и его критику принимала даже с благодарностью, не замечая словно бы, сколь он стремится подавить ее. В семье Воскресенских она была старшим ребенком, племянницей и нелюбимой, в отличие от младшей девочки Катерины.

В первый раз, как Альберт пришел в этот дом, детей в маленькой комнатке-гостиной не было. Но, сев ближе остальных гостей к прихожей, он заметил, как забежала в нее с улицы старшая девочка, лет пятнадцати – невысокая, с объемной копной темных волос. Тихо, чтобы не мешать гостям, она разулась и из прихожей проскользнула в кухню. Позже он увидел вторую девочку, лет, должно быть, восьми или около того. Он собирался уходить, в прихожей надевал шляпу, когда почувствовал на себе чье-то внимание и оглянулся. Субтильное, веснушчатое и рыжеватое существо уставилось на него снизу, редко моргая темными заинтересованными гла-

зами.

– Ты кто? – спросил он отчего-то ее.

– Катя Воскресенская. Племянница. А вы кто?

– Кете?

– Можно и Кете, – пожала плечами она. – Вы гость?..

Не понимая, как с ней нужно говорить, он только кивнул. Речь у нее была раньше северная, но она успела переучиться и нынче, в некоторых местах лишь допуская ошибки, говорила на здешнем языке.

Что-то ему понравилось в ней, хотя он и не говорил с ней толком в тот раз. Решив прийти опять, Альберт вспомнил о ней и, попросив Петера подождать, зашел в кондитерскую, чтобы купить конфет. Других гостей в этот день не было, и детей поэтому пустили в гостиную. Пока Петер разговаривал с Жаннетт, Альберт вышел из прихожей в гостиную, взглянул на старшую Марию, что читала близ фортепиано, а Кете нашел на подоконнике – она спряталась за шторами с альбомом постимпрессионизма. Кете и не узнала его сначала, но затем, припомнив их краткое знакомство, чуть улыбнулась. Он, не в силах ей улыбнуться в ответ, протянул пакетик с лакомствами. Лицо ее с живыми глазами изменилось вдруг; на предложенное она боязливо покачала головой и отвернулась.

– Но почему?.. Я тебя разве отравить хочу?

Она снова покачала головой.

– Что тут такое? – поинтересовалась уже ее тетя.

– Не хочет брать конфеты. Я, может быть, искренне...

– Не обижай человека, – после паузы сказала Жаннетт. –

Возьми. Это нехорошо.

Та повернула голову, сначала взяла у него из рук пакетик, потом только подняла глаза и поблагодарила. Он вздрогнул, увидев, как задрался рукав на ее левой руке, обнажая недавние, хорошо знакомые шрамы. Кете поняла, что он разгадал ее мысли, и испуганно отвернулась.

Чем чаще он бывал у них, тем сильнее бросались ему в глаза особенности их жизни. Вечно в этом доме все находилось в движении, менялась гостиная, и часто из-за перестановок в ней ее невозможно было узнать – но все же в гостиной, какие бы странности с ней ни творились, оставалось подобие нищенского уюта. В других же комнатах было либо слишком много откровенного хлама, либо почти не было мебели. Конечно, никто в этом состоянии бесконечного переезда ничего не мог отыскать, не хватало самых элементарных вещей. Фортепиано было настроено верно, но тарбанила на нем Мария так, словно наступала вражеская армия. Ноты были разбросаны по стульям вместе с русскими книгами, из которых высыпались страницы. Целыми днями у них стояло тяжеловесное молчание, лишь изредка прерываемое чьим-то вопросом или вежливой просьбой – а затем ни от чего, без какой-либо причины, наступал период, когда все разом становилось шумно, болтливо и суетно. Побывавший на одном из их праздников Альберт нашел, что веселье

и счастье их неестественны: они заставляли себя выйти из меланхолии и шумели только за тем, чтобы шуметь, себе же показывая, что ничего плохого не случилось, что жизнь у них замечательная и нечего отмалчиваться, нечего переживать.

Закончилось же тем, что у ошарашенного ими Альберта разболелась голова: слишком громко била по клавишам Мария, исполняя по его просьбе Шопена, слишком смешлива и болтлива стала сама тетя Жаннетт, – ненормальность этого бессмысленного веселья отталкивала его. Почувствовав себя плохо, он выбрал момент, извинился и вышел. Выбежавшая в прихожую, чтобы его проводить, Кете испугалась его.

– Извините... – тихо сказала она.

Она тронула его за локоть, но отшатнулась с испуганным возгласом, заметив, что у него на глазах выступает кровь.

– Что с вами? – прерывистым шепотом спросила она. – Что с вами?.. Что это... такое?..

– Ничего. Не бойся. Это не страшно.

– Вам плохо?..

– Нет. Нет. Ничего страшного.

– Я вас провожу, – зашептала она. – Разрешите мне пойти с вами. Вам плохо, я же понимаю.

Она не предложила ему остаться, поняв, что ему не хочется, и схватилась опять за его руку и потянула к двери.

На лестнице Альберт сбросил ее руку и прислонился спиной к стене. Кете стояла в нерешительности, не понимая,

звать ли ей на помощь или лучше ждать. Вытерев глаза платком и открыв их, он случайно наткнулся взглядом на длинные рукава ее полосатой блузки. Сочувствие, что исходило от этого беззащитного ребенка, неожиданно его тронуло; и новое чувство, сопереживания и близости, заставило его спросить:

– Рука больше не болит?

Кете отступила и боязливо схватилась за перила.

– Прости. Не хочу тебя обижать... Но ты сама себя решишь, не так ли?

Она застыла, как каменная, и, казалось, разучилась дышать. В ином случае он бы убежал – и теперь желание провалиться сквозь землю билось в какой-то части сознания, – но смутное желание и самому найти понимание заставило его закатать рукава пиджака и рубашки. Кете в ужасе смотрела на него.

– У меня похожие шрамы. – Альберт протянул ей руки запястьями к ней. – Я стараюсь не заниматься этим, понимаешь...

Боже, чем я занимаюсь, мелькнуло у него логично в голове. Наверняка она сейчас завизжит и бросится к тете с обвинениями его в «маньячестве»...

– Вам было больно? – спросила Кете и робко закатала левый рукав.

– Так, немного... – Он опустил руки.

– Вы правда резали себе руки? Зачем?

– А почему ты режешь себя?

Он сглотнула и опустила глаза на грязные ступени.

– Не знаю... хочется порезать себя – и только. Тетя говорит, что я не должна об этом говорить, иначе... меня отправят к сумасшедшим.

– Она об этом знает?

– Да, она меня убеждает: что неправильно причинять себе боль, и чтобы никто не заметил у меня шрамы, иначе меня отнимут у нее... Вы тоже так делали? Почему?

– Наверное, чтобы справиться с болью... во мне.

– Я хочу перестать. – Кете сжалась вся как в чувстве вины. – Как мне перестать?

– Ну, нам на учебе говорят, что нужно осмыслить проблему и попросить помощи.

– Ясно... – еле слышно ответила Кете.

И, сильно хватаясь за перила, она стала взбираться обратно. От молниеносного страха, что он может лишиться, пожалуй, единственного человека, который не считает его больным, он крикнул ей вдогонку:

– Я приду еще, обещаю. Я вернусь.

Нет, это совершенное безумие. Хуже ничего не может быть, и если он кому-то скажет, что его связывает с этой девочкой общая тайна, его сочтут типом из его же учебников по криминалистике.

После он поразился ее спокойствию: он снова был в гостях у ее тети, и Кете ничем не показала, что у них был некий

разговор. Она игралась в гостиной и что-то напевала, а затем была выставлена Жаннетт, чтобы не мешать гостям.

– Сыграйте со мной в шахматы, – громко сказала она Альберту.

Жаннетт уставилась на него, но ничего не сказала. Чувствуя, что на него странновато смотрят, Альберт вышел за Кете в другую комнату и, оставив двери открытыми, уселся за подготовленную ею шахматную доску.

– Я вас меньше, – сказала она, – но вы не притворяйтесь, что играете хуже меня. Я не люблю так. Я научусь. Мне нужна практика. Согласны?

– Согласен.

– Можете играть черными.

И, наклонившись тут же, прошептала:

– Покажите мне руки. Я... я снова порезала себя. Тетя не знает.

– Я не могу, – тихо ответил Альберт, – не тут, это могут заметить.

Опасливо Кете посмотрела в открытый проем и, не открывая кожи, по ткани показала, как она порезала себя.

– Не стоит резать так, – ответил он, – если не хочешь, чтобы остались глубокие шрамы.

– Я очень хотела... – Она зажмурилась.

– Почему?

– Я... не знаю.

– А если поразмышлять?

– Я... боялась, что вы больше не... простите. Мне... тетя говорит, что мне нельзя причинять себе боль. Она говорит, что это... слабость.

– Это не слабость. Если у тебя болит горло, ты же не называешь это слабостью, верно?

– А я... больна?

– Нет, нет, прости меня.

Покусывая губы и посматривая за остальными гостями, Кете долго молчала. Он вспоминал, каким был в ее возрасте, и не понимал, чувствует ли печаль, страх, боль или любовь к прошлому, или чувства смешались, или он разучился отличать их и забыл, что они – разное.

– Почему ты живешь с тетей? – тихо спросил он. – Что с твоими родителями? Почему ты живешь в Минге?

Она колебалась.

– Ты не хочешь говорить об этом? Тебе неприятно?..

– Нет, – ответила Кете. Она смотрела на свои руки. – Я... у нас... нет дома. Мы уехали, нас изгнали, и нас не пускают обратно.

– Тебе плохо в Минге?

– Нет... но мне было лучше на Севере. Я... мне... тяжело переучить язык и... меня... ну... оскорбляют в школе, потому что я говорю с ошибками... и что приехавшая и... что я живу с тетей и у меня нет мамы.

Поразительным усилием она заставила себя не плакать. Заметив, что на нее смотрит Жаннетт, она резко убрала руки

вниз и уставилась на шахматную доску.

– Почему у вас шла кровь? – еле слышно спросила она. – Из глаз.

– Это семейное. У меня это, сколько себя помню.

– Вам очень больно?

– Привычно.

– Мой отец погиб очень давно, – сглотнув, сказала она. – Отец погиб, а мать умерла при родах. У нас с Марией матери разные. Но мать Марии я тоже не помню. Она умерла несколько лет назад. В столице у нас были Гарденберги, тетя Лизель и Дитер. Я просила остаться, но тетя настаивала, что нам обязательно нужно уехать. Я... очень скучаю по ним.

– Мне очень жаль.

– Зачем вы себя резали? – перебила сейчас же она.

– Мне... было плохо. А сейчас лучше, я много учусь и у меня есть приятели.

– Как мне перестать?

Альберт помолчал и честно ответил:

– Я не знаю.

– Мой ход! – воскликнула Кете и выставила вперед пешку.

Позже Жаннетт поинтересовалась у него, как он смотрит на возможное начало новой войны.

– Это была ошибка, и мы не повторим ее, – ответил он.

– Вы считаете?... – откликнулась Жаннетт. – Хорошо, если вы правы. Но я иного мнения.

Отчего в их мыслях столько тоски и темноты? Уходят лю-

ди, а вместе с ними уходят война и эпоха.

С вокзала в Минге он отправил матери телеграмму: «12.40 встречай». На вокзал в столице встречать пришла Мисмис – взрослая темноволосая девушка с кукольно-капризным личиком и, о ужас, выше брата на четверть головы.

– Не узнал, Бертель? – с веселой улыбкой сказала она. – Можно мне тебя поцеловать?

– Пожалуйста. Ты стала ужасно взрослой. Ты стала... выше меня. Ого!

– Это ты низкий. А мама по тебе скучала.

– Конечно...

– Не язви, пожалуйста, – тихо ответила она. – Она скучала, я знаю. Ты сам поймешь. Альбрехт, приятно, что ты нас навестил.

– Ага, – ответил тот, поглядывая поверх ее плеча.

Мисмис обиженно сжала губы и взяла за локоть брата. У дверей вокзала она наклонилась к Альберту и спросила еле слышно:

– Что это с ним?

– Понятия не имею, – ответил Альберт. – Наверное, по-прежнему переходный возраст.

Плетущийся за ними кузен Альбрехт слышал их разговор, но не вмешивался.

В Минге было лучше – Альберт понял это, только сойдя с поезда. В столице было непривычно мрачно и ветрено (с

фёном не сравнить). Торжественный лабиринт из камня был страшен человеку, что привык к провинциальной простоте в архитектуре. Иначе пахло и иначе звенело на улицах, обрывки голосов – не южный язык и не литературный, а жесткий северный диалект с еле уловимыми вкраплениями знакомых слов.

И – родители были не те, странно (неужели странно?) постарели. Сухая и беловолосая мать более не снимала очки, стала забывчивой, усталой, и днем ее клонило в сон. Отец держался несколько живее, не переставал работать, но и у него случались помутнения, когда он забывал, что делал только что. Но выглядел он аккуратнее Лины, что забывала о внешности и позволяла себе – немислимое в Минге – быть неряшливой. Альберт в смутном страхе смотрел в эти глаза – старости и приближающейся смерти.

Чтобы сделать им приятное, он привез подарки: отцу – удобную самопишущую ручку и вечный карандаш, матери – новое издание романа Гете, Мисмис – серебряное кольцо с опалом. Марта была этим довольна, надела его и, рассматривая на вытянутой руке, сказала:

– Больно строгое, и не женское словно. Но замечательное, Бертель, спасибо. Я не буду снимать его.

– А как учится Альбрехт? – не к месту спросила Лина, не стесняясь присутствия племянника. – На него жалуются все так же?

– Меньше. Но учится он плохо. Не сможет поступить.

– Я и не хочу поступать, – тихо сказал кузен Альбрехт.

Занятый учебной больше, чем собой, Альберт был оскорблен.

– А чего ты хочешь? – резко спросил он. – Как сейчас – по подворотням шляться? Вольешься в преступную шайку, сначала ограбишь кого-то, после – зарежешь в пьяной драке. Этим все и кончается. А честным людям потом с тобой разбираться.

– Тебе, что ли, разбираться?

– А, может, и мне?

– Ты слишком строг, – перебила брата Мисмис. – Тем более тебе должно быть все равно, чего хочет Альбрехт.

– Я забочусь в том числе о семье.

С усмешкой Марта ответила:

– Бертель, это слишком, прости меня, пожалуйста. Твое желание контролировать все на свете не должно касаться нас.

– А какого мне будет знать, что мой родственник – преступник, которому гильотина – мать родная? Придется мне за него краснеть на рабочем месте. Мне, кстати, обещают хорошее место, – добавил он с улыбкой, чтобы отвлечь мать, что забеспокоилась от их разговора. – Если все пойдет, как я рассчитываю, я получу место в прокуратуре... постоянное, если хорошо сдам все экзамены. Тут важна дисциплина.

– О, а отец хотел, чтобы ты стал юристом партии, – ответила Лина невесело. – Но, признаюсь, я на твоей стороне.

Я рассчитывала, что ты станешь следователем... Ты хочешь быть прокурором?

– Да, – ответил он, – у меня повышенное чувство справедливости.

Мисмис тихо рассмеялась, явно сомневаясь в заявленном.

– Знаешь, мама, не будь Мисмис ленивой, я бы посоветовал и ей поступить в университет, может быть, тоже на юридический.

– Вот еще, – фыркнула та, – работать должны мужчины. Я не собираюсь этим заниматься.

– Неужели? – зачем-то спросил кузен Альбрехт.

Взглянув на него быстро, Марта покраснела.

– Да... это мое мнение, – прошептала она.

– Мисмис помогает в партийном штабе, – сухо сказала мать, – это позволяет ей зарабатывать себе на приятные мелочи. К сожалению, мы с отцом не можем обеспечивать ее, как раньше.

– И что же ты делаешь? – с иронией спросил Альберт.

– А что?.. – Марта отвернулась. – Принимаю письма всякие, отвечаю на звонки и завариваю кофе...

– И тебе это не нравится?

– Нет. Я не люблю работать. Я уже сказала, Бертель.

– Значит, вы с Альбрехтом похожи.

В словах его было столько неосознанной злости, что Марта изумленно оглянулась на него. После она встала и, переглянувшись с покрасневшим Альбрехтом, вышла из гости-

ной.

– Ты разозлил ее, – с укоризной сказала Лина, – незачем спрашивать ее о работе.

– Вы, мама, – возвратившись к саркастическому «вы», сказал Альберт, – вы вырастили лентяйку. Ах, простите, вы вырастили довоенную барышню, которая только и должна, что брэнчать на пианино и служить украшением гостиной. Вы вырастили абсолютно бесполезное...

– Ты считаешь, современная девушка обязана убить свою юность на работе? – обиженно спросила мать.

– А чем девушка лучше меня? Почему юноша должен убить юность на учебе и работе?

– Девушка оставляет красоту и юность, рожая детей, – отрезала мать. – Кажется, ты пока не научился рожать детей. Как только мужчины научатся рожать и выкармливать, мы станем равными.

То был умный ответ, и Альберт не сразу нашел, что ответить. Поначалу он хотел сказать, что нынче не всякая особа женского пола рождает детей, но мать была старой закалки и, возможно, не слышала о современных бездетных девушках.

– Но ты сказала, что вы не справляетесь с содержанием Мисмис, – сказал он потом. – Можно не любить работать, но работать – чтобы прокормить себя.

– Мы с твоим отцом хотим, чтобы она вышла замуж.

Неуверенно он посмотрел на Альбрехта – тот был неприятно поражен этой новостью и не сумел скрыть дрожь в ру-

ках.

– Как – замуж? – спросил Альберт. – Сейчас? Она только гимназию закончила – и уже замуж?

– Нет, не сейчас... конечно. Но в ближайшее время. Человек уже есть, милый, честный, из хорошей семьи. Немного тебя младше. У них хорошие отношения, и я уверена, что он любит ее. И она его тоже. Мы вас познакомим. Человек прекрасный. Сейчас она не готова, мы ее не торопим, это ей кажется, что мы ее заставляем... Разве заставляем? Но нельзя по глупости отказываться... Я только не хочу, чтобы она спешила, чтобы она все по глупости своей натворила, а потом жалела... Ей нужно время.

Говоря так, она внимательно смотрела на Альбрехта. Он как-то съежился, а затем, чтобы избежать этого, встал и извинился. Как только он вышел (конечно, потому что заболела голова), Лина сказала:

– Я просила тебя не привозить его к нам.

– Я не мог его не взять, – ответил Альберт, – он несовершеннолетний, я за него отвечаю.

– Не стоит оставлять их вместе. Не притворяйся, что ничего не замечаешь. Мисмис... плакала без него. Я слышала ночами, как она зовет его по имени во сне. Я вставала и шла к ней, чтобы проверить, ей было плохо, она так тяжело засыпала... и она звала его.

В горле у него пересохло; он чуть слышно спросил:

– А если это любовь?

– Нет! Это проклятие моей семьи. Ни за что! Берти, в моей семье были браки с кузенами. Но потом возникла эта... эта странность. Ты сам знаешь: то, что у тебя часто кровоточат глаза, – следствие этих связей. У вас с Мисмис это чаще, чем у меня и моей матери. И если будет новая такая связь... Я не хочу. Я боюсь. А если новая болезнь? У моих внуков. От... него.

– Разве можно разорвать это?

– Я попрошу Кришана занять Альбрехта, чтобы он не бывал дома, не встречался с Мисмис... У Мисмис есть хороший юноша. Не за чем.

Взявшись за привезенную сыном книгу, она немного успокоилась. То были «Страдания юного Вертера»; их она перечитывала раз, должно быть, сто, и имевшийся в семье экземпляр успел поистрепаться и в некоторых местах замусолиться. Вспомнив о жутком состоянии книги, Альберт купил новейшее издание – с блестящими страницами и яркими иллюстрациями модернистов. Лина с удовольствием пролистала книгу, но сказала, что эта красота должна стоять за стеклом.

– Тебе не нравится?

– Что ты, нет... Она замечательная, Берти. Но очень тяжелая. Руки у меня устают... – Она помолчала, отчего-то краснея; сказала затем: – И я неаккуратная. Она красивая очень. Я ее испачкать боюсь. Жалко ее, это все-таки твой подарок...

– Ну что ты? Я тебе еще десять таких привезу, мне не жал-

ко.

Мать слабо улыбнулась.

– Я перечитываю старое, – сказала она, – не могу новое читать, не получается... Твой отец говорит, что я скучаю по Минге, вот меня и тянет на старое.

– А ты скучаешь?

– Да... очень скучаю.

– Так поезжай со мной в Мингу.

Она сняла очки и начала протирать их рукавом платья.

– Берти, мы говорили об этом с тобой: я не могу оставить твоего отца. Он снова пишет – в партийную газету. То была его мечта – писать в эту газету. Он привязан к столице.

– И этого ты хочешь Мисмис?

С непониманием мать замигала на него полуслепыми глазами.

– Ты всю жизнь жертвовала собой во имя его мечтаний! Ты принимала его постоянно, что бы он ни творил! Он... сломил твою волю. Ты рожала от него, прощала все, но спрашивал ли он, чего хочешь ты?

– Я решительно тебя не понимаю, – воскликнула Лина. – Твой отец обеспечивал нашу семью, как умел, его стараниями вы получали питание, одежду и образование. И теперь он обеспечивает меня. У нас были политические разногласия, но упрекать его... И сейчас он старается во имя вашего будущего!

– Но зачем, зачем он старается? Во имя какого будущего?

Кого это сделало счастливым – тебя, Мисмис или его?

– Я не понимаю твоей... ненависти к отцу, – не сумев скрыть растерянность, ответила она. – Право, ты можешь не любить меня – я не дала тебе любви, которой ты хотел. Признаю, мне не хватило ее – на тебя. Но он?..

Он попытался понять, из чего проистекает его нынешнее отношение к отцу, но размышления вызвали новый прилив неприязни. К матери, впрочем, так же не было сильного чувства, на окраине сознания жило желание – заслужить ее признание, но оно было слабее прежнего желания ее любви. Он вспомнил мучительное влечение, что таилось в глубине глаз Альбрехта и Мисмис, – и снова в горле пересохло от смутной тяги к схожим ощущениям. Но, в отличие от этих двоих, от матери с ее жертвенной любовью, от отца – с любовью к партии, – в отличие от них он не любил и не желал никого конкретного. Чужая же любовь – или ее имитация – служила раздражителем, напоминала о жажде и невозможности ее утолить.

– Он выбирает партию, а не тебя, – сказал он, чтобы что-то сказать. – Я считаю это странным. Тем более, что ты иных политических...

– Теперь это не имеет значения, – поспешно ответила Лина, – я устала доказывать, что Минге лучше быть независимой, я смирилась... Минга потеряла шанс на независимость. Я умею признавать поражения.

– Ты тоже веришь этой партии? – пораженно спросил Аль-

берт.

– Нет... Но я признаю их силу. Я чувствую, Берти: они сильнее, чем я. Кришан был прав, выбрав их, а я – я ошибалась. Скоро мы будем принадлежать им полностью.

– Если ты это говоришь... сильно они тебя потрепали!

– С чего бы тебя это волновало? – Она пожала плечами. – Ты аполитичен, ты – не патриот Минги и республики, не все ли равно, голосую я за свободу Минги или за ее зависимость от Севера? Зачем тебе волноваться о программе партии?

– Зачем?..

Не желая спорить, Лина перебила его: заявила, что Мисмис нельзя оставлять с Альбрехтом во избежание романтического объяснения.

Мисмис читала в комнате мальчиков, Альбрехт при ней доставал одежду из саквояжа. Она закусывала губы и качала левой ногой. Он осматривал бежевый костюм и насвистывал столичную песенку. Лина не стала им мешать.

«...Достаточно учитывать несколько правил, они простые.

Во-первых, пропаганда не может быть целью, а только средством.

Во-вторых, занимаясь ею, допустимо отказаться от гуманизма и эстетизма. Оставьте это литературе.

В-третьих, помните, что это – оружие, и оно может достигать невероятной силы в руках знатока. Используйте его мет-

ко, бейте в самые уязвимые места.

В-четвертых, ориентируйтесь на массы, пропаганда должна быть настолько проста, чтобы затронула и примитивного человека. Ни за что не пишите умно. Упростите. Много слов – плохо, больше лозунгов. Краткость и простота – залог успеха.

В-пятых, взывайте к чувствам, а не разуму.

В-шестых, не нужно развлекать! Оставьте это кабаре! Развлечения размягчают волю! Но не скатывайтесь в уныние!

В-седьмых, смотрите пункт 4 и повторяйте бесконечно. Настойчивость – тоже залог успеха.

И главное – вы не можете быть объективным, пропаганда обязана быть субъективной и односторонней».

– Что это? – спросил Альберт.

Мать дремала, раскачиваясь в качалке в гостиной, и он отчетливо слышал скрип – дальше, и дальше, и дальше. Альбрехт, что возвратился с партийной службы (он разносил газеты), нашептывал что-то в прихожей Мисмис, а та хихикала, зажимая рот рукой.

– Я нашел это на тумбочке... Это ты, наверное, писал?

– Это по моей работе в газете, – после колебаний ответил отец. – Всего лишь черновик, мой коллега спрашивал, каких принципов нам стоит держаться в... Но, полагаю, тебе скучно такое.

– Ничего, что я прочитал?

– Что ты, конечно, ничего страшного. Ничего секретного

тут нет.

О стол стучали приборы и стакан – отец ужинал теплыми сосисками с гренками и чаем.

– А ты отчего же не ешь? – спросил он потом Альберта.

– У меня нет аппетита.

Доев с тарелки, отец потянулся к пирожным, но, перехватив взгляд Альберта, отдернул руку. Мисмис за стеной засмеялась громче.

– Хм... признаюсь, Берти, я близ тебя... Мне кажется, тебе неуютно в нашем доме. Не хочешь рассказать, что тебя тревожит? Проблемы в университете?

– Нет.

– Может быть, тебе деньги нужны?

– Нет...

С отвратительным терпением отец ждал, а Альберт, чтобы побороть злость, прислушивался: вот скрипит качалка матери, Мисмис просит Альбрехта быть осторожнее...

– Значит, ты считаешь, разговор не получится...

– Я считаю тебя эгоистом, – выпалил Альберт.

Тот несколько изменился в лице: сузились глаза, напрягся старый желтоватый лоб, губы сжались.

– В чем же я эгоист, ты считаешь?.. Неужели мать сказала тебе нечто, что ты...

– Да мать скорее умрет, – перебил его Альберт, – чем скажет о тебе так... Она всю жизнь тянула на себе семью, а ты развлекался с партиями и газетами. И то, что ты пишешь сей-

час, – это бросает тень на нашу семью! И на меня!

– При чем тут моя работа?

– Ваша партия – вам вечно то судом угрожают, то полицией и обысками! Мало этого? И с этой партией связывает себя моя семья!

– Я не понимаю, что тебя волнует.

– Что меня волнует? – воскликнул Альберт. – Моя жизнь – вот, что меня волнует. Разве мне смогут доверять, зная, что моя семья?.. Как я буду представлять закон? Как – если в моей семье такое творится?

– Ты все преувеличиваешь, – устало ответил отец. – Через пять лет партия обеспечит тебе лучшее место.

Утомленное спокойствие отца было невыносимо; в его присутствии Альберт не мог быть уверенным и столь же спокойным, он волновался и боялся внезапной истеричности, в которой растворились бы его благоразумные аргументы.

– Не понимаю, как ты можешь это писать! – выпалил он. – Тебе самому это не мерзко? Что это за язык?

– Что с ним не так?

– Ты пишешь... как они! Да, я прочитал три твои статьи! Это язык местного отребья! Язык хамов... У нас за всю свою жизнь я не столкнулся с такой резкостью... а у них она – обычное явление! Тут принято хамить. Доходит до того, что смеют смеяться над нашим языком. За собой бы смотрели – сами не говорят, а лают! У них не речь, а сплошное собачье гавканье! И ты, как они, меняешь слова, и эти их экспери-

менты с языком, их сокращения...

– В тебе говорит националист-южанин, – спокойно ответил отец.

– Нет, во мне... Ах, черт!

– Что я могу сказать?.. – Отец все же взялся за пирожные. – По молодости мы все категоричны. С ними нужно говорить на их языке. Который они понимают. Тут не до изысков... Тебе сколько лет – двадцать один?

– И что? К чему тут мой возраст? Я... не путаюсь черт знает с кем! Я не оскорбляю других людей, не печатаю хамские статьи в газетах... и не распространяю это на тысячах экземпляров! Я учусь. Тебе не в чем меня упрекнуть.

От злости его била дрожь, ему хотелось, чтобы отец активнее с ним спорил, ему это нужно было, чтобы выйти из себя, раскричаться – и тот понял его желание, встал и, не простившись, вышел в свою комнату. Вместо Кристиана в столовую пришел Альбрехт, что слышал часть их диалога и был оскорблен непочтительностью старшего кузена.

– Ты просто крыса! – с каким-то даже удовлетворением заявил Альбрехт.

– Что?.. Тебе-то что?

– Что такое? – спросила Марта, что вбежала следом за Альбрехтом. – Мне послышалось, ты кричал, Бертель.

– Что там такое? – спросила из гостиной проснувшаяся Лина.

– Он критикует своего отца, – выпалил Альбрехт, – за то,

что тот пишет в партийную газету. Ему не нравится ее честный тон. Он не выносит правды жизни! Местная грязь его оскорбляет!

– Зато у тебя к ней симпатия, – огрызнулся Альберт. – Конечно, кто твоя мать? Дядя Иоганн вывез ее из местных трущоб. Ты возвратился на свое истинное место.

– Как мило с твоей стороны, – перебил его Альбрехт. – Пока моя мать была жива, она любила тебя.

– Вы что, оба с ума сошли? – воскликнула Мисмис. – Бертель, как ты можешь так отзываться о тете Луизе? Она была хорошим человеком. Нельзя плохо говорить о ней! И как ты можешь обвинять папу? Ты не прав, Бертель, извинись!

– Я не прав? Как знаешь! Но я не стану извиняться.

– Любопытно, что ты скажешь о ее муже... извините, о ее женихе, – поправил самого себя, с мстительным выражением, кузен Альбрехт. – Он и в газете работает. Мисмис за него пойдет вот-вот, да?

– Что ты говоришь? – тише ответила она. – На тебя-то что нашло?

– Что я?... Я ничего, – резко ответил кузен Альбрехт. – Мне сказать нельзя?

– Оставь ее в покое! – перебил его внезапно Альберт. – Ты – Saupreiß! Schmalzpreiß! Не смей ее упрекать!

В омерзении Марта вскрикнула.

– Что за слова в моем доме? – крикнула из гостиной Лина. – Не смей браниться в этом доме!

– Да наплевать мне на твое мнение! – выкрикнул Альбрехт.

Со слезами Марта выскочила из столовой и, забежав в свою спальню, закрылась на замок. Альбрехт побежал за ней, но она отказалась открывать, вопила, чтобы ее оставили в покое, а если не оставят, она покончит с собой «невозможно жестоким образом». С час Альбрехт расхаживал по комнатам и вслух говорил: «Как же, считает себя лучше меня, как же... Чем он лучше меня? Из университета? Наплевать! Презирает нас... интеллигент, как же!». Втайне Альберту было стыдно, что он оскорбил Альбрехта – тот не провинился, а попался случайно и сыграл на злости, что Альберт не успел излить на своего отца. Неловко было и близ матери, что не выносила нецензурной брани, он ужасно выразился – и это спустя пять минут, как он причислил отца к местным хамам. В потребности спрятаться Альберт закрылся на замок и сидел в комнате, пока не пробил час ночи.

В наступившей тишине он услышал, как Марта отворила дверь и что-то прошептала.

– Что ты делаешь?

Испуганно она оглянулась.

– Это ты, Бертель? Не включай свет! Мама с папой легли.

– Ты устраиваешь свидания, что ли?

Но не успел он договорить, как его ноги коснулось нечто маленькое и мягкое. Он наклонился и рассмотрел близ ботинка черного котенка, который пытался поймать лапками

его штанину.

– Черт, Мисмис, это кошка!

– Тише! Я выпускаю ее погулять.

– Мисмис, мать ненавидит кошек! У нее аллергия. И у меня тоже.

– Но ты любишь кошек, – ответила Мисмис, – мне жаль, что у тебя аллергия. Честно, Бертель... закрывай дверь! Не говори ей, умоляю! Альбрехт молчит. Что тебе стоит?.. Я нашла ее у дома. Кто-то выбросил ее. Смотри, какая она маленькая! – Она включила в спальне свет и взяла котенка на руки. – Смотри, какая малютка! Ее выбросили, а мальчишки ее обижали. Они облили ее водой! Она погибнет на улице, Бертель! Пожалуйста, Бертель, не говори!

– У меня уже... нос заложен. Черт.

– Уже?.. Но посмотри, какая она! Разве тебе ее не жалко?

С умилением Марта играла с тонкими кошачьими лапками. Альберт усилием воли поборол желание потрогать черные уши.

– И долго ты собираешься прятать у себя кошку? – спросил он, присаживаясь на постель.

– Не знаю. Бертель, я знаю, что маме... но я поспрашиваю, может, кто возьмет ее к себе. Прости, что и тебе...

– Не знал, что ты можешь быть доброй, Марта.

Странно, словно сквозь слезы, она рассмеялась. Котенка выпустила из комнаты и спросила:

– Вы помирились?

– Нет, – честно ответил он. – Я не собираюсь с ними мириться. И я имею право на свое мнение.

– Почему ты жестокий, Бертель?

– Разве я жестокий?.. Нет. Нет, Мисмис. Это... это они. Мисмис, поехали обратно! – сказал он, моментально решив попросить ее. – Поехали! Нам нужно вернуться в нашу Мингу. Мне, тебе и матери.

– Нет... нет! – поспешно ответила Марта. – Я больше не вернусь туда. Нет... ни за что!

– Почему? Разве тут лучше?

– Нет, я не вернусь, не вернусь! Лучше я выйду замуж, но останусь... не хочу уезжать! Я не смогу вернуться в тот дом! Я умру, если опять войду в него.

– Но почему? Я не понимаю!

– Слишком много воспоминаний. Бертель, я не смогу! Прости меня. Не понимаю, как ты можешь оставаться в том доме. Ты должен лучше меня все помнить. Я была меньше, но помню. Ты же старше, ты должен помнить! Почему мы никогда не говорили об этом? Почему?.. Ты помнишь? Помнишь ночь, и маму?..

– Нет, я не помню... я не знаю! – холодно ответил Альберт. – Нет, Мисмис. Я не хочу. Я уже ничего не чувствую, давно, мне уже все равно.

– Ты врешь!.. Что ты из себя пытаешься... Со стороны... как это глупо! Ты взрослый человек, а закрываешь глаза, думая, что так пройдет, что это чудовище, страшное чудовище!

Ненавижу наше общее молчание! И ты – как я, я знаю!

– Не кричи ты! – перебил ее Альберт. – Хочешь, чтобы нас услышали родители?

– Ах, родители! Хочу! Хочу! Как праведный гнев у тебя, так можно затевать скандал, а как показать слабость – так боже упаси! У нас нельзя быть слабыми, нельзя показывать боль, даже мама себе этого не позволяет, все притворяется, все прячется... а уж тебе тем более нельзя. Даже сказать нельзя. Ты же у нас старший сын! Умный и уверенный мальчик! Который притворяется, что никого не боится и никого не любит!

– Ты неправа, – пытаюсь смягчить голос, сказал Альберт. – Мама очень тебя любит. Ты не должна требовать от нее большего.

– Раньше, может быть... Вот я тебя люблю, я хочу, чтобы ты говорил со мной, и я... часто злюсь на тебя, могу обвинять тебя, но я... я никого не люблю так, как тебя, Бертель! Ты один можешь понять меня. Мне надоело быть хорошей, правильной. Я хочу уйти... выбраться отсюда, никогда не возвращаться!

– Я не знаю, Мисмис. Я не понимаю, что ты говоришь. Мне кажется, тебе нужно перестать себя жалеть и...

– О, ты зато себя не очень-то жалеешь! Как же, совестно, незаконно... как это – себя жалеть? Это же неважно. Зато злость – чувство не стыдное. Как же.

С тихим вздохом она обхватила руками его шею и носом

уткнулась в его плечо.

– Мне помогать не нужно, Мисмис. Ты себе не можешь помочь.

– Нет, Бертель, поговори со мной! Поговори, я умоляю тебя!

– Зачем?.. Зачем? Какой в этом смысл? Ничего не исправишь. Никогда, понимаешь?

– Нет, – слабо ответила Марта.

– Что с того, если мы... зачем? Я... Ты на что-то злишься? – перебил самого себя Альберт. – На меня? Тебе прямо не терпится вывести меня из себя!

– Я лишь хотела... сказать тебе... Прости, я... мне так... так плохо, – прошептала Мисмис. – Мама разозлилась на меня. Она увидела, как я стираю простыню, и поняла, и отругала меня. Я солгала, что приходил мой одноклассник... наверное, она мне не поверила. Она сказала, это только для зачатия детей, что это отвратительно, и мне было так стыдно... стыдно перед ней. Я думаю, это потому... что ее... ну, изнасиловали. Она так говорила: что вы, мужчины, используете нас, и чтобы я боялась вас, потому что вы причиняете нам боль. Она так пыталась сказать мне о той ночи, о том, что с ней случилось, а я... мне было стыдно перед ней, потому что я чувствовала другое, я почувствовала... счастье.

– Мисмис, я не хочу это знать, – решительно оборвал ее Альберт и отстранил ее руки.

– Прости, прости... Я все время думаю об этом. Вспомни-

наю. Ты не видел ее лица, когда она меня ругала. Я думала, мы с ней поговорим, но она ни за что... притворяется, что не страшно или... что я не так поняла, этого не было и прочие глупости. Ты же знаешь, как она умеет обманывать. Я не хочу жить, боясь мужчин.

– Хорошо... хорошо, – бессмысленно ответил Альберт. – Все будет хорошо.

– Ты же не такой? Ты никогда...

– Нет, нет. Конечно, нет.

– Он был добр к нам, – сказала Мисмис. – Всегда что-то приносил. Ты всегда встречал его после работы.

– Да... – Он взглянул на часы. – Два часа. Я пойду спать.

В комнату попросилась кошка. Он открыл дверь и пустил ее под кровать.

– Неужели нас не ждет ничего хорошего? – прошептала Марта.

– Нет, я нормально.

– Я чувствую себя виноватой, потому что люблю мужчину и хочу с ним... ну... ты понимаешь.

– Спать?

Она закусила губу и опустила голову.

– Это нормально, – ответил Альберт, – если ты этого хочешь.

– Не забирай у меня Альбрехта. Он будет ночевать в редакции. Бертель, я люблю его. Понимаешь?

– Ну хорошо. Пусть остается. Мне-то что?

Он шмыгнул носом и сказал:

– А знаешь что?.. Я хотел уехать позже, но отправлюсь завтра, хватит с меня этого. Я возьму кошку с собой.

– У тебя аллергия, – напомнила Марта.

– Я позабочусь о ней. Вернее, я знаю девочку, которая может позаботиться о ней.

Первым по возвращении домой его навестил Аппель.

– Как поживает наш Альберт? – шутливо и ласково спросил он, не снимая в его прихожей шляпы.

– О-о-о... можешь не спрашивать меня.

– В прогнозе было сказано: в столице, конечно же, невыносимая жара... Как же, жара?

Улыбаясь весело, Аппель присел тут же на стул, должно быть, не собираясь оставаться; был он по-своему красив в летнем светлом костюме с модным галстуком, и от осознания привлекательности своей становился еще притягательнее на женский взгляд.

– Хорошо, конечно, доехал?

– Ужасно. Я не мог нормально дышать. У меня аллергия на котов.

– Ты, конечно, похитил у кого-то кота?

– Если бы... у меня все в шерсти!

– О, ты привез его домой? – восторженно спросил Аппель. – Можно потрогать?

– Он у Воскресенских. Повезло, что ни у кого в семье нет

аллергии. Кете понравилось: «Какой красивый кошак!». Хотя это кошка. Мне нужна чистка!

– У тебя новая странная прическа, – заметил Аппель.

– Это андеркат.

– Слишком оригинально, боюсь. Брить виски и что там дальше – так себе. Это никогда не войдет в моду, я уверен.

– А чего ты пришел, кстати? – перебивая его, устав стоять в прихожей, спросил Альберт.

– Чтобы узнать, как ты... Как семья? Как поживаешь? Ну, и прочее.

– Плохо.

– Просто плохо или совсем плохо?..

Обоим стало неловко; потом Аппель встал и, покрутившись у порога, поинтересовался, не хочет ли Альберт с ним выпить.

– У меня денег сейчас нет, – просто ответил Альберт.

– Пустяк, у меня тоже почти нет. Так, мелочь на пиво. Мы выпьем у Лизы. У нее родители на сутки уехали, наши собираются, напитки за ее счет. Хочешь?..

Делать ему было нечего, за исключением уборки, и Альберт, обычно избегавший больших компаний, согласился. Аппель, пока дожидался его в прихожей, вытащил из кармана маленькую политическую брошюрку; потом сказал:

– Конечно, неплохо быть сыном известного идеолога, а? Интересно он пишет, как считаешь?

– Можно мне не напоминать?.. Тебе легче: ты – сын ува-

жаемого человека, ученого.

Аппель промолчал: он не любил упомянутого ученого человека.

Вопреки протестам Альберта, выпили они вдвоем уже на улице: так, Аппель не хотел появляться в компании пьяных, не выпив сам даже бокала пива. Непринужденность его расслабляла Альберта; он не мог забыть, что завидовал Аппелю из-за способности того легко возбуждаться. В незнакомой Альберту квартире они сели сначала в дальней комнате, к другим знакомым. Избавившись от пиджака, где-то умудрившись потерять его в этом небольшом пространстве, Аппель часто убегал за новыми стаканами. Через час понять, что они пьют, было сложно: казалось, то была смесь пива и газировки, но с добавлением неизвестного. Выпив, Альберт становился весел, и смеяться ему хотелось без причины. Аппель от алкоголя расслаблялся, а после впадал в подобие истомы, как после женщины.

Так, чувствуя себя обновленными, они ушли на открытый балкон и сели прямо на пол, не заботясь, что вокруг разбросаны пустые пачки от сигарет и уже сожженные спички. К ним попыталась попасть низкая светленькая девушка, но Аппель обругал ее, и она, обидевшись, хлопнула дверью.

– О, она... от тебя без ума, – узнав ее, напомнил Альберт. – Это она хотела, чтобы ты поехал с ней на каникулах... в этот... как он?

– Да ну ее!

– Она очень красивая. Мне... это... нравятся светлые... эти... как они? А, волосы.

– Хочешь ее? – серьезно спросил Аппель.

– Что за черт?.. Она хочет с тобой. Я при чем тут?

– Я, конечно, смогу ее уговорить... ну, чтобы вместе.

– Ты спятил, что ли? – рассмеялся Альберт.

– Извини, мой высокоморальный. Я, конечно, знаю, кому тебя сосватать. Как имя той, что тебе глазки строила в кафе? Честно, ты ходишь на нее смотреть?

– Отстань, а? – оборвал его Альберт.

– А что?

– А что ты лезешь?

– Не зря говорят, что ты странный у нас, – тихо рассмеялся

Аппель.

– А это преступление?

– Расслабься, ну? Выпей со мной. Хорошая ночь...

В усталости Альберт прислонился головой к голой стене; ему хотелось спать, долго-долго, во сне вспоминая это нежное спокойствие.

– А ты пробовал с мужчинами? – поинтересовался Аппель.

– Эм... что?

– Ну, если тебя к девушкам не тянет. Должно же хоть к кому-то тянуть?

– Думаешь?

– Боишься, что мама поругает?

– Нет. – Он еле слышно рассмеялся. – А как это?

– Обыкновенно. Ничем почти не отличается.

– Было бы забавно... это потому, что я пьян, – ответил

Альберт. – Хочется... понять, как вы это чувствуете. Я почему-то... ничего не хочу. Мне... смешно!

– Расслабься лучше. Нечего тут бояться.

Непривычная нежность была приятна – но как любая иная нежность, хоть и безответная. Получается, что и Аппель способен на бережное отношение. Аппель попытался поцеловать его губы, но он не ответил на это и, словно чужие губы не вызывали у него ничего, кроме скуки, просто положил голову на близкое плечо. Поняв безразличие его, Аппель отстранился через несколько минут и сказал:

– Жаль.

Как они расстались, Альберт не запомнил: возможно, они простились на балконе или позже, но домой он пришел в одиночестве.

Наутро ему было странно вспоминать случившееся – но вместо интереса или омерзения он замечал все то же безразличие, что оттолкнуло от него Аппеля минувшим вечером. Лишь мысль, что он мог бы проявлять открыто нежность, была отчетливо неприятна, и захотелось убежать от нее, спрятаться, настолько это было, связанное с ним, неестественно. Каким бы хорошим ни был Аппель или кто-то вместо него, он испытывал разве что тоску, а не желание. Боясь, что он глубоко оскорбил приятеля, Альберт избегал его пять

дней, но потом все же решился приблизиться к нему близ университета и сказал без предисловия:

– Альдо, в прошлый раз я был... я был очень пьян. Извини, если что-то пошло не так. Хорошо? Не обижайся.

– Нет, это ты извини, – быстро, с сожалением, что он вспомнил это, сказал Аппель. – Давай забудем, ладно?

– Да. Глупо вышло... очень глупо. Забыли.

Как-то, ранним вечером, он словно бы рассеянно зашел к Марии и Кете, хоть и знал, что нынче у них не принимают. Мария, которая не понимала, зачем он пришел, посмотрела удивленно и затем, как он снял уже пальто, сказала:

– Моей тети нет. Вы к ней?..

– Нет, я так.

– Ну, как хотите, – ответила Мария, не изменяя любопытному, но отчасти и подозрительному тону. – Заходите, если вам надо. Я с ученицей заканчиваю заниматься.

– С какой ученицей?

– Я даю уроки фортепиано, – через плечо бросила она.

За дверью, близ пианино, в круге желтоватого света собирала ноты девочка, должно быть, немногим младше Марии. Пока Мария, с поникшей головой и от усталости упавшими плечами, тихо объясняла ей что-то, Альберт прошел к ее младшей сестре.

– О, хорошо, что вы пришли! – помахала ему Кете из-за шахматного стола. – В прошлый раз вы не сыграли со мной. Почему?

– Я зашел тогда на минуту, прости.

– Вы уезжали?..

– Я уезжал к своей семье, – закончил он за нее. – Они в столице, я тебе о них рассказывал. Хочешь, сыграем сейчас?

– Давайте. У меня не получается думать за двоих. Белые почему-то постоянно поддаются черным.

Заметив, что Марии поблизости нет, она закатала рукав и показала новый шрам на правой руке.

– Но мне становится легче, когда я играюсь с моим кошачком. Она такая мягкая и пушистая! Я покажу ее, когда она встанет.

– Не стоит, – ответил он быстро. – У меня заложит нос. Уверен, ты отлично заботишься о ней.

– С вами все хорошо? – участливо спросила она.

– Я... нет. Не очень. Мне не нравится столица. Грязный город, серый и пыльный, и света мало, и зелени мало, а дома... как казармы. Но так, наверное, говорит каждый провинциал.

– Не назвала бы ваш город провинциальным. Я знаю, вы специально его принижаете, чтобы я его похвалила.

Она улыбнулась, и он постарался улыбнуться в ответ.

– Нет, я... впрочем, я уехал скоро. Не хотел оставаться. И с семьей я успел поругаться из-за партии.

– Из-за той самой? Она вам разве не нравится?

Впервые его кто-то прямо спросил, нравится ему партия или же нет. Сбитый с толку, он честно ответил:

– Я не знаю. Мне сложно ответить.

– Но вопрос не сложен, – настаивала Кете, – поддерживаете вы их или не поддерживаете? Что здесь сложного? Где тут физика или высшая математика? Или вы поддерживаете нынешнюю власть и президента? Или вам все равно?..

– Не сказал бы, что мне все равно. Нет, у меня... как это... Не уверен, что ты меня поймешь.

Терпеливо Кете молчала, уверенная, что он расскажет, если не обрывать сейчас его размышления.

– Эм, с одной стороны... я согласен, что нынешняя власть никуда не годится. Но я не вижу способа... Вот «красных» я не приму из принципа. Они спонсируются Москвой, это каждая собака знает. Чтобы они на иностранные деньги у нас опять устроили эксперимент... Возможно, их идеи прекрасны, изумительны, но... я не могу принять их, ни за что! Это сложно... нет, я не согласен, ни за что! В этот раз я от них отстреливаться буду.

– Да? – полюбопытствовала Кете. – Вы, получается, и стрелять умеете?

– Конечно.

– Ну вы настоящий романтический герой! А вы винтовку предпочитаете или револьвер?

– Ну, зависит от ситуации. С другой стороны, риторика наших меня раздражает, а пошлость и невежество кое-кого так просто поражают. Я против пошлости и цинизма. Из-за этого мы поругались... с отцом. Не из-за самой партии, а...

– В вашей семье вас не понимают. Это так грустно...

Она помрачнела. Альберт не был уверен, что она все поняла, но сама попытка выслушать его мысли была ему странно приятна.

– Не расстраивайся, – сказал он. – Я не часто общаюсь с семьей и...

– И вы больше не поедете в столицу? – перебила Кете.

– А почему ты спрашиваешь?

– Тетя хочет, чтобы мы... вернулись. В столицу. Мы... Ей предложили постоянное место в газете, репортером... и зарплата, говорят, хорошая.

– О, ясно, – растерянно ответил он. – Значит, ты вернешься к своим друзьям. Я... очень рад за тебя.

– Да. Спасибо.

От странного разочарования ему стало не по себе. Не произошло ничего, что должно было его расстроить, и все же он стал печальным и мрачным. Кете более не говорила. Он слушал, как в кухне заваривает чай Мария, и отгонял от себя тоскливое настроение.

– Сейчас. Минуту, – не справившись с собой, сказал он и встал.

Марию он застал в кухне, близ распахнутого окна; она сворачивала самолетики из старых газетных листов. Увлеченная этим, не заметив, что за ней наблюдают, Мария выпускала их в окно и перегибалась через подоконник – должно быть, чтобы узнать, далеко ли улетели самолетики.

– А-а... что вам? – обратив внимание на гостя, спросила она дальше.

– Можно налить немного чая?

– Пожалуйста. – Мария потерла припухшие глаза.

– Устали? – желая быть участливым, спросил Альберт.

– А, немного, – ответила Мария. – Дети некоторые такие тупые! Им черт не объяснит, не то что я.

Маленькие руки ее, с обнаженными кистями, зябли от соприкосновения с ветром, и вся она, будто бы став старше, казалась одновременно сильной и жалкой.

– Тете нужно помогать, – добавила Мария, чтобы не молчать. – На одни ее деньги от переводов и статей не разживешься.

– Вы могли бы и Кете повеселить. Что она одна сидит, сама с собой играет?

– Она не маленькая, – с досадой ответила Мария, – чтобы ее специально занимать. Сама о себе позаботиться может. Вы так не считаете?.. Понимаю, не считаете.

– Я считаю, что детям нужно внимание... даже если они способны сами о себе позаботиться.

– Она у нас сложный ребенок. – Мария, замерзнув, захлопнула окно. – Воспитывать ее сложно. Она и тетю не всегда слушается, а меня тем более. У нее вечная присказка: «У меня своя жизнь и живу я, как хочу». А какая «своя жизнь»? В ее возрасте разве такое бывает? Но она считает, что это снимает все наши претензии к ней.

– По вам ясно, что вы в ее возрасте были не такой.

– В ее возрасте, Альберт, я по чужим домам и огородам лазала, еду искала. У меня не было времени на выходки и претензии. Капризами сыт не будешь, сами знаете... Нет, вы не подумайте, что я ее не люблю! – поспешно закончила Мария.

– Я понимаю, – мягче сказал Альберт, – но я считаю, что вы все равно ее переживания преуменьшаете. Я думаю, она не меньше переживает, что... у нее нет родителей... что она живет на чужбине.

– Это она вам сказала? – с новой интонацией, чуть ли не насмешливо-издевательской, спросила Мария.

– Вы считаете это смешным?

Из коробки с подоконника Мария достала сигарету и, уже опытно, закурила. Он подавил желание спросить, как ей, несовершеннолетней, их продают и почему не протестует ее тетя.

– Мне сложно представить, что можно глубоко переживать из-за того, чего не знаешь. Да, без родителей всем плохо бывает, но она их не помнит... и не знала. Тетя Жаннетт ей настоящая мать. Тетя ее больше себя любит. Чего же переживать?.. А что чужое место – как же чужое? Или вы по крови лишь и можете определять? Она выросла у вас, ничего, кроме вашей страны, не знает, и тут ее дом – не там, она и сама это понимает.

– Вы говорили с ней об этом? – спросил Альберт.

Резко Мария перебила:

– Не понимаю, зачем вам это знать.

– Простите...

– Нет, мне печально, что Катя оторвана от нашей культуры, языка и истории. Но нельзя заставить человека любить то, что он не знает и не понимает. Ее счастье, что она не имеет к этому никакого отношения. Она ничего не знает о нашей стране. И это... нет, это хорошо.

– Вы бы хотели поехать домой?

– Да, – быстро сказала она.

И, чтобы не говорить с ним больше, она поскорее налила ему чаю и отправила обратно к Кете.

Та упрямо смотрела на шахматную доску и хмурилась.

– Что вы так долго?

От ее внезапно-злого тона он опешил.

– Прости, что?

– Знаю, знаю, – не позволив ему ответить, заявила Кете. –

Свидание, небось, назначали Марии?

– Эм, Кете, о чем ты говоришь?

– О том, что вы пристаёте к моей сестре!

Со злостью она вскочила и разом смахнула со стола шахматы; они разлетелись по всей комнате с оглушительным грохотом.

– Что?.. – Мария выскочила к ним из кухни.

– Ничего! – закричала Кете. – Я хочу, чтобы он ушел! Выгони его!

– Что вы сделали? – в ужасе спросила Мария.

– Что? Клянусь, ничего! – воскликнул он.

– Прогони его, прогони!

– Кете, хорошо, хорошо... – боясь теперь за нее, ответил он. – Я ухожу. Хорошо? Пожалуйста, успокойся.

Крича, она схватилась за волосы и заплакала.

– Не приближайтесь! Нет!

– Пожалуйста, – прошептала ему Мария.

Как-то он оказался вне их квартиры, но в ушах по-прежнему стоял ее непонятный, пронзительный, глубоко обиженный плач. Кете мучилась, а он не умел это объяснить. От осознания, что он, пусть и невольно, причинил ей столько боли, ему стало мерзко от самого себя.

Он не заметил, как оказался у знакомой двери и наступил на партийную газету – ее бросили близ его квартиры так, чтобы он наверняка ее заметил. Недоумевая, отчего ее не положили, как обычно, в почтовый ящик, он за нею наклонился; в прихожей, не снимая плаща, развернул, чтобы просмотреть первую полосу. Кто-то позаботился в перечне статей на главной странице обвести красным карандашом нужную, написанную его отцом. Неприятно заинтригованный, он пролистал к указанной статье и, пропустив заголовок, нервозно стал читать мелкие черные слова, сложившееся в высокие столбцы. В первую минуту он переживал чувство, схожее с недоумением, но с примесью легкого омерзения. Воспринять статью можно было и несерьезно, настолько странно в

ней затрагивались щекотливые темы, но очень уж опытным и старчески-жутким был ее тон. Под статьей красным карандашом, почерком издевательским, приписано было: «И после этого Вы посмеете претендовать на должность в прокуратуре?». Не вполне поверив тому, что прочитал, Альберт попытался перечитать с начала, но споткнулся на втором столбце и, с внезапным осознанием, что к этому приложил руку его отец, застыл в прихожей. Газету он затем бросил в кресло, а сам встал у телефона, с поднятой трубкой – пока разбирались со связью, – все так же в плаще, не замечая, что ему невыносимо жарко. Минут через пять выяснилось, что связь есть, слышимость плохая, с помехами, но говорить со столицей можно.

Трубку взяла мать и поинтересовалась, кто звонит.

– Это я, твой сын. Мне можно поговорить с отцом?

Она, не спросив о причине звонка, передала тому трубку.

– Это я, Альберт. Как ты мог это написать?

– О... о чем ты?

– О твоей новой статье. Как?.. Нет, я не то спрашиваю.

Как тебе это вообще могло прийти в голову?..

Он не успел досказать – трубка вернулась к матери. Мать резко спросила:

– Ты можешь держать себя в руках?

– Нет, не могу!

– Не кричи на мать!.. Ты начал кричать, я услышала... Что такое? Статья?.. Что такое? Мы знали, что тебе не понравит-

ся. Мы не знали, что она... Но она стала очень популярной! Понимаешь? Да, она... провокационная... но ее заметили, у нас все ее обсуждают, и в партии тоже, и многие спрашивают о ней, особенно о заключительной части...

– Вы что, спятили там все? Я так и знал! Я так и знал, что вы там с ума сойдете! Даже если он не всерьез... Вы что, не понимаете, что нельзя такое публиковать?

– Это статья – и только. Размышления умного человека. Размышления, понимаешь, Берти? Зачем так воспринимать?..

– Как? Буквально?.. Нет, нет!.. А вам там не приходит в голову, что она может послужить для кого-то руководством к действию? Должна же быть какая-то ответственность!

– Берти, не воспринимай все так... мало ли, кто что пишет и публикует. Или ты о своей карьере беспокоишься?

– А если и о ней? Не имею права, не должен беспокоиться?..

После долгой паузы, отдышавшись, мать ответила:

– Прикрываешься моралью, какой-то ответственностью, а сам... Сколько раз повторять, чтобы ты понял, что мы не о себе заботимся, а о вас, наших детях, о том, как вы жить станете?.. Эти связи, наши связи... что ты будешь делать без них? Стоит нам только попросить с отцом – и твое будущее будет обеспечено. Нет же никакого риска. Ты обязательно получишь, что хочешь, все получишь – когда придут *они*. Они знают, кто ты. Они знают твое имя. Чего ты боишься?

– Я хочу добиться сам. Что мне с твоих обещаний?

– О, с моих обещаний?.. Ты просто не знаешь, как работать, как сейчас смотрят на труд... выбрасывают человека на улицу, как помойную тряпку.

– Ты-то откуда знаешь? – зло ответил Альберт. – Ты ни одного дня в своей жизни не работала!

– Лучше подумай, что я тебе сказала. Тебе жить с этим, а не нам с отцом. Получишь любое место – ты у нас талантливая, умная, я знаю... Можешь не говорить спасибо – плата и так слишком велика.

– Я...

– Дай мне умереть с чистой совестью, Берти.

И, не дождавшись ответа его, она бросила трубку.

Он еще послушал неживое трепыхание в трубке, сам – с болезненным биением сердца. А отложил ее, почувствовав, что ему в плаще жарко уже до головокружения, до тошноты.

Через минуту он услышал новый звонок – это звонила Кете; она плакала в трубку и повторяла:

– Я была совершенно несносна. Простите меня. Я не хотела вас обижать... Если вы любите Марию, я за вас счастлива.

– Но я не люблю Марию, – ответил он.

– Нет, если вы хотите... то это очень мило. Пожалуйста, простите меня.

– Я не обижаюсь, Кете. Честно, Кете.

Неужели кому-то – и он знает его – кажется, что эта беззащитная иммигрантка может быть опасна для огромной, ве-

личественной, возможной империи?

**1940**

– Это... все... отправляется на помойку!

С этими словами Мария открыла чемодан Катерины и вытряхнула из него содержимое: на пол посыпались платья (2 шт.), юбки (2 шт.), блузка (1 шт.), чулки (2 пары) и нижнее белье (4 комплекта). Не стесняясь присутствия Аппеля, Мария пнула со всей силы гору бестолковых вещей и села прямо на пол, обхватив ноги, как обозленный ребенок.

Аппель вспоминал о неких этапах принятия неизбежного, о которых он слышал от Альберта. Он сомневался, что правильно его понял и сейчас не мог сказать, какой именно этап переживает Мария: гнев? усталость? отчаяние? безысходность? Не закончив поминки (после похорон), она заявила, что намерена избавиться от вещей покойной немедленно. Марии не посмели возражать. Аппель пошел за ней, потому что ему было невыносимо скучно, а также оттого, что он испытывал странные чувства к мертвой Катерине – благодарность за ее смерть и ненависть, ибо она заставила Альберта страдать. Услышав, что Мария хочет выбросить вещи Катерины, он испытал почти невыносимое желание побывать в ее, Катерины, комнате снова и потрогать, быть может, ее постель или чулки – то, что в его сознании неизменно связывалось с интимной теплотой.

Мария была столь безразлична к его присутствию, что не приказала ему уйти. В сизых сумерках она казалась статуей самой себя, застывшей фигурой из мрамора, отчего-то из музея доставленной в мрачный, наполненный тенями дом.

– Что будет дальше? – спросила она позже.

Голос ее был непривычно тих.

– Вы позволите присесть?..

Он опустился на колени близ нее.

– Все это... – проговорила она тихо и сквозь зубы, – не имеет смысла...

– О чем вы говорите?

Она взглянула на него: и в этом уличном сумеречном свете Аппель рассмотрел, насколько ее глаза красны.

– Это... все... – прошептала она – и громко расплакалась.

С поразившим его опустошением (словно вырезали внутренности) Аппель слушал ее жесткий, лишенный человеческого, скорее животный плач. Он забыл, что мог бы посчитать ресницы на каждом ее веке. Он и не был растерян, лишь чувствовал себя как-то не так, не собой, и забыл, что связывало его с домом, с этой женщиной, с покойной и с Альбертом.

– Это... я ничего не понимаю! – сквозь слезы выкрикнула Мария. – Это... я слышу... как это разрушается! Как оно трещит! Этот дом давит на меня, он... уничтожает нас!

Аппель молчал.

– Ничего не понимаю! Но я чувствую... что мы все умрем!

Аппель опомнился и воскликнул:

– Что вы говорите? Никто, конечно, больше не умрет!

– Потому что вы ничего не чувствуете и не понимаете!

Говорю вам, мы умрем и отправимся в ад!

Неестественно весело, чтобы хоть немного сбить драматизм, Аппель спросил:

– Неужели вы верите в ад? Я думал, один Альбрехт нынче верит в ад и небесные силы.

– Говорю вам, я попаду в ад! Это плата за то, что я совершила!

– Конечно, вы не могли совершить ничего...

– Нет, совершила!

Упрямство, с которым Мария настаивала, что отправится прямою к дьяволам, вызвало в нем любопытство.

– Никто, конечно, не оказывается в аду за то, что не спас близкого человека.

– Нет... Мне все равно! Я знаю, что нас скоро заберут! Мне все равно! Я знаю, они уже близко!

– Кто?

– Я убила человека, – выпалила Мария.

На мгновение Аппель застыл. Потом спросил, пытаясь разыграть веселость:

– Конечно, вы не могли никого убить. А вот ваш муж мог и наверняка убивал, я не сомневаюсь. Но вы...

– Я убила человека, – уже спокойнее повторила Мария.

Она вскочила и включила настольную лампу, чтобы Ап-

пель сумел разглядеть ее решительное, без капли сомнения в ее греховности, выражение.

– Вот как... – тихо сказал тот. – И... кого же вы убили?

– У вас нет мыслей на этот счет?

– Нет, конечно. С чего бы?

С озлобленным хмыканьем она порылась в чемодане Катирины, в кармашке, в котором обычно хранят документы и прочие бумаги. Из него она извлекла несколько помятых писем, пробежала их глазами и бросила Аппелю. Тот никак не мог понять, чего Мария от него хочет.

– И что? Вы хотите, чтобы я читал чужие письма?

– Ей все равно, она мертва.

Аппель уставился на незнакомый почерк. Мозг его отказывался понимать происходящее, все казалось сном, в котором он очутился по глупому недоразумению.

«30 сентября. Минга.

Драгоценная – если не сказать больше – жена!

Прости мне мою забывчивость. Я вспомнил нынче, что забыл написать тебе, кажется, числа 19-го. Ты беспокоилась обо мне? Мне жаль. Я замотался и совершенно обо всем забыл. Ты читала газеты? Хочу описать тебе, что я посмотрел и как прожил без тебя это время.

Приехал я, как ты знаешь, 19-го в столицу. Я многого ожидал, но был неприятно поражен обилием лжи, с которой столкнулся в их логове. Типичные газетные заголовки, по-

павшиеся мне на глаза в первом же киоске около вокзала: "Кровавый режим в Ч. – новые убийства ни в чем не повинных наших соотечественников!", "В Ч. устроили грабежи, разбой и стрельбу! Террор Ч. усиливается с каждым днем!", "Броневики армии Ч. давят женщин и детей!", "Газовая атака армии Ч. на мирное население в Области! Погибло более тысячи человек!".

Остановился я в отеле. За неимением других дел я, по твоей просьбе, решил навестить твою сестру и передать твой подарок. С удивлением я узнал, что Мария Васильевна несколькими днями ранее вышла замуж. Дом Гарденбергов завален подарками – впрочем, многие куплены ими же для их друзей. Я ожидал увидеть у них кричащую безвкусицу, а обнаружил сдержанную элегантность. Мария Васильевна выглядит очень счастливой, даже ужинать меня пригласила. Я отказался, потому что не хотел видеть ее мужа.

Вчера она попросила передать тебе подарок, я везу его тебе, потерпи немного. Это платиновый портсигар с дарственной надписью, судя по всему, дорогой. Я спросил ее, собираются ли они в свадебное путешествие. Мария Васильевна помедлила, а затем сказала, что они поедут в октябре, потому что раньше ее муж не сможет освободиться.

Приехал я в Г. вечером 21-го сентября. Это красивый город – не знаю, была ли ты в нем. Наш герой имел в нем трехчасовую беседу 22-го числа, а позже было доложено, что состоится и вторая встреча. Прямо во время нашей радиопере-

дачи они вышли к журналистам, но хлопала им только охрана – она-то выглядит неплохо. Странно, как я упустил в тот день, что в Ч. был провозглашен новый кабинет министров. Новый премьер Ч., я слышал, пользуется у своих соотечественников большим уважением.

23-го же я так замотался и был в таком отчаянии, что снова забыл написать тебе, Катишь. А я думал об этом утром и обещал себе сделать это ближе к вечеру. Замотался я, пытаюсь с коллегами разобраться, что творится: как нам объяснили, те расстались в половине второго ночи, 24-го числа, ничего не решив. Получасом позже мы, утомленные, решили выйти в эфир, но не успели мы начать, как ворвались шеф пропаганды и шеф их радио, и они запретили нам категорически передавать что-либо, кроме официального коммюнике. В отеле, в котором паслись и мы все, служители интеллекта, и партийные, ночью был сущий бедлам. Многие уверовали, что война начнется на рассвете, хотя заявлений на этот счет не было. Ч. у себя объявила мобилизацию. Почти все наши корреспонденты из шестнадцати стран собрали вещи и выехали на рассвете в сторону границы. Я решил остаться и дожждаться чего-то конкретного.

Заснул я около восьми утра, а разбудили меня новостью, что *они* окончательно потребовали от Ч. не позднее 1-го октября отдать им требуемую Область. А 26-го Он выступал в столице. Я за тем, чтобы посмотреть это, вернулся туда. Он вопил, что если не получит желаемого 1-го октября, то нач-

нет войну; клялся, что это Его последнее территориальное требование к Европе: "Я заверял, что, как только они урегулируют отношения со своими национальными меньшинствами, меня Ч. перестанет интересовать. Я могу дать гарантию: после этого нам не будут нужны никакие территории Ч."

В эти дни, как ты понимаешь, я был в ужасном напряжении и ни о чем не мог думать, кроме как об этой войне. Лишь 28-го засияла надежда, что войны мы избежим: нам сообщили, что намечается встреча в Минге. В столице мы испытали облегчение: начало войны отодвигается на неопределенный срок.

Насчет военных немного – они тут странные. На Б. царит растерянность. Встретил мужа Марии Васильевны у О. – я тебе о нем рассказывал. Нужно, как выяснилось, отличать старую армию от новой (!!!). Прежняя армия – республиканская: демократия, реформы и все такое. Новая армия – партийная: явились мальчишки плюс бывшие полицейские, плюс личности с „порочными наклонностями“. Новых не обязывают чтить заветы военного сословия. В армии раскол. О. убедительно доказывает, что в партии преступники, но рассчитывать, что вся армия выступит против, чтобы предотвратить войну, – глупость. Новички сильнее и хитрее, их больше, на них нельзя положиться. Они, что им ни говори, останутся на партийной стороне. Что ни говори, а "замечательная" партия "Единая Империя" отлично промыла им мозги.

Заканчиваю я 30-го числа. Я приехал в Мингу, как планировал. Ночью, после полуночи, приехавшие подписали договор о передаче Области. Объявлено, что передача начнется 1-го. Все радуются и говорят, что собравшиеся в Минге сумели спасти мир во всем мире. Заканчиваю перед отъездом – опять в столицу. Там мы получим военные пропуска, нам разрешили освещать события. Мы поедем через границу, фактически пересечем ее вместе с Его армией. В отеле, который я покидаю, полно местных журналистов, они все радуются и распивают шампанское. Они счастливы. Эта нация умеет гулять и напиваться.

Прости мне мою спешку. Я тороплюсь отдать письмо человеку, который принесет его тебе и передаст лично в руки – так мы уговорились, он мой давний должник. Я приеду не раньше 20 октября. Я буду работать в Области, поэтому не беспокойся обо мне. Устал ужасно и мечтаю встретиться поскорее.

Спи спокойно нынче, пусть ничто не потревожит твой нежный сон, а я во сне буду целовать твои ласковые глаза. Война не начнется, тебе нечего бояться. Тихих и славных тебе снов. Мечтаю обнять тебя снова, как раньше.

Твой М.К.».

– Я вспомнил этого парня, – обронил Аппель и бросил Марии письмо. – Я встретил его в отеле. Это, конечно, обо мне и моих друзьях он написал: мы пили шампанское. Я, ко-

нечно, помню это очень хорошо. Он был самым... неприятным иностранцем в отеле. И я узнал его по вашему языку, на нашем он не говорил, верно?

– Раньше вы бы не стали отмечать с шампанским захват чужой территории, – прямо сказала Мария.

– Раньше от меня этого никто не требовал.

– Вы считаете, мы поступили правильно?

– Правильно? – Аппель закашлялся. – И мы? Кто эти «мы»? Хорошо, вы правы: я, конечно, часть системы, которая вам враждебна. Эта система мечтает уничтожить вас и похожих на вас, а то, что вы пока живы и живете в благополучии – это статистическая ошибка...

– И вы тоже статистическая ошибка, – сказала Мария.

– Вы, конечно, правы. Нынче это называют конформизмом, но...

– Вы были отличным журналистом! Вы могли уехать! Могли не предавать себя. Вы бы устроились за океаном, если бы захотели.

– С вашими деньгами вы тоже могли бы уехать, – отбил Аппель, – но остались при режиме, который расшибет вас при любом удобном случае.

– Этого хотел мой муж. – Она отвернулась. – Дитер не может бросить все и уехать. Вы считаете, я не пыталась? Он отказал мне. Это единственная моя просьба, которую он не исполнит ни за что. Он может отправить меня в безопасность, но сам – нет, ему легче умереть. Наверное, Софи была права.

Она чувствовала в нем тягу к смерти.

– Он, конечно, вас погубит, – ответил Аппель. – Он и не пытается вас спасти. Конечно, я пытался спастись, но...

– Таким путем?

– У любого пути единственный финал – смерть. От нас лишь зависит, как скоро он наступит.

На втором листке он узнал почерк (и зеленые чернила) Марии. Она писала своей сестре 28 сентября.

«Милая Катя! Привет и здравствуй!

Надеюсь, ты осталась довольна моим подарком. Я думала подарить тебе материю на платье или на костюм, но сообразила, что она может не прийтись тебе по вкусу. Колебалась после между брошью и часами и все-таки остановила выбор на портсигаре. Часы я подарила Альберту, и тоже с гравировкой. На него грустно смотреть: нервный, побледневший, похудевший – заботиться о нем некому, и кормить его некому, что просто возмутительно, и не похоже, что работа его удовлетворяет. А вслух он мечтает, что "отправится скоро домой, бросит нашу ужасную столицу, купит велосипед и будет ездить...".

Наша свадьба, в начале сентября, была тихой. Были венчание и торжество для наших близких друзей, и мы даже распилили бревно. Платье у меня было из белого атласа, пышное и с турнюром, похожее на те, что носили в викторианскую эпоху, и с кружевами, а шляпа – большая, с искусствен-

ными цветами, и тяжелая. После заключения брака к нам, как мы опасались, прицепились чиновники, партийные, но от них удалось отделаться, не истрепав себе нервы, поскольку они готовы брать взятки и за них не лезть не в свое дело. Записали, и не присмотревшись ко мне толком, что у меня нет иудейской крови, – и покончили на этом.

Некоторые коллеги Д. – циничные и злобные. Несмотря на его способности, признаваемые всеми, и на его терпение, в его штабе к нему относятся с недоверием. Но это не высказывается обыкновенно в глаза, а разносится за его спиной, поскольку явно уж ссориться никому не хочется. Как он рассказал мне, по-прежнему ходят слухи, что его покойная жена была убита им или же погибла из-за его невмешательства, опять же – по его вине. На него кивают, как на человека, обокравшего доверившуюся ему женщину и убившего ее, как только он понял, что может не опасаться за судьбу ее наследства. Как омерзительны эти слухи и сколько неприятностей они причиняют Д., и можно представить, какое у них было мнение обо мне и о нашей с ним связи. Я в их глазах – любовница, быть может, соучастница преступления. Никто ничего не может доказать – иначе не миновать военного суда, – но разносить сплетни им ничто не мешает. Жениться, чтобы получать удовольствие в браке, – так это просто кошмар по нынешним временам.

Мы с твоим мужем, Катя, недавно говорили об этом. Дмитрий Иванович заметил, что при нынешнем режиме в

стране проблемы с сексуальностью. "У нас демографический кризис! – кричат нам из всякого утюга. – Нация вымирает! Рожайте, рожайте и рожайте! Заставьте ваших женщин рожать! Если они откажутся рожать, нас скоро вытеснят мигранты с Востока и евреи!". Но Д. детей не любит и ему все равно. Мы оба хотим пожить для собственного удовольствия, наслаждаясь нашей близостью, весельем, нашим благополучием, наплевав на всех. Любить и жить нужно сейчас – потом будет поздно. Частые страшные байки о приближении войны меня пугают. Неужели она неминуемо начнется – не сейчас, так после?

Люди стали сдержаннее, молчаливее, они уже приветствуют друг друга по-старому – пожимают руки. Мобилизация не вызывает энтузиазма. Вот в воскресенье... Д. на этот раз освободился в половине первого, и мы, сложив в корзинку припасы, поехали на озеро. Как и многие – мало кто остается в теплые выходные дни в городе. "Должно быть, войны не будет!" – сказал он, возвратившись с работы. До этого он был очень нервным. Но и потом, сказав, что нам бояться нечего и планы наши уже менять не нужно, – все равно он был немного напряженным. "Ты помнишь самый страшный наш кошмар?" – спросил он меня позже. Мне не хотелось говорить об этом, потому что было хорошо, и тепло, и листва спасала нас от солнечного света. "Мы оба боялись голода, и холода, и случайной смерти, – начал он опять. – Я не хочу пережить это снова. Деньги нас не спасут от голода, морозов

и смерти, если начнется война. Мы снова будем голодать, и мерзнуть, и можем умереть. Я не хочу возвращаться в мой детский кошмар. Мне хватило одного раза, повторения этого я просто не вынесу". Как мы были похожи в эту минуту на нас прежних – постоянно голодных и озлобившихся детей, которые боялись, что не смогут добыть ничего на ужин, а если добудут, то кто-нибудь это отберет, ограбит нас. Ты знаешь, Катя, в своих снах и я по-прежнему боюсь оказаться несчастной. Мы с Д. делали все зависящее от нас, мы выпрашивали себе право на личное счастье, и мысль, что у нас могут забрать так тяжело доставшееся нам, вызывает у нас обоих ненависть и страх.

На другой же день войска начали продвигаться к границе. После более-менее спокойных выходных вновь повеяло ужасом. Ожесточенности нет и в помине, зато хватает всем страха за себя и за близких. Жутковатые прогнозы, каковы могут быть последствия этой войны. А вечером того же дня мы наблюдали интересную сценку. После работы мы решили вместе поесть в кафе. Я забежала за ним, и мы поехали. Д. сказал, что, если успеем, мы сможем посмотреть, как выезжает на фронт – в смысле, на границу – моторизованная дивизия. "Он так захотел, – сказал Д. на мое вопросительное восклицание. – Он специально назначил ее отбытие на то время, когда все с работы отправятся домой. Об этом написали в газете". Как было раньше принято провожать военных на фронт? Я не помню – сколько мне было лет? – но

Д. помнит. Он сказал, что на ту войну провожали, запевая национальные песни и бросая под ноги военным цветы. Тогда наступили густые сумерки, на улице зажглись фонари. Мы попали в толпу уходивших с работы. Дивизия наступала со стороны бульвара. Никто ею не интересовался. Никто не остановился, чтобы посмотреть. Толпа уносила нас дальше – к ближайшей станции метро. Мы с Д. едва не потеряли друг друга в толчее. Разминувшись с военной колонной, все стали спускаться в метро. Я успела схватить мужа за рукав, он потянул меня к себе, мы прижались к стене, пропуская людей по лестнице вниз. Потом мы с Д. решили возвратиться к канцелярии и посмотреть, как Он будет приветствовать дивизию, – но главный балкон был уже пуст. И площадь тоже опустела.

Я знаю, что в Ч. полным ходом идет мобилизация, якобы общее число призванных на службу составляет более миллиона человек. У союзников Ч. всюду роют в парках и на площадях траншеи, чтобы было, где прятаться во время налетов, и якобы из крупных городов эвакуируют детей и вывозят в провинцию. Правда, сегодня объявили, что в Минге собираются лидеры государств, чтобы опять попытаться решить проблему войны. Я боюсь отменять наши планы, боюсь отказаться от нашего свадебного путешествия: мне кажется, это было бы дурно, этим бы я показала себе и высшим силам, что не верю в благополучный исход.

Прости меня за это сбивчивое письмо, Катя, моя нежная,

но мне очень тяжело сейчас собраться с мыслями. Первая часть получилась веселая, а окончание – ужасное. Опять начинали за здоровье, а кончили – как за упокой. Я искренне желаю тебе самого лучшего, счастья и благополучия – тебе и твоему мужу. И постарайся написать мне в самое ближайшее время. Пожелайте нам всем мира!

Любящая тебя очень Мария».

За письмом Марии было несколько черновиков Кати, датированных январем 1939 г.:

«...отчасти я счастлива, конечно, хоть в Ч. я чувствовала себя лучше и уютнее. В. – место старое, красивое, но я ничего тут не знаю, у меня нет знакомых, они остались в Ч., и я не могу общаться с местными, ничего почти не понимаю, мне тяжело...».

«...как ни хотелось бы мне писать о моем одиночестве здесь, и мне не хочется ни в чем упрекать Митю... но я в глубине души виню его за то, что мы переехали...».

«...и я непостоянна. Я повторяла, что хочу уюта, хочу иметь свое жилье. И Митя услышал меня и, узнав о наследстве – от своих нелюбимых родственников, которые попрекали его из вредности, но не нашли иного наследника, – узнав, что у нас может быть настоящий быт, он заговорил о

нем, искренне желая меня порадовать. Я говорила ему, как устала я мотаться по отелям, как хочется мне иметь свое...».

«...но жить тут, не зная языка, – ужаснейшая мука! Жить тут невыносимо! Бесконечная цепь из ненависти, злобы, страха, обид и гнева душит меня...».

«...я скучаю по всем вам, по своему дому. Я скучаю по местам, близ которых выросла, по нашей булочной, по нашим вечерам, по закатам на набережной. Митина Маршалковская улица не заменит мне дома. Здесь все чужое, не мое – язык чужой, все какое-то странное, искаженное, неправильное! У меня нет слов, чтобы описать, как мне не хватает своего! Уезжаешь и рассчитываешь начать по-новому, а все равно не получается. Может быть, это я неправильная? Не получается вытравить из себя...».

Как она ошибалась – ни за что, ни за что Катя не должна была выйти замуж за Митю. Отчего они с тетей Жаннетт не справились с ней? Не стань она его женой из упрямства, она бы не умерла. И вместе с тем она почувствовала дикую ненависть к Альберту – вот уж кто точно главный виновник Катиной смерти. Вот напрасно она жалела его! Из-за него умерла Катя. Он мог ей помочь, но вместо этого, вместо этого...

– Конечно, я не могу в это поверить, – сказал Аппель. – Я понимаю ваши намеки, но... Ваш муж знает?

– Естественно, он знает, – с оскорбленным выражением сказала Мария.

– Вы действительно ее убили? Как это произошло?

– А-а, какая разница? – Она отвернулась. – Важнее то, что она мертва, и мой муж получил в наследство ее деньги.

– Но зачем вы рассказали мне?

– Потому что ничего уже не...

Снаружи незнакомо заурчал автомобиль. Спешно погасив свет, Мария бросилась к окну, Аппель – за ней. Близ ворот остановилась черная машина с бело-красными флажками и мигала фарами на дом.

## 1939

«Митя принес мне дневник. Моя первая запись.

Мы с ним поругались. Вернее, поругался со мной Митя, я ругаться не собиралась, но кто заставлял его читать мои письма?

– Катишь, я случайно взглянул на твой туалетный столик и...

Не скажи он об этом, я бы притворилась, что не заметила. Письмо Марии – он хотел посмотреть, что я рассказываю ей. Я сказала, что не поеду на день рождения Марии – мне расхотелось. И добавила:

– Полагаю, ты этого хочешь.

Он принял вызов и ответил:

– Поступай, как знаешь.

Мы отправились в постель.

Он спросил:

– Тебе плохо со мной?

Отлично он выбрал момент – мне хотелось спать.

– Что ты говоришь?

Он повторил. Я задумалась. Нет, мне не плохо с ним. За-чем-то Митя начал спрашивать, почему мы несовместимы в постели. Это было глупо.

– Разве мы несовместимы? Я не понимаю, что ты имеешь в виду.

– Катишь, мне тяжело дается наш разговор... Тебе не с чем сравнивать. А мне... есть, с чем. Мне кажется, у нас не все хорошо.

Я еле сдержалась, чтобы не расплакаться.

– Нет, Митя, мне хорошо с тобой!

– Тогда почему у тебя такое обиженное лицо?

Я отвернулась. Это было невыносимо. Я делала все, чтобы нам обоим было... хорошо? Нет, не так. Зачем он мучает меня этим? Мы не говорили раньше об этом. Он пытается быть нежным со мной. А он не считает меня нежной? Или что там требуется?

– Меня беспокоит, что у нас нет... ну... страсти, – тихо сказал он. – Я думал, она появится, когда ты привыкнешь. Потому что я тебя люблю. Но чем дольше мы с тобой живем, тем больше я сомневаюсь. Вдруг мы не можем вместе...

– Но ты говоришь, что любишь меня.

– Люблю, Катись, очень люблю! Но дело же не только в этом. Ты лучшая девушка в моей жизни. Но я не понимаю, что нам делать.

Смутно я понимала, что он имеет в виду, но мне стало настолько обидно, что я выпалила:

– А чего тебе от меня надо? Мы спим столько, сколько ты хочешь! Мы делаем так, как ты хочешь делать! Что такого я должна еще сделать?

Я услышала его тяжелый вздох. Я набросила на голову одеяло и заплакала. Мне было невыносимо стыдно. Не то чтобы я горела мыслью оправдать его ожидания. Да, я ждала большего от обычной физической любви, я расстроилась, обнаружив, что она отличается от любви, какой ее показывают в фильмах и книгах. Но сказать, что мне совсем не нравится, – нет, это приятно. Порой мне даже нравится это. Ни разу до этого у меня не было мысли, что Митя хочет от меня большего. Оказывается, его сдержанность (можно ли это назвать равнодушием?) – от того, что со мной что-то не так. Да, он не оправдал моих ожиданий – вернее, ожиданий от постели, но для меня это не стало трагедией. А теперь выясняется, что Митя переживает, что у нас нет мифической страсти. И говорит, что мне не с чем сравнивать. Не понимаю, что со мной не так. Почему у меня не складывается эта страсть? Мне хотелось провалиться сквозь землю. Я отвернулась от него, вытерла слезы и представила, как у него было с про-

шлой девушкой – он тоже ее любил, а потом он ее бросил. Наверное. Потому что она была фашистских убеждений. С ней ли он меня сравнивает? О, там наверняка было очень эмоционально, страстно – не то что со мной! Господи, что я пишу? Я очень зла на него. Знаю, как глупо злиться из-за честного разговора, но мне стыдно, так стыдно, что я хотела испытывать сильное и волнительное влечение, но оказалась на него не способна. Или не способна вызвать... Наверное, у меня в голове, в мозгу, в душе – я не знаю, во мне изъян, который отталкивает от меня, не позволяет желать меня. Митя говорит почти что его словами! Кете, ты знаешь, я люблю тебя, но... не так, не как женщину. Ты не вызываешь у меня желания! Я тебя люблю, но у нас нет страсти! Унижение. Какое это унижение. Не понимаю, что со мной. Что там говорил Митя?

– Расскажи мне, что тебя тревожит. Я чувствую, тебе плохо. Я беспокоюсь за тебя.

Спасибо! И из-под одеяла я кричала на него: что мне одиноко, что я не хочу учить язык, что хочу домой, хочу в 32-й год, что мне больно, страшно и я чувствую себя бесполезной!

– У тебя трудный период. Нужно время, чтобы привыкнуть.

– Из-за тебя! Это ты привез меня в эту глушь! Меня здесь ненавидят! Из-за того, кто я по нации и в какой стране росла! Я слышу! Они ненавидят меня! Они презирают меня! Все из-за тебя!

Он не ответил. Он поправил на мне одеяло и ушел спать в гостиную.

Боже мой, как совестно. Почему я повторяю этот разговор раз за разом? Унижение и боль. Он крутится в моей голове! Я хочу разрыдаться на плече у тети Жаннетт. Я скучаю по Марии и Дитеру. Зачем я уехала? Фашисты! Мария и Дитер – фашисты. Ну конечно! Не могу больше, очень болит рука».

Поняв, как ей тоскливо, Митя предложил пристроить ее на работу. С секретарскими обязанностями, с его слов, он смог бы справиться самостоятельно, благо не нужно больше возиться с переводами.

– Кто же меня возьмет? – уныло ответила она. – Я язык не знаю, разве что в качестве шпионки меня примут.

Но имевший связи Митя ответил, что постарается узнать: быть может, есть место, на котором знание языка не обязательно. Место, к его радости, нашлось скорее, чем он ожидал, и в конце января он предложил жене поработать в эмигрантской газете. Там печатались рассказы русских писателей и статьи бывших (беглых) офицеров, а также фотографии о жизни местных жителей. Неуверенно Катя согласилась; в своих способностях она немного сомневалась, но, будучи терпеливой и исполнительной, понравилась работникам газеты. Дружеское общение у них не завязалось, но можно было хоть днем не сидеть в одиночестве, пока Митя бегал по заданиям своей редакции.

Желая ей блага, Митя пристроил ее на курсы языка, но Кате на них было неуютно, на нее странно косились, и после четырех занятий она заявила, что не вернется в ту классную комнату ни за что. Выучив около 50 слов и заучив кое-какие повседневные фразы, она все же выдавала себя, стоило ей лишь открыть рот. Будь она из любой другой страны и иной национальности, к ней относились бы приветливее в транспорте и в магазинах. Местные, в общем-то, не были плохими, но они не забыли русские события и боялись воевать. Митя убеждал жену, что ей нужно усерднее учить язык, но она, встретив неприязнь от местных, категорически отказалась.

– Я вовсе не буду говорить в общественных местах, – ответила она на его возмущенное восклицание. – Раз их настолько оскорбляет наша речь или мой акцент – а от акцента я не избавлюсь, ты знаешь, тебе легче, – раз так, я отказываюсь говорить с ними!

Притворство было унижительным, но сберегло ей нервы. Молча она могла сойти за местную, пусть и немую, но хотя бы не вызывала насмешки как поклонница «красных» или фашистов. Она перестала ходить в магазины, в которых ее знали, и ездила другим маршрутом на работу, чтобы не встретить случайно знакомого кондуктора. Митя понимал ее беспокойство и мирился с ним, но втайне размышлял: не слишком ли Катя боится чужого осуждения?

– Я настолько зла на себя, что готова лопнуть от этого, – сказала она как-то. – Честно, Митя, это выше моих сил!

Ну не могу я больше слушать шуточка о коммунистической диктатуре и фашистах!

– Со мной тоже шутят на работе, – пожал плечами Митя.

– Что, называют коммунистическим агентом? Высмеивают, что ты липовый интеллигент?

– Липовый – это что?

– Ненастоящий. Оскорбивший свой класс.

– Как интересно... – Митя мягко рассмеялся. – Отчасти они правы: я действительно коммунистический агент, пусть и терпеть не могу русский коммунизм. Оттого я ни на кого не обижаюсь.

– Но я-то не агент – ни тех, ни этих!

«Я слышала от коллеги: он сказал, что я жена коммуниста. И после он спросил, взаправду ли я замужем за коммунистом, вернее является ли Митя коммунистом, как говорят. Г-жа Колокольникова, вы нас очень удивили! Сначала я не понимала. Спрашивается, какое кому дело, коммунист ли мой муж или нет? Я вспомнила, что говорили о Мите тетя и Мария: только через мой труп, ты не станешь женой коммуниста, коммунисты же разорили нашу родину! Теперь же мне прочитали целую лекцию о том, какие коммунисты плохие. У меня спрашивали, воевал ли мой отец. А как погибла моя мать? Я ответила, что понятия не имею, как умерли мои родители и, честно говоря, они меня не интересуют.

– Как, вам, Катерина Васильевна, не привили историче-

скую память?

Итак, по их мнению, я, ни разу в глаза не видевшая своего отца-офицера из Петербурга, в котором якобы родилась, – я должна любить «белое движение» и Россию и ненавидеть «красных» и их диктаторский режим. Поэтому я не могу быть женой Мити Колокольниковова – да, он интеллигенция по крови, но отказался от своих корней, чтобы встать на сторону разрушительного коммунизма. У меня от их исторической памяти разболелась голова. Тот, что постарше, сказал:

– Я думал, молодежь воспитывают в старых традициях, настоящие офицеры, остатки нашей элиты. Где они, почему они бросили наших детей?

– Вы правы, они меня не воспитывали.

– Кто же вас воспитывал, барышня?

– Фашисты.

На меня уставились во все глаза.

– Как же они воспитывали?

– Обыкновенным образом. Меня вырастили враги. Я ходила во вражеские школы, я с раннего детства говорю на языке врага, мои лучшие друзья стали фашистами. Моя сестра замужем за офицером фашистской армии. Меня воспитывали будущие агенты и следователи по политическим делам.

Я улыбнулась. На меня смотрели, как на абсолютную идиотку. Надеюсь, меня не уволят. Если бы не пристали со своими лекциями о славном прошлом, ни за что бы не сказала о Марии и ребятах. Я не сдержалась – я была очень зла. Тя-

жело притворяться, строить из себя немую местную или хорошую девушку-эмигрантку, которую унижали разом «красные» и фашисты. Ну так вот: единственный близкий мне «красный» – мой муж, а с фашистами я дружила. Легко выстроить «картину преступления», если у тебя есть одно мнение – и оно единственно правильное. А мне что прикажете делать? Разорваться на части, чтобы никому не было за меня стыдно?».

Ганна Каминская была человеком улыбочивым, мягким и терпеливым. Встретила ее Катя в лифте – обе поднимались на этаж; г-жа Каминская, склонив набок маленькую светловолосую голову, с любопытством изучала свою соседку. Последней в лифт вошла дама с третьего этажа, встала близ Каминской и, не стесняясь присутствия Кати, отчетливым шепотом доложила, что едут они с иностранкой, русской будто бы, но воспитанной в еще более страшной стране, чем Россия.

– Ну и что? – ответила та, кому эта новость предназначалась.

Отчасти понимавшая их Катя угадала более по тону Каминской, что та за нее заступается, и ощутила неконтролируемый прилив симпатии к ней.

– Вы не знаете наш язык? – на натянутом, но правильном русском сказала г-жа Каминская, когда обе вышли из лифта.

– Нет. К сожалению, крайне поверхностно.

– Вы живете с мужем? Я видела вас.

– Да, я живу вон в той квартире. Мы тоже недавно переехали.

Улыбаясь так, словно они знали друг друга дольше, г-жа Каминская предложила заглянуть к ней и ее мужу как-нибудь, познакомиться ближе и, быть может, вместе провести время.

Митя, что услышал о Каминских этим же вечером, посмотрел на Катю с иронией и сказал, пытаясь скрыть снисходительность:

– Вы никак очарованы ею, Катерина Васильевна! А видели ее всего несколько минут! Как же так, скажите?

– Ох, перестань! – весело откликнулась она. – Она восхитительна! И видела я ее дольше, и не один раз, знаешь ли. Почему бы тебе самому не посмотреть на нее, если хочешь узнать, какая она? Она нас пригласила.

Согласовав с г-жой Каминской время, Катя сообщила мужу, что познакомиться они смогут в воскресенье и, если произведут благоприятное впечатление, в другой раз поедут вместе в кино или кафе. Митя был настроен скептически, оттого у Каминских ему очень не понравилось: он не жаловал позолоченную роскошь и тайно презирал работников тюрем. Пристроившись на кожаном диване, он мысленно угадывал стоимость обстановки и ловил на себе ревнивые взгляды хозяина – сорокалетнего краснолицего мужчины, сохранившего стройность и гибкость конечностей. Г-жа Каминская же

обстановки не замечала; она была, как и вне изобилия этого, мила, улыбчива и весела и соответствовала в этом гостье, также мало смотревшей по сторонам, а желавшей человеческого общения.

– Ты обратила внимание, как они живут? – поинтересовался Митя у жены, как только они возвратились к себе.

– Если честно, – ответила Катя, пожимая плечами, – я почти ничего не рассмотрела. Но сервиз был неплох – это точно.

– Нет, они не нашего круга. Я простой журналист. Дружить с ними было бы дорого. И сколько взяток нужно получить, чтобы устроиться подобным образом?!

– Если крупных, пять или шесть. У нас это было обычным делом.

– Что, много воровали? Друг у друга?

– У всех.

– А, у тебя есть и плохие воспоминания о том времени? Интересно. А мне, главное, рассказывала сплошь хорошее.

– Нет, это мне рассказывал Аль... – Она осеклась, не желая заканчивать. Затем, злая на себя, выпалила: – Это просто невыносимо!

– Нет, невыносимо! – повторила она.

Успокоившись, она спросила, какого он мнения о Каминской, а услышав, что она неплоха (в сравнении с мужем), призналась, что хочет с ней подружиться. Тем более, что они теперь соседи и могут часто видеться и общаться на мелкие

бытовые темы. Просто так.

Ганна Каминская не работала, дочь ее училась в пансионе и нечасто появлялась дома. Поэтому день у Каминской был занят косметическими процедурами, прогулками и посещениями знакомых. Катя, которая работала, не могла навещать ее чаще трех раз в неделю, но во всякий выходной она обязательно приходила, и они пили кофе у окна на Маршалковскую улицу. Ганна относилась к ней с теплотой взрослой женщины, которая не жалеет о ранней свежести, уже утраченной, и в теплоте этой можно было рассмотреть отсвет покровительства. Каминская любила замужних девушек, слишком романтичных, чтобы изменять мужьям, и непрактичных – чтобы найти себе мужа побогаче. Она была активна и любила приглашать к себе, а Катя не угрожала ее быту и благополучному замужеству. По три или четыре часа Каминская посвящала новую подругу в прелести женственности – что нынче носят, как лучше красить глаза и почему нужно носить кремовый платок, но никак не белый. Катя, что раньше бы нашла эту болтовню утомительной, теперь отдыхала за ней и запоминала приятные мелочи, о которых потом говорила Мите, все более его удивляя.

– Мне нужна красная помада, – заявила она как-то за завтраком.

– Зачем тебе красная помада? – после паузы ответил Митя. – Если не ошибаюсь, ты пока работаешь не в кабаре.

– Ты ничего не понимаешь! Для ресторана!

– У нас нет денег на ресторан, – ответил Митя.

– Я отправлюсь с Ганной. Она за меня заплатит.

– Вот как...

– А ты против? – спросила Катя.

– Нет. Всего лишь г-жа Каминская настраивает тебя на то, что... нам не по карману. Знаешь, Катишь, мне кажется, я понимаю, чего она тебе так нравится.

– Она говорит со мной на равных, – ответила Катя.

– Она напоминает тебе Марию.

Жена поежилась от его слов.

– Согласись, Катишь, она похожа на Марию... Оттого ты тянешься к ней.

Ей стало неловко и немного страшно: Митя заметил то, что она скрывала от самой себя. В Ганне Каминской она нашла тень Марии, пусть блеклую, но – Марии, по которой она сильно скучала. С Марией она могла болтать у окна на Ф., сняв туфли и даже чулки, запивая смех остывшим кофе...

– Разве что Ганна очень красива, как и Мария, – прочистив горло, сказала она. – Мария тоже такая красивая...

– Ты хочешь моей оценки? М-м... она – жена богатого человека. Конечно, она красива. Но... абстрактно. Я же злобный «красный» комиссар в кожаном плаще. Во мне нет ничего человеческого. Я не пускаю слюни на красивых жен богачей.

Слабо она рассмеялась и ушла к зеркалу; села у него и спросила:

– Тебе сложно это понять? Что мне одиноко и скучно?

– Нет, отчего же, я прекрасно тебя понимаю. Хотя... нет. –

Митя сомневался. – Ганна слишком влияет на тебя – потому что тебе...

– Мне нужно с кем-то говорить! – воскликнула Катя. – С коллегами у меня не вышло, а ты... ты – мой муж, не могу я закрыться с тобой в четырех стенах и больше ни с кем не...

Возможно, она влияет на меня. Но мне с ней весело и уютно.

– Я могу понять, но лишь отчасти, – признал Митя. – Я привык... быть одиноким в чужой стране. Я привык, что у меня никого нет, а если появляется кто-то, то это ненадолго. Нет, я... ценю близких, просто у меня их было очень мало. Оттого мне сложно понять тебя.

Она закусила губы, чтобы не сказать: мы разные потому, что росли в разных условиях! Разве не так – у меня были тетья и Мария, гости тети, Альберт, Дитер, Альбрехт и остальные. Она не понимала, как это – быть одинокой, без дружеского участия, не полагаясь на здравомыслие сестры и защиту мужчин, заменявших ей отца и братьев. Лишившись привычного окружения, она почувствовала себя выброшенной на песок рыбой. Митя был прав – она не умела быть одинокой, не понимала, как это – жить без нескольких опор. Каким бы заботливым ни был Митя, он не сумел бы заменить ей семью и столичную компанию. Она взглянула на него новыми глазами: Митя, с его неблагополучным детством и жесткой работой, умел любить, но любил ее одну, ему было достаточ-

но ее любви, а ей... его ей было мало.

– Мне жаль, что ты... испытываешь это, – словно прочитав ее мысли, сказал Митя. – Да, тебе не хватает дружбы, но Каминская... нет, прости, это лишнее. Я не хочу тебя ограничивать, могу лишь просить быть осторожнее.

Он взял ее руку и поцеловал запястье – Катя не помнила, чтобы Митя раньше так делал. Ей стало несколько не по себе.

– Ты обижаешься? – спросила она.

– Нет, что ты. Что ты... – Он немного помолчал. – Меня тревожит мысль, что ты несчастна со мной.

Боже мой, мелькнуло у нее в голове, они выясняют отношения из-за ее желания купить губную помаду – может ли быть что-то нелепее этого?

– Это тебе плохо со мной, – не удержавшись, сказала Катя, – это ты... жалеешь, что женился на мне. Неужели не так?

Неуверенно он покачал головой.

– Митя, неужели ты... не замечаешь, как мы мучаем друг друга?

Он тяжело вздохнул. Извинился и вышел. Возвратился через 5 минут и глухим и неестественным голосом сказал:

– Нам лучше оставить это. Я... отправлюсь в рабочую командировку.

В ином случае она бросила бы: что, ты собираешься уехать без меня? Но сейчас ей было невыносимо безразлично, явно выступало желание – чтобы ее оставили в покое.

– Опять «движения сепаратистов принимают угрожаю-

щий характер». От партийных, конечно. Хотят расколоть чужую страну. Ну... ты понимаешь, наверное. Может быть война... опять. Ч. давали гарантии, что за нее вступятся, если на ее территорию вторгнутся вражеские войска.

– Ты в это веришь? Что стоили эти гарантии в прошлом?

– Я не знаю... но там нужен человек, который сможет освещать события. Для тебя там небезопасно. И я...

– Я не возражаю, – ответила Катя, – это твое решение.

С облегчением Митя вздохнул.

Собираясь, он сказал, что станет посылать ей письма и деньги, чтобы она не нуждалась. Катя словно бы не слышала его. Она не понимала, в каком положении оказывается: пусть в квартире мужа, но без мужа, и это накануне возможной войны, в стране, на языке которой она и фразы не скажет без ошибки. Она воспринимала это как временное избавление от Мити. Как и муж, она испытывала облегчение – они остынут, появится наконец-то время, чтобы разобраться в собственных чувствах.

На прощание Митя принес ей из главного косметического магазина то, о чем они спорили, – красную помаду. Потом он поцеловал ее в лоб, подхватил саквояж и отбыл на вокзал. С час Катя сидела в потемневшей квартире, вслушиваясь в тишину, рассматривала помаду и думала, как пойдет с Ганной Каминской в ресторан. Застучали напольные часы. Она вскочила, решив, что стучат в дверь, но тут же опомнилась. Ганна не могла прийти в такой час, а Митя... Она прошлась

по опустевшим комнатам – и впервые за многие недели ее охватил сильный сосущий страх; он расширялся в ней, вытесняя прочее – облегчение, успокоение, надежду. Мити не было с ней. Она осталась без него... без Марии, без Альберта, без Дитера, без Альбрехта и Альдо Аппеля – и без Мити. Ноги ее ослабели – и она упала на пол, близ окна. За стеклом разлилась безликая синева. Ей нечем было дышать. Она хваталась за горло, пытаясь набрать больше воздуха, но безуспешно – ее сильно трясло. Вне страха не осталось ничего.

«Проплакала два часа и оставила на ноге пару порезов. Очень давно я не делала этого. После работы шла от остановки, а на углу стояла женщина с корзинкой с котятками. Наверное, я сбавила шаг, поэтому она окликнула меня. Нет, мне не нужна кошка. Мне стало дурно, я пошла быстрее, но стоило войти в квартиру – и меня как накрыло. Как мне одиноко! Так одиноко!

Я скучаю по Саже. Она выросла большой и красивой кошкой. Тетя терпела ее, чтобы не расстраивать меня – настолько она меня любила. Я была единственной в классе, у кого была дома кошка. Иногда ко мне напрашивались, чтобы поиграть с Сажей. Как же, не все могут позволить себе кормить домашнего питомца! К счастью, Сажу кормила не тетя, а наши мальчишки. Альбрехт очень любит кошек. Альдо тоже – но притворялся, что ему все равно, иногда приносил колбасу или сосиски. Петер Кроль не любит никого, кроме себя.

Марию он не любил, что бы она ни воображала себе. Пока не появился Дитер, я надеялась, что она влюбится в Альдо Аппеля, но ее тянуло к этому снобу, который ни во что ее не ставил. Я не злопамятная, но запомнила, как он больно схватил Сажу (она замяукала!) и бросил ее что было сил с кресла. Герман сказал, что нельзя обижать кошек, а Кроль ответил, что у него аллергия и он не может переносить их присутствия. Чушь! Даже если так, это не повод бросать Сажу! У Альберта аллергия, но он никогда не обижал Сажу! И как же его "безупречные манеры"? Разве эстеты, "идеалы" могут позволить себе такое?

Плохое запоминается сильнее. Какого цвета была коробка? Синяя? Розовая? Но лента была красная атласная, Альберт сам завязал ее, а мне доверил поднять крышку. Помню, я воскликнула от восторга: это был черный-черный испуганный котенок, который жался в угол и замяукал мне навстречу. У меня был день рождения.

– Это ужасно – дарить животных, – заявила тетя.

Альберт неловко согласился, но добавил, что котенка он привез из столицы, выбрал лучшего котенка на сезонной выставке кошек, наверняка у этого кота ужасно древняя родословная...

– Но это кошка, – напомнила я.

Альберт мило покраснел и откашлялся. Тетя, наверное, злилась на него, но разрешила мне оставить Сажу – с условием, что заботиться о ней я буду сама. Я не сразу поняла,

что у Альберта аллергия: он шмыгал носом, оправдываясь простудой, вытирал глаза, но показал мне, сколько еды давать Саже и как устроить ей туалет. Я поздно заметила, что ему плохо, и спросила:

– Наверное, вы устали?

Я была маленькой и не знала, что бывает аллергия на животных. У него слезились глаза, а после пошла кровь. В этот раз я уже не испугалась. Я помогла Альберту достать платок и вытереть кровь с век.

– Вам точно не очень больно? – нет, лучше было молчать!

Несколько раз он высморкался и признался – но как трогательно он заботился о Саже, как терпеливо рассказывал об уходе за кошками! Сажа запомнила его: когда Альберт приходил, она выбегала к нему и, стоило ему сесть со мной за шахматы, бросалась ему на колени. Терпел ли он при этом? Порой он гладил ее, а Сажа мурчала. Минут через пять я обычно уносила ее к себе, чтобы Альберту не стало хуже. Он сморкался и говорил, что огорчен из-за своей аллергии.

– Но зачем вы ее гладите?

– Но как же, Кете? Она пришла ко мне, она меня помнит, не хочется ее обижать.

Скучаю по спокойным вечерам дома. Политика была только работой тети, и какой работой? Она писала статьи о местных партиях и разнообразных течениях – почти как Митя. Ну и что? Я любила вечера с пианино – когда Мария играла Моцарта, Шопена или Бетховена. Я любила вечера с ча-

ем и вкусами, которые приносили наши знакомые и друзья. Мы с Альбертом играем в шахматы и переговариваемся – безобидные (старательно отобранные) шутки, книги, шутки и творчество (в каталогах) Ван Гога и Моне. Мы сидим на диване и смотрим картины, что выставляют на каком-то парижском аукционе. Альберт обещает взять меня в горы, когда я стану совершеннолетней. Он рассказывает о горных озерах, вода в которых чистая и прозрачная, и в ней можно рассмотреть ясное небо. В гостиной Альдо и тетя обсуждают современную (в упадке) журналистику. В соседней комнате Петер Кроль учит Марию "правильно ходить", "правильно стоять" и "правильно держать голову" – лепит из нее совершенную барышню по собственным шаблонам идеальности. Я боялась, он не оставит ее в покое, так и было, пока он не напал на более покорную жертву – Софи. Софи... которая сказала нам с Альбертом, что мы должны быть вместе – так она видит нашу судьбу, удивительно счастливую, по ее словам. В столице. Нет... да, это было в столице. Мне было 16 лет. Наверное, Софи видела свою судьбу с Петером. Мне было жалко ее – такая незащищенная, отстраненная, но красивая – и она окажется с Петером вместо Марии! Марии удалось избежать его, но не Софи. Я посмеялась ее видению, но оно было приятно, очень волнительно: мы... будем... вместе. Наша встреча, хрупкая дружба и постепенно развивающееся влечение – это благосклонная судьба. И когда политика заняла ведущее место в наших жиянях, Альберт не пре-

вратился в своего отца – он его терпеть не мог, он ни за что бы не принял его идеологию.

– Отец думает, я смирюсь с ней, как смирилась мать в свое время. Мать нынче на его стороне и уговаривает меня...

А, что я пишу? Лучше бы написать о важном. Так... Ч. захвачена. Вернее, войны не было, просто президент Ч. "дабы установить спокойствие в этой части Европы, вверяет судьбу страны и своего народа в руки... "Трибуна"». Как тяжело спать! Утром обязательно читаю газету, чтобы убедиться: новых ужасов нет! Зачем Ганна сболтнула, что вражеская (нет!) авиация прилетает ночью? Два дня назад ребенок внизу кричал, что началась война. Я испугалась и побежала к Ганне, и закричала ей, что началась война.

– Как – война? Какая война? Кто с кем воюет?

Мне стало стыдно. Я заплакала у нее на руках. Ничего не понимаю. Как мне смириться? Альберт, Дитер, Альбрехт. Почему мы должны умирать? Почему они должны стрелять в меня, а я – в них? Нет. Ни за что. Мы не враги! Сами вы враги! А мы – нет! Не Альберт, только не он! Он – ни за что! Я знаю и люблю его дольше, чем вас всех! Вы не заставите меня поверить, но он – мой враг! Как быть с Митей? Сбежать к Марии? Не выношу одиночества и ожидания».

Тут в дневник она вложила перепечатку речи «Трибуна», что опубликовали в ее газете: «...Вот тут он (американский президент) заявляет, что международные проблемы можно

и нужно решать за столом переговоров. И вот мой ответ: я, конечно, был бы счастлив сесть за стол переговоров, но эти проблемы невозможно решить таким способом... Позвольте, сама Америка продемонстрировала свое неверие в действенность всех этих инстанций. Позвольте напомнить, Лига Наций, представляющая все народы мира, была создана по желанию американского президента, но сами же Соединенные Штаты и вышли из Лиги Наций первыми в истории... Как-то моя страна уже участвовала в конференции... и что же? Ее там унизили самым невыносимым образом... А вот он хочет узнать, не вторгнутся ли наши вооруженные силы в независимые государства... он их здесь перечисляет... и откуда у него, несмотря на огромный объем работ, берется время на то, чтобы вникать во внутренние проблемы других народов и государств? Сейчас я вам зачитаю список этих стран... Я готов дать гарантии каждой из перечисленных стран. Так же я могу заверить, что мы не собираемся вторгаться в Соединенные Штаты, что вас, конечно, не может не волновать. Я не раз уже говорил, что такие утверждения могут быть лишь плодом большого воображения, если посмотреть на них с военной точки зрения... Нет, я понимаю, что обширность вашего государства и несметность богатств заставляют вас испытывать ответственность за историю всего мира, за судьбы всех народов, но, позвольте, сам я возвращаюсь в более скромных сферах... И моя страна для меня дороже всего на свете, потому что она принадлежит мое-

му народу. Я полагаю, именно на своем посту я лучше всего смогу служить всему тому, в чем мы все заинтересованы: мировой справедливости, процветанию, прогрессу и миру на всей земле...».

## 1940

Конечно, это глупость. Не может быть, чтобы мы оказались тут и в этом положении. Нет, конечно.

Аппель отсчитал 9 шагов – столько потребовалось бы сделать, чтобы оказаться у двери Альберта. Словно из иного мира закричала Мария; голос ее был резкий и легко достигал второго этажа, на котором Аппель прятался от полицейских. Ранее, спустившись на пролет вниз, он услышал, как жесткий, узнаваемо «силовой» голос требовал «комиссара Альберта». Аппель прислушивался, не закричит ли снова Мария – но, должно быть, у нее закончились силы. Он прошел 4 шага в сторону Альберта (к счастью, у него-то было тихо), но потом остановился в нерешительности. Конечно, можно постучать, а то и войти (если Альберт не заперся на ключ), но что, что, что он скажет Альберту? Что позже ему полегчает? Что за горем неминуемо следует облегчение? Ничего более омерзительного сказать теперь было нельзя. Или сказать, быть может, что все (какое все?) наладится? Альберт не глупее его и не хуже него знает, что ничего, ни за что, никогда не наладится.

Он пожегся от неприятной и вместе с тем волнительной мысли: войти и, вместо утешения, попросить у Альберта пожалеть его, Аппеля. Мне страшно, они отправляют меня на фронт, мне очень страшно... я не хочу, не могу умереть! Разве за эту смерть я бросил все, чем дорожил? Разве после стольких уступок – разве я заслуживаю мучительной смерти от вражеского...

Знаешь, о чем я мечтаю, Берти? Я мечтаю закончить с отличием в Минге и уехать в столицу. Никакой Минги! Что тут делать? Лучшие газеты – в столице. Я куплю билет и отправлюсь, я не вернусь в Мингу, потому что в столице я стану знаменитым журналистом. Не понимаю, чего ты привязался к Минге. Нужно ехать! Поехали со мной! Metropolis never sleeps. Там лучшие вечеринки, лучший алкоголь, лучшие перспективы. А, лучше не говорить «лучшие перспективы»! Кажется, Альберт знал больше. Раз он сказал, что Metropolis сожрет их. С легкой иронией он добавил, что мнение это – не оттого, что он любит Мингу, а потому, что в столице витают плохие настроения и благоразумнее было бы отсидеться подальше от нее. Аппель пожал плечами и ответил:

– Конечно, юристам хочется покоя и стабильности, но журналисту «плохие настроения» как раз очень кстати.

Из нечастых поездок в столицу Альберт приезжал мрачный, но с сумкой модных вещей. Привозил он и Аппелю: шарф или галстук, французские запонки, как-то привез даже

клетчатую рубашку (с его слов, невероятная штука, что завозилась из Англии). А раз Альберт вернулся с новой стрижкой и заявил, что это называется... он произнес иностранное слово с легкостью интеллигента, который больше любит иностранные языки, нежели соседние (национальные) диалекты.

– Как это называется? – с интересом переспросил Аппель.

– Андеркат. Петер скажет, что ужас, но мне очень нравится.

– Слишком оригинально, боюсь. Брить виски и что там дальше – так себе. Это никогда не войдет в моду.

Аппель, собственно, зашел спросить, хочет ли он пойти с ним в клуб. Он постепенно приучал Альберта к местным клубам и, пользуясь его доверием, учил пить и отличать нормальный алкоголь от фальшивого. Альберт, обычно готовый с ним пойти, теперь неуверенно покачал головой.

– Серьезно? Не хочешь обмыть свое возвращение?

– У меня денег сейчас нет, – сказал Альберт.

– Пустяк, у меня тоже почти нет. Так, мелочь на пиво. Мы выпьем у Лизы. У нее родители на сутки уехали, наши собираются, напитки за ее счет, что интересно. Хочешь?..

Альберт колебался, но настойчивые уговоры Аппеля сыграли правильно: он отправился за клетчатым костюмом и розовым шарфом. Пока тот искал, что надеть, Аппель достал из кармана его плаща политическую брошюру (ровно 50 строк на странице!) и пробежал ее глазами.

– Неплохо быть сыном известного идеолога, а?.. У твоего

отца острый стиль. Наверное, ваша партия очень его ценит.

– Не напоминай! Тебе легче: ты – сын уважаемого человека, а я...

Вопреки протестам Альберта выпили они вдвоем уже на улице. Аппель не хотел появляться в компании пьяных, не выпив сам даже бокала пива. В квартире Лизы (25 лет, 168 см. роста) они сели сначала в гостиной и слушали музыку. Он часто убегал за новыми стаканами, а Альберт не мог вспомнить, как снял пиджак и где его оставил.

– Я мог его... это... бросить на улице?

– Это сомнительно.

– Ты не помнишь?

– Конечно, это возможно, но сомнительно.

Через час вино и виски кончились, и знакомый сбегал за пивом, которое смешали зачем-то с газировкой. От первого же стакана у Альберта разболелась голова, и, путаясь в словах, он попросил Аппеля вывести его. Вместе, в обнимку, они вывалились на открытый балкон и, как есть, без пиджаков, уселись прямо на пол. Поблизости были разбросаны пустые пачки от сигарет (8 штук) и сожженные спички (28 штук). К ним хотела выйти девушка, тоже пьяная, но Аппель обругал ее, и она, обидевшись, хлопнула дверью.

– О, она... от тебя без ума, – узнав ее, напомнил Альберт. – Это она хотела, чтобы ты... поехал с ней на каникулах... в этот... как он?

– Да ну ее!

– Она очень красивая. Мне... это... нравятся светлые... эти... как они? Что за черт?

– Хочешь ее?

– Она хочет с тобой. Я при чем тут?

– Я смогу, конечно, ее уговорить на двоих.

– Ты спятил, что ли?

– Извини, мой высокоморальный. Я знаю, кому тебя со-  
сватать. Как имя той, что тебе глазки строила в кафе? Честно, ты ходишь на нее смотреть?

– Отстань, а?

– А что?

– Не хочу.

– Не зря говорят, что ты странный у нас.

– А это преступление?

– Расслабься, ну? Выпей со мной. Хорошая ночь...

Почти засыпая, Альберт прислонился головой к стене. Профиль его был тонок и нестерпимо красив.

– А ты пробовал с мужчинами? – шепотом спросил Аппель.

– Эм... что?

– Ну, если тебя к девушкам не тянет. Должно же хоть к кому-то тянуть? Или боишься, что мама поругает?

– Нет. – Тот еле слышно рассмеялся. – А как это?

– Обыкновенно. Что смешного? Страшно?

Он покусывал губы, не чувствуя в себе уверенности.

– Можно... я тебя... поцелую?

– А? Это... пожалуйста.

Странно и смутно обидно было целовать безучастного Альберта, больше похожего, несмотря на расслабленность, на замерзшего Кая. Губы у Альберта были сухими и спокойными и не отвечали на прикосновения. Аппель отстранился и, от опьянения и волнения, заплакал; у него отказывала воля, он казался себе извращенцем, который пристаёт к приличному (и, конечно, осудившему его) человеку. На то, чтобы вскочить и убежать, сил тоже не было.

– Берти... я... люблю тебя. Я... прости, я не знаю, что с этим делать!

Альберт как не слышал: он полулежал, привалившись к стене, и смотрел вверх ресниц на темные окна противоположного дома.

– Берти... я хочу тебя. Люблю тебя. Я... я больше не могу так!

Тот пустыми глазами уставился в свой пустой стакан. В этом безучастии проявлялась жестокость, которая ранила больше резкого отказа. Понимая, что его неизбежно отвергнут, Аппель все же не был готов к безразличию – словно говорил со стеной, а не с теплым, ласковым (возможно) Альбертом. С минуту (67 секунд) он плакал. Затем порывисто прижался губами к шее Альберта, а не встретив ни нежного отклика, ни отторжения, отвернулся и вытер глаза.

– Я... пойду домой, – прошептал он. – Извини.

В ином случае он бы не бросил Альберта пьяным в чужом

доме, но сил, чтобы думать, уже не было. Он оставил Альберта и, не простившись со знакомыми, ушел.

Встретились они через пять дней, и Альберт не показал, что помнит события той ночи: диалог на балконе, осторожный, оставшийся безответным поцелуй или жалкое признание со слезами. И после Аппель, бывало, всматривался в его темные глаза и пытался различить в них тень отвратительных воспоминаний. Он запомнил безразличие, что унижало сильное желание, а Альберт не помнил ничего – или столь искусно притворялся, что и чуткий влюбленный не сумел бы его раскусить.

Невыносимо, невозможно, что его безразличие – оно стало вот этим: болью, истеричностью, помешательством от утраты. Он был обижен, и жалел Альберта, и желал ему смерти, и хотел пойти к нему и утешать, и умолять его об утешении, и кричать ему, что он заслуживает боли. Если бы Катерина раскрыла ему секрет своей власти, он бы не сомневался и раскопал ее могилу, и извлек бы из ее тронутого разложением тела то...

На второй этаж шли полицейские и Мария. В страхе он остановился в двух шагах от комнаты Альберта.

– Пожалуйста, сделайте, что считаете нужным. Моему мужу, капитану Гарденбергу, нечего скрывать.

– И покажите нам комнату комиссара Альберта.

– С вашего позволения... я бы попросила вас не беспокоить его. Он болен, понимаете?

– Нет. Он служит стране. Человек на службе не может быть болен!

Он покачал головой и спокойно ответил:

– Не понимаю, что вы хотите от меня. Мне нечего вам сказать.

– Встаньте!

Он поколебался. Взглянув на испуганную Марию, что прижалась к дверному косяку, встал из-за стола. Та тихонько шмыгнула носом – самообладание отказывало ей.

– Значит, вы уверены, что вам нечего сказать?

– Абсолютно уверен, – ответил он.

– Встаньте к жене! Посмотри, что в дальнем ящике!

К счастью, Мария сумела справиться с тревогой и, сначала потянувшись к нему, опустила после этого руки. Плечи ее в траурном платье слабо дрожали. Коснись он ее – и она бы расплакалась, зарылась лицом в его плечо и попросила увезти ее. Она опустила глаза, чтобы не глядеть, как чужие руки лезят в бумаги мужа.

– Хорошо... очень хорошо... Впрочем, поговори я с комиссаром Альбертом, уверен, получилось бы прояснить ситуацию. Я слышан, что комиссар – старинный ваш приятель, но сомневаюсь, что он стал бы покрывать ваши грешки. Неужели... ах, неужели он заболел? Как кстати!

– Посмотрите сами, если не верите нам, – тихо ответил Дитер.

– Обязательно... и с Аппелем поговорю – обязательно.

– Мне нечего скрывать от вас.

– Вы так считаете? А ваш приятель Петер Кроль считает иначе.

Сказано это было с расчетом, что супруги испугаются или удивятся и выдадут себя. Выражения их не изменились.

В столе не закончили, а Петер Кроль явился, уверенно, как к себе, вошел и отвесил главному изящный поклон. За ним вошла и его жена Софи, лицо которой было столь безмятежно, словно ее пригласили погулять на озеро. Смутившись от ее прекрасного присутствия, главный пробормотал:

– Вы хотите... слушать... Нет, как пожелаете...

Не отвечая, Софи присела в кресло в углу. Никто не возразил – от нее шла необъяснимо торжественная сила, противиться которой не сумел бы и самый влиятельный человек.

– Значит... – Далее прозвучал деликатный кашель. – Значит, вы можете свидетельствовать, что капитан Гарденберг участвует в деятельности кружка, который выступает против единственной и незаменимой власти и «Единой Империи»?

Иной человек, не Петер Кроль, был бы неприятно поражен необходимостью свидетельствовать при виновном. Кроль же нисколько не колебался и не смущался. Унизительную роль он отыгрывал с изысканностью и достоинством, которым позавидовали бы английские короли. Ровным голосом, без жесткости, страха или раболепия, он доложил, что хозяин участвует в деятельности антивоенного обще-

ства, пытался связаться с иностранными агентами и хранит тайные планы по свержению законно избранного правительства. Закончив, он извинился и сказал, что желал бы позаботиться о своей жене: якобы Софи плохо себя чувствовала.

– А, вы приболели? Очень вам сочувствую. Позаботьтесь о ней, ничего страшного.

Послушно Софи встала и, не взглянув на хозяев, вышла за мужем из кабинета. Мария тихо выругалась.

– Вам по-прежнему нечего сказать?..

Патриотичный агент выбросил из ящиков бумаги и пытался прочитать быстрый и мелкий почерк. Стучали часы. Мария спрятала руки за спину – не показывая им, что дрожишь, ты не боишься их!

– Я не отвечаю на доносы, – после паузы ответил Дитер.

– Я дам вам последний шанс. Подумайте... Что с вами? Вам нехорошо?

Мария покачала головой и уставилась в пол.

– Мне нечего вам сказать. Делайте свою работу.

– Да?.. Как хотите. Ваше право.

– Можно мне остаться? – прошептала Мария.

– Нет... я справлюсь.

Желание закричать сжимало ей горло: ты понимаешь, как все серьезно? сейчас все закончится! и ты хочешь, чтобы я ушла, ты в своем уме? И мир сжался: ничего не осталось, кроме маленькой комнатки, темного кабинета с разбросанными бумагами и служебным пистолетом близ пресс-папье.

1932

Деньги, очень много денег. Он не знал точно, сколько в его семье раньше было денег; наверное, достаточно, пожалуй, и много, раз мать носила шелковые платья и заказывала книги и журналы из Минги, на столе было минимум три блюда, а в гостиной летом стояли свежие розы. После платья пришлось пустить на тряпки (все равно устарели), а обстановку гостиной и книги распродать – такова была бытовая цена той большой войны.

Альма Хазер жила так, словно никакой войны и не было. Воспитанная в Америке, там же пережившая скучные времена, она относилась к многим важным вещам, как к чему-то скорее приятному, чем обязательному. Она ела не потому, что хотела есть, а оттого, что еда готовилась бельгийским поваром и потому была загранично-изысканной. Одежду она покупала не практичную или теплую, а элегантную, часто неудобную, но зато делавшую ее, по ее мнению, аристократически привлекательной. Ей было более 30, и она ни разу не работала, понятия не имела, каково это – искать работу. Она вставала с постели около 11 часов и два часа завтракала, болтая по телефону со знакомыми. После читала или ехала развлекаться – в кафе, магазин или в гости. Альма была восхитительно прекрасна в этой житейской наивности и уверенности, что она все же понимает жизнь, как минимум поли-

тическую: не зря же она из семьи генерала Генштаба.

– Знаете, Дитер, мне кажется, вам у нас неуютно, – заговорила она раз, оказавшись с ним на балконе. – Возможно, мы мало внимания вам уделяем. Вы часто сидите один, а папа хочет, чтобы вы общались и...

Альма запнулась. Он был ей приятен, но вместе с тем ей стало немного неловко. Она уставилась вниз – там, вне балкона, выкрикивал митинг. Кажется, опять бунтовали социалисты.

– Нет, мне у вас очень нравится, – ответил после паузы он. – Мне неприятна мысль, что я вам навязываюсь.

– Что вы, вы совсем не навязываетесь! – воскликнула Альма.

– ...Мы с вами все же из разных кругов.

Не понимая, о чем он, Альма нахмурилась. Человеком из иного круга она бы назвала социалиста, из тех, что кричали внизу о равенстве возможностей и «преодолении буржуев». Пусть у него не было титула, но в глазах ее Дитер был равным – не по финансам (она о таком не задумывалась), но по образу мышления. Его семья была из офицерских, и сам он был офицером – как ее отец и ее бабушка. Отсутствие у него заветной аристократической приставки не было существенным недостатком, раз он получил замечательное, как она считала, домашнее воспитание. Скорее себя бы она поставила ниже – от женского комплекса: что она «старая» и некрасивая – и близ молодого человека со столь симпатич-

НЫМ ЛИЦОМ.

– Право, – кашлянула она, – мне кажется, вы себя недооцениваете. Вы так молоды и перспективны. Папа рассказывал, как вы умны и старательны. Он уверен, у вас впереди большое будущее в Генш... А, не говорите ему! – смущенно рассмеялась она. – Я не должна была вас хвалить, тем более его словами!

– Хм... вы считаете, у меня может сложиться карьера? – невинно уточнил он.

– Конечно. Я в этом не сомневаюсь.

На балкон наплывал влажный туман, и Дитер спросил:

– Хотите вернуться в зал? Боюсь, туман мешает вам наблюдать митинг.

– Вы думаете?.. Вы правы, лучше вернуться. У того, темного, невыносимо пронзительный голос.

В который раз Альма не пошла к давним знакомым, полковникам и майорам, что регулярно бывали в ее гостиной и за столом. Она отправилась с Дитером в зал, в котором Софи (Альма удивилась, что Софи – его кузина) предсказывала гостям возможное будущее. Присев на диван, она весело спросила, что Софи ему нагадала, и он соврал:

– Сказала, что я стану археологом в Южной Африке.

– Как интересно, – ответила Альма, – у вас есть увлечение, может быть, вы в детстве мечтали стать археологом?

– Нет, не припомню такого.

– А мне Софи сказала, что мне не стоит вступать в брак.

Тем более нельзя вступать в брак по любви.

Он внимательно на нее посмотрел: лицо Альмы сохранило достоинство и безразличие, возможные лишь у представителей ее класса.

– И... почему? – отбросив тактичность, полюбопытствовал он.

– Она сказала, что если я вступлю в брак, то умру.

– Вот как... неоднозначно звучит.

Внезапно Альма рассмеялась.

– Простите, я забыла, что вы верите в судьбу, – сквозь смех сказала она. – Я не верю, помните? Поэтому сказки Софи мне... не страшны.

У вас будет много денег. Много денег, много возможностей и много удачи. Вы ни в чем не будете нуждаться. Вы будете любить и будете любимы близкими. Вы умрете рано и мучительно, раньше сорока лет. Женщина... она привлечет к вам несчастье.

– Ну, умереть в браке – разве не желание большинства женщин? – поспешно спросил Дитер.

– Вы считаете? – с сомнением откликнулась Альма.

– Возможно, вы умрете в 70 лет, держа за руку любимого мужа. Я бы не стал толковать слова Софи как нечто плохое.

– Все равно, я в это не верю.

В мгновение это она была так доступна, несмотря на высший лоск, что он еле удержался от вопроса: «Ну почему, почему вы еще не вышли замуж?». Незамужняя Альма, словно

лишенная сексуальности, избалованная девочка, единственная дочь и наследница... В отношении Альмы к нему не было женского, она рассмотрела в нем любопытного и любезного приятеля, быть может, и замечала, что он красив, но не тянулась погреться в его чувственности. Зная, что не может покорить всех женщин на свете, все же он чувствовал себя неуверенно – бесстрастность Альмы лишала его веры в собственную мужественность и привлекательность.

Заметив, вероятно, что его занимает вопрос ее безбрачия, Альма после сказала:

– Я не считаю, что женщина обязана быть замужем. И, к тому же, я не встретила человека, с которым бы хотела вступить в брак.

Они снова стояли на балконе: Альма смотрела в весенние сумерки, Дитер спросил разрешения закурить. В гостиной спорили о результатах выборов в парламент.

– Вас интересуют более... сложные вещи, – заметил он на ее слова.

– Да. Я бы хотела поучиться немного и стать... например, депутатом парламента, как отец Софи. А, нет, ее отчим. Отчим Софи. Жаль, папа считает, что мне там не место.

– Ваш отец так считает? Потому что вы женщина?

– Нет, он считает, что я слишком ранима. А мне бы хотелось выступать от нашей партии, я бы научилась противостоять этим плебеям с Юга и их маниакальному «Трибуну»...

– Она помедлила. – Вы общаетесь с ними? Папа говорил,

что вы в хороших отношениях с тем человеком... сыном их идеолога, Альбертом Мюнце.

– Что? Нет, конечно. – Он пожегился, припоминая, что с Альбертом встречается чаще, чем с Альмой.

– Они безумные, я их боюсь! Но я бы научилась с ними бороться! Жаль, папа не верит в меня.

– Я был уверен, что ваш отец полностью поддерживает вас, – неуверенно ответил Дитер.

– Нет, он верит... но он хочет уберечь меня. Он говорит: «Лучше я тебя остановлю, чем потом ты сама разочаруешься».

– Значит, я понимаю, почему вы не вышли замуж. Не потому, что вы сказали, а... в вашей жизни нет места мужчине, место вашего мужа занял ваш отец.

Альма не обиделась и не начала спорить – и он был уверен, что она примет его вывод спокойно, может, и поразмышляет, а иначе он бы не сказал это.

– Что же, занимательно, – она попыталась улыбнуться, – но мне сложно... Нет, вы неправы. Папа хотел, чтобы я вышла замуж. Я сопротивлялась...

– Почему?

– Мне никто не нравился! Не могу я выйти замуж за того, кто мне безразличен! Дай волю папе – и он бы выдал меня замуж! Он меня сватал замечательным мужчинам, многие имеют хорошие звания...

Небрежно Альма поправила мех на плечах.

– А вы, Дитер, считаете, что женщина должна выйти замуж? – чуть сварливо спросила она.

– Нет, женщина не должна, никому не должна. Женщина должна только себе – быть счастливой, любить и быть любимой. В этом вы, женщины, ничем не отличаетесь от нас, мужчин.

Она странно повела плечами – но он понял, что ответ ей понравился. Откашлявшись, Альма спросила, не хочет ли он сыграть с ней и полковником В. в карты – ей рассказали о новой испанской игре, которая набирает популярность во французских кафе.

– А верно, что ваша мама собирала картины постимпрессионистов? – спросила она за столом.

Не понимая, с чего Альма это взяла (мать собирала картины? разве то в их гостиной можно было назвать коллекцией?), он соврал, что Лизель обожала это направление и не пропускала аукционов живописи, раз отправилась в Мингу, чтобы купить...

– А, конечно! – вспомнил Дитер. – Я припоминаю, что было. У матери была картина с женщиной Тулуз-Лотрека и пейзаж Ван Гога. Они стоили очень мало... Не вспомню точно, но около 10 долларов.

– Этого не может быть! – перебила его Альма. – Эти работы бесценны! Вы не могли купить их за 10 долларов, вы что-то путаете.

– Нет, мать их продавала. Это было во время инфляции,

мы продавали за валюту, поэтому за картины мало заплатили... и мать не умела торговаться. Она была эталонной русской барышней, которая вышла замуж за богатого человека и... Она не могла сказать торговцу: «Заплатите больше, это мало!». Сейчас я понимаю, что набивать цену было ниже ее достоинства.

– О, извините меня. – Альма переглянулась с полковником. – Мне... простите, что я...

– Ничего. Это прошлое.

С уколом совести он взглянул на слабый профиль Альмы, тонкие светлые волосы – как у Лизель, его матери, с довоенных фотографий. Та же непрактичная женщина, не глупая, но наивная, романтичная, которая боготворила мужа, его отца, и не смогла жить без него, и глушила себя, чтобы не испытывать боль. И о его матери, слабой и чувственной Лизель, Жаннетт сказала: «Твоя мать, возможно, убила своего первого мужа, чтобы выйти за твоего отца». Сколько может скрываться за светлым образом, прозрачностью женских глаз...

Он вспомнил Марию – темные серьезные глаза, на дне которых он порой замечает лукавство, игривость, сладострастие, страшный ум и осторожность. Мария умнее и несравнимо опаснее, но Альма – она таинственнее и нужнее.

Провожая его, Альма привычно спросила:

– Вы к нам на новой неделе?..

Он заглянул в ее зрачки – они не отвечали на его внима-

ние. В желтоватых – почти отражение его – глазах стояло спокойствие. Альма моргнула.

– Обязательно, – сказал он, – я принесу вам свежие вести от Жаннетт, если захотите.

– Лучше приглашайте Жаннетт к нам, мы соскучились. И нужно, чтобы была Софи, она веселит гостей...

Отчего-то она закусила губы. И отвернулась.

К Марии он приходил по четвергам и ждал ее после работы. Усталая, она с облегчением встречала его и пила с ним чай или любимый обоими кофе с ромом. Была она все так же зажата, движения и поза выдавали напряжение и настороженность; но за разговором она постепенно забывалась, расслаблялась, плечи ее чуть опускались, а голова склонялась немного набок, когда она слушала, и смотрела она уже без сомнения, оживленно и с любопытством. Интерес ее побуждал его говорить больше, понимание было приятно, вопросы ее – разумны и точны. Начиная говорить, поначалу она могла спотыкаться, боясь неверно выразить мысль. Но, не замечая нетерпения или недовольства, она успокаивалась и говорила далее мягче, неспешно, но логично подбирая слова. Достаточно образованной, ей не составляло труда высказываться на темы, которые его занимали: они обсуждали политику (Мария была консервативным демократом), историю (она любила викторианскую эпоху), психоанализ, новые романы и Италию. Время от времени, обычно в дни получки, они отправлялись в кино, но вкусы у них тут не совпадали: Мария

любила мелодрамы и музыкальные фильмы, а он – зарубежные детективы. Других же возможностей приобщиться к искусству у них пока не было: безуспешно Мария мечтала об опере, о балете, о фортепианных концертах и, не бывая на премьерах, доставала рекламки новых постановок и коллекционировала программки, что приносились, по ее просьбе, гостями тети Жаннетт. Но лучше всего для них были катанья в трамваях. После десяти часов трамваи были пусты, но молодые люди оставались стоять на ступеньках, прислонившись спинами к закрытым дверям. Сквозь запотевшие стекла пробивались рекламы, зеленым и розовым светили фасады.

После маршрута 68 он провожал ее, уже ночью, домой.

– Ты не хочешь выпить чего-нибудь? Кофе там... чай?

– У меня свой есть, хороший, – с улыбкой сказала Мария.

– Твоя тетя спит?

– Конечно же, нет. Она встречает меня.

– О-о-о...

Чувствуя неопытность, неестественность его выражений, она его теперь не боялась.

– У тебя живут мальчики?

– Что?.. А, друзья. Мы учимся вместе. Никакие они не мальчики.

– Мужское общество сковывает, – странно сказала Мария, – впрочем, как и женское – если его слишком много.

Поняв, что ей неприятно мужское соседство, он попросил

друзей съехать, чтобы она не пугалась, когда будет приходиться к нему. Но все равно было странно вот так начинать: хотелось праздника, незнакомого места, без памяти, личных историй. Подумав позвать ее в К. в феврале, он придумал еще попросить Альберта дать денег взаймы: тот, хоть не общался с ним толком, имел лишние деньги и не отказывал, если был в обычном своем настроении.

– Вам, Гарденберг, очень нужно? – не изобразив неудобства, спросил Альберт.

– Очень. Очень нужно! Я бы не просил...

– Нет-нет, возьмите, – поспешно, чтобы не заставляя его повторять, сказал Альберт. – Отдадите, как сможете. Вы, наверное, хотите куда-то сводить племянницу Жаннетт?

– Не совсем. Я хочу с ней поехать в К.

– А, вы на Карнавал хотите? Я там был, замечательно, нет слов, как восхитительно! Вам с ней нужно подготовить исторические костюмы!

– Зачем?

– А зачем ехать на Карнавал без костюмов? Я могу вам посоветовать гостиницу, небольшую, консервативную. Хозяйка – из моих знакомых. Я с ней могу договориться, позвонить ей, она вам сделает скидку как моим друзьям. Она кое-чем обязана моим родителям.

– Вы очень... любезны.

Мария отнеслась к его идее негативно.

– Как ты себе это представляешь? – спросила она. – Что

я скажу тете? Как я объясню все?..

– Ничего такого в этом нет, – обижаясь, ответил Дитер. – Ты совершеннолетняя и можешь поступать, как тебе хочется. Не все ли равно, что скажет на это твоя тетя?

– Мне не все равно. И... она к этому отнесется плохо. Она к тебе не расположена.

– О, я имел возможность это заметить! И что?.. Скажешь ей, что поедешь к подруге... если боишься говорить обо мне.

– У меня нет там знакомых.

– А в Минге? Ты жила там несколько лет.

Она задумалась, поджав с сомнением губы.

– А как мы... у нас нет денег!

– У меня пока есть. На несколько дней, чтобы покутить, хватит. На гостиницу, на билеты...

– А работа?

– Возьмешь отгул.

– Ну...

– Тебя беспокоит, что скажет твой жених?

Он знал: то был жестокий прием. Мария покраснела и воскликнула:

– Не понимаю, о чем ты говоришь. У меня нет никакого жениха.

– А тот парень, который написал ужасную партийную песенку? Петер Кроль же?

Мария покраснела еще больше, в голос ее просочилась злость.

– Он не мой...

– Либо ты едешь, либо я поеду один, а девушку найду себе на месте.

Тон его, фальшиво-решительный, не испугал ее.

– Ну и дурак, – с холодным спокойствием сказала она.

Согласившись, она испытала облегчение. Она взялась сама подготовить костюмы, показывала их Кате, которая обо всем знала, а от тети прятала, чтобы та не разведала об ее планах.

Провожать ее собрались всей семьей – впервые Мария ехала куда-то в одиночестве. Жаннетт, сомневаясь в правдивости рассказа о подруге и юбилее, хотела убедиться, что племянница сядет в нужный поезд и поедет без мужской компании. Не сумев отвязаться, Мария села в поезд до Минги и сошла на следующей, после столичной, станции, чтобы с нее возвратиться в город и ехать уже своим маршрутом. От всех этих уловок она была раздражена и честно призналась, что от обмана чувствует себя омерзительно.

Погода в К. подобна была ее настроению: с пятницы не прекращались дожди, ветер бил и морозил, пахло сыростью, улицей и грязными водами. В гостинице, к радости продрогшей Марии, исправно топили; к их приезду готовы были две смежные комнаты, подавался ужин, горячий чай или кофе.

– Кажется, все начинается не лучшим образом, – расстроено заметил Дитер, выглядывая из окна на плывущую улицу.

Мария весь вечер чихала и кашляла, укутавшись двумя одеялами. К ночи, несмотря на две кружки чая, глинтвейн и сытный ужин, ей стало хуже, а к полуночи у нее поднялась температура и появился озноб. Выпив таблетки, она успокоилась, заснула, но всякий час просыпалась и начинала о чем-то лепетать, будто бы бредя, спрашивала, где она, и путала родной язык с французским или с южным диалектом.

– Почему двери открыты? – спросила она ближе к утру, снова проснувшись.

– Что?..

– Двери... они открыты. Обе.

– Ну и что?

– Почему они открыты?

– Я могу их закрыть, если ты хочешь.

Плотно затворив двери в свою комнату, Дитер вернулся к ней и спросил:

– Может, нам все же нужно вызвать врача?

– Нет... нет. Это не страшно.

– Меня беспокоит твое состояние.

– Ничего, ничего... ужасного нет. Я что-то говорила?

– Немного. Тебе снилось что-то?

– Чуть-чуть, – прошептала Мария. – Я снова стала ребенком. Мне снился вокзал. Словно меня потеряли на вокзале. И много чужой речи. Я сейчас по-русски говорю?

– Да.

– Ты меня понимаешь?

– Да.

– Мне очень плохо. Ты не мог бы уйти?

– Хорошо. Но я попрошу вызвать врача.

– Да нет же, нет, нет! – воскликнула она с внезапной злостью. – Ничего мне не нужно, никакого врача!

– Не кричи, пожалуйста, горло заболит сильнее.

Мария посмотрела на него, глаза опустила почти сразу, не сумев выдержать его взгляда; прошептала в подушку:

– Извини, извини меня. Я не хотела. Меня разозлили эти двери. И этот сон, и твои вопросы. Это мое, собственное. Ты не сможешь это понять, потому что это не твое.

– Куда же мне? Я бесчувственное бревно.

Желая добавить что-то злее, язвительнее, он остановился усилием воли; заметил поневоле ее слабость, жалобное положение ее тела и плечи, не прикрытые одеялом. Наклонившись, выше подтянул одеяло и сказал, смягчая голос:

– Не бойся. Все будет хорошо, я позабочусь о тебе, я обещаю.

– Мне никто не нужен, – глупо ответила Мария.

– Ну-ну, маленькая врушка.

Мария быстро показала ему язык и повернулась спиной.

Весь следующий день лил дождь и гремело вдали. Марии стало лучше, но с постели она не вставала. Оттого, что Дитер караулил ее состояние, она ощутила себя немного виноватой и решила выгнать его, занять чем-то, кроме своей персоны.

– Может, ты хочешь гулять? – спросила она, когда Дитер

принес ей носовые платки. – Тебе необязательно сидеть тут со мной целый день.

– Да ты в окно посмотри! Гулять?

– Ты можешь взять зонт.

– Тебя он не спас, этот зонт.

– И как они тут живут?! – высморкавшись, сказала она. – Я думала, хуже вашей столицы ничего не может быть.

– С чего это она плохая?

– Скучная. Минга лучше. Это как Питер и Москва. Но Питер лучше, чем Москва. Москва провинциальна.

– Откуда ты знаешь?

– Я была в ней с мамой и папой.

Они помолчали.

– Тебе совсем не скучно? – решила Мария и слегка покраснела. – Ты ничем не занят, кроме меня.

– Почему же, я читал газету и листал альбом, пока ты спала. Альбом ужасный, говорю сразу, чтобы у тебя не было иллюзий, если возьмешься за него.

– И ты совсем не устал?

– Нет, я тоже спал... хотя я бы полежал немного, – нехотя признался он. – Не хочу оставлять тебя, лягу позже, ближе к ночи.

– Ты можешь лечь со мной... если не боишься заболеть.

С легкой и милой неловкостью Мария сбросила одеяло с пустого места на кровати. Смутившись, она легла к нему спиной и закрыла плечи, чтобы он ни за что не рассмотрел их

вблизи; и то тоже было столь забавно (он много раз видел ее плечи), что ему сложно было сдерживать нежность.

– Хочешь спать? – прошептала она сквозь одеяло.

– Нет... полежу немного, спасибо. Можно?..

Стараясь не испугать ее, он бережно обнял Марию поверх одеяла. Как застигнутое врасплох животное, она напряглась, вся сжалась в клубок, схватив руками колени. Желая отвлечь ее, Дитер спросил:

– Почему тебе снился вокзал?

Она переспросила. Он повторил.

– Это было, было на самом деле. В детстве меня потеряли на вокзале... мама и тетя Жаннетт. Мы должны были уезжать из Питера, я отказывалась, потому что мне очень хотелось к папе. Я заплакала на вокзале: я услышала, что меня увозят за границу. Тетя разозлилась и била меня по щекам, чтобы я не плакала. Потом они узнали, что поездом выехать не получится, а нужно плыть. Я помню, тетя повторяла: «Корабль – наше спасение, мы должны уплыть, иначе – все!». Они пошли из вокзала. Я нарочно отстала. Я думала, что попрошу кого-то отправить меня к папе. Оставшись одна, я сильно испугалась и снова начала плакать. Вокруг были чужие мужчины, много мужчин. Кто-то обозвал меня «буржуйской девкой», потому что на мне было хорошее платье и на берете военный отцовский значок. Возможно, оттого я и заплакала – я не понимала, за что меня обзывают. Помню, за мной прибежала тетя. Она кричала и трясла меня. Как ты могла

отстать? А я кричала, что хочу к папе: «Почему мы уезжаем, а папа остается? Раз он воюет, мы должны ждать его!». А Жаннетт сказала: «Твой отец мертв, он погиб, как положено настоящему офицеру». Потом она призналась, что солгала мне, чтобы я согласилась уехать. Быть может, Жаннетт знала, что с этой войны он не вернется. У нее поразительный нюх – она чувствует перспективных людей и их смерти. Она быстро поняла, что ее социализм отличается от нового русского социализма, и знала, что пора уезжать. Она пообещала позаботиться обо мне и Кате, если мы останемся сиротами, – это ее крест. Она почувствовала, что мама тоже скоро умрет.

– Прости, – тихо сказал Дитер.

– Ничего. Я знаю, что он мертв. Думаю, погиб у Царицына. Я читала о страшных боях там. Последнее письмо он отправил оттуда, удивительно, как оно попало к нам. Будь он жив, за двенадцать лет подал бы знак. Иногда я думаю, что он вернется, он не нашел нас после войны, но однажды он придет или позвонит и скажет, что искал нас много лет. Порой мне кажется, что я вижу его в толпе... иллюзия – я почти забыла его лицо.

Он прочистил горло и сказал:

– Я тоже не могу вспомнить лицо отца. У матери осталось несколько снимков, но я давно не смотрел на них, и лежат они далеко, я убрал их, чтобы мать меньше смотрела и... пыталась жить дальше. Я... немного... скучаю. И... мне его не хватает... в смысле, не хватает его... поддержки.

– Тебе? – Мария оглянулась на него. Глаза ее были красными и влажными. – Но ты же такой самодостаточный, все у тебя логично, нормально, ты умеешь жить правильно, а я вот не умею и знаю, что не смогу научиться. У тебя, что бы ни случилось, хотя бы останется почва под ногами. Ты на своем месте. В этом твое счастье – что ты на своем месте! А мое место не тут, я помню это. Это меня тревожит больше всего. Я... постоянно пытаюсь вообразить: а как бы все было, если бы мы не уехали, если бы папа с мамой не умерли, если бы у нас был свой дом. Я столько лет мечтаю о собственном доме! Чтобы не нужно было бояться улицы. Катя не такая, она совсем другая. Она искренне любит вашу страну, свою жизнь она связывает с ней, она не понимает, чем я могу быть обижена, что за мысли у меня, почему я не справилась с прошлым. А меня мучает... это желание: чтобы справедливость восторжествовала, чтобы все те, кто мучил нас, получили по заслугам... чтобы, хоть не сейчас, а потом все узнали, что они были палачами, чтобы преступлением было знать их, чтить их память. Чтобы хоть потом все встало на свои места! Иначе это нечестно! Я не хотела ничего дурного, я хотела жить спокойно у себя дома, честно работать и говорить на родном языке! А вместо этого я живу в чужой стране, говорю на чужом языке и держусь из последних сил, чтобы обеспечить себя хоть чуть-чуть. Я знаю, что нужно жить... но вытравить из человека, из его воспоминаний, нельзя ничего и никого.

– У меня тоже ничего нет, – меланхолично ответил Дитер. – Помнишь, как у меня отобрали коня? Лошадь?.. Солдат революции, который узнал во мне сына богатого офицера.

– Да, я помню. Я помню, как тетя Лизель продавала картины и рояль, и как мы ездили за едой в деревню... – Мария села на постели, плечи ее оголились, но она не заметила. – Ох, я помню, как часто у нас отбирали. А ты что вспоминаешь сначала?

– Как убил того мерзкого типа, который тебя лапал.

Она поежилась. Бережно он поправил на ней одеяло.

– А ты... убивал кого-то... после этого? – странно-трагическим шепотом спросила Мария.

– Нет. Честно сказать, я нынче не большой поклонник убийств.

– Как же ты служишь в армии?

– Это не значит, что я хочу кого-то убивать. Армия нужна, чтобы оборонять страну. Если к нам явится неприятель, я стану в него стрелять. Это не мешает мне быть против войны.

– Ты изменился, – медленно сказала Мария. – Ты был жестче, злее, сейчас ты...

– Я повзрослел, – ответил Дитер. – Я могу быть жестоким и злым, но жестокость и злость – это оружие. Ты же тоже не стреляешь во всех подряд?

– Раньше я не подумала бы, что ты был прав. – Мария

опять легла. – Я думала, что нельзя было его убивать, нужно было отдать продукты и сбежать. А чем старше становлюсь, тем лучше понимаю, что можно и убить. Это... борьба! За лучшую жизнь или... не знаю... Сейчас на твоём месте я бы сама его убила.

– Это ни к чему, – мягко ответил он. – Я позабочусь, чтобы у тебя появился самый красивый дом. И я куплю нам лошадей и итальянскую машину.

– Не за чем обещать то, что не в твоих силах исполнить.

– С чего ты взяла? У меня не хватит силы воли, ты считаешь? Что бы ни произошло, я тебя не оставлю. Я обещаю, что куплю тебе все, что ты только можешь пожелать. Хочу, чтобы ты много смеялась.

На его серьёзный тон она не могла не рассмеяться – и ему стало легче, как отхлынули неуверенность и страх.

– Обними меня, – попросила она и коснулась рукой его щёки на щеке, – меня слегка знобит, а ты тёплый и согреешь меня.

От трамвая они шли вместе. Мария держала руку на его рукаве и слабо улыбалась. Он сдерживался, чтобы не касаться её. В сумерках волосы её казались темнее – как безоблачное ночное небо.

На крыльце стояли Альберт и какой-то человек, которого Дитер не узнал, – но этот человек, чуть повернувшись к ним с Марией, заметил:

– Вот вы и вернулись. А ваша тетя беспокоилась о вас.

– Моя тетя? – откликнулась Мария. – Что же ей нужно?

– Потеряла вас. Считает, что вы уехали с женщиной.

– Мне бы ее пронизательность. Ну, все равно... Вы не к нам, Альберт?

– Я жду Кете, мы идем на балет.

– О, балет! – мгновенно оживилась Мария. – А что за балет? Вы любите балет?

– М-м-м... «Жизель», – поколебавшись, ответил Альберт. – Честно говоря, не знаю. Я к нему... безразличен. Кете сказала, что ни разу не смотрела балет, и мне захотелось ее пригласить.

– Очень... мило с вашей стороны. – Мария закусила губу. – Балет нынче – дорогое удовольствие... Поэтому спасибо вам.

Не понимая, почему его хвалят, Альберт неуверенно улыбнулся. Мария снова спросила, не собирается ли он подняться, но он отказался – а она всего лишь желала избавиться от посторонних, которые смотрели на нее с легким мужским любопытством. Второй, угадав ее настроение, все же отошел к табачному киоску, но Альберт не двигался с места и не отворачивался.

– Ну, пожалуй, я пойду, – в огорчении протянула Мария. – Позвони мне, Дитер, как появится время, хорошо?

– Хочешь, я пойду с тобой?..

– Что? Нет-нет! Я сама! Хорошего вам, Альберт...

И, переглянувшись с ним, она скользнула в подъезд. Сейчас лишь поняв, что помешал их прощанию, Альберт пожегся.

– Да, кстати, а кто это? – воспользовавшись моментом, спросил Дитер. Он показал на человека, смотревшего сигареты в киоске.

– Кто? Это Герман, вы же знакомы. Муж моей сестры.

– Нас познакомили, – с улыбкой напомнил Герман, возвратившись к ним. – Впрочем, это неважно. Я вас помню. Вы из армии.

Часто замкнутое и в этом некрасивое, лицо его теперь симпатично изменилось. Стоило ему улыбнуться, как Дитер его вспомнил: плохая осанка, неровные плечи, и тренкот был на нем, как на манекене, хоть и выбирался аккуратно, с вниманием к небольшой и хрупкой фигуре. Герман собирался ехать домой, но, встретив Альберта близ Жаннетт, заговорил с ним.

Альберт хотел ответить на ранний вопрос Германа – но тут его окликнула Катя; она высунулась из окна.

– Вы нужны мне! Посмотрите, хорошо ли это платье! Нет, не так! Возвращайтесь!

С покорным выражением Альберт отправился к Кате. Отказавшись идти с ним, Герман остался на крыльце и в ожидании начал потирать тонкие ладони, будто согреваясь.

– Нас с вами познакомили, – сказал он Дитеру, который все не уходил. – Альберт – брат ей, моей Мисмис.

– Мисмис?..

– Да, это ее семейное... о, неважно, извините. Она третий ребенок в их семье.

– А кто второй?

– Второй – Альберт, – уверенно ответил Герман.

– Нет, а... вы с ним дружите? С Альбертом.

– Он нужный человек, – ответил Герман. – Он очень нужен партии. Он умен и сомневается, а умение сомневаться – важное качество. Мне хочется, чтобы он был с нами.

Имевший иное мнение об их движении Дитер уточнил:

– Но разве есть те, кого невозможно заменить?

– Если легко отказываться от тех, кого вы считаете «заменимыми», – со слабым раздражением ответил Герман, – то некому будет развивать наше движение. У нас каждый человек незаменим. Разбрасываясь людьми, как мусором, вы ничего не добьетесь. Не думайте, что вы один, манипулятор, умный, а все вокруг вас дураки!.. Ну вот, вернулся. Как ты? Ты слышишь меня?

– Слышу, – ответил Альберт.

Лицо его исказилось, он прислонился к стене и голову наклонил, чтобы скрыть за шляпой испачканные кровью глаза.

– Возьми платок, – сказал Герман. – Но верни его потом. Он мне достался от отца. Он старше нас обоих.

Катя или Мария, они говорили, что причина – некая наследственная ошибка. Ругая себя за омерзение, Дитер отодвинулся и избегал смотреть на Альберта. Вытерев глаза, тот

сказал:

– Извините, если вам неприятно. В этом нет моей вины. Это бывает от стресса или испуга. Мария поругалась со своей тетей. Мне не повезло услышать, как они кричат... Нет! – резко остановил его Альберт. – Вас там только не хватает сейчас! Жаннетт вас не любит, вы без меня знаете. Она считает, вы испортите жизнь...

– Так пусть скажет это мне!

– Успокойтесь!.. Марии и так тяжело.

Альберт пробормотал что-то о недолюбленных детях, которым и после совершеннолетия не дают ни любви, ни свободы.

– Я знаю, эта ведьма плохо с ней обращается, – ответил Дитер.

– Кете она любит больше, – с сожалением сказал Альберт. – Наверное, пожелай Кете выйти за вас – и Жаннетт согласится. А Марии нельзя... Как по мне, Гарденберг, делить детей на любимых и ненужных – это подлость и святотатство. А если не можешь иначе, не рожай нескольких, ограничишься, так и быть, одним!

Логичнее было бы возразить – все же Жаннетт никого не рожала, – но согласиться с Альбертом было приятнее.

– Ты прав, – сказал Герман. – У нас странно стали воспитывать детей. Откуда-то взялось убеждение, что ребенка важнее учить и развивать, а не любить. Даже некоторые в партии в это верят, хотя это ужасно, это невыносимая ошибка.

ка! Они считают, что можно привить столь нужное нам зубрежкой, что любое учение разумно, а оно же интуитивно и требует ласки и любви для усвоения. Неверие, злость – вот, что появляется от зубрежки.

– Отчасти это так, но... – начал Дитер, но Герман его перебил.

– Пока вы одиноки, вы можете быть эгоистичны. Но со своим ребенком быть эгоистом нельзя ни в коем случае! Что мы с вами? Потерянные люди. Знаю, не нужно мне говорить за других, но все же – что радостного мы помним, что осталось в памяти? Этого и хватит, чтобы передать, как память. Так ли важно, что с нами будет? Вы оба бездетные и не поймете! Я смертен, но моя кровь, моя жизнь бессмертна. Сколько бы ни пришлось пережить, я знаю, мы будем жить, мы останемся на этом свете.

Сбитый с толку его патетикой, Дитер покосился на него – выражение у Германа было довольное. Альберт, привыкший к политизированным монологам, молча рассматривал свои ногти.

– Хм, вы считаете, дети – главное на свете? – поколебавшись, спросил Дитер.

– Безусловно, – ответил Герман, – без них вы не сохраните свою историю и идеологию. Они пронесут нашу историю сквозь века – к великому будущему, по нашим заветам.

– Мне кажется, вы наивно смотрите на этот вопрос. Вы что, считаете, что наши потомки будут жить лучше нас? Ко-

гда такое бывало?

– Вы не осознаете пока свою смертность, – авторитетно заявил Герман. – Осознав ее, вы захотите пожертвовать всем во имя своих детей.

– Хм, интересное заявление...

– Вы не хотите жить в ваших потомках? Чтобы ваша кровь текла и в 21 веке, и в 22 веке?

– Но, слушайте, что мне эти потомки? – раздосадовано ответил Дитер. – Я хочу счастья для себя, а не для мифических потомков. С какой стати мне о них думать? А смысл? Я смертен – хорошо. Но и они, если появятся, будут смертны, и никто не гарантирует, что они не погибнут на войне, не умрут от болезни или не откажутся размножаться. Идеологии у меня, чтобы посвятить в нее детей, нет. Ну так зачем они мне?

Казалось, Герман его не слушал или он, Дитер, потерял нить разговора. Диалог скатывался в дикие отвлеченные фантазии. Он пытался разобраться в словах Германа – но, как назло, влез Альберт, который ранее слушал их с безразличием.

– А вы не хотите спросить, Гарденберг, что это за странная форма любви у него?

– Христианская, Альберт, – ответил Герман.

– Ты помнишь, когда ты в последний раз открывал Библию?

– В минувшее воскресенье, – улыбнувшись, сказал Гер-

ман. – А, прости, что я задел тебя за живое. Альберт не признает обычную человеческую любовь. Она ему кажется ущербной. Десятью минутами ранее ты говорил, что ребенку нужна любовь, но ты себе противоречишь, ты презираешь это! А ты и психолог, ты должен знать, что равнодушие, это бесчувственное воспитание, дрессура, – это калечит наших детей. Как психолог и христианин – а ты христианин, я знаю, – ты должен знать, что лишь любовью живет человек, он ею питается, через нее он все познает.

– Человек может прожить без любви – любой, – спокойно ответил Альберт. – Иначе мы бы не досчитались миллионов десять наших соотечественников, если не больше.

– Психологи, – решительно перебил его Герман, – давно доказали, что человек, выросший в неблагоприятном климате, менее счастлив во взрослой жизни, часто подвержен депрессиям, с трудом находит свое место в жизни, имеет трудности в общении с противоположным полом, а еще чаще других думает о смерти и даже пытается покончить с собой.

Более всего хотелось спросить: «Простите, но о чем вы говорите?». Он с непониманием смотрел на обоих – на злоухмыльнувшегося Германа, желавшего во что бы то ни стало уязвить оппонента, на раздраженного и страстного в своей убежденности Альберта, – смотрел и осознавал, что он тут лишний, он их не знает, оттого и не понимает значения их спора.

– Ты тем более этого не поймешь, – говорил Альберт. – Я

знаю, ты веришь в неизбежность жизни, в ее жестокость... Но использовать детей? Чтобы навязывать им твое понимание жизни? Я уже не говорю, что чрезмерной любовью можно испортить – нет, обычной, самой обычной можно так испортить... Но твоей любовью можно воспитать такое жестокое, бесчувственное существо! Ты хочешь, чтобы через это трепетное, нежное воспитание, с любовью и вниманием перенималась ненависть ко всему живому. Особенно ребенок... он учится у того, кто его любит. Если твоя любовь научит не состраданию, а жестокости, страху, боли и ненависти к людям... Не лучше ли иметь ужасных родителей, чем тех, которые научат – из лучших побуждений, конечно – ненавидеть людей, чужой образ жизни и мыслей?

– Ты просто дурак, Альберт, – возразил Герман. – Какие странные вещи ты говоришь! Учить ненависти? Страху?.. Страх и ненависть там, где не знают, как жить, боятся высунуть нос из дома, потому что за окнами, знаете ли, не рай, а грязь и смерть. Боятся и ненавидят то, против чего бессильны, потому что кое-кто не научил принимать все, как есть, жить – а не прятаться в надежде, что за тебя все решит другой человек. Если ты думаешь, что я научу сына быть трусом, то ошибаешься. Пусть другие прячутся в гостиных, веря в абстрактный гуманизм и мораль – и рассчитывая, что за них построят, посеют, взрастят, пока они будут хранить свою девственность. «Забудьте о реальной жизни, спрячьтесь от нее за ставнями, закройте на все замки, а не можете – лезь-

те в петлю!»». Нет, Альберт, нет!

– Ты, с твоей моралью, без колебаний вложишь пистолет в руку своему сыну и скажешь ему убивать – потому что не мы такие, а жизнь такая!

– У тебя нет сына. А был бы, ты вырастил бы его трусом, Альберт. А любовь должна научить ребенка не бояться, не ненавидеть этот мир, а любить его – и принимать его, часто безжалостные, законы, которых вы, несчастные, так боитесь. Первый закон жизни – вырви из глотки своего врага! Вырви – иначе он порвет тебе горло! Прав тот, кто сильнее. Кто выживает и дает больше своей семье, чего бы это ни стоило.

– Это животные законы, я их не признаю, – уже устало ответил Альберт.

– Советую так же не признавать закон земного тяготения. А еще опровергать танатологию – ибо смерти нет.

– У меня из-за вас голова кругом пошла, – вмешался, еле дослушав, Дитер. – Давайте я уйду. А вы будете продолжать ваш спор.

– Нет, мы уже закончили, – ответил, успокоившись, Герман. – Тем более вон Кете, спускается... Доброго вечера!

Катя сбежала в красном платье, поверх которого было брошено пальто.

– Рефлексия укорачивает жизнь, – заявила она Альберту. – Вы раньше умрете, если не перестанете мучить свой мозг.

– Ох, как мне этого не хватает, Кете!..

Оглянувшись на Дитера, она прошептала:

– Тетя сказала, чтобы вы больше не приходили... Мне очень жаль.

– А как Мария?

Катя не ответила. Она повисла на руке Альберта и спрашивала, возьмут ли они такси.

– Прокатите меня на машине, ну пожалуйста... пожалуйста... ста...

Утром он занес документы генералу Хазеру. Генерал завтракал хлебом с икрой и запивал иностранным кофе. Молча он пригласил Дитера присесть за стол, напротив Альмы, что не ела и читала газету.

– Хотите чего-то? Служанка принесет.

– Кофе, спасибо.

– Как у вас дела? Готовитесь заканчивать?

– Да. Это...

– Намерены остаться в Генштабе?

– А, это... была бы огромная честь для меня.

– Ну-ну, это не честь. У вас хорошая успеваемость. Я позабочусь, чтобы вы попали к моему хорошему знакомому, ему скоро понадобится заместитель. Альма?..

Она вскрикнула, как рассерженная девчонка.

– Боже мой, мои глаза! Я не верю своим глазам!

– Что? О чем ты, девочка?

Вместо ответа Альма сунула ему газету. Отец и дочь с

омерзением переглянулись. Сжав губы в тончайшую линию, Альма протянула газету Дитеру и спросила, знает ли он человека с фото. На седьмой странице второй по значимости газеты страны напечатали физиономию хорошо знакомого ему Петера Кроля; изображенный явно хотел произвести впечатление личности чопорной, но вместе с тем доступной. Как это у Петера совмещалось, никто не понимал, но он действительно умел балансировать между снобизмом и панибратством. Дитер взглянул на Альму поверх газетного листа: она раздраженно обмахивалась салфеткой с инициалами А.Х. Не понимая, что ее разозлило, он вновь опустил глаза и заметил на восьмой странице несколько стихотворений – должно быть, сочинения Петера Кроля.

– Хм... мне казалось, Кроль – партийный юрист, а не поэт, – неуверенно сказал он.

– Вы его знаете? – спросил генерал.

– Я знаю его по гостиниой Жаннетт, он из «Единой Империи».

– Партийный юрист, говорите?..

– Это позор, – тихо, но четко проговорила Альма. – Они уже покупают нормальные газеты, чтобы те публиковали их чушь... Хотя пусть позорятся! Вы посмотрите на этих «поэтов»! Дайте мне!

– Петер Кроль? – уточнил генерал. – Он не из Минги?.. Ах, ясно. Я знаю семью Кроль. Римма Кроль, Альма?

– Римма Кроль? – в ужасе ответила Альма. – Не хотите

же вы мне сказать, что г-жа Кроль...

– Припоминаю, у Риммы есть сын. Вы не знаете, Гарденберг. Кроль – известная семья. Из нее вышел этот... Тобиас Кроль, великий...

– Композитор, – подсказала Альма.

– Да, композитор. И был у них известный художник и этот... писатель. Творческая семья. К сожалению, давно не было успехов в творчестве. Но, с другой стороны, кому они нужны?

– Нет, вы послушайте, какая патетика! – не утихала Альма. – «Бьется сильнее наша великая память!». И «герои останутся в памяти нашей!». Повторение – основа основ стихосложения! Как память может обо что-то биться? Разве что с благоразумием она может биться. Или вот, лучше: «Я фашист – и мне повезло!». Не удивлюсь, если партийные превратят эту пошлость в песню. Ах, вот, пожалуйста... ох, тут появилось «танго смерти»! Не понимаю, о ком это. Странно... «Оркестранты влюблены в огонь и сражения, и канонады... Оркестранты, смелей, управляйте полетом валькирий... Оркестранты не любят покой, им милее военная...». Я считала, оркестранты – это участники оркестра.

– Оркестрантами себя называют члены партии, – ответил Дитер. – Точнее те, что из военизированных...

– Незаконных формирований, – пробормотал генерал.

– Не понимаю, почему армия терпит это, – зло сказала Альма. – Вы должны обратиться к президенту. Они готовят

свою армию, чтобы захватить...

– Партия имеет большой вес. Нужно было раньше.

– Как – раньше? Вы должны смотреть на это – и только?

И ничего больше?

– Альма, президент не запретит партию и их... формирования. Нужно было это делать в 28-м.

– Если армия выступит против... – стояла на своем Альма.

– Альма! Армия не может выступить! Эта партия – в парламенте! В новом созыве у нее будет большинство! Если армия выступит против, начнется война!

– Мы должны это терпеть? Это дикость! Они отнимают наши газеты... Папа!

Они вскочили – генерал болезненно съежился на стуле, рука его пыталась найти пуговицы на кителе.

– Помогите же ему! – вскрикнула Альма.

Он отстранил слабую руку генерала и расстегнул все пуговицы на кителе и верхние – на рубашке. Дышал генерал прерывисто и еле уловимо.

– Приступ, звоните в скорую! – закричала Альма.

Потом она попросила его оставить их – но сказала, что известит его о самочувствии генерала.

Альма позвонила ранним вечером и сорвавшимся голосом спросила, может ли он приехать сейчас же – нужно было помочь с похоронами. Он не спросил, отчего она просила именно его, но чувствовал, что Альма доверяет ему и жела-

ет переложить с себя ответственность, словно беспомощный ребенок. Такой, беспомощной, она и была: Альма не знала, как поступить, металась и ругалась с теми, кто навязывал ей лучший в этом сезоне гроб. Дитеру она обрадовалась, умоляла заняться делами, ибо она ничего не умеет и не может – и чтобы он позаботился, чтобы все ее оставили в покое. Альма легла у себя, но не успокоилась, и, хотя сама же просила не трогать ее, часто выбегала и бросалась к Дитеру с вопросами, все ли у него получается.

Он отменил занятия и за ночь и следующее утро устал так, как не уставал со времен похорон матери. Нужно было обзванивать знакомых генерала, разбираться, какие цветы и музыку заказать, всякий час спрашивать в морге, готово ли тело к погребению, поменять занавески на окнах на черные, отыскать Альме траурное платье, посмотреть, что уместно на поминках, и не забыл ли он спросить у семейного юриста о последней воле генерала... После десяти начались визиты к Альме, на которые она страшно злилась. На попытки утешить ее она отвечала колкостями, прогоняла из дома, а затем шла жаловаться к Дитеру: несомненно, никто не любил ни ее, ни отца, и она не собирается терпеть их лицемерные сожаления! Он так устал от свалившихся обязанностей и жалоб Альмы, что днем заснул прямо за столом в кабинете генерала. И во сне Альма ругалась на знакомых, хватая его за рукав: «Всем оказалось наплевать, кроме Гарденберга, только с сожалениями приехали, с соболезнованиями! За эти со-

болезнования мы их кормили все это время? Никто не ценил папу, кроме меня! Они и память его почтить не могут по-человечески, жалкие, мелкие, пустиголовые людишки!...».

Он проснулся от прикосновения Альмы – она положила руку на его голову.

– Я вас потревожила, – прошептала она, – вы заснули. Поспите в комнате для гостей.

– Я не устал... – В голове было мутно.

– Устали! Вы столько сделали! И... – Она покраснела. – Вы же не станете спать на похоронах!

Уложив его в постель, она заботливо укрыла его и, колебавшись, поцеловала в лоб. В ином случае он бы отреагировал на ее близость, но усталость брала свое – он снова засыпал.

На похороны Альма приехала измотанной и дерганной и едва разговаривала с людьми, которых приглашала. Очень зло она обошлась со старой знакомой отца, женой депутата. Оскорбленная тоном Альмы, та отступила, но сбоку взглянула на ее сопровождающего. Постаревшее лицо ее под завитыми седыми волосами было удивленным, а Дитеру, поймавшему ее внимание, почудилось: он видит глаза своего отца.

Устраивать поминки Альма не хотела, но согласилась с ними из приличий, и оттого дом заполнился ей неприятными людьми. Избавившись на время от нее – Альма говорила со священником, – Дитер подошел к той женщине, глаза ко-

торой узнал. Женщина нехотя взглянула на него.

– Смерть – ужасное несчастье, – сказала она. – Но они еще и обдирают нас нещадно, не стесняются заламывать такие цены, что недолго и живым от них в гроб лечь... Но вы хотели у меня что-то спросить?

– Нет... совершенно ничего.

– Как ваша фамилия, юноша?

– Юноша?.. Извините, но мне двадцать семь лет.

– В моих глазах вы очень молоды. Но простите, если я вас оскорбила. И как вас зовут?

– Гарденберг.

– А-а, – со слабым смехом ответила она. – Я до последнего сомневалась. Нет, я старею, но не глупею. Вас назвали Дитером в честь вашего прадедушки. Он был великим человеком. Это ваше имя, не так ли?

– Кто вы?

– Я – ваша тетя, – странно улыбаясь, ответила она. – Неужели забыли меня?.. Я сестра Райко, твоего отца. Ты помнишь своего отца?

– Так вы – тетя Анна Хартманн? – не отвечая на ее вопрос, сказал он. – Мать Софи Хартманн? Да, я вспомнил вас.

Он заметил: ей неприятно упоминание дочери. Неприязненно она повела плечами и взяла со стола бокал с вином.

– Ты похож на него, – заметила она после глотка. – Форма изменилась, не те погоны, прическа, но в остальном ты... Я знала, что ты не оставишь путь нашей семьи. Я очень хоте-

ла родить сына, чтобы он стал офицером – как твой отец и мой... первый муж. Должно быть, Лизель хорошо тебя воспитала, в уважении к семье.

– Да, отец хотел, чтобы я пошел в армию.

– Сколько лет прошло? – спросила Анна Хартманн. – Пятнадцать... Надеюсь, с твоей матерью все хорошо? Она здорова? Как поживает?

– Она... нет. Нет, мама... она...

Ему стало трудно дышать и говорить.

– Значит, она умерла, – поняв его, сказала Анна. – Я сочувствую... я очень сочувствую.

Кивнув, еле сдерживаясь, он отошел в сторону. Тоска по матери и прошлому нахлынула с невозможно болезненной силой. Внезапный страх одиночества, заброшенности и беспомощности перед чужой волей мешал сосредоточиться на чем-то внешнем, более разумном. Чтобы прийти в себя, он ушел в свободную комнату и сел там, уткнувшись глазами в пол; не заговори с ним эта женщина о прошлой боли, он не был бы так подавлен сейчас и не думал бы со страхом, что единственным важным ему человеком осталась Мария – лишь она связывала его с прошлой жизнью. Не Анна Хартманн и Софи – отчасти и его кровь. Неужели это было, а он пытался забыть: война, мертвая сестра, красные флаги, война, мертвая мать, долги, инфляция, война, мертвый отец, Мария, убийство, голод, кровь и темные волосы на траве... Долги матери! Война и письма, и...

– Отчего вы такой бледный?

Близ него стояла Альма.

– Вам нехорошо?..

Желая помочь, она наклонилась и обняла его.

– Это я должен утешать вас, Альма. Это...

– Так трогательно, вы очень любили моего папу... – Она закусила нижнюю губу. – У вас слезы. Папа относился к вам... к тебе...

Он порывисто поцеловал ее губы. Испуганно Альма отстранилась, выпрямилась, прижала руку ко лбу.

– Прости, – поспешно сказал он, – я случайно... в смысле это не вовремя.

Она покраснела и кивнула.

Он понимал: он женится на Альме. Он ее не любит, но у нее есть деньги и получится заплатить семейные долги. От прежних слов Софи (зачем их вспоминать?) он вздрогнул. Не глупо ли – быть суеверным? Альма – заманчивый призрак будущего – безоблачного, умиротворенного, тихого. Альма в серебристом атласном платье, на шее и запястьях блестит золото – и он, благополучный, утомленный тем, что все его желания удовлетворены. А Мария – это тяжелая память, и разрушенная семья, бедность, несчастье, последствия войны, и мать с отцом, уличная юность, первая любовь, смутное желание телесного и духовного счастья. Он любит Марию, но выбирать прошлое – безумие. Анна Хартманн, возникшая из его прошлого, с глазами его погибшего на войне отца, –

напоминание, что нельзя оглядываться. Остановись он – и прошлое поглотит его. Прошлое, в котором не осталось ничего, кроме войны, смерти – и Марии.

– Мне нужно что-то сказать тебе... – начал он, но Альма его перебила:

– Нет, я ничего не хочу слушать!

– Я хочу сказать о тебе и твоём отце, – добавил он. – Я знаю, что мои слова ничего не изменят. Нельзя... избавиться от боли и воспоминаний словами. Но твой отец, он... хотел, чтобы ты помнила его, но жила дальше. Позволь себе испытывать боль... сейчас. Но не позволяй этой боли захватить тебя целиком. Это – прошлое.

– Прошлое... – тихо повторила за ним Альма. – Да, ты прав. Папа бы сказал, как ты. Но... мне хочется плакать.

– Поплачь.

Поколебавшись, Альма прижалась глазами к его левому плечу. Она плакала и хваталась за руки человека, который желал стать её опорой.

...И он больше не увидит темные волосы на белой простыне?

**1940**

Она позвала горничную. Та вошла, опустив голову со странно-виноватым выражением.

– Мадам Мария, извините...

– У тебя руки дрожат, – сухо ответила Мария.

Прошептав на французском, горничная спрятала ослабевшие руки за спину. Губы ее были искушены, в уголке показалась красная капля.

– Что случилось? – резко спросила Мария.

– Ничего...

Стоявшая у окна Софи оглянулась на них. Безупречное спокойное лицо ее ничего не выражало.

– Вы были у Альберта Мюнце? – прошептала Софи.

Мария громко кашлянула и, частично проглатывая звуки, приказала:

– Отнесите чай нашим завоевателям. Я хотела сказать... гостям. В кабинет моего мужа.

Голова горничной задрожала. Как ни понимала Мария ее страх – о, эти запуганные девочки-иностранки! – в ней росло нетерпение, а затем и злость, яростная, до зубного скрежета. Она сильнее сжала челюсть.

– Простите, мадам Мария...

– Что, так дрожат руки? – выпалила Мария. – Уже не можешь донести чашки с чайником? Тогда ты бесполезна! Абсолютно бесполезна!

– Простите меня... пожалуйста... – горничная заплакала в ладони.

Неслышно приблизилась Софи и спросила, может ли помочь.

– Нет! – отрезала Мария.

– Позвольте...

– Все из-за тебя!

На мгновение показалось, что Мария вот-вот замахнется на Софи, но та не пошевелилась, устремив глаза на злобную хозяйку. Не сумев поднять руку, Мария отшатнулась и схватилась за стол. Софи опустила глаза и спросила:

– Не вини меня, что я жена Петера, я бы ни за что не пошла против твоего мужа и моего кузена. Позволь мне помочь.

– Ты не можешь помочь, – ответила Мария, но голос ее несколько смягчился.

– Я отнесу чай в кабинет. Ты хочешь узнать, что там, в кабинете?

– Я... – Марию удивила ее пронизательность. – Если... ты можешь знать, что говорят там и...

– Я послушаю, потом постучусь и скажу, что принесла чай, – поправила ее Софи. – Они знают, что я жена Петера, они пустят меня... Наверное, они хотят пить, они заперлись три часа как.

– Все же ты замечаешь! Это Петер воспитал тебя такой глазастой? На, возьми!

Утешительно Софи тронула плечо горничной и отправилась с подносом на второй этаж. Француженка вытирала слезы тыльной стороной руки и опускала глаза, опасаясь мрачного внимания хозяйки. Устав, Мария уселась на стул у печи и уставилась в окно – там хрустел и шелестел ветер.

– Что стряслось? – спросила она потом. – Чего ты ревешь? Считаешь, мне лучше, чем тебе?

– Нет... нет, что вы...

– Так я не бьюсь в истерике, – с утомленной злобой перебила Мария. Она упрямо, как бы пытаюсь найти новое, смотрела за стекло.

Без разрешения горничная присела у плиты, сбоку от Марии, и вытерлась рукавами.

– Мадам Гарденберг, я не знаю... мне... совестно... Я боялась вам сказать кое-что. И не знаю сейчас, стоит ли говорить.

– Вот как, – ответила Мария, – с чего бы тебе стало известно?

– Говорю вам: я... простите меня! Я скрыла кое-что от вас. Я испугалась. Я не знаю, почему не сказала. От страха, наверное, и не сказала. А после не решалась...

– Ну вот, и говори. Раз совестно.

– Это касается... смерти мадемуазель Катерины.

Слова эти привели Марию в движение: плечи ее зашевелились, она словно бы хотела встать, но тут же передумала.

– Мадам Гарденберг, я видела, как умерла мадемуазель Катерина. Клянусь, я не утаила важного. Она покончила с собой, но я не сказала... что...

– И что в таком случае... ты треплешь мне нервы! – внезапно закричала Мария и вскочила.

Горничная упала со стула и шумно заплакала. Злая Ма-

рия внушала ей ужас лишь своим обликом – с всклокоченными темными волосами, как у ведьмы, в небрежной одежде и с резкими, быстрыми руками, что потянулись за столовым ножом.

– Я тебя сейчас... черт с тобой! Мне это интересно? Сейчас мне это интересно? Какого черта ты меня своей чушью травишь? Моего мужа могут убить! А если его бьют там, наверху? А ты мне... убить тебя просто!

– Простите меня, простите... Мадемуазель была не одна! Клянусь, я не знала, как сказать!

Мария бросила нож в раковину; выпалила:

– И? Что дальше?

Кто-то вежливо кашлянул у двери. В мыслях промелькнуло: Кроль? или следователь? или Софи уже возвратилась?.. В открытом проеме стоял Альбрехт и любопытно осматривал кухню.

– Вас... это... к телефону, – проговорил он, устремив глаза в потолок. – Из столицы спрашивают, сказали, важные...

– Кто? – оборвала Мария.

– Не знаю, не спросил, голос женский.

Выругавшись по-русски, она выбежала из кухни. Горничная, повторно вытираясь, опять села и уткнулась лицом в стену, чтобы Альбрехт не рассматривал ее, красную и дрожащую. Альбрехт спросил, может ли взять алкоголь и, не получив ответа, полез за ним на полку.

– Вы были у моего кузена? – как бы ненароком поинтере-

совался он.

Горничная шмыгнула носом.

– А вас не учили, как отвечать приехавшим господам?

Заставляя себя быть вежливой, она пересела лицом к нему.

– Простите... Я была у г-на Мюнце. Он... нервничает.

– Вы очень... Петер бы сказал, что вы деликатны. Хотите? – Альбрехт показал на водку. – Ну, как хотите... Это пошло великолепно. Не бойтесь, я алкоголик, но напиваюсь не быстро и не буяню. Итак, как мой кузен?

– Он... болен, – пролепетала горничная. – Извините, я... не врач, чтобы...

– Оценивать его состояние? Мне было интересно мнение. Ваше. Хм... Он лежит?

– Он спит, но... говорит во сне.

– А, это ничего. Испугались?

Как заправский пьяница он разом влил в себя большую стопку. Из кармана достал сухари и проглотил один.

– Ах, сожалею, что помешал вашим откровениям с Марией... Вы хотите ей что-то рассказать?

От его лукавых и звериных глаз ей стало жутко. Она попыталась встать – плохо, его присутствие угнетало, ноги не слушались, – но Альбрехт ласково остановил ее:

– Ну, мадемуазель... мадам... не уверен, как вас. Не стоит убегать от этого. Меня эта история трогает, как и вашу хозяйку. Я услышал, что это касается Катерины... так?

– Простите... – еле слышно зашептала горничная, – я не имею права сплетничать...

– Ну какие это сплетни? Ну хватит! Что вы хотели сказать? Как это связано... вы пришли к Марии после моего кузена! Вы что-то узнали от него? Говорите!

Горничная заплакала: он схватил ее за плечи и тряс, осознанно причиняя боль. Неожиданно Альбрехт разжал пальцы, и она упала вниз, тело ее забилося от боли и сжалось в комочек.

– Умоляю вас... не нужно...

– Ну что, не хочешь поговорить со мной? Хочешь? А то нечестно получается! Я хочу знать!

– Я... не сказала госпоже, что на мосту был мужчина, – сквозь слезы начала та. Руки она прижимала к голове, опасаясь, что Альбрехт ударит ее в лицо. – Мадемуазель спрыгнула, он не успел ее остановить! Клянусь вам! Я не солгала: она спрыгнула сама! Я боялась сказать, боялась... я не знала, кто это был, только... силуэт... я боялась, что меня станут... допрашивать... Простите меня!

– И кто же это? Ты бы не пришла откровенничать, если бы не знала!

– Я не знала! Клянусь, г-н Альбрехт, я не знала!.. Я услышала, как г-н Альберт говорит про мост. Он... не в себе, он спит и говорит разное. Пожалуйста, не трогайте! Я хотела сказать, что с мадемуазель был г-н Альберт.

– Если бы Альберт был с ней в момент смерти, он бы ска-

зал об этом! – выпалил Альбрехт. – Он не трус, как ты, он бы сказал, что был с ней, тебе понятно? Понятно?..

От пинка в живот горничную спасла Софи: она вошла с пустым подносом и привычно спокойным выражением. Обнаружив заплаканную женщину на полу и Альбрехта, явно готового нанести удар, Софи не показала, что ее это касается. Она безучастно поставила поднос на место и присела у окна.

– Брысь! – Горничная вскочила от голоса Альбрехта и побежала прочь.

Софи рассматривала что-то за стеклом.

– Как там Дитер? – как ни в чем не бывало спросил Альбрехт.

– Плохо, – кратко ответила она.

– Что, сильно бьют?

– Я в этом не разбираюсь. – Теперь Софи покосилась на него. – Не хотите присоединиться?

– Маленькая Софи знает меня очень хорошо. – Альбрехт налил себе новую стопку. – Но мнение у нее обо мне... я немного разборчивее. Приятели – не мой профиль. Хотя мне это и нравится. А? Софи верит, что я и кузена Альберта могу побить?

– Я не знаю.

– Ах, ну ясно, ты только будущее можешь рассмотреть. Помню твой прогноз: я скоро сдохну в муках, спасибо! Только вот Катерине ты обещала счастливую жизнь с Альбертом,

а чем все закончилось?

– Я не могу знать, захочет ли человек пойти по своему пути, – ответила Софи.

– Никто не знает! – воскликнул Альбрехт. – Если Кете стала исключением, то я тоже могу им стать, верно? Зачем мне погибать, если я могу жить? Не могла ли Кете пожертвовать мне немного своих лет жизни?.. Хотя с Гарденбергами ты не ошиблась. Ты говорила, что за Дитером явятся, если он женится на Марии. Не понимаю, в чем логика, но... Может, оттого что она ушла от твоего мужа к нему? Так это было черт знает в какие времена... А, все равно! Ты уверена, что я не от алкоголизма... Ну отлично, можно напиваться.

Он выпил третью стопку и иначе, весело и нежно, взглянул на Софи. Безучастно она ответила на его взгляд.

– У тебя этот... пистолет в юбке, – сказал он и рассмеялся.

Она молчала, черты ее не двигались.

– Ты взяла его в кабинете? Как?.. Он чей?

– Не ваших коллег.

– А, понятно, значит хозяйский. Умная какая!.. Черт, нужно было жениться на тебе! Вот черт! На кой я втрескался в Мисмис? Нужно было тебя... На кой он тебе?

– Самооборона.

– Ага, в доме со своими... А, вернулась.

Он встал, голос его изменился – с пьяно-веселого на пьяно-тревожный:

– Что... случилось?

Блеклая, словно из оберточной бумаги, Мария присела и опустила руки на стол. Неестественно белое лицо ее было напряжено, по бровям можно было подумать, что она решает в уме сложную математику.

– Это... ничего, – прошептала она. – О, это... сейчас исправится...

– А что должно... это... исправиться? – кое-как спросил Альбрехт.

– Звонила... эм... ох! – Она потеряла лоб. – Нужно прилечь, кружится... Сказала, столицу бомбили. Наш дом... разбомбило. Она посмотрела... Я прилягу.

– Помочь?.. Нет, я немного того. Но могу...

Мария покачала головой. Никто не смог бы понять: сколько сил ей нужно, чтобы сохранять самообладание?

## 1929

Отчего ему стало совестно от ее слов? Словно он был виноват, он и Мисмис, что «плата слишком велика» и ей нужно «умереть с чистой совестью». Почти до слез стало больно за путь матери, на котором она бесконечно мучилась от легкомыслия и политических стычек с мужем, а в итоге признала свое поражение. Смирившись с партией и этой, изначально неприемлемой ей, идеологией, мать просила его поступить так же – смириться и примкнуть к сильным, каких бы духовных потерь это ни стоило. Но оттого он только сильнее нена-

видел отца – мучителя всей семьи.

Снова с матерью он говорил через несколько недель: она растревожила его ночным звонком и стала лепетать что-то несуразное в трубку.

– Ты знаешь, который час? – спросил Альберт, не скрывая озлобления в голосе.

– Ты не спишь?.. Нет?..

– Спал, пока ты меня не разбудила. Уже, конечно же, не сплю! Ну что?

– Мне нужно тебе кое-что сказать. Но если ты... если ты спал... я могу позвонить потом...

– Что такое? Не беспокойся, я уже не засну.

Выслушав ее в постели, Альберт затем встал и схватил с тумбочки телефонный аппарат – он испытывал потребность что-то делать, хотя бы и бессмысленно ходить по комнате.

– Я знал, знал! – с каким-то удовольствием сказал он матери. – Я знал, что это плохо кончится! Я вас предупреждал! Говорил я вам, что эти его статьи могут навредить ему? И я, знаешь ли, не очень удивлен! Хуже того, я понимаю тех людей, которые его избили! Можешь сказать, что я бессердечная скотина, но...

– Тебе обязательно кричать на свою мать?.. Берти, ему очень плохо! Кем нужно быть, чтобы набрасываться на пожилого человека?.. Берти, ты должен приехать!

– Что? Нет! Я не могу! Нет-нет, ни за что!

– Это твой отец, Берти! Он болен сейчас, мы не знаем, что

с ним станет, и я не справляюсь...

– Попроси Мисмис помочь тебе. И кузена Альбрехта. Или из партии кого-то. Почему я должен срываться с места, бросать учебу и мчаться к вам?

– Но это твой отец! – возмущенно повторила она. – Он говорил о смерти. Он постоянно повторяет, что вот-вот умрет. Он хочет помириться с тобой, он боится умереть, не поговорив с тобой.

– Мне все равно! – злой от ее попыток разжалобить его, ответил Альберт. – Пусть я буду бессовестной скотиной, но... Он виноват в этом сам, понимаешь? Все, так и доложи ему, пожалуйста!..

В течение довольно продолжительного времени звонки и телеграммы с нарочно вымышленными «новостями» обрушивались на него – но он решил, что не поедет к ним, и попросту стал игнорировать все попытки с ним связаться. В некоторые моменты он и сам не мог объяснить себе, зачем он отказывает домашним и отчего не может хоть на пару дней приехать и повидать отца. В совестливые эти минуты он обычно вспоминал, что когда-то любил отца, любил и мать, и поэтому не имеет права им отказывать; после же он вспоминал с не менее отчетливым омерзением споры свои с отцом и осознавал, что и смерть не сможет примирить его со всем высказанным и написанным этим человеком. То же, что его заставят у постели больного мириться с ним, быть может, и просить у него прощения за прошлую вспыльчивость, –

это требование семьи переступить через себя, хоть бы и пред лицом вечного безмолвия, было отвратительно, невыносимо ему даже в собственных мыслях. На просьбы приехать, настойчивые или нежные, он отвечал поначалу резкостью, позже – говорил с усталостью, затем же, если ему звонили с целью вызвать его к отцу, бросал трубку, не давая говорящему закончить.

Испробовав почти все, включая разговор с Альбертом кого-то из партии, мать решила воспользоваться его сложным положением. Заканчивая главный этап обучения, он рассчитывал проходить практику по нынешнему месту жительства, но незадолго до экзаменов стало известно, что в Минге еще сократили число работников правоохранительной системы – в стране наступил кризис. Приставлять студентов было почти не к кому даже в гражданском праве, в государственных органах и вовсе установился хаос. Схожее испытывали студенты и других факультетов.

– Что же нам, без дипломов оставаться? – возмущался Аппель в присутствии Альберта. – Конечно, на улицу нас Хотите выгнать? Нет, конечно, мы столько времени угробили?

Кто-то из ребят, политически активный, спрашивал, можно ли пристроиться в партию, ту или эту.

– Ты что, коммунист? – спросил Аппель. – Ничего себе совет – к коммунистам устроиться! Конечно, писать «отличные» заказные статьи...

– У тебя отец большая шишка – что, не может помочь?

– Да он себе помочь не может!

Уже закончивший обучение, но пока не устроившийся Петер Кроль спросил у Альберта:

– На что ты можешь надеяться? Смогут родители устроить тебя в вашу партию? В ней платят?

– Платить-то платят, но... – Альберту стало неловко, – я не хочу. Я не об этом мечтал.

– Ты романтик, это приятно, – с улыбкой ответил Петер. – На твоём месте я бы согласился. Признаюсь, и я не о таком мечтал...

– Ты бы хотел писать стихи.

– Я мог бы стать адвокатом, но как я им стану, если у меня не будет практики?

Косо Альберт взглянул на него: Петер не скрывал, что так просит за себя, пользуясь их крепким приятельством. Красивые глаза Петера были честны и искренни.

– Я спрошу, – пообещал Альберт. – Но платят мало – на хлеб с маслом.

– Ничего, я согласен на ваши условия, – стараясь скрыть унижение, ответил Петер. – После смерти отца я... увы, не могу жить дома. Мать не будет меня содержать, у нее новый муж, молодой.

Отчаяние Петера Кроля, чуть ли не лучшего – за счет старательности – ученика их поколения, пугало сильнее любых газетных и политических заявлений: если уж Петер не может устроиться по специальности, то к чему стоит готовить-

ся ему, Альберту?

Спустя несколько дней у него серьезно спросили:

– Вы готовы устроиться в прокуратуру?

Альберт был поражен.

– В смысле? Простите, – перебил самого себя он. – Мне сказали, что с этим проблемы...

– У вас семья в столице?

– Нет, – солгал, не моргнув глазом, Альберт.

– Как же – нет?.. У меня написано... есть семья... О вас очень просили... очень. Понимаете?

– Нет.

– Вы надо мной издеваетесь?

– Простите, нет... нет! – испуганно выпалил Альберт. – Я ни о чем никого не просил!

– Получается, просила ваша семья. За что вы извиняетесь? Это ваш шанс.

– Простите, это... ужасно. Понимаете, я ни о чем не просил.

– То есть вы не хотите учиться и работать?

– Хочу, но...

– Не хотите работать по профессии?

– Хочу. Но я не хочу чувствовать себя... чьим-то сыном, за которого просили и... потому что партия, и ей нужны люди в прокуратуре или... полиции. Я не могу.

– А на что вы собираетесь жить, позвольте спросить?

– Найду работу, – нехотя признал Альберт, – в другой

сфере.

– Найдете работу? Я понимаю, вы плохо себе представляете жизнь за стенами университета. Вы же не работали раньше?

– В юности... немного.

– На карманные расходы зарабатывали? Боюсь, вам придется узнать о нашем мире много нового... Так, послушайте совета: езжайте к семье, соглашайтесь, набирайтесь опыта. Станете хорошим специалистом. Иначе останетесь за бортом. Подумайте, пока есть время.

Не понимая, как поступить, он рассказал об этом Аппелю. Тот был неприятно изумлен:

– Конечно, неужели ты сомневаешься? Нужно отказаться, вариантов тут нет!

– Но я смогу закончить учебу, – возразил Альберт. – Мне нужна эта практика... Я не знаю, Альдо. Я запутался.

– Да как ты можешь сомневаться? Берти!

Он закрылся от Аппеля руками – ему было совестно: за свое положение, навязанные связи, расшатанную веру, желание стать прокурором, борьбу расчистки и честности. Не понимая его, имея о нем лучшее мнение, Аппель положил ему руку на плечо, наклонился и стал шептать:

– Берти, конечно, если бы речь не шла о политике... нет, конечно, бывают разные обстоятельства, мафия ничем не лучше политики... Ты, конечно, понимаешь, что свяжешь себя с партией пожизненно? С партией, которая тебе не

близка, ты презираешь папашу, который работает на нее. Если ты согласишься, ты по гроб станешь их должником. Они десятилетиями будут напоминать, как ты получил это место.

– Я понимаю, – тихо сказал Альберт, – все понимаю. Я сомневаюсь... наверное, я верю, что смогу обойти это... этот долг.

– Это опасные... играть с ними – плохая затея, Берти!

– А что мне делать?! – внезапно воскликнул он. – Черт, Альдо, я боюсь! Если я не найду работу по профессии, все бесполезно!

– Да, я знаю, я сам о том...

– А если наша участь – это работать в мясной лавке? Торговать газетами? Или перебиваться случайными заработками, как Петер?

С сочувствием Аппель приобнял его.

– Ты сильно этого хочешь? – после паузы спросил он Альберта.

– Да... не понимаю, что делать. Ты такой же, ты хотел стать журналистом.

– Конечно. Я вижу себя журналистом – сильным, талантливым, независимым журналистом, который пишет, как считает, и никто ему не навязывает. А ты каким хочешь быть? Зачем ты пошел учиться?

– Ну... я хотел стать прокурором. Ну, знаешь... помогать суду устанавливать виновность, наказывать ублюдков – воров, насильников, убийц. Мне... было важно. Это.

– И в каком месте тут интересы партии?

Он пожал плечами. Аппель отпустил его; что-то, пересилив в себе, сказал:

– Конечно, если ты уезжаешь, то и я тоже. Может, ты и прав. Без Минги тоскливо, но в столице больше газет, и шансов тоже больше. Устроимся.

Мисмис ненавязчиво обняла его за шею и еле слышно залепетала:

– Боже, Бертель, ты такой... неужели ты совсем не скучал по мне? Или ты успел соскучиться по дому, пока ехал к нам?

Он несмело улыбался на ее тихие расспросы. На улице, как на них упал солнечный свет, Мисмис заметила и нездоровый желтоватый цвет его лица, и бледность губ, которые он продолжал кривить, хоть улыбаться было уже нечему.

– Ты болен, Бертель? – участливо спросила она и приложила ладонь к его щеке. – Если болен – скажи. Что у тебя болит?

– Ничего, Мисмис, – отнимая ее руку, ответил он. – Не нужно со мной носиться.

– Ты не обижаешься, что мы не приехали к тебе?

– Нет, Мисмис, нет. Пошли. Не нужно нам стоять.

Дома, оставив Альберта в прихожей, Мисмис вбежала в комнату матери и зашептала ей, что приехавший нынче обеспокоен и было бы лучше к нему не выходить – хоть из банальной заботы о нем и его нервах, и без того расшатан-

ных. Не понимая, с чего Мисмис это решила, Лина заявила, что выйдет и поговорит с сыном. Альберт встретил ее в гостиной, здоровался холодно и не поцеловал мать. К отцу он зашел после, тот был в лучшем состоянии, чем он думал – а мнение о нем у Альберта сложилось благодаря паническим сообщениям женщин, предсказывавших раз за разом отцу скорую кончину. Теперь отец мог сидеть и был в хорошем расположении духа, и не обвинил сына, что тот ни разу не навестил его за столько месяцев. Обнаружив желание отца забыть прежние обиды, Альберт не сказал, что был бы рад и дальше с ним не встречаться, – не позволяла совесть.

Обед отцу подавали в комнату, остальные ушли в столовую, в которой новая служанка разливала суп. Закончили в молчании; Мисмис стало неловко, и она рано попрощалась. Поняв, что остался наедине с матерью, Альберт поспешно встал. Лина окликнула его:

- Не хочешь со мной поговорить?
- Не особенно, – ответил вяло он.
- Но мне хочется с тобой поговорить.
- Если ты хочешь, можем поговорить.
- У тебя, мне кажется, есть претензии ко мне.
- Ты хочешь их услышать?
- Хочу.
- Они запоздали.
- Ничего, я их выслушаю.
- Ну, хорошо, – перестав себя сдерживать, ответил он. –

Зачем... вот как ты это сделала?

– Я попросила человека со связями, – после небольшой паузы сказала она. – Он в партии не состоит, публично ее не поддерживает, но выказывает ей большое сочувствие и... в доказательство своей заинтересованности... может обеспечить перспективному молодому человеку хорошее место.

– Смею заметить, что вы нарушили закон.

– Какой закон?

– Такой, – резко ответил он. – Такие связи порочат достоинство работника прокуратуры и...

– Ты как ребенок, Берти, – устало сказала Лина. – Тебе помогли, ты должен быть благодарен за это. Ты не должен отступать от партии. Нужно, чтобы в партии знали, что ты на нашей стороне, что ты сможешь помочь нашим, если возникнет необходимость. Мы все рассчитываем, что ты хорошо себя покажешь.

– Эм... ты считаешь, у меня не может быть своего мнения?

– Конечно, может быть, – ответила она. – Но я не понимаю. Я не буду говорить тебе о кризисе. Но и ты – моя семья. Ты мой сын. Красивый и умный мальчик, уже мужчина. Я хочу позаботиться о тебе.

– Ты пытаешься заболтать меня, чтобы я не беспокоил тебя своими упреками.

– Зачем мне тебя забалтывать, если ты согласился? Ты приехал к нам... значит, ты понимаешь, как это важно. Нас

с отцом не будет – но будете вы, ты и Мисмис. Все останется вам. Мы умрем, но вы, вы – на вас вся надежда. Я... виновата, – это признание давалось ей тяжело, – виновата, как мать, я не смогла дать тебе любви, не смогла защитить тебя... от этого ужасного мира. Дай мне искупить это! Берти... Я хочу умереть спокойно! Ты хотел учиться, работать, хотел себе должность – ну, получишь ты ее! Ты за этим шел учиться, за этой мечтой. Возьми – нам ничего тебе не жалко! Потом ты поймешь, потом... вне этой партии нет будущего. Красивый, такой сильный мальчик, ты и не такое вытянешь! Вы будете жить, ты и Мисмис. Мисмис вот-вот выйдет замуж, потом и ты женишься, у вас появятся дети, они будут жить за вами, они должны жить, вы все должны жить!

– Боже, какой фатализм! – воскликнул Альберт.

Слова ее странно на него действовали: он словно чувствовал их правоту, но не мог с ними смириться. От мысли, что ничего не изменить, путь намечен и должен быть закончен, – от этой мысли ему стало не по себе.

– Мисмис решила все-таки выйти замуж?

– К счастью, твой кузен благополучно убрался. Тебе нужно с ним познакомиться, с этим юношей, Германом. Он так трогательно влюблен в нее, так ухаживает за ней... Нет, Берти, ей нужно. Я же тебе никого не навязываю?

– Этого не хватало, – ответил он.

С удивлением он узнал, что Мисмис, только закончив гимназию, устроилась в партийную газету машинисткой.

Чтобы Мисмис работала – это было нечто невероятное. И вся она была незнакомая Мисмис – перестала капризничать, уже не заливалась слезами при малейшей обиде и голос повышать прекратила, а нынче передавала ему обессиленную томность, которую Альберт находил смешной. Чтобы выглядеть модно, она остригла темные косы и остатки от них красиво укладывала «солнышком» вокруг головы; обзавелась привычкой краситься, выходя из дома по любому поводу; из ателье привезла с десятков костюмов и длинные вечерние платья (подарки ее жениха), а так как носить весь богатый гардероб было негде, перед сном примеряла новую одежду и выработывала заодно характерную походку манекенщиц.

Почему разладились ее отношения с кузеном Альбрехтом, Альберт спросил ее однажды, но Мисмис на то промолчала с выражением тайны, кажется, и без свойственной ей наигранности.

– Ты прогнала кузена Альбрехта? – опять пристал к сестре Альберт, чувствуя, что за молчанием ее что-то кроется. – Зачем?

– Не прогоняла я его, – ответила Марта с оскорбленными складками у губ. – Он сам не захотел жить ни у нас, ни в редакции. Что я, обязана была его удерживать?

– Из-за чего вы поссорились?

– А тебе-то что, Бертель? Отстань от меня!

– А он скажет?

– Он не скажет, – заявила Мисмис и покраснела. – Что

ты ко мне пристал: «Почему, почему, почему вы поссорились?». Я его знать больше не хочу! Его не существует для меня! И все равно мне, как он ко мне относится и что обо мне думает. Между нами все кончено, больше и быть ничего не может! Я замуж выхожу!

– Боже мой, какая драма!.. Он не хочет с тобой помириться?

– Нет, – резко ответила она, от чего могло показаться: она обижается, что с ней не хотят мириться.

На самом деле, кузен Альбрехт приходил домой к ним – якобы за тем, чтобы узнать о самочувствии дяди, – но с Мисмис поговорить не мог: она либо работала, либо, в выходной день, спешила уйти гулять, обменявшись с ним несколькими приветственными словами.

Нынешний кузен Альбрехт был строен, бледен, а по характеру собран и чуточку зол, с примесью северной холодности. Он красиво носил любую одежду, от штатской до партийной, и благодаря осанке производил сильное впечатление. На фоне его терялся старший Альберт, похожий лицом, но несколько расхлябанный и сутулый. Зайдя к Мисмис, но ее снова не застав, кузен Альбрехт присел близ Альберта, который работал в гостиной, обложившись книгами и папками. Альберт взглянул на него, а Альбрехт скороговоркой сказал:

– Жаль, что Мисмис нет. Чем ты занимаешься? Как учеба? У тебя сейчас гражданка или уголовка?

– Что?.. А-а-а...

– Ты от партии не отступаешь?

– Что?.. – отвлекаясь от работы, спросил Альберт. – Что тебе? Мисмис нет.

– Я знаю, что ее нет. Не хочешь рассказать о работе?

– Тебя что, подослали, чтобы у меня все выпросить?

– Зачем? Мне интересно.

– Ну, меня все ненавидят!

– Ты себя плохо показал? Знаний не хватает?

– Да, мне тяжело, – зло ответил Альберт. – Я банально не успеваю!.. Но знаешь, что самое ужасное?

– Плохой кофе на рабочем месте? – попытался пошутить Альбрехт.

– Я там один такой! Пришел мальчик со связями... и они считают, что я связан с партией! Да-да, я знаю, что они говорят обо мне! Что у меня не талант, а партия, а я ничто, сам по себе пустое место!

Со злости он отшвырнул лежавшие близ него книги. Кузен Альбрехт помолчал с лицом, на котором пытался изобразить искреннее сочувствие, – но затем спросил:

– Ты часто видишь сестру?

– Я? Марту?.. Нет. Я ухожу в семь, а прихожу в одиннадцать. В выходные, как сегодня. Вы с ней поцапались из-за чего-то?

– Ты любопытный, Берти.

– Любопытный, – согласился Альберт.

– Своей личной жизни нет.

– Верное утверждение. Так что?

– Ничего, – не желая отвечать, сказал кузен Альбрехт. –

Она первая начала. В чем я виноват?.. Я ничего такого не сказал... а она... Она замуж собирается. Вот и отлично! Что я, не смогу без нее? Это она без меня не сможет! Дура! Скажи ей это!

– Ты уходишь?

– Ухожу. Не собираюсь тут сидеть и смотреть, как твоя мать меня глазами пожирает со злости. Пока тебя не было, она настраивала Мисмис против меня! И Мисмис ее послушалась! Пусть с матерью своей и остается! А я ушел!..

В дверях, наспех схватив плащ, кузен Альбрехт столкнулся с возвратившейся Мартой; притворился, что не заметил ее, хотя она больно его задела плечом, и выбежал от них. Марта потом прошла в следующую комнату и присела рядом с братом, спросила сухо, словно разозлившись:

– Что тебе сказал Альбрехт?

– Что хотел с тобой поговорить.

– Странно. Почему, если хотел поговорить, он выскочил, как бешеный?

– Это глупо, – не слушая ее, сказал Альберт. – Я не понимаю. Не могу понять! Почему два человека, которые давно друг друга любят, не могут сейчас просто поговорить и, если было плохое, извиниться друг перед другом? Зачем устраивать... это? Он дурак, хорошо! Но ты будь умнее! Женщина

должна быть умнее мужчины в этом деле!

– Почему тебе обязательно нужно влезть в нашу личную жизнь? – тихо его перебила Мисмис.

– Потому что я хочу понять вас... Что такое могло случиться, что ты не можешь с ним помириться? Мне показалось, это из-за какого-то пустяка.

– О, конечно, из-за пустяка! – нервно ответила она. – Я согласна, ему это пустяком кажется. Но я не могу. Я не хочу!.. Как он не понимает, что все кончено? После того, что он сказал... я уже не могу! Он считает, у меня глупости и женский вздор. Пусть это вздор – но это мой вздор! Лучше я выйду за Германа. Он добрый, хороший. Нужно выбрать время, чтобы вы смогли познакомиться.

– Хорошо, но... – Альберт внезапно сообразил. – А как его фамилия? Я столько раз слышал, как его называют по имени, но ни разу не слышал фамилии.

– Она звучит так же – Германн, – ответила Мисмис.

– Герман Германн?.. У его родителей отменное чувство юмора.

– Мы можем пойти в гости к Германну, – добавила Мисмис. – Ты познакомишься с его родителями. Хорошо?..

Говорила она почти умоляюще, будто вся судьба ее зависела, одобрит ли он, Альберт, ее выбор, поладит ли с Германом и его семьей. Поняв, сколь важно это ей, он пообещал, что постарается на неделе выделить время на знакомство.

– Но мне кажется, это чересчур быстро. Тебе не нужно

спешить, если ты не уверена в себе. Не нужно это делать из-за Альбрехта, не нужно никому ничего доказывать.

– Я не спешу, это тебе все кажется, – ответила она и улыбнулась. – Я знаю, что мне это нужно. И я хочу, чтобы ты в этом убедился. Когда ты познакомишься с Германном и его семьей, ты поймешь, что я права и что, может быть, и жаль, что я не хочу слишком уж спешить с этим.

В другое воскресенье Мисмис позвала его на партийный митинг, на котором ее жених заменял кого-то от редакции. На небольшой площади собралась кучка людей, должно быть, всё безработных – больше мужчин, чем женщин; много было голосов, несвязной какой-то болтовни, больших вопросов, за которые Альберту стало по-настоящему неловко. Обеспеченный необходимым, он был странен в их компании.

Герман, каким его увидел Альберт, был юношей несколько его моложе, высоким и аккуратным, с густыми зачесанными рыжеватыми волосами, с лицом бледным, но с красноватыми мелкими веснушками на носу. Издали он казался по-своему красивым; ходил неровно, как с головокружением, почти не реагируя на яркий, бьющий в глаза солнечный свет, а руки держал то за спиной, то на ремне – в этом проявлялось что-то нервное.

– У меня не спустились чулки? – тихонько прошептала Мисмис брату. – Можешь посмотреть?

– Да все нормально, не волнуйся.

– Правда, он отлично говорит? – спросила, немного помолчав, она.

– Ну... так себе. Я бы на него не ставил.

– Ничего ты не понимаешь, – с досадой ответила сестра.

– Осознаете ли вы масштаб катастрофы? А люди, которые довели нас до нее, осознают?.. Промышленное производство уже сокращено на сорок процентов. Треть наших граждан не может найти работу! И это только официальные цифры. Сколько на самом деле безработных – разве кто-то знает? Нам надо семьи кормить, а вместо этого мы идем в службу занятости и слышим, что работы нет – и не будет в ближайшие годы! Вы, счастливицы, у кого есть работа – вы думаете, вы не окажетесь на улице в скором времени, как мы? Уже треть бюджетников сокращена, и нам говорят, что будут новые сокращения, и увольнять будут учителей, врачей, полицейских – тех, кто учит, спасает жизни, защищает нас от криминала! На что нам кормить детей? Где их учить? Где нам лечиться? Даже если мы пойдем грабить и убивать ради наших детей, что мы будем делать потом? У многих из нас есть пожилые родители. Они теперь не получают ничего! На что нам содержать наших родителей? Кто из работающих сейчас работает полный день и за деньги? Правоохранительные органы и армия – пожалуйста, но и им невесело, у них тоже зарплаты сократились на четверть с прошлого года. Многие работают по три, по четыре часа, потому что хозяева не могут себе позволить заплатить за полный рабочий день.

А некоторые получают зарплату едой. На заводах, которые еще держатся, вместо денег на руки выдают продукцию на продажу. И никто не может нам сказать, когда это закончится! Вчера служба занятости заявила, что может справиться только с восемьюстами тысячами безработных и только на три месяца. У нас треть населения не имеет вообще никакой работы! Им не платят пособий. Никто не заботится о пособиях для инвалидов. Никому нет дела до домов сирот, там нет элементарных вещей, нет хлеба, чтобы просто накормить всех, – а там могут оказаться и ваши дети тоже! А наше правительство вообще ничего не предлагает. Оно набрало иностранных кредитов и теперь тянет время, а нас за это будут трясти, трясти нещадно, и мы были бы рады расплатиться – но нечем. Зато наше правительство хорошо живет. Что-то я не слышал, чтобы закрывались фешенебельные рестораны, дорогие клубы и элитные школы с первоклассными конюшнями! Вон, приходите утром в главный парк, посмотрите на них, они спокойно себе катаются, узнаете их в лицо! Для них мы – расходный материал, мы должны быть источником для них, они из нас выпивают силы, их-то самих не беспокоит, что они своими решениями довели нашу страну до обнищания! Мы для них так, грязь под ногами! Что им наши проблемы? Президент не стесняется грабить благотворительный фонд, между прочим, созданный для поддержки обнищавших землевладельцев. Все знают, на что он живет, на что живут его люди, достаточно посмотреть на них: они не стесня-

ются своих квартир, машин и породистых лошадей! А нам что делать? Мы не призываем хватать вилы и бежать, атаковать их! Мы хотим, чтобы они дали дорогу молодым, которые знают жизнь, знают, как живем мы все, которым важна судьба нашей страны и процветание нашего народа! Мы хотим жить, а не умирать, не в состоянии ничего изменить! Мы хотим иметь семьи, которые сможем обеспечивать! Мы хотим быть поддержкой для наших родителей и обеспечить их достойной медицинской помощью! Мы хотим дать хорошее образование нашим детям – и хотим знать, что наши дети смогут состояться в нашей стране, что они смогут работать и жить достойной жизнью! Сколько можно надеяться, что это случится само собой? Хотим жить – так должны требовать себе возможность жить! Да, плата может быть высокой – но кто из вас не хочет жить хорошо?

– Ты, случаем, не очарована им? – вяло спросил сестру Альберт.

– Ты что, только сейчас заметил?..

– Мне тебя не понять, Мисмис. Ну как так можно?..

Улыбаясь грустно, на ходу поправляя лацканы пиджака, Герман после к ним подошел и сказал:

– Простите, что заставил ждать. Это, наверное, ужасно с моей стороны. Но мы уже закончили. Да?.. Вы брат Марты?.. Здравствуй, Марта. Все уже расходятся. Наверное, мы можем идти, если вы не передумали.

– Нет-нет, – быстро ответила Мисмис.

Альберту хотелось отойти от них, не видеть странного выражения сестры, насильственного спокойствия ее друга, которое только портило впечатление о нем; но он пошел рядом с ними, по левую руку от Марты, и слушал ее мягкий и приглушенный голос. Переживание юности, юношеской силы и страсти отгоняло воспоминание о толпе, о митинге, о словах и просто болтовне.

Двумя часами позже он шел за Мартой по улице; она опустила голову и долго и испуганно молчала.

– Мне кажется, у него прекрасные родители, – сказала она вдруг. – А как ты считаешь, Бертель? Мне важно твое мнение.

– Прекрасные...

– Ты счастлив за меня?

– А-а? А-а-а... конечно, счастлив.

– Что ты скажешь о нем? Как Германн тебе?

– Кто?.. – рассеянно ответил Альберт. – Ах, он. Не знаю. Должно быть, он тебя любит, если женится.

– Любит, любит... – повторила за ним Мисмис.

– Но зачем вам спешить? Ты не хочешь получить образование? Мама может устроить тебя на любые курсы. А партийная газета... Я полагаю, он рассчитывает на большие успехи партии. А если не получится? Мы не можем знать, как все сложится.

– Я знаю, Бертель, я знаю... Мы с ним об этом говорили. Мы хотим пожениться после выборов в парламент. Скорее

всего, у нас будет больше мест, чем сейчас. Я знаю, ты беспокоишься, но я знаю, что мне это нужно. Понимаешь? И не все ли равно?

– Мне, Мисмис, знаешь ли, не все равно.

– Ты прелесть, – ответила Мисмис.

Признанный всеми женихом Марты, Герман часто стал появляться у ее семьи и сидел по несколько часов с ее матерью. Альберта, если он заставал его дома, близость его от чего-то раздражала. Он думал о нем и своей сестре и пытался понять, за что та могла бы, хоть бы и в теории, его полюбить и захотеть замуж. Слушая, за неимением возможности отстраниться, застольные беседы Германа с матерью, он находил его скучным, бесцветным. Это была в его глазах почти кукла, хоть и способная неплохо и вежливо разговаривать. Лишь в некоторые моменты спокойная уверенность и вежливость изменяли гостю; без какой-либо видимой причины Герман вдруг начинал нервничать, речь его становилась быстра и подчас противоречива или неразборчива, ибо он торопился высказаться, опасаясь быть кем-то перебитым. Эта лихорадочность прийти к нему могла по причине, только ему одному понятной. В иные разы возбудителем была тема разговора, самая банальная, отвлеченная от проблем, действительно способных заставить человека нервничать, некая фраза или напоминание, или вообще случалось в полной тишине, что Герман из спокойного состояния переходил резко в волнительное под влиянием внутренних своих процессов.

Единственно это и могло сделать его интересным для Альберта; он находил, сам не до конца это уясняя, что Герман чем-то в этом схож с кузеном Альбрехтом, но не в силах был сам себе это внятно объяснить.

Так вышло, что в свой единственный выходной на неделе Альберт согласился вместо Мисмис пойти в редакцию партийной газеты за отцовской корреспонденцией. Бывший нынче в редакции, работавший над колонкой Герман поспешил выложить на стол перед ним письма и сказал, подавляя сожаление в голосе:

– Жаль, что Мисмис не пришла. Чем, позвольте спросить, она занята?

– Без понятия, шляется где-то. Она мне не докладывает.

Расстроенный его словами Герман замолчал.

Затем, под предлогом, что хочет покурить, он вышел на крыльцо вместе с Альбертом и спросил, чуть стесняясь, у него зажигалку.

– Вы не курите?

– Почти нет, – ответил Альберт, – пытаюсь бросить.

– Получается?

– В некоторые дни – да, получается.

Альберт хотел уже уйти, присутствие Германа стесняло его, но тот мягко остановил его и спросил:

– Почему бы вам не постоять со мной? Сейчас хорошая погода.

– Меня ждут дома, – нерешительно ответил Альберт. – Я

сказал, что скоро приду.

– Вы мне нужны сейчас. Я хочу поговорить. Это важно мне, поймите! Иначе я не стал бы вас тревожить.

– А что такое? О чем мы с вами можем говорить?

– Вы меня подождать можете? – не ответив на вопрос его, волнуясь, сказал Герман. – Я сейчас возьму все, мне тоже уходить пора. Всего пять минут, хорошо?..

Бросив сигарету, взяв для верности с собой зажигалку Альберта, он тут же возвратился в редакцию. Альберт не понимал, что лучше сделать: остаться, тем более не хотелось отдавать Герману зажигалку, или плюнуть на все и уйти. Он терзался выбором, пока Герман не вышел; он теперь был с портфелем и в шляпе, и с Альбертом пошел в ногу, то есть быстрее, чем привык.

– Когда вы бежите, я не могу собраться с мыслями, – сказал он затем и слегка тронул Альберта за рукав.

– Вы сказать что-то хотели?

– Что?.. Да. Я хотел спросить о Мисмис. И о том мальчике, ее кузене. Альбрехт, кажется. У них что-то есть?

– У Мисмис и... нет-нет! Нет. Это детские глупости. Ничего серьезного в этом нет.

– Так у них сейчас ничего уже нет? – настойчиво повторил Герман.

– Нет... Это она вам рассказала?

– Она? Нет. Он. Сказал, что я мешаю их отношениям.

– Кузен Альбрехт сказал? – удивился Альберт. – Как вы

с ним встретились?

– Он пришел ко мне. Он знает, что я работаю в газете. Я так понял, что он хотел с ней помириться, но она отказалась.

– Я с ним поговорю, – решил Альберт, – и он не будет больше к вам лезть. Он у нас немного дикий. Вы его простите.

– Я не хочу, чтобы вы ругались с ним из-за меня. Это не мое дело. Мне только хочется, чтобы вы не впутывали в это и меня. Мисмис, она...

– Это больше не повторится, – перебил его Альберт. – Извините нас. Мы не будем вас беспокоить.

Герман чувствовал, что он не нравится. Он еще сбавил шаг, и Альберт, как повинувшись ему, тоже пошел медленнее. Что-то странное было в том, как Герман покусывал губы.

– Вы считаете, я Мисмис не пара? – после паузы спросил он.

– А это уже не мое дело.

– Вы ничего не знаете обо мне, но считаете, что мы не должны жениться.

– А какое вам дело, что я о вас думаю? – удивленно спросил Альберт. – Вы женитесь на Мисмис – не на мне, извините. Мое согласие вам зачем?

– Мисмис важно ваше мнение. Вы, наверное, не знаете, но Мисмис считается с вами больше, чем с родителями.

– Она взрослый человек... Впрочем, раз начали... – С чего бы Герман вызывал неприязнь? – Я бы хотел Мисмис ино-

го – не раннего брака и зависимости от мужа. Слушай она меня, она бы пошла учиться, получила профессию и вместо временной работы на партию...

– Для женщин нынче нет работы, – перебил его Герман, – они так же не нужны, как и мужчины. У девушек два пути – выйти замуж или пойти в проститутки. Партия исправит это, но время наше пока не пришло.

– Не знал, что партия озабочена женским вопросом, – съязвил Альберт.

Визави пропустил его язвительность мимо ушей.

– Вы старше... и не хотели бы семью? – спросил Герман.

– Нет. Мне это неинтересно. Хотя лучше сказать, что я противник брака в его нынешнем... смысле.

– С «закабаленными» женщинами?

– С отказом от собственных взглядов, совести, приятного образа жизни и всего остального, что может помешать сосуществованию двоих, троих и более.

– Забавно, но я вас понимаю, – с улыбкой ответил Герман. – Вы во многом правы, но я хочу семью.

– У вас есть семья, – напомнил Альберт, – вы забыли посчитать ваших родителей.

– Это не семья. Это... что угодно, но не семья. Мы давно не любим друг друга. Живем, как чужие. Я чужой в столице, как и вы. Несколько лет живу, но привыкнуть... Я вырос в Р.

– М-м... у вас было какое-то производство? Я слышал, ваш отец о нем говорил.

– Да, фармацевтическое. – Герман остановился и уставился на фонарный столб. – Мой дед основал его, а отец продолжил дело. Я должен был получить его в наследство. Во время войны оно, за счет поставок в армию, разрослось, денег было очень много, поэтому мы проскочили послевоенный кризис.

– Но оно развалилось? Почему?

– Оно не развалилось. Его сожгли.

– Вот как? За что же?

– Мисмис не рассказывала?

– Нет. Она знает?

– Я ей рассказал, – тише, начиная смотреть вниз, ответил Герман. – Мы жили в К. Дом был старый, почти ветхий, доставшийся от деда. Окна моей спальни выходили на восток. Солнца у нас было много, тепло. То, что здесь называют теплом, – это не оно. Оккупанты отобрали у нас все.

– В 23-м? – Альберт внимательно посмотрел на него. – Это не байки, значит? Это было на самом деле?

– Зачем мне вам врать? – Герман пожал плечами. – После 24-го власти начали замалчивать, чтобы утихла ненависть к оккупантам. Мы с ними помирились. Нам же нужно дружить с французами и бельгийцами. Для этого нужно было забыть, что было в Р. Столичные считают, что убийства и пытки в Р. – это сказки, растиражированные националистами, чтобы получить больше очков. Вот вам ответ, почему я в партии, – в ней меня не назовут лжецом и сказочником.

– Простите меня, – сказал Альберт.

Они остановились близ его дома. Герман засунул руки в карманы брюк и рассматривал свои ботинки.

– Хотите выпьем кофе? – спросил Альберт. – Слева хорошо варят.

– С коньяком, если там есть.

За столом Герман серьезно спросил:

– Вы явно слышите мой акцент?

– Нет, я бы не сказал. Слышно, что не столичный, но я плохо разбираюсь в региональных акцентах. А у меня?

– Очень явно. И порой вы путаете дифтонги.

– Да? Вот черт...

Герман откинулся на спинку стула, лицо его побелело, как у потерявшего много крови, а руки были беспокойны, перебегали с колен на стол, к шее – и обратно.

– Я рассказывал Мисмис, она мне поверила, – начал он снова. – Я был ребенком, но помню, как говорили: французы оккупируют наши земли. Французы привязали к этому бельгийцев и заявили, что они сделают это из-за задержек по репарациям. Что это временное, на пятнадцать лет. Но все знали, что это не временно, что они хотят нас забрать себе насовсем. У них не получилось после войны. Отец с матерью часто говорили об этом, я слышал их разговоры. Зимой, я помню, пришли французы и бельгийцы. В основном, конечно, французы. Нам объявили, что это не военная операция, но я хорошо помню, что в местных газетах и... на листовках... было написано, что, в случае сопротивления, нас бу-

дут судить по законам военного времени. Они были озлоблены. Показывали свою артиллерию... Пулеметы устанавливали на улицах и на крышах. Они были повсюду. Они нас запугали. Часто не разрешали ходить по тротуару. Могли пристать к девушке на улице, а если кто-то заступался, могли его избить. То были, по большей части, солдаты. Офицеры знали, закрывали на это глаза. Иногда сами подобным промышляли. Я слышал от родителей... они об этом говорили, а я подслушивал под дверью. Каждый день говорили об одном и том же: кого-то избили, расстреляли, изнасиловали. Можете представить, каково это: видеть и слышать подобное изо дня в день? Они были озлоблены. Они ненавидели нас. Из-за той войны. Я войны не помню, я был ребенком. Они считали себя мстителями. Что они так мстят нам. Я не мог ненавидеть их до этого. Я знал о войне, о том, что они были нашими врагами, но не мог их ненавидеть, потому что тогда они не успели мне ничего сделать. А они ее помнили и ненавидели нас за нее. Выдумывали, как унижить нас сильнее, как показать нам свою ненависть. Ввели коллективную ответственность за сопротивление им. Они требовали от отца работать на них. Чтобы мы поставляли им медикаменты. А в столице за помощь оккупантам клеймили предателями родины. Отец не знал, что ему делать. Он был в отчаянии, я помню это. Как и все, он ненавидел оккупантов. Я тоже стал их ненавидеть... А однажды я сбежал со старшим, Альбертом, соседским... мы убежали недалеко, там местные, ро-

весники, прятались с оружием. Они были партизанами. Беглые все, у кого отца взяли, у кого – дядю или дедушку. У нас было оружие с войны, мы не умели, пробовали, а как-то Альберт случайно ранил Вилли – сам не думал, что выстрелит. К Вилли пришлось звать врача, потом пришел его старший брат, принес с собой патроны, и сам с ружьем... Я тогда впервые взял его в руки и попробовал. Оно было тяжелое, вообще любое было тогда мне тяжело – это я помню отчетливо. Я просил старшего отнести записку моей матери, чтобы она не волновалась за меня. Мы были глупы, не знали, как прятаться, как убивать. Вряд ли я кого-то убил... Я хотел воевать, как старшие. Мы гордились ими, мы хотели быть на них похожими, бороться, чтобы им тоже было не стыдно за нас. Но нас быстро взяли. Главных наших перестреляли. Их трое было, двоим по шестнадцать, а Альберту семнадцать. Мне тогда казалось, что это... много. Мне до сих пор стыдно за то, как меня повязали: я в темноте не нашел револьвер, и кто-то схватил меня поперек, потащил меня, хоть я лягался, пытался вывернуться, хоть укусить. Младших, ровесников, просто заперли. Пошли наших родителей пугать: либо платите за детей-преступников, либо сами за их делишки отвечайте. Им хотелось поквитаться, но убивать детей... Денег у нас почти не было, потому отец сам пошел, тем более на него и так вешали помощь партизанам – он бесплатно им отправлял лекарства. Их тоже выловили, перестреляли, кто-то из предателей, своих же, местных, доложил, кто им помогал.

Меня отпустили, я вернулся к матери. Отца сначала хотели расстрелять, но потом расстрел заменили на пожизненное. Мать верила, что отец остался бы на свободе, не заиграйся я в партизана. Я не виню ее, я тоже виноват, но я хотел быть героем, освободителем. Меня и мать они выслали. Они многих выслали, тысячи... из семей тех, кто был арестован и наказан. Нам нельзя было узнать, что с отцом. Мы не могли к нему приехать. Отец сам приехал к нам через два года, они выпустили его и остальных... после новых соглашений. Они вывели свои войска. Отец не захотел жить в Р. Мы поселились здесь. Нам ничего не вернули, не заплатили. Сказали, что должны быть благодарны, что нам дали свободу. Отца это подкосило, и мать тоже. Мы перестали быть семьей после... всего этого. Мы не смогли выстоять. Мы были слабее многих. Живем вместе, потому что привыкли. А сейчас нам рассказывают, что во благо страны нужно простить и забыть прошлое. Им можно ненавидеть, а мне – нельзя? Лживо размышлять о дружбе народов?.. Рассказывайте, что политики во всем виноваты. Политики виноваты, конечно. А те, что к политике непричастны, конечно, не могут ненавидеть. Эти размышления современные... что люди разных наций не могут друг друга ненавидеть. Это политики хотят войн, насилия, смертей. А простые люди не могут так ненавидеть. Простых людей заставляют воевать. Нет, никто, никакие политики не заставляли этих простых людей ненавидеть нас, унижать, избивать и насиловать. Это была их воля, их собствен-

ный выбор! Их не натравливали на нас, нет! Они пришли к нам с ненавистью. Они ничего не хотели знать о мифической дружбе народов. О том, что христианам положено прощать. Если они таковы, можно требовать от нас другого? Нет никакой жалости – все ложь! Никто нас не жалел, никто не заступился, никто не сказал: «Хватит!». К чему это притворство? Чтобы самому себе хорошим показаться? Ложь! Знаете, что я усвоил?.. – перебил себя Герман. – Что этот круговорот насилия нужно останавливать. Война длится, пока живы ее свидетели. Чтобы война закончилась, должны умереть те, кого она затронула. Война жива, пока в нас живет желание мести.

– Я не совсем понимаю этот... тезис, – ответил Альберт.

– Это очень просто: остановить можно, уничтожив всех, кто способен потом умножить уже совершившееся насилие. Уничтожить сразу – это единственный путь к миру. Не останется никого, кто будет против мира.

– По этой логике французы должны были уничтожить все население Р., в том числе и вас.

– Именно. Оставив нас в живых, они приобрели страшных врагов. Если снова прольется кровь – наша и их, – это насилие разовьется в геометрической прогрессии. Говоря совсем просто, они могли убить сто тысяч человек – и на этом все бы закончилось. Но они ушли, оставив ненависть и желание мести. В новой бойне погибнет триста тысяч человек, бойня прорастет из ненависти тех, кого они неосторожно оставили

в живых. Гуманно убить сто тысяч, чтобы от ненависти этих ста тысяч не умерло в несколько раз больше.

– Я... не сторонник мести, – пробормотал Альберт. Откровения Германа ошеломили его, и он уже жалел, что зашел с ним в кафе. – Боюсь, чтобы остановить ненависть, оккупантам пришлось бы не только вырезать население Р. Пришлось бы оккупировать всю страну и уничтожать всех ее жителей поголовно.

– Вы меня осуждаете?

– Я считаю подобные размышления странными. Нельзя... – Альберт сомневался. – Вы размышляете об убийстве ста тысяч во имя некоего гуманизма... размышляете, как о прогнозе на ближайший футбольный матч. Это должно понравиться моему отцу. Это он вас нанял?

– А если так? – Герман покачал головой. Глаза его были неестественно пусты.

– Значит, я могу вам сказать, как и ему: нельзя просто взять – и убить сто тысяч человек! Нельзя! Не важно, во имя чего – нельзя!

– Почему?

– Во-первых, это технически невозможно, разве что в условиях фронта и открытого столкновения. Во-вторых, это безнравственно. Мне... не нравится культ жестокости в партии.

– В партии нет культа жестокости, – ответил Герман.

– А что есть?

– Культ силы не то же, что культ жестокости.

– Партия жестока не только к потенциальным врагам, – перебил Альберт, – но и к возможным союзникам.

– Разве?.. Насилием не удержать ни союзников, ни безразличных. Либеральные газеты пишут, что партия установит жесткий режим. Зачем? Неужели они верят, что можно только запугивать, унижать и угрожать? Пусть это антиутописты, сколько хотят, размышляют о тоталитарных обществах, где нет человечности, любви и преданности, а люди превращены в бездушный скот, у которого одна задача – подчиняться высшему. А мы устроены иначе – от нашего человека всего можно добиться нежностью и заботой. Если партия позаботится о людях, даст им заботу и безопасность, то ее полюбят 95% – минимум. Плеткой вы себя любить не заставите. Хорошее отношение выгоднее. 95%, если полюбят нас, согласятся на все, но все равно желательно скрыть от них мерзкие факты – им не нужно слышать о нашей якобы жестокости, а на деле предусмотрительности. Они сами не захотят знать и верить. Так жена прощает мужу убийство, а мать прощает сыну кражу – от любви на все можно закрыть глаза. Главное, что не их убили и ограбили, м?

– Вы бы простили Мисмис, если бы она кого-то убила? Жестоко убила?

– Разумеется. А вы простили бы ее? Или вашу любимую девушку?

С невротической иронией Герман улыбался на его выра-

жение: спорить с ним не получалось, дискуссия убегала в дебри, и у Альберта было стойкое ощущение, что визави перекручивает его вопросы, ни на что не отвечая и заставляя забывать, с чего начался новый виток мучительной речи. В этом проигрышном положении Альберту оставалось только крикнуть:

– Счет, пожалуйста!

«Убей Марта этого Германа, я бы мгновенно ее простил, больше – посчитал бы, что все сложилось замечательно», – решил он.

Мисмис заявила, что бракосочетание состоится после выборов в парламент, но с условием, что партия получит больше сорока кресел, то есть утроит число своих депутатов. Она заинтересовалась программой и всякому рассказывала о трех миллионах безработных, преступной политике правительства, обнищании среднего класса и вымирании класса крестьянского.

– Как интересно слушать размышления человека, который слабо представляет, что есть политика и экономика, – говорил с легким раздражением Альберт.

– Ой, словно ты больше понимаешь! – обычно отвечала на такое Мисмис. – Ты-то что можешь увидеть в своих четырех стенах? Вот Александр...

– Как интересно, – отвечал он. – И что же Алекс?

– Да ничего, – обижалась она.

– Ну, значит, ты все брешешь.

– О, тебе лучше знать, кто брешет!.. Он, между прочим, с Германном... они часто бывают на митингах. Думаешь, просто организовать митинг?

– Уверен, что сложно, – стараясь не улыбнуться, отвечал Альберт. – Но экономика тут при чем?

– Ну что ты как... До выборов, говорят, успеют сделать шесть тысяч митингов. Но дело не в этом, Бертель. Алекс и Германн ездят по провинции, у них же глаза есть! Это нам, тут, кажется, что у нас бардак. А, знаешь, отъедешь от столицы километров на десять – и такое запустение, разруха, люди без работы сидят, выживают благодаря своим огородам, но что маленький огород даст? Знаешь, какая там смертность? Люди без отопления зимой сидят, работать негде, урожай пропасть может... Легко тебе говорить! Ты хорошо устроился, Бертель.

– Ты тоже, Мисмис.

– О, конечно. Очень хорошо! Но я не такая эгоистка, как ты. Голосовать тебя никто не заставляет, но не ной потом, если тебя выгонят.

– А вот это тебя не касается, – резко сказал он. – И прекрати разбалтывать мои секреты своим друзьям. Я же никому не жалуюсь на тебя, не так ли?

Он злился на нее все больше: она рассказала своему жениху, что у него, Альберта, проблемы на работе, а это было оскорбительно. Мисмис же обижалась на его злость – из-за

такого, как ей казалось, ничтожного пустяка.

Но мириться она подошла первой, улыбнулась виновато и мило – у нее это отлично получалось – и сказала, взяв его за пуговицу пиджака:

– Вот, я признаю, что была неправа. Ты доволен, Бертель? Я уступаю тебе победу.

– Мисмис, ты что, перепутала меня с кем-то из своих поклонников? Что за кокетливые улыбки и этот тон?!

– А я хочу, чтобы все веселились и вообще были счастливы. Сегодня такой день! Останешься с нами?

Они были в редакции партийной газеты. Он ответил, что зашел по поручению матери, чтобы узнать, появится ли она, Мисмис, нынче дома или нет.

– Нет, я же на работе, – отозвалась Мисмис. – Мы слушаем радио, вот-вот должны объявить результаты выборов. Хочешь послушать? Ты был на избирательном участке? Позволь я возьму у тебя шляпу. Ну?

– Что? – замешкался он.

– Шляпу, Бертель! Что ты такой рассеянный? Хочешь шампанского?

– О-о-о... вы что, пьете на рабочем месте?

– Ой, ой, это уже не мой брат, это строгий прокурор, который нас всех накажет!

– Нет-нет, я не... – рассмеялся он. – Прости, Мисмис. Я немного...

– Все равно я рассчитываю, что наш «будущий прокурор

всей страны» берет взятки. Алкоголем же принимаешь? Или ты хочешь покрепче? Есть и коньяк.

От крепкого он отказался, но выпил с ней шампанского. Расслабленная и довольная всем, Мисмис присела на подлокотник его кресла и, обхватив рукой его голову, спрашивала, какова публика на их избирательном участке.

– Я жутко, жутко, жутко волнуюсь! – смеясь, говорила она. – Можно сказать, сейчас вся моя жизнь решается!

– Боже мой, как ты это сейчас сказала! Почему бы тебе не пойти в актрисы?

– Ну, очень смешно, Бертель. Если меня и возьмут в актрисы, с отсутствием у меня таланта, то лишь в эротические. Но мне муж не позволит.

– Эм, Мисмис...

Он собирался снова спросить, уверена ли она, но не стал. Образ опечаленного Альбрехта, с которым Мисмис не могла быть хотя бы из-за близкого родства, виделся ему в углу затемненной комнаты. Впервые он задумался, не было ли бегство Мисмис от Альбрехта чем-то большим, более трагичным, неотвратимым, а вовсе не детской глупостью, вызванной капризностью и упрямством. Мисмис не любила Германа – Альберт достаточно ее знал, чтобы увериться в этом, – но остаться без любви было выше ее сил. Мисмис привыкла с детства, что ее любят, что она – лучшая в глазах родителей и Альбрехта. А мать больше не сюсюкает с ней, а Альбрехт...

– Как Альбрехт? – как отвечая на его мысли, спросила

тихо Мисмис.

– Не знаю, я почти не вижу с ним.

– Он избегает меня.

– А разве ты не этого добивалась?

Печально она пожала плечами и налила себе шампанского.

– Ты влюблялся, Бертель?

– Не помню такого, – честно ответил он, – Скорее всего я не способен на это.

– Ты не веришь в любовь.

– Нет, верю, только считаю, что от нее больше мороки, чем удовольствия.

– Мне бы твое безразличие, – протянула Мисмис. – Моя жизнь стала бы намного лучше, но...

Перебив себя, она попросила увеличить громкость. Приемник немного барахлил, на что все сильно злились. Мисмис в нетерпении кусала ногти и проглатывала ошметки коричневого лака. Альберт забрал ее руки в свои и сжал – так они и слушали результаты выборов.

– Сто семь мест, – сказала потом Мисмис. – Вместо сорока, как мы договаривались... Получается, это судьба. Это знак, что я не ошибаюсь!

И она уткнулась глазами в раскрытые ладони. Понимая, что ей плохо, Альберт вышел поймать такси, а после уговаривал ее поехать домой, а Мисмис слабо повторяла, что «случился рок» и она обязана ехать к Германну, чтобы «по-

скорее пожениться».

– Сейчас ночь, ты собралась жениться прямо сейчас? – спросил Альберт.

В машине, уткнувшись в плечо брата, Мисмис успокоилась и уставилась в темное окно. Безразличное присутствие таксиста ее не сковывало.

– Я беременна, – прошептала она.

Не услышав ответа, она взглянула на Альберта – он не то чтобы был поражен, он не осознавал, что она с ним серьезна.

– Я беременна, – повторила Мисмис. – От Германна. Не спрашивай, как у нас получилось, это я настояла, чтобы... было меньше сомнений после. Я не собиралась беременеть, я узнала позже, но... я бы сделала аборт, честное слово, если бы сегодня сложилось иначе. Я дала себе слово: что я сохранию ребенка и стану его женой... если такова воля судьбы. Оттого я привязалась к этим выборам. Мне... я слабая, Бертель, я не смогла принять решение. Партия решила это за меня. Скажи, ты считаешь меня испорченной?

– Нет, – после паузы ответил Альберт.

Он мельком взглянул в ее глаза и отвернулся. Слова Германна стучали у него в голове: «Мисмис важно ваше мнение. Вы, наверное, не знаете, но Мисмис считается с вами больше, чем с родителями». Он взглянул снова – младшая сестра, к которой он в детстве страшно ревновал мать, что бесконечно бесила его раньше, брала лучшее и считала, что ей можно все, которую он критиковал и любил, – она смотрела

на него с надеждой – что он примет за нее решение, и это решение прозвучит убедительнее «решения партии». Сумев расстаться с Альбрехтом, она все же не могла согласиться на Германа и мечтала, что некая сила (политическая или семейная) спасет ее. В темных глазах Мисмис отражались мольба, желание и растерянность. Он заставил себя заговорить:

– Марта, я знаю, чего ты хочешь от меня, но... я не имею права решать за тебя.

– Бертель, я сделаю, как ты скажешь! Тебе со стороны виднее!

– Нельзя решать... со стороны. Я знаю, ты привыкла, что за тебя решают все остальные...

– Я хочу уйти из этого дома! – выпалила она.

Испуганно он схватил ее руки – показалось, что Мисмис вцепится себе в волосы. Он посмотрел на затылок таксиста – тот не реагировал.

– Успокойся! Тише же, Мисмис!..

– Я хочу уйти! Отпустите меня! Я не хочу больше так жить! Я не могу! Мать меня ненавидит!

– Что ты говоришь? – оборвал ее Альберт.

– Она во мне разочаровалась! Я... больше не ее очаровательная... красивая кукла! Черт! За это она хотела дочь? Чтобы я была ее куклой? Сейчас-то со мной не получится играть! Меня больше нельзя наряжать в платья, какие она захочет, расчесывать мне волосы, сюсюкать со мной, я же больше не маленькая принцесса, я взрослая, у меня свои чувства,

свои проблемы! Она ни разу, ни разу, Бертель, не говорила со мной, как с человеком! Как со взрослой! Ни разу! Я вижу, как она смотрит: от меня много проблем, я ее не слушаюсь, мы чужие, она не хочет меня обнять, спросить, что я чувствую! Бертель, это невыносимо! Я ничего не могу ей рассказать. Она ничего мне не объяснила. Я хочу уйти!

– Не трогай себя, не нужно! – Альберт крепко сжал ее руки.

– Я хочу вырвать эти...

– Не нужно ничего рвать! Мисмис, я говорил тебе: поезжай со мной в Мингу! Почему ты не послушалась?

– Да как можно жить в том доме? В том доме изнасиловали нашу мать! Там жил наш брат! Его убили! Я сойду с ума! Я взрослая, Бертель, я помню и все понимаю!

– Герман лучше? – рявкнул он.

Марта вырвала у него руки и прижала их к окну.

– Ничего не изменится, Мисмис, – зло сказал Альберт. – С ним ты будешь той же куклой. Ты будешь куклой до тех пор, пока не научишься жить самостоятельно и отвечать за свои поступки!

Беззвучно она заплакала.

Таксист, остановившись, спросил плату на треть больше положенного. Безразлично Альберт заплатил, сколько просили, и поволок обессиленную Мисмис в дом. Там спали, никто их не встречал, чтобы узнать результаты партии.

Мисмис прошла, как была, в гостиную и упала на коле-

ни близ материнского кресла. В ее жесте Альберт рассмотрел театральность и не спешил ее утешать. Мисмис плакала, уткнувшись в мягкий подлокотник.

– Что бы ты ни изображала, я не приму решение за тебя, – сказал он. – Ты взрослая женщина, сама говоришь. Так зачем тебе я или выборы, если ты хочешь быть взрослой и самостоятельной?

– Ты не на моем месте, – выпалила она, – ты понятия не имеешь, каково это – брак и ребенок!

– Тем более – если я не имею понятия, почему я должен решать за тебя?

Она шмыгнула носом и встала. Лицо ее приобрело странное выражение – жестокости, злости и страха.

– Я не смогу жить одна... нет, нет! Не смогу!.. Не после того, как сделаю аборт. Мне страшно. Мне... Ты бесчувственный! Я ничего не знаю! Я не понимаю, кто я, что мне нужно! Ты не хочешь мне помочь! Ты меня не любишь!

– Естественно... Спокойной ночи, Мисмис.

Спалось ему плохо – снилась сестра и ее то жалобное, то злое выражение, и их разговор был не реален, иллюзией, воображением сна.

Утром Марта не показала, что помнит вчерашнее: она спокойно села за стол и спокойно же доложила, что партия восторжествовала и вопрос ее брака окончательно решен. С облегчением Лина сказала:

– Ты права, вы с Германом прекрасно уживетесь. Он те-

перь сможет о тебе позаботиться.

– Он станет больше зарабатывать, нам уже сказали, что зарплаты повышают, – ответила Мисмис.

– Тем более. Мне нравится этот юноша.

Отчего-то ему стало совестно. Мисмис улыбнулась ему. Она чувствовала его и знала, что может, и так легко, его ранить.

Их попросили «спрятать» опального журналиста, опубликовавшего расследование о коррупционных схемах президента. Журналист появился вечером, его выпустили из черной машины и провели в здание прокуратуры. Он небрежно вертел в руках зажигалку и посматривал по сторонам – считал ступени, плитку на полу, завитушки на дверях. Им был Альрих Аппель – Альберт узнал его по глазам, в которых блестело беспокойство.

– Приятно тебя... видеть, – запнувшись, сказал Аппель.

Они не удивились – Альберт читал его расследование, а Аппель знал, что о нем позаботятся столичные прокуроры. Кратко поздоровавшись, они прошли к служебной машине, и та отвезла их в богом забытый отель в нескольких километрах от столицы. В пути Аппель не говорил, в позе его прослеживалась тревога, недоверие. Чувствуя напряжение его, Альберт, однако, не спешил с разговором и тянул время. Морально он не был готов к встрече с Аппелем. Но крошечном и мрачном номере он пожалел, что не заговорил раньше:

молчание давило, невысказанные чувства сжимали внутренности. Альберту захотелось уйти – и плевать на былую близость с Аппелем и рабочее задание, по которому требовалось «изложить права», а точнее объяснить, на сколько Аппель застрянет в этом темном, скучном месте.

Аппель бросил пиджак на постель и пересчитал пластинки на столе.

– Конечно, они принесли мне музыку. Но 7 штук – это безбожно!

Косо он взглянул на Альберта, что в нерешительности застыл в дверях. Аппель поставил запись Малера и попросил:

– Закрой, пожалуйста, дверь, не хочу, чтобы нас слышали чужие.

Он закрыл дверь; ноги его не слушались, но присесть, кроме постели, было некуда.

– Присаживайся, я не возражаю, конечно же...

– Не стоит, я на минуту.

– Конечно... Ты что-то обязан мне сказать?

Он терпеливо слушал, как Альберт рассказывает о его положении: что он, Аппель, останется в отеле, под защитой столичной прокуратуры, как свидетель, с которым могут расправиться «важные личности» (Альберт их не называл); что он не имеет права покидать отель, не получив разрешения прокурора, а необходимое ему привезут после звонка на ресепшн. Слушая, Аппель открыл занавески на окне и посмотрел вниз, с четвертого этажа. Внизу расстился туман, за-

крывая кроны вишен.

– В окно смотреть не стоит, – перебил его размышления Альберт. – Иначе тебя заметят и...

– И что же? – сухо перебил Аппель. – Неужели меня пристрелит снайпер-депутат?

– Положим, не депутат, но кто-то из личной охраны – возможно.

– Мне, конечно, все равно. Пристрелит – получается, такова судьба. Я вообще, признаюсь, против этой идеи с прятками. М. спятил, если считает...

– М. поступил правильно, что связался с нами. В интересах его издания сохранить тебе жизнь, Альдо.

Аппель странно дернул плечами, услышав старое итальянское прозвище. Потом он схватил пиджак и из внутреннего кармана достал крошечную бутылочку виски.

– Я сказал, чтобы тебе не приносили алкоголь, – сказал зачем-то Альберт.

– Конечно, очень мило с твоей стороны! Вы оставили меня без всего! Черт, Берти! – Аппель уселся на кровать и глотнул из горлышка. – Ты считаешь, я выдержу? Без всего? У меня ни книг, ни музыки нормальной нет, 7 пластинок, черт бы их сожрал! Что мне делать целыми днями? Плевать в потолок?

– Явно не пить.

– И окно не открывать! Может, и не курить? Конечно, Берти, у меня есть деньги, и плевать мне, что ты сказал бабе-порти,

ть. Я заплачу ей, чтобы она принесла мне выпить! Отстань со своими нравоучениями, ей-богу!

В минуту Аппель выпил бутылочку, бросил ее на ковер и растянулся на постели с обреченным выражением. Альберт, который собирался уйти пять минут, неотрывно смотрел на него. Злой и растерянный Аппель будил в нем старое переживание – сопричастности и, может быть, нежности; то было остро-приятно, и тяжело было держаться, чтобы не присесть близ Аппеля и не потрепать его по плечу.

– Альдо, я знаю, что тебе не хочется торчать тут, но, пойми, я должен позаботиться о тебе. Это моя работа.

– Заботиться о писаках? Я думал, ты в суде выступаешь.

– Это тоже. В основном, это. Но спрятать тебя... Хочешь, я привезу тебе книги? Какие хочешь?

– «Партенау» хочу. Это новинка, купи у старого Якова с Н. Скажи, что от Аппеля, у него скидка есть.

Пообещав, что вернется через неделю, Альберт поборол в себе желание остаться.

В лавке Якова он купил «Партенау» и из любопытства, в часы обеда, прочитал книгу, которую рекламировали на каждом углу. За чтением он спрашивал себя, знает ли Аппель содержание романа, быть может, не читал его, но слышал, вокруг чего выстроен сюжет. Вручая «Партенау» Аппелю, он краснел, словно был виноват в чем-то.

– Ты ее читал? – спросил тот, заметив, как ослаблен переплет.

– Эм... фрагментарно.

Аппель не стал уточнять. Альберт уехал от него в беспокойстве, но и с облегчением, что Аппель больше ни о чем не спрашивал. «И не поговорил со мной, а в прошлый раз жаловался» – мелькнуло у него, вызванное молчаливым настроением Аппеля.

Он пробовал понять, как относится к Альриху, Альдо, Аппелю, к которому тянулся в университете, но о котором не беспокоился потом. Не появившись Аппель на пороге прокуратуры, не возложи на Альберта о нем заботу, он и дальше бы не вспоминал университетского приятеля. Проклятая манера считать, что сливается с невероятной способностью замечать самые мелкие детали – наверняка Аппель знает его лучше него самого, помнит, какое расстояние у него между глазами, какой длины нос и какой ширины губы. Его невыносимое «конечно», невыносимое, так сильно хочется воскликнуть: «Ну и что мне твое "конечно"? Убить тебя за него мало!». Раз он вспомнил, что как-то они с Аппелем целовались на балконе – чей же это был балкон, какой знакомой? Воспоминание это Альберт поскорее загнал обратно – свидетельство, что обоим стоит бросить пить. Как назло, оно вылезло из бессознательного, стоило ему только открыть дверь в номер.

Аппель был немного пьян; он лежал на постели и размахивал бутылкой, словно пытаясь нечто начертить на потолке.

– Ты пьян! – воскликнул Альберт.

Аппель в удивлении на него уставился.

– Конечно... И чего?

– Я сказал тебе ясно: не пить тут!

– И чего? А я сказал, что выпью! Эй, не трогай бабу-портье, она хорошая, честно, Берти! Я умолял ее! Я обещал на ней жениться и увезти в столицу! Ты привез мне что-то?

– Пластинки. И книги. Гюго, он длинный, и Фонтане.

– Черт, не Фонтане! Ни за что!.. Берти, Берти, поставь мне музыку.

Он послушался: в тесной комнате, что вмещала в себя лишь кровать и столик, величественно зазвучала симфония Бетховена. Аппель, что рассчитывал на легкую современность, громко выругался.

– Черт, Берти, она грустная! Под нее рыдать охота! Есть повеселее?.. Что, ничего веселого. Ненавижу, конечно, твой вкус, его привил Петер, зазнайка Петер, чтобы его Цербер сожрал! Послушай со мной. Мне плохо!

Альберт колебался: алкоголь действовал на Аппеля порой непредсказуемо, вгоняя его то в ярость, то в уныние, то в сильный восторг, в котором он разбрасывал деньги и грозился зацеловать любого в поле своей видимости. Он кратко осмотрел комнату, в которой Аппель жил невольным узником. Провинциальный номер, в котором и пройтись нормально было нельзя, настолько он был мал, внушал безысходность. Казалось, из потребности Аппеля спасти, его попутно пытались свести с ума этим заточением. Альберт при-

сел на постель и усталился на бутылку, которая оказалась у него левой ноги.

– Потерпи до осени, – сказал он. – Мы внимательно следим, не интересуется ли тобой кто-то. Если за тобой не придут, мы тебя отпустим.

– Да бред это все! – воскликнул Аппель. – Если бы он хотел меня грохнуть, уже бы сделал это, конечно, вы бы меня не спасли от его стрелка. Да, я говорил знакомым, что меня увозят прокурорские, и у окна я часто стою, и никого там, конечно, нет, никому я не нужен! Да... на журналистов плевать. Мое расследование бесполезное!

– Это не так, – возразил Альберт, – ты был прав, мы многое узнали. Оно не бесполезное.

– Ага, конечно. Но знаешь, кто от него выигрывает? Всякие радикалы вроде твоего папочки, которые орут: «Посмотрите, это плоды демократии! А вот у нас коррупции не будет!». Наплевать! Не хочу об этом думать! Достала политика! Буду писать о разведении кактусов.

Они помолчали. Зачем-то Аппель раскинул руки, и правая, кончиками пальцев, почти коснулась запястья Альберта. Из сочувствия или тоски по былой необязательной близости тот не отодвинулся.

– Спасибо за книги. Я перечитал «Партенау» пять раз. Она ужасна, но... конечно, в чертовом номере тяжело ее не полюбить. Хочешь, расскажу?

– Что?

– Ох, конечно, как «роман из жизни армии» – это провал. Ох, черт, ломит в висках! У меня знакомые офицеры, они бы высмеяли стратегические планы героя. Меня отторгает, конечно, болезненный национализм, на Юге нет такого национализма, как у этих... хм... извини. Но, опустив это... не знаю... как Кибольд не понимает, что мучает Партенау? Ты читал это? Как считаешь?

– Эм, не знаю, – проямлил Альберт.

Разговор внезапно приобрел оборот, которого он боялся. Нечто мешало ему встать, убрать руку от руки Аппеля, мечтательно-пьяные глаза которого словно пытались его загнипотизировать. Комната утратила реалистичность.

– Конечно, мне очень жалко Партенау, – тихо говорил Аппель, – он был умным и талантливым, и безумно любил Кибольда. Настолько, что решил застрелиться, чтобы не мучить любимого своими притязаниями. Кибольд, конечно, туп, как тупой нож, и бесит так же. «Лето в кителях» в этом смысле лучше. Но песенка из этой книги просто сжирает твой мозг: «Привет, лето в кителях. Привет, служба в сапогах...». Партенау самоотверженно избавил любимого от тяжести – нести крест этого знания. Но почему Кибольд мучает его? Почему не замечает?

– Эм... быть может, он верит, что они с Партенау смогут остаться друзьями.

– Конечно, что за дружба, в которой один любит, а другой равнодушен? Партенау старался, мечтал, что Кибольд оце-

нит его ум, пронизательность и преданность, и поймет, что ни одна женщина не полюбит его с подобной самоотверженностью.

Альберт открыл рот, чтобы, во-первых, сказать, что не помнит изложенного Аппелем в книге, а во-вторых, что этакая жертвенность является одержимостью, а не любовью, – но не успел ничего сказать. Порывисто и с неожиданной, не пьяной, силой Аппель прижался к его телу и открытым губам. За этой яростной внезапностью прятались тоска, отчаяние и страшное одиночество.

С еле слышным вскриком Аппель отстранился и схватился за укушенную губу.

– Прости...

Альберт не понимал, за что извиняется. Ему стало совестно от растерянного выражения Аппеля, и он воскликнул:

– Ты спятил! Ты ненормальный!

Мимолетно в глазах Аппеля блеснула сильная обида, но тут же сменилась злой усмешкой. Больную губу он облизывал с приглушенным смехом, а затем сказал:

– Это шутка! Хотя хорошо, я тебя дразнил, был уверен, что ты из этих, не иначе!

– С чего ты это взял?!

– Конечно, с того, что ты не спишь с бабами. Извините, с женщинами. Должен же ты хоть с кем-то спать!

– С чего ты взял? Альрих!

– Не называй меня Альрихом! Достало!.. Я тебя знаю дав-

но. Ты не спишь с женщинами! Значит, спишь с мужчинами! Конечно, это логично. Я хотел проверить, так ли это. Ясно? Ничего личного!

Логичнее было бы оскорбиться, но, кроме усталости и неприятной пустоты, Альберт ничего не испытывал. Не осталось и минутной неприязни к Аппелю, который так сильно хотел его, что не умел держаться и воображал схожее влечение в нем, объекте своей одержимости. Вранье вызывало разве что жалость, но никак не злость или омерзение. Альберт встал с его постели.

– Я не сержусь, – пробормотал он. – Не извиняйся, я... ничего не изменилось.

– Конечно, ничего, – иронично ответил Аппель. – А разве могло измениться?

– Ты прав – не могло. А... секс мне не интересен. Дело не в женщинах или... остальных.

– Почему? – выпалил Аппель.

– Не знаю. Это... мне сложно объяснить. Я пойду, Альдо.

– Да как это может быть?

Глаза его исчезли – Альберт закрыл дверь. На лестнице, между вторым и первым этажами, он остановился и прислонился к стене. Поцелуй Аппеля терпеть было легче, чем его недоумение.

– Петер говорил, что вы в столице, – сказала Мария.

Она неловко вытянула ноги, но, заметив, что у нее оголе-

ны колени, покраснела и поправила юбку. Она оглянулась на Петера: он копался в газетах, отыскивая выпуск, в котором вышли его стихотворения. Глаза ее были печальны. Петер возвратился к ним и улыбнулся неестественно-правильной улыбкой.

– Я, признаюсь тебе, плохого мнения о них, но... меня уговорили, я бы не позволил себе...

Петер Кроль замешкался, но и в этом было что-то элегантное. Совершенство его, столь возмутительно ослепительное, как и раньше завораживало Альберта.

– Я всякий раз говорю себе: хватит, ты обычный юрист, серый человечиска, – тем временем говорил Петер, – не тебе летать в невесомых сферах истинного творчества. Но я не могу остановиться. Мне совестно, невыносимо совестно, что я не могу не творить! А отказывать партийной газете, после помощи твоего знаменитого родителя... право, я бы совершил низкий поступок. Кете заявила, что они ужасны. Пожалуй, я с ней абсолютно согласен, но... Как ты считаешь, Альберт?

– Эм... я не силен в поэзии, я читаю прозу, – ответил тот.

Он сотый раз пожалел, что спросил приятеля о его творчестве – и чертова Мария, что о том заговорила! Стихи были не ужасны, как Петер, кокетливо или нет, заявлял – нет, они были неосознанно отвратительны и не уступали в этом качестве статьям Кристиана Мюнце. Мысленно Альберт обозвал демократию, позволившую печатать этакий бред:

«Плачь, Европа, не тебе  
Говорить о злой судьбе  
Нашего народа  
Боевого.

Бей за наших, "Хаттушка",  
Все сметешь за матушку,  
За края родимые  
Испокон.

Эх, узнают вражины  
Месть за мили-сажени  
Нашей территории  
Отнятой.

Слушайся нас, "Хаттушка",  
В бой зовет нас матушка-  
Родина, и за края  
Наши.

Эх, Европа задрожит:  
Знает ведь – не победит  
"Хаттушку", и все дотла  
Сгорит.

Заряжай же, "Хаттушка",  
Бей по ним, и матушка-  
Родина запомнит твой  
Героизм».

– А что такое «Хаттушка»? Мне упорно слышится «тушка».

Автор любезно пояснил, что посвятил творение новой артиллерии, получившей название в честь хаттов – коренного населения.

– Я слышала, они напишут песню, – тихо сказала Мария, – на стихотворение, и исполнят ее близ новых выборов. Это ваш шанс стать знаменитым поэтом.

– Не хочу быть знаменитым поэтом, – с элегантною капризностью ответил Петер, – хочу быть гениальным.

– Боюсь, это не в вашей власти.

Мария извинилась и сказала, что должна накрасить губы. Ее тактично отпустили. Стоило ей только выйти, как Петер бросился в кресло и, вытянувшись в нем, как объевшийся кот, заявил, что Альберт плохо «смотрится». Шарф Альберта, по его мнению, был вульгарно английским, брюки – излишне широкими, а носки – яркими. Петер расстраивался: несколько лет внушений, что нельзя заменять галстук на шарф, каким бы красивым тот ни был, прошли зря; Альберт упрямо сопротивлялся его чувству высшего стиля.

– Неужели тебе разрешают носить шарф на работе? – Он

был поражен.

– Я снимаю его в кабинете. Посетителям все равно, а в зале я в мантии, никому нет дела.

– Я был бы оскорблен!

– Почему? Тебе что, прокурор нужен, чтобы его рассматривать? Или чтобы он тебе помог?

– Прокурор должен быть красивым, – заявил Петер, – он все же лицо правосудия. Считаю, нужно отбирать прокуроров по стандартам актеров.

То было так смешно, что тяжело было не рассмеяться. На его заразительный смех Петер лишь улыбнулся и стал спрашивать, не разочаровался ли он в работе, не хочет ли уйти.

– Понимаю, сложно, иначе быть не может, – на его ответ ответил Кроль. – Признаться, я не думал, что ты задержишься в прокуратуре. Не обижайся – во-первых, из-за твоей неопытности; во-вторых, из-за обстановки. Оттого мне приятен... твой ответ.

– Нет, я не жалею, но все равно это не так, как я рассчитывал, – признался Альберт. – Я представлял себя, как книжного героя или... героя фильмов о детективах, которые ловко распутывают преступления. А я сижу за столом, копаюсь в бумажках, боюсь за каждое новое дело – как бы не провалиться и не получить выговор. Понимаешь, я... мне не нравится работать с подсудимыми.

– О-о-о, ты считал, они будут похожи на Мориарти?

– Наверное. А они... твари конченные, их трусость, уверт-

ки, ложь, сплошная ложь, страх наказания, тупость, пьянство... изо дня в день одни и те же трусливые, гнусные, испытанные морды, грязные исколотые руки... страх и трусость. Даже на нормального человека в этой обстановке как на врага смотришь. Ты сам, со своим законом, в их глазах первая мразь, ты их враг, их всех, и они боятся тебя и ненавидят.

– О-о, это естественно, – ответил Петер. – В нашей стране все ненавидят полицейских с прокурорами. Больше ненавидят только налоговых инспекторов.

Возвратилась Мария и сказала, что собирается домой. Внимательно посмотрев на Альберта, она добавила, что нынче у ее тети приемный день, и он, если хочет, может заглянуть к ним на чай с печеньем.

– Я с вами, – вставил Петер Кроль, – к Жаннетт обещал прийти Г. Он говорил что-то об исполнителях.

Они поехали на такси. Полчаса, что они ехали, Петер с придыханием доказывал, что «это не замечание, я по-дружески советую. Слушай, Берти: это сочетание – плохое! Тебе нужно от него избавиться!». Альберт словно бы не слышал. Он косился на обнаженное запястье Марии, что лежало слишком близко к его ноге. Желания коснуться его не было, но внутри вертелось смутное чувство – смесь страха, нерешительности и слабого предвкушения. Мария изменилась с их последней встречи в Минге – теперь близ него сидела молодая женщина с тонкой кожей и мягкими волосами. Альберт знал ее – и вместе с тем не знал. С ней было спокой-

но и безопасно – и непривычно страшно. Разбираясь в себе, он заметил, что волнует его, однако, не Мария – нет, осознание, что прошло несколько лет, а значит, выросла не одна Мария... Он откашлялся: ему стало не по себе. Мария не заметила этого, она смотрела на него, как на старого приятеля. Мужского для нее в нем не было ничего.

Они вышли у дома на набережной. Альберт ругал себя, что воспользовался отгулом на работе. Он волновался и злился: зачем он опять пришел к этим людям? он оставил их в прошлом, в Минге, они напоминали об университете, о былом доме, зачем он заявился к Кролю, зачем пошел с Марией, если не желал этого? Он толкнул Марию и забыл извиниться. Лишь теперь она заметила, что он не похож на себя.

– Вам нехорошо? – спросила она.

– Нет... нет.

Квартира была иная, но хаос не отступил. Пышноволосая Жаннетт царствовала в окружении каких-то политически активных гостей, а те успешно лавировали в «переулках» между разномастной мебели. Кто-то пролил чай и громко извинялся. Жаннетт кричала, что ничего страшного и пусть он из кухни возьмет новую чашку. Некто доказывал, что коммунисты уничтожают честный бизнес. Спрашивали, нет ли телефона известного генерала из Генштаба. Жаловались, что «мы вот-вот умрем, если не примем правильное решение... Боже, какая бездарная эпоха!». Альберт решил, что обязан привести в этот великолепный хаос Аппеля, а может, и Гер-

мана с Альбрехтом.

– Возьмите. – Мария принесла из кухни чай.

У гостиной она оглянулась, в глазах ее отразилась неуверенность; она сказала:

– Если вам нужна Катя – дверь справа.

Он остановился на пороге гостиной, заметил, как приветливо махнула Жаннетт – и взглянул на дверь, о которой сказала Мария. Он отступил от мужского спора. Дверь легко открылась – и навстречу ему встали. Обе девушки были испуганы.

Катерина и незнакомка, тоже очень юная, оставили круглый стол и смотрели на него. Он сразу узнал ее – лицо ее стало взрослее, но прежними были темные глубокие глаза, веснушки и золотисто-рыжие волосы. Она покраснела и вытерла руки о юбку.

– Это... вы пришли, – пробормотала она.

– Извините, я... – Он не знал, что говорить. – Ваша сестра сказала, чтобы я зашел к вам...

Незнакомка безразлично рассматривала его.

– Присаживайтесь. – Кете кивнула на стул у окна. Она покраснела сильнее. – Мы закончили, но...

– Простите, что помешал.

– Нет, не помешали. Мы с Софи... она предсказывала мне судьбу. Мы закончили. Так же, Софи?

Софи пожала плечами.

– Нет, останьтесь, – попросил Альберт. Он не хотел оста-

ваться наедине с Кете. – Я старый знакомый Катерины и Жаннетт. Я хочу сказать... – Нужно было что-то говорить. – Вы умеете гадать на судьбу? Это очень интересно.

– Вы считаете? – безучастно спросила Софи.

– Эм, почему бы и нет? Это любопытная игра. – Что он такое говорит? – Возможно, вы и мне что-то хорошее скажете? На ближайшие десять лет?

– Нет, нет, это шутка, – поспешно сказала Кете.

– И что же?

– Это глупо. Софи...

В уголках губ Софи возникло подобие ухмылки. Ничего не сказав, она вышла. Дверь она оставила приоткрытой.

Кете опустилась в кресло у стола. Красивые плечи ее опустились, руки обхватили колени – она была настороже. Молчание казалось невыносимым. У нее была белая и аккуратная шея, кисти рук – тонкие и нежные, волосы блестели золотом, в них запутался свет...

– М-м-м... как же вы нашли нас? – сглотнув, спросила Кете.

– Эм, я встретил Марию у Петера Кроля.

Ничего ужаснее с ним случиться не могло.

– Поставьте чашку, – внезапно сказала Кете, – у вас чай сейчас разольется.

В его правой руке чашка – как о ней можно забыть? Чашка еле слышно стучала о блюдец. Он поставил чай прямо на пол – невысказанно было, что он встанет и приблизится к сто-

лу. Кете справилась с собой: она выпрямилась – и вышла за шахматами, и расставила их; в ее глазах болезненно застыло понимание – что решать должна она, она должна побороть неловкость, у нее есть силы, а у Альберта – у него сил нет. Он боялся пошевелиться.

– Вы играете белыми, – сломанным голосом сказала она. Ее самообладание заслуживало большего.

– Хорошо, – согласился он.

Опасливо он заглянул в ее глаза. Вблизи она была незнакомо красива. Но он сел напротив – и почувствовал, что возвратился, что близ него не чужая девушка, а любимая им почти братской любовью Кете, та маленькая Кете, которой он носил конфеты, что капризничала с ним, резала руки, бросала в него фигурами, если проигрывала, а после плакала, читая стихотворения из учебника. Кете выросла, но он узнавал ее. Он закрыл глаза, открыл – и с облегчением заметил, что любит ее прежней беспечной и бесстрастной любовью.

– Ты очень выросла, Кете, – со спокойной теплотой сказал он. – Так выросла, ты стала очень красивой.

– Да?.. Вы считаете?

– Уверен, что не я один так считаю.

– Ох, это мило! Вы невозможно милый!

Со схожим облегчением она рассмеялась. Неловкость исчезла.

– А вы слушаете потом, что я написала в сочинении? Нам сказали написать о «Тонио Крегере». Мне он ужасно не

нравится! Ужасный сноб! Мне кажется, я провалюсь – учитель-то от него без ума!

– А кто твой любимый герой?

– Хм... Фридрих из «Долой оружие» Берты фон Зуттнер. Идеальный мужчина!

– Кстати, ты же говорила Петеру, что его стихи ужасны?

– Разумеется. Они ужасны. Я и то лучше напишу: «Я русая, и мне повезло. Я русая всем брюнеткам назло!».

Она знакомо смеялась – и как же с ней было хорошо и спокойно! Зачем он ушел? Почему не вернулся к ней раньше? Ты замечательная, Кете. Ты замечательная.

## 1940

Софи открыла дверь и впустила ее в комнату. Случайно Мария взглянула в ее глаза – там застыло мертвое безразличие. Поразительно было, что столь утонченное, нежное внешне существо не испытывает ничего, кроме вселенского равнодушия. Растеряв уверенность, Мария спросила, с ней ли Петер Кроль.

– Я знала, что вы навестите нас, – так, словно это Мария была у нее в гостях, сказала Софи. – Он в ванной, постучаться к нему?

– Я... постучи.

Софи возвратилась со словами, что ее муж сейчас появится.

– Вас оставить? – спросила она.

– Да.

Знает ли Софи, как она хочет схватить со стола, вон того, у окна, схватить нож для бумаги и вонзить его... Она закрыла глаза, воображая себе, как кровь брызнет на ее веки и губы. Не верилось, что ранее она испытывала к Кролю что-то, кроме ненависти.

Пропустив мужа в комнату, Софи вышла. Мария слышала, как она зашагала в сторону библиотеки. Боясь потерять равновесие, она села на застеленную постель; от безупречности Петера Кроля ей стало не по себе – вспомнилось, какое влияние он имел на нее десять лет назад. Словно ничего не произошло, Кроль отвесил ей любезный поклон и опустился в кресло. С минуту они смотрели друг на друга: Мария – с недоумением, почему же злость ее рассосалась, а Петер – с убийственной вежливостью.

– Приятно, что вы зашли, Мария, – прервал молчание он и улыбнулся.

Она, казалось, лишилась языка.

– Сожалею, что оставил после себя... некоторые неприятности. Хочется верить, что вы опечалены меньше, чем... показалось моей жене. Ужасно...

Она оттаяла. Сил, чтобы встать, не осталось, но в голос она вложила столько злости, что у Петера взлетели брови:

– Зачем ты это сделал?

Он не ответил. Брови его вернулись в обычное положение.

Но больше он не улыбался.

– За что, за что ты так ненавидишь нас? Меня? Дитера? За что?.. Что мы тебе сделали? Ты пришел в наш дом, жил с нами здесь... и привел к нам этих? За что?

– Если твой муж ни в чем не виноват, его отпустят, – тише сказал Петер.

Она прикусила язык: не хватало раскричаться... а если их слушают, если записывают их разговор, а она сейчас невольно выдаст Дитера? Не хватало признаться в серьезности их положения.

– Я хочу, чтобы вы уехали из моего дома, – отчетливо проговаривая каждое слово, сказала Мария. – Сейчас. Немедленно. Я не собираюсь... Это мой дом!

– Я сожалею, но уехать не могу, пока не закончатся следственные мероприятия.

– Аппель уезжает сегодня! – перебила она.

– Аппеля призывают в армию – это особые обстоятельства. Меня никто не призывает, я не на службе, я – основной свидетель.

Это был тупик: спокойствие Кроля невыносимо злило ее и вместе с тем лишало ее решительности.

– Я... чувствовала, что ты донесешь, – сумела произнести она.

– Вот как? Я же чувствовал, что ты придешь ко мне поговорить.

Можно не сомневаться, что он готовился, он слишком

хорошо знает ее, помнит ее слабости – эмоциональность, прежде скрываемую за зажатостью, упрямство, неспособность признать поражение... Она схватилась за простынь, чтобы справиться с мелкой дрожью.

– Что тебе нужно от нас? – выпалила она. – Зачем все это?

– Не во имя славы доносчика и хорошего партийного, – Петер смотрел мимо нее. – Ты не согласишься, но я не испытываю ненависти к тебе или твоему мужу. Мой поступок нельзя объяснить чувствами к вам. Честно признаюсь, к тебе я не чувствую ничего, ты мне... безразлична. Ты не знаешь этого?

«Ты мне безразлична» – прозвучало унижительно. Не то чтобы она имела некие глубокие чувства к нему, но – приятные воспоминания, юность... Петер, частый гость ее тети, требовательный и ласковый, не столько мужчина, сколько учитель, что мечтает вылепить из нее Галатею. Ее – нет, не влюбленность, но иллюзия, что она особенная для взрослого мужчины, та же иллюзия, что погубила Катю, которая слишком сильно любила Альберта. Но ей хватило ума понять, что чувство, испытываемое к ней, – не любовь и даже не увлечение, а интерес несостоявшегося художника, ужасного музыканта, пошлого поэта. Но отчего унижительно слышать его признание? Втайне она верила, что, лишившись ее, он ревновал ее к Дитеру. Тем более ревность бы объяснила все, у доносительства появилась бы логика, человеческий смысл, это было бы преступление отвергнутой страсти, а не партий-

ной дисциплины.

– Ты всего лишь хотел выслужиться, – наконец сказала Мария, – выехать за наш счет... раз уж мы такие плохие с ним. Но правильнее было бы не приезжать, раз решил писать донос на хозяев, или я не права? Ты сделал это в столице?

– Нет, я позвонил по телефону, – ответил Петер. – Я сказал, что знаю о документах Сопротивления, которые хранит твой муж в кабинете.

– Как предусмотрительно с твоей стороны.

Он взял нож для бумаг и стал крутить, рассматривая тонкое серебристое лезвие.

– Я презираю это Сопротивление, – сказал он после паузы. – Его участники заслуживают наказания, и все же мною двигало большее, несравненно большее, чем долг. Рок. То, о чем говорила моя жена: невозможность противиться желанию сделать или сказать что-то. Я спрашивал Софи, почему мы не можем сопротивляться своей натуре. Почему не остановиться? Почему – не промолчать? Я чувствовал, что не могу промолчать. Личных чувств нет, достаточно потребности, жжения, которое гонит тебя... сделать это.

Голос его звучал как в легком трансе. Марии показалось, что он засыпает, и ее охватывал вместе с ним туман – странная покорность. Она качнула головой, чтобы прогнать: она смотрит вниз, далекий «вниз», кружится снег, забиваясь за воротник, слепя глаза, а она только что убила человека...

– Что теперь будет? – бессильно прошептала она.

– Ничего. Если получится, позаботься о моей жене... Софи все же – кузина твоего мужа.

– Не понимаю.

– Она сказала, что меня... нет, пожалуй, промолчу. Ни к чему тебе радоваться раньше времени.

– Почему не поговорить, как раньше? Обоим остается терпеть и ждать конца. Хочешь, я тебе объясню? Я тебе не объяснил... Ты помнишь, как мы познакомились с ней? Ты была при этом. Она появилась в гостиной Жаннетт, очень юная, и кто-то сказал, что эта крошка рассмотрит судьбу каждого. Ты рассмеялась и сказала, что такого не бывает – человек сам выбирает, как прожить жизнь. Я же был заинтересован. Был нежный августовский вечер. Да, это был август, но я помню, что на Софи была школьная форма. Одевалась она очень скромно – мать ее не баловала. Она была нелюбимой дочерью – почти как ты. Но эта склоненная головка, личико очаровательное, утонченное, а Жаннетт... она обнимала ее за плечи и что-то нашептывала ей. «Познакомьтесь, – сказала она потом, – это Софи, Софи Хартманн. Ну, что ты, Софи? Посмотри на наших гостей! Они тебя не укусят!». Как я разозлился на Жаннетт в это мгновение! Какая пошлость – эти ее слова! И Софи понимала, чувствовала это. Но я увидел ее глаза и смог рассмотреть ее лицо. Тогда мне показалось, что глаза у нее некрасивого оттенка, грязновато-серого, но позже я рассмотрел, к счастью, что они – нежнейшие, оттенка грозового неба, и сколько в них было чувства, сколь-

ко затаенной нежности и душевной силы. Красивейшие глаза. В них были покорность, нежность, печаль, тоска – это были глаза ласкового и глубокого человека, уязвимого, ранимого, чуждого нашему миру жестокости и насилия. Я был очень рад, что Жаннетт усадила ее в гостиной. Софи присела в уголке, опустив свою ласковую головку, руки положив на колени. Покорная и смиренная поза. Я не мог на нее не смотреть. Когда я не видел ее глаз, я понимал, что она девочка, школьница, лет на двенадцать меня моложе, но я не мог не смотреть на нее, настолько она была прекрасна, настолько умно и серьезно было ее замечательное личико. Я слышал, как Жаннетт сказала Альберту: «И что это Петер Кроль на нее уставился? Это становится неприлично!». Он ответил ей: «Вы оставили ее за тем, чтобы на нее смотрели, как на украшение. Чему тут изумляться?». Решившись, я спросил, могу ли поговорить с Софи о предсказаниях. Жаннетт не стала возражать – какое счастье. Мы остались вместе. Я размышлял, как глупы мои эмоции, но как особенно она смотрела на меня... Я был в ее глазах особенным – как и она была в моих. Это не влюбленность, это рок. Во мне она рассмотрела своего учителя, повелителя и мужа. Я позабыл, что связывало нас с тобой. Сколько сил, сколько душевных сил я вложил, чтобы исправить, воспитать в тебе внутреннюю красоту – и как ты сопротивлялась, и соглашалась, и снова сопротивлялась... Эта борьба с твоей испорченной натурой обессилила меня. В Софи я рассмотрел свое спасение. Мне льстило, что

я рассмотрел в ней неиссякаемый источник душевной силы. Ты хочешь спросить меня, как можно видеть внутреннюю красоту другого и желать ее подавить, надавить так, чтобы вытеснить ее красоту и заменить ее своей? Я сам того не понимаю. Я признаю: понимая, сколь замечательно, необычно это существо, я хотел его в самом ужасном смысле, я хотел уничтожить эту самобытность, я хотел уничтожить личное ее и дать ей свое, мое. Я желал абсолютной власти – чтобы она была моей, чтобы у нее не было иных мыслей, кроме моих, не было иных чувств, кроме мною испытываемых; я хотел быть творцом и хотел творить по своему подобию, чтобы ее душа и сердце не знали ничего, кроме меня, моих мыслей, моих идеалов, моей правды. Во мне живет творческое начало, ты знаешь, Мария: мои великие предки, композиторы и поэты, творили искусство, а я не умел, я мечтал стать гениальным поэтом, но написал отвратительные стихи, которые служат не вечной красоте, но политике, усмирению масс. Если нас я сравнивал с оркестрантами... то я был оркестрантом без инструмента. У меня нет желанного таланта – творить искусство, нести красоту, как я ее чувствую. Невозможно исправить дефект, он истощает меня. Поэтому я захотел сотворить своего человека. Я долго терпел. Я избегал тебя, понимая, что из тебя не получится мой идеал. Ты была своенравна и не любила меня. На меня нашло облегчение – ты сошлась с Гарденбергом. Я же мечтал о Софи. Прошло несколько лет – и снова я встретил ее, она поселилась у

твоего мужа и его первой жены. Мать ее с отчимом исчезли в лагере близ Минги. Я боялся, что меня не поймут. Я боялся, что они поймут, зачем я пришел. Помучившись, я решил узнать, где учится Софи, и у меня получилось. Я узнал, в каком классе она учится и когда заканчиваются ее занятия. И все же я с месяц колебался, нужно ли мне идти к ней. У меня болело сердце, я начинал трястись, думая, как я подойду к ней, как я с ней заговорю. Это было невозможно! Однажды я решился, это произошло внезапно: я был на работе и как-то случайно взглянул на часы, заметил, что они показывают половину второго, и вспомнил, что через полчаса у Софи заканчиваются занятия в гимназии. Тут я и решился: вскочил, взял пальто, сказал, что ухожу в столовую, а сам побежал к ней, к ее гимназии. Я заметил ее, выскочив из трамвая. Она вышла из гимназии и шла мимо парка. Я пошел за ней. На Софи было серое пальто с поясом и маленькая шапочка. Помню, она шла неспешно, вытаскивая из кармана миндаль и грызя его на ходу. Это было некультурно, но я был в такой горячке в это время, что нашел и это, грубоватое, забавным. Несколько миндалин она уронила. Я наклонился и подобрал их, положил в карман. Мальчишка-гимназист обогнал меня, задев плечом, не извинился. Я не успел сделать замечание. Он уже нагнал Софи и жестко толкнул в снег. Она упала, потеряв сапог с левой ноги. Разозлившись, я догнал мальчишку и ударил его, и, наверное, разбил ему губу. Он заметил, что я старше, и поспешил сбежать. Я не мог гнаться за ним,

я боялся за Софи. Она не сумела бы встать с земли, ей было больно. «Умоляю вас, пожалуйста, – закричал я ей. – Не шевелитесь! Пойдите! Ваш сапог!». Я нашел ее сапог в сугробе, вытер его носовым платком и, спросив разрешение, надел ей на ногу. Она встала с моей помощью, не взглянула на меня, лишь тихо, нежно сказала мне «спасибо». «Вы хромаете! Вы больно ушиблись? – волновался я. – Позвольте мне помочь вам. Мы знакомы, помните? Я знаю, я смогу довести вас, не беспокойтесь!». Протестовать она не стала, и это было мне приятно. Отважно она терпела боль в ноге, а я вел ее, бережно держа за локоть, и был счастлив, что она такая милая и смелая. Как он посмел ее ударить! Как можно обидеть нежное, незащищенное создание? Она не дала бы сдачи! «Часто вас бьют? – спрашивал ее. – Как они жестоки! Как это мерзко! Неужели некому за вас заступиться? Я не наскучил вам? Нет? Если наскучил, скажите, не бойтесь! Я не обижусь на вас». Я мог не спрашивать ее: по нежному лицу ее, трогательному наклону головки я понял, что не противен ей, более того – что она признательна мне и хочет быть приветливой со мной. Встретив ее симпатию, я уже не боялся приходить к ее гимназии. Я старался уходить с работы в одно и то же время, чтобы успеть к ней, успеть пройтись с ней до трамвая. На моей работе узнали, что я не хожу в столовую, и начали посмеиваться, спрашивать: «Где это вы прогуливаете свободный час? Небось к подружке бегаєте, ознакомьтесь с ней торопитесь?». Как это было мерзко! Это приземлен-

ные люди, которые не смогли бы понять моего светлого, яркого чувства; они знали только похоть и личную выгоду, они не поняли бы, как можно месяцами гулять с невинной девушкой, боясь к ней прикоснуться. Я был вежлив с ними, и они не знали, как я презираю их в глубине души. По моему лицу они угадывали правильно, невозможно было не заметить, что я безумствую. Я стал тороплив, беспокоен, убежал к Софи встревоженный, бледный, а приходил взволнованный, счастливый и румяный. Мне было стыдно показывать этим похотливым людишкам свои чувства, я боялся, что они испачкают меня, вываляют в грязи мою нежность, но я ничего не мог поделать со своим лицом и глазами, которые любому рассказывали о моих переживаниях. Тогда Софи со мной почти не говорила. Она вообще мало разговаривает. Обычно она так занята общением со своей душой, что не в состоянии поддерживать беседу. Но это было не важно. В первую очередь я вознамерился защитить ее от тех подлецов, что издевались над ней в гимназии, пользуясь ее незащищенностью и безответностью. За тем, как я поставил их на место, они стали избегать ее. Я был старше, имел профессию, опыт, я был партийным и мог смотреть на них сверху вниз. Как я был счастлив, что могу послужить Софи! «Вас больше никто не тронет, никто! – помню, я сказал ей, чтобы успокоить. – Никто не причинит вам боль». Нет, я не хотел ее в том примитивном смысле – в то время не хотел. Я хотел взять ее душу, изменить ее, чтобы она была моей, как мне нужно, я хо-

тел власти и любви одновременно – и властвовать, и любить ее, измененную мной, улучшенную. Она была восхитительна – и я понял, что она может быть большим... она может стать совершенной. Постепенно я завоевывал ее доверие. Сколько милых, забавных, трогательных моментов у нас было! Орхидеи к ее дню рождения. Не знаю... она не говорила, какие цветы ей нравятся, но я всю жизнь любил орхидеи и решил дарить ей именно их, огромными букетами. С какой теплотой она принимала все, что я дарил ей! Она брала эти маленькие вещички с благодарностью и надевала их, чтобы порадовать меня. Да, уже тогда она безоговорочно слушалась меня, и, чем теснее становилась наша связь, тем явственнее проступало ее желание соответствовать мне и моим вкусам. Позже я узнал от нее: она понимала, что мы уготованы друг другу. В ее глазах я был судьбой и принцем из таинственного сказочного королевства. И, повинувшись року, мечтая ко мне приблизиться, она слушалась меня. Она верила, что я прав, а это она – не права, если что-то ей не нравится. Ей нужна была любовь не меньше, чем мне. Ее любовь была трепетной и лишенной похоти, но я чувствовал, что она сильна, что это любовь высшая. Никто иной не мог тронуть ее, никто не мог войти в ее душу и что-то поменять в ней. Лишь обретая взаимную любовь, она стала мне доступна и покорилась, как я решил, полностью, с полной готовностью раствориться во мне. Это и было то, чего у меня не было с тобой: я не мог изменить тебя, потому что изменить можно лишь через лю-

бовь, покорившись ей, а этого у нас не было и быть не могло. А с Софи это – было. Наша платоническая связь укрепилась к тому месяцу, когда Софи заканчивала гимназию. Я не знал, как нам теперь видеться с ней, боялся, что в наши отношения влезет ее кузен Дитер. В тот день я подумал, что нужно ей сказать, как я люблю ее. Раньше я не говорил об этом, зная, что она правильно понимает меня, но тогда я решил объясниться, придать уверенности и ей, что наши чувства смогут выдержать разлуку, если та окажется неизбежной. Мы пришли в кафе, уселись, я помню, у окна. Я не ждал ответа от нее, я был уверен и без слов. И я был удивлен, когда Софи, чуть улыбнувшись, вытащила из школьного портфеля ручку и написала на бумажной салфетке мои же слова. Это было очень трогательно. Помню, я поцеловал ее правую руку, чего прежде не делал, и случайно измазался чернилами. Это был первый раз, когда я прикоснулся к ней, как мужчина. Нужно ли напоминать, как мы поженились?.. Опять я вынужден подчеркнуть: ни о какой физической близости не могло быть и речи. Конечно, я способен увлечься, у меня, бывает, раскалывается голова от напряжения – но я научился с этим справляться. Я обнаружил, что если перетерпеть первые шесть месяцев, то желание притупляется. Это как наркотик: сначала придет ломка, но затем наступит облегчение; проблема не в физиологии – в голове того, кто этим занимается. Психологическое привыкание страшнее и фатальнее физиологического. Моя милая Софи была необыкновенно

красивой невестой! Мы отмечали у меня. Она по-прежнему почти не говорила со мной, но я был счастлив этим: я не смог бы любить человека болтливомго. Она доверилась мне, милая моя девочка! Я скопил денег и повез ее в магазин, самый стильный, какой нашел, и указывал, как нужно одеть ее, какие костюмы и платья ей пойдут. Служащие удивлялись, отчего выбираю я, а Софи лишь безропотно соглашается, но мой выбор был верен: на чем бы я ни останавливался, все было ей хорошо. «Нет, не тот цвет! – говорил я. – Этот оттенок слишком резкий! А этот невзрачный! Принесите кремовое! Покажите сиреневое!». Я наряжал ее в нежнейшие цвета: моими любимыми стали как раз сиреневый, кремовый, светло-розовый, бежевый, зеленый и серый, с отливом, к ее божественным глазам. Как она была счастлива! Она приняла это благосклонно. Никакого упрека, ни разу она не сказала мне: «Нет, это мне не нравится!». Все, на что я указывал, нравилось ей; все было хорошо, что я делал. Прическу ей сделали по моему выбору. Когда мы были в кафе, я заказывал полезные блюда, и она соглашалась и улыбалась. Это было невероятно, как легко она соглашалась на все, что я хотел от нее. Хочу это платье, сейчас – пожалуйста! Съешь это, это полезно – хорошо! Эта поэзия есть вершина человеческого духа – абсолютное согласие! Вспышки случались у нее, но были, как я уже сказал, не часты. В нашем браке, я помню, был случай... она ни с того ни с сего отказалась от костюма, на который я указал утром – мы должны были по-

сетить оранжерею. Ни разу она не высказывалась против этого костюма – а тут взбунтовалась! Софи бегала, как безумная, швыряла в меня книгами, кричала – кричала, понимаешь, она, такая тихая, нежная! – кричала, что ненавидит меня за мое отношение, что она – не моя кукла. Я был нежен и учтив. Ни в коем случае я бы не позволил себе повесить на нее голос. Она была не в себе, она хотела, чтобы я сорвался, закричал на нее, хотела, чтобы я стал безумным – а тут она была сражена моим спокойствием и моей любовью к ней. «Я не унижаю тебя, я помогаю тебе, наставляю тебя, – объяснял я. – Я люблю тебя и хочу заботиться о тебе. Скажи, хотя бы раз я упрекнул тебя, был жесток, ужасен, мерзок, груб?». Она признавала, что я вел себя безукоризненно. Она снова заметалась, пока не оказалась в углу и не застонала там, как раненное животное, пытаясь разбить себе голову о стену. Я пришел к ней и стал успокаивать ее, и через полчаса она вернулась ко мне – нежная, тихая, послушная. Эти ее вспышки ненависти и непокорности уже не сбивали меня с толку. Они немного тормозили процесс ее обучения, но это был пустяк. А мне нужно было научить ее всему! Манеры... как сложно она усваивала их! Она старалась, но забывала. Я был нежен и терпелив. «Именно так, любимая! Руки должны лежать вот так. Голову в этом случае нужно опустить – вот так, на несколько сантиметров! Не забывай о выражении глаз!». Хозяйку я из нее делать не собирался, у нас появилась приходящая прислуга, но мне было важно, чтобы Софи запом-

нила, как правильно накрывать на стол, как чистить серебро, как расставлять статуэтки на фортепиано. «Движения должны быть отточены! Ничего лишнего!». А ее образование? Я указывал, что ей нужно читать, рассказывал, как я смотрю на прочитанное. Я был с ней максимально откровенен, мне хотелось, чтобы она соглашалась со мной, чтобы она жила моим мнением, моей жизнью. Не буду описывать всего... целых три с половиной года у меня ушло на ее обучение, на усиление нашей связи. Она стала совершенным человеком. Совершенной женщиной. Она уже не нуждалась в моих подсказках, во всех ситуациях вела себя, как этого хотел я; она носила указанное мною, а часто и угадывала мои пожелания, а если она говорила со мной... произносила то, что я хотел от нее услышать. Все привычки моей Софи – те, которым научил ее я. Ничего своего у нее не должно было остаться. Но чем ближе я приближался к своей цели, тем сильнее я ревновал ее к другим. Зная, что она теперь всецело принадлежит мне, я с отвращением и ужасом замечал, что наши знакомые мужчины начинают смотреть на нее с вождением. От природы она красива, но благодаря мне она обрела шарм, которому может позавидовать богиня. Они не знали ее, они видели лишь тело, от которого хотели получать удовольствие. И интересный мне своими занятиями мужчина становился мне противен, если я замечал, что он поглядывает на нее, возжелав ее. Я ни с кем не хочу делиться ею. С какой стати? Она – мое, я ее создал! Все, что она знает и умеет, – это мое,

собственное. Тебе это может показаться странным, необъяснимым, но с усилением ревности прошло мое омерзение к моему желанию. Я стал желать с ней сближения еще большего, физического. Чувствовать страсть к низменному, похотливому, грязному существу – это унижительно, это опускает тебя самого на уровень животного. Но желать ее, совершенную, полностью мою, нетронутую никем, – это благословение. Я чувствовал, что теперь, с ней, у меня не будет гадливости и стыда, да и какой стыд может быть с человеком, который уже часть тебя? Который – это ты, только другого пола? Она – мой сон, ставший явью. Что-то из глубины бессознательного... Я не собирался заставлять ее, я хотел, чтобы она также пожелала меня. Почему сотворенному не возжелать своего творца? Невинность ее могла быть гарантом того, что я к ней не прикоснусь. Но в последнюю ее вспышку я был с ней, ночью. Она обезумела, кричала на меня, швыряла в меня опять книгами, кричала: «Во что ты превратил меня? Что я за чудовище? Ты считаешь, что меня нет, моей личности нет? Нет, я просыпаюсь – и хочу убить тебя за то, что ты сделал со мной!». Ненависть ко мне в ней смешалась с грубым, низким вождением – кажется, никто меня так жадно и раздражительно не желал. Я потерял контроль, я разозлился на нее, я хотел, чтобы она замолчала, я не мог быть нежным с ней, заботливым, как раньше. Мне стало жутко от мысли, что я могу лишиться ее, своей Софи, что на месте моей Софи останется вот это визжащее, сумасшедшее жи-

вотное. Я хотел только прогнать ее, эту омерзительную женщину. Наутро мне было невыносимо стыдно. Я не знал, как встречусь с Софи, как заговорю с ней. Но она... ее вспышка прошла, и Софи вела себя, как обычно. Я не смог заставить себя заговорить с ней. Боже мой! А Софи... неужели она ничего не помнила?.. Больше я к ней не прикасался. Что это за омерзительное существо, что появляется в минуты ее истерик, ее безумия? Моя Софи любит меня, но та, иная Софи, желает мне смерти, та Софи ненавидит меня. И я не могу изгнать из Софи это животное! Я даже не знаю, что за мысли у нее... мои ли это мысли? Может быть, она притворяется со мной, она лжет мне, она угождает мне, говоря, что любит меня и послушна мне... а что в мыслях у нее? Какая большая разница – между безумием и притворством, незнанием – и сознательной ложью! Это мучает меня – незнание. Я не узнаю, изменилась ли Софи, моя ли она... или она – то животное, что зачем-то притворяется невинностью, играет со мной, лжет мне о любви, упиваясь ненавистью и желая мне смерти. О какой власти тут можно говорить? Я не знаю, есть ли хоть какая-то власть, хоть капелька моей власти. Есть ли моя воля – или осталась только ее... Как страшно само это сомнение – что ее разум закрыт, что она неизвестно кто. Она прячется? От меня? Зачем?.. Я стою в полусвете, а она – там, в темноте. И эту темноту не рассеет никакой луч.

Она нерешительно встала – ее слабо мутило. Пришлось обхватить себя руками, чтобы как-то держатся.

– Я... постараюсь, – еле слышно проговорила она.

– Позаботишься о ней, если что-то случится?

– Я постараюсь.

Марии хотелось уйти. От злости на Петера ничего не осталось, на обломках сознания топтались усталость и страх – и на мгновение показалось, что она заболела. Неужели у нее грипп?

– Я хочу, чтобы вы уехали. Оба, – сказала она.

– Если, разве что, нас отпустят.

– Поскорее бы. Это какое-то проклятие.

У себя в комнате она разрыдалась.

## 1939

«Н. научил меня управляться с "лейкой". Это легче, чем мне казалось. На обучение ушло несколько недель. Н. сказал, что у меня хорошо получается, потому что я замечаю мелочи и умею выстраивать композицию – без этого фотографом не стать. Т. пришел и спросил, как мне новая должность. Это была его идея – переучить меня на фотокорреспондента. "Мне нравится, это намного лучше" – ответила я. Т. посмотрел мои уличные снимки и заметил, что мне еще нужно поработать (долгое перечисление всякого разного), но фото он возьмет в новый номер. После он присел на мой стол и спросил, в каких условиях я работала с Митей: "Вы же сможете работать, скажем, в полевых условиях?". Газете нужны сним-

ки рабочих выступлений. Командировочные выплачиваются заранее. И вот, пожалуйста, – я в Б. Прошлым вечером было выступление, рабочие, как обычно, недовольны длинным рабочим днем и недостаточной зарплатой. Они называют себя истинными коммунистами, которых предала КПП. Т. считает: если мой муж коммунист, то я должна разбираться в коммунистических движениях. Меня отправили в коммунистический кружок – поснимать обстановку и попутно расспросить участников. После разгрома КПП (говорят, вмешался Центр) движение раскололось. Остались верные линии КПП, что распространяют старые выпуски "Нового обозрения" и "Красного знамени". Я фотографировала человека, воевавшего на "гражданке". Он рассказывал страшные истории о войне и ругал коммунистов, которые бросили своих "братьев" на расправу фашистам. Он разочаровался в КПП, потому что партия наладила связи с местными националистами (как это объясняют сторонники, чтобы вместе с ними сбросить буржуазное правительство, а затем уничтожить союзников-националистов или же перековать их в коммунистов). Коммунисты П. после событий 38-го боятся "русской линии". Они прямо говорят, что мечтают о коммунистической революции, но опасаются, что русские воспользуются ситуацией и захватят власть от имени "верховой коммунистической партии". Меня спросили, за кого мой муж, какой он коммунист. Я поняла: я понятия не имею, какой Митя коммунист. Ни разу не слышала от него призывов к револю-

ции. Помню, раз он отозвался нелестно о Центре – пожалуй, это все. Как там Митя? Он давно не пишет. Не пишет и Мария. Мы договаривались, что Митя навестит Марию, если появится в столице. От обоих никаких вестей. "Дмитрий по-прежнему у фашистов? – спросили на работе. – Как не боится? Начнется война – и он застрянет с ними". Самое неприятное, что я не знаю, как его найти, в каком месте он может остановиться, у меня нет контактов его коллег в Г. Случись с ним что, я не узнаю. Может, его выслали из страны? Может, его арестовали? Убили? Нет, не может быть. Постой, Мария и Альберт бы мне написали, если бы с Митей что-то случилось. А если они не знают? Нет, остановись, ничего с ним не случилось! Ничего! Поскорее бы вернуться домой. Кто знает, меня не было пять дней – могло ли прийти письмо от Мити? Вот именно! Коммунисты готовятся к войне. Спрашивают, верю ли я, что русские коммунисты нас спасут в случае войны. "Какого вы мнения о нашей армии? Разве она может воевать?". Так они спросили, узнав, что я работала на армейской выставке. Сомневаюсь, что армия сможет отстоять П. Техника у них устаревшая. Самолеты привезли старые, местами ржавые. Я вспомнила, как лет восемь назад была на авиационном шоу с Альбертом, Марией и Дитером. Ржавые самолеты. Как с ними можно воевать? Глупость. Войны не будет. Наши не сошли с ума, чтобы сейчас воевать. Достаточно, что они оккупировали две страны. Пусть, пусть, их власть привыкла получать все безболезненно. Они не решат-

ся на агрессию. Это безумие. Это блеф. Если бы они собирались воевать, Мария бы уже была во все колокола и требовала уезжать из П. Она – жена офицера, кому, как не ей, знать обстановку? Что может быть нелепее, чем воевать с ребятами, которых я помню со школы? Что может быть нелепее, чем воевать с Дитером и Альбертом? Может, воевать с Марией? Не слушай Митю. Послушать его – нужно отказаться от семьи, потому что она, понимаете ли, с фашистами и хочет меня, получается, убить. Нет, остановись. Не развивай это. Митя, черт бы тебя взял, где тебя носит? Почему ты не приезжаешь? Почему я согласилась торчать в П., если могла поехать домой, к Марии, к Альберту? Работать в Г. много интереснее. Нашлось бы, что поснимать. Снимать коммунистические собрания – скука скучная, Митя!..”.

Мария написала так:

«Катя!

Почему от тебя нет вестей? Что случилось?

Я не знала, как написать тебе, а то бы написала раньше. У нас никто не сомневается: приближается война. Расставляют зенитные орудия, ночью и ранним утром мы просыпаемся от жужжания самолетов в небе. Уезжают иностранцы.

Я знаю, что ты в В. – мне об этом сказал Дмитрий Иванович. Почему, объясни мне, ты остаешься в В.? Ты понимаешь, что это опасно? Что ты будешь делать, если начнется

война? Я считаю – как твоя старшая сестра и ответственный и умный человек, – я считаю, что тебе нужно возвратиться к нам. А что? Можешь пожить у нас. Мы поможем тебе найти работу. Если хочешь, будешь работать переводчиком. Если бы ты была очень привязана к мужу, я бы поняла тебя, но, зная, что ты с ним живешь из упрямства, я рискую воззвать к твоему разуму. Я прошу тебя вернуться, пока это возможно, я прошу тебя быть благоразумной!

Я отправляю письмо скорой почтой и требую от тебя немедленного ответа, чтобы мы знали, в какой час тебя встречать.

P.S. У нас изумленно встретили новость о заключении пакта с красными. Нам объясняют теперь, что они – наши лучшие друзья, больше – братья. Красные – наши братья? О-о-о!

P.P.S. На всякий случай предупреждаю: если я не получу от тебя в ближайшие часы ответа, я пошлю за тобой А.М. Он-то тебя заставит! Я скажу А.М., что он может применить силу, понятно?

Рассчитываю на твое благоразумие, твоя сестра Мария».

Заметив письмо это на столе, Ганна Каминская хотела о нем заговорить, но не решилась. Возвратившись из Б. с материалом и плохим настроением, Катя не была расположена к конструктивной беседе. Они молча пили чай в гостиной. Каминская все косилась на открытый конверт, а Катя хму-

рилась, смотря мимо. Злилась она или расстраивалась, Каминская не понимала.

Позже, закончив с первой чашкой, она все же спросила:

– Тебе написали родственники из «Единой Империи»?

– Что? – Катя с удивлением взглянула на нее.

– Письмо...

– А, письмо. Мне написала Мария.

Каминская замолчала, чувствуя, что это не ее дело. Катя унесла чашки в кухню, а возвратилась с газетами, которые они договорились поклеить на окна. Газеты рвались на полоски, и лентами этими нужно было заклеить окна, чтобы в случае бомбежек осколки не полетели в комнату.

– Сомневаюсь, что это поможет, – мрачно сказала Катя, забираясь на стул. – Разве что взорвется далеко.

– Ты считаешь? – с сомнением спросила Каминская.

– Об этом мне говорили военные – по работе.

– М-м-м, но заклеивают все... возможно, поможет.

Спорить Катя не стала. Каминская залезла на второй стул и потянулась за клеем, который они смешивали в миске.

– У меня дочь, – прошептала Каминская, – быть может, стоит вывезти ее из В.? Я бы отправила ее к бабушке. Но не знаю...

– На восток?

– Нет, это юг.

– Как знаешь, – ответила Катя, – если начнется война, на юге могут быть большие проблемы.

– Но ты... не веришь в это.

– Так ли важно, во что я верю?

Ганна Каминская пыталась уловить что-то за мрачным ее выражением.

– Что написала твоя сестра? – низким встревоженным голосом спросила она.

Катя пожала плечами; она не отвлекалась и быстро и аккуратно заклеивала раму.

– Меня это тоже касается! Слышишь?.. Твоя сестра замужем за фашистом!

То же пожатие плечами.

– Катя! Ее муж – фашист...

– И что мне с того? – не сдержалась Катя.

– Что она написала тебе? Она что-то знает?

– Ничего она не знает. Она считает, что... ох, что вот-вот нас разбомбят. Это ты хотела услышать?

Катя спрыгнула со стула, бросилась к столу и швырнула Каминской письмо Марии. Та наклонилась, чтобы взять его.

– Зачем?..

– Читай, если это тебя касается.

Чтобы не смотреть на подругу, она полезла за кошельком и пересчитала бумажки.

– Жаль, осталась сотня, а то купила бы бумагу получше. Деньги получу только десятого числа. Митя, паскуда, хоть бы денег прислал!

– А А.М. кто такой? – внезапно спросила Каминская. –

Человек, о котором она пишет, – кто это?

– А, старый друг нашей семьи.

– Твой муж его знает?

– Нет... слышал о нем, но... мы их не знакомили.

– Ты уезжаешь к ней?

– Нет, – резко сказала Катя, – я уезжать не собираюсь. Ста-  
ла бы я заниматься этими окнами?

– Тебе стоит уехать, – возразила Каминская.

– Почему?

– Твое место с ними. Ты... чужая тут.

Зная, сколь это болезненно для Кати, Каминская все же  
решилась напомнить, что она, как бы ни старалась, остается  
иностранкой, без местного паспорта, без знания языка. От  
напоминания этого Кате стало неприятно.

– Я живу в квартире моего мужа, – резко ответила она. – И  
я имею право в ней жить, сколько мне захочется... или пока  
мой муж не вернется.

– Но... мы чужие тебе. Я понимаю: ты окажешься в ужас-  
ном положении.

– В каком положении я окажусь?

– Ты... Катя, страна, из которой ты приехала, собирается  
напасть на мою страну. Почему я должна... объяснять, в ка-  
ком положении ты...

Чувствуя себя оскорбленной, Катя упрямо молчала.

– Она пишет... что отправит к тебе этого фашиста. В наш  
дом. Ты права, граница не закрыта и, пока не началось, он

может приехать, но... Какого мнения о тебе будут, если узнают, что ты принимаешь наших врагов накануне... войны?

– Мало ли, что она написала! Она меня напугать решила. Хочет... она старшая и хочет меня поучать! Не отправит его Мария, это пустые угрозы! У него работа, ему есть, чем заняться.

– Ты не слышишь меня... Очень жаль.

– Пошли клеить твои окна, – оборвала ее Катя. – Это эффективнее, чем наставлять меня. Без вас знаю, как мне поступить. Прости, Ганна.

Но сначала она спустилась вниз за новыми газетами. За тем, чтобы выйти, пришлось достать из ящика противогаз – таково было предписание властей, что пугали население внезапными газовыми атаками. На тех, кто не вытаскивал противогазы, смотрели подозрительно. На углу она мельком взглянула на черные лозунги: «Они готовы объявить войну! Сколько можно это терпеть? Почему молчат наши союзники?». Ей стало тошно, она шла обратно в спутанных мыслях, разрываемая сочувствием к обеим сторонам возможного конфликта.

– Вам письмо, г-жа Колокольникова.

И ей впихнули в руки открытый конверт. Она не спросила, почему вскрывали письмо и кто это сделал. Она узнала почерк – то было письмо Мити.

– Митя приезжает, – не понимая, что читает, прошептала она. – Осталось... семь суток.

Не было ни разочарования, что он приезжает, ни счастливого предвкушения. Митя возвращался к ней, а ей, так долго ждавшей его, писавшей о нем в дневниках, говорившей о нем на работе и с Ганной – ей отчего-то было все равно.

– «3 сентября встречай на вокзале в 19.00».

Она сбросила с волос противогаз. В темноте, на третьей ступеньке, застыла небольшая мужская фигура, показавшаяся смутно знакомой. Она остановилась, пытаясь рассмотреть – и поверила, что возвратился Митя. Приехал раньше срока – неужели?

Фигура шевельнулась – и наваждение пропало. Человек сказал:

– Наконец вернулась, я жду тебя полчаса как.

Она отступила и спрятала руки за спину. Плечи задрожали. К счастью, близ лестницы не горела лампочка – решив, что вот-вот начнется, ее не меняли, все равно разобьется или лопнет от...

– Можно с тобой поговорить? Прости, если я не вовремя или... навязываюсь, но...

– Но – что? – проглотив комок, ответила она.

– Билет стоил денег, Кете. Не моих, твоей сестры. Я должен отработать.

Она почувствовала: Альберт улыбается. Он пошел первым, зная, что она последует за ним. Поборов трусливое желание сбежать, а лучше бы провалиться сквозь фундамент, она ступила на первую ступеньку. Лестница внезапно пока-

залась ей неожиданно крутой, перила – слишком скользкими. Она устала. Закружилась голова, словно она боялась и ступеней, и пролетов, и высоты, и мужчин, всяких мужчин, которых женщины встречают в темных домах. Сил не осталось и на то, чтобы разозлиться или обдумать положение; она разом лишилась воли и шла за Альбертом как на веревочке. Ничего унижительнее вообразить было нельзя.

Она не сумела открыть замок – так дрожали руки. Альберт взял ключи (не касаясь ее, она заметила), протолкнул ее в дверной проем и включил верхний свет.

– Нет... – только и прошептала она.

– Что? – он замкнул дверь.

– Нет... не нужно... свет.

Быть может, в ней говорила осторожность: светомаскировку не объявляли, но многие отказались от яркого света, способного привлечь самолеты противника. Или она боится смотреть на него? Альберт выключил свет – они остались в почти полной темноте. Она закрыла глаза, запоминая его, нынешнего: знакомое беспокойное лицо с небольшими губами и плотными черными бровями, бритые виски, длинные волосы, зачесанные к затылку, но незнакомый костюм и незнакомый красно-коричневый шарф. Огромным усилием она подавила в себе чувство вины.

– Вы приехали вот так, ничего не взяли? – Не молчать, ни в коем случае!

– У меня сумка, но я оставил ее на вокзале. Тебя это вол-

нует? Не говори мне «вы», пожалуйста. Я больше не гость твоей тети, и ты совершеннолетняя... У тебя есть маленький свет? Не говорить же в полной темноте?!

Она не ответила. Сквозь темноту она смотрела, как он на ощупь двигается по гостиной. Чуть не смахнув со стола фотографию Мити, он включил настольную лампу; свет она источала блеклый, еле заметный, и все же Катя хорошо видела Альберта. Взглянув на нее, он отвернулся.

– У тебя противогаз... положи его. Он ужасен.

Она бросила противогаз в кресло.

– Спасибо. Ты его носишь – мне жаль, – Альберт прислушался. – Твой муж скоро вернется?

– Вам... тебе повезло, что его нет теперь. Он не появится сегодня. Зачем ты приехал?

– Но ты, как я понял, получила письмо от Марии. Я приехал за тобой. Она меня просила.

Она закрыла глаза – не смотри на него, перестань! Она слышала: Альберт взял фотографию Мити; он рассматривает его, что бьется в его голове в этот момент? Она обняла себя руками, чтобы скрыть дрожь.

– Теперь признаю – симпатичный, – сухо произнес Альберт. – У тебя неплохой вкус на мужчин.

– О, тебе повезло, что его нет!

Оттого, что она нервничала, в ней возрастало раздражение. Закрыв глаза, она справилась со слабостью и заговорила с решимостью, поразившей бы ее саму, сумей она ее осмыс-

лить:

– Да, Митя убил бы тебя! У тебя были бы большие неприятности, если бы Митя был тут! Что уж там, у меня были бы неприятности. Зачем ты приехал? Чтобы испортить мне жизнь?

Альберт явно собирался ее перебить – но Катя уже его перебила:

– Понимаешь, какие это риски – сейчас? Если кто-то узнает, что ты у меня... Ты – их враг! Враг!

– Уже? – с подозрительной мягкостью уточнил Альберт. – Не рано ли? А они – твои новые друзья? И я – твой враг тоже?

Нет, он ничего не добьется! Она не позволит собой манипулировать!

– Кете, послушай: мне решительно наплевать, что обо мне могут подумать твои знакомые из... этой глуши. Тем более мне наплевать, какого мнения обо мне... о нас... твой муж. Уверен, тебе тоже наплевать. Иначе ты бы не пустила меня в свой дом.

– Ошибаешься!..

– Врагов не приглашают к себе, не остаются с ними в темноте... Женщины не остаются наедине с мужчинами, которых считают врагами, а значит, бояться.

– Я не боюсь тебя! – выпалила Катя.

От возмущения она открыла глаза и уставилась на него – разозлив ее, Альберт добился своего. Он расслабленно облокотился на спинку дивана и невозмутимо улыбался. Преж-

ний Альберт, сомневающийся, беспокойный – хватило мгновения, чтобы она рассмотрела в отблесках его глаз нервную, изменчивую душу – как раньше она мечтала, что он будет так на нее смотреть.

– Что? – спросил Альберт.

Она помолчала; потом выпалила:

– Я с тобой не поеду! Что хочешь говори Марии, а я не поеду!

– Почему?

– Я не могу... у меня работа... я замужем! Я...

– И что с того? – мягко спросил Альберт.

– Я не хочу! Я не... нет, нет, ты меня не заставишь!

– Я не собираюсь тебя заставлять. Кете, пожалуйста, я хочу, чтобы ты поступила благоразумно.

Она закрыла глаза руками и начала считать: не соглашаться, но отчего, почему она не может согласиться? Она в чужой стране, ничто ее не обязывает, можно бросить работу, Митю (не все ли равно, если она его не любит, а лишь уважает?), возвратиться домой, а то, что Альберт назвал ее домом – это не то, не станет им, не может быть дома без Марии, тети, мальчиков, без Альберта, ни Митя, ни кто-либо еще не заменит ей настоящего дома. Как приятно, как хорошо было бы уехать, забыть, что вот-вот начнется, она же не имеет к этому отношения! Этого не было! Партия... она смирится с ней, как смирились остальные – и Мария, и Альберт... и разве партия так уж страшна?

– Кете, скажи... возможно, ты боишься?

– Что? – переспросила она.

– Боишься возвратиться?.. Кете, мы говорили об этом с Марией и Дитером. Тебе ничего не грозит. Я могу поклясться тебе, Кете, что тебя никто не тронет. Если ты хочешь работать, учиться... Кете, я позабочусь об этом. Даю тебе слово.

– Ты не можешь этого знать, – прошептала она. – В «Единой Империи» никто не может быть в безопасности... и ты тоже. Ты... просто винтик... этой машины... уничтожения!

– Кете... – Она слышала, что ему тяжело говорить. – Если ты не веришь мне, поверь своей сестре. Она беспокоится о тебе, она боится, что ты...

– Что я – что?.. Погибну?

– Кете, если я виноват... Кете... можешь винить меня, сколько хочешь, можешь называть, как захочешь, но прислушайся к... не ко мне, к разуму, Кете! Это не твоя война! Не твоя!

– А война начинается?!

От испуга она опустила руки и оглянулась на звук – и с закрытыми глазами она поняла, что Альберт швырнул фотографию Мити в стену. Стекло разбилось и рассыпалось по полу.

– Вот чего тебе надо? – воскликнул он. – Что мне сделать? Раз ты не можешь нормально соображать...

– Не кричи на меня!

– Ну, все равно! – не скрывая, насколько он зол, сказал он затем. – Это ничего не меняет! Я остаюсь на ночь, а утром мы уезжаем. Нельзя терять время! Будешь жить с сестрой, у нее хватит места. Хочешь ты или нет, Кете...

– Со дня на день должен вернуться мой муж!

– Муж... муж...

Что-то выдумывая, он прошелся по комнате, заметил заклеенные окна, разбросал носком ботинка осколки стекла; потом, с необъяснимым удовольствием, спросил:

– Нравится эта жизнь, Кете? С этими окнами? С противоголомом, а? Хочешь жить под бомбами? Тебя что, нужно встряхнуть, чтобы ты поняла, как это серьезно? Встряхнуть тебя?

– Нет! Не трогай меня!

Ей полегчало: непривычная озлобленность Альберта не привлекала, а отталкивала от него. У нее появились силы, чтобы прямо смотреть на него. Но от рук его она попятилась. Мысль, что Альберт сделает все, что угодно, чтобы добиться желаемого, внушала почти потусторонний ужас. Отступая, спиной она уперлась в стену – бежать действительно было некуда. Ее сильно потрянуло – Альберт схватил ее за плечи и тормошил так, будто собирался сломать ей шею.

– Хватит, – прошептала она.

– Мозги на место встали?

– Ты псих, – вырываясь, сказала она.

– Кете, я не шучу! Ты дура! Что ты можешь понять?

– Ты псих! Как они все! Вы спятели там на своей войне! Это не я должна бежать! Это вы должны отступать! Это из-за тебя я ношу этот противогаз! Из-за тебя у меня заклеены окна! Из-за тебя я живу в ожидании бомб! Это ты, ты, ты делаешь это со мной!

Руки его ослабли, но не ушли с ее плеч. Катя заморгала, прогоняя слезы. Она не смотрела на Альберта, но чувствовала, как он растерян – растерянность эта перетекала в нее с теплым, уже почти нежным прикосновением.

– Я... извини, – прошептала она, – ты не оставляешь мне выбора... Альберт.

Произносила ли она раньше его имя?

– Я понимаю, – тихо ответил он. – Ты права, ты во многом права. Но, Кете... я ничего не могу изменить. Я могу лишь спасти тебя. Больше ничего. Услышь меня, Кете, пожалуйста!

Ласково он взял ее голову и приблизил к себе. С облегчением после яростной вспышки она заглянула ему в глаза и прочла в них те же чувства, что терзали ее: страх, неуверенность, злость, бессилие, непонимание – как им жить дальше, получится ли сохранить прежнее и стоит ли его сохранять.

– Кете, слушай меня... Пожалуйста, выслушай меня. Благодарное... и сдержанное... ты умрешь, ты понимаешь? Ты видела, как рушатся дома? Ты знаешь, как долго умирают под завалами? А если ты каким-то чудом переживешь это... Кете, женщина на захваченной территории – это кусок мяса.

Тебя никто не спасет. Рядом не будет ни меня, ни твоего мужа, ни Гарденберга. Смерть не страшна, пока не заглянешь ей в лицо. Легко соглашаться на то, чего не знаешь. Война – это ужасно... Кете, если хочешь, мы вернемся в Мингу. Мы ни в чем не виноваты. Мы... отправимся в горы. Давай будем жить вместе, только мы с тобой, Кете? Мы поедem в горы, присмотрим дом, будем жить отшельниками, заведем хозяйство. Правда, я ничего не умею, но я быстро научусь. А можем жить в Минге, я найду новую работу, ты будешь работать или учиться, или встречать меня с работы, как ты захочешь. Я тебя больше всего на свете люблю.

Как сквозь сон она ответила:

– Сейчас ты скажешь все, любую глупость, любую ложь... чтобы получить желаемое.

– А зачем мне это делать? Я... приехал, потому что меня просила твоя... сестра...

Он путался в словах, перескакивая на южный диалект. Голос успокаивал, утешал, внушал чувство безопасности. С еле слышным вздохом он поцеловал ее губы – и стало так тихо и спокойно, исчезла чужая квартира, чужой язык, чужая страна, осталось привычное, теплое и невыносимо любимое. В ее губы он прошептал:

– Кете... поехали со мной...

Спокойствие и нежность испугались и скрылись. Она открыла глаза, понимая, как хочет голос, глаза, руки этого мужчины – и что, пока не закончится ужас в их головах, она

не обретет с ним покоя. Если она бросится с ним, она на всю жизнь обречет себя на соучастие войне. Любовь, что могла служить протестом против войны разных наций, языков и стран, сейчас была сообщником агрессии. Что бы она ни воображала, она больше не была частью мобилизованного большинства, а Альберт пытался ее в это большинство вернуть. Пусть бы Альберт сдержал слово и они бы убежали в горы – но разве она не знает, кто виноват, кто причинил ей боль, кто мог, хотел ее убить?

– Поцелуй меня, – попросила она.

С облегченным вздохом он послушался. Прощаясь, она сильно обхватила его шею и держала долго, пока оба не устали.

– Прости... меня, – отпуская его, сказала она. – Я остаюсь, Альберт. Не заставляй меня повторять это снова и снова... пожалуйста.

Чтобы скрыть выражение, Альберт отвернулся и поправил шарф.

– Ясно, – тихо сказал он. – Что же, я не стану заставлять тебя. Если тебе дороже эти... это вот, что скоро обратится в камни... как хочешь, Кете.

– Альберт...

– Нет, Кете, это твое решение! Хорошо!.. Но я не враг тебе. У меня нет оружия. Я приехал в эту страну, страну-противник... я приехал к вам без оружия! Я не сторонник этой войны, я реалист, только реалист, Кете. Но я... я ни за что бы

не причинил тебе боль. Я никому не хочу причинять боль.

– Прости меня.

– Нет, я... я хуже твоего мужа. Я... ему легче, чем мне. Он может быть хорошим, можно не стараться особо. А я виноват – по паспорту и по национальности. С ним легче, Кете. Он не враг. У него нормальный паспорт. У него не написано, что он – агрессор. Он... ты не упрекнешь себя, что живешь с агрессором.

– Ты сведешь меня с ума своим характером, – ответила Катя.

Он собирался. Она потушила маленький свет. Альберт прошел в прихожую и встал напротив двери; казалось, его разрывает желание говорить, но он борется с собой. Чувствуя, как болит в голове, в горле, в груди, Катя приблизилась и прижалась к его спине; она ласкала рукой его волосы и слушала его слабые вздохи – удовольствия, нежности и страха. Невероятно, какую власть она имеет над его телом и как сильно хочется ласкать его, целую вечность, чтобы думать только о его дыхании, которое, согласись она пойти дальше, перешло бы в большее – если бы я только услышала, как он стонет в мои губы...

– Альберт, прости меня, прости!

Пиджак пах тоской и далекими землями.

– Наверное, ты права. – Альберт не сопротивлялся ей, у него не осталось на это сил. – Тебе не место в нашем мире. Это рабство.

Она справилась с желанием закричать: «Пожалуйста, пожалуйста, если так, давай убежим далеко, Софи же сказала, что мы поженимся, что мы проживем долгую жизнь в теплой стране, далеко от партии, войны, условностей, знакомых языков, старых традиций...». Она промолчала.

– Ты права, Кете. Я не могу не быть частью этой партии. Я рос в этом окружении, я почти всю жизнь прожил, от него не отрываясь. Я ничего не знаю, ничего не помню, кроме него. Если я чем-то не похож, если меня за что-то считают странным в моем окружении, я испытываю вину... Партия столько сделала для меня! Моя работа, мое положение – как бы я жил, если бы мне не помогли? Раньше... в юности... я был идеалистом, я верил... в справедливость. В то, что можно прожить жизнь, не замарав себя. Я считал, что легко отречься от близких. Я... был уверен, что мне есть, куда уйти. А сейчас... словно я обманываю их. А больше мне не к кому пойти. Никто меня не примет. Что бы я ни говорил, в чужих глазах – я *их*, я – от *них*. Какой смысл в моих убеждениях, если они невозможны в нашей жизни?.. Мой протест бессмысленен. Что им мой протест? Их он смешит. Им смешно, что я сомневаюсь или... не понимаю их. Ты права, Кете. Я знаю, я согласен: я – часть этого, я заложник этого... Для остальных я – враг. Для всех я враг – кроме них. Даже ты видишь во мне врага.

– Нет, нет, Альберт, нет!

– Я всего лишь хотел спасти тебя, Кете. Отпусти меня.

Отпусти.

Руки ее опустились. Не оглянувшись на нее, Альберт вышел из ее жизни.

Она постояла с минуту, осознавая, что это – все, их последняя встреча, что она отпустила единственного мужчину, за которым готова была бежать и вопить: «Стой, стой, мне все равно, я люблю тебя, люблю тебя любого, и такого тоже, мне все равно, убей ты хоть сотню человек, пусть миллионы умрут, а я люблю тебя, прости меня, прости, я люблю тебя!». Это было безумие. Раз, второй – и получилось восстановить дыхание.

Она осталась в пустой квартире, накануне войны – и без Альберта. Боже, если ты есть, пусть Альберт возненавидит меня, пусть проклинает меня всю оставшуюся жизнь, но не испытывает боли, как я сейчас.

Выбросить все, уничтожить, избавиться!

В злости она искромсала ножницами платье, жакет и юбки, которые привезла из Г. Платье ей досталось от Марии – из ласковой зеленой материи, с низким вырезом и пышными рукавами (ох уж это желание Марии соответствовать моде на «историзм»!). Ошметки пришлось сложить в самодельный бумажный пакет и в ночи, опасливо оборачиваясь, вынести на мусорку. На дне чемодана нашлась единственная книга, привезенная из дома, – она хорошо помнила, что ее принес Альбрехт, кузен Альберта, и вручил ей со словами:

– Не сомневаюсь, на вас это окажет влияние.

Ей хотелось, но стало совестно – рвать «Книгу согласия», кто бы ни был ее владельцем ранее, было нехорошо. Она пролистала ее. Между страниц кто-то (Альбрехт ли?) вложил высушенные листики. К 56 странице прилипла детская записка, названная «завещанием»: Марта Мюнце, находясь в болезни, просила своего брата, Альберта Мюнце, после ее смерти разделить ее имущество – и далее перечисление ее собственности.

– Пожалуйста, берегите ее, это книга моей мамы, – сказал Альбрехт.

– Зачем вы ее... вот так легко отдаете?

– Она не нужна мне теперь. Я ее перерос. Возможно, стал ее недостоин, кто знает.

В 32-м она бегло ее прочитала и, почти ничего не запомнив, забросила к остальным книгам. Но стоило Альбрехту спросить, какое впечатление у нее оставила религиозная книга, – и она поспешно рассказала, что читать было увлекательно и полезно. Альбрехт печально улыбнулся, поразмышлял молча, а после добавил, что книгу она может оставить у себя, а если она не нужна, вправе распоряжаться ей по своему желанию. Ей и в тот момент стало совестно. А порвать книгу сейчас?..

– Вы часто говорите мне о религии. Но, кажется, Марии бы эта тема больше понравилась.

– Вы считаете? Она же мстительна, злопамятна, ничего не

забывает, если не любит.

– Но если любит – все простит.

– Прощать любимому и любящему легче – в этом есть немного эгоизма. Ну, и желание счастья.

– Я бы с вами поспорила, Альбрехт. Как по мне, своим как раз простить очень тяжело. Я бы скорее чужим простила, нежели своим.

– Ну, не знаю.

– И Мария не сомневается после того, как приняла решение. Ее так сложно сбить! А я вот... нет во мне ее стержня. Я часто сомневаюсь.

– Сомнения – это правильно. Это явный признак интеллекта.

Были ли они у тети Жаннетт? Наверняка. Вероятно, за шахматами. Альбрехт сыграл с ней партию, заменяя кузена, который задерживался на работе.

– Мне кажется, – честно ответила она, – что религия очень ограничивает человека, его мысли и поступки. Достаточно морали, которая сковывает нас. Но, впрочем, у вас иное... воображение о Боге.

– Как интересно – это «воображение о Боге».

– Мораль партии порой противоречит религии, и вам нужно... вам нужны компромиссы, чтобы не лишиться веры в партию и веры в религию.

– Вы слишком умны в свои 16 лет, Катерина, – с улыбкой ответил Альбрехт.

– Это все шахматы, – иронично ответила она.

– Современники, Катерина, исказили истинную религию.

Истинная религия никого не ограничивает. Вы знаете Софи? Что она вам сказала? Вы же спрашивали ее о своей судьбе?

– А судьба – это воля Бога? Разве Бог лишает человека права выбора?

– Это философский вопрос, – благосклонно ответил Альбрехт. – Допустим, Софи действительно знает будущее каждого из нас. Хотите знать, что она сказала мне? По ее мнению, я – страшный человек и скоро мое имя начнет внушать ужас. Таково мнение обо мне Софи. Допустим, Катерина, она права и я пришел в этот мир, чтобы исполнить озвученную роль – но кто в этом виноват? Если судьба есть, то кем она написана? Неким фатумом? Космосом? Далекими звездами? Моя вера говорит мне, что такова воля Бога. Он создал меня таким – с моими способностями, моими... желаниями. Неужели это всего лишь случайность?

– А если случайность – что тогда? – отозвалась она. – Что же, пусть ваш внутренний голос – это голос Бога, который наделил вас судьбой, а вы – лишь ее исполнитель. Спрашивается, зачем это Богу нужно? Я бы исключила фактор Софи из этого списка. Достаточно того... Если любой характер, который, нужно признать, в большей степени определяет жизнь человека, возникает не случайно, не формируется произвольно, а был заложен осмысленно природой или, хуже того, высшим провидением, если это промысел Божий...

– Фактор Софи нельзя исключить, потому что характер выковывается в том числе обстоятельствами, – возразил Альбрехт. – Софи говорит, что обстоятельства predetermined. Мы не выбираем, какими нам быть – холериками или флегматиками. Мы не выбираем семью, уровень воспитания, общественные устои. Согласитесь, Катерина, мы почти ничего не решаем в этой жизни, а что решаем, в реальности не более чем путь к судьбоносной цели. Мысли появляются в нашей голове не нашими усилиями. За нас все выполняет мозг, а мы понятия не имеем, как он работает.

– Я понимаю, о чем вы, – пожала плечами она, – но в «Книге согласия» я этого не обнаружила. Вы – сторонник мнения, что в мире нет противопоставления добра и зла и Бог управляет как добрыми, так и злыми силами, что одной рукой он казнит, а другой спасает. По вашей логике религия, конечно, никого не ограничивает – ваши действия, хорошие и отвратительные, одинаково приятны Богу, потому что заранее прописаны Им в вашем... характере или на ладони.

– Вам это не нравится, Катерина? – после паузы спросил Альбрехт.

– А кому это может понравиться? Вас как послушаешь, вы в такие дебри ломитесь, что за вас страшно становится!

– Это размышления вслух – ничего больше. Могу же я иметь свое мнение? Тут все имеют мнение – ну так и мне позвольте его иметь. Герман вот считает, что главное, что делает нас людьми, – это любовь. Правда, у него искаженное пред-

ставление о любви вообще. Чем не мнение? Альберт считает, что людьми нас делает сомнение, Мария – память, Дитер – стремление к личному счастью, а Софи – наличие судьбы. Ну, а я считаю, что людьми на нынешнем этапе эволюции нас делает боль. Способность испытывать ее и осмысливать. Этим мы от животных и отличаемся – мы через нее утверждаем себя, от нее себя строим, создаем общество, а они ее только терпят. Чем человек, как примитивное животное, отличается от личности? Тем же явно, что личность свою боль не переживает бессмысленно, а осмысливает ее, подводит под нее базу, человеческие законы выдумывает, чтобы оградить себя и других от нее, и сочиняет мораль, аморальность насилия и боли – что мы без этого, без этих представлений? Как раз без этого мы – животные! Мы не признаем, что боль является фундаментом общества, это аморально, но нынешний мир невозможен без боли разной степени интенсивности. Она напоминает нам, что мы смертны, что мир опасен, что выживает сильнейший, и нам нужны законы, мораль и высокие заборы, чтобы выживать и не откатиться на прежний уровень развития. Ни один священник, ни одна проповедь о мире и человечности не пробьется в душу человека и не принесет ему милосердие и доброту, если он не знает боли. Так ребенок, еще не испытавший боли, может ударить свою мать – он не понимает, что это такое.

– Поэтому все, что вы совершите, становится хорошим?

– Нет... неизбежным, – уточнил Альбрехт. – В любой

истории должен быть антагонист, Катерина. Кто-то должен сыграть роль зла. За этим нужен, например, я. Я предрасположен к этому. А вы... вы – нет. Но вы – это не я. Вы на стороне света. Можете счастливо жить с этой мыслью. Наверняка Софи вам сказала, что вы проживете счастливую жизнь, посвятив себя благотворительности, творчеству и прочему, что у нас относится к хорошим делам.

– Это просто ужасно. – Она боязливо поежилась. – Я боюсь боли. Не хочу ее испытывать. Мне нужно было родиться животным, чтобы ее не испытывать.

– Говорят, коровы плачут, отправляясь на бойню. И у вас есть кошка, она чувствует боль тоже, вы же не таскаете ее за хвост и уши, верно? Но вы осознаете аморальность таскания кошки за хвост, а кошка – нет, ей просто больно.

– Можете не повторять, что боль – это хорошо и толкает нас к осознанию... Это слишком жестоко! Мне не нравится такой Бог. Лучше бы вы верили в Бога из «Книги согласия» – в ней приятный Бог. В вашего Бога верить не хочется. У вас Он специально сеет ужас и страх, а это несправедливо.

– Смерть – это вообще несправедливо, – возразил Альбрехт. – Если Бог добрый и милосердный, почему Он позволяет твориться злу? Почему мы ждем от Него справедливости, если он позволяет нам умирать?

– Наверное, проблема в том, что Бога нет, – заявила Катя. – Но, объективно говоря, если Бог есть, то... логично, что мы умираем. После смерти мы воссоединимся с Ним.

– Понимаю. Ну так отчего Бог должен заботиться, что кто-то умирает на земле? Зачем Ему нас спасти в земной жизни? В Его глазах мы бессмертны. После смерти есть счастье – рай. Напротив, Он должен радоваться, что умирает много людей, и рано умирает. В Его глазах лишение жизни человека не может быть чем-то ужасным. Смерть – это пустяк.

– Вы сейчас договоритесь, что в рай на равных условиях перенесутся преступники и их жертвы.

– Хорошая мысль, Катерина. Мне нравится.

Внезапно она рассмеялась.

– По вам опять выходит, что Бог на стороне тех, кто несправедлив. В моей стране привыкли говорить, что, ежели нет Бога, то все позволено, а у вас навыворот получается: что все позволено потому, что Бог, несомненно, есть.

Как легко размышлять о том, что не понимаешь – и как просто было перебрасываться «философией» с Альбрехтом, не осознавая, насколько он серьезен, как далеко может завести такая софистика. Правильно она сказала: это жалкая попытка прикрыть собственные слабости и желания волей партии, Бога, Вселенной или Софи. Правильно говорил Альберт о своем чокнутом кузене: «Вера – то небольшое, и самое главное, что досталось ему в наследство от матери. Я знаю, Альбрехт переживал ее смерть очень болезненно. Вера связывает его с матерью. Он знает, что ее душа сохранилась и что она ждет его за чертой смерти. Лишившись веры, он лишится надежды увидеться с ней там. Быть истинным христиани-

ном он не может, он служит партии, но у него нет сил, чтобы выбирать между своими половинками». Выбирать между своими половинками – как точно он выразился. Кто заставляет их выбирать между двумя любимыми сторонами? Бог хочет убить как можно больше, чтобы насытиться человеческим поклонением Себе – нужно же иметь безумие, чтобы до такого...

Она сжала обложку книги, чувствуя, как она слаба – и хватит легкого движения, чтобы разорвать ее пополам. Книга закрипела в ее руках. Она бросила ее на дно чемодана и завалила оставшимися вещами.

## 1940

Конечно, не стоило его беспокоить. Ничего глупее, ужаснее, бесполезнее, безнравственнее (как же так?) быть не могло. Но он вспомнил, что в столе Альберта лежит пистолет – доставшийся в наследство, который он стал возить с собой после начала войны, потому что служебное оружие ему не полагалось. Конечно, заглянув к Альберту тремя днями ранее, он заметил пистолет на письменном столе, а Альберт, перехватив его взгляд, убрал оружие в ящик. Наверняка пистолет лежит там, в столе, и, быть может, если он попросит – нет, конечно, Альберт пожертвует его во имя их долгой дружбы.

– Прости, Берти, я загляну к тебе?..

Он постоял, вслушиваясь в тишину. За дверью не отвечали. Аппель нажал на ручку (неприятная ручка, 13 см), и дверь неожиданно легко отворилась. Он встал на пороге знакомой комнаты (он пытался сообразить в уме, какого она размера, но считать не получалось). Альберт, в расстегнутой рубашке, сидел в кресле у окна. Прикинув, что между ними ровно 6 шагов, Аппель внимательно уставился в его лицо; с такого расстояния различить все оттенки выражения было невозможно, но Аппель заметил, что на него не злятся и не хотят прогнать, как непрошенного гостя.

– Конечно, я зашел, чтобы попрощаться, – с поразившей его самой решимостью сказал он. – И, конечно, чтобы убедиться, что ты... – Решимости не хватило, и он замолк.

– Что я – что? – спросил Альберт.

– Что ты... лучше себя чувствуешь.

– Мне лучше. Спасибо.

Не зная, как быть, Аппель 7 раз провел носком ботинка по деревянному полу – раз, второй, третий, четвертый...

– Ты уезжаешь? Тебя отпускают? – оборвал его неловкость Альберт.

– Конечно. С чего бы меня не отпустить?

– Из-за хозяев. Я знаю, что в доме следственные мероприятия.

– А, это, – промямлил Аппель, – конечно, это... но я уезжаю выполнять воинский долг, так что они бы не посмели меня задержать. Призывной пункт – это...

Снова он замолчал, не понимая, что нужно говорить. От безразличия Альберта, вызванного далекими от Аппеля внутренними переживаниями, было тошно и страшно. Не желая признавать, что близ Альберта он чувствует себя безумно, невыносимо одиноким, он стал считать бежевые точки на обоях – первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, девятая... нет, восьмая, конечно, восьмая, девятая...

– Мне жаль, что у нас ничего не получилось, – сказал Альберт с жутковатой отстраненностью.

– Что? – переспросил Аппель.

– Я знаю, Альрих: ты остался из-за меня.

Аппель открыл рот, чтобы потребовать не называть его Альрихом, но Альберт не дал ему возразить:

– Я сожалею, что невольно... что не разорвал нашу дружбу. Мне было хорошо с тобой, и я был эгоистом. Ты был моим другом. Я... не хотел тебя терять. Это было эгоистично. Я должен был уговорить тебя...

– Нет, не должен! – перебил его Аппель. – Я не собирался уезжать!

– Черт, Альрих, если бы ты уехал, не было бы этого! Тебе бы не пришлось брать в руки винтовку! Все, Альрих, все было бы иначе!

– Ты прав. Все было бы иначе.

Он прикусил губу, чтобы не проболтаться. Конечно, если он сейчас все выскажет, Альберт попросту убьет его, а он,

как бы ни любил его, не собирался умирать немедленно. К его счастью, Альберт ничего не заметил. Они размышляли каждый о своем. Аппель уставился в окно, справляясь с желанием пройти эти невозможные 6 шагов.

– Мы больше не встретимся, Берти. Конечно, глупо говорить, что мы не встретимся, многое может измениться, но... у меня к тебе просьба. Можешь дать мне пистолет?

Краем глаза он заметил, что лицо Альберта изменилось: на нем появился страх.

– Пистолет?.. Зачем тебе мой пистолет?

– Я не могу тебе сказать. – 36 см, конечно, не 37 см, он не ошибается.

– Если ты не скажешь, зачем он тебе... пойми меня, Альрих, ты просишь у меня единственное оружие.

– Знаю. Мне не у кого больше просить. Берти, я бы сказал, если бы... Ты начнешь меня отговаривать!

– Ты застрелиться, что ли, хочешь?

Он вздрогнул.

– Нет, конечно. Берти, если я бы я хотел убить себя, я бы, конечно, уже нашел способ.

– Альрих, это именное оружие. Понимаешь?

– Я скажу, что украл его. Боишься неприятностей из-за меня?

Понимая, в каком направлении работает мозг Альберта, он спрашивал небрежно и даже с долей пренебрежения. И с 6 шагов он различил, что Альберт сильно обижен.

– Это пистолет моего отца, – холодно сказал Альберт, – подарок от партии. Зачем мне отдавать его тебе? Вряд ли ты вернешь его назад, да?

– Ты же его ненавидел. Зачем тебе его пистолет?

– Скажи, зачем он тебе, и я отдам. Если не за тем, чтобы убить себя... получается, ты хочешь кого-то застрелить?

– Конечно, ты проникателен, Берти. Оружие за тем и изобрели, чтобы в кого-то стрелять.

25 см, может быть, 24 с половиной – он отвлекся, чтобы взглянуть на Альберта. Тот иронично улыбался.

– Хорошо. Мне это нравится. Можешь его взять... в ящике. Возьми. Там и патроны. Можешь убить, кого хочешь.

– Ты серьезно?

– Серьезно.

– Раньше ты был против убийств, – сказал Аппель.

– Я передумал. Иногда убийство – единственный выход.

– Я раньше никого не убивал, – признался он.

– Ничего, к этому быстро привыкают.

Не отводя от него взгляда, Аппель опустил руку в ящик стола. Пистолет (23,5 см, 13,5 см, 4 см) он убрал во внутренний карман пиджака. Альберт смотрел на него, и, кроме обезличенной иронии, Аппель ничего не чувствовал за этими красивыми темными глазами.

– Я... конечно, это странно, но... я отомщу за нас, Берти.

– Как скажешь, Альрих.

Аппеля отстранили от дверного проема – в спальню вошел высокий (193 см) человек в черных перчатках. Он был узнаваем и похож на Альберта – невольно Альберт перенял профессиональную жесткость исполнителей от системы. Жестом человек велел Аппелю выйти. Он заметил лишь, прикрывая дверь, что Альберт не встал навстречу коллеге, но было ли то хамство, безразличие или норма этикета, так и не понял.

На втором этаже работали скучные и безликие персонажи, приехавшие во второй машине, за высоким человеком. Кто-то смотрел за картинами, искал в стенах, за мебелью, кто-то разрывал красивые обои в комнате Аппеля. В опустошении он присел на кровать, близ которой валялись обрывки обоев, чужие бумаги, скомканное постельное белье и, что было особенно неприятно, содержимое его чемодана.

Это все. Он больше не увидит Альберта. Это закончилось. Он коснулся рукой пиджака, чтобы проверить – пистолет был с ним, и часть Альберта была с ним, и все же он больше не услышит его голос. Между ними было 9 метров, но Альберт уже стал воспоминанием. Зачем я рассказал о тебе Катерине? Черт меня дернул говорить с ней. Он прав: все бы было иначе, не расскажи я Катерине о тебе. Ничего бы не было. Конечно, это моя зависть к ней. К этой женственности, которая привлекает обычных, как Альберт, мужчин. С какой злой усмешкой она смотрела на меня – она знала обо мне, возможно, больше меня самого. Конечно. Конечно, те

36 слов, которые я выпалил ей в глаза – они запустили несчастье, обрушившееся так стремительно на этот дом. Софи не заметила. По ее планам я должен был умереть намного раньше. Умри я раньше, никто бы не сказал Катерине 36 слов, из-за которых она решилась прыгнуть с дьявольского моста.

Он собрал в чемодан вещи – 36 штук, столько же, сколько слов он сказал Катерине. Какая злая ирония, конечно, а не пошли бы они все вместе – с Катериной, Альбертом, Софи, этим проклятым домом? Он встал и, игнорируя чужаков, вышел. Как ни был он правильно настроен (решительно, как он верил), он остановился напротив двери Альберта. Никого не было – только в комнатах копались черные жуки в черных перчатках. Всего 12 человек – он посчитал. Кто, черт возьми, делал двери в этом дьявольском доме?

– ...Не мне высказывать мнение. Но я волен высказать мнение партии: лучше человека, чем вы, найти сложно. Партии нужен человек с долгой партийной историей, с опытом работы в прокуратуре, с вашими связями в криминальной и политической полиции.

– Партия не сомневается в моей благонадежности?

– Не понимаю вас. У партии есть причины в вас сомневаться?

Аппель осмотрелся – никто не обращал на него внимания. Он прислушался – какие же отвратительные у них двери! Понятно, почему все жильцы дома осведомлены о планах друг друга.

– Что же, если вы хотите доложить партии о вашей личной связи... Не стоит – партия знает. Если у барышни нет еврейской крови и вы не собираетесь заключать с ней брак, партия готова закрыть на это глаза. Меня просили уведомить вас. Более того, мы обеспечим ей безопасность... сами понимаете.

– Вы угрожаете моей... знакомой?

– Что же, нет. Напротив. В общих интересах обеспечить ей безопасность.

– Это не имеет значения. Можете забыть об этом. Эта женщина мертва.

– Что же, это печально.

Там помолчали. Аппель боялся шевельнуться и, быть может, случайно выдать свое присутствие.

– Вы позволите обыскать ваши вещи?

– А вы имеете полномочия обыскивать членов Народной судебной палаты?

– Пока вы не стали им официально. Извините, что уж...

В каких вы отношениях с хозяевами, г-н Мюнце?

– В приятельских. Знакомы давно.

– Что же, замечали, что ваш приятель питает склонность к Сопротивлению?

– Нет. Он казался мне честным человеком.

– Вас не смутило, что он женился на иностранке?

– Я не отвечаю на такие вопросы.

Высокий человек – он явно копался в чем-то, и без оста-

новки спрашивал, как его визави относится к старым знакомым, были ли у них личные или деловые связи, понимал ли он, Альберт, в каком клубке национального заговора оказался...

– Вы давно знаете Аппеля. Вы знаете, что он был оппозиционным журналистом?

– Мне это известно. Но сейчас он служит партии.

– Вы считаете его искренним?

– Я не могу оценивать искренность Аппеля, потому что не являюсь им.

– На него писали заявления: что же, что он является... скажу деликатно, чтобы не оскорбить вас... что его интересуют не женщины.

– Я ничего об этом не знаю.

– Аппель не делал вам предложений двусмысленного характера?

– Нет. Личная жизнь Аппеля меня не касается.

Он не стал слушать после. По-прежнему его никто не замечал, и спускался он незамеченным. Исчезли обитатели, прислуга, ищейки. Первый этаж спал. Он постоял в прихожей, конечно, пытаясь запомнить, сколько пуговиц у кого на пальто, какого диаметра их шляпы, сколько... нет, незачем. Он признался себе: он мечтает, что некто спустится (хоть бы то была Катерина) и бросится на него, попросит не уезжать или сохранять бдительность, сохранить себя для лучших времен, не жалеть ни о чем, не унывать – не все ли рав-

но, что сказать? Но никто не спустился. Он был одинок в доме с людьми, которых знал много лет.

Аппель удобнее схватил чемодан и вышел во двор. Заскрипела калитка, зашуршала дорожка. Пистолет был при нем, на животе, слева – сколько испытаний он пережил и сколько еще застанет на этой войне.

## 1933

Случайно так вышло, что он услышал разговор Марии с Петером Кролем. Они стояли наверху, на площадке, а он поднимался и издали услышал их откровенно раздраженные голоса.

– ...И я не понимаю, какое тебе до этого дело, – завершила Мария с резкостью, которой он давно уже от нее не слышал.

Петер Кроль, казалось, опешил. После паузы он заявил:

– Это – наивность. Это все несерьезно. Мне оскорбительно смотреть на тебя.

– Оскорбительно?.. Почему же? Я хочу знать.

– Он играет с тобой. А ты – соглашаешься. Ты спишь с ним, а он использует тебя – после всего, что я сделал, какие манеры я тебе прививал!

Теперь опешила Мария; сложно было сохранить спокойствие, услышав столь собственническое заявление.

– Ты говоришь так, словно я принадлежу тебе, словно... я твоя кукла?

– Нет... нет! Ты неправильно меня поняла. Вообрази, что я брат, брат, которого у тебя не было... Разве брат бы обрадовался, что его сестру использует легкомысленный тип, играет на ее чувствах, а она, она... неужели у тебя нет элементарного уважения?

– Прости, но мне это надоело. Я... я уйду!

– Нет, это нечестно! Ты что, надеешься на его порядочность, что он на тебе женится?

– И что? О чем тут можно спорить?

– О чистоплотности. Быть сексуальной игрушкой – не унижительно? Большого от него ожидать нельзя! Но если он такой, это не исправишь!

– Любят же некоторые навешивать ярлыки на людей!

– А некоторые женщины видят все в розовом цвете и разочаровываются, не сумев перевоспитать мужчину! Хочешь жить в иллюзиях?.. Ты обязана уважать себя! Я столько сил потратил на тебя! Ты не имеешь права отмахнуться...

– Я не просила со мной возиться! Я думала, мы дружим... но ты меня подавляешь! Все должно быть, как тебе хочется, потому что тебе виднее! Это несправедливо!

– Сколько раз я оказывался прав? Вот сколько? Как считаешь?

– Много! Но это не тот случай!

– Ну, конечно! Как раз тот! Он тебя попользует и бросит! Спорим на деньги? На сколько хочешь? Спорим, ну?..

Услышав быстрый топот ног, Дитер успел прижаться к

стене – чтобы пропустить Марию, выскочившую с пролета прямо на него. Испуганно она взглянула в его сторону. Лицо ее было необычно зло и как-то неестественно красиво в этом.

– Я... я пришел к Кате, – пробормотал он.

– Вот как, – Мария отвела глаза, – принес что-то на ее день? Что же... очень мило.

– Я... прости, Мари.

– Тебя больше не принимают в нашем доме, – отрезала она. – Тетя не хочет, чтобы ты бывал у нас. Альберт тебе разве не сказал?

– Я надеялся, что об этом мне расскажешь ты.

– Пожалуйста – говорю.

– Я занесу подарок Кате и уйду. Договорились?

Пренебрежительно Мария пожала плечами и, показывая, что не собирается с ним иметь дел, зашагала вниз. Он сдержался, чтобы не пойти за ней – как ни хотелось этого, Мария имела право на него злиться и тем более имела право на одиночество. Он оставил ее.

Вставший у двери с партийной газетой Петер Кроль проигнорировал его появление. Впустила его Катя, и в глазах ее он прочел разочарование, совершенно невыносимое, которое не позволила бы себе старшая сестра. От его улыбки Катя сжалась в плечах и покачала головой на наигранно приветливый тон.

– Мне ничего не нужно, – тихо сказала она, – это лишнее,

что вы пришли и принесли...

Утомленная грусть ее убила наповал. Не опусти она глаз – и у него бы появилось чувство, что на Марии нужно жениться хотя бы потому, что об этом мечтает Катерина.

– Тетя запретила тебе принимать от меня подарки? – натянуто спросил он.

– Нет. Я... сама так решила. Извините.

Он убрал в карман полосатый галстук, который принес; он помнил, что Катя говорила о таком и сетовала, что копить на него тяжело.

– Катя... – скатываясь в жалость к себе, начал он, – понимаешь... мне жаль, что у нас плохо получилось с твоей сестрой. Она... замечательная. Но бывают обстоятельства...

– Этак говорят все взрослые, – со вздохом ответила она.

– Наверное. Ты сильно злишься на меня?

– Не знаю. Может, нет. Вы все-таки ничего ей не обещали.

Но... я верила... а, неважно.

Непостижимым образом, но Катерина влияла на него – напоминая, что он ни разу не заговорил с Марией о браке, она внушала ему мысль, что он обязан был это сделать. Он обязан был жениться на Марии! Сопротивляться Кате было больно. К счастью, она, не простившись, пошла в свою комнату, и он сумел заглушить в себе чувство вины.

В квартире гости сидели без тети Жаннетт – как оказалось, она отбыла к известному чиновнику, а оставшиеся пили в ее отсутствие чай и перемывали кости кому-то из род-

стенников Альберта. Сам Альберт был с ними, но ничего не пил и часто посматривал на часы, как рассчитывая что-то. На присевшего близ него он взглянул неприязненно и заметил иронично:

– О, вам повезло, что Жаннетт уехала, она бы вас точно выставила.

– Как скоро она вернется?

– Без понятия. Может, через час. А вам нечем больше заняться?

Не желая ругаться, он пропустил вопрос мимо ушей. Альберт отвернулся. Остальные, с которыми он был поверхностно знаком, но что знали о его положении в этом доме, смотрели на него странно. И самый безразличный человек почувствовал бы себя неуютно.

– О... ком говорят? – пересилив себя, спросил он у Альберта.

– А? – нехотя откликнулся тот. – О Германе.

– А кто это?

– Вы опять не помните? Это муж моей сестры. Вы с ним говорили!

– Разве?

– Впрочем, возможно, вы замечаете только себя.

Это был явный вызов: отчего-то Альберт намеревался конфликтовать, а логика этого ускользала.

– Я ваших партийных не запоминаю, – заявил он, тем самым приняв вызов Альберта. – Вы все для меня на одно ли-

цо. С чего бы мне отличать ваших родственников?

– Ни с чего. Вам наплевать на всех, кроме себя.

Он открыл рот, чтобы заявить, какой его визави обыкновенный идиот, но с другого конца комнаты человек в «оркестрантской» воинской форме закричал:

– Нет, постойте! Дайте мне сказать! Стали мы от их взбучки покорными, смирились с унижениями – и они, как подачку, за наше смирение бросают нам вот это... Они не хотят, чтобы наша страна опять стала великой, им не нужен конкурент. Они хотят нас подкупить их демократизмом, их... Они хотят нас успокоить, чтобы мы размякли и сами их к нам пустили, чтобы они самолеты свои у нас разместили и танки поставили. Вы такой наивный, что этого не понимаете? Носите еще мундир!

– Вы... это вы мне? – в недоумении уточнил Дитер.

– Да, да! Демократическая армия – худшее, что могли изобрести! Видите, до чего нас довела демократия? Мы вырастили поколение офицеров, которые не желают воевать за страну!

– Я... не понимаю, чего вы от меня хотите!

– Армейские боятся войны, – сказал кто-то слева, молоде первого и менее энергичный. – Их напугали страшными машинами, которые умело перемалывают человеческие конечности. Раньше, я слышал, армейских мотивировали, рассказывая о достоинстве службы и чести умереть за родину. С. убил старый дух. Нынче армейским показывают танки и

пушки и говорят: «Посмотри, это эффективно убьет тебя на войне, поэтому мы не воюем и тебе не советуем!».

– Ничего не понимаю! Слушайте... причем тут война? Какие танки и пушки?

– Кто вас поймет, новую эту армию... демократическую... Старые военные, к счастью, в армии остались, а вас разве можно объяснить, воспитанников С.? Наша прежняя армия – вот то была армия, смелая, готовая к бою...

– Наплевать, – возразил Альберт, – пошли курить, пусть сами с собой спорят. Я ничего не понимаю!

С Альбертом он взял пальто и вышел на балкон. Выражение у Альберта было мрачное, кутался он недовольно, но в глубине очень темных глазах осталось что-то по-человечески приятное, живое и теплое.

– Что? – тихо спросил он, заметив, как на него смотрят.

– Альберт, давайте... закроем конфликт. Мне ужасно неловко. Я... – Он собрался с мыслями. – Я знаю, вы воспринимаете девочек почти... как членов своей семьи. И все же я отказываюсь понимать, почему мои отношения с Марией разрушают абсолютно все.

– Все не из-за Марии, – тихо и мягко возразил Альберт.

– Разве? А я не заметил, как на меня смотрят? Как вы со мной разговариваете? Это из-за Жаннетт? Из-за чего?

– Вы не понимаете, к кому вы пришли. Вы пришли к партийным и... к южанам. Знаю, вы нас не любите... партийных и южан. Мы тоже не любим северян и ничего не можем с

этим поделаться.

– А, так все потому, что вы – приезжие, а я, значит, местный?

– Нет. У нас, южан, очень... ценят верность. Нас оскорбляет, если она не соблюдается. Партийные тем более ценят верность, в самых разных ее проявлениях.

– Впервые о таком слышу. Кажется преувеличением.

– Впрочем, – с ироничной улыбкой добавил Альберт, – вы женитесь на богатой женщине, которая старше вас. Я знаю, это Альма, дочь генерала. В нашем обществе, простите, не уважают мужчин, которые женятся на деньгах.

– Вы поразительно бескорыстны. Хотя нет, вам, партийным, приятнее ограбить, чем жениться на деньгах.

Альберт не стал возражать. Вместо этого он спросил:

– Вы уезжаете с Альмой? И больше не вернетесь?

– Кто это сказал? Мы уезжаем кататься на лыжах, у меня отпуск... А что?

– Мне нужно сказать: скоро главой правительства назначат «Трибуна». «Единая Империя» станет главной партией в стране.

– Вы... уверены? Отчего?

– У нас свои источники. Жаннетт тоже знает.

Как непривычно было смотреть Альберту в глаза – и сколько смятения, неуверенности и страха было в их глубине... Альберт запахнул воротник пальто и уставился на фонарь внизу. Нетронутая сигарета его слабо дымилась.

– Знаете, я не против партии, но... вернее, я не столь категоричен... но есть противоречия, которые меня беспокоят.

Дитер терпеливо слушал.

– Это глупые фантазии, – с неестественным смешком сказал Альберт. – Я не верю... разбитые витрины – неприятно, но не смертельно. А фантазии... я не могу вообразить себе глобальную войну. Не могу поверить, что кто-то на нее согласится, начнет ее. Понимаете?

– Отчасти, – ответил Дитер. – Я понимаю, о чем речь. Почему вы верите в начало войны?

– Но... все говорят о нашем... о современном оружии. Оно пришло к такому прогрессу, оно ужасно. С ним новая война, если она начнется, примет такую бесчеловечность, быстроту... Как можно воевать, зная, что это уже не то, что раньше?

– Вы заставили меня вспомнить стихи Петера Кроля – за что, Альберт?!

– Я хочу сказать, – поспешно, захлебываясь словами, говорил Альберт, – может ли эта сила, этого оружия, массового, чтобы убивать огромными массами... Может ли страх перед этой силой, перед ее последствиями, предотвратить... то, о чем мы говорим? Нужно быть сумасшедшим, чтобы воевать, зная...

– Ну, таких хватает в любое время.

– Но если объяснить правильно, что это и какие у этого будут последствия, могут же они успокоиться?

– Как можно объяснять, по-вашему? – возразил Дитер. – Картинками, словами, фильмами? Не сказал бы, что они действуют. Если люди хотят убивать других людей, их ничто не переубедит.

– Но... все же... может ли наше оружие, рассчитанное на массовое уничтожение, предотвратить войну и...

– Его использование? Интересно... Моя покойная мама верила: наступит время, в котором homo sapiens заживет в осознанном желании добра. Смешно? А сейчас верят только в страх: если все будут запуганы возможностью войны, то война, естественно, не случится.

– Мы стали реалистами, – ответил Альберт. – Вам нравится оружие?

– Я умею с ним обращаться. Меня профессионально обучили. Но нравится... зачем оно должно нравится? Я думаю, пацифисты больше любят оружие, чем я. Пацифисты верят, что оружие нас всех спасет. Если мы все испугаемся этого оружия, то не станем его применять, а значит, война будет уже невозможна, и поэтому нужно молиться на это оружие и создавать его больше и больше, каждый метр земли не забыть. Не отставать от остальных стран, воспевать его именно за то, что оно такое смертоносное и его так много, что оно наконец-то принесло нам пожизненный мир. Возможно, настоящие борцы за мир – не болтуны, как мы, а изобретатели новых видов вооружения: они не болтают по пустякам, а работают на благо человечества. Нет, я не бу-

ду спорить... может быть, страх – единственное, что способно остановить человека. Не абстрактное понимание добра, а страх – перед наказанием, если мы о преступнике, перед чужим мнением, перед Богом и Его судом. Возможно, лишь боящийся человек может быть добродетелен с точки зрения обычной морали; может, и хорошо, если страх по-всякому нагнетается. Даже Бог, хоть и милосерден, пугает адом. Вы не религиозны?

– Я католик, – ответил Альберт.

– А, а я нет. Извините.

Альберт был печален.

– Страх – плохое чувство, – после паузы сказал он. – Через него хочется переступить, об этом в криминальной психологии написано.

– Ну, значит, мы с вами убьемся на новой войне.

От темы хотелось насмехаться, но то, он отчетливо различал, был защитный механизм. Он тряхнул головой, чтобы избавиться от мимолетного воспоминания: измученная мать у его больной постели, мертвая сестра, исчезнувший отец, что мечтал о достойном сыне, но, он верил, не отправил бы его воевать...

– Война – это страшно, – сказал он еле слышно.

– Я знаю, – так же ответил Альберт.

Они помолчали. Говорить было неуместно.

– Вы – хороший прокурор? – после паузы спросил Дитер. Понимая, о чем он, Альберт ответил:

– Я следую интересам закона, а не отдельной группы. Я не сделал ничего, за что мне было бы совестно.

– Оставайтесь таким же. Хорошо?

– Я... вы меня извините, если что.

– Отчасти я это заслужил. Так?

– Куда вы? – спросил Альберт.

– Не хочу, чтобы меня выставила Жаннетт, мне стоит уйти пораньше. Да, вот... – Из кармана он достал галстук. – Отдайте его Кате. Она мечтала о нем.

Потом он спустился, вскинул голову – и заметил, что Альберт по-прежнему стоит на балконе, кутаясь в черное пальто. Смотреть на него было приятно. Впервые он испытал к этому человеку сильное теплое чувство, смесь сочувствия и тонкого понимания. Он шел по набережной и убаюкивал это новое чувство. Все же мило, что Альберт временами путается в дифтонгах. Тяжело жить с чужим языком, в чужом климате, учиться, мириться с этим, и есть в нем растерянность, которая... А каково было Марии? Как она училась жить в его стране? Как нежно она забрасывала руку на его шею и тихо-тихо что-то шептала.

За завтраком Альма бросила ему письмо и прошипела со злостью, свойственной ей в минуты политического разочарования:

– Ты посмотри, какая наглая шельма! Считает, что понимает все в этой стране лучше меня!

С удивлением он взглянул на открытый конверт и обнаружил фамилию человека из партии, хуже того – человека из семьи Альберта. Как его жена вступила в переписку аж с популярным идеологом отвратительной ей партии, он не стал спрашивать. Альма хотела, чтобы он прочитал. Письмо изобиловало типичными выражениями писателя, который не отрекся насовсем от изящества во имя признания малообразованных масс.

«Уважаемая моя соотечественница!

Раз Вы соизволили заинтересоваться человеческой психологией, отвлекшись от любовных интриг и либеральных заблуждений – или что Вас более всего занимало ранее и занимает сейчас? – так вот, поскольку Вы у меня спросили, какие мысли у меня есть на этот счет, я с Вами охотно поделюсь своими – не очень оригинальными, впрочем – размышлениями.

Ранний P.S.

Как Вы думаете, есть ли что-то страшнее безальтернативности? Это чувство именуется беспомощностью. Так чувствовали ли Вы свое бессилие перед безумством внешним? Чувствовали ли, что не можете ничего ему противопоставить? Что вы пусты и что вы – песчинка и вольны лишь выразить мнение эпохи, что вы – не личность с собственным мнением, а голос великого исторического процесса? А ваш выбор – стать голосом страны и ее воли или оказаться на

обочине истории, изгнанником, не сумевшим принять путь своей нации. Вы вправе осуждать меня за то, что я рано понял и принял выбор нашего народа. Вы вправе осуждать меня за то, что я нашел слова для нашего народа, те слова, которые народ сам произнести не может, но чувствует и хочет их, и приближает их мыслями и действиями».

– Кристиан Мюнце, оказывается, мистик, – произнесла сквозь зубы Альма, – из тех мистиков, которые верят, что ничего не изменить. Мне, ты знаешь, претит эта покорность.

– Безусловно, ты же не веришь в судьбу, – не отрываясь от письма, сказал Дитер.

– Судьба – это вздор. Судьба человека или судьба народа – это чушь, глупость, это... Что удивляться, что сбылось худшее, если ты заранее поверил, что оно обязательно сбудется.

– Говорила ли Софи что-то о нашей политической ситуации?

– Мне все равно, что сказала Софи, если сказала. Не знаю никого, кому она бы напороочила счастливую жизнь. Зачем ей верить?

«Задумывались ли Вы, уважаемая г-жа Гарденберг, в чем состоит наивность человека? Это никак не связано с его умом, интеллектом, это вне разумных человеческих оценок, могу Вас заверить. Сам по себе "объективизм" – это что-то в теории замечательное, но он невозможен вовсе, ибо не

может человек быть абсолютно объективным, как бы ни хотел, его нутро сопротивляется этому, так подчас деликатно, что человек и не замечает этого давления и мнит себя по-прежнему объективным. Наши с Вами знакомые искренне считают себя правыми в своей объективности: так, в рамках нее они уверены, уверены подсознательно, что большинство устроено схожим с ними образом, ибо это разумно. Они не могут допустить, что, мысля и чувствуя схожим образом, можно поступать неразумно. Надевая этим качеством определенную категорию людей – было бы лучше, если бы это была большая категория, сами понимаете, – они всем остальным категориям отказывают в "самостоятельном мышлении" – либо эти остальные необразованны или больны, либо одурманены пропагандой, либо куплены врагами, т.е. априори сволочи и предатели. Это какая-то автоматическая защита – если, с твоей позиции, человек мыслит "неразумно", то он, в той или иной степени, плохой. Это чувство агрессивное, но не потому, что человек этот агрессивен, а от того, что подсознательно включается защита. То же самое в древности испытывали наши предки, встречая человека из другого племени, т.е. это своеобразный инстинкт выживания. Полагаю, Вы это знаете и без меня. Мне же, как Вы можете понять, любопытно наблюдать, как представители разных "разумных" мышлений обвиняют друг друга в упрощении понятий, в схематизации. По сути, стремление к упрощению присуще всем, но проявляется по-разному, это такой

же механизм защиты: мозгу легче управляться с упорядоченным материалом, длительный хаос в мыслях может привести к сбоям, в т.ч. и к психологическим. Человек пытается уберечь себя от возможных потрясений, кои обязательно принесет разбор всего со всех позиций сразу, и как итог – повышенный стресс, затяжная депрессия. Как Вы знаете, я полагаю, самые оптимистичные люди – это те, что в свою картину мира добавляют уже готовые, кем-то ранее обработанные схемы, вне зависимости от того, какого они оттенка. С чего я это начал? Я, собственно, сначала хотел написать о самооправдании, но оно крепко связано с подсознательным стремлением упростить и с потребностью избежать лишнего стресса. Сам по себе механизм самооправдания присущ всем. Его не может не быть, Вам нужно это понять и принять. Человеку важно чувствовать себя положительным, хорошим. Если нет ощущения правильности своих действий, человек – если он не психически болен, конечно, – может впасть в апатию, и чувство вины, своей неправильности, может довести его до депрессии и впоследствии – до самоубийства. Механизм самооправдания работает на стремлении человека к жизни, спасая его тем самым. Нам это всем знакомо: чтобы не чувствовать себя плохими, не признавать своей ошибки, – с учетом характера, признаться себе в таком некоторым смерти подобно, – естественным образом, спасая себя от негатива, мы переносим его на что-то иное. Виноватым автоматически становится этот другой. Это на словах только

так получается, что виноваты оба или все, а в глубине души – нет, я в меньшей степени! Особенно тяжелые бывают потрясения, они могут убить человека изнутри, если он не будет, так или иначе, вину эту тяжелейшую переносить с себя – и на что-то другое. В чем-то еще допустимо себе признаться, в чем-то можно осознать свою вину, но, повторяю, бывают вещи настолько непереносимые, что человек обвинит в них кого угодно, только бы себя избавить от неподъемного чувства вины, – хоть коммунистов с фашистами, хоть либералов с проклятой демократией, жидомасонов, всю остальную Европу, влияние Марса и Венеры, инопланетян, тайное мировое правительство и проч., и проч. Просто это бывает в единичном случае, но в массовом использоваться начинает в случае ухудшения качества жизни у всех. Все мы отягощены ответственностью за наших близких, наше чувство неудовлетворенности растет параллельно с усилением отчаяния в наших любимых, особенно в детях, и, списывая собственные неурядицы на абстрактных "других", мы избавляемся от накопившегося напряжения и возвращаем себе веру в себя и собственные силы. На массовом уровне отлично срабатывает внушение, и это внушение не насильственное, а желаемое, потому что ускоряет процесс самооправдания и помогает сбиваться в кучки по старому проверенному принципу "своих, разумно мыслящих, правильных" против "мыслящих враждебно". На инстинктивном, скорее животном, уровне это породило патологическое неприятие этих

"других", коими могли стать кто угодно, в то же время избавив людей от негатива по отношению к себе же, что было бы губительно. Иначе говоря, кого ни возьми, – это сущности в наших головах абстрактные; как в той притче, библейской, если мне не изменяет память, о всей гнили, что вышла из человека и вошла в свиней, и эти свиньи затем потонули в море, унеся в себе все грехи человеческие. Это они и есть, в кого мысленно мы все перенесли, и логичнее было бы покончить с ними так же, как в притче этой, не так ли? И не много ли лет мы рассчитываем, что отыщется виноватый, кроме нас самих, и тот, кто за нашу вину, вместо нас, на Голгофу взойдет или утопится, хоть бы это было и животное, хоть кто? Я не знаю, что написать Вам нужно помимо мною уже написанного. Мне кажется, я разъяснил все элементарно, что и ребенок понять сможет. На всякий случай: я являюсь только лишь выразителем человеческого разочарования, желания снять с себя ответственность и возложить ее на кого-то иного. Я не волшебник, уважаемая госпожа. Вы называете меня пропагандистом, не понимая сути явления. Я не внушаю людям мысли, я озвучиваю то, что мутится в их головах. Невозможно обмануть человека и обратить его к некой политической силе, если человек не хочет сам того бессознательно. Невозможно заставить человека совершить преступление, если в нем нет червяка зла, который ночами жрет его мозг, вызывая картины отчаянной мести абстрактным врагам. Итак, я говорю то, что от меня желают услышать

– и такая не моя воля. Моя воля заключается в служении нашему народу, избравшему тяжелый путь, возможно, греха и кошмара, но не в силах моей личности остановить этот путь. Вам же я указал на естественные человеческие чувства. Я пишу Вам в момент откровенности, в другой же момент я сам могу не знать за собой противоречий, не замечать своей слепоты или, наоборот, зоркости – оттого, что я такой же человек, как и Вы, как и все остальные. Да, и извините, если тон моего письма показался Вам излишне резким или чуть-чуть язвительным, или пафосным. Обижать мне Вас не хотелось, но я не понимаю, как может кто-то этого не понимать и многого еще не понимать, что я Вам написал. Желаю Вам счастливого медового месяца и скорого возвращения к нам, смертным. С уважением к Вам, Кристиан М.».

– С чего бы он писал тебе? – спросил Дитер.

– А, он выразил соболезнования из-за кончины папы, – Альма щелкнула челюстью. – Они были знакомы, оказывается... в те счастливые времена, как он был известным писателем, а не писакой от партии. Я написала, что мне его соболезнования не нужны, потому что папа был против их партии и... и я возмутилась, что они мутят население призывами к исторической справедливости, новой войне и... прочему. Очень уж хотелось открыть ему глаза, что творится в его семье, но я не стала, жалко членов его семьи.

– Ты говоришь об... Альберте?

– Альберте?.. Нет, о его матери Лине. Очень хорошая женщина, которая вынуждена скрываться, она... ты не скажешь никому?

– И Альберту? Хорошо.

– Лина, его мать, самое смешное... состоит во влиятельном кружке из Минги, который собирается в ближайшее время взять власть и объявить республику и независимость. Смешно: отец ратует за империю, имперское сознание, а его жена... считает, что империя – это зло, и нам нужно не объединяться, а разбежаться по независимым республикам. Не знаю, что случится, если он узнает, чем Лина занимается.

– Тебе неприятны такие персонажи? – спросил Дитер.

– Какие? Циники? Мистики? Или хамы, которые прячутся за вежливостью?

– Люди, которые чувствуют, что корабль тонет, могут спастись, но не спасаются, а тонут... вместе со всеми.

– Ах, разве мы не таковы с тобой? – возразила Альма. – Но он прав: мне не терпится уехать... хотя бы на время.

Он не хотел с ней ехать, но то было бы странно – они поженились меньше недели назад и остаться в столице без жены было невозможно.

– У меня стресс, я хочу на лыжи, – внезапно детским тоном заявила Альма.

– Да что – на лыжи?

– Покататься...

– А тут нельзя?

– Что ты имеешь против горнолыжного курорта?

– Да ничего. Но это слишком дорого! И потом... – Он начал запинаться. – За отпуск мой – а у меня же отпуск, ты же помнишь! – мы ничего, вот ничего не успеем!

– Успеем, еще как успеем! И заграничная В. замечательна, я помню ее очень хорошо, а кататься мы будем в горах, на том курорте, ты же помнишь?.. А, ты не помнишь, ну конечно!..

Рассчитывая много тратить в путешествии, она была скупа при подготовке праздника и из обиды на друзей им не поставила еду на стол, а обошлась шампанским с лимонадом.

– И все-таки она странна, – сказала ему Анна, его тетья, тоже приглашенная на свадьбу. – Малейшая обида – и она жалеет человеку чашку чая, торт и тот не поставит. Какая странная злопамятность! Все никак не отпустит, что мы плохо ее жалели после смерти ее папы...

– Вы что, не знаете, сколько стоит всех сегодня накормить?

– Но все несут подарки, – возразила тут же Анна. – Часто – деньгами, знаешь ли. Окупились бы!

– Она просто экономна, – чувствуя, что нужно защититься, ответил Дитер.

– Я слышала, она везет тебя в горы за свой счет. Я слышала, как она считала, сколько будет тратить. Это – экономно? Да, она злопамятна! Постарайся не разочаровать ее, а то, боюсь, это будет ваша последняя поездка.

Не желая с ней ругаться, он ушел от нее, не ответив.

– Что вы опять не поделили? – с легкой досадой спросила Альма, заметив его злобу. – Неужели нельзя хоть сейчас вести себя с ней прилично?

– Я-то тут при чем? Это она свинья.

– Вот честно, нельзя ли оставить все эти ваши семейные тайны на местах? Я понимаю, ваши тайны стали частью и моей биографии, но мне бы не хотелось... – Она замолчала, уже чувствуя себя виноватой. – Ты на меня не обижайся. Я знаю, ты ни при чем. Ты не обижаешься, нет?..

Эта ее показная умилительная нежность, с детской настойчивостью, с повисанием у него на руке и с нелепой веселостью – она бесила его. Начни Мария, взрослая, вести себя так, он бы воспринял это спокойно, но Альма?.. Ей обязательно нужно было все проговаривать, она любила комментировать всякое свое душевное движение, не могла понять, что можно переживать что-то глубокое и не желать об этом рассказать, и отсутствие романтических слов расценила бы как отсутствие самой любви и привязанности. А в интимные моменты у нее еще появлялись «котеночек», «зайчонок» и «мишка», что, наверное, выбешивало его больше всего остального. Как столь умный и серьезный в политических делах человек мог столь легкомысленно-сентиментально вести себя в любви, оставалось за гранью его понимания.

– Если ты не перестанешь называть меня «животными» кличками, я закончу клиникой, – устав как-то от бесконеч-

ных повторений этого, ответил Дитер. – И умоляю, милая, перестань говорить со мной, как с таким плюшевым зверьком! Вот бы на службе у меня посмеялись, если бы услышали.

Помолчав, он аккуратно добавил:

– Можешь считать меня дубом того парня, Болконского, – хорошо. Но я человек, а не кот, медведь и кто-то там еще, понимаешь?

Альма на слова такие обижалась, замолкала, забивалась в угол с журналом и из-за него посматривала, шмыгала носом и, возможно, более изображала переживание, нежели действительно переживала. За этим, поняв, что муж не собирается брать слова обратно, сама шла к нему и начинала приставать с намерением разжалобить его и заставить повторить, как он ее любит. Вместе со смесью жалости к ней и раздражения он испытывал смятение и стыд, глядя, как она зацеловывает ему щеки; сопротивляться он не мог, чтобы не ссориться, но и терпел еле-еле, превозмогая усталость.

В В. они пробыли пять дней, после чего уехали в горы. На курорте, умея быть естественно-милой, ласковой с малознакомыми людьми, Альма завела веселые знакомства.

– Знаете ли, раньше к моей фамилии прилагалась приставка... я из старинной семьи, очень уважаемой... но сейчас просто Гарденберг, о чем, естественно, не жалею.

Рано или поздно, но это говорилось каждому знакомому. Обнаружилась вместе с тем неспособность Альмы само-

стоятельно себя занять. До брака она развлекала себя дружеским общением, круговертью столичной жизни и политической, но нынче ласково требовала, чтобы ее веселил муж. Тишины, которую он любил, его спокойствия она не желала, ей скучно бывало ни о чем не говорить и «ничем» не заниматься. Иногда он заставлял себя делать то, что нравилось ей, но она быстро угадывала, что ему скучно, и отсылала его обратно, чтобы он мог уткнуться в книгу или в словарь французского. Мысленно она называла его унылым, но, по сути, за это отличие его от себя и любила.

Так они прожили около недели – снежную, морозную неделю, в которую Альма каталась на лыжах, спорила о политике с местными, бегала мерить вечерние платья в салоне близ отеля и училась курить заграничные сигары. Но однажды, ближе к вечеру, из столицы пришла новость, что у них назначен новый глава правительства. Настроение Альмы мгновенно упало. Она бросила лыжи и забралась в темное кресло в углу, и сидела в нем с полчаса, погрузившись в тяжкие размышления.

– Мы можем не драматизировать, – отрываясь от чтения, сказал Дитер. – Последние правители не выдерживали больше года. «Трибун» наверняка продержится не дольше остальных.

– Хочется в это верить, – уныло ответила Альма.

– Это твое вечное несчастье...

– Мое? – воскликнула Альма. – Дитер, ты, кажется, не по-

нял. У нас к власти пришли...

– Тихо ты!.. Милая, успокойся!.. Что за паника, ну?.. Да это всего лишь глава правительства!

– Всего лишь?.. Всего лишь?!

– И есть президент, кабинет министров, парламент! Не нужно спешить с выводами! Давай подождем, а?.. Если хочешь, можем выехать сейчас. Возвратимся раньше, узнаем все. А то мы от всех отстаем, получается.

– Что? – возмутилась она. – Я ни за что не вернусь к ним! Я не вернусь, Дитер, котенок! Ни за что!.. Ты меня не заставишь!

Она готова была расплакаться, но что-то, ей самой непонятное, сдерживало ее.

– У меня служба, – напомнил он сухо. – Я вернусь в любом случае – с тобой или без тебя.

– Ну что?.. Я за тебя тоже боюсь! Я боюсь, они арестуют нас, ограбят! Лучше нам остаться тут. Или уехать. Но к ним я не вернусь! Ты можешь служить в иностранной армии, если тебе хочется.

Он подумал о Марии – и едва ли не закричал:

– Что? Предать родину? Да мне легче умереть!

– Да что ты кричишь? – возмущенно ответила Альма. – Какая родина? Тебя же убьют – что, это родина? Я не поеду – и все!

Он замолчал, покраснев, испугавшись, что она догадается. Думая, что он оскорблен ее предложением, она залезла

ему на колени и, обхватив его шею, зашептала:

– Котик, прости. Я же не думала, что ты так предан нашей стране. Это невыносимо ужасно!

– О господи, – только и смог сказать он.

– Ну, давай, зайчонок, напишем туда, узнаем, как там все обстоит. Узнаем хоть, ну? Ну не хмурься, мой мишка! Сейчас кошечка разгладит поцелуями твои нахмуренные бровки!

– Хорошо, хорошо... Я напишу Жаннетт. Она с ними в отличных отношениях.

За разговором этим Альма сама стала избегать дальнейших обсуждений, опасаясь, что доводы мужа смогут поколебать ее решительность. Настроение у нее после испортилось, развлекаться ей уже не хотелось ни с кем, но и без привычных шумных забав ей было скучно. Согласившись с ней, что нужно написать в столицу, Дитер попросил Жаннетт сообщить последние новости, а та ответила спешно и не без язвительности: «Больших перемен пока нет. Случившееся закономерно, и, если бы Вы соизволили поинтересоваться ситуацией и общественным мнением, Вы могли бы и понять, что иначе не могло быть – это я Вам пишу как наблюдатель». Решив, что послание требует ответа, Дитер отправил ей: «Боюсь, не в моих интересах верить, что новый режим утвердится. Каков Ваш прогноз, если мы говорим о месяцах?». На это ответа, к разочарованию его, не последовало: то ли Жаннетт опять умудрилась на что-то обидеться, то ли она не захотела

объяснять из вредности – или же хотела, но письмо ее затерялось или стало жертвой новой цензуры.

Через некоторое время же появился человек, который бывал у Жаннетт, состоял в партии и приехал, должно быть, как ее представитель. То был Петер Кроль, с которым Дитер меньше всего желал столкнуться – как никто, Кроль мог свидетельствовать против него, зная много о его отношениях с Марией (и, конечно, о том нельзя было знать Альме).

Петер нашел их в кафе пьющими чай после шести часов вечера; медленно приблизился, чуть наклонившись, и поспешил привлечь к себе внимание.

– Мне сказали, что я могу найти вас здесь, – голосом естественно-приятным сказал он, наклоняясь ниже, чтобы смотреть Дитеру в глаза. – Вы меня можете не вспомнить. Я друг Альберта и Марии, нас с вами познакомили. Милостивая госпожа, прошу простить меня...

Альма узнала в нем партийного поэта и нехотя улыбнулась его вежливости.

– Извините, я... вы не представились.

– Понимаю вас. Петер Кроль, к вашим услугам.

– Не хотите ли присесть, друг Альберта? – глупо, не сдержавшись, спросил его Дитер.

– С большим удовольствием, – пропустив грубость мимо ушей, ответил тот. – Если милостивая госпожа не возражает.

Кратким кивком она разрешила.

– Вы из столицы? – сдерживая волнение, спросила она. –

Как там?

– Обыкновенно, но, нужно признаться, занимательно. Вы, я полагаю, знаете о последнем назначении? Мы знали, что это случится, и очень жаль, что вы не присутствовали на нашем торжестве.

– А... как вам у нас?

– Не знаю еще, не могу сказать, сударыня. Я прибыл несколько часов назад, мне нужно встретиться с одним человеком. Это не секрет, не беспокойтесь, нет в этом ничего, чего мне бы не следовало вам говорить. Узнав, что я отправляюсь в ваши края, Жаннетт попросила меня передать вам письмо. Позже я вам его отдам.

– Ну, вы лучше о нашем рассказывайте, о том, что у нас там! – воскликнула, потеряв терпение, Альма.

На искреннюю ее эмоциональность Петер Кроль ласково улыбнулся и стал отвечать, растягивая ответы эти на несколько минут. Говорил он хорошо, чувствовалось, что он хочет ей понравиться, но как партийный деятель, а не как мужчина. В Альме же боролись политическая неприязнь (боже, какие ужасные стихи пишет этот красивый мужчина!), симпатия к его приятным манерам и желание вытянуть из него как можно больше информации. Она ерзала на стуле и посматривала на мужа, пока Петер Кроль многословно живописал партийные шествия, обновленные флаги, песни и таинственное единение народа, которое не понять либеральной интеллигенции с ее оторванностью от жизни масс.

– Вы, несомненно, хороший рассказчик, – сказала Альма, воспользовавшись моментом, чтобы его перебить. – Вас привлекает только поэзия?

– Право, сударыня, не стоит нам говорить о поэзии, тем более о моих сомнительных опытах.

– Вот как? – протянула Альма. – Вы о себе невысокого мнения... Это скромность?

– Что вы, я осознаю, что не способен сравниться с нашими великими классиками. Кто я, чтобы претендовать на величие, скажем, Шиллера?

– Вы правы... тем более что Шиллер писал на иные темы. Понимая ее намек, Петер Кроль все же улыбнулся.

– И все же, сударыня, меня утешает, что я занял достойное место. Получается, мои плохие стихи все же способствуют положительным изменениям. Не за тем ли мы живем на свете?

– Зачем мы живем на свете? – уточнила Альма.

– Чтобы принести что-то красивое или... полезное. В наш мир.

– Мир очень некрасив, – сказал Дитер, – и ваши старания в итоге никому не нужны. Он останется таким же уродливым, как и до вас.

Понимая, что этот человек, мерзкий, с потайным жутким дном угрожает ему самим своим существованием, он не мог все равно удержаться, чтобы не возражать ему. Петер Кроль угадывал его смутный страх и с удовольствием улыбнулся.

– Но я не ваш враг, – с мягкой насмешкой сказал он позже. Альма ушла в номер, оставив их пить глинтвейн. – Более того, я привез вам письмо от Марии. Она хочет помириться.

– Вот как? Я вам не верю.

– Отчего же?

– Мария бы ни за что не отдала вам письмо.

– Вы ничего о нас не знаете, – расслабленно ответил Петер. – Вы считаете, что знаете наши отношения... Вы ошибаетесь.

– Что вам нужно от меня?

– Решительно ничего. Я приехал по поручению партии и воспользовался возможностью, чтобы завезти письмо... Возьмите.

Нерешительно он взял сложенный лист бумаги и взглянул на почерк – руку Марии он узнал бы и спросонья. Небрежно она написала: «Я злюсь, но считаю, что ссориться не стоит. Мне все равно, что ты женат. Если ты любишь меня – приезжай». Он оглянулся в поисках источника огня – оставлять письмо было нельзя, – но наткнулся на печальную улыбку Петера Кроля, что явно осуждал его. От этого осуждения ему стало неловко.

– Я ничего не скажу Альме. – Петер отвернулся. – Полагаю, это не моя забота.

– С-спасибо.

Ну вот, этого не хватало – стать должником партийного. Глупо считать, что Кроль ничего не потребует взамен.

– Я загляну к вам после, – прощаясь, сказал Петер. – Я остановился в вашем отеле, можно сказать, вы единственные мои знакомые в этом замечательном месте.

– Что ему нужно? – неуверенно спросила Альма, стоило ему возвратиться в номер.

– Не знаю, – честно ответил он.

– Ты хорошо его знаешь?

– Нет... Жаннетт познакомила.

Жалуясь на вымышленную головную боль, он отправился в спальню и, улегшись в постель, прокрутил в воспоминаниях, что связывало его с Петером Кролем. Оставшиеся в прошлом усталые вечера после занятий при штабе, захламленная квартира, Альберт на балконе с сигаретой в губах, смех Кати, плечи Марии, такие мягкие, невозможно приятные... В гостиной Альма ругалась с телефоном или с кем-то далеким. Зачем это? Чем это кончится? Как он в это ввязался?

Новым утром, узнав, что Альма встает позже мужа, Петер Кроль явился в кафе близ отеля и спросил, может ли сестра с ним завтракать. Заказав тосты с маслом, с жуткой аккуратностью расстелив салфетку, Петер начал говорить о погодных условиях, что не располагают к катаниям на лыжах.

– Неужели ваша жена решается кататься в таких условиях? Как ей не страшно?

– Она очень опытный лыжник, – ответил Дитер.

– Право, женщинам стоит больше себя беречь.

Диалог получался странный в своей бессмысленности.

Но, как светский человек, Петер обязан был начать с чего-то безобидного и скучного своему знакомому. Потратив полчаса на сетования, что местные пренебрегают этикетом, он внезапно сказал:

– Ужасно, но я должен просить вас о большой услуге.

Вот, началось! Ни за что бы Кроль не тратил столько времени, не имей он тайного плана на человека.

– Я вас слушаю.

– Мне неловко, но... я... мне нужно признаться: я... влюблен в вашу кузину, Софи Хартманн.

Он немного покраснел и закрыл глаза.

– Да? – тупо спросил Дитер. – Я... счастлив за вас.

– Спасибо, – горячо ответил тот. – Вы не против? Я очень люблю Софи, она божественна, я клянусь, что в моих мыслях нет ничего грязного... я боготворю ее! Нет существа, более... восхитительного.

– Я... понимаю... Софи – милая и красивая... Но причем тут я? Я почти не знаком с ней.

– Вы – ее кузен, – перебил его Петер, – а Анна Хартманн – ваша тетя. Кроме нее и вас, у Софи никого нет.

– К чему вы клоните?

– Я хотел поговорить с ее матерью и вашей тетей. Анна Хартманн не пустила меня на порог. Она – жена известного социал-демократа. Она не выслушала меня. Она презирает меня.

У него возникли плохие предчувствия.

– Причем же тут я? – излишне резко спросил он.

– Я люблю Софи и... хочу жениться на ней. Софи... ее особенность в том, что она не может быть самостоятельной. Значит, она останется во власти своей матери... и позже, и позже. Меня это не устраивает.

– Я понял, – оборвал его Дитер. – Вы хотите, чтобы я уговорил Анну, чтобы она дала вам ухаживать за Софи. Это не в моей... они мне чужие! Я не могу вам помочь. Мне жаль, но...

– Анна Хартманн и ее муж являются политически опасными субъектами, – перебил его Петер. – Вы были в моем положении. Вы должны мне помочь. Вы можете стать опекуном Софи.

– Я... не понимаю.

Из кармана Петер извлек что-то – бумагу с напечатанными черными буквами.

– Никто ничего не узнает, я даю слово... Подпишите это.

– Вы думаете, я подпишу приговор двум людям, которые ничего мне не сделали?

– В «ваших» показаниях нет лжи, – печально ответил Петер Кроль. – Вы же знаете, что они служат... не в интересах нашей страны.

– Да? Тут написано, что они хотят устроить диверсию. Вы... хотите, чтобы я подписал это как мои показания? Ты в своем уме, Петер?

На его ошеломленное «ты» Кроль грустно ответил:

– Сожалею. Это единственный выход избавить Софи от ее матери. Она должна исчезнуть.

– Ты спятил! Я не могу! Это... это безумие!

– Мы все немного безумны. Если вы откажетесь, я расскажу вашей жене, что вы встречались с Марией. У меня есть копия ее письма к вам. К тому же, очень легко найти свидетелей, что подтвердят мои слова. Быть может, Альме не важно, что вы имели отношения с двумя женщинами одновременно и на ней вы женились из-за ее денег... кто знает. Но ваша карьера будет закончена. Вас выгонят с места: вы опозорили военное сословие. Позором будет жать вам руку. Допустим, вы решите с Альмой уплыть за океан – но примет ли она вас? Сомневаюсь. Если примет, она все же не допустит, чтобы вы хоть раз еще встретились с Марией. А вы хотите вернуться к Марии, верно?

– Ты сошел с ума! – выпалил Дитер. – По-твоему, так выглядит любовь? Ты хочешь лишить Софи матери, потому что она тебе мешает!

– Не знаю. Разве любовь – не то, что постепенно нас убивает?

Увы, но Петер Кроль не пустился в долгие размышления о смысле и источнике любви; терпеливо он смотрел на Дитера, уверенный в его решении. Неспешно он достал ручку и положил напротив пустой чашки. Бумага уставилась на обоих с укоризной.

Этого не может быть, это нереально, не может человек

требовать писать ложные показания... они не имеют силы! С облегчением он вертел эту мысль: что какие-то буквы и чернила не имеют веса, это глупая интрига Петера, невозможно, чтобы эта бумажка погубила двух человек, чья бы подпись ни стояла на ней. Анна Хартманн не планирует диверсию. Быть может, теперь она собирает чемодан и завтра пересечет границу, а Петер будет писать в пустоту, надеясь, что его возвышенные признания долетят до уплывшей в неизвестность Софи. Что стоит – расписаться на бумажке, если она не имеет силы? Позже он скажет, что его заставили, а диверсию планировал Петер Кроль... мало ли, что можно сказать!

– Хорошо, пожалуйста! – резко сказал он. – Это все? Больше тебе ничего не нужно?

– Чтобы вы позаботились о Софи.

– О, конечно, я о ней позабочусь!

Дитер расписался. Поспешно, как боясь, что бумагу отберут, Петер Кроль убрал ее в карман.

– Спасибо, – тихо сказал он и встал, – вы очень помогли мне... Софи мне дороже всего, поймите меня.

– Не понимаю.

– Да? Мне казалось, понимаете.

Безумие! Какое это безумие! Петер Кроль вежливо поклонился. Неужели он это сделал?

Руки ее беспокойно перебежали с талии – выше, словно она пыталась найти ими внутренности, проверить, на месте ли они, не сломались ли в ней. Оглянувшись на него, она

внезапно покраснела и схватила правое запястье. Спина ее резко выпрямилась.

– П-привет.

Усилием воли она набросила спокойное выражение.

– Привет.

Минутой позже она успокоилась. Руки ее теперь расслабленно опустились, и плечи упали – столько сил тратилось, чтобы сохранять красивую осанку непрофессиональной пианистки, и как в минуты напряжения она испытывала потребность выпрямиться, как за открытым фортепиано. Но, расслабившись, она позволила себе идти, чуть сторбившись. Он как бы случайно коснулся ее спины, и она не отодвинулась.

Она снова оглянулась. Солнечная осенняя аллея была пуста.

– Все хорошо, – порывисто ответила она в молчание.

И обняла его за шею. Он легко вспомнил эти руки – они не изменились, хотя изменилось выражение ее глаз, быть может, и волосы стали светлее, утратив красновато-коричневый отлив – или то была иллюзия солнечного дня? Но руки, руки Марии были знакомыми и этим вызывали одновременно приятные и мрачные воспоминания. Это Мария, оказывается, он хотел ее в юности, принимая это желание за желание любого женского тела. И все же она – единственный близкий человек, единственный, кто знал его, понимал, видел его настоящим – уставшим, озлобленным, жестоким и слабым.

Настроение ее изменилось – будто прочитав его мысли,

Мария почувствовала свою власть. Обхватив его затылок, она заставила его посмотреть на нее и прошептала в самые губы:

– О чем ты думаешь?

– Ни о чем...

– Врешь.

– О том, какая ты разная.

– И какая?

От осознания, что Мария и в эту минуту понимает его, становилось не по себе. В подобной близости было вместе с удовольствием знакомого нечто страшное – с какой стати Марии знать его, если прошло много лет и он изменился? Но желание, вызванное одиночеством, – быть любимым и не притворяться кем-то хорошим и благополучным, – это было мучительно и утомительно. Прошрое, желанный образ из прошлого...

С облегчением он обнимал ее, и Мария молчала, зная, что он больше ни о чем не думает. Это было сродни долгожданному отдыху. Знакомые руки, которыми она гладит, знакомое лицо и волосы – нет, они остались прежними, солнечный луч обманул зрение. Запах стал мягче и успокаивал.

Мгновение ушло на то, чтобы припомнить, как она пахнет, но в номер он шел, вспоминая остальное, пытаясь объяснить так свой – серьезный? – аморальный поступок. Вне сомнения, совершенное было аморально, но в какой степени? В прошлом, и вместе с Марией, он совершил много амо-

ральных вещей – они воровали, он убил полицейского, они спрятали его труп и остались безнаказанными; он, наконец, был жесток с матерью, по юности забыв, как сильно любил ее, он ругался с Марией и оскорблял ее, сначала из злости от ее общества, а затем – от скрываемой симпатии. Важно не то, что он что-то написал о тете Анне и ее муже; важнее, что Петер Кроль его шантажирует, и кто знает, что потребует после, угрожая обличить его в глазах Альмы. Мысленно он прикинул, какие от матери остались долги и как осторожно, постепенно, он возьмет из денег Альмы необходимую сумму. Знает ли Петер Кроль о его долгах? Альма, к счастью, не знает, но...

– Отчего ты пришел таким хмурым? – перебила его размышления Альма.

Она встала с постели и расчесывалась у зеркала. Не отвечая, он заглянул в черновик письма, что лежал на ее столике, и сказал:

– У тебя ошибка... в imparfait от глагола aller.

– Ты слишком хорошо знаешь французский, – ответила Альма. – Не смотри мои письма. Я не прошу показать мне письмо от Жаннетт...

– Можешь взглянуть, оно очень скучное. Ты тренируешься на французском?

– Да. Это полезно. Всякое может случиться... Что же тебя расстроило так?

– Ничего... скучаю по военному министерству, ничего

особенного.

– Ах, ты как мой папа! Он не вообразал себя без воинского звания! Зачем мне нужно было выйти замуж именно за военного?..

Нахмурившись, Альма заглянула в зеркало; с болезненной настойчивостью, как утомившись, но желая знать, спросила:

– Дитер, я красивая?

– Конечно, красивая, – машинально ответил он.

– Ты на меня не посмотрел!

– И что?.. – с большей усталостью, чем у нее, ответил он. –

Что за комплексы?

– Это ничего, что я старше тебя?

– Ничего.

– Я не хотела выходить замуж за тем, чтобы только быть замужем, – оправдываясь будто бы, сказала она. – Это глупость! Мне было хорошо без мужа. Я не могу заставлять себя!.. А потом я встретила тебя, и все получилось просто. Я и не знала, что может случиться так... легко... как бы между прочим. Ты меня слушаешь?

– Слушаю.

– Ты не жалеешь... что женился на мне?

– С чего эти вопросы?

Она шмыгнула носом, прошептала:

– Мне страшно... возвращаться.

– Я понимаю, – после паузы ответил он.

– Ты понимаешь?... Котенок, я знаю, как тебе важно... что без службы ты потеряешь смысл жизни. Я... очень люблю и не смогу... ты знаешь, я поступлю, как ты сочтешь нужным.

Плечи ее печально опустились – и со спины она была немного похожа на Марию. В приливе жалости и к ней, и к себе тоже, он приблизился и прошептал ей на ухо:

– Ничего, мы справимся... с тобой ничего не случится. Альма... я... клянусь: с тобой ничего не случится.

– Хорошо...

– Мы обязательно справимся.

Альма сомневалась, что в ситуации политического хаоса можно справиться с собственной жизнью, не то что с жизнью близкого человека. Ее пристрастие к политическим вопросам же только мешало бытовой жизни, которую, как известно, можно грамотно строить и на обломках старой империи, и на фундаменте новой. Вместо того, чтобы размышлять, как им выгоднее и приятнее наладить быт в столице по возвращении, она думала, каков ее шанс стать жертвой репрессий и стоит ли этот риск ее счастья с любимым мужчиной. Понимая, что ее гложет, Дитер принес ей каталоги с итальянской мебелью и спрашивал, не собирается ли она обновить обстановку гостиной.

– А разве она слишком плоха?

– Недостаточно представительна, я бы сказал.

Раз Петер Кроль заглянул к ним и, обнаружив, что они рассматривают диван с коричневой обивкой, потребовал об-

завестись портретами партийных знаменитостей.

– А нельзя повесить кого-то... более нейтрального? – спросил Дитер. – Например, Вагнера?

– Вы считаете, Вагнер нейтрален и вне политики?

– Боюсь, я мало понимаю в музыке.

– Вы обязаны повесить вот этого и вон того! Без этого гостиная потеряет смысл.

– У вас мировоззрение диктатора, – заметила Альма.

– Вы совершенно правы, – сказал Петер Кроль. – Я человек диктаторского склада.

– Что же в этом хорошего? – спросила Альма, пораженная его счастливым тоном.

– А что плохого в диктатуре, милостивая госпожа? В вашем понимании диктатура – это большевики с призывами «отнимать и делить». Страшная ошибка, я вам скажу, вершить классовую борьбу: в каждом классе есть отменные мрази и честные люди, умные и бездари, но коммунисты, естественно, не признают этой истины. Они загоняют себя в ловушку, собственными руками разрушают свою страну, плодя враждебность в одном, едином народе, полагая ошибочно, что решают справедливо, и не понимая самой человеческой справедливости. Вы, полагаю, об этих проблемах и задумывались, слыша об этой «диктатуре».

– Диктатура не может быть хорошей, – возразила Альма, – вы навязываете мне, какой должна быть моя гостиная, чтобы вам она понравилась. Но жить в этой обстановке мне, а не

вам.

– Обстановка отвечает за ваше сознание, милостивая госпожа. Диктатура нужна, чтобы жизнь масс стала осознаннее и в итоге благополучнее, только форма, которую вы относите к «диктаторской», может приблизить наше общество к идеалу осознанности. А начинается все с гостиниой, вашего платья, милостивая госпожа, с того, как уложены ваши волосы, после – с того, на что вы смотрите утром и что вы рассматриваете в лифте, в трамвае, в магазине. Смысл диктатуры – приблизить сознание абсолютного большинства к идеальному образцу.

– А если я не хочу занавески вашего... идеального образа, – начал Дитер, – получается, я – враг режима?

С отстраненно-вежливой улыбкой Петер Кроль ответил:

– Нет, но вы сопротивляетесь единому образцу. Мы не большевики, мы не делим людей по классам, повторяю, мы заинтересованы в едином народе с единственным образом добра, зла, справедливости и истины. Демократия, в которой каждый был прав и мог творить, что вздумается, – она доказала свою несостоятельность. Устройство, где всякая мразь, любой наркоман, больной шизофренией или гомосексуалист имеет право свободно высказываться, учить других, плодить новую гадость своей «правдой», – это устройство приведет общество к моральной и умственной деградации. Оно не отделяет правды от лжи, уравнивает их, мнение человека доброго и умного поставит рядом с мнением опустившегося и

похабного человека и делает их равноценными. На демократическом фоне диктатура – наше спасение, на ней можно установить массовую пропаганду человеческих ценностей. Нужно заставить человека быть хорошим, внушать правильное с детства – любовь, дружбу, преданность близким и своему народу.

– Нельзя заставить человека быть лучше, чем он есть, – возразила Альма, – нельзя заставляя его любить, дружить и быть «хорошим» человеком... Вы говорите, что мы станем лучше через занавески, что занавески и форма моего воротника начнут прививать мне тягу к истине...

Она покраснела от напряжения. Как человек, разумный человек, может столь упрямо искажать элементарные смыслы – это не помещалось в ее голове.

– Допускаю, что взрослых людей переменить полностью не получится, – великодушно согласился ее оппонент, – но у них есть дети, из которых возможно вылепить, что нам захочется. Если родители не могут привить своим детям истины, у них детей нужно забирать и запретить им заводить новых, и пусть отобранных детей воспитывают люди с подлинными человеческими ценностями. Это болезненно, но портить детей, развращать их, не должно быть позволено никому, в том числе и родителям. Нужно запретить публично высказываться, пропагандировать продажность, проституцию, наркотики и алкоголь, разгульный образ жизни и прочие мерзости, какие есть у нас. Новое поколение, возвращенное на хорошо

поставленной пропаганде, будет не лишено обычных человеческих пороков, уничтожить порок в принципе невозможно, но оно поймет, что есть истина и справедливость, как строить отношения с другими людьми, что есть хорошо и что с проявлениями зла нужно бороться. Человек не плох, как у нас говорят, – он всего лишь испорчен. Он не жесток, как говорят, – он слаб. А испорчен и слаб он потому, что не может быть хорошим – жизнь не оставляет ему такой возможности. Жизнь эта бьет его, унижает, раз за разом стучит его головой об пол, об стены, уча его, что он дрянь и мерзость, не достоин лучшей жизни и подохнет, как мразь. Диктатура приходит к слабым людям и дает им лучший образ, который сами они сотворить и выносить лишь собственными силами не в состоянии.

– Поэтому вы хотите... отнимать детей?

– Увеличить процент правильно воспитанных людей может только самая передовая пропаганда и самый идеал «диктатуры справедливости». Великие гуманисты прошлого сделали уже всю работу, но в этом нужно воспитывать, прививать грамотно под присмотром диктатуры. Я не боюсь предположить, что какой-то процент все же будет отсечен; как ни воспитывай, всегда будет группа испорченных. При правильном подходе таких «неправильных» будет меньшинство, но оно агрессивно и так же хочет признания своей, личной, «правды». Из нормального социума их нужно изымать, пока они не успели испортить остальных, и это легко сделать,

ибо таких и по юности видно, а поскольку в это время все под наблюдением будут, изъятие их будет естественно и безболезненно.

– Я по-прежнему не понимаю, причем тут Вагнер и занавески, – ответил Дитер.

– Мне жаль, если не понимаете, – вежливо ответил Петер Кроль.

– Я сочувствую тем, кому в вашей системе уготована судьба вершить чужие судьбы.

– Возможно, я могу сгодиться для этой роли, – с мягкой иронией ответил тот, – если из меня не получается хороший поэт.

Он встал, готовый проститься, нисколько, впрочем, не обиженный, что его тезисы остались чуждыми. Но словно вспомнив, зачем пришел, извлек из пиджака свернутый газетный листок и протянул хозяйке номера.

– Что это?

– Принесли свежие газеты, милостивая госпожа.

– Что это? – повторила Альма.

Взглянув на заголовок, она побледнела.

– Не может быть!

– Сожалею, сударыня.

– Это вы виноваты! – Альма вскочила. – При других правительствах парламент не горел! Это вы...

– Это коммунисты, – оборвал ее муж.

– Потому что *они* объявили им войну! Раньше коммуни-

сты не жгли парламент!

– Диктатура наведет порядок, милостивая госпожа. Мы не позволим коммунистам уничтожать наши ценности.

Альма открыла рот, чтобы снова возразить, но муж взял ее за локоть. Она опустила глаза – и закусила губы.

Она крикнула, что возвратится через полчаса. Уверенности в ее тоне не было – обычно она не следила за временем и полчаса в ее случае умели растянуться на час и более. Лыжи и снег, ее рыжее пальто и меховая шапка, как носят за океаном, – она крикнула, чтобы он нашел занятие и не скучал без ее внимания хотя бы полчаса.

– Милый, котенок, но посмотри, принесли ли уже из чистки мое черное платье!

И оттолкнулась – и заскользила прочь, в тень высокой бело-коричневой горы. За нею ехали малознакомые персонажи из иных стран и с иных континентов; но, опытнее их, Альма не позволила обогнать ее, постепенно набирая все большую скорость и показывая себя аккуратной спортсменкой. Шапка ее махала оставшимся у отеля.

– Вы не катаетесь? Почему? – любопытствовал Петер Кроль.

Он пожал плечами, не желая с ним разговаривать. Петер встал близ него с чашкой горячего шоколада и смотрел на отдаляющихся лыжников; и на ветру, в распахнутом пальто на холоде, он был отвратительно и неестественно красив и

изящен, не уступая картинкам из журнала мод.

– Вы не заболете? – не удержавшись, спросил Дитер.

– Нет, зачем же?.. Мне не нравится застегнутое пальто... на мне. Позвольте...

Извинившись, Петер отнес чашку в холл отеля, а возвратился, держа руку в правом кармане. Его знакомый отпрянул, решив, что в кармане у него пистолет, но Петер извлек письмо и спросил с осторожной улыбкой, без оттенка просьбы в голосе:

– С вашего позволения я попрошу вас об одной услуге. Я случайно услышал, что вы с женой возвращаетесь завтра в столицу. Не были бы вы столь любезны... чтобы отнести письмо одной очаровательной барышне?

– Софи Хартманн?! Я?

– Нет, что вы. Я лучше воспитан. Я говорю о г-же Германн, сестре Альберта. Не сочтите меня бестактным, но не в моей власти объяснить причину этой просьбы. Могу лишь вас заверить, что это не любовное письмо. Вы окажите услугу не только мне, но и Альберту, если доставите его.

– С какой стати я должен вам верить?

– Боюсь, вариантов у вас нет.

Чувствуя себя обманутым, он все же согласился, но в номере вскрыл конверт и прочитал написанное рукой Петера письмо: в нем он приказывал «Мисмис» быть «благоразумной» и заботиться о благополучии семьи, но, если ее не беспокоят переживания домашних, поразмышлять о собствен-

ной печальной участи – изгнанницы, имя которой запретят произносить всем знакомым с ней. Из этого пылкого послания ничего нельзя было понять, кроме того, что написавший его осуждает адресата. А что натворила сестра Альберта и с чего ей угрожают быть отлученной от семьи и «публичного общества», выяснить очень хотелось. Как возвратилась Альма, он показал ей письмо и спросил, какого она о нем мнения.

– Я поняла, что муж ее не выпускает! – возмутилась Альма.

– Разве?..

– Ты читал внимательно, мой мишка? Вот, прямо сказано: «Ваш муж поступает благоразумно, Вы обязаны ему, сейчас он стоит между Вами и Вашим безрассудством. Вы жалуетесь, что не властны пройти с ребенком. Но уверены ли Вы в себе? Уверены ли, что хотите гулять с ребенком?». Не умеешь ты читать письма! Уверена, он пишет о ее любовнике!

– Что? – воскликнул он, пораженный ее выводами. – С чего ты это вообще взяла?

– Разбирать письма – не твое, котенок, смирись.

Итак, Петер Кроль вновь втягивал его в бред, который его не касался. Нехотя он убрал письмо в саквояж – заметит ли таинственная Марта, что оно было вскрыто? Вне сомнения – заметит.

Дом, в котором жила Марта, он знал. В вестибюле он про-

смотрел таблички с именами всех жильцов и поднялся на указанный этаж, и позвонил в квартиру. Из-за тяжелой темной двери он услышал приглушенный детский плач, а потом – короткий хлопок и чьи-то шаги.

– Кто там? – тихо осведомился хрипловато-низкий молодой голос.

– Вы – Марта, хозяйка?

– Я. А вы кто?

– У меня для вас письмо.

– Какое письмо? Вы кто?

– Гарденберг, друг вашего брата Альберта. Я принес письмо...

– Письмо от моего брата?

– Нет, от Петера Кроля. Вы его знаете?

– А-а-а... конечно. Он написал мне?.. Отчего не прислал по почте?

– Я не знаю, – начиная раздражаться, ответил Дитер. – Мы встретились, он попросил меня передать вам письмо. Это все. Как мне его вам...

– У меня нет ключа, – поспешно сказала она. – Муж запирает меня. Я не могу выйти.

– Я могу просунуть его. Сможете его достать? Попробуйте...

– Я... хорошо.

Осторожно, кончиками пальцев, он протолкнул письмо в щель под дверь. Он услышал, как зашелестело ее пла-

ть, когда она наклонилась, и как захрустела разворачиваемая бумага. Он припомнил, что она похожа на Альберта; раз он взглянул на ее фотографию у Альберта и нашел, что оба, брат и сестра, красивы темной южной красотой и как-то почти трагически похожи. Оба невысокие, с тонкими руками, темными тяжелыми волосами и темными внимательными глазами – он испытал прилив жалости и симпатии, вспомнив, что такова и Мария, по которой он соскучился.

– Письмо распечатано, – без гнева заметила Марта. – Вы читали его?

– Да. Извините... это вышло случайно.

– Понятно... А мой брат знает об этом письме? Он знает, что вы пошли ко мне?

– Нет, он... он не знает. Но если бы знал, что такого?

– Послушайте... вы что, уже уходите? К сожалению, я не могу впустить вас.

– Но не стоять же мне под дверью, согласитесь.

– Послушайте... стойте! – умоляюще заговорила она. Голос ее приблизился, словно она прижалась к двери. – Стойте, стойте! Пожалуйста, поговорите со мной!.. Мне очень одиноко, я совсем одна!

– Но я слышал детский плач...

– Это мой сын, он маленький и... иногда плачет. С нами больше никого нет. Пожалуйста, поговорите со мной. Не оставляйте меня сейчас одну, я не выдержу!

– Я не понимаю, – громче заговорил он. – Как муж может

запирать вас одну с ребенком?.. Разве вы отсюда не выходите? Совсем?

– Мне можно выходить вместе с мужем. Вечером мы иногда выходим, гуляем с ребенком и... Или с ним гуляет няня – она тоже приходит вечером. Днем я одна... я не могу, мне хочется плакать.

– И долго это продолжается?

– Я уже не помню точно... больше года. Они так меня наказывают. Они считают меня безответственной... и что я поступаю безответственно. Чтобы этого не было, меня нужно запирать. Понимаете?

– Не понимаю, как вы можете вести такую жизнь. И что за они?.. Разве ваша семья, ваш брат – почему они не могут помочь вам? Неужели Альберт не может ничего... как он может это позволять?

– Бертель... меня не спасет. Тем более Бертель меня отговаривал, он повторял, что я не должна выходить замуж за Германна. А раз его не послушалась, нужно терпеть. Неужели вы ничего о них не знаете?

– Нет, – рассеянно ответил Дитер. – А что я должен знать?

– Да как вы... не знаете! Неужели ничего не замечаете?.. Германн ничем не лучше Альбрехта. Они... вы не из партии?

– Нет.

– Пожалуйста, не верьте им, умоляю, не верьте. Они убивают людей!

Она выпалила это с решимостью и искренностью, что не

оставляли сомнений: она верит в то, что говорит.

– Кто и кого убивает? – неуверенно спросил Дитер.

– Мой муж! И Альбрехт! Они похищают тех, кто против партии, вывозят их в лес и там убивают!

– Нет, это... это невозможно. Как это может быть?

– Клянусь вам! Не верьте им! В этой стране не осталось суда! Теперь в ней убивают без суда! Это приказ партии! В партии приказали убивать тех, кто против режима, слышите? В лесах и застенках... там они убивают десятки, сотни людей!

Сказанное ею было безумно. Он не сомневался, что кого-то убивают без приговора и в отделении от посторонних глаз – разве он не читал об этом раньше, об убийствах националистов, коммунистов и прочих, кто мечтал о свержении демократии? – но как такое может совершаться законной партией, с согласия главы правительства, без вопросов от министров, депутатов, полиции и прокуратуры? Разве может партия, без переворота, законно избранная партия, контролируемая многочисленными демократическими институтами, совершать массовые убийства в лесах?

– Это невозможно, – повторил он, потому что больше нечего было сказать.

– Клянусь вам, это так. Я клянусь вам! Чем хотите!

– Почему вы не позвоните в полицию? Ваш брат – прокурор. Если они убивают кого-то, сообщите об этом.

– Все об этом знают... полиция знает. Вы не понимаете!

Больше никто... не спасет. Пока партия у власти, никто нас не спасет от ее гнева.

После паузы Марта глухо спросила:

– Вы не верите мне?

Он не ответил.

– Не говорите Бертелю, что были у меня. Ни с кем не говорите... если вам есть что плохого сказать. Да... я очень устала. Извините. До свидания.

Он слышал через дверь, как она уходит вглубь квартиры, послушал еще с минуту, не раздастся ли хоть что-то – шаги или же голос, или плач ребенка, – а затем медленно пошел вниз. Он шел, а в глазах слоилось, и от мыслей, которые он отгонял, сжимало больно в висках. Внешний мир изменился, а он не желал этого замечать.

Сверху он услышал голос Альмы: она говорила с кем-то и злилась, что ей навязываются. Он поскорее взбежал к ней и чуть не столкнулся с переписчиком, который уговаривал жителей выразить свое отношение к новому главе правительства и «Единой Империи».

– Какая наглость! Звонить три минуты, не переставая! Я не хочу отвечать на ваши вопросы!

– Сожалею, но ответа «не хочу» у меня нет... Есть ответы «положительно отношусь», «нейтрально отношусь» и «плохо отношусь».

– Я ничего об этом не знаю, – отрезала Альма, – и не мое дело, что в правительстве... быть может, я и имени такого не

слышала, а вы спрашиваете, как я к нему отношусь.

– Сожалею, но я вынужден просить четкого ответа из тех, что есть...

– Мы нормально относимся, – перебил его Дитер.

Альма сильно сжала губы.

– Нейтрально? – уточнил переписчик.

– Нормально... пишите, как вам больше нравится.

– Значит, положительно. Ваша жена согласна?

– Она согласна. Извините, это все?

Переписчик поблагодарил и позвонил в соседнюю квартиру. Альма хлопнула дверью. Лицо ее искажилось – впервые она была столь сильно унижена.

## 1940

– ...Невозможно смотреть! Я приехала, спустилась с трамвая. Удивительно, что собралась толпа, чтобы посмотреть, как станут откапывать погибших. А полицейские кричали, велели разойтись: не на что тут смотреть! Осталась северная стена и лестница. Страшно, очень страшно! Нас уверяли, что до наших домов не доберутся. Нас уверяли, что мы в безопасности! Все ложь! Нас обманули!

– Успокойся, ты не права на этот раз, – ответила Мария. – В этом нет ничьей вины. Так уж получилось...

– Что? Как и я, ты говорила, что с нами это не случится! Тебя не трогает это? Возможно, у вас есть деньги на новое

жиле, но разве это перестает быть... вопиющим?

– Ничего... я смирилась. Ничего не остается.

– Вы возвратитесь? Как скоро? У твоего мужа когда заканчивается отпуск?

– Я пока не знаю, как мы вернемся... Остановимся временно в отеле, полагаю. Я... нужно посоветоваться с ним. Как он скажет.

– Ох, это возмутительно! А то и возмутительно, что мы сами должны о себе заботиться! Как призвать наших мужей на войну, они решают это в мгновение ока, а как помочь нам в сложном положении... Ты слушаешь? Ты здесь?

Она положила трубку. В гостиную вошел уже знакомый ей высокий человек и, странно вытерев ноги о край ковра, уселся в кресло. Не понимая, чего он явился, Мария встала к нему лицом. Человек молча смотрел на нее и, что неприятно, лицо его ничего не выражало. С таким же успехом Мария могла разбираться в чувствах и мотивах манекена в витрине магазина. Не спросив, он достал сигареты и закурил. Молчание стало неестественным. Марии хотелось и заговорить, и уйти из комнаты, и бежать далеко-далеко, но шевельнуться было страшно – не вовремя она подумала, что от его воли и жестокости зависит ее семейная жизнь, а быть может, и ее безопасность. Безликий человек, единственной отличительной чертой которого оставался рост, наконец встал и прошел к окну, не выпуская хозяйку из поля зрения.

– Темнеет, – заметил безразлично он.

Пошевелиться было тяжело, тело едва слушалось ее. Полминуты потребовалось, чтобы она смогла вытянуть руку и включить настольную лампу. Сумрачный свет с улицы вытеснился желтоватым искусственным.

– Подайте нам ужин в столовой. Мы с утра не ели.

– Я... у нас... ничего не готово, – прошептала Мария.

– Почему?

– Мы... не собирались... ужинать.

– Вы посчитали, что НАМ не нужен ужин?

Она сглотнула и ответила, как сумела, спокойно:

– Я скажу прислуге... она постарается.

– Вы сами не готовите?

– Нет... я не готовлю.

– Странно. У меня написано, что раньше вы работали в кафе, как раз на кухне.

– Я... – Чего он добивается? – Я отвечала за десерты. Полагаю, это не то, что вас... привлекает нынче. Они не слишком... сытные.

Неужели он не нашел, на что рассчитывать? Или ему интересна игра с беззащитными близкими арестованных? Молниеносно она прикинула, на что согласна пойти, чтобы Дитеру стало полегче. Унизительно накрывать стол мучителям, но это можно пережить.

– Вы хотите, чтобы я что-то вам приготовила? – прямо спросила она.

Человек оглянулся на нее; он был столь же заинтересован,

как неодушевленный диван в центре гостиной.

– Нет. Это лишнее. Скажите, чтобы приготовили, и возвращайтесь.

Слова эти обеспокоили ее – она не ошибалась, он чего-то от нее хочет, но явно не стряпни. С желанием поскорее с этим покончить, она не отправилась искать служанку, а позвала из прихожей Софи и попросила ее.

– Что ты там искала? – прошипела она, заметив, что Софи копалась в карманах чьего-то пальто.

– Ничего, – безэмоционально ответила та.

– Все равно. Чушь! Мне наплевать!

Отпустив Софи, она вернулась в гостиную и, чтобы успокоиться, присела на ближайшее место. Боже, сколько можно волноваться? Как она не оцепенела душой за последние часы? Сколько она сможет вынести до того, как потеряет интерес к происходящему?

– Что вам нужно? – набравшись храбрости, спросила она.

Человек снова оглянулся.

– М-м, мне бы поговорить с вами. Если вы не против.

– Вы знаете, что я не против.

– Чего вы так торопитесь? Разве есть основания?..

Она сжала руками подол платья.

– Что с моим мужем?

– В каком он положении или в каком он состоянии?

– Я... – Она запнулась. – Не совсем понимаю.

– Положение у него очень плохое, а состояние... удовле-

творительное... пока я не решу иначе. Обнаружены доказательства его антивоенной деятельности. Ваш муж... участвовал в заговоре против правительства. Сейчас в этом нет сомнений.

– И... что вы с ним...

– А вы не знаете, что случается с врагами нашей страны? Успокойся, не показывай, что ты не боишься – нет, тебе страшно, ты его боишься! Закрой глаза, открой – говори тихо и осторожно.

– И все же... – Как же тяжело говорить! – Что с ним... на что он может...

– Вы – жена изменника. Это доказано. Вы осознаете это?

Человек приблизился. Он встал в полуметре от нее, и Мария заставила себя смотреть прямо. В слабом свете от настольной лампы он был бледнее, почти как древний вампир, что застыл в холодном предвкушении перед трапезой.

– Изменника ждет суд и смертный приговор. Вы не знали? Будете знать. Однако в ваших силах сделать так, чтобы последние дни его жизни не были мучительными. От вас зависит, будут ли к нему применяться особые средства воздействия или он будет ждать приговора в одиночной камере, и никто к нему не прикоснется.

– Что вы хотите от меня? – сухо спросила она.

– Я предупреждаю вас: отказ отвечать на мои вопросы грозит вашему мужу большими... неприятностями. Если меня не удовлетворят ваши ответы, нам придется воспользо-

ваться дубинками и, возможно, шваброй. Встать!

Она вскочила с кресла. Рассказанные Альбертом ужасы всплыли в ее утомленном мозгу. Кровавые отпечатки на стенах, внутренности на полу, веревка, привязанная к люстре, лопнувшие стекла, петля на шее, мертвая Катя, Катя в гробу, раны на ее ногах, волосы, в которых запутались грязь и песок...

– Сесть!

Она покорно села. Не может такого быть, это не произошло с ней, светлое утро расколосось, картина лежит на дне реки, разве она успела закончить ее?

– Встать!.. Сесть!.. Встать!..

Приказы сыпались много раз, но она не считала – разум разучился считать.

– Сесть!.. Это ваш муж убил Альму Хазер, свою первую жену?

– Он ее не убивал! – выпалила Мария.

– Не врать! Кто ее убил, если не он?

– Никто ее не убивал.

– Значит, это вы ее убили? Так? Если не он, то вы?.. Так и запишем.

– Я ее не убивала.

Но он уже писал в блокноте.

– Кто выписал вам разрешение?

– Что? Какое разрешение?!

– Разрешение на брак! Кто вам его выписал? Вы должны

были получить бумагу, которая свидетельствует, что у вас нет еврейской крови. Кому вы заплатили?

– У меня нет еврейской крови!

– Возможно, нет. Но вы же знаете, что не можете это доказать. Вы иностранка, у нас нет записей о ваших родственниках.

– Ошибаетесь. Сведения хранятся в архиве, который был вывезен из моей страны... там есть данные о моих родственниках. Я... никто не усомнился в моей справке.

– Кто хранит эти записи и выписал вам разрешение? Фамилию и место жительства! Не заставляйте меня напоминать.

Пересилив себя, она ответила. Во рту появился привкус крови – она и не заметила, что прикусила себе щеку.

– У вашей сестры была такая же справка? – спросил он записывая.

– Она ее не получала. Но в ней тоже нет еврейской крови.

– Вы уверены? Мне сказали, что вы единокровные сестры, матери у вас разные. Что вы знаете о ее матери?

– Какое это имеет отношение, если она мертва? – выпалила Мария.

– Ваш гость и старый приятель имел с ней некоторые сношения.

Так вот, чего он добивается! Чтобы она наговорила всякой чуши об Альберте!

– Мне ничего об этом неизвестно, – поспешно ответила

она, – спросите лучше моего гостя, я не лезу в чужие отношения.

– И о его отношениях с Аппелем ничего не знаете? Напоминаю... Вы знаете, что Аппель увлекается мужчинами?

– Знаю! И что с того? Все знают!

– И Альберт? На чем, получается, выстроена их... дружба?

Мария открыла рот, чтобы возразить, но вовремя прикусила язык. Не хватало из-за Альберта попасть в большие неприятности! Но какова мразь, как выворачивает наизнанку факты! Послушать его, так у них рассадник порока, сплошь изменники, гомосексуалисты, евреи и несанкционированные маньяки!

– Вы не можете не знать, что Аппель раньше был вражеским журналистом. Что могло быть общего у сына партийного идеолога и журналиста-предателя?

– Вы... только что сказали, что... Альберт спал с моей сестрой. – Все же стоило обороняться. – Как же он мог спать с Аппелем?

– А есть личности, которых интересуют оба пола.

Возразить было нечего. Но она сказала:

– Аппель давно служит партии. У него много заслуг, он пишет речи первым лицам...

– Возможно, партия в нем ошиблась. А кузен Альберта, Альбрехт... вы много о нем знаете?

– Почти ничего.

– Но он бывает у вас в доме! Вы слышали от него... странные религиозные... тезисы?

– Слышала, – мрачно ответила Мария. Кого-кого, а Альбрехта она спасать не собиралась.

– Альбрехт многих пытался обратить в свою веру?

– Я слышала, он говорил о своих религиозных... вкусах.

– Они кажутся вам странными?

– Это меня не касается.

– Между тем известно, что Альбрехт занимается пропагандой своей религии в своей части. Его радикальная вера беспокоит сослуживцев, на него жалуются.

– Мне казалось, его религия вполне идет в ногу с партией, – ответила Мария.

– Ничто, что не признано партией, не может идти с ней в ногу. Также жалуются на его садистские наклонности. Вы об этом что-то знаете?

– Да, ему нравится мучить людей. Он мучил кого-то из сослуживцев?

– Нет. Однако... солдат партии не может быть... его обязанность – безразличие к виновным, а не удовольствие от их пыток.

– Неужели это имеет значение? – устало спросила Мария. – Если результат один и тот же, зачем вам знать, что испытывает исполнитель?

– Таков устав партии. Своей жестокостью, несдержанностью в садистских удовольствиях ваш гость подрывает свое

достоинство и достоинство партии. Вы не согласны?

Мария отмолчалась. Логика партии ускользала от нее. Если даже Альбрехт, великолепный исполнитель воли партии, но с маленьким психологическим недостатком, признавался хозяевами бракованным, то что говорить об остальных? Сейчас спросят о Петере Кроле и Софи, решила она и слабо улыбнулась, воображая, сколько мерзостей можно наговорить о доносчике. Его бы она утопила с наслаждением, достойным маньяка Альбрехта. Но о Кроле и Софи ее не спросили. Человек перестал писать и спрятал блокнот.

– Вы у себя собрали вражеский клубок, – заявил он с пустыми глазами. – Заговор, мужеложество, убийство, в котором не хотите признаваться, купленные справки о чистоте крови... Кто может ручаться, что в заговоре не участвовали все обитатели и гости этого дома?

– Не знаю.

– Если хотите, чтобы ваш муж умер без лишних повреждений, подумайте. Вспоминайте, что знаете об остальных. Я буду ждать вас в столице, вам передадут, в какой кабинет обратиться.

– Что с моим мужем? – перебила его Мария. Она обессилила, а с этим прошел и страх, она слишком устала, чтобы бояться.

– Мы увезем его. Собирайте вещи в тюрьму.

И, потрепав ее по щеке, как ребенка, он вышел.

Мария кое-как встала, но немедленно села обратно. В го-

лове у нее шумело, мысли разбегались. С оставшейся силой она ударила себя по лицу и от резкой боли вспомнила, что нет времени расслаживаться, а нужно действовать. Ей не выбраться, они нашли, как держать ее, и заставляя говорить, свидетельствовать против старых знакомых, только бы обеспечить мужу безболезненное ожидание смерти. Дитер, провалиться тебе, зачем я вышла за тебя замуж? К чему были жертвы? К чему была смерть Альмы – чтобы его жизнь закончилась на виселице, а ей доносить, пока она не станет бесполезной, а затем, а затем... Это Софи виновата! Если не слушать ее... Из-за тебя, Софи, они решили быть вместе, каких бы жертв это ни стоило, это Софи рассказала, что они обязательно поженятся, а затем... это она навлекла на них несчастье! Она накликала арест и смерть... но Софи говорила, что он не умрет в тюрьме или на виселице, она говорила о смерти в «месте ее отца», а ее отец не умер в тюрьме, он погиб у Царицына, за тысячу километров от них! Софи, как обманули тебя Аппель и Катя? Как у них получилось? Неужели лишь Альберт спасется и переживет их всех? От злости на Альберта ее затрясло. Защищавшая его поначалу, теперь она сомневалась: вспомнилась Катя в гробу, и виной тому был Альберт. Он погубил ее. Он не спас ее, как она, Мария, просила. Он позволил ей умереть!

В испуге Мария обернулась: то вошла служанка.

– Ну что? – еле слышно воскликнула она.

– Ужин готов, мадам. И мсье Гарденберг просил передать

вам, что ему нужно помочь с вещами.

– А, вещи...

– Мне... жаль, мадам.

– Неправда, ты бы обрадовалась, если бы мы все передохли.

Собрать вещи, больше не думать – и убедить себя, что необходимо жить дальше. Как не по своей воли она встала. Но зачем, зачем, зачем она вышла замуж за Дитера?

## 1933

Мисмис пропала.

Разве это возможно?

Узнав все от позвонившего Германа, Альберт поскорее приехал и, осмотревшись, не скрывая изумления, спросил:

– Мисмис что, бросила ребенка? Ушла – и бросила?

– Бросила! – выпалил Герман. – Собрала вещи – и ушла.

Ребенок вот...

– Нужно звонить в полицию!

– Зачем? Она ушла сама, ее не... заставляли. Что мы им скажем?

– Скажем, что она пропала, – ответил резко Альберт. – Она и записки не оставила?.. Как так можно? Вот мало ли, что с ней случилось... если она записки не оставила.

– Она ничего не оставила, никакой записки! Ничего! Ничего не сказала, ушла!.. – Муж ее устало опустился на стул,

похлопал себя по коленям руками. – К кому она может пойти? Ты не знаешь? Ясно, что к кому-то.

– К кому? – не понимая, спросил Альберт. – Не к любовнику же...

– А к кому? К любовнику! Она забрала все, что у нее было! Не в гости же она пошла, захватив зубную щетку, все туфли, все платья, жакеты!

– К какому любовнику? О-о-о... Может... к кузену Альбрехту?

– К нему? С ума сошел!

– А к кому? Больше никого и нет! Может, они... опять сошлись?

Он остановился в нерешительности у опустевшего туалетного столика. У зеркала лежала грязная детская соска – его передернуло.

– Этим и должно было кончиться, – заявил он с новым озлоблением. – А я ей говорил! Что я ей говорил?..

Рожала Мисмис в разгар предвыборной кампании; поэтому муж забыл о ней, занятый партийными обязанностями, и не приезжал в больницу навещать ее, оправдывая себя работой. Беременность она переживала болезненно: не было дня, со слов ее мужа, когда она была от чего-либо счастлива; могло показаться, что ее терзают страхи, но, если ее спрашивали, она злилась и отвечала раздраженно, что ничего ее не беспокоит, разве что равнодушие ее близких. На седьмом месяце ее беременности муж стал приносить день-

ги регулярно – им ввели премии за переработки на местах. Помимо этого они получали от родителей небольшую помощь, и Марта смогла заняться приготовлениями к родам, не стесняя себя особенно в тратах. Делала она это без удовольствия, свойственного большинству будущих матерей, только по обязанности, тяготилась мыслями о большой ответственности и чувствовала уже, что станет плохой матерью. Рожать ей нужно было как раз весной, и с приближением назначенного срока она становилась все невыносимей в своей требовательности к мужу, капризной и слезливой. Ей часто бывало не по себе, и у нее появился страх публичных мест. На просьбы выйти и прогуляться она говорила резко, что боится, потому что в стране кризис, гражданская война, каждый день стреляют и взрывают в кафе, в кинотеатрах и метро, а по вечерам за прохожими охотятся нищие, приезжающие в исторический центр из окраин. Услышав это, Альберт заявил, что это чушь, а если бы дела обстояли, как она описывает, его бы давно не было в живых – как-никак, он ежедневно ездит на работу и, значит, подставляется под пули бандитов и революционеров. Марта отвечала, что у него на лбу написано, что он прокурорский, а при таком человеке никто не станет размахивать оружием.

– Уверен, никто в здравом уме не будет стрелять в беременную, – иронично отвечал Альберт, – статья очень тяжелая.

После выборов президента в марте расстроенный прова-

лом кампании Герман возвратился к семье и заметил появление ребенка. Марта уже позабыла, как злилась на него раньше. Занимало ее нынче иное: вернувшись из больницы, она, себя ругая за черствость, пыталась примириться с материнством: заставляла себя ласкать ребенка, насильно в себе вызвала таинственный инстинкт, жалела и себя и мальчика за то, что инстинкт никак не желает просыпаться, не хотела кормить его, и словно во всех ее манипуляциях с ним ей являлось что-то омерзительное. Обязанностью было разыгрывать из себя образцовую мать. Старшие живо интересовались появившимся мальчиком, одна мать Мисмис была разочарована – она мечтала о внучке, очаровательной, какой была поначалу ее Марта. Поэтому, пользуясь всяким подходящим случаем, мать спешила с советами, настаивала так, словно воля ее не могла быть не исполнена:

– Мисмис, я хочу девочку, внучку! Лучше рожай сейчас, всех детей лучше родить одного за другим, чтобы не было большой разницы в возрасте. Иначе они не будут ладить друг с другом! Если вы не сможете заботиться с мужем о девочке, я заберу ее к себе. Ты должна осчастливить мать, мне недолго осталось. Я тебя воспитывала, и ты не должна быть эгоистичной, девочка!..

Мисмис сначала молчала, а затем резко ответила, что рожать второго ребенка не собирается, потому что и с первым не научилась пока управляться. Мать была расстроена еще больше.

– Нынешнее поколение не понимает, что главное счастье – это потомки, – заявила она в присутствии Альберта. – Вы хотите жить для себя, забывая свои корни и не стремясь передать традиции своим детям.

– Не все любят детей и могут их обеспечить, – возразил Альберт. – Стоит ли рожать детей, если вы не можете их обеспечить?

– Право, если мечтать о миллионах... – начала мать.

– Зачем же миллионы? Но многих ли вы знаете, кто имеет теперь постоянную работу и возможность купить или снять хотя бы отдельное жилье?

– Ты, например, – охотно отбила мать. – И, напоминая, вас мы растили в сложных условиях... война, кризис, голод... но вы выросли, ничего!

– Оттого не отказывайте нам в праве пожить для себя, а не во имя потомков.

– Это эгоизм, – стояла на своем мать. – Я человек старого мышления. Мисмис правильно поступила, что родила. Увлечись она твоими эгоистичными теориями, ничего бы хорошего не вышло, Берти. Мужчине еще допустимо размышлять, как ты, но женщине...

Навестив сестру в ее доме, в отсутствие Германа, Альберт нашел ее в болезненном состоянии. Она показалась ему измотанной, не выспавшейся, и несчастной она была от того, что не могла заниматься прежними увлечениями, не могла быть естественной, жить, советуясь с собственными потреб-

ностями, не могла ничего из любимого ею – в то время, как жизнь ее мужа нисколько не изменилась.

– А кто-то мне рассказывал о счастье материнства! – зло сказала она брату, взявшемуся помогать ей по хозяйству. – Я сбегу, я не смогу так, ни за что!.. Я ненавижу семейную жизнь и... матерью быть тоже ненавижу! Мой муж уверен, что знает все лучше меня, и смеет упрекать меня этим. Его вечные претензии я не могу выносить! – И Мисмис, скорчив рожицу, начала забавно его передразнивать: – «Ты плохая мать! Тебе тяжело было ходить с животом? Ты боялась рожать? Ничего, боль – это мелочь. Все терпели – ну и ты потерпи и не жалуйся! Да, и почему твой ребенок вопит? Успокой! Как – не знаешь, отчего он кричит? Ты – женщина, ты не можешь не знать! У тебя – материнская функция. Успокаивай; как – мне плевать! И почему ты всем жалуешься, что устаешь? Ты не должна уставать, ты же любишь ребенка! Не можешь с ним справиться, требуешь помощи? Моя мать о помощи не заикалась. Может, ты ребенка не того родила? Если так, то сама виновата – вот и мучайся с ним! Рожать нужно было другого – чтобы не плакал и внимания не требовал! И вообще я его захотел, чтобы ты была счастлива – ведь мечтает об этом любая замужняя женщина. Терпи теперь все ради этой мечты!».

– Э-э... очень красивая речь, – подавляя улыбку, ответил Альберт. – Ты могла бы соревноваться с «Трибуном». Вот было бы смешно!

– А теперь они все хотят, чтобы я рожала второго! Я этого ненавижу, а они второго хотят! Хуже, я ничего не могу предпринять, чтобы этого не было. Но я не хочу!

Она хотела сказать и кое о чем ином, но промолчала из страха, что Альберт ее не поймет. Ей легче было говорить о том, что лежало на поверхности, что заметить можно было по ее состоянию, остальное ей было страшно и – жутко стыдно, словно была в том и ее часть вины.

А сейчас она сбежала, не объяснившись с мужем, не оставив записки – и бросив ребенка.

Разумно полагая, что сбежать она могла к бывшему любовнику, то есть к кузену Альбрехту, Альберт поехал к нему и, так как наступил поздний вечер, разбудил его настойчивыми требованиями впустить. Не знавший ничего об исчезновении Мисмис кузен Альбрехт выслушал все же новость и, как приехавший закончил, нехорошо улыбнулся.

– Ты что-то знаешь, – ответил на улыбку его Альберт. – Расскажешь или нет?

Растрепанный со сна кузен Альбрехт расхаживал тем временем по комнате и улыбался уже себе самому; затем быстро спросил:

– Ты мне, Берти, заплатишь?

– Хм... а сколько ты хочешь?

– Пятьсот.

– Что? – опешил Альберт. – Пятьсот? Двадцать пять – не больше!

– Хорошо, триста.

– Нет.

– Сто. Меньше не имеет смысла!

– Согласен. Заплачу потом, если скажешь правду.

– Угу. Кузина Мисмис завела себе любовника.

– Не может быть! – перебил его Альберт. – Ты врешь!

– Я не вру, – спокойно сказал кузен Альбрехт. – Я слышал, что завела.

– От бабушки из своего дома?.. Имя его знаешь?

– Могу узнать, если нужно. Знаю, что он пропагандист, из местных либералов. Они в прошлом году познакомились. Она уже беременной была. Я узнаю... Ты скажешь тете Лине?

– Не знаю, – ответил Альберт. – Наверное, нет.

– Не хочешь расстраивать?

– Это бессмысленно. И достаточно она разочаровывалась в Марте.

– А я был уверен, что ты ревнуешь мать к Мисмис, – ответил Альбрехт, – потому что Мисмис любили намного больше тебя.

– Я давно вырос из этого... мы с ней не дети и в одобрении матери не нуждаемся. Но мне будет грустно, если мать узнает об этом.

Альбрехт постоял, печально рассматривая его. И потом заявил:

– Наверное, я понимаю. Согласен на восемьдесят, так и

быть.

Пять суток спустя Альбрехт принес новости, в том числе адрес, по которому спряталась Мисмис. Вместе с ним за ней поехал Герман, и после кузен Альбрехт описывал случившееся с драматическими нотками, словно разыгрывая спектакль:

– Берти, если бы ты присутствовал!.. Она чуть в обморок не хлопнулась! Ну и трусливый у нее любовник, достаточно было помахать пистолетом у его носа. Мисмис, наверное, влетело! Ты бы сам узнал... как бы она в больницу не попала, наша несчастная.

Должно быть, Мисмис ждала брата, потому не удивилась, увидев его у себя. Больной она не была, избитой тоже, лицо ее было спокойно. Муж ее, напротив, вид имел нервный, истерзанный, с Альбертом говорил непривычно болезненным голосом. С Мартой Герман, если заговаривал, то подчеркнуто тихо – тон его становился мягким и ласковым; от резкости, что была во время объяснения с ней, не осталось ничего, словно он уже чувствовал себя виноватым, не понимая, в чем вина его, собственно, состоит. О ребенке он заботился, боялся, что нервность его скажется на состоянии мальчика, и с ним делался бессильно-нежным.

В комнате своей, сев к Альберту спиной и шмыгая носом, Мисмис заявила:

– Я тебя ненавижу! Зачем ты заставил меня вернуться, Бертель? Зачем? Я несчастна тут! Как ты не понимаешь?

– Тебе пора повзрослеть, Мисмис, – сдержанно ответил он, – и научиться отвечать за свои поступки. Ты поступила безответственно, оставив ребенка. Ты бросила сына в квартире, одного! Это... как бы ни было тяжело, ты за него отвечаешь. Твое решение, это было твоё решение – рожать. Ты должна усвоить, что у решений есть последствия.

– Как ты не понимаешь? Мне плохо! – Мисмис заплакала. – Германн грозитя, что закроет меня дома навечно! Он грозитя, что я останусь тут навсегда! Он хочет запереть меня насовсем! Разве это нормально?

– В нынешних обстоятельствах я его понимаю.

Она оглянулась – глаза ее были красны и очень злы. Невольно Альберт отпрянул.

– Значит, ты считаешь, нормально держать человека в заложниках? Нормально отобрать у него ключи? Сделать его своим рабом? Это, по-вашему, быть приличной женой?

– Эм, начнем с того, что ты ему изменяла... Разумеется, он разозлился и...

– Так я выпрыгну в окно! – воскликнула Мисмис внезапно.

– С третьего этажа? С ума сошла?

– Как ты не понимаешь, Бертель? Я не могу тут оставаться! Я с ума сойду!.. Мы хотели уехать, совсем уехать... и уехали бы, если бы он не пришел... с Альбрехтом... Кто вас всех просил мешать мне?

– Зачем ты замуж вышла, если так? – пытаешься не закри-

чать на нее, ответил Альберт. – Не ты мне, что ли, сказала, что так должно быть, что ты все решила... Что опять произошло? Он тебя хоть пальцем тронул? Ударил?..

– Ничего, ничего!

– Если он тебя обижает, скажи мне, я же твой старший брат, черт возьми, Марта!

– Не обижает он меня!

– Ты с его чувствами не считаешься... о ребенке вспомни! Ты бросила ребенка, одного, голодного. Вон, соседи слышали, как ребенок целый час вопил. А если бы он вывалился из кровати, которую ты даже не проверила? И расшибся или влез бы куда, убился бы?.. Что ты за безответственная мать?

– Какая есть! – закричала она. – Как ты не понимаешь?.. Все вы ничего не понимаете! И он, он... Тут не любовь. Я уважать его не могу... Он такой чистенький, нежный, ласковый... а это... нет, нет... я все знаю!

– И что ты знаешь? – уже устало спросил Альберт.

– Я знаю, все знаю, – шепотом повторила Мисмис. – Он от меня хотел скрыть, не хотел беспокоить, но я все узнала...

– Можешь ты по-человечески сказать? Я ничего не понимаю, честно!

– А знаешь, из-за чего я поссорилась с Альбрехтом? Из-за этого же! Он жестокий. Он маньяк!

– Кто? Альбрехт? Маньяк?.. Интересное заключение.

– То, что он говорил в моем присутствии... ужасное, что-то ужасное, мне было страшно, мерзко от его слов! Я испуга-

лась, я испугалась этих слов! Он нисколько меня не стеснялся, он мне говорил, что на языке у него было. Из-за этого мы поссорились и... я сошлась с Германном, я решила, что он не такой... я ошибалась! Бертель, я ошибалась!.. Нет, обычно Германн, он... со мной он... заботливый, нежный, хороший... слишком хороший. Но там, в партии... партия ломает нас. Она сломала нашего папу. Она сломала и Германна. Я... не хочу прикасаться к этому несчастью. Как мне быть его женой, спать в его постели? Бертель, умоляю, не молчи! Скажи хоть что-то! И я... я не могу любить этого ребенка! Я не могу любить его сына! Лучше бы он умер, лучше бы я убила его прежде, чем уйти! Не мучай меня, умоляю, поговори со мной!

Она повисла на его шее. Настойчиво она искала в его глазах понимание, но Альберт размышлял о чем-то своем, как не осознавая, что от него сейчас нужно.

– Скажи мне что-то, Бертель, – прошептала Мисмис, – скажи, ты не такой, ты хороший, ты бы ни за что...

– Хм, у тебя... есть доказательства?

– Что? – переспросила она. – Доказательства?

– Ага. Или это твои домыслы?

– Это все знают. Бертель... спроси, кого хочешь.

– Мисмис, я не могу бездоказательно обвинить человека в том, что он маньяк.

– Кого хочешь спроси в партии, Бертель! Спроси их!

Он отстранил ее руки. Марта снова заплакала.

– Эти ужасы, которые писал наш отец, к которым он призывал, – это все правда! Ты боишься признать это, Бертель! Потому что твой мир рухнет! Ты – бесправный прокурор, ты можешь сажать бандитов и душителей плохих жен, но против Германна ты ничто, ты никто, ты шавка на цепи партии!

Захлебываясь слезами, она оттолкнула его и накрылась с головой одеялом.

– Марта, – сглотнув, позвал он.

Она не ответила.

– Если бы у меня были факты, а не чьи-то домыслы, я бы занялся этим, я бы не посмотрел, кто из партии и кто нам Герман и Альбрехт... кто и кого убил, Марта? Кто жертва? Как ее имя?

– У них нет имен, – еле слышно ответила Марта. – Они не оставляют имен и тел. Ты ничего не докажешь.

– Значит, и говорить нам не о чем, Марта.

Более всего он желал обнять ее – естественное желание растерянного человека, который пытается вернуть равновесие. Пересилив себя, он вышел от нее. В гостиной противно плакал ребенок. Герман выглянул, чтобы узнать, как прошел его разговор с Мартой, но Альберт прошел мимо него молча.

– Что-то случилось? Альберт?..

Но Альберт уже сбегал вниз, с ноющим чувством признавшись себе – что он боится домашнего, уютного и заботливого Германа.

«И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной... Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий!».

Она захлопнула книжку и бросилась ему наперерез. Шарф ее распустился, шапка едва удержалась на ушах.

– Стойте, стойте, Альберт!

И повисла на рукаве его пальто.

– Кете? Ты замерзла? Давно меня ждешь?

– Это на минутку, только на минутку! – упрашивала Кете. – Мы не станем вас больше тревожить! Тете очень нужно поговорить с вами! Только на минуту, пожалуйста!

Понимая, о чем она, но смутно не желая себе в этом признаваться, Альберт пошел с ней, нехотя поднялся в ее квартиру. Полчаса уже ждавшая его прихода, осунувшаяся лицом Жаннетт кинулась к нему через комнату; воскликнула, не замечая неладного в своем облике:

– Вы пришли!.. Я боялась, вы не согласитесь!

– С чего бы мне не согласиться? Что у вас случилось?

– Умоляю, расскажите мне все! Мы все в ужасном волнении!

– Я заметил, что вы... С чего бы это?

– Как? Вы не знаете?

– Знаю. Но зачем волноваться?.. Вы разве собираетесь?

– Но... мы сами не знаем, собираемся мы или нет, – рассеянно сказала Жаннетт. – На всех что-то нашло! В агентствах печати просто... Все кричат! Нам сказали, что начался конец света и нужно бежать, пока они не захватили все поезда! Это так?

– Эм-м... что?..

– Так бежать нам или нет? Если ехать... вы скажите! Вы с ними близки, вы знаете... нужно нам ехать или... а мы мнительные!

– Пожалуйста, не хватайте меня за плечи, мне больно! – возмутился Альберт. – Уймитесь, умоляю! Что за паника?

– Но все паникуют! – логично ответила она. – Это ужасно? И что случилось с президентом? Вы не знаете?

– Я? Слышал кое-что, – ответил он, присаживаясь близ учиненного ими беспорядка.

– И что? Неужто старик помешался?

– Зачем вы так?.. Ваш «старик», между прочим, – обычный вор. Да, он наворовал денег, больше полумиллиона, и мухлевал с налогами.

– А вы точно знаете?

– Конечно, конечно... – поспешно ответил он.

– Ну, не знаю... Значит, не ехать? Позже, потом... не сейчас. Так?

Заметив кивок его, Жаннетт не занялась затеянным ею хаосом, а села без какого-либо смущения и спросила, словно то были ее первые слова сегодня:

– Не хотите ли чаю?..

Минут через семь, без приглашения, из мороза выбежал Аппель; не снимая шинели с белоснежными следами, с румяным лицом он вбежал в комнату и, не удивившись, обнаружив в ней Альберта, воскликнул:

– Как знал! А я тебя искал!

– Что? Зачем?

– Умоляю, скажи, насколько все плохо? У меня ничего нет, я не знаю, что делать! У меня, конечно, совершенно нет денег, чтобы уехать!

– Успокойся, пожалуйста, и перестань кричать.

Без разрешения Аппель сел в кресло поверх свернутых простыней.

– Вы собираетесь уезжать? – поспешила спросить его тетя Жаннетт.

– Я не знаю... я, конечно, в полном отчаянии! Мне не на что ехать! Я... А если они меня арестуют?

– С чего бы это? – перебил его Альберт.

Аппель нервно закусил губы.

– Ты не сделал ничего, за что тебя могли бы арестовать, разве не так?

– Ты уверен? – нерешительно уточнил тот.

Взаимное напряжение тяготило. Аппель помял свои руки, должно быть, пытаясь расслабиться.

– Хорошо... – пробормотал он затем. – Хорошо... если так, пошлите смотреть.

– Я, разумеется... – неуверенно сказала Жаннетт.

– Хотите с нами? А, черт, все равно! Пошли! Вдохновитесь на сильные действия.

– Я хочу, можно? – робко спросила у него Кете.

– Мне не жалко. Берти, вот что ты расселся? Все готовы, он один сидит, расслабился!

Они вышли на набережную. Аппель шел впереди, излишне резко и широко. Кете, с плохо запахнутым воротником, держалась у руки Альберта и слегка касалась его обнаженной кожи своей. Смутно он хотел отстраниться и не хотел отстраняться, настолько это было одновременно приятно и необычно. В стороне от их набережной было светло, весело и шумно, но и как-то душно, тяжело от дыма, от толчеи на тротуаре, от окриков и нервного смеха. Встав справа от Кете, касаясь ее плеча своим, Альберт увидел краем глаза, как она полезла за платком; обеспокоенно к ней повернулся и не сводил уже глаз с ее светящегося рыжего лица, пока она кашляла в развернутый платок.

– Тебе плохо?.. Заболела?

Она помотала головой, желая показаться мужественной. Он наклонился к ней, взял ее за плечи, руками ощутил ее волнение. Избегая на него смотреть, она платок скомкала, убрала его в карман пальто, сказала еле слышно:

– Ничего. Не беспокойтесь.

– Я провожу тебя. Ты замерзла. Я скажу твоей тете, она не будет возражать.

По пути она – быть может, притворяясь или обессилев, – молчала, но как вошла в тепло, заговорила: ее клонило в сон, и она спросила, может ли Альберт проводить ее в постель.

– Конечно, – неуверенно ответил он, – хорошо, сегодня был тяжелый день.

Растирая озябшую себя руками, Кете прошла в спальню и зажгла свет. Постель ее была расстелена.

– Ты сильно простыла? – спросил Альберт, чтобы не молчать.

– Нет... немного знобит, а так ничего. У нас нынче плохо топят.

Кете забралась на кровать.

– Я хотела, чтобы вы... пришли, – прошептала она. – Вы нечасто у нас бывали в последнее время...

– Из-за работы, – перебил Альберт.

– Да?... Многие партийные забыли к нам дорогу. Мы стали... неблагополучными в их глазах.

– В моих ничего не изменилось, – снова перебил Альберт.

Мягко она улыбнулась и жестом пригласила сесть близ нее. Он колебался, оглянулся на дверь и прислушался, не вернулись ли домой остальные.

– Эм, я не знаю, стоит ли нам... оставаться тут с...

– Закрытой дверью? – с легким смехом закончила Кете. – Почему же? Что вы можете сделать такого?

– Эм...

К большому своему ужасу он почувствовал, что краснеет.

Конечно, отношения их не могли быть прежними, не как девять лет назад, когда он впервые пришел в ее семью в Минге, студентом, и увидел ее ребенком – которым она более не была. Она была близка к совершеннолетию, физически полностью развитая, с красивыми, похожими на его, темными глазами и иными, чем у него, волосами, с золотистым отливом. Кете приблизилась к осознанию своей женственности, а он не был уверен в своей мужественности, хуже того – не понимал, что с ней делать, нужна ли она ему в том примитивном понимании, что изображается как важнейшая часть любого мужчины. Наверное, на лице его что-то отразилось, отчего Кете спросила:

– Хотите уйти?.. Я вас не держу.

– Нет, нет, все нормально, – пробормотал он.

Желая стереть ее сомнение – оскорбил ли он ее невольное? – он присел на постель, в нескольких сантиметрах от нее. Кете покосилась на него, но не пошевелилась.

– Как считаете, я смелая? – внезапно спросила она.

– Эм, конечно. Уверен в этом. А что?

– Вот как?.. Хорошо. Я... вы мне очень... нравитесь. В смысле я вас люблю. – И она зажмурилась.

Он смотрел на нее без какого-либо чувства, словно не осознавая, что она сказала. Постепенно в сознании что-то проступило. Она что, признается ему в любви? Как к кому?

– Я тебя тоже люблю, Кете, – как чужим ртом ответил он. – Ты очень близка мне. Нас многое связывает.

– Вы меня любите? – ошеломленно воскликнула она и открыла глаза. – Как? Вы серьезно?

– А как я могу тебя не любить?

Только встретив ее счастливое и ласковое удивление, это трепетное колебание в глазах, Альберт понял – он неправильно ее понял и неправильно выразился. Она же говорила, что любит его как мужчину, что, что, как ей это пришло в голову?

– Кажется, я... – Ты иначе меня поняла, я не то хотел сказать!

Но она порывисто бросилась на его плечи и впиалась в его губы. Мир потерял отчетливость, краски потускнели. Какой ужас. Только не это. Это плохо кончится. Она слабее, нежнее, у нее слабое тело, как легко его сломать, как просто причинить ей боль, нет, нет, ей станет больно, этим все и заканчивается – физической ломкой, режущей болью, платками с кровью, жалкими стонами в подушку.

Со странной болью ниже горла он отстранил ее и сильно сжал ее плечи, удерживая на расстоянии. В темном блеске ее глаз он рассмотрел свое испуганное отражение.

– Поцелуй меня, – еле слышно попросила она.

– Я... нет, Кете, пожалуйста, это неправильно!

– Ты же хочешь этого. Я знаю.

Она приблизилась – он ослаб, тяжело было сопротивляться ее порыву. Со вздохом она прижалась к его губам и нежно опустила руку на его ремень. Неопытная, но повинувшись

бессознательному знанию своего пола, она прижималась так, чтобы почувствовать: он хочет ее, она желанна для него и чтобы он ни сказал после, его тело желает сблизиться с ней. В помутнении красок и форм показалось, что она не так слаба и не боится боли, быть может, стойкость ее выиграет в этом сражении, и не логичнее ли, правильнее, эмоциональнее ей уступить и позволить пережить боль, раз уж она сама эту боль требует. Как нежно, расслаблено женское тело, как оно уступает, зная, что станет больно.

– Кете, Кете... не нужно, – сумел сказать он.

Требовательно она заглянула в его глаза – и, прочитав в них страх, опустила руки. Забралась в угол постели, как-то разом ослабнув.

– Прости...

– Я хочу спать, – перебила его Кете.

– Попытайся понять, хорошо, Кете? – К счастью, к нему возвратилось красноречие. – Ведь нельзя же насильно... Ты сама не заметишь, как все закончится. Может, потом встретимся, улыбнемся, вспоминая это.

– Уходите! – выпалила Кете.

Лицо ее резко изменилось – из растерянного и обиженного стало злым, чуть ли не агрессивным. Он отступил. Кете снова отвернулась, и, выходя, он мог рассмотреть лишь ее опущенную голову.

В прихожей он заметил Марию, что пришла за ними следом, но сидела, не раздеваясь, на стуле у входной двери.

– Шпионите, как бы я чего не сделал? – сухо спросил у нее Альберт.

– Я хотела поговорить, – тихо и напряженно ответила она. – Я хотела спросить у вас совета. Без тети. Мне... нужно, чтобы вы мне помогли. Я не знаю... не умею.

– И? Я слушаю.

– Мне... нужно найти квартиру. Чтобы снимать. У меня работа, я смогу платить. И я даю уроки музыки. Но я боюсь... что меня обманут или... что я не смогу. Я раньше не снимала сама... вы понимаете?

– Так вы не собираетесь ехать с тетей и сестрой?

– Нет, я остаюсь.

– Почему?

– Я не хочу, – ответила Мария. – Я устала от тети. Я хочу побыть самостоятельной. Я больше не могу жить с ней!

– Знаете что, – внезапно начал Альберт, – снимать в одиночку дороже. У меня к вам предложение: давайте снимем двухкомнатную квартиру. Платить будем пополам. С вас ужины, а с меня – продукты. Можно найти квартиру с пианино. Вы согласны?

Удивившись, она развела руками со словами:

– Но... как? Я не могу!

– Но почему?

– Но я вас не... мне не нужны любовники!

– А я вас не просил спать в моей постели.

С сомнением Мария на него смотрела.

– А вам зачем, позвольте уточнить?

– Хочу съехать от родителей. Мать каждый день тербит меня, покоя нет. А с вами мы хорошо поселимся. Я не буяню, почти не пью. Я не буду вам мешать. Обещаете подумать?

– Хорошо, – неуверенно ответила она. – Я... не знаю... но вы же к нам заглянете?

– Нет, я позвоню. Или вы мне позвоните. У вас есть мой телефон?..

Поспешно он написал на протянутой бумажке, как связаться с ним. Вот уж смешно, мелькнуло у него, он поселится с Марией вместо Кете – обмен сомнительный, но безопасный. Мария не полезет целоваться.

Она приехала с вещами вечером, после него; с наигранной, от скрываемой неловкости, улыбкой отдала ему объемный черный чемоданчик.

– Покажите себя джентльменом, – с иронией произнесла она. – Отнесите в мою комнату... пожалуйста.

В комнатке своей она ничего не поменяла, держала ее в чистоте, на столе, прислоненном к подоконнику, хранила книги – все по истории музыки и иллюстрированные альбомы живописи. Так как окно выходило на восточную сторону, эта комната с ранних часов наполнялась солнечным светом, и это отличало ее выгодно от комнаты Альберта, в которой, из-за изобилия листвы за окном, и в погожие дни бывало серо. Если же было пасмурно, Альберту приходилось, занима-

ясь или читая, включать настольную лампу. Как и Мария, он почти ничего не изменил в новой комнате, разве что с прежнего места перевез с сотню газетных вырезок о преступлениях и расклеил их на стенах.

Мария находила этот его интерес ужасающим.

– Не знаю, как это – просыпаться окруженным фотографиями с измученными, порезанными телами, – говорила она с отвращением. – Неужели вам даже не противно смотреть?

– Я как-то привык, почти не обращаю внимания. Это фон, такие обои.

Мало времени проводя дома, Альберт и ее видел изредка. Она могла позавтракать с ним, но он по утрам читал газету и, если заговаривал с ней, то за тем, чтобы сообщить что-то важное, узнанное только что. Вечером она, приходя с работы, наскоро готовила им ужин, оставляла его на плите, чтобы Альберт смог разогреть его, и ложилась спать. В выходные же они сталкивались в гостиной: Мария почти не покидала ее, занимаясь с учениками и заставляя соседа своего терпеть нервность и безалаберность, и леность этих самых учеников.

Несмотря на краткость общения, как-то очень скоро отношения их стали теплее, заботливее. Торопливый утренний обмен фразами уже избавлял обоих от ощущения заброшенности, ненужности и одиночества. Теперь они спрашивали друг друга о настроении, о здоровье, о планах на вечер или выходные. В дни зарплаты оба взяли за правило что-то приносить другому: Альберт покупал цветы, вино или шампан-

ское, а Мария приносила с работы сладкое, ею слепленное же и испеченное: «Маковый рулет и шоколадный торт, и вот пирожные, с заварным кремом, и блинчики с начинкой, и яблоки в вареной карамели...».

Немного выпив и растянувшись на диване, она ему рассказывала о классической итальянской опере, о русской литературе прошлого столетия или особенностях техники Айвазовского. Альберт слушал ее с интересом, но больше смотрел на нее, любуясь ее расслабленной позой, естественностью человека, научившегося любить себя и свое тело.

– Хочешь, сыграю тебе что-то? – спрашивала она после и искала его глаза.

Он знал, что у нее болят спина и руки, но все же не отказывался, чувствуя, что Марии нравится играть ему, что это для нее – выражение скрытых чувств. Обычно она играла для него Чайковского, Шопена или Малера. Как-то начала со «Старинной французской песенки», признавшись:

– Из давних моих воспоминаний... У нас было пианино. Не тут, не у тети Жаннетт... Кстати, у тети его раньше не было.

– Не было пианино? – переспросил Альберт.

– Да. Пианино появилось после, в Минге. В столице... не было. Мне нужно было заниматься, и я ходила к тете Лизель, маме Дитера. У Гарденбергов было пианино. Я на нем играла. Тетя Лизель учила сына. Не знаю, помнит ли Дитер что-то из музыки. Ни разу не видела, чтобы он играл. Нет, –

себя перебила Мария, – свое пианино было при маме, в нашем доме. Черное пианино, старое, с облупившимся лаком. На нем стояли фарфоровые статуэтки. И висело что-то... не помню... выше этих статуэток. Мама мне играла по вечерам. Помню, я обязательно у нее просила «Старинную французскую песенку». В любой вечер – именно ее. Мама иногда отказывалась – ей надоело играть одно и то же. Но я всегда просила и просила... Я часто вспоминаю те вечера: плохой свет, черное пианино, я – на диване. Чайковский был любимым композитором мамы. А тетя Лизель любила больше всего Моцарта. Я ей играла «Турецкий марш». Очень жаль тетю Лизель. Тетя Жаннетт ее возраста, и она хорошо себя чувствует. А тетя Лизель умерла. И не нужно было тете Жаннетт плохо говорить о Дитере и его... его отношениях с матерью. Они не были плохими. Я не верю, что он ее бросил. Если он любит человека, он ни за что его не бросит.

Тихим кашлем Альберт выразил свое сомнение.

– Я его не осуждаю, – быстро сказала Мария. – Я не знаю, как я бы поступила на его месте. Я могу злиться, но... как женщина. Как человек я... жить хочется достойно, а с любовью, но со страхом долгов, с этим вечным страхом, хоть нищеты, хоть голода... Это каторга для двоих. Стоит ли честная жизнь того, чтобы за нее страдать и мучить и себя, и любимого? Кому и что доказывать?

– А ты бы хотела быть богатой? – полюбопытствовал Альберт.

– А кто бы не хотел?.. Моя семья в России не была богатой, нам и увозить было нечего толком. И все же у нас было достаточно, чтобы у меня были учителя, и гулять меня возили в коляске...

– Ты помнишь Жаннетт в своем детстве?

– Почти нет. Моя семья была консервативной, а тетя, она была отступником, встречалась с мужчинами без брака, была музой поэтов, писала в газеты о пагубности войны и преступлениях российских буржуа... Она была смелой. Она...

– Мария сглотнула. – Она мечтала вырастить Катю похожей на себя.

– А тебя?

– Нет... Мы... не понимаем друг друга. Стихия тети и... Кати... в вечных переменах, бегстве, поиске. Политика, журналистика – это для них. Я хочу спокойной жизни, уюта, мне нужно, чтобы меня баловали, я... домашняя девочка, которая более всего мечтает о большой любви и благополучном доме. К сожалению, это требует денег. Хоть что делайте, но я не откажусь от того, что мне близко. Деньги... иметь их, чтобы ездить в театр и на спектакли, чтобы шить на заказ платья, какие мне хочется, а не с манекена. С учеников столько не заработаешь. Еще и от родителей всякого наслушаешься: «Как вы можете быть такой строгой с ребенком? Сами виноваты, что он плохо себя показывает, учиться не хочет... значит, не сумели его заинтересовать!». Ты же и виноватой оказываешься во всем. Я хочу на постановку сходить, музыку

вживую послушать, вон «Анну Каренину» ставят на главной сцене – но я пойти не могу.

– Боюсь, это и для меня дорого, – признался Альберт, – мне повезло, что я обхожусь без главной сцены.

– А Дитер тоже человек, он не хочет быть заезженной клячей. Он устал не меньше меня. Любопытно, какие костюмы ему покупает его жена. Наверняка они английского кроя...

– Хм, ты бы хотела вернуться к нему?

– А... что?..

– Аппель вспоминал тебя. Он упомянул, что мог бы найти тебе пару.

– Зачем это?

– Чтобы... ты не была одна, – запнувшись, ответил Альберт.

– Зачем?..

– Ты же только что говорила, что хочешь быть любимой.

Мужчина, на которого можно положиться...

– Я не хочу, – перебила его Мария.

– У Аппеля полно неженатых знакомых, хорошие журналисты из...

– Аппель пусть о себе позаботится! У него самого проблем много! Пусть ими занимается, а не сватовством!

Надолго они замолчали, обиженные тоном друг друга. Затем, устав сидеть на месте, Мария стала убирать со столика тарелки из-под сладкого. Три раза, не спросив помощи, она уходила в кухню и, возвращаясь, старалась не смотреть на

помрачневшего, задумавшегося о своем Альберта.

Потом он услышал, как она уронила что-то в кухне. Раздраженно и громко она повторяла:

– Черт! Черт!

– Тебе помочь? – крикнул ей Альберт.

– Я порезала ногу. Черт!

Он ушел в спальню за пластырем. Мария тем временем уселась в кресло в гостиной и вытянула вперед обнаженную левую ногу. Ранка на ступне немного кровила.

– Я так испугалась! – выпалила она, позволяя Альберту взять ее больную ступню. – Этот дурак за стенкой начал кричать. Совсем свихнулся уже от бессонницы... Что там?

– Кусочек попал. Да сиди, ты не увидишь. Где твой женский набор? Мне нужен пинцет.

Морщась от боли, Мария глядела поверх его головы.

– Альберт...

– Ты можешь включить лампу? Дотянешься?.. Потерпи.

– Ай! Больно же! Мама...

– Ну я же сказал... Ну чего ты?

– Мне кажется – или за окном что-то странное?

– Что? – перебил Альберт.

– Не знаю. Горит что-то. Нет там ничего?

Он оглянулся на окно и сощурился.

– Это не у нас, в правительственном квартале что-то, – не беспокоясь, ответил он ей. – Может, опять та артистка подожгла квартиру соперницы? Помнишь, целый месяц об этом

твердили, пока ее не отпустили. Можно позвонить Герману. Он обычно в курсе.

– Все равно мне кажется, это что-то большое, – настаивала Мария упрямо. – И близко, как мне кажется. А если на нас перекинется?

– Это за два квартала от нас! Ну, позвоню я Герману, хорошо?

За окном было непривычно красно и дымно. Попробовав открыть форточку, Альберт тут же захлопнул ее. Вившаяся близ него Мария болезненно кашлянула. Он попросил принести телефон и набрал номер партийной газеты, в которой работал муж Мисмис, обычно осведомленный о главных, а то и ничтожных происшествиях. Лишь на шестой раз Герман поднял трубку и рявкнул в нее:

– Слушаю! Кто говорит?

– Это я, Альберт.

– Ну что там? – влезла Мария.

– Какой?.. А, ну чего тебе?

– Эм, в правительственном квартале что-то горит. Окна открыть нельзя, тянет ужасно. Ты не знаешь?

– Чего-чего?

– Что горит? Ты не слышал?

– Парламент горит. Слушай, мне некогда! Давай потом!

– Что? А-а... Не тяни меня! Он сказал, что горит парламент. Не знаю...

– В смысле? Как так?

– Не знаю. Может, что-то из строя вышло? Короткое замыкание...

– А разве его не охраняют? – резонно спросила Мария.

– Не знаю.

– Что, самое важное, после канцелярии, здание в стране – и не охраняют?

– Я не знаю, – грубо ответил Альберт, раздраженный вопросами. – Я поеду сейчас и сам узнаю. Может быть, Герман ошибся. Я узнаю – и сразу вернусь. Не нужно ехать со мной, – добавил он, заметив по изменившейся позе ее, что она намерена увязаться за ним.

Наскоро одевшись, набросив пальто и снова сказав, что вернется, как только узнает подробности, он выбежал из дома.

В трамвае, как и на улице, дрожало большое беспокойство; и знакомые, ехавшие вместе, все не разговаривали и старались не смотреть друг на друга, словно чего-то стыдясь. Чтобы доехать до места, нужно было сделать одну пересадку, но, заняв новое место, на этот раз у самых дверей, Альберт заметил, что движение на ветке этой замедленно: транспорт не пускали к парламенту, останавливая за две улицы до него. Уже две эти улицы были невыносимо затянуты дымом. Полицейские разжимали тугие двери трамвая и кричали: «Выходите, конечная, дальше нельзя!». Кто-то из приехавших с Альбертом в трамвае хотел пройти по улице в сторону парламента, но его задержала длинная цепь с дубинками напе-

ревес. На головы дежурные натянули противогазы, за спинами их расплывались в сизости стены, пожарные машины и спешащие люди со шлангами. От удушливости было гадко и муторно.

– Что там такое? – откашлявшись, спросил Альберт.

Ему ответили раздраженно и приказали уезжать и не мешать им работать.

– Я из прокуратуры. Вот мой документ. Что происходит?

Ему четко ответили, что, будь он хоть бургомистром, его бы отправили куда подальше, ибо мешать людям на пожаре нельзя никому.

– Вы просто идиоты, – буркнул Альберт и отошел.

Поодаль, напротив остановки трамвая, на коленях, в пыли и дыму, молилась небольшая группа людей. Тут же в недоумении метался иностранный журналист с фотокамерой, осматривал плачущих и цокал языком.

– Тут снимать нельзя, – сказал ему Альберт.

– Я журналист с аккредитацией, – возразил тот.

– А я партийный чиновник!

Журналист цокнул языком, зло скривился, попытался убрать фотоаппарат, но Альберт милостиво его остановил:

– Хорошо, можете снимать... А как обстоят дела? – поспешно спросил он.

– Купол лопнул. Я снимаю, верно?

– Да, да. А это кто? Что за секта?

– Верующие в знамения и прочие страшные сказки. Там

так горит, что, говорят, стены могут не выдержать.

– Не может быть...

– Вы правы: невероятно, что современные пожарные не умеют нормально тушить пожары! Но мне повезло – не каждый день парламенты сгорают. У вас... кровь. – Журналист попятился.

– Кровь? Что?

– У вас кровь... на глазах.

Как в тумане он коснулся левого века и заметил на ладони красное пятно.

– А, ясно, – только и сказал он.

– Все нормально? Вам помочь? Позвать кого-то? – лепетал журналист.

– Нет, ничего...

Из кружка сектантов им закричали:

– Смотрите! Смотрите!

Сектанты повскакивали на ноги. Сквозь больной кашель они заплакали и начали неистово креститься.

– Сумасшедшие! – выпалил журналист и направил на них камеру.

Растрепанная, в грязи и саже женщина с придыханием вопила:

– Партийный! Партийный! Это наша кровь! Кровь наших детей! Антихрист! Из его глаз течет зло! Антихрист!

– Чего вы стоите? – воскликнул журналист. – Их много!

– Это знак Антихриста! – закричала вторая женщина, с

покрытой головой. – Кровь из глаз – это знак вселенского зла! Оно пришло! Это оно уничтожило парламент! Антихрист пришел разрушить столицу! Он принес нам Апокалипсис!

– Уходите! Уходите! – повторял громко журналист.

Кто-то бросил камень – он попал в его плечо. Сейчас же на взбесившихся набросились полицейские в противогазах. Повалившись в грязь, сектанты не вырывались, кто плакал, кто неистово смеялся, кто-то вопил дальше об Антихристе и приближении Апокалипсиса. Напуганный журналист ругался и одновременно рассказывал, какой перспективный материал он нынче получил.

Альберт был уверен, что он спит – но позже он снял пальто и обнаружил на нем грязь от брошенного камня, а на коже – небольшой синяк. Мария смотрела огромными глазами и спрашивала, как он потерял шляпу и отчего не вытер кровь с лица.

– Что за приключение? Что с тобой случилось? Ты подрался?

– Нет...

– Тебе принести что-то? Воды?

– Нет.

Она замолчала. Не совсем осознавая себя, он закрыл глаза руками. Как получилось, что он теперь не спал?

– Я... хочу спать, – сказал он еле слышно.

Мария не возражала. Глаза ее были тревожны.

Человек из кабинета слева сказал, что начальника заменили. Якобы полчаса ранее он вынес саквояж с личными вещами, а ключ отнес дежурному. «Слишком он аполитичен, – прозвучало мнение из кабинета справа, – правильно говорили: не удержится».

На стол Альберту принесли письмо, в котором бывший начальник заявлял, что уволился по собственному желанию и просит слушаться его преемника, потому что «его статус невозможно оспорить». И около трех часов дня обитателей кабинетов выгнали на линейку по случаю приветствия нового высшего, который приехал на элегантно черном автомобиле с партийными флажками.

– У него нет образования, – прошептали Альберту на левое ухо.

Герман Германн улыбался всем и приветливо вскидывал руку, смущая привыкших к рукопожатиям прокуроров. На Альберта он взглянул с поразительным безразличием, словно впервые его видел, и в глубине души тот порадовался, что Германн не показал их знакомства – как и коллегам, ему стало стыдно. За Германном на уважительном расстоянии вышагивал громила, назначенный ему в заместители. Он внимательно всматривался в черты работников, выискивая контрреволюционные помыслы, и кривил губы, если прокурорский казался ему способным на сопротивление начальству.

После начальника отвели в кабинет и начали вызывать по одному на личное собеседование. В курилке активно спорили, станет ли этот «двухименной» увольнять старых работников. Вызывали пофамильно: являлся громила и кричал, чтобы на такую-то букву прошел за ним к начальству. Пока его не было, оставшиеся заспорили, можно ли счесть это за неуважение.

– Заместитель займется политическим просвещением? Серьезно? Этот? Они считают, он сможет нас вдохновить?

– Им не нужно нас вдохновлять, хватит того, что мы его боимся.

– Я его не боюсь!

Вызвали Альберта. За громилой он прошел в знакомую комнату, теперь изменившуюся: на стенах успели развесить партийные плакаты, что призывали к бдительности и верности единственной и неделимой стране. За спиной Германна, как ни странно то было, висела коммунистическая листовка: «Запомните, товарищи, каждый из вас – будущий командир Красной Армии! Это наша клятва красноармейцам Союза. Наша священная борьба не может быть остановлена пистолетами, пулеметами и тюрьмой. Рабочие, ступайте на баррикады! Вперед, к нашей победе над буржуйским правительством! Заряжайте винтовки! Готовьте гранаты! Мы – хозяева будущего!». На спинке кресла лежал шарф местного футбольного клуба.

– Привет, – миролюбиво сказал Германн.

Стараясь не нервничать, Альберт сел напротив. Кабинет закрылся.

– Хочешь покурить? – спросил Германн.

– Нет. Спасибо.

– А, это, – заметив, на что он смотрит, опомнился Германн. – Листовка в напоминание, во имя чего мы сражаемся. Они хотят новой революции. Нам не хватает, конечно же, гражданских войн на улицах. Красиво это, правильно: устроить бойню... ну хоть у нас под окнами? Да, это прекрасно: боевые действия в столице, танки и снаряды, баррикады, случайные раненые – и убитые – наши люди... Мы не можем этого допустить. А врагов у нас очень много.

Рассказывая, как много врагов, что мечтают о революциях и бойнях, он устроил ноги на столе.

– У нас так... нельзя, – тихо сказал Альберт.

– Что?.. Можно. Тут я хозяин. Мне так нравится. Вам нельзя... пока что. Как у меня сейчас? Нравится?

Откинувшись в кресле, Германн любопытно смотрел на него. Искренняя доброжелательность его сменилась тревогой, а затем разочарованием. Германн хотел, чтобы Альберт за него порадовался, а вместо этого Альберт опускал глаза и сжимал губы, словно сдерживая негодование. Оказавшись наедине с Германном, Альберт осознал, что испытывает сложную смесь злости, обиды и смутной боли. Профессионала, добившегося высокого положения десятилетиями сложной службы, заменил в главном кабинете парень моло-

же Альберта, без опыта в прокурорской работе, ни разу не собиравший тома с документами и не выступавший в суде. В момент Альберт признался себе, что мечтал к пятидесяти годам стать главой столичной прокуратуры, за двадцать пять лет усидчивой и безошибочной службы заслужить этот большой бежевый кабинет. Еще в университете, готовясь уйти в прокуратуру, он воображал, как добьется высокого звания благодаря своим профессиональным качествам, как упрямо и терпеливо он займется работой, чтобы... неужели за тем, чтобы сейчас его оскорбили, поставив на желаемое всеми профессионалами место человека из иной сферы, без знания законов, норм, этики? А если бы партия спросила у меня, хочу ли я сегодня стать начальником, назначила меня, а не Германна – чувствовал бы я себя оскорбленным, чувствовал бы я, что мое образование, звание, мои желания унизили?

– Я постараюсь стать хорошим начальником, – после паузы, желая сбросить напряжение, сказал Германн. – И хорошим прокурором... несомненно.

– Я понимаю, – сглотнув, сказал Альберт.

Осторожнее, не хватает с ним поругаться, иметь Германна своим врагом очень опасно. Он с легкостью от тебя избавится, плевать, что он женат на Мисмис, работа выше личных отношений.

– Я заслужил это место. Я много работал на партию и... Это было не мое решение. Меня назначили.

– Ты... просто ты раньше работал в газете.

Осторожнее с ним, не стоит!

– Я работал там, куда меня направили. Меня повысили – и вот...

Но Мисмис говорила, что он занимался... в газете? Не может быть! Не с прошлой ли должности он прихватил этого типа с...

– Альберт!

– Что?..

– Я скажу честно. Я выполняю свой долг. Партия требует от меня, чтобы я мобилизовал вас на борьбу с врагами страны. Наступило время большой борьбы... Пришла наша власть, но нам нужно приложить силы, чтобы удержать ее и выполнить обещанное партией. Ты понимаешь меня?..

– Мы не мыслим... политическими категориями, – неуверенно ответил Альберт. – Мы работаем согласно законам, которые... – Он запнулся.

– Законы скоро изменятся, вот-вот. Партия не заставит вас... нас... нарушать закон. Продолжайте служить закону. Ты по каким преступлениям?

– По уголовным, особо тяжкие.

– А, убийства, изнасилования, грабежи? Хорошо. Занимайся этим. Какое дело ты закрыл последним?

– Эм... таксист изнасиловал девушку и доказывал, что все было добровольно. Его посадили.

– Ясно... Занимайся.

– Ты хочешь, чтобы Т. занялся политическими преступ-

лениями? – решил спросить Альберт.

– Какой Т.? А, понял. Он справится, я считаю. Или у тебя иное мнение?

– Никто из нас таким не занимался.

– А сейчас займетесь, – перебил его Германн и спустил ноги со стола. Он был возмущен и не понимал, с чего бы Альберту сомневаться. – Ты что, не согласен с потребностью нашей страны?

– Я... согласен, но...

– Это не более чем необходимость уберечь разумное общество от тех, кто может нанести ему вред. Это – самозащита, реакция на готовое совершиться или уже совершившееся преступление против общества. Общество должно себя защищать! Оно и защищает, пусть это расходится с твоим пониманием истины и справедливости. Кто против СВОИХ, должен быть наказан! Мы остановим любителей баррикад до того, как они выйдут громить столицу! Ты прокурор, ты должен защитить общество от преступников!

Забыв, что лучше не спорить (все равно бесполезно!), Альберт уже открыл рот... но забыл, что хотел сказать. Не то чтобы Германн пугал его или подавлял, но мысли у него разбежались. Логика Германна казалась неоспоримой, он не понимал, что ей противопоставить – переписанные законы, нормы морали, что менялись на глазах, гуманизм из классических книг? Враги СВОИХ были столь размытыми, что невозможно было их защитить – не было аргументов. Заго-

вори Германн о некой категории, можно было бы что-то ответить, но он говорил поверхностно и одновременно разумно (неужели кто-то хочет вооруженного восстания? неужели он жалеет врагов, которые выбегут громить витрины и жечь машины?). И это было мучительно – чутьем он понимал, что заявления Германна опасны и он меньше всего желает заниматься политическими преступлениями, но вместе с тем словно бы с ним соглашался, признавал, что Германн отчасти прав, и не так уж плохо – действовать на опережение.

Он заметил движение Германна – тот его отпустил. Он встал в странном недоумении. Он поймал себя на мысли: он пытается осмыслить, чего хочет партия, которая долгое время была некой данностью, с чем он считался, но в чем влиянии на себя боялся признаться. Партия пришла к власти, это партия, которая помогла ему устроиться прокурором (и вот чем он лучше Германна?), на эту партию работал его отец и эту партию Мисмис обвиняла в преступлениях (не доказано, но все же). Но чего хочет эта партия? Чтобы – что? Сделать страну снова великой. Сильной, благополучной, общей, империей, красивой; во имя силы, благополучия, общности, империи и красоты допустимо избавиться от противников силы, благополучия, общности, империи и красоты. Понимает ли он это? Согласен ли он с силой, благополучием, общностью, империей, красотой? Что он в этой новой империи общей крови и общей почвы? У него заболела голова. Со своего стола он взял таблетку и проглотил ее без воды.

Боже, а есть ли у него мнение? Чего он хочет? Что творится в его жизни и жизнях остальных?

На столе ждали папки с делом, множество разных и однообразных бумаг. Они были спасением. Они не спрашивали о его месте, его желаниях, не требовали решения – они были понятны, элементарны. С облегчением он углубился в них. И минут через пять тяжелое отступило, и жить стало немного приятнее.

С задумчивостью в глазах Мария доложила, что встретила в лифте Альриха Аппеля – он спускался с пятого этажа и несколько не удивился, столкнувшись с ней. Словно не замечая ее недоумения, Аппель сообщил, что поселился в их доме (конечно, так ближе к работе), а затем начал спрашивать, как она поживает и как здоровье его, Альберта, и не хотят ли они, Альберт и Мария, однажды с ним выпить.

– И что же ты ответила?

– А что я должна была ответить? Сказала, что подумаю. Ты говорил ему, где мы живем?

– Не помню, может, и говорил. А что?

Мария нахмурилась и ничего не ответила. По его просьбе она отправила на квартиру Аппелю письмо, в котором Альберт просил его зайти к ним в воскресенье – и в назначенный день, около трех часов, тот явился с большим тортом и красными розами для хозяйки. Неожиданно учтиво Аппель припал губами к ее руке и немного наигранно заметил, что она, в

этом домашнем простом платье, может по красоте сравниться с британской королевой.

– Вы очень любезны, – сухо ответила Мария.

Понимала ли она, отчего Аппель ей не нравится? Быть может, ее бесило его бесконечное «конечно», некая маниакальность, что мучила самого Аппеля, или же непонятная ей, скрытая от большинства, но заметная ей страсть. Чтобы не оставаться с ним, Мария сказала, что должна выйти в магазин. Она поспешно собралась и хлопнула дверью, оставив мужчин за только что приготовленным кофе.

– Почему ты переменял квартиру? – поинтересовался Альберт.

– Конечно, она мне наскучила, – ответил Аппель. – К тому же мне больше не нужно прятаться, я живу официально... хоть что-то хорошее, нынче я в большей безопасности, чем при демократии.

Обоим стало несколько неловко. Внутренне Альберт пожегся, вспоминая, сколь непонятные у них были отношения раньше. Он очень хотел сидеть с Аппелем, за кофе болтать о работе, слушать его журналистские байки, или размышлять о новой политике, или спрашивать, какая из новых постановок в театре особенно хороша. Аппель старался прогнать неловкость, улыбался, но чувствовалась в нем тревожность, с которой он не умел справляться.

Они в молчании допили кофе. Опять наполняя чашку, Аппель заговорил о новой книге некоего писателя, посвя-

щенной проблемам юношей из партийного движения. Альберт книгу не читал и мог лишь кивать, не вдумываясь, зачем ему это рассказывают, и радуясь, что Аппель не заставляет его отвечать. Так прошел час. Закончив с книгой, Аппель попытался найти что-то схожее, о чем можно было распространяться мучительно долго – но замялся. Кофе тем временем кончился. Аппель снова сказал свое привычное «конечно» – и отправился к себе, на этаж выше.

Как Мария пришла, Альберт сказал ей:

– Мы хорошо поговорили. Альдо был в отличном настроении.

– Вот как? – с сомнением ответила Мария.

Она засунула нетронутый торт в холодильник и возвратилась к столу.

– Он не говорил... – начала она, но осеклась.

– Что?

– Ну... я полагала, он эмигрирует.

Они покосились друг на друга.

– Альдо ничего не говорил, – кратко ответил Альберт.

– Да?.. Очень необычно, что мы живем в одном доме.

Это...

Она закусила губу, чтобы не выпалить: «Черт, Альберт, это ужасно подозрительно!». Без ее заявления он понял, что у нее на уме.

– Это совпадение, – после паузы ответил Альберт. – У нас удобный дом, один из лучших в этом районе. Не вижу ниче-

го... неожиданного... что Аппель в нем поселился.

Мария не стала настаивать, но выражение ее считывалось однозначно – она считает Аппеля опасным, возможно, партийным шпионом или кем похуже (кем, она точно не сказала бы).

Впрочем, он не спрашивал Аппеля о его жизни, спросил лишь о перемене квартиры, и тот ответил вскользь. Но сказал, что сейчас он в большей безопасности. Аппель не был связан с партией, более того – выступал против нее. Как независимый журналист, занимавшийся политическими скандалами, он не мог работать по старым правилам, не теперь – а он сказал (не соврал ли?): «Я живу официально, мне не нужно прятаться, как при демократии».

Аппель – чтобы он отказался от честной журналистики и полюбил партию? И согласился на нее работать? Злясь на себя, он решил завтра же выяснить через коллег Аппеля, в каком тот нынче положении, работает ли, как обычно, или ушел из профессии, возмущенный новыми правилами для журналистов. К новому вечеру получилось узнать: во-первых, Аппель числится журналистом и состоит в штате столичной газеты; во-вторых, ему поступало предложение из заграничной прессы, его обещали вывезти из «диктаторской» страны и на первое время обеспечить деньгами, но Аппель отказался, несмотря на свое открытое неприятие режима. Что первое было необычно, что второе – не верилось, что Аппеля оставили в штате, зная его взгляды, и что он не

воспользовался возможностью уехать на столь выгодных для себя условиях. Узнав такое, Альберт не понимал, хочет ли он говорить об этом с Аппелем. Неопределенное положение старого друга беспокоило его, но в отличие от Марии Альберт его не опасался, скорее переживал, что Аппель запутался и нуждается в поддержке близких – а были ли у Аппеля близкие, кроме него, Альберта?

У хозяйки он поинтересовался, в какие часы Аппель бывает дома. Оказалось, тот почти не покидает квартиры, его никто не навещает, а выбирается Аппель лишь за тем, чтобы купить еды. Это не вязалось с заявлением, что ему незачем прятаться. Пол дня Альберт размышлял, зайти ли к другу, не поговорить ли с ним честно, но к окончанию рабочего дня струсил: нет, он не хочет ничего обсуждать с Альдо, в конце концов его не касаются чужие дела, а если бы Альдо считал нужным, то сам бы во всем признался!

С беспокойством он возвратился домой, зашел в лифт и уже собирался запустить его – но тут возник Аппель и крикнул:

– Постой, я с тобой!

На левой руке у Аппеля висела сумка, из нее высовывались батон хлеба и бутылка молока.

– Привет, – неестественно улыбнувшись, сказал Альберт.

– Ага. Конечно, ты с работы?

– А? А-а-а.

И все же, если он любит Аппеля, с чего бы с ним так тя-

жело и напряженно?

– Я загляну к тебе? – спросил тот с внезапной решимостью.

– А? Ну, если ты хочешь...

– У тебя, конечно, вкусный кофе. У меня кончился.

– А-а-а... а твоя сумка?

– Ничего, конечно, постоит у тебя.

Осознавая, что навязывается, Аппель даже не пытался скрасить это неприятное впечатление. От его уверенного настроения Альберту стало не по себе. Как назло, он вспомнил, что Мария нынче вернется позже него, а оставаться с Аппелем в квартире, без нее, он отчего-то не хотел.

– Хорошо, – справившись с собой, согласился Альберт. – Я сварю нам кофе.

В гостиной Аппель не сел, а бросил сумку на диван и спросил разрешения покурить.

– Только открой окно, Мария очень просит курить с открытым окном.

– Конечно. А ты ее слушаешься? Интересно.

– Если живешь с женщиной, стоит уважать ее просьбы.

С ухмылкой Аппель распахнул окно.

– А, у вас можно правительственный квартал рассмотреть, – сказал он. – Мои окна – на бульвар. Нет, стой, – остановил он Альберта, что собирался выйти в кухню, – успеешь с кофе. Хочешь курить? Пока не бросил?

– Нет, просто не хочу сейчас.

Чувствуя, как больно бьется слева, Альберт присел на подлокотник кресла. Гость недолго смотрел на пустое серое небо и курил. Потом оглянулся и спросил:

– А зачем ты спрашивал обо мне?

На мгновение Альберт застыл. Аппель сузил глаза, как бы пытаясь лучше рассмотреть его лицо.

– Это... я не понимаю, о чем ты, – пробормотал Альберт. – Наверное, ты не так кого-то понял...

– Конечно. Ты плохо врешь... Ты звонил моему коллеге по газете и спрашивал обо мне.

– Нет, я... с чего ты взял, что это был я? – Не может быть, он не называл свое имя!

– Ты не изобретателен, Берти, из тебя не получится шпион или герой Сопротивления. Ты звонил с прокурорского телефона. Вычислить это очень легко. Конечно, коллега мне позвонил и спросил: «А что от тебя нужно прокурорам?». И ты спрашивал обо мне нашу барышню снизу, она мне тоже доложила. Она знает, кто ты, а ей проблемы со мной, конечно, не нужны.

От сухого безжалостного тона Аппеля он покраснел, как школьник, которого отчитали за плохие отметки.

– Я... прости меня, – пробормотал он виновато. – Я не пытался все испортить, честно, ты же знаешь...

– Если тебе что-то нужно, Берти, ты можешь спросить у меня. Ты мог спросить у меня...

– Прости.

Обиженно тот отвернулся; бросил окурочок вниз и закрыл окно.

– Я... мне стоило поговорить с тобой, – чувствуя себя невыносимо виноватым, сказал Альберт. – Но я... я не знал, как заговорить с тобой. Изменились...

– Обстоятельства, – тихо закончил Аппель.

С минуту они молчали.

– Приготовь кофе, пожалуйста. Я правда очень хочу кофе. Мария не скоро вернется?

– Через час. Сейчас. Мы успеем.

Они открыли молоко, что Аппель принес из магазина. Стараясь не смотреть на друга, Альберт разлил им кофе. Тот щедро плеснул себе молока в чашку и с наслаждением отхлебнул от нее.

– У меня все плохо, Берти, – еле слышно признался он.

Аппель неуверенно посмотрел по сторонам.

– У меня безопасно, прослушки нет... наверное.

– Ты уверен, конечно же?

– А с чего бы ей быть?

– Не знаю. Конечно, ты у нас важная шишка.

– Не сказал бы. На всех прокурорских техники не хватит.

– Твоя семья – из первых членов партии, – напомнил Аппель, – а твой зять Германн – большой начальник.

– Вот стул. Не стой. У тебя сигареты закончились?

– Полпачки.

– А с деньгами как?

– Плохо. – Нехотя Аппель сел. – Мне, конечно, платили за материалы, деньги – за материал. Я сейчас ничего не пишу, конечно.

– Но мне сказали, что ты числишься в штате.

– Конечно. Формально я у них работаю. Но я почти полгода ничего не пишу. Я каждую неделю звоню и спрашиваю, есть ли для меня работа. Конечно, меня посылают. Я пришел к Т. и прямо сказал: «Слушай, дай мне поработать, я готов писать о собачках, женских шмотках и косметике, о сезоне цветов...». Конечно, меня послали. Хорошо, что наша барышня меня знает и готова терпеть, что я плохо плачу.

– Так что ты не уволишься?

– А меня больше не возьмут. Никто. Так я хотя бы при журналистских документах.

Забыв, что нужно открыть окно, Аппель снова закурил. Альберт не возражал. Рука с сигаретой дрожала.

– Я сочувствую, Альдо, – сказал Альберт. – Мне действительно жаль, что у тебя проблемы. Если тебе нужны деньги или что-то такое...

– Нет, нормально, – перебил его Аппель. – Я, конечно, экономлю, кофе не покупаю, сигареты только, не смогу без них. Пару месяцев протяну. А потом... Потом посмотрим.

Он откинулся на спинку стула, отпил от чашки и искоса взглянул на Альберта. В глазах его появилось нечто новое, вопросительное и лукавое.

– Тебе сказали, что меня уговаривали уехать?..

– Да, сказали.

– Я отказался.

Не вынеся этого его выражения, Альберт уставился на свои руки. Аппель шмыгнул носом и одним глотком опустошил чашку.

– Хочешь еще?..

– Да нет, спасибо.

Спроси его, спроси, спроси, спроси!

– Почему ты не уехал? – как против воли спросил Альберт.

Аппель отвел глаза и пожал плечами.

– Меня не устроили их условия.

– Что? Ты серьезно? Известная газета?

– И что?

– Они хотели тебе помочь! Они хотели тебя вытащить! Ты мог бы работать за границей и получать хорошие деньги, а не... экономить на кофе тут!

– Нечего кричать, – ответил Аппель и стряхнул пепел в пустую чашку. – Я отказался – и все. Конечно, это далось мне тяжело. Но я не жалею, Берти.

– Не жалеешь?

– Нет. Бывают разные... обстоятельства. Конечно, я не был готов, я не хотел уезжать.

– Я тебя не понимаю...

– Вот как? А почему бы тебе не уехать, если ты меня не понимаешь?

Сомнительно, очень сомнительно. Чувствуя опасность, Альберт поспешно ответил:

– Меня все устраивает... в отличие от тебя.

– Конечно... Повторюсь, ты не умеешь лгать, Берти. Однажды это тебя погубит.

– Мне нравится моя работа, – перебил его Альберт.

– А, работа, конечно. Быть шавкой режима.

– Я занимаюсь уголовным...

– Конечно.

Язвительность Аппеля, его цинизм и уверенность в собственной правоте обжигали сильнее открытых обвинений.

– Ты прав, – пересилив себя, ответил Альберт. – Я не на это рассчитывал. Я... черт, я же не знал, что получится эта партия, что то, что писал мой папаша... Хорошо, я не сторонник партии. Но... а если и с ней можно договориться?

– О чем? – печально спросил Аппель.

Альберт открыл рот – но не сумел ничего ответить. О чем, о чем, о чем?.. Жить в мире с партией? В который раз он попытался понять, что это такое – партия, режим, эта новая власть, – но в голове кружили лишь обрывки лозунгов, честных и не очень, жестоких и оптимистичных. Поразительно, но он, человек, отец которого был партийным идеологом, сейчас понятия не имел, чего хочет партия (кроме банального благополучия во имя всех) и какими способами этого добьется. Как же можно договариваться с властью, о чем, если не понимаешь, чего она хочет и чего ты хочешь от нее? На

краешке сознания всплыли страшные заявления отца, призывы к массовой жестокости, но кто такой его отец, так ли он важен партии, чтобы к его призывам прислушивались?

– Ты против партии, – тихо начал Альберт, – но против чего ты конкретно?

– Как – против чего? – не понял Аппель. – Мне не нравится диктатура. Я не могу при ней работать. У меня отняли свободу слова.

– А разве она была раньше? От кого ты прятался раньше?

– Раньше я, конечно, мог писать, пусть и рисковал собой. А сейчас я совсем не могу писать. Раньше ты, как прокурор, мог меня защитить, а сейчас... вправе ли ты за меня заступиться?

– Это так, – согласился Альберт. – Это мне не нравится... что я не могу заступиться за тех, кто против партии. Все же я против самого существования политических преступлений.

– Вот, значит, ты против!

– Постой... но чего хочет партия?

– Как – чего? – переспросил Аппель. – Они хотят власти. Все, кто в партии.

– Зачем? Они получили власть. И что теперь? Что партия собирается с ней делать?

– Установить диктатуру. Берти, это странные вопросы.

– Но зачем нам диктатура? Что мы собираемся с ней делать?

– Конечно, чтобы превратить население в рабов. Берти...

– Нет, постой. Ты сам напомнил, что я из партийной семьи. Это так. Но... но... я знаю их, им не нужна власть сама по себе, чтобы была. Она нужна, чтобы что-то делать. Они получили власть – и что они собираются делать? Зачем нужна диктатура? Что они хотят построить на этой диктатуре? Зачем нужно сажать тех, кто против?

– Чтобы всех убить и править миллионы лет, – резко ответил Аппель. – Ты пытаешься найти логику в поступках, у которых не может быть логики.

– Честно, меня беспокоит, что я этого не понимаю. Я слышу слова: что все станет хорошо, что благополучие, что нашими усилиями наступят лучшие времена... Но что это за «лучшие времена»? Какие они? Почему за них мы должны приносить жертвы?

– Партия не отвечает на столь сложные вопросы, – заявил Аппель.

– Понимаешь... я не знаю, чего от меня хотят. Во имя чего я должен быть за партию. Я ничего не вижу за словами о «лучших временах» и «национальном величии». Я не могу быть за или против того, чего я не знаю и не... не понимаю.

– Ты слишком усложняешь, Берти. Я, конечно, понятия не имею, какие планы у партии. Что великого они хотят построить, меня не волнует. Я знаю, конечно, что партия ограничивает меня и планирует пересаживать всех оппозиционеров. Этого мне хватает, чтобы быть против. А зачем тебе понимать партию...

– Почему ты не уезжаешь? – перебил его Альберт.

Аппель громко отставил от себя чашку и встал.

– Берти, мне кажется, тебя это не касается.

– Я боюсь... за тебя.

Тот рукой оперся о стол, в согнутой спине его читалась большая усталость. От недавней решительности не осталось ни следа.

– Альдо, прошу, подумай о том, чтобы уехать. – Альберт сглотнул, чтобы это сказать. – Это ради твоей безопасности, ты знаешь без меня. В нынешних условиях я не смогу за тебя поручиться.

– Конечно... А что может случиться?

– Не смешно. Я... я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ты это знаешь.

– Ты же остаешься.

– Я не могу... У меня работа. Нет сбережений. Там я никому не нужен. А ты нужен там, иначе бы тебя не звали.

– И ты хочешь понять партию, – с тихой иронией закончил Аппель. – Конечно. У меня там тоже никого нет, а жить и тут можно... Я налью себе кофе?

Быстро он опустошил остатки кофе и сказал, что собирается к себе. Чуткий сейчас Альберт ясно понимал его усталость и разочарование.

Вскоре пришла Мария и заворчала, почувствовав, что курили в квартире с закрытыми окнами.

– Это Аппель, – ответил Альберт безразлично.

– Умоляю, открывайте окно... Я, если курю, открываю окно. Ты пригласил его к нам? Опять?

– Я угостил его кофе. Не злись.

Мария выругалась и распахнула окно в кухне.

Она полулежала на красном диване и курила через длинный мундштук. В невольном недоумении он остановился близ стола и уставился на ее лишь слегка прикрытые полувоенной юбкой стройные и наверняка чувствительные ноги. Она чуть наигранно улыбнулась и взяла со стола фуражку с красной звездой. Как она наклонилась, он заметил и то, что бежево-серый китель на ней открыт до груди и кожа на шее слегка блестит от пота.

– Жарко тут, – сказала она и снова улыбнулась. – Вы присаживайтесь.

Опять возникло это «вы», отметил он, но сел в красное кресло, напротив ее длинного дивана.

– Не знал, что ты куришь, – заметил он, неотрывно смотря на нее. – Давно ты начала?

– Пару месяцев назад. Я купила сигареты в магазине у М., помните его? Он спросил, исполнилось ли мне достаточно, и я показала свой паспорт. И он воскликнул: «Не может быть, уже совершеннолетняя, я был уверен, что тебе все еще четырнадцать!». А мундштук мне подарила тетя, в моем возрасте она дымилась хуже паровоза и мне позволяет то же самое. От Марии бы досталось точно. Можно мне поближе пе-

пепельницу? Вы закурите?

– Я?.. – Он неловко подвинул пепельницу. Кете улыбалась в его глаза, а он рассматривал ее фуражку.

– Красивая? Мне идет?

Она слабо рассмеялась и сдвинула ее на правое ухо.

– Я купила на барахолке. Китель и юбку откопала всего за двадцатку. Тетя подарила мне сорок на день рождения.

– Оставшееся прогуливаешь в кабаках?

Уловив его сарказм, Кете махнула официанту: она хотела коктейль.

– А разве не вы нынче платите? – со смешинкой спросила она.

Ошеломленно Альберт открыл рот, но тут же решил не спорить. Все же, в отличие от Кете, он работал и имел достаточно, чтобы заплатить в клубе за двоих. Кете иронично заявила, что наглеть не собирается, и попросила принести ей три закуски. Он спросил бутылку красного вина.

Пока не принесли заказ, Кете притворялась, что слушает внимательно выступление какого-то комика. Альберт, что сидел спиной к сцене, чувствовал и ее внимание, и напряженность, и искусственное безразличие. Она смотрела поверх его плеча, но временами опускала глаза и на плечо, на лацкан расстегнутого пиджака и маленькие пуговицы рубашки. Пару раз он оглядывался на соседние столы – там смеялись и пили причудливо наряженные люди, горячо целовались две девушки в розовых перьях. Кете не смеялась, но на-

крашенные губы ее кривились.

– Ты часто тут бываешь? – спросил ее после паузы Альберт.

– Время от времени, – неопределенно ответила она.

– Нравится местный юмор?

– Пожалуй, нет. Но это последнее место в столице, где можно шутить о политике и не получить по морде от ваших... Эм...

– Приятно, что ты не относишь меня к этим.

– Ну, я верю в вашу адекватность. Вы можете говорить на своем языке, я его понимаю.

Он вздрогнул – было ли в ее предложении добродушное чувство, заискивающее или язвительное? Он пошевелил языком, словно вспоминая родную речь. Уехав от родителей, он совсем отказался от южного диалекта и перешел на столичный жесткий язык.

Принесли алкоголь и закуски. Как от жажды Кете разом выпила свой бокал.

– Не пей так быстро...

– А что? Я совершеннолетняя.

– Боюсь, это работает не так, Кете.

– А вы часто пьете?

– Нет, почти не пью...

Она убрала мундштук в сумочку. Исподлобья смотрела, как поспешно он опустошает первый бокал вина.

– Эм, ты хотела о чем-то поговорить?

– Да... Нет, пока не хочу. – Альберт хотел налить ей вина, но Кете оставила свой бокал. – Возможно, вам немного неуютно в этом клубе, но это самое свободное место, тут можно говорить о...

– Обычно самое свободное место – самое опасное для искренних разговоров, – перебил он ее.

– Вот как...

– Но если это не что-то сверхъестественное, то... Я выпью?

– Разумеется.

– Вы хуже говорите на своем языке, – печально заметила Кете. – Вы больше не говорите на нем, верно? Уже давно?

– Почти нет. Тут мало кто его понимает. Пришлось перейти на столичный стандарт.

Уголки ее губ тронула уже не веселая и не расслабленная улыбка; это был симптом напряжения.

Комик оставил сцену, вместо него вышли музыканты, что заиграли шумные заграничные песни. Альберт опрокинул второй бокал. Он заметил, что его визави напряжена, но приписывал это действию алкоголя (разве так бывает?) или симпатии с ее стороны. Губы ее сжались, а глаза расширились, зрачки в приглушенном красноватом свете казались огромными, и вся она была невыносима. И фуражка была так знакома и так болезненно красива.

– Мне... честно скажу, мне далось это тяжело, – наконец заговорила Кете. – Я попросила вас прийти... чтобы попро-

силь вашего содействия.

– Эм... – Он налил себе вина. – Я слушаю.

– Мы с тетей собираемся уехать... наверняка вы помните. Так вот, возникла проблема... Тете припомнили статью в Л. пятилетней давности. Ничего серьезного, ничего против партии. Там она не очень лестно отозвалась о... – Она назвала партийного чиновника из второго эшелона. – Он мстителен и хочет потаскать ее по не самым приятным местам. И все же тетя ни разу открыто не выступала против партии. Вы знаете, в нашем доме принимали партийных и выказывали им... уважение. И все же этого мало. Не могли бы вы... обратиться к вашим знакомым, чтобы они заступились за тетю?

– Ясно...

– Вы исполните мою просьбу?

Она сглотнула – просить его, именно его ей было больно и тяжело. Он молчал; в голове немного шумело, но ему было хорошо и приятно – странным образом нынешнее положение его очень волновало.

– Выпей, – хрипло сказал он и, хотя она покачала головой, налил ей вина. – Это... полезно. Порой.

В глазах Кете что-то изменилось. Она взглянула на бокал, помолчала – и быстро, как коктейль ранее, выпила из него. Вражеская фуражка, эта заграничная звезда съехала ей на затылок.

– Почему ты решила просить именно меня? – медленнее обычного спросил он.

– У вас... есть связи, – с сомнением ответила она.

– Поэтому?... Почему ты в этом уверена?

– Я знаю, все знают.

Заметно было: она боится настаивать. Он слишком знал ее, чтобы и сейчас услышать, как бьются мысли за ее чистым лбом: что он хочет от меня, это игра, в которой я не хочу участвовать, это слишком, это... неправильно.

Несомненно, она специально. Она могла сесть, это было бы прилично, но вместо этого она легла, она расстегнула китель, чтобы привлечь внимание к красивой шее и выпуклой груди, а пила для храбрости, изображая из себя роковую женщину из заграничного фильма, а сейчас боится; сексуальность ее раскрывается в уютной и тихой обстановке, в шуме и красноте она играет, не понимая пока цены и опасности этой игры.

Он выпил новый бокал и, усилием воли отгоняя мысль о ее позе, спросил:

– Ты понимаешь, Кете, что мне нужно попросить моих знакомых? Которые заняты и которых нужно уговаривать? Ты понимаешь... что это... не столь легко?

Он уже прикинул, к кому стоит постучаться, и успокоил себя: ему не откажут, не в этот раз, Жаннетт – мелкая личность, чтобы она заинтересовала кого-то действительно влиятельного.

– Я... понимаю, – еле слышно ответила Кете.

Она опять смотрела поверх его плеча. Из роковой женщи-

ны в вызывающем костюме она превратилась в нерешительную юную девушку. Тело ее напряглось, словно готовясь к нападению.

– Сядь, пожалуйста, – попросил Альберт.

Ей пришлось схватиться за стол, чтобы выпрямиться.

– Это очень серьезно. Ты взрослая, Кете, и должна это знать. За серьезные просьбы нужно платить.

Кете пришла ко мне не потому, что знает о моих знакомствах. Она мне доверяет. Она уверена, что я замечу ее женственность и привлекательность, ее необычность в этом месте, в этом костюме. Она уверена, что может пообещать мне кое-что, но я не воспользуюсь этим, я откажусь. Возможно, ее возбуждает сама мысль, что она может соблазнить меня, прикрываясь просьбой о Жаннетт. Но Кете нужна помощь, она бы не обратилась, не случись неприятности. Как бы ни волновала ее эта мысль, она бы не пришла ко мне с пустячной просьбой. К кому бы она пошла, если бы не было меня? Осознает ли она, как опасно просить мужчин ей, женщине?

Чтобы развеять это сомнение, он спросил:

– А если я бы не помог тебе, к кому бы ты пошла потом?

– Не знаю, – помедлив, ответила она. Она смотрела мимо. – Наверное, обратилась бы к Г. Он бывал у нас несколько раз.

Понятно, она бы пошла к человеку, что наверняка бы требовал с нее плату.

– Неужели это проблема? – Алкоголь подействовал: он

возмутился больше обычного.

Испуганно Кете отпрянула.

– Это касается моей жизни. Это не блажь. Нам нужно уехать!

– Этой ценой?

– Какой?.. Тише!

– Счет, – крикнул он. – Собирайся, поехали.

– Я заплачу за себя, – заявила Кете.

– Я заплачу за тебя. Поехали на такси.

В машине она вжалась в угол и смотрела в темное окно. Он смотрел на ее колени, на них лежала фуражка, юбка немного задралась и в полумраке блестела обнаженная кожа. Желание потрогать ее было мучительным. Если я помогу Жаннетт и ей... Она хочет уехать. Ее мечта исполнится, если я выполню ее просьбу. Нельзя быть эгоистичным. Она права: ей не место в нашем режиме, в нашей стране и в моей жизни – это опасно и больно, это неправильно, неестественно.

– Я открою, – сказал он, но Кете уже рванула дверцу.

– Куда мы приехали? – спросила она.

Они стояли на мокрой, темной, пустой мостовой.

– Это мой дом, – просто сказал Альберт.

Кете поежилась. Затем решилась:

– Наверное, вы неправильно меня поняли. Я не собираюсь с вами... спать.

– Даже за тем, чтобы я тебе помог?

Она отступила на шаг.

– Вы – друг моей семьи. Вы можете помочь нам и без этого.

– Я уже сказал, что твоя просьба требует большего.

– Я не буду говорить с тобой в этом тоне! – вспыхнула она.

Она решительно развернулась, но он поймал ее за плечи и заставил посмотреть на себя. В ее глазах застыл гнев, смешанный с сильным, болезненным разочарованием. Он держал ее аккуратно, давая возможность высвободиться, но Кете терпела, напряженная, обозленная, и позволила взять ее за шею и немного отклонить ее голову. Волосы ее пушились, фуражка упала с макушки.

– Мне больно, – прошептала она, но не отстранилась.

Он больно прижал ее голову к себе и больно поцеловал ее сомкнутые губы. Она вцепилась пальцами в его руку, но он намеренно затягивал поцелуй, чтобы вызвать у нее неприятие. Со злости Кете укусила его за нижнюю губу. Он отстранился не сразу.

– Больно? – спросил он, вытирая губу.

– Нет, – резко ответила Кете и наклонилась за фуражкой.

– Раньше у меня была такая же.

– А, вы были коммунистом? Какие признания!

– Кете... Кете!

Она обиженно застыла. Он застегнул верхние пуговицы ее кителя. С нескрываемым сожалением Кете смотрела на его руки.

– Я вас укусила, – тихо сказала она.

– Ничего страшного. Обычное дело.

– И часто вас кусают?

– Нет, ты первая... Ты злишься на меня?

– Нет, – пробормотала она и опустила глаза. – Я злюсь на себя.

– Кете, пожалуйста, не поступай так больше, это... опасно.

– Вы поможете или нет? – перебила она.

– Я постараюсь. Мне ничего не нужно, но... ты должна была понять, чем это могло кончиться.

– Все равно. – Кете пожала плечами. – Знаю, вы хотели меня напугать. Я не злюсь, честно. Я хотела этого... Отвезите меня домой.

Мне все равно, я хотела этого, я испугалась, я разозлилась, я не соглашалась, но я хотела этого и на твоих условиях – глупая Кете, милая, близкая, мучительная, злая, нежная, невыносимая.

Почему не получается, невозможно быть с ней? Как обыкновенно, легко бывает у остальных. Как у них получается не причинять боль? Глупая Кете, наивная Кете, готова терпеть боль, она хотела, чтобы он причинял ей боль, она злилась на себя за это желание боли с ним. Мужчина не может не причинять боли – с чего он это взял? Как в его голове появилась эта ужасная уверенность? Это насилие, на которое женщина соглашается по воле инстинкта и чтобы привязать к себе мужчину. Секс – это власть и насилие, открытое или скрытое, и то, что Кете могла расплатиться им за помощь,

доказывает это как ничто.

Она достала из сумочки сигареты, но Альберт сказал:

– Не стоит. У меня Мария, а ей лучше не чувствовать, что от тебя пахнет табаком.

Кете вскинула на него глаза.

– Вы живете с Марией?

– Мы с ней приятели... Хочешь заглянуть к нам?

Безразлично она пожала плечами и ответила:

– Можно, хорошо... Но вы точно спите с ней. Это меня не касается, я знаю.

– Нет, Кете, я тебе клянусь.

– А если так, то что?

– Кете... у меня никого нет. Кроме тебя.

Губы ее слегка улыбнулись. В порыве нежности он коснулся пальцами ее левого века. Мысль, как она хрупка и не заслуживает боли, вбивалась в его виски.

Мария пораженно взглянула на Кете, на ее странный костюм, растрепанные волосы, затем посмотрела на покрасневшего виновато Альберта – и обняла сестру за шею.

– Все хорошо, хорошо? – зашептала она на ухо Кете.

– Все хорошо.

– Точно-точно?

– Ничего, Мари, не души же меня так!

Альберт вышел в кухню, чтобы не смотреть, как свободно Кете обнимают и целуют. В кухне кипел чайник. Сестры смеялись в гостиной и громко обсуждали провокационные

наряды. Мария смеялась, но была против коммунистов. Альберт открыл окно и закурил.

– Я в ванной, и я очень хочу спать, – сказал он резко, как они появились в кухне.

– Загляни потом, мы пожелаем спокойной ночи, – ответила Мария.

В ванной, стоя под горячей водой, он слушал их веселые голоса и думал, что, будь он другим человеком, более всего бы на свете хотел уехать с Кете далеко-далеко. Голос ее, за стеной, так невыносимо близко, вбивался в мозг, как ржавые гвозди.

– Катя ушла, – сказала Мария, когда он явился и спросил, где их гостя.

В глазах ее застыли боль и тоска за обоих. Он боялся смотреть на нее: ты можешь быть с женщиной, но избегаешь этого, вместо этого ты снимаешь возбуждение в ванной, думая, что она ничего не понимает, конечно же.

– Меня это не касается, – сказала Мария.

– Это вам, срочное.

Он быстро взглянул на открытый конверт и спросил:

– От кого, кто принес?

– Посыльный, точно не знаю, извините.

– Что-то срочное? – уточнил Петер Кроль.

Они обедали в столовой при прокуратуре. Петер заявился просить у него поддержки и ранее рассказывал о плане на-

писать сценарий для истинно патриотического кино.

– Разве ты решил оставить поэзию? – спросил Альберт.

– Она ужасная, признайся, невыносимо... Как бы я был счастлив, получишь у меня великолепный сценарий!

– Зачем же тебе помощь партии?

Петер Кроль уставился на него одновременно с восторгом и возмущением.

– Берти, денег на искусство нынче нет ни у кого, кроме партии. К тому же, я честно служу партии и верю в ее... в наш благополучный союз – физической силы и художественного гения. Безусловно, гением я себя не считаю, но...

Альберт слушал вполуха. Из конверта появилась широкая, с половину обычного листа, карточка с золотыми инициалами матери. Мать писала на южном диалекте.

– Твое содействие поможет мне выполнить все задуманное. Деньги я, не сомневаюсь, получу без твоей протекции, но есть некоторый нюанс... Большую часть нужно снимать в Париже.

– Что? – тупо переспросил Альберт.

– Это лента об эмиграции. Главный герой, талантливый режиссер, бежит от режима в Париж, потом осознает всю «клоачность» Западной Европы, возвращается домой и обнаруживает, как хорошо стало жить при новом режиме. Нужны деньги на Париж и разрешение снимать за границей. А, что с тобой?

Не отвечая, Альберт встал из-за стола и, игнорируя недо-

умение Петера, отправился к отдельному столу в дальнем углу – там в одиночестве ел бульон его зять и начальник Германн. Тот удивленно посмотрел на него снизу вверх.

– Что? Что у вас с лицом?

– Я... мой отец умер.

И бросил на стол записку от матери.

– Я не могу это прочитать, – сухо ответил Германн.

– Можете мне поверить на слово.

– Вы хотите уйти с работы? Чтобы я вас отпустил?

– Отпусти со мной Мисмис.

Германн отложил салфетку.

– Мисмис? Чтобы она снова сбежала, бросив ребенка?

– Умер ее отец! Ты понимаешь, что это такое?

Чтобы не вспылить, Германн стиснул зубы. Справившись с собой, он мягче обычного ответил:

– Хорошо... я привезу ее. Но вы ручаетесь за нее. Я серьезно. Я вас отпускаю.

– Я с тобой, Берти, – обронил Петер Кроль.

С рабочего телефона он позвонил Марии и предупредил, что переночует в родительском доме.

Там пахло лекарствами и смертью. Лина, неправильно нежная в строгом платье, не встала навстречу сыну и его приятелю. Она и не оглянулась на них, она застыла в невыносимо благородной позе, словно кукла в витрине магазина.

– Мама?

– Кристиан умер, – тихо и спокойно сказала она. –

Несколько часов как. Мы готовимся к похоронам.

– Мы?

Глазами она показала на двух партийных, что стояли у закрытой комнаты покойного.

– Партия всем занимается. – Мать перешла на диалект Минги. – Похороны завтра. Мисмис появится? Ты говорил с ее мужем?

– Он привезет ее. Но...

– Хочешь попрощаться с ним сейчас?

– Я... – Это было столь внезапно, что он испугался. – Нет... нет.

Он почувствовал: вот, сейчас мать оскорбится его безразличием. Но та взглянула на него с уважением и благодарностью – ни разу она не смотрела на него так, а нынче словно впервые рассмотрела в нем нечто мучительно близкое ей самой.

Быть может, о ужас, мать счастлива, что отец умер и освободил ее? Никогда он не задумывался, что матери тяжело и мучительно ухаживать за инвалидом, а сколько ссор между ними было, сколько раз отец пренебрегал ею, изменял, бросал семью, сваливал на нее обязанности, витая в сферах творчества и партии. От болезненного осознания, сколько перенесла за этот брак его сильная, несгибаемая мать, эта женщина, в которой он не мог найти достаточно любви, что больше любила Мисмис, но столь заботилась о нем – от осознания женской доли ему стало плохо. И сейчас она пытается сохра-

нить достоинство, и пусть ей хочется остаться с собственными чувствами, а не прятать их от партийных, она все же держится.

Лицо ее не изменилось, когда Петер Кроль подошел к ее руке и поцеловал ее холодную кожу. Как положено Петер выразил соболезнования и спросил, не нужны ли от него случайно услуги.

– Вы тот юноша, поэт, – заметила она, едва открывая рот. – Да, я вас знаю, я читала ваши стихи в газете.

– О, очень польщен. Но ни слова обо мне, сударыня.

– Вы близкий друг Альберта?

– Ах, это вам стоит у него спросить. Могу сказать, что считаю вашего сына своим хорошим другом.

– Да, у него... любопытные друзья.

Как бы ни хотелось Петеру рассказывать о своих планах на партийный бюджет, он был достаточно деликатен, чтобы высказать все возможные сожаления и извинения – и уехать. Альберт понимал, что Петер задерживается, чтобы дать ему время подумать о протекции, и тяготился этим. Поняв, что приятель ничего пока не скажет о деньгах и фильмах, Петер окончательно откланялся.

Вскоре после его отъезда явились Германн и Мисмис, что уже была в траурном, муж же ее был в традиционно партийном и вел себя странно – не взял хозяйку за руку, не поклонился ей, даже не приблизился. Не выразив сочувствия, он оставил Мисмис в гостиной и отправился к выходу. Альберт

нагнал его и поспешно спросил:

– Ты не останешься, неужели?

– Думаю, вы сможете позаботиться о Мисмис, не спускайте с нее глаз, я заберу ее после похорон.

– Ты ничего не сказал матери. Это... не очень вежливо с твоей стороны.

Германн поправил воротник кителя, глаза его смотрели в пол.

– Извини, Альберт... – голосом ниже привычного сказал он, – но не в моих интересах задерживаться в вашем доме.

– Чем же наш дом так плох?

– Хорошо, что ты не знаешь. Это спасет тебя. Увидимся... после похорон.

Жена Германна отказалась прощаться с отцом и ушла в свою спальню. Дверь она не закрыла, и Альберт через проем рассмотрел ее безразличную фигуру – она уселась на давно нетронутую постель и смотрела в серое окно.

– Можно войти, Мисмис?

Безучастно она пожала плечами.

– Спасибо, что приехала. Это... спасибо.

– Ты уговорил его отпустить меня.

Она сжалась, стоило ему присесть близ нее. Он заметил, что плечи ее стали тоньше прежнего, профиль – полупрозрачный, утомленный, как у лежавшей несколько месяцев в больнице пациентки. Нынешняя Мисмис вызывала у него нежность и жалость почти невыносимые.

– Марта, тебе... очень плохо с ним?

Она фыркнула, смотря и дальше в окно.

– Скажи мне... я хочу понять.

– Какое тебе дело? Что ты можешь понять?

– Мисмис...

– Вы, мужчины, ни за что не поймете нас, – заговорила она с неожиданным ожесточением. – Можешь не стараться – ты не поймешь ни меня, ни мать.

– Возможно, – нехотя согласился он. – Но я вижу, что тебе плохо и...

– Раньше тебя это не волновало.

– Теперь я знаю больше. О твоём муже так точно.

Мисмис снова пожала плечами.

– Скажи, ты знаешь, почему его назначили моим начальником?

– А, вот что тебя волнует. – Она кратко рассмеялась. – Мог не притворяться, что хочешь со мной поговорить. Что ты хочешь знать?

Решив не спорить с ней насчет своего мотива, Альберт повторил вопрос. Мисмис хмыкнула носом.

– Хорошо. Открою тебе страшную тайну, Бертель. Германн стал твоим начальником, потому что убил генерала Д. Он был ярым противником партии.

– Не может быть, – перебил Альберт. – Генерала Д. убила его жена, она хотела избавиться от него, я... у нее был любовник и...

Он моментально припомнил дело двухлетней давности, которое он завершил максимальным сроком для убийцы. Г-жа Д. дрожала от суровых вопросов, а отвечала испуганным, очень тихим голосом, который он почти не слышал со своего места в зале. Он был счастлив, услышав приговор – это был его первый серьезный процесс, в котором он безоговорочно выиграл.

– Она убила его, потому что рассчитывала на наследство, он написал завещание в ее пользу. А любовник...

– Ты знаешь, кто был ее любовником? – зло перебила сестра.

– Я... нет... его имя упоминалось, но он сбежал, его не получилось найти. Кажется, его звали Эрнст.

– Никакого Эрнста не существовало. – Марта взглянула на него со снисхождением. – Ничего, Бертель, я сама узнала об этом два месяца назад. Думаешь, тебя назначили на это дело, потому что ты был лучшим? За тебя попросили в партии – нет, настояли, чтобы ты вел это дело. Ты был самым неопытным в местной прокуратуре. Они... обдурили тебя. Ее любовником был Германн. Он спал с ней по приказу партии, притворяясь другим человеком, он устроился на работу к генералу личным шофером. А когда он стал любовником его жены, она открыла ему их личные покои. Он сам мне об этом рассказал. Германн подсыпал ему яд, а потом создал для тебя улики, чтобы ты обвинил жену генерала.

– Стой, стой! – перебил ее Альберт. – Хочешь сказать, я

посадил невинного человека?

– Можешь не верить, у меня нет доказательств. – Она от-  
вернулась к окну и закрыла глаза. – В прошлый раз ты не по-  
верил мне. Он совершил много убийств, но это – самое ци-  
ничное. Но кто я – в сравнении с ним? Может, я лгу, чтобы  
ты помог мне сбежать от него? А, Бертель?

– Я больше не знаю, во что мне верить.

Как почувствовав его настроение, Мисмис встала. Не ска-  
зав больше ни слова, она вышла к матери. Он хотел побе-  
жать за ней, кричать при партийных, требуя честных отве-  
тов, умоляя сказать, что все рассказанное – чистое вранье,  
обычное вранье, глупое вранье, а не он, искренне выполняя  
свои обязанности, обреч на тюрьму ни в чем не виновного  
человека. Это было уже слишком.

Зачем верить Мисмис? Унизительно быть исполнителем  
чужой воли, не зная даже, что ты обречен на это с самого на-  
чала. За этим нужно было мечтать и долго учиться, и строить  
большие планы, рассчитывая быть проводником справедли-  
вости – чтобы услышать от Мисмис, что, что, что все в пусто-  
ту, не имело значения, – нет, хуже, что знания и професси-  
онализм служат непонятно чьим интересам. В своей голове  
он слышал голос Германна: он рассказывал, что можно по-  
жертвовать несколькими во имя благополучия миллионов.  
Но что это за миллионы, если им нужно, чтобы он, Альберт,  
чем-то жертвовал во имя их блага?

От собственного эгоизма ему стало грустно. Он пытался,

но не мог найти в себе осознанности общества. Он, по сути, и не служил осознанно обществу ни как человек, ни как прокурор – он лишь любил то небольшое, что делал, а служение в духе нынешней партии требовало отречения от удовольствий, удобств и иллюзий. Чтобы служить, нужно думать о благе народа, а не о личных принципах, симпатиях и надеждах. Оттого, нужно полагать, Германн лучше прокурор, чем он, ведь он думает об обществе, а не о собственной совести и...

Боже, как болит голова! Как это невыносимо!

Сколько же нужно, чтобы уехать?

Он позвонил кузену и спросил, могут ли они встретиться. Через полчаса, разрезая туман, Альбрехт приехал на собственной новенькой машине. Выражение кузен имел сомневающееся.

– Наверняка ты хочешь о чем-то попросить, – заявил он без предисловий.

– Ты поразительно догадлив.

– Естественно, – в голосе Альбрехта дребезжала обида, – ты появляешься только тогда, когда от меня что-то нужно.

Спорить было бессмысленно. У него же Альберт просил о Жаннетт Воскресенской.

– Тебя направили в политическую полицию? – прямо спросил он.

Кузен Альбрехт пожал плечами, как бы показывая, что

ничего особенного в этом нет.

– Можешь оказать мне услугу? Нужны документы, чтобы уехать из страны.

– М-м-м... зачем?

– Личное дело. Нужно помочь одной женщине.

– Только не говори, что это Кете, это слишком.

– Нет... просто... тебе необязательно знать.

Кузен искренне оскорбился.

– Что? Я не должен знать, кому нужны документы? А если ты пытаешься меня втянуть... ну, не знаю... чтобы я вызволял врага партии!

В сомнении Альберт молчал. Альбрехт стучал по рулю.

– Значит, Берти... либо ты говоришь, что за проблема, либо пока, высаживайся!

– Хорошо, хорошо.

После путанного объяснения Альбрехт изменил прежнее выражение на новое, изумленное.

– Ты спятил, – заявил он. – Ты хочешь, чтобы я пошел против Германна? Он намного выше меня! Если он узнает, он же пришьет меня, честное слово!

– Он ничего не узнает, клянусь.

– Ты не можешь клясться! Ты... это нарушение закона, во-первых. Если кто-то узнает, меня же уволят! И во-вторых...

– Альбрехт замялся, губы его странно сошлись. – У нее ребенок. На ребенка я не могу... без согласия отца...

– Не нужно на ребенка, только на нее. Пожалуйста.

Он был уверен, что Альбрехт согласится. Как ни было то неприятно, но он умел хорошо лгать и правильно, очень драматично описал, как Мисмис плохо в семье, что ее ежедневно избивают, а может и насилуют. Картины эти, нарисованные с большим вдохновением, однако, не поразили кузена. Он сказал:

– Черт, Берти, назови хоть одну причину, чтобы мне, именно мне рисковать.

– Она тебе... не чужой человек.

На это Альбрехт разозлился и выпалил:

– Она получила то, на что сама нарывалась! Она выбрала его, вышла за него замуж – значит, пусть терпит! Почему я должен помогать, если она на меня наплевала?

– Ну, ты ее любишь.

– Это не так работает! Я не люблю тех, кто... – Альбрехт, кажется, запутался в словах.

Он попытался отогнать чувство вины. Объективно размышляя, Альбрехт ничем не лучше Германна, но отчего его жалко? Быть может, оттого, что Альбрехт, даже понимая, что его используют, все же выполнял требуемое? Он поборол желание спросить, как Альбрехт поживает – кузен был одинок и, кроме нынешней работы, увлечений и привязанностей не имел. Просить его рисковать работой – это было на грани с высшим цинизмом.

Альбрехт размышлял минут пять в полном молчании. Затем спросил:

– Через сколько нужны документы-то?

– К завтрашнему вечеру.

– В какую страну?.. А, черт, Берти, это плохо кончится. Он тебя прибьет. Я вас обоих ненавижу. Честное слово, больше я вас знать не хочу. Вы... психи.

Новые документы кузен отправил через посыльного: в большом белом конверте, за паспортом, лежала тонкая пачка денег. Альберт пересчитал присланное и приложил к этому свои деньги – получалось достаточно, чтобы кое-как устроиться на новом месте и прожить, экономя, около трех месяцев. Чем будет заниматься Мисмис в В. после, он понятия не имел. Умеет ли она что-то? Хорошо ли она печатает? Может, устроится секретарем. Официанткой, продавщицей?

Ужас нахлынул на него внезапно: осознав, что делает, он сел на постель и схватился за волосы. Альбрехт был прав: охваченный эмоциями, он творит безумие. Даже если Мисмис сможет сбежать, что дальше? Получается, он оставляет без матери ребенка. Из Мисмис плохая мать, но можно ли снять с нее обязанности? Германн – его начальник. Слушай что с Мисмис, виноватым окажется он, ее брат, а Германн не тот человек, что простит удар в спину. Сказать, что Мисмис сбежала без его участия? Если и так, он обещал следить за ней, он же просил отпустить Мисмис на похороны отца.

И как странно, что Германн не остался у них, столь пренебрежительно отнесся к Лине, не выразил соболезнований

из-за кончины старого партийного. Отчего в их доме столько... охраны? У комнаты покойного стоят двое, у спальни матери еще двое – но не явился никто из партийных знакомых, что за безразличие к мертвому пропагандисту, которого продолжают цитировать высшие чиновники?

К Мисмис сейчас нельзя, они встретятся на похоронах, нужно терпеть, нужно... От напряжения у него болела голова. Все было неправильно. Он словно бы спал.

Сквозь этот сон он встал утром и собрался. Наконец-то явились какие-то люди, что были небезразличны покойному. Сухо и свысока они говорили сочувственные речи хозяйке, что держалась тоже странно – с чуть заметным презрением. У комнаты с мертвецом толпились, желая посмотреть на него в открытом гробу. Кто-то полез целоваться к Марте, так выражая сочувствие. Она с отвращением отстранилась.

Ключей от входной двери у нее не было. Воспользовавшись толчеей, Мисмис взяла с дивана сумку матери и с ней направилась к выходу. В маленьком кармашке Лина держала запасные ключи. Боясь быть пойманной с поличным, она не стала обуваться, а взяла свои ботинки и поскорее выскочила из квартиры. Альберт догнал ее на лестнице – она так и бежала по ступенькам в домашних чулках, держа ботинки в левой руке.

– Нехорошо уйти, не попрощавшись, Мисмис.

В сильном, почти нечеловеческом страхе она остановилась.

– Нет... – только и сказала она.

Она дрожала. Ужас ее был сильнее ужаса, испытанного им ранее. Замерев на последней ступеньке, она глядела на него, как на насильника, убийцу, как на своего мужа, которого боялась и презирала.

– Обуйся, – сухо сказал он, – ты поранишься.

Еле справляясь с руками, Марта послушалась. Он хотел подойти, обнять ее, но мрачное, тяжелое что-то в нем, застрявшее слева, сковывало его. Он сглотнул от сухости в горле и бросил вниз, ей, запечатанный конверт.

– Это твое: документы, деньги и билет. Через два часа.

– Что?..

– Подними.

Мисмис наклонилась за конвертом. Он отвернулся, чтобы не видеть ее слез и жалобного дрожания губ.

– Бертель... спасибо.

– Это Альбрехт, а не я, – перебил он.

Нет, Мисмис, не это, пожалуйста!

– Бертель, спасибо... я люблю тебя.

– Ага.

Больше не взглянув на нее, он пошел наверх. Он не знал, стоит ли Мисмис, как раньше, или уже выскочила из дома. Сумку матери с ключами, косметикой, нетронутым кошельком – он нашел ее близ входной двери. Мисмис ничего не взяла.

Ловите ее, ловите! Позови его Марта с собой, он бы по-

ехал, оставил бы все, ни с кем не простился, уехал бы без денег, без вещей, без шансов на работу и жилье. Она сказала: спасибо, я люблю тебя. Но не – поехали со мной. Попроси она поехать с ней, он бы отказался, но хотелось, чтобы она попросила. Что он скажет ее мужу? И что скажет матери?

Мать ничего не спросила. Она без объяснений поняла: Мисмис сбежала.

– Обними меня, – без предисловий сказала она.

В опустошении, еле узнавая ее, Альберт обхватил ее плечи. Мать была хрупка, устала и унижена. С минуту они стояли у лифта, обнявшись, пока мимо бежали и спрашивали партийные. После мать отстранилась и жалко изобразила улыбку. В невыносимом несчастье ее губ он прочитал собственное чувство – как и она, он был несчастен и не понимал, что делать с этим.

– Что случилось? – спросила она.

Его лицо наверняка изменилось. Мария оторвалась от зеркала и приблизилась, и сузила глаза. Кожа близ носа была ужасно красная – он застал Марию за избавлением от прыща. Отчего-то эта ничтожная деталь, погрешность в ее внешности вывела его из оцепенения – она была живая, и он тоже был жив, и все было реально. Осознавать, что он не во сне, тоже было мучительно.

– Все... нормально, – промямлил он.

И отвернулся. Мария не согласилась:

– Плохо? Дай я возьму твой плащ. Жарко не было?

Не поворачиваясь, он отдал ей плащ. Мария не повесила его, а держала в руках – что она чувствовала и понимала о нем в эту минуту?

– Мне очень жаль. Альберт... проходи, не стой. Хочешь, я поставлю чай?

– Нет. Не беспокойся.

Он слышал: она сглотнула.

– Хочешь побыть один? Прости, если я навязываюсь. Но... если захочешь, ты можешь поговорить со мной.

– Я... все... я не знаю, Мари. Мы...

Он боялся взглянуть и рассмотреть в ее несовершенной красоте страх.

Так и не повесив его плащ, держа его на локте, Мария ушла в гостиную. К зеркалу она не вернулась. Оглянувшись, Альберт заметил за открытым проемом ее сосредоточенный профиль. Мария была близ него, но вместе с тем держалась в стороне. В облегчении он смог заговорить, он пытался справиться с голосом, чтобы не испугать Марию, но звучало неестественно и оттого опасно.

– Нам... Мари, нам нужно уехать. Нужно уехать в Мингу. Я не знаю... собрать все и ехать... через час, ночью, не знаю... Черт... все очень плохо!

– Зачем нам ехать в Мингу? – спокойно спросила Мария. Профиль ее был безупречно бесстрастен. Он завидовал ее умению брать себя в руки.

– Нам... Мари, поверь мне, пожалуйста. Нам угрожает опасность.

– Какая?

– Мари, черт, поверь мне, нам нельзя тут оставаться.

– Зачем нам ехать в Мингу? Разве там не опасно?

– Нет...

– Хочешь, чтобы мы приехали в твою квартиру в Минге? Разве это безопасно?

Благоразумие Марии странным образом его деморализовало. Нежелание ее соглашаться с его бессмысленным планом расшатало его терпение.

– Ты можешь не спорить со мной? Если я говорю, что так нужно... Твою мать, тебе сложно понять, что я не шучу?

Мария словно не слышала.

– Зачем нам уезжать в Мингу?

– Твою мать, я же сказал!

Она пожала плечами. Потом перебила новую резкость:

– Это из-за Германна? Потому что ты отпустил Мисмис?

– Нет... нет.

– Так что же?

– Я не могу тебе сказать. Я... я не могу.

Иронично она хмыкнула и сказала:

– Если я в опасности, как и ты, меня это тоже касается.

– Мари... все очень плохо. Я... пожалуйста, нам нужно собираться.

Она взглянула на него через плечо – и немое понимание в

этой глубине обезоруживало. Обессиленный, он облокотился на закрытое пианино.

На похоронах мать попросила партийного скрипача сыграть вальс из ее юности. Пачка лилий дрожала сначала в руках, а затем – на крышке, а любила ли она его или смирилась, или верила, что его авторитет спасет ее в сложные времена? Партийный в полном комплекте медалей наклонился между ним и матерью и прошептал: «Ваши приятели арестованы, вы должны дать показания, завтра вы обязаны дать показания». Из торжественности Лины сочилось презрение. Мертвого забыли раньше, чем забили в гроб и закопали.

– Завтра меня арестуют, – сказала мать дома.

Впервые за долгое время они остались наедине. Лина не включила свет. Не снимая грязных после кладбища туфель, она прошла в кухню и достала вино.

– Да что происходит? Я ничего не понимаю.

– Выпей со мной, Берти.

– Черт, нет, пока ты не объяснишь, что тут происходит.

Мать уверенно влила в себя первый бокал терпкого красного. Жестко и сухо сказала:

– Я предала твоего отца. Я пошла против его воли. Я пошла против партии.

– Что? – воскликнул он. Мать вздрогнула от его громкого голоса. – Что ты сделала? Ты же... сама говорила, чтобы я держался партии! Что за бред тут происходит?

– Не кричи. Это не поможет. Прости меня, Берти. Я... не могла быть откровенной, верила, что ты понимаешь, но...

– Что я должен понять? Что? Почему я узнаю такие вещи вот... вот так?

Мать выпила второй бокал.

– Не пей, это... твой врач сказал, что тебе опасно пить.

– Завтра меня арестуют, Берти. Моих друзей арестовали, они знают, они знают, что я была второй в совете. Ты знаешь, ты прекрасно знаешь, я пыталась смириться с партией и новой империей. Мне жаль, Берти. Когда твой отец заболел, я впервые за многие годы почувствовала себя... вольной делать то, что мне хочется. Я стольким жертвовала в нашем браке! Я стольким жертвовала для вас!.. Ты винишь меня за это?

– Нет, – ответила Альберт, – но я не понимаю. Хотя бы объясни мне.

– Я и... мои старые знакомые из Минги, мы сплотились, чтобы бороться с партией и навязанной нам империей. Настоящие патриоты Минги хотят независимости для Минги, а вместо этого нас опять включают в эту империю... Твой отец предал свою родину! Он предал Мингу! Он предал наши идеалы! Он... Видит Бог, я не хотела идти против твоего отца, но он сошел с ума, партия свела его с ума!

– И что вы собирались сделать? – перебил ее Альберт. – Захватить власть в Минге? Устроить революцию? Это невозможно...

– Не теперь, – закончила за ним Лина. – Мы искали новых сторонников, мы... пытались создать оппозицию партии в Минге... Не все ли равно? Это кончено. Твой отец мертв. Он столько лет работал на партию, но он не защитит нас с тобой. Все кончено.

Говори она это трагически, невротично, срывающимся голосом – и смотрелось бы на грани с комичностью. Но мать была ужасно спокойна. Так же выпила третий бокал и бросила его в раковину.

– Скажи, что я плохая мать, – гордо сказала она, – я же погубила все, что сделал твой отец. Меня посадят в тюрьму. Я уничтожила семью, я уничтожила твою карьеру в партии. Я погубила своих детей, всех, вас всех, и Мисмис, и Мурра. Да?

– Причем тут партия? Я хочу понять тебя. Впервые в жизни.

– Я ничего не дала тебе, – Лина отвернулась, – я не дала тебе столько любви, сколько должна была. Я любила Мисмис и... Мурра. Ты не услышал меня. Но ты... ты – мой сын. Мой больше, чем твоего отца. Ты никогда не принимал партию сердцем.

– И что с того?

– В тебе течет кровь народа, который много лет мечтал о свободе. «Трибун» уничтожил нашу надежду на свободу. Vlaeda derr, он сделал нас слугами империи, ему нужно много земли и много слуг. Берти, нашему народу не нужна чу-

жая земля и слуги, мы не хотим ничего, кроме независимости! Которую у нас отняли навсегда... Мы, южане, против империи. Мы хотим жить на своей земле и чтобы нас никто не трогал. А он заставит нас умирать за идеалы империи, которая нам не нужна! Ты мой сын, ты не можешь сражаться за империю. Ты – сын свободного народа, мой сын, возвращайся в Мингу и забудь партию, как страшный сон.

– Но все, что мне дорого, здесь.

– Это ничего, ты переживешь это... В Минге ты будешь счастлив. Южанин не может быть счастлив на чужой земле. И я не сохранила Мисмис для нашего мужчины, я была глупа. Все случилось из-за того, что я отпустила ее к Германну, а лучше бы отправила ее обратно в Мингу. Женись в Минге на нашей девушке, прошу тебя.

– Это бред, – ответил Альберт, – между Мингой и столицей, Севером и Югом нет почти никакой разницы. Я тоже думал раньше, что мы разные и я не смогу жить на Севере.

Спокойствие изменило ей: веки ее дрожали, у губ возникла глубокая морщина неприязни.

– Очень жаль, – сухо ответила она, – скоро в тебе умрет все, чем мы дорожили. Это позор...

– Может, мы были не правы, связывая себя с землей и Мингой? – продолжал Альберт. – Я очень люблю Мингу и однажды вернусь в нее, но во мне нет...

– Национального самосознания, – подсказала Лина.

– После того, как я переехал в столицу, мой мир стал шире

и разнообразнее. У меня появились новые знакомые и даже друзья. Мы очень похожи. Мы все похожи.

– Это имперские слова, – перебила Лина, – мы другие, и мы должны быть свободны...

– Это слова благоразумия, – возразил Альберт. – Я был дураком. Я думал, что Альбрехт хуже меня, потому что его мать была с Севера и другой веры. Я не допускал, что могу полюбить иностранку. Я ошибался. Мне наплевать, будет ли Минга «свободной», потому что люди на Севере, Востоке и Западе – наши друзья, а не порабощители. Нет ничего ужасного в том, чтобы жить всем вместе в одной стране. Ваша борьба не имеет смысла. И партия тут ни при чем.

– Теперь мы говорим на разных языках, Берти.

Как он не понимал и не был в силах осознать ее причины, так и мать не понимала, зачем он защищает «империю», «партию» и мироустройство, в которой ей, человеку из маленькой Минги на обломках прошлой страны, не осталось места. Матери грозила опасность. Он любил ее и более всего желал обнять, рассказать, как он защитит ее, что они сбегут прочь от политических нормативов, партий, независимостей и борьбы за новые границы. Но вместо этого они стояли по разным углам кухни, она – немного пьяная, а он полностью трезвый. Он вызывал неприязнь своей «партийностью» и «имперскостью», он спорил с ее южным расизмом и Мингой, которую любил, но не понимал, как его мать. Почему глупейшие национальные, культурные и партийные привыч-

ки пересиливают семью и любовь?

Он мог бы остаться с матерью ночью, но она попросила его уехать – он был сыном, но чужим ей. Он жалел, что не может остаться, и вместе с тем испытывал облегчение. Лишь с Марией пришло понимание: и мать, и он в опасности, если мать виновата и партия заключит ее в тюрьму, то что сделают с ним? Станут ли его допрашивать? Германн уж постарается утопить его – после бегства Мисмис нечего рассчитывать на хорошее отношение.

«Я была обязана. Потому что мать должна любить своего ребенка. Ты же был мне в тягость с самого начала, но я знала, что ты – тот самый крест, который мне нужно вынести. Я должна была тебя любить, я обязана была заботиться о тебе, думать о тебе. И, Бог знает, я старалась. Но ты – не Мисмис. Ты не смог бы ею стать, как бы того ни захотел. Она – мое счастье, а ты – моя обязанность. Разве я отказалась от своих обязанностей? Я все выполняла, я старалась, я заставляла себя заботиться о тебе, о твоём будущем. Я знаю, что должна была. Я все силы приложила, чтобы быть тебе хотя бы сносной матерью. Я честно исполняла свой долг. Можешь ты сказать мне: разве я мало тебе дала, как твоя мать?». Приятно было признаться самому себе, что она была плохой матерью и создала ему много новых проблем. «Ты поймешь, если однажды на тебя ляжет нежеланная обязанность. Любить по обязанности нельзя. Мисмис вот не смогла. Она каприз-

ная и слабая. На каждого свой крест отыщется. Я старалась, и мне нечего стыдиться перед Богом». Долг, обязанности, верность – сколько она говорила об этом: «Нет ничего аморальнее предательства. Верность – главное качество южанина. Наша честь – в верности нашим идеалам, Минге и семье». Но не то же самое говорит партия? Так ли важно, хранить беспрекословно верность Минге или новой империи? Мать хранила верность отцу, что пренебрегал ею, выбирал не ее, а другую женщину и политику. Обязанность – быть женой, быть матерью ребенку, которого не любишь, обязанность – ехать за семьей, жертвовать своими чувствами, признавать партию во имя семьи, а потом – выступить против партии во имя независимости малой родины. Что он знает о матери, кроме ее жертвенности?

– Я боюсь запутаться, как моя мать, – признался он Марии.

Мария запустила руки в его волосы. Делала ли так его мать когда-нибудь?

– Наверное, я уже запутался, Мари. Я ничего не понимаю. Почему так?

– Сейчас такое время, – ответила она. – За политикой мы забываем себя.

– Она считает, что я... Ах, все равно. Я хочу, чтобы мы жили в мире, все вместе, чтобы мы не ругались. Мне наплевать на ваши идеологии, империи и прочий бред, я хочу, чтобы мы были... просто нормальными людьми.

– Жаль, что уходят старшие, – тихо сказала Мария, – с ними уходит хорошая эпоха.

Он заснул, прислонившись щекой к ее плечу. Проснулся уже в утренних сумерках, со странными снами, и, сонный, долго лежал с закрытыми глазами. Вспомнил вдруг, что еще не молился за мать, но не встал – с места его виден был крест на стене. Было в том нечто кощунственное, но он мысленно, на латыни, прочитал три молитвы. Мария спала в другой комнате; дом же был тих, все было тихо. И он заснул тоже, не закончив молиться, оставив настольную лампу – косое пятно на потолке.

Он встал, услышав звонок. Мария в красивом синем костюме протянула ему телефонную трубку:

– Это тебя, из партийного штаба.

– Ты собираешься?

– Провожать тетю и Катю, они уезжают. Они приносят свои соболезнования.

– Кете уезжает?

– Ответь, – перебила его Мария, – это может быть важно.

В трубке безразлично сказали, что партийные нашли его мать повешенной в кухне.

**1940**

– Сумка готова? Вы приготовили сумку?

Сил ответить не было; Мария кивнула.

– Мы заканчиваем, постойте снаружи.

Опустив саквояж близ письменного стола, она вышла из кабинета. Как не осталось сил, чтобы говорить, так не было их и на то, чтобы взглянуть на мужа. Быть может, она боялась заметить боль, синяк, бессилие в глазах – ей казалось, она не вынесет этого.

Как. Как. Как могло это случиться. Почему. Почему это происходит с ней. С ними. Чем. Они. Заслужили. Это.

Из темноты ушли полицейские крысы – уже спустились вниз и запрыгнули в машины. На первом этаже переговаривались Альбрехт и Софи, в спальне на северной стороне медленно и аккуратно собирал вещи Петер Кроль. Аппель уехал. Альберт и Альбрехт (к черту Альбрехта, поскорее бы проваливал!) – они оставят ее в пустом, полном кошмаров доме. Служанка? Нет, нужно ее уволить. Что она говорила о Кате и Альберте? Поистине этот дом проклял их, отомстил за прежних, ограбленных, хозяев. Нужно... нужно уехать вместе с ними, она тут не останется!

Не заметив того, она возвратилась к двери кабинета. В комнате отчетливо говорили. Не понимая, хочет она слушать или нет воли двигаться, и лишь бы привалиться к стене...

– ...Очень жаль. Вы стали жертвой обмана. Это печально. Вас обманули, чтобы использовать вас против власти, в действительности же...

– Я говорю правду.

– Да?.. Что же есть правда?

– Вы знаете ее.

– Вы уверены?.. Вы ничего не знаете, кроме чужих безумных фантазий, фантазий наших врагов – они, они вбили вам в голову, что мы плохие.

– Хм... вы меня... били.

– Вас били?.. Пожалуй. Но вы стали говорить намного охотнее, верно? Не поверю, что вы не сталкивались с побоями на службе, во время обучения...

– Мы не бьем мальчишек в армии.

– Неужели? Я слышал иное. Почему я должен вам поверить? Почему я должен поверить, что вы, Гарденберг, ни разу не воспользовались положением офицера и не избili юнкера, который отпускал о вас неприятные комментарии?

– Я не бью тех, кто может быть прав.

Человек прошел совсем близко к Марии, но она не отпрянула от стены. Она слушала.

– Вопрос, Гарденберг, даже не в том, что делали лично вы или лично я. Поверю, что вы ни разу не избивали юнкера. Но можете ли вы ручаться за всех офицеров?.. Нет. Вы не знаете всех офицеров. Если какого-то солдата систематически избивают начальники, вы можете об этом и не узнать. Но говорит ли это ужасное поведение обо всей армии? Должно ли быть ей приговором? У меня есть сведения, что ваш приятель, Альбрехт Мюнце, занимается систематическим нарушением... Кем служит ваш приятель?

– Он... заместитель начальника лагеря.

– Мне известно, что Альбрехт Мюнце регулярно прибегает к насилию для удовлетворения собственных... низких желаний. Мы собрали против него достаточно доказательств. Его уволят, можете не сомневаться. Он отправится на фронт, на самый тяжелый участок.

– Да, я знаю, какой он.

– Но вы поверили нарушителю, психу и садисту. Почему?

– Потому... что это правда.

Человек помолчал, должно быть, рассчитывая дальнейший разговор.

– Как же вы поверили ему? На слово?

– Нет...

– Расскажите. Может, я чего-то не знаю.

– Мы... ехали вместе. Я, Альбрехт и Катерина. Альбрехт попросил завезти его в лагерь, мы ехали мимо него. Мы остановились за воротами лагеря. Катерина спросила: «Что это за ужасный запах?». Альбрехт сказал: «Это сжигают трупы». Он сказал, что мы можем пройти с ним немного. Он издали показал нам вагоны, в которых привозят людей, разных, из еврейских гетто, оппозиционеров, гомосексуалистов. Он сказал: «Я второй после короля в этом храме уничтожения».

– И что же? Все?

– В лагере убивают сотни, тысячи, их привозят в лагерь и сжигают в печах. Вы знаете это.

– Это ложь. Ложь. В лагерях не убивают сотни и тысячи. В лагерях умирают люди – например, из-за вспышек тифа.

Трупы сжигают, чтобы остановить заражение. У вас есть доказательства, что в лагере намеренно убивают заключенных?

– Я... знаю это.

– От приятеля? Который убивает заключенных, чтобы повеселиться? А виноват режим? Режим виноват в жестокости одного исполнителя?

– Нет, это... система. Это...

– Система?

– Зачем мы говорим об этом? В этом нет смысла. Какое вам дело, во что я верю?

– Вы верите?.. Вы верите, что это наша, как вы сказали, система... убивает тысячи. Вы верите в высший приказ. Вы поверили человеку, опозорившему партию. Садисту и маньяку. Вы верите, что он убивал во имя партии, а не из своего удовольствия? Нет, не партия приказала ему убивать, он делал это по собственному желанию, и он понесет наказание. Вас обманули... я верю, вас можно вернуть на путь раскаяния.

– Я... знаю, чего вы хотите.

– Вы, Гарденберг, хотите правды, вы готовы умереть за нее, не так ли? Я расскажу вам правду. Мне незачем скрывать правду от вас, будущего покойника. Да, мы основали лагерь, в которые помещаем лиц, которые вредят развитию нашей страны. Лагерь – это не курорт. Это большая тюрьма. В этой тюрьме живут скученно враги общества. Иногда в лагерь привозят евреев, но пока это не распространено. Для евреев есть гетто, в которых они могут жить, как им хочется.

В лагерь привозят нарушителей. Лагерь – это место... изоляции. В нем враги общества работают и пытаются перевоспитаться. Из лагеря можно выйти, если закончился срок наказания. К сожалению, в лагерях бывают вспышки болезней, но наши врачи стараются спасти как можно больше заключенных. Уничтожать заключенных, даже отъявленных врагов, не в наших интересах. Работая, они приносят пользу нашей экономике. От убитых заключенных нет никакого толку. Наоборот, партия заинтересована в том, чтобы заключенные работали хорошо, и для них создаются удовлетворительные условия... разумеется, не как у вас, не как в вашем доме. Но они – преступники. Они делали бомбы, чтобы взорвать партийное отделение, призывали к убийству членов партии и членов их семей... Они опасны для общества.

– В оккупации есть гетто. Что в них происходит?

– Да, гетто для евреев. Гетто – это спасение для евреев. Мы пытаемся их защитить от недовольного еврейскими населением. Евреи, в большинстве своем, опасны. Они враждебны нам. Это люди низшего уровня развития. Убивать их за это?.. Зачем? Мы не убиваем евреев.

– А погромы? Нам это приснилось?

– Погромы были. Погромы... были ответом на неблагодарность, жестокость и асоциальность евреев. Например, тот еврей, который убил нашего чиновника... Погромы учинило возмущенное общество. После них появилась мысль о... гетто. Гетто решило проблему погромов и насилия. Евреи отде-

лены от разозленного общества. Они живут в гетто, они сами по себе, они не вредят нам, и мы не громим их магазины. Не отправляй мы евреев в гетто, общество, боюсь, устроило бы самосуд над ними. Вам вариант с самосудом приятнее?

– Я... не верю вам.

– Из-за Альбрехта Мюнце?.. Вы знаете, что в наши лагерь приезжают иностранные журналисты? Неужели они бы не рассказали мировой общественности об «убийствах тысяч»? Два месяца назад в нашем лагере была международная благотворительная организация. Их отчет опубликовали в главных газетах мира. Он у меня. Вы можете с ним ознакомиться, вы знаете французский. Прочитайте вслух. Вот тут...

– Я...

– Читайте вслух!

– М-м-м... «В ходе проверки не обнаружено... нарушений... в содержании заключенных. Общие условия жизни... удовлетворительные. В Правилах лагеря, которые тщательно соблюдаются, прописаны права заключенного... вне зависимости от его национальности. Отмечаем хорошие... отношения начальства и... заключенных. Заключенным дозволено писать письма, получать посылки... в лагере установлена валюта, которой оплачивается работа заключенных... которая позволяет покупать все необходимое, в том числе сигареты. Заключенные могут купить пропуска... в комнаты отдыха и участвовать... в развлекательных мероприятиях».

– Вы раскаиваетесь, что поверили нашим врагам?

– Я...

Он не сумел договорить. Из-за двери Мария услышала его тяжелый вздох. Она закрыла глаза и словно бы услышала, как он сглатывает слюну, пытаясь собраться с мыслями.

– Зачем... мы воюем?

– Что вы сказали?

– Зачем мы воюем?

– Понимаю. Я не хочу воевать, как и вы. Никто не хочет воевать. Считаете, Гарденберг, наши матери горят желанием отдать своих сыновей на бойню? Ваша жена хотела отправить вас на войну? Кто погиб у вас на прошлой войне?

– О-отец.

– У меня погиб старший брат. Война – страшная сила.

– Зачем мы воюем?

– Нам не оставили иного пути. На нас хотели напасть. У нас было очень много врагов.

– Вся Европа хотела напасть на нас?

– Именно так. Она собирала силы, чтобы покорить нас. Они не хотели, чтобы мы восстановились после прошлой войны. Наша сильная страна – угроза им. Мы не собираемся жить по их правилам. Мы хотели возвратит наших братьев обратно, в лоно нашей страны. Наши враги поняли, что это усилит нас, и приблизили свои армии к нашим границам. Они готовились захватить нас врасплох. Мы пошли воевать, чтобы воевать не на нашей земле. Война... это плохо. Но если это война за свободу и наши ценности, то у этой войны

есть оправдание. Вы сожалеете, Гарденберг?

– Я не знаю.

– Война потрясла вас. Понимаю. Подумайте, что вы совершили. Вы пошли против власти, которая отстаивает свободу нашей страны. Вы раскаиваетесь?

– Я... я...

– Кто это сделал? Кто втянул вас в это? Не Альбрехт Мюнцце. Кто еще вас обманул?

– Я... не предаю тех, кто мне доверился.

Человек раздраженно хмыкнул.

– Да? Вы уверены? Вы не хотите искупить свое преступление?

– Мне нечего сказать.

– Да? Однажды вы помогли нам арестовать вашу родственницу, вашу тетю, если не ошибаюсь. Тогда вы проявили благоразумие. Вы изменились с тех пор?

– Мне нечего сказать.

– Да?.. В столице с вами будет говорить другой человек. Он не будет спрашивать, как я. Он будет избивать тебя, идиота, пока ты не пожалеешь, что родился на свет. Ты идиот, если думаешь, что вынесешь это. Даю еще минуту, чтобы подумать о последствиях.

– Мне нечего сказать.

Она отскочила в сторону, попятилась от кабинета. Человек громко распахнул дверь и крикнул:

– Заходите, прощайтесь! Три минуты!

Они остались вместе в полутемном кабинете. Ее трясло. У стола она остановилась и оперлась о спинку кресла, интуитивно сию же минуту скрывая свою слабость. Счет больно бил в ее висках. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Двадцать.

А она любила его, способна была пробежать через столицу босиком, лишь бы повиснуть у него на шее. По другую сторону стола стоял чужой ей, отстраненный мужчина, который не нуждался в ней, и она болезненно чувствовала то же – что и он не нужен ей. Дитер – она попыталась произнести его имя, но оно застряло у нее в мозгу, не дотянувшись к языку. Любимый, самый лучший, невыносимо близкий, самый нежный – минутой ранее, столетие назад он обнимал ее и шептал, что все будет хорошо. Она зарывалась в его волосы, тянулась к глазам, к губам, к шее – в прошлой жизни, в которой она узнавала его и он узнавал ее.

– У тебя кровь, – как сквозь глухоту сказала она, – слева... в уголке...

Пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три. Устало он вытер с нижней губы кровь и стал облизывать больное место. Шестьдесят семь. Шестьдесят восемь!

– Это ты написал на свою тетю?

Голос шевелился словно против ее воли.

– Получается... – тихо, не смотря на нее, ответил он.

– И ты позволил Кате пойти в лагерь? И все узнать?

– Да.

Сто десять, сто пятнадцать, сто двадцать. Она сильнее хваталась за спинку кресла. Он стоял, склонив голову, в выражении его была столь сильная печаль, что она лишала Марию способности действовать. Она неотрывно смотрела на его лицо, а оно застыло, как маска, и сто тридцать семь, сто тридцать восемь, сто тридцать...

– Я сделал это ради нас, – тихо сказал он наконец. – Но я не написал бы на нее, если бы видел другой выход. Ты веришь мне?

Она сглотнула.

– Я просто хотел вернуться домой и к тебе. Вот и все.

Что говорить, что говорить? Хорошо, она почти не слышала себя, но голос его звучит так близко, знакомо, но этот умоляющий тон она слышит впервые. Сто пятьдесят семь, сто пятьдесят восемь, сто...

– Прости, если что не так. Я... пойду, Мари.

Нет, нет, сейчас сто шестьдесят пять, сто шестьдесят шесть, нет, нет! Ее сковал ужас. Она не повернула головы, но каждое его движение причиняло ей невозможную боль – в голове, в руках, в груди, в ногах, в животе. Он взял саквояж, он собирается выйти!

В комнату вошли. Ей пожелали спокойной ночи. Закрыли близ нее дверь. Она давила агонию воображением – зато в чужих глазах она эталонная жена политического заключенного, такая мрачная, бесстрастная, прямая женщина, кото-

рая не унизит себя слезливыми прощениями, а будет держаться гордо, будто судьба мужа волнует ее меньше, чем его политическая стойкость. Двести десять, двести семнадцать... нет, было другое число, но какое? Не унижаться! Стоять на месте! Почему она упустила чертовы три минуты?..

Он больше ее не обнимет. Она не услышит его голос. Никогда. Жестокие и вежливые люди уводят его в неизвестность – и тот сказал, что убьют его, они убьют его, навсегда, убьют навсегда. Она проглотила жалобный стон. Она смогла сделать шаг, отпустить кресло, и оно упало с грохотом на пол, а она, она шла, открыла дверь, шла, бежала, спускалась, путалась на ступенях, стукнулась о косяк, бежала, шла, распахнула дверь:

– Стойте, умоляю, подождите!

Кричала не она. Кричало ее тело, его несло как в бреду, она не успела осознать, как прорвалась через чужие плечи и мгновенно нашла свои, к которым прижалась со сдавленным воплем. Пожалуйста, умоляю, не умирай! Не умирай! Хватит, хватит, пусть сдохнут все в этом мире, пусть сгорят миллионы, пожалуйста, не умирай, не умирай! Она стонала и вопила. Он осторожно приложил ладонь к ее рту. Она заплакала от облегчения. В мире не осталось никого, кроме них, умерли миллионы, сгорели города – они были одни. Бог сжалился над ними. Она прижалась к его губам со счастливым вздохом, сильно обхватила его шею. Четыреста что-то,

четыреста с чем-то...

Она плакала, прижав руки к глазам. Ее оттеснили. Хлопали дверцы машин, включилось зажигание, захрустело у ног, обхватил ветер, принесся холодные капли...

Она открыла глаза. На губах ничего не осталось, руки сжались, но в них ничего не было. Мария стояла у дороги, безутешно ловя ночной ветер.

**1939**

«31 августа.

Пишу в 11 часов, не спится, а нужно, завтра снимать на Н. Фотоаппарат я починила – но почему это так дорого? Стоило стать пишущим корреспондентом, как Митя или тетя Жаннет.

Утром у нашего дома бегал брошенный котенок. Ганна Каминская отловила его и носила по соседям, спрашивая, чей он и не хочет ли кто-то его взять к себе. Я бы взяла, но сейчас у меня нет денег на животное, тем более я не знаю, как отнесется Митя, он же возвращается на днях – а если у него аллергия?

Моя Сажка умерла в 1932 г. Не умерла, это неправильно – нам пришлось ее убить, потому что она сильно мучилась из-за опухоли. Я ужасно плакала. Я скучаю по Сажке. Почти так же сильно, как скучаю по Альберту. Она была очень красивой, хотя и дворняжка. Альберт рассказывал, что Сажку на-

шла его сестра, а он, не верится, вез Сажу из самой Минги. Как хочется домой! На главной площади есть кафе, которое называлось "Луна и день". Однажды Альберт принес мне из него удивительные вафли, политые клубничным джемом. Мария посмотрела и рассмеялась, сказав, что приготовит лучше (как же, кулинарам лучше знать!). Я спросила, могу ли пойти с Альбертом в это кафе. Неужели мне было 16 лет? Был солнечный день, а мы шли по теневой стороне. На углу Альберт зашел в магазин и вернулся с букетиком фиалок. Наивный Альберт, он не понимал, что его скромный жест, жест дружеской симпатии, я пойму иначе. Часто Альберт делает романтические поступки, не осознавая, что они именно романтические. В "Луна и день" – есть ли оно сейчас? – была огромная, подсвеченная голубыми лампами луна, а вокруг нее стояли столики с серебристыми блестящими скатертями. Я помню даже, что мы ели – их классические вафли и итальянский кофе с корицей. Альберт был в синем, а я в бежевом. Он перешел на родной диалект. Мы над чем-то смеялись, и пару раз он случайно коснулся моего запястья. Мне показалось, что реальность удаляется. Мысли плыли. Я чувствовала себя невыносимо счастливой – была ли я более счастлива, чем в тот день? Фиалки я поставила в своей комнате, а как Мария захотела войти, спрятала их под кроватью. От мысли, что она увидит их и спросит об Альберте, мне становилось невыносимо стыдно. Потом я положила лепестки сушиться в учебник истории, и обидно, что я

забыла его, когда уезжала из страны.

А когда мучилась Сажа, я плакала и просила помочь ей хоть как-то. Альберт, только взглянув на нее, сказал: "Прости, Кете, но она не поправится, все бесполезно". Я закричала: "Так сделайте, чтобы она не страдала!". Она разучилась спать, только пищала на своей лежанке с полуоткрытыми глазами. "Ты хочешь, чтобы я ее убил?" – нерешительно уточнил он. Я отвернулась. Тетя Жаннет вбежала и крикнула, чтобы Альберт перестал издеваться надо мной. "Я не могу, я не убиваю животных, – твердо ответил он, – могу попросить кузена, но сам... увольте". Он позвонил Альбрехту и на его возмущение ответил, что срочно нужно убить животное. Потом вывел меня из кухни в мою комнату со словами: "Скоро Альбрехт справится, потерпи немного, хорошо?". Я плакала, и Альберт прижимал меня к себе и шептал, что все умирают и я должна отпустить Сажу в сказочный кошачий рай. Альберт. Приятели и кузен называют его Берти. Почему я не называла его Берти? Берти. Неприятно, но я отчасти радовалась – я могла прижаться к Альберту, очень сильно, трогать его плечи, его шею. Я порезала себе руки, чтобы избавиться от боли, а Альберт, заметив свежие шрамы, наклонился и поцеловал их.

Несколько ночей потом я плохо спала и воображала, как бы еще раз прижаться к нему, чтобы это не было пошло и настойчиво, и он не испугался моей требовательности. Я составила огромный план – как выманить его на прогулку в

парк и в уединенном месте разыграть полуобморочку. Неловко и приятно думать, что у меня получилось, как я задумывала. Я сказала, что хочу уйти подальше от людей, которые кормят несчастных уток хлебом. "У меня немного болит голова, а тут нечем дышать!". Мы сошли с тропы и удалились в рощу. Мы говорили, кажется, о каком-то романе Фонтане и итальянском языке. Поняв, что посторонних нет, я схватилась за случайное дерево и прошептала, что голова кружится и я вот-вот потеряю сознание. Наивный Берти. Я сидела на влажной траве, изображая, что сейчас лишусь сознания, а Альберт обнимал меня и нежно повторял мое имя.

Кете, Кете, Кете – почему я не могу это забыть? Зачем я вспоминаю? Это страшный сон. Правильно Митя говорил – я становлюсь зависимой от него, он гипнотизирует меня, я теряю рассудок, хочется наплевать на все, только бы впиться в его губы и кусать его шею. Нет, нет, остановись! Почему я не уехала с ним? Дура! Идиотка! Мы бы уехали в Мингу и заперлись в его квартире, и пусть бы мир сгорел, наплевать, я хочу забыть обо всем и чтобы он обнимал меня долго-долго, кусать его, целовать, тереться об него и смеяться от счастья. Голос Мити в моей голове – он винит меня! Ты хочешь спать с фашистом! Ты хочешь спать с палачом! Нет, нет, это неправда, Альберт ни за что... что? Наплевать. Почему я не уехала? Остановись, как же совесть, благоразумие? Это блажь. Детское упрямство. Ты глупа, ты хочешь невозможного. Это не любовь, не страсть, ты желаешь его, как иг-

рушку, самую красивую, самую недостижимую! Митя, черт бы тебя побрал! Он все равно не нуждается в тебе, он не мужчина, он не желает тебя в ответ, хочешь играть бесконечно в его игру сближения-отрицания? Митя! Чувства должны быть рационализированы. Нужно исключить те, что разрушительны и просто бесполезны. Коммунизм Мити? Что же, если он и испытывает что-то ко мне... Остановись! Бьет полночь. Ложись спать! Альберт не вернется! Ты никогда его не увидишь! Смирись! Ты будешь счастлива без него! Ты сможешь! Да, я сильная и умная, я справлюсь! Альберт говорил, что я сильная, умная и... Нет, нет! Нет! Остановись, Катерина!!! Он опасен, он загубит тебя, это пожирает тебя, он жрет тебя изнутри – чертов Митя! Ты дала ему власть над собой, ты и можешь отнять ее – Митя!

Болят челюсть слева, ужасно неприятно! Что это может быть? Кажется или нет, но словно бы становится больнее. Ложись спать! Когда там приедет Митя? Альберт, пожалуйста, вернись за мной, я больше не могу!».

Чуть свет она проснулась от сильной зубной боли. Левую щеку, казалось, пронзало несколько ржавых гвоздей разом. Не понимая ничего, впервые столкнувшись со столь интенсивной болью, она резко села на постели и полезла в рот, явно пытаясь найти больное место. В нем было как обычно, никаких иголок, гвоздей и прочего. Но спать дальше было невозможно.

Вспомнив, что у тети временами побаливали зубы и она прогревала их смоченной в кипятке тряпкой, Катя решила последовать ее примеру. Вместе с неопознанным зубом болела еще и голова, немного мутило и кружило, как после десяти катаний на карусели. И все же она смогла доковылять до плиты и поставить чайник. Снова длинный путь (из Минги в столицу, не иначе) – и она улеглась на кровать с горячим компрессом на больном месте. Боль не отступила, но несколько притупилась. Она лежала не шевелясь, боясь спугнуть временное затишье, и сквозь личное стали постепенно проступать события внешние: должно быть, за горизонтом начались обещанные в газетах военные учения. Артиллерийские залпы были еле слышны. Тряпка не высохла, но заметно охладилась, но сил, чтобы заново кипятить чайник, не осталось: она уже засыпала, гул вдали и боль в щеке слились в одно-единственное, и в дреме она перестала отличать, что касается только ее.

Проснувшись она снова от небрежного касания – наверное, кто-то очень хотел с ней пообщаться. Осипшим голосом она спросила:

- Ну что? Ну что тебе?.. Это бьют часы? Который час?
- Десять часов бьет. Вставай! Вставай, Катишь, не время!
- Митя, это ты?..

Она поспешно села. Тряпка упала на колено Мити. Она вскрикнула, схватившись за лицо.

- Ах, вот черт! Как болит! Болит!

– Что, что болит? – Митя ничего не понимал.

– зуб болит. Я не знаю! Я не знаю!

Должно быть, ее убивали, иначе и быть не могло столь сильной, ужасной, нечеловеческой боли. Она попыталась сжать зубы, чтобы не стонать, но боль стала совсем невыносимой.

– Мне... нужно... к врачу, – сумела выговорить Катя.

Муж смотрел на нее в недоумении. С колена он снял высушенную тряпку и спросил:

– Зачем ты спала с ней на щеке?

Она сильно разозлилась.

– Митя... черт возьми, я... заболела! Как же ты... не понимаешь? Это мой... компресс.

– Холодный, я надеюсь. Больные зубы прогревать нельзя.

– Митя... отвези меня... к врачу.

Он тяжело вздохнул и сел к ней боком. Он немного изменился, но она не замечала, не сумела бы ответить, что в нем нового – прическа ли, выражение глаз и губ, костюм или движение рук. От боли или нелюбви, но она не помнила, каким он был и не умела сравнивать. Митя был единственным, кто мог спасти ее сейчас.

Митя помолчал, размышляя о своем. После прямо посмотрел и резко, как приказывая, доложил:

– Я не могу. Прости, Катишь. Началась война, и мне нужно быть на Радио.

Она ничего не поняла. Она лежала головой в подушке и

рассматривала наволочку.

– Началась война, – повторил он после паузы. – Мне нужно работать, и тебе... нужно работать. И собраться.

– Мне все равно, – ответила она в подушку. – Митя, мне... нужен доктор... или я умру.

– Ты не умрешь. Тебе. Нужно. Собираться. – И, перескакивая с темы, он спросил: – Ты теперь снимаешь? Я заметил камеру в гостиной. Я рад, что тебе доверили снимать. В ближайшие дни у нас будет работы много, завались. Катись, ты слышишь, что началась война?

– Просто... убей меня, Митя... пожалуйста.

– Я спрошу у Г., у него наверняка есть таблетки. Вставай, Катись, нельзя раскисать.

В гостиной Митя устало ходил и осматривал заклеенные бумажками окна. Катя вышла к нему безалаберно одетой, она беспрерывно щупала щеку, желая найти в ней отклонение, но щека почти не отличалась от обычной, разве что немного покраснела от постоянных растираний.

– Перестань, – попросил ее Митя. – Ты сделаешь хуже. Я принес таблетки, они временно облегчат боль, хватит на несколько дней. Выпей.

Она проглотила таблетку. В висках закололо сильнее.

– Мы... все же воюем.

– Сейчас таблетка поможет.

– Митя, мы... все же воюем? Я... слышала... артиллерию ночью.

– Она и нынче работает. На улице шумно, поэтому почти не слышно ее... Ты как, Катишь?

Конечно, он спрашивал не о боли, он желал знать ее мысли и чувства. Она же не понимала, что чувствует, в ней образовалась пустота, вне которой была лишь физическая боль, только ее; прочее же, включая физическую боль остальных, теряло всякий смысл. Катя пожала плечами.

– Мы... готовились к... этому.

– Но я не верил в это, не хотел верить. – Митя потянулся за шляпой. – Меня ждут на Радио, и стоит узнать последние новости.

– Да... я тут... не останусь. Мне... нужен врач.

– Мы отправимся к врачу, как только все закончится. Потерпи, Катишь. Скоро мы победим.

Мне нужен врач, мне нужен врач, мне нужен врач, повторяла она мысленно. Мне нужен врач, мне нужно лечиться, мне нужен врач. А если что случится с Альбертом или Дитером? Что, если они там, на линии огня?

Впервые, взяв фотоаппарат, она почувствовала это – мучительный страх; он заслонил физическую боль, мысли об Альберте, необъятную улицу, в которую нужно было идти. Дрожало тело, сильно забилось сердце, запершило в горле. Она поняла, что стоит у окна, сильно сжимая фотоаппарат, и бессмысленно смотрит вниз. За стеклом, должно быть, жили какие-то люди и наступали какие-то армии, а она не могла

шевелинуться, как уже мертвая.

Митя окликнул ее. Снова заболел зуб – она очнулась и оглянулась на его голос.

– Я... сейчас, Митя.

– Катишь, нужно успеть до налета.

В лифте смутно знакомая женщина бросила на них подозрительный взгляд и, злобно скривив губы, отвернулась.

– Я поняла, болит вот тут, самый последний, – прошептала Катя на ухо Мите. – Ты не знаешь, с чем это связано?

– М-м-м... это лишний коренной зуб.

– И вот как его лечить?

– Никак, Катишь, его нужно убрать... потом разберемся.

По Маршалковской улице они пошли пешком. Не отпуская локтя Кати, Митя тащил ее вперед, она смотрела по сторонам и смагивала слезы, что копились в нижних веках. Сквозь пелену проступали незнакомцы. Те, отягощенные внезапной сопричастностью, стихийно собирались в стаи и обменивались новостями, пересказывали вымышленное, преувеличивали незначительное. Многие посматривали друг на друга, будто узнавая, но на самом деле встретившись впервые. Все читали расклеенное на стенах и столбах обращение к народу.

Пересчитав поспешно деньги, Митя сунул что-то мальчику с экстренными выпусками. На первой полосе было то же обращение: «Граждане! Сегодня, без объявления войны, были атакованы наши границы и обстреляны наши города...».

– Митя, я не успеваю читать! – пожаловалась громко Катя.

Но вместо того, чтобы читать, она открыла объектив и сфотографировала полосу.

– Это просто... для истории, – пояснила она в ответ на удивленный возглас.

– Катишь, нужно спешить!

– Кому же нужно?

– Я хочу побыстрее дойти... Небезопасно оставаться на улице.

– Хорошо-хорошо, – сказала она и щелкнула группу у закрытого ателье.

С улицы Маршалковской они свернули налево. Катя снова затормозила, чтобы заснять громкоговоритель на фонаре. Митя тоже встал, собираясь высказать претензии.

– О, кажется, твоя челюсть прошла сама собой и...

Он не успел договорить: громкоговоритель заверещал что было сил. Катя в ужасе попятилась и уронила аппарат; к счастью, он не упал, а повис у нее на шее. Она зажала руками уши.

– Что это, что это?.. Это сирена?

– ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! В ГОРОДЕ ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ... НАЧИНАЕТСЯ!

Как получасом ранее, ее сковал такой страх, что она застыла. Реальность утратила реалистичность. Этого не могло быть. Этого просто не могло быть.

Катя поняла: Митя схватил ее в охапку и увлек за собой в арку знакомого дома. Там на них не смотрели; женщины плакали, вжимаясь в стены, какая-то больная распевала во весь голос национальный гимн. Кто-то твердил:

– Нам нужно... нужно найти бомбоубежище! Нам нельзя оставаться! Нужно искать...

– Какое?.. Да что?.. Найдешь тут его!

– Я не могу тут стоять! Я умру тут!

– Тише ты!

– Зажми уши! – велел ей Митя.

Она, молчавшая все это время, тупо пожала плечами. Он силой зажал ей уши и наклонил ее голову к себе, к плечу. Она не чувствовала его, она и сама была чем-то иным, что не узнавала. Единственное, что было прежним и живым, – фотоаппарат, висящий у нее на шее. В отличие от них, он не изменился. Она отпустила Митю и вцепилась в аппарат обеими руками. Она узнавала его. Неужели раньше ей было больно?

– ...Закончилось, – глухо сказал Митя и убрал пальцы с ее головы.

– Да? – тихо спросила она.

Он странно заглянул в ее глаза и отстранился.

– Это ничего, Катишь, это бывает. Нам нужно идти. Будут еще налеты.

На грязной серой улице лежали оторвавшиеся от стен обращения, обрывки листовок и мягкие, скомканные газетные

листы.

– Пошли, Катишь. На Радио мы будем в безопасности. Там должны что-то знать, нам нужно идти.

Она сфотографировала истоптанное большими и маленькими ногами обращение.

– Катишь!.. Притворись, что ничего не происходит!

С каждой минутой Митя злился сильнее: она останавливалась близ всякого брошенного трамвая или машины. Он безуспешно подгонял ее, но к Радио они пришли лишь спустя час. Редакционный хаос был страшен. Никто не мог растолковать, что творится. По радио передавали непонятно что, программа была скомкана, временами прерывалась.

– Постой, постой, Саша! – закричал знакомому Митя, бросаясь к нему и ловя его за рукав. – Что слышно? Какие новости?

– Да я сам только что пришел! Мне не могут объяснить...

– Профессор Урштейн! Вы знаете?.. Что?..

– Вы приехали? Мне не могут объяснить, будем ли мы сегодня работать...

– Катишь, – потеряв терпение, сказал Митя, – постой пока тут! Я побегу за... Постой, постой, я вернусь!

– Хорошо, я...

Но Митя уже убежал.

На нее посматривали мельком и, если узнавали, кивали ей. Ей хотелось остановить кого-то из тех, чьи имена она помнила, но ей было неловко. Желая услышать что-то

за плотными стенами, она напрягала слух, но пока стояла неприятная безвоенная тишина. Казалось, по-прежнему катаются трамваи, звенят колокольчиками таксисты, спешат домой школьники, на углу зазывают заграничным табаком, спорят о ценах домохозяйки – быть может, эти толстые стены обманывают ее?

Митя не заметил ее: она стояла боком и склонила голову, а он неся со всех ног и совершенно забыл, что пришел на Радио с ней.

– О, прости, Катишь, – торопливо произнес он. – Катишь, мне нужно остаться. Извини меня.

– Я понимаю, – бесстрастно сказала она. – Я уже ухожу.

– Это... Катишь... Все хорошо. Я тут узнал... на фронте все замечательно. Мы вот-вот отобьемся и...

– Ты врешь, – спокойно перебила она.

Он испугался ее.

– Ты... не бойся, Катишь. Возвращайся домой. Я приеду так скоро, как только смогу. Хорошо?

Но сначала с телефона приемной она позвонила в свою редакцию. Со второго звонка ей ответили и отчего-то перенаправили на главного. Человек, с которым она разговаривала раз в жизни, только устраиваясь в газету, виновато спросил:

– Вы, я полагаю, хотите получить задание?.. Сожалею, у нас ничего для вас нет.

Она помолчала. Не то чтобы она чего-то хотела – позвонить стоило, того требовали обстоятельства. Но человек, не

сбавляя виноватого тона, доложил:

– Сожалею, но мы вынуждены прекратить сотрудничество с вами. В нынешних обстоятельствах наше антивоенное издание не может позволить иметь в штате работника, который... возможно, сочувствует атакующей стороне.

Ждал ли он от нее объяснений, возмущенных криков: «Да как вы посмели так думать обо мне? Чтобы я сочувствовала нашим врагам? Я целиком и полностью на правильной стороне»? Она же упрямо молчала. В трубке тяжело вздохнули.

– Вы хорошо работали. Сожалею... Мы знаем, что на вражеской стороне у вас есть родственники и друзья. Вы не сможете быть беспристрастной... – Там тоже помолчали. – Мы выплатим вам... Но вы должны сдать служебный фотоаппарат.

Это ее был пренебрежительный смешок?

– Катерина, вы тут?

– Я его не верну.

– Катерина, это собственность нашей...

– Я его не верну. Он мой.

Человек явно был не готов к сопротивлению.

– Как?.. Если вы не вернете его, нам придется говорить с полицией.

– Говорите. До свидания.

Голова и зуб ныли, напоминая, что она больна, что стоит посетить врача, а не играть в героя. Но сил, чтобы что-то делать, не осталось. На нее навалилась усталость – было на-

плевать на себя и свое здоровье, на Митю, на город, живых и мертвых, на Марию, Альберта и остальных, кто, возможно, вспоминал о ней на другой стороне фронта. Что происходит? Это серьезно? Разве кто-то погиб?

Она вспомнила, что сидит в трамвае и смотрит в окно. Громкоговоритель визжал, бежали разноцветные пятна, грохотало в небе, стучал близ нее полицейский:

– Барышня, выходите! Идите в убежище! Вы меня слышите? Воздушный налет!

Воздушный налет, воздушный налет, неужели воздушный налет?

Митя вернулся ночью, в четыре часа. Нисколько не сонный, но с покрасневшими от усталости глазами, он присел на постель и, заметив, что Катя не спит, прошептал:

– Ты спускалась в убежище? Как там, нормально?

– Да, все хорошо.

Он развязал галстук и бросил его у кровати.

– Хочешь кофе? Могу приготовить.

– Нет, не хочу. Пей сам, если хочешь.

Он заметил, что на пустой стороне лежит ее аппарат, и глухо, тревожно сказал:

– Мне звонил твой бывший начальник. Мне жаль, что он так поступил, но...

– Неважно.

– Катишь, мы... должны вернуть все ему, это важно. Я обещал ему отнести, чтобы тебе не встречаться с ним лично.

– Я его не отдам.

Не понимая ее, Митя от возмущения встал. Затем снова сел, потом снова встал.

– Катишь, это не шутки. Это не твоя собственность. Ты не можешь забрать его себе, это же... невозможно. Давай решим это мирно?.. Неправильно, что он уволил тебя. Они поступили ужасно... но у тебя могут быть неприятности!

– Мне все равно.

Чтобы рассмотреть ее выражение, Митя включил ближайшую лампу. Оранжевый свет опустился на ее тревожные бессонные черты. Голова ее была включена, губы сильно обкусаны, у левого уголка застыло несколько капелек крови.

– Как ты, Катишь?.. Очень сильно болит?

Она пожала плечами.

– Давай договоримся, пожалуйста. Ты отдаешь мне фотоаппарат, а я сегодня же веду тебя к стоматологу. Мы потратим деньги на удаление зуба. Договорились?

Она зло ответила:

– Не думала, что ты можешь быть таким манипулятором.

– Катишь!

Замигала лампа, зашевелились занавески – и погас свет. Завизжала тревога.

– Мы никуда не пойдем, пока не решим этот вопрос! – громко заявил Митя.

– Как хочешь.

– Не вынуждай меня применять силу! Я сказал человеку,

что верну ему вещь! Она не твоя!

Он кричал, чтобы его было слышно поверх вопля сирены. Стекла стучали о закрытые рамы.

– Ты сходишь с ума! Зачем тебе, черт возьми, эта штука? Ты не работаешь больше! Я обещал человеку! Ты подставляешь меня! Мне завтра ехать на фронт, а я должен решать ваши проблемы!

– Это... стены шатаются, – прошептала она.

– Катишь, я с тобой говорю!

– В гостиной выбило окна...

Грохотало в южной части. Она села в постели, словно выслушивая новые взрывы.

– Катишь!

Он потянулся через нее, собираясь схватить аппарат, но она в приступе ненависти хлопнула его по лицу. Ошарашенный, Митя оттолкнул ее и схватился за щеку.

– Ты сумасшедшая!

– Не трогай, он мой!

– Ты такая же, как твои психи! Вы забираете то, на что не имеете права! Больная! Разбирайся сама!

Не выбеги от нее Митя, она бы разразилась мерзкой тирадой: что она пожалела, что вышла за него замуж, что она терпеть не может эту страну, этот язык, эти обычаи, что она мечтает поскорее вернуться домой...

Южнее грохотало. Она сжалась, боясь, что вот-вот накроет и ее маленький дом. Ее близкие там, и так получилось, что

они угрожают ей, возможно, не желая того, но они – они могут убить ее, сжечь ее любимое тело, похоронить за обломками, и во имя чего? Альберт приезжал в этот дом, обнимал ее, они, пожелай она, могли бы лежать в этой постели, а сейчас и он может убить ее, он голосует за тех, кто приказал ее уничтожить, и после того, как он шептал ей, как он любит ее и... хочет спасти. Да знает ли он вообще, что происходит?

Ни за что она не вернет фотоаппарат. Она покажет фотографии Альберту, Марии, остальным – и они, они поймут, они остановятся, они больше не причинят ей... всем остальным...

А если они все погибнут? Если Дитер погибнет? А Альберт? Если эти, правильные, на истинной стороне, их убьют? Кто пожалеет на этой стороне Альберта, кроме нее? Но пожалеют ли на той стороне ее? Безусловно – она бросится на шею кому-то из них и расскажет, как страшно в обстреливаемом месте. Разве не их язык – ее язык? Разве не с ними она выросла, не их историю изучала, не их любила столько лет? Но если так, если они – ее, то что она забыла на стороне врагов? Почему она не с Марией и Альбертом, а в чужой стране, с нелюбимым мужчиной, зачем она хранит верность каким-то обещаниям и идеалам? Почему она не уехала с Альбертом, если он – с ней, он – ее?

Катишь, это война. И тебе нужно решать. Тебе нужно занять сторону. Нельзя жалеть всех. Либо ты любишь захватчиков, либо их жертв.

Митя, зачем ты говоришь от лица моей совести?

– В действительности все это абстракции... – ответил Митя позже. – Поступай как знаешь. Мне, в конце концов, должно быть все равно...

Он замолчал в надежде, что она ему ответит. Но она не говорила, и плечами не пожалала, и не кивнула – она уселась близ разбитого окна и смотрела вниз с бесстрастным выражением.

– Катишь, нам нужно быть практичными. Давай объединимся. Я должен позаботиться, я должен... знать, что я оставил тебя... в терпимом положении.

Что значит «терпимое», он не пояснил. Он прошел на кухню, посмотрел, что есть в запасах, и разочарованно спросил:

– Почему ты ничего не покупала? У тебя нет хлебцев, круп или консервов. Как же так, Катишь?

Она ответила спокойным тоном:

– Я не покупала, потому что денег не хватило бы.

Он пересчитал купюры в кошельке и почти все сложил на столик близ нее.

– Отправляйся в магазин.

– Зачем?

– Зачем?..

– Президент сказал, чтобы мы не делали запасы. Перебоев с продовольствием не будет.

– И ты в это поверила?

На самом деле она менее всего желала выходить из дома, тем более в магазин, к чужим, озлобленным, к врагам.

– Я не согласен с ним, и мне плевать, – заявил Митя. – Магазины в любой момент могут закрыться. Наверняка у нас все скупят... Нужно купить побольше всего: крупы, консервы, мыло, соль... и спички обязательно.

Она прикинула в уме.

– Хозяин магазина с Л., ближайшего, знает, что я приехала оттуда. Он ничего мне не продаст.

– Это несерьезно.

– Вот как, несерьезно?

– Ты преувеличиваешь!

– Вот как, – ответила она с презрением, – да дай им волю – и они уморят меня голодом.

– А ты говори на их языке и на вопросы отвечай вежливо, а не как сейчас, сквозь зубы.

Она едва сдержалась, чтобы не вспылить. Как она ни злилась, у нее было достаточно ума, чтобы понять: Митя – ее единственный помощник, ее единственный союзник в безжалостной чужой стране. Он хочет позаботиться о ней. А после он уедет – и она останется одна.

– Одна я не пойду, – колеблясь, ответила она. – Можешь даже не просить. Если ты со мной, то... я согласна.

– Ну хорошо, – смирился Митя, – я пойду, и ты поймешь, что к нам... к тебе... относятся как раньше.

В длинной магазинной очереди на Л. тихо перешептыва-

лись, старались, чтобы не услышали: «... А знаете, что наши потери неизвестны? Говорят, наша кавалерия успешно выступает... слышно, что наши самолеты забрасывают их позиции... они отступают, так говорят, а наши наступают... не знаю, говорят, что так... но сколько погибло, никто не говорил...». Узнавая Катю, на нее кивали, чтобы не знавшие ее запомнили, и шептались громче, чтобы она могла услышать: «О, и эта! Шпионка, говорят... только рот откроет – слышно, чья она! Их, их, с их стороны! Партийных у себя, говорят, принимала... работает, что ли, на врага?».

В бакалейной лавке знавший ее лавочник отказался отпустить ей. – Не стойте тут, покупателей задерживаете!

– Хорошо, а мне продадите? – спросил Митя, выступив вперед. – Вы же меня помните, я местный, журналист.

– Ничего о вас не знаю.

Митя был ошеломлен.

– Вы не можете мне отказать, – растерянно повысил голос он. – Мне нужна еда. Мне уезжать на фронт.

– На фронте вас покормят.

Митя явно был настроен препираться до последнего, но Катя перебила продавца на полуслове:

– Пошли, Митя, нечего задерживать! Пусть сам ест свою еду с червями!

– Но это безобразие, это форменное безобразие!

В толпе за ними зашумели. В языке, что она немного понимала, нашлись сильные ругательства. Бакалейщик, словно

они уже ушли, с поспешной вежливостью спросил у новой дамы: «Что вам нужно?».

– Ничего, – заявил Митя, хлопнув дверью со всех сил, – наверняка найдется магазин, в котором принимают всех. Или в котором нас не знают.

Но в любом магазине повторялось то же самое: либо ее уже знал хозяин и отказывался отпускать, либо, если магазин был незнакомый, в очереди попадался ее знавший человек и готовился обвинить магазин в пособничестве захватчикам.

Утомленные, сбившиеся с ног, ко всему прочему и час пробывшие в чужом подвале, когда их застал дневной налет, они пришли уже вечером домой. Митя злобно стаскивал с себя ботинки и бросал их об дверной косяк.

– Я спрошу у М., который сделал мне аккредитацию. Скажу, что это для моей семьи, он обычно не допытывается. Ты расстроилась?

– А разве есть причины?

Она проверила, зашторены ли плотно окна, включая то, что разбилось при налете, и включила верхний свет. Лампочка мигнула раз, второй – и громко лопнула.

– Я знаю, тебе страшно, – дипломатично начал Митя, – не понимаю, зачем скрывать это от меня. Я пытаюсь помочь тебе, как могу, и хочу получить хоть немного благодарности.

– Ты ничем не можешь помочь.

– Ну, это смешно, – возразил он резко. – К чему разыгрывать тут «снежную королеву»? Я не оставлю тебя, пока не

пойму, что ты в безопасности и можешь...

– Никто из нас не в безопасности, и ты прекрасно это знаешь. Какой же безопасности ты хочешь для меня?

– С тобой совершенно невозможно говорить, Катишь! Я не понимаю, что с тобой происходит! Когда ты говоришь это, я радуюсь, что уезжаю, честное слово!

Безразлично она пожала плечами и уселась на диван – смотреть старые журналы о французской косметике. Убитый ее феноменальным равнодушием ко всему, включая ее благополучие, он не нашел ничего лучше, как уйти спать. В ином случае он бы отправился в который раз искать продукты, звонил бы знакомым и начальству с просьбами, но у него не осталось сил ни на что, кроме постели. И вправду, если Катишь безразлично, чем закончится для нее новый день или неделя, во имя чего он обязан стараться?

Он лежал и злился, слыша, как в гостиной она перелистывает журнал. Во тьме, за тяжелыми шторами, объявили тревогу, но он не слышал ее, слышал только, как Катя перелистывает страницы, снова и снова. Как же она читает в полнейшей темноте?

«О ужас, я нашла свечи в нижнем ящике стола, как повезло вспомнить, что они есть. Нужно принять еще таблетку – снова заболел зуб. Где же взять деньги на врача? Его начальство помогло с продуктами, их должно хватить недели на две, и еще лекарства, но они бесплатные, от его зна-

когого, их должно хватить дней на десять. Если Митя и собирался отвести меня к врачу, сейчас об этом и вспоминать нечего. Он сам уехал без денег. Будет на войсковом содержании. Все пришлось отдать за еду – проклятые перекупщики! Что же будет дальше? Пишу, потому что страшно сидеть в одиночестве. Я очень боюсь налетов. Пока Митя был дома, страшно не было, а сейчас... Я очень боюсь боли. Боюсь, что буду страдать, буду лежать под камнями и землей, и никто меня не вытащит. Мы похоронили дочь Каминских. Ганна принесла ее на руках. Она сидела на лестнице в подъезде и качала ее на руках. Митя услышал, как она разговаривает за дверью, и вышел к ней. Ганна закричала на него: не трогай мою дочь! Ей казалось: если она отпустит дочь, та умрет. Митя попытался дозвониться до ее мужа, но оказалось, что он ушел на фронт добровольцем. Я просила не трогать Ганну. Остальные пробовали утешить ее, а она кричала, что не должна спускать дочь с рук. Когда она заснула, Митя вышел к ней и попытался забрать у нее дочь. Та сразу проснулась и вцепилась в нее. Мне было очень страшно – она визжала, а Митя на нее кричал: ее нужно похоронить! Ганну скрутил сосед из пятой квартиры. Митя спросил у меня чистую одежду, может, рубашку или пиджак, чтобы было, во что укутать труп. Я отдала зеленый пиджак. У нее было страшное лицо – пустые косоватые глаза, открытый рот с половиной зубов. Меня чуть не вырвало. И мне пришлось ее держать, пока Митя копал во дворе яму для нее. Она была такой легкой.

Я боялась смотреть в ее лицо. Сосед из седьмой принес две лопаты и помогал Мите копать под каштаном. Я думала о том, какие серые облака и что скоро начнется дождь. Потом Митя забрал ее у меня. Я зачем-то пошла домой, взяла фотоаппарат и вернулась к яме. Они уже начали закапывать. Я сфотографировала ее. Митя, наверное, хотел возмутиться... но промолчал. Сосед спросил, снимаю ли я для газеты. Я пожала плечами. Я не могла ничего сказать. Они закопали ее. Ее прибило, когда Ганна не успела в бомбоубежище. По левой стороне разбили дом, и кусок задел их на улице. Ганне немного ранило плечо. Как страшно дома одной. А если я буду лежать и мне никто не поможет? Нужно умереть сразу и не мучиться. На самом деле смерть – это не ужасно. Она милосерднее мучений. Если закончатся таблетки от зубной боли, что я буду делать? Если не пить их, боль невыносимая и хочется сдохнуть. Митя пошутил: "Зачем тебе сейчас умирать? Будет еще время. Поживи пока, Катись". А если Митя умрет? Если он не вернется? Я останусь тут одна! Одна – навсегда! Г-жа Каневская сказала нам в лифте: "Слышали, что союзники объявили им войну? Уж они им покажут! Они пришлют на помощь своих солдат, танки и самолеты, вот увидите". А вы, Митя, на фронт? Неужели кто-то остановит это? "Внимание! Сейчас будет зачитано экстренное сообщение!". Мы услышали это по радио. Затем пустили национальный гимн, гимны союзников и: "Не получив ответа на свой ультиматум, правительство союзнической А. объ-

явило войну...". И через четыре часа то же сказали о союзнической Ф. и что "решительные шаги будут предприняты союзниками в ближайшие часы". А если они будут бомбить мой дом в столице? А как же Мария, Дитер и Альберт? Я не хочу, чтобы они разрушили их дома. Я так хочу домой... "Ты вернешься, Митя?" – "Конечно, вернусь. Я не полезу в самое пекло, не переживай. Стрелять я не буду – оружие мне не положено. Главное, побереги себя". Он не простит меня. А если это Дитер убил дочь Ганны? Нет, он же не летчик. И все же. Я не поехала на вокзал с Митей, мы простились дома. "Ты слышала, Катишь, у нас есть союзники. Они обязательно помогут нам. Значит, все закончится хорошо!". Да не закончится все хорошо! Никогда! Приезжай скорее, Митя, мне очень страшно без тебя! Пожалуйста, остановитесь! Это безумие! С кем мы должны воевать? Неужели я смогу поднять руку на Дитера, Альберта, Петера, Альбрехта? Разве кто-то из них замахнется на меня? Как я забыла, что люблю вас всех? Я очень люблю вас. Я очень хочу домой. Просто остановитесь! Хватит! Зачем? Перестаньте! У меня нет сил. Я не хочу выбирать. Почему я должна выбирать? Как выбирать между любовью и здравым смыслом? Как выбирать между двумя своими половинками? Вы сошли с ума. Мы сошли с ума. Налет».

В разбитое окно гостиной прилетела желто-красная листовка. Похожие активно разбрасывали самолеты, но их мо-

ментально собирали и рвали волонтеры. Она выглянула – не смотрит ли кто, чем она занимается. На листовках писали на двух языках – и она со странным облегчением узнала тот, чужой, язык врага.

«Защитим любимых на этой войне! Что движет теми, кто добровольно отправляется в зону боевых действий?».

И ниже – боже, знакомое имя, Альрих Аппель! Получается, Аппель нынче пишет для патриотичных листовок?

«Пока нечего рассказывать, говорит скромный Т., выполним поставленные боевые задачи – и поговорим. Он воевал за Родину на прошлой войне. Был сапером, занимался разминированием. Причин у меня много, говорит он, на фронт должны в первую очередь идти опытные люди. У меня боевой опыт. У меня дедушка и отец воевали. Они говорили, что главное – отважно биться за Родину. Они говорили, что когда забывают прошлую войну, начинается новая. Память – главный враг войны. Наши враги забыли о той войне. Они забыли, сколько полегло на прошлой войне, им захотелось новой крови. Мы восстали, вернули себе национальное достоинство. Они ненавидят это в нас. Они желают видеть нас своими рабами. Мы свободные – это причина начать войну против нас. Я боюсь за своих детей, моей дочери 9 лет, сыну – 16 лет. Если мы не отстоим достоинство Империи, то что будет с их будущим? Жена и дети меня поддержали. Близкие всегда в моем сердце. А мы защитим тех, кого любим – так, наверное, думает каждый отец. С ним согласен приехавший

из Минги Д. Он служил в политической полиции и является членом "Единой Империи". Теперь попросился на фронт – сражаться за будущее страны. Я патриот, просто говорит он, пришло и мое время послужить Родине. А Родина – это мои родители и дети. Вот за них я и собираюсь драться. У Д. четверо сыновей, старшему исполнилось 12 лет. Дети очень гордятся отцом. Он защитит нас от врагов, говорит старший, хорошо, что война сейчас не на нашей территории, отец и его сослуживцы не допустят, чтобы война пришла к нам в дом».

Говорят ли так дети? Интересно, знает ли Аппель, встречал ли он хоть одного ребенка?

Она оглянулась – на главной лестнице шумел г-н Пружанский. С чемоданом, в пальто и уже в шляпе, и с тростью он спускался и стучал по стенам и изогнутым перилам.

– Что, вы не слышали, что у нас случилось? – закричал он кому-то на все нижние этажи. – Наше правительство переехало в Л.! Все, этой ночью оно уехало! Враг уже подходит! Нам нужно срочно эвакуироваться!

– Вы уезжаете? Уезжаете? – громко спрашивали его. – Но куда?

– Вы не слышали, вы что?.. «Новая линия обороны будет организована на противоположном берегу реки». Нужно уезжать... не знаю, доеду ли я до моей племянницы или нет... Скажите всем, что нужно немедленно бежать. Столица вот-вот будет захвачена!

В растерянности и неосознаваемом страхе она присела в

кресло. Затем встала. Снова села. В окно принесло пепел и пыль – она закашлялась. Радио! Что говорят на радио? Как Пружанский узнал о бегстве правительства в Л.?

О нет, о нет, о нет, нет, нет, нет...

На частоте остались стуки и отвратительное скрипение. В уже осознанном ужасе она уселась на грязный пол и повторяла:

– Нет, нет, нет, нет...

Нет, нет, нет, нет. Собраться, встать, пойти и спросить, как обстоят дела. Она пошарила в карманах и отыскала таблетку от зубной боли – осталось семь таблеток, хватит, если экономить и терпеть боль по три-четыре часа в день, на пять дней. Быть может, связаться с коллегами Мити, что остались, они-то наверняка знают о правительстве и боевых действиях. Она прислушалась: кажется ли, что артиллерия бьет ближе?

– Нет, нет, нет... – Катя укусила руку, справляясь с сильной дрожью.

Дом ее к этому времени успел прийти в движение: хлопнули входные двери, выволакивали из квартир чемоданы и саквояжи, волокли их по лестнице вниз – лифтом боялись пользоваться, – но брали минимум, чтобы точно перебраться на другой берег. Она, не суетливая, явно не претендующая на спасительное место, вызывала недоумение у местных. Они не поняли, почему она не собирается. Она не отвечала

на подозрительные взгляды. Спокойствие ее, убийственное, внушало почти потусторонний страх.

Она вышла и прогулочным шагом двинулась в сторону закрытого Радио. На шее у нее висел фотоаппарат. Она шагала, упрямо смотря перед собой, убрав руки в карманы жакета, а слева, и справа, и впереди, и позади алогично метались, толкались, давили друг друга, как в стаде без пастуха. Хаос войны был отвратительно предсказуем. Дрались, пинались, кусались, пробираясь к межгородскому транспорту. Какая-то женщина обвинила другую, что та украла у нее билеты на поезд. Поблизости крушили витрины и, угрожая хозяевам, вытаскивали провизию, а затем отбивались от случайных свидетелей. Полицейские спрятались. Она шла, безупречно огибая склочные кучки. На третьей улице возникла человеческая пробка, и ей пришлось свернуть на другую и крикнуть: «Такси!». Злобный и грязный человек пустил ее в не менее грязную и дурно пахнущую машину.

– На Радио, срочно!

Пешком до пункта назначения она бы добралась минут за десять, но это в обычный день. В такси же она ехала почти час. В машине она была в безопасности, но таксистам не давали проехать, а тот, что вез Катю, проклинал правительство и заграничных «помощников» за абсолютное бессилие и проваленный фронт. С Кати он потребовал за весь час, что она провела у него.

– Платят не за время, а за расстояние, – отрезала она.

– Дамочка, вы считаете, я вас бесплатно должен возить?  
Мы ехали час!

– Это не мои проблемы. Нужно было лучше сигналить.  
Прежняя Катя, безусловно, ни за что бы так не сказала, она бы заплатила, сколько просили. У нынешней же не оставалось денег; она выгребла из кармашка сумки монеты и положила их на заднее сидение.

– Ну знаете... – выругался таксист.

Ей решительно было наплевать. Она вышла.

На главной двери Радио висела вывеска: «Закрыто до выяснения обстоятельств!». Слева работали окошки, что отпускали работникам трехмесячное жалование. На постучавшую в стекло Катю кассир взглянул с неудовольствием и выпалил:

– Вы стояли в очереди?

– В какой очереди? Нет тут никакой очереди!

– Фамилия у вас какая? Кем работаете?

– Да не работаю я тут! Вы по-русски понимаете? Мой муж работает...

– Фамилия?

– Колокольников. Вот же баклан!.. О, Ледницкий, это вы! – Близ нее возник коллега Мити. – Что слышно? Что – войска?.. Да, очень жаль, что вы не можете работать... это бы подняло боевой дух... Вы не считаете странным, что громкоговорители... словно уснули... Налетов нет, и артиллерия...

смогкла. Как это странно...

– Это на вашего мужа, – сказал кассир, протягивая небольшую пачку денег. – Не стойте! Дальше говорите!

Сфотографировав окошки и запертую дверь, она пошла обратно. Теперь она поминутно открывала объектив и искала, что бы ей запечатлеть: ругались незнакомые, грузили вещи в машины, на конные пролетки – или на ближайшем углу, у покосившейся остановки, штурмовали трамваи, чемоданы и тюки используя в качестве оружия в столкновениях. На углах скопился мусор, валялись трупки крыс и домашних кошек. Случись налет – и пошла бы убийственная паника, но пока, как она заметила, враг успокоился. Не верилось, что его танки, артиллерия, самолеты, дивизии уже стоят на пороге и вот-вот, вот-вот, вот-вот...

Дом на Маршалковской словно заснул. Слева и справа остались трамваи, вымершие кафе и столовые, разбитые магазины, брошенные на проезжей части тюки и оторванные ручки чемоданов. Она остановилась, чтобы заснять выпавшее из чьих-то вещей клетчатое бело-зеленое платье; оно пристало рукавом к фонарному столбу и так и осталось, словно приклеенное неизвестным. Похожее носила Мария в юности, но воротник был белый, а рукава – короче. Покажи она фотографию Марии, вспомнит ли она то старое свое платье?

Скоро штиль закончился. Оставшиеся, как она, постепен-

но выбрались из своих убежищ. У кого-то были больные родственники, что не выдержали бы путешествия на противоположный берег; оставались полицейские, врачи и их жены и те, кто хотел дать отпор оккупантам, если уж они явятся в ближайшее время. Молчали местные СМИ, оттого новости передавались нерегулярно и узнавались случайно, перехватывались на улице или выпытывались у раненых фронтовых, которых с передовых позиций доставляли в госпитали, чтобы после переправить на противоположный берег реки. Магазины все стояли закрытыми, общественный транспорт не работал, но зато возобновились воздушные налеты и артиллерийские обстрелы.

Долго так продолжаться не могло. Войска приближались к городу, и в ближайшую неделю обещали главную битву этой войны – за столицу. Когда стало известно, что битвы не избежать, столицу объявили «крепостью» и назначили коменданта, достаточно энергичного, чтобы взывать к патриотическим чувствам. Слухи, что за рекой их армия готовит контрнаступление, способствовали возникновению новых надежд. К оставшимся в столице комендант обратился с выразительной речью, призвав не отчаиваться, не уезжать и готовиться, не роняя чести, к обороне.

На призыв выезжать на строительство оборонительных сооружений откликнулись с огромным энтузиазмом. Те, что имели силы, от студентов до людей преклонного возраста, рвались на объявленные работы сами, никем не понукаемые,

а единственно из потребности со всеми вместе помочь армии в ее противостоянии врагу. Штаб обороны 11-го числа они брали едва ли не штурмом; признаваемым годными к работе выдавали лопаты, и на машинах, группами, их вывозили копать рвы на подступах к столице. Женщин помоложе и послабее старались направить в госпиталь; руки в местных принимающих пунктах были нужны, ежечасно въезжали машины и обозы с ранеными, и нужно было также, чтобы кто-то сопровождал их в пути, на другую сторону реки, облегчая страдания.

Она пришла в штаб обороны в восемь утра, рассчитывая, что в такую рань не встретит никого знакомого. Но, к ее удивлению, в приемной штаба работал муж Ганны Каминской, возвратившийся с фронта с остальными ранеными – у него было легкое ранение, все же не позволившее немедленно вернуться в строй. Разбираться с Катей он хотел меньше всего. Чтобы их не слышали, он отвел ее в свой кабинет и, коверкая русские слова, заявил, что не может отправить ее ни копать рвы, ни ухаживать за ранеными.

– В чем же причина?

Каминский сглотнул.

– Вы... почти не знаете язык. Вы не поймете, что вам говорят.

– Я уверена, что это не столь сложно, как вы считаете. Разве нужно отучиться год, чтобы копать ямы? Митя справился без этого.

Каминский оценил ее манипуляцию и заговорил мягче.

– Я понимаю ваше желание помочь общему делу. Но вы... иностранка.

– Какая разница? Вам нужны любые рабочие руки.

– Зачем вам работать? – изменил тактику Каминский. – Это бесплатный труд, очень тяжелый, не для женщин вашего возраста и комплекции. Найдутся мужчины, достаточно, чтобы делать это.

– Вот как? А разве им не лучше быть на фронте прямо сейчас? Вы отправляете их копать ямы, а не стрелять в оккупантов?

– Мы без вас решим, что делать! – сорвался Каминский. – Я вам все сказал! Возвращайтесь домой!

– Действительно... – протянула она. – Вы правы: зачем мне помогать тем, кто меня и за человека не считает?.. До свидания.

Она поспешно сфотографировала штаб изнутри и выско-чила за дверь. Она была не столько обижена, сколько разочарована.

«Меня перестали пускать в наше бомбоубежище. П., эта старая сумасшедшая, наговорила по округе, что я ночами подаю сигналы вражеским самолетам. Большую чушь нельзя было придумать. Это ужасный налет. Наверное, самый сильный. Были бы стекла, точно бы все опять повывлетали. Ганна пыталась заступиться за меня, но после смерти дочери ее

считают чокнутой больше П. Я украла четыре свечи из открытой квартиры на втором этаже. Жаль, что они не оставили съестного. Еда пока есть, купить больше я не смогу – не отпустят. Я очень, невыносимо зла, сдерживаюсь, чтобы не бить посуду и не вопить на весь дом. Если они услышат, в какой я ярости, порадуются только. Нужно спать не больше двух часов подряд ночью. Днем безопаснее. При чем тут налеты? Остается лежать, укрывшись одеялом, и надеяться, что в дом ничего не попадет больше. Два дня назад в окно левое в спальне залетела "зажигалка", я ее потушила. Нельзя, чтобы начался пожар! Ночью нельзя расслабляться – что, если они явятся, начнут ломать дверь, чтобы совершить самосуд? Я почти не выхожу из дома. Замок, к счастью, очень крепкий, да и дверь выбить сможет не каждый мужчина. А эти безумные бабы, что множат панику, – это они мои враги, если они встретят меня на лестнице, не вцепится ли какая из них мне в волосы или лицо? Сумасшедшие. Я настолько зла, что не боюсь их. Иногда я думаю: как хорошо будет, когда придут оккупанты и дадут каждой из них по морде! Что бы подумал Митя, скажи я такое при нем? Безумие. Войска готовятся к обороне – я услышала по радио, оно снова работает. Я включаю его тихо, чтобы не слышали за стенкой. Пусть думают, что никого нет дома, что я умерла или ушла от них. Почему я не уехала на другой берег? Почему я не вернулась домой? Как же был прав Альберт! Нет, я вышла вчера ночью, тихо, было страшно спускаться в два часа ночи. Зачем? Там

ужасно. Город уничтожен. Наш дом задело, левую часть, а моя пока цела. Повсюду мусор, валяются обломки камней, вздыбились трамвайные рельсы. И везде трупы, их не убирают или не успевают. В пыли, грязи, опухшие – я не могу выбить из головы их тела! Очень тяжело дышать после налетов, пахнет гарью и мертвечиной, тянет в окна, слезятся глаза. Мы проигрываем. Хватит говорить, что столицу отстоят! Это вранье! Раненых размещают даже в обычных домах, в госпиталях нет места. Непонятно, как их еще умудряются перевозить на другой берег. Налеты – каждый час. Между полуднем и четырьмя – каждые двадцать или двадцать пять минут. Тревогу давно не объявляют – бесполезно, мешает готовить оборону. А если ко мне придут, чтобы ограбить? Самое ужасное, что осталась одна таблетка. Я берегу ее. Зуб то болит сильно, то слабее, но я не пью таблетку. Как отвратительно больно. Что у меня можно взять? Немного сухих макарон и консервы – мое богатство. Не станут они меня грабить. С другой стороны, еда в магазинах почти закончилась, последнее должны отправить в армию, которая защищает столицу... Я смочила тряпку. Дышать невозможно! Все в дыму! Горит Маршалковская! Не буду ничего делать. Что, если огонь перекинется на наш дом? Не буду ничего делать. Бежать на улицу – глупость. Там горит и не пройти. Найти противогаз!.. Я надела противогаз. Вышла и посмотрела, есть ли кто – остальные ушли в убежище, я осталась совсем одна. Мне страшно быть одной, но разве мне не будет

страшно с остальными? Радио работает с помехами. Говорят там, что враг целится в здание Радио. А если я правда умру? Я никогда не увижу Альберта. Мария? Пожалуйста, заберите меня домой. Я люблю вас, я ошибалась, я признаюсь, только заберите меня домой! Альберт, я люблю тебя, делай со мной, что хочешь, играй со мной, управляй мной, но заведи меня домой! Вдруг союзники разбомбили Мингу? Вдруг Мария погибла? Вдруг Дитера убили на фронте? Нет, нет, нет, нет, нет! Буду лежать в постели. Жаль, я не умею проявлять фото. Кто займется этим? Нужно сохранить пленку, а желательно и фотоаппарат. Это самое важное сейчас... Радио больше не работает. Перед тем, как вещание оборвалось, играла музыка – что же это было? Кто-то еще говорил: "Наша страна переживет эти тяжелые времена. Не отчаивайтесь, сделайте все, чтобы помочь нашей армии отстоять столицу. Нашим воинам как никогда нужна ваша поддержка. Вы, ваша вера и надежда очень нужны нам". Я выпила последнюю таблетку, ее действия должно хватить на пять или шесть часов, не больше. Маршалковская горит... Я ушла из дома. Я прошла пешком полкилометра в поисках убежища. Всюду смерть и разрушения. Горят дома и задыхаются люди под ними. Я тут умру, мы все умрем тут. Если каким-то чудом уцелеет мой дневник – пожалуйста, если вы читаете это, отвезите его моей сестре Марии, я напишу ее домашний адрес на первой и последней страницах.

Альберт, Мария и Дитер, я пишу это для вас. Я знаю, что

вам говорят. Я хочу воззвать к голосу разума, если по какой-то причине его заглушил гул войны. Я знаю, что говорит ваша власть, но я верю, что вы поверите моим словам – не их, а моим. Потому что я ваша сестра, ваш друг, которого вы знаете много лет, и я бы ни за что не солгала вам пред лицом своей смерти. Я никогда не назову вас своими врагами. Вы – не мои враги. И вы не должны быть врагами для других людей, ваших соседей, границу которых, я верю, вы перешли не по своему желанию, а лишь по приказу. Помните, какие жертвы мы принесли на прошлой войне. Мария, прошлая война лишила нас родителей и дома. Мы остались сиротами на чужой земле, без собственного языка, без любви наших матерей и отца. Дитер, прошлая война убила твоего отца и сделала несчастной твою мать, разрушила вашу жизнь, заставила тебя в ранней юности выживать, воруя еду и рискуя каждый раз оказаться в полицейском участке. Альберт, жертвы той войны – твой старший брат и твоя мать, которая так и не смогла преодолеть травму и внушала тебе тайное неприятие своего пола. Вы знаете, что такое голод и боль, утрата и отчаяние. Вы знаете, как тяжело вставать после падения, каково это – бороться с обстоятельствами и заслужить лучшую жизнь. Вам пришлось многое пройти и на многое пойти, чтобы почувствовать себя хоть немного счастливыми. Нынешняя война отнимет все, чем вы дорожили, за что боролись десятилетиями – сытость, домашний уют, семью, любимую работу. Война обнуляет все. Вам

говорят, что вас угнетают. Что ваши враги – страшные существа, которые только и мечтают обратить вас в рабство, и что нужно действовать на опережение. Но по ту сторону границы живут такие же люди, как вы. Они строят дома, а не разрушают их. Они создают семьи, а не разрывают их в клочья. По ту сторону живу я. Уничтожая их дома, вы уничтожаете и мой дом. Убивая их, вы можете убить и меня – вашу сестру и вашего друга. Вы ничего не знаете о своих "врагах". Вы думаете, что знаете правду, но вы знаете лишь ложь. Вам говорят уничтожить вымышленную страну – но уничтожаете вы настоящую, что не имеет отношения к созданной вашей пропагандой. Вам говорят, что мы, за границей, хотим новой войны. Но в этой стране помнят, что война – это смерть и страх. В этой стране никто не хочет хоронить своих детей. Наверняка вам говорят, что и я – ваш враг, потому что взываю к вашему благоразумию. Я – ваш враг – воспитана тобой, Мария, у тебя я искала защиты, ты учила меня читать по-русски, ты покупала мне книги и повела меня в первый раз в школу. Как я могу быть врагом, Дитер – тебе, кого я знаю с раннего детства, в ком видела старшего брата, в котором я могла сомневаться, подозревать, но продолжала любить в глубине души? Как я могу быть врагом тебе, Альберт, – ты знаешь не хуже меня? И люди, что меня окружают, – это обычные люди, самые разные, плохие и хорошие, добрые и злые, но желающие одного – чтобы этот кошмар прекратился. Это испуганные, несчастные люди, ко-

которые делают много ужасных вещей, но делают их из одного лишь страха перед войной. Прошу вас, прислушайтесь к голосу разума. На этой земле хотят одного – мира. Помните, что война – это большая беда. Она уничтожает доверие, растаптывает любовь, рушит семьи, мы теряем близких, собственные силы, время, деньги, наш мир горит, и мы теряем себя и всякую надежду на лучшую жизнь. Мы обрекаем себя и многие поколения на бесконечную ненависть. Впереди только боль, грязь, кровь и смерть, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы смертей, безымянных могил, в прах растертых домов. И никто не может это остановить – кроме вас. Только вы можете остановить этот механизм насилия. *Quis custodiet ipsos custodes?* Только вы. Я знаю, что мои слова ничего не значат, ничего не весят – в сравнении с теми, во имя которых вас отправляют убивать. Но вы должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока война не уничтожила нас всех. Первое утро войны – самое страшное утро в моей жизни. Я никогда его не забуду. Сможете ли вы забыть, что тем утром вы были на стороне агрессора? Неужели вы хотите убивать и умирать за чужие миражи? Неужели смерть лучше жизни? Ответ на это можете знать только вы».

Мужчина – полный, в грязном пиджаке, брошенном на пиджаму, – осмотрел ее, заметил на шее фотоаппарат и сказал:

– Я согласен на него.

– Мы так не договаривались, – ответила она. – Вы говорили о пяти банках тушенки и трех бутылках воды. Я их принесла.

– Изменились обстоятельства. Я хозяин, мне решать.

– Вы – хозяин? Неужели?.. Фотоаппарат я не отдам. Если я вас не устраиваю, я...

Шумно он сглотнул, должно быть, размышляя о тушенке; после жестом согласился и, забрав оговоренное ранее в мешок, понес его в убежище. Не дожидаясь разрешения, Катя двинулась за ним.

В затхлом, мрачном помещении, в креслах, на стульях и кроватях расселось несколько десятков человек. От мигающей лампочки отбрасывало тонкие и полные, одинаково безразличные тени – они почти не шевелились. Мешок с провизией был отнесен в угол – там лежали взносы остальных. Не боясь испачкаться, Катя выбрала место у тусклой желтой стены и села прямо на пол. Раза четыре на нее посмотрели, но в том не проявился интерес, страх или опасение: все были на равных условиях, все были равны в приближении смерти. Она была кем-то и никем, ничем не отличалась и, поймав себя на этой мысли, она испытала облегчение – она больше не чувствовала одиночества.

На постели, свесив ноги вниз, сидела всклокоченная пожилая женщина, она часто поправляла воротник домашнего халата и гладила худого рыжего кота. Катя заметила кошачью

голову, как та ластится к руке женщины, – и ей нестерпимо захотелось плакать. Нужно было попросить у Мити кота, она бы заботилась о нем в ущерб себе, спасала его охотнее себя, и жила бы, чтобы спасти его – кошки, несомненно, нравственнее и умнее человеков.

Наступил 25-й день войны. Ни столичные, ни прибывшие оборонять столицу уже не знали, каково положение на фронтах. И помыслить было нельзя, чтобы выйти на поверхность: смертоносный огонь с неба усиливался с каждым часом. Незнакомые люди из разных районов прятались за креслами, стульями, кроватями. Никто не плакал, на выживших накатила апатия, они забывали, во имя чего сражались 25 дней – неужели за тем, чтобы погибнуть и быть похороненными под столетним домом? Сутки – и еще одни сутки, душевные, долгие часы за нескончаемым артиллерийским обстрелом. Спать хотелось всем, и собравшиеся в убежище удобнее старались пристроиться, но никто не спал в итоге, а лишь притворялся с закрытыми глазами, так отстраняясь от остальных, размышляя.

Получается, ошиблась Софи, и с чего она поверила, что эта странная девочка знает, наверняка знает, как она проживет свою жизнь? Что в ее облике, голосе, словах было такого, что в ее фантазии в ужасе – но верили? Софи не рассмотрела, что она погибнет в осажденном городе, что у нее не случится ни любви, ни путешествий в теплые страны – нет, Софи, вообрази себе, я умру тут, вдали от близких, в объ-

тиях чужих, от снарядов, выпущенных моими друзьями. Я больше не увижу Альберта. Я не брошусь ему на шею, не закричу, как я зла на него, что он бросил меня в этой отвратительной каше. Мы не сложим немного в чемодан, не купим билеты на фальшивые имена, не взойдем на судно, отбывающее в Южную Америку, не купим маленький дом с цветущим садом вдали от цивилизации, не будем сидеть под навесом, распивая вино и размышляя о «загнивающей Европе», не будем растить апельсины, не заведем кота, не купим велосипеды, чтобы ездить по округе с приближением заката, не купим коллекционные издания французских экзистенциалистов, не будем заказывать из ближайшей деревни свежее мясо и газеты, в которых пишут о лавинах и красном платье популярной актрисы. Мы никогда не состаримся. Софи ошиблась – мы умрем на этой войне.

– У вас болят зубы?

Женщина спустила с рук кота и потянулась к Кате обеими руками.

– Что?

– Вы иностранка? На каком языке вы говорите?

Отчасти понимая ее, Катя все же пожала плечами – меньше всего ей хотелось говорить о себе и своем происхождении.

– Возьмите. – Женщина извлекла из кармана халата баночку с таблетками и протянула ей одну. – Обезболивающее. У меня еще есть. Выпейте. Глотайте так.

– Нет... нет.

– Вам станет легче, не противьтесь.

После Кати она тоже проглотила таблетку и, словно забыв о ней, легла на постель, спиной к ней. Кот ее свернулся у нее в ногах.

Пожалуйста, позвольте мне умереть, я устала, я хочу спать, заснуть навечно, чтобы меня оставили в покое, я куплю мышьяк и цианид, обменяю на фотоаппарат, только дайте мне умереть, пожалуйста.

Заснула ли она? Наверху стих военный грохот. Кто-то встал прислушиваясь. Жизнь исчезла вне желтых стен и желтушного потолка. Прошел час или несколько, тянулась вечность – может, их засыпало, они в могиле, оттого и прекратилась война? Но потом открылась дверь – и ввалился военный человек:

– Все кончено! Столица капитулировала!

И некто сказал:

– Война окончена.

Окончена, война окончена – как она могла закончиться?

– Идите по домам, враг входит в город, оставайтесь дома.

Больше никто не говорил. В молчании потянулась цепочка выживших. Она спотыкалась на ступеньках. В серо-желтом тумане пахло болью и пожарами. И Катя отряхнулась, как сбрасывая с себя тараканов, – туман цеплялся за нее, пачкая и напитывая смрадом.

– Берегите себя, – сказала ей женщина, пряча кота под

воротник халата.

Но она пошла быстро, безразличная к людям. Уже привычно настроила фотоаппарат: были свалены в высокие баррикады автомобили, пролетки, трамваи; много мусора на пути, камни и порванные рельсы, и тротуар, вздыбленный или раскрошенный, обрушенное и дотлевающее, с загноившимися ртами вместо окон с дверьми, а поверх развороченных плит – обожженные, остывшие тела без конечностей, и тут же, близ них, – тронутые разложением конские туши, и уцелевшие бросались к убитым животным, отрывали себе гниль и прятали в юбки, чтобы позже насытиться. Она проверила пленку – оставалось немного, но она не экономила, хватаясь за всякое, пытаясь поймать изменчивый призрак войны.

Она взглянула на знакомых – невыносимо знакомая униформа, в которой она обнимала какого-то человека. Неспешно они приближались, и от них бежали, прятались, прятались чужие местные. Как не своими глазами Катя посмотрела в фотоаппарат – приятно-знакомое ей искажалось, к ней шли чужаки, что несли с собой только страх и опасность.

– Что? Хватит! Эй!

Человек схватил ее фотоаппарат и потянул на себя, а она схватилась за горло – ремешок больно врезался в ее кожу.

– Не снимай! Мразь!

В ужасе она уставилась в это жесткое выражение, и тело ее изнутри словно сжалось. Впервые человек в этой униформе смотрел на нее не как на случайную прохожую, знакомую

или подругу – она была жалким, поверженным врагом, ее нужно было растоптать, истребить. Ее можно было убить и не понести наказания.

– Отпустите, – глухо попросила она.

Услышал ли он в ее голосе страх?

– Я... вы слышите, как я говорю? Отпустите.

Понимание скользнуло в его глазах, мгновение он колебался, а затем сильно рванул ее к себе – и она отлетела к стене с порванным ремешком. С размаху он бросил фотоаппарат и стал бить его каблуком сапога.

– Стойте, стойте! Вы сошли с ума! Я журналист! Вы не имеете права!

Зачем, зачем, зачем она это кричала? Как ее фотоаппарат, как вещь он сильно ударил ее кулаком, а потом, когда она закричала, еще раз. С кровью во рту, с кровью на носу и губах она вжалась в стену и закрылась руками. Она ждала, что сейчас ее ударят еще, и снова, и снова. Унизительно было плакать, но она плакала от боли и животного ужаса. Оставив ее, победитель поторопился нагнать остальных. Она открыла лицо и, словно рвоту, выплюнула на пепельную землю кровь и три зуба.

На противоположной стороне стояли местные и смотрели на нее с сожалением и страхом.

В почтовом ящике она обнаружила письмо. Почерк на конверте показался ей смутно знакомым, но думать о том она была не в состоянии.

Ветреный, шуршащий, влажный мир был ей незнаком. Чтобы вернуть себе ощущение реальности, она сильно надавила на свои виски и поморщилась от боли; очертания дома, дорожки и ограды – она их смутно узнавала, но словно бы видела во сне. Неужели она спит? Но как тогда проснуться?

Шаги ее скрипели, юбка шелестела... шумели кроны... тихо дрожала трава... тихо, тихо, тихо, невыносимо громко жил мир вне ее сузившейся ничтожно Вселенной.

– Мария, Мария!

Она не поняла, что упала на чьи-то руки. Приоткрыв глаза, Мария сумела различить черты склонившегося к ней Альбрехта; поразительно, но он сумел не только ее поймать, но и удержать. С оставшейся силой она вцепилась в его одежду обеими руками и заплакала. Альбрехт обреченно вздохнул и обнял ее. И вновь не осталось ничего, кроме нее – и теперь Альбрехта, что спасал ее из бесконечной пустоты.

– Прости, прости... – пролепетала она.

– Я все понимаю.

Он сильнее обнял ее и помог пройти в дом. В темноте гостиной Мария упала в ближайшее кресло; то был не ее дом, не гостиная, не она – и как в непохожести остального собой оставался Альбрехт, это очаровательное чудовище, у кото-

рого она искала утешения, как у последнего живого человека?..

– Они спрашивали меня о тебе, – прошептала она еле слышно.

– Я знаю, – ответил Альбрехт и включил свет.

– Что они тебе сделают?

– Отправят на бойню, я думаю. Даже мой кузен им нужнее, чем я. Вытрите слезы. Я знаю, что хочется плакать, но вы излишне красивы в слезах...

На шутку его она улыбнулась сквозь слезы.

– Что теперь... со мной будет?

– Я не знаю. Если Софи не ошиблась в вашем случае, следует спросить у нее... если вы желаете знать правду, какой бы она ни была.

– У меня никого не осталось... никого... никого не осталось.

– Я знаю. Мне очень жаль.

Мария отвлеклась от своей боли, чтобы заглянуть в него приблизившиеся глаза. В них – о ужас! – было искреннее сочувствие.

– Вы верите в Бога? – спросил Альбрехт.

– Нет... это очень далеко от меня.

– Возможно, Бог вам поможет... если вы попытаетесь понять его.

– Вы религиозны... – как в мыслях своих сказала она.

– Я вызову вашу лентяйку, вам стоит выпить.

– Вы пили?.. О боже!

Остановись, остановись! Она пытается вырвать волосы, а они не слушаются, ускользают сквозь пальцы. Время утекает сквозь пальцы. Маленькая Маша цепляется за коня, и ее поднимают, и маленькая Маша слушает, как мама играет ей «Старинную французскую песенку», и маленькая Маша бежит по платформе, умоляя отца не уезжать на войну, и маленькая Маша смотрит в пустые окна, не понимая, зачем ее увозят из дома, и маленькая Маша стоит на могиле и думает, что осталась одна. Взрослая Мария обнимает шею коня, и обнимает мужа, что склоняется к ее постели, взрослая Мария кружится в новом платье и любуется собой в чужих зеркалах, взрослая Мария сбрасывает ненавистную женщину, взрослая Мария умоляет не уезжать и плачет в близкое плечо, взрослая Мария плачет по прошлому и обнимает чужого мужчину. Маша Воскресенская – кто она? Мария Гарденберг – кто она? Неужели это – она? Милая девочка, как ты прошла этот тяжелый и роковой путь?..

– Выпейте, вам это поможет... выпейте же, Мария.

Нехотя она отхлебнула; от крепости напитка ее затошнило.

– Я тебя ненавижу...

– Меня? – спросил Альбрехт. – Чем я виноват?

– Это все ты... ты животное. Ты чудовище.

– Да, я чудовище, – спокойно согласился ее утешитель.

– Вы... вы уничтожили мою жизнь... вы, вы, вы! Вы дали

этой партии силу! Вы дали ей насилие! Вы убиваете ради нее! Вы пытаете ради нее! Вы убиваете нас... ее именем... За что? За что? Чем мы заслужили?..

Убийственная спокойность Альбрехта была ненавистна. Она замахнулась, но он поспешно отпрынул.

– Ты чудовище! Чудовище! Чтобы вам в аду стореть! Чтобы вас разорвали на войне! Чтобы вы, чтобы...

– Пейте больше.

– Нет, нет! Не трогай меня руками, не трогай! Мне больно, мне больно!

Она кричала, обхватив себя руками. Понимая, что не может помочь, Альбрехт отставил стакан и сел близ ее кресла.

Красивая Мария танцует, обнимая себя за талию, и воображает, как ее обнимает любимый. Злая Мария смотрит вниз, соображая, убьется ли та, у которой нужно отобрать счастье... Несчастливая Маша плачет, зная, что больше не вернется отец, и она никогда не увидит дом, никогда, никогда! Маша Воскресенская бежит на пение пианино и виснет на руке плачущей матери. Мария Гарденберг смеется заливи-сто, распаковывая новые вещи и часто бросаясь на мужа с поцелуями и счастливыми восклицаниями...

– Я не отрицаю. Я допью за... А, все равно. Выпью. Я понимаю. Я не дурак. Причинять боль – это неправильно. Убивать – это неправильно. Война – это неправильно. Но мне говорят, как нормальному человеку. Нет, я все понимаю! Я не идиот! Я не из зоопарка сбежал! Я рос в обществе и не

виноват, что отличаюсь от вас.

Маша Воскресенская потерялась, она не может найти тетьку Жаннетт, ей страшно, а ее толкают незнакомые ноги... она зажимает уши, чтобы не слышать сирены...

– У всего должно быть высшее обоснование. У моей личности, у партии, у существования Софи. Разве я плохое что-то успел сделать, пока... пока не началось это со мной. Нет, нельзя мне так говорить. Я выпил, и я... я не понимаю, что творится в нашем доме. Нельзя жаловаться. Он не дает человеку больше, чем тот в силах вынести. Если так, то и живи с этим, мирись ли, сражайся ли с этим... У меня не стало сил сражаться. Я всю жизнь сражался, больше не могу, ни минуты... Вы же убили ее, Мария. Вы убили ее.

Мария оборачивается и замечает ее, она еле стоит на ногах, она машет, и та тоже замечает ее и на лыжах приближается к ней, она скользит легко, но лицо ее напряжено, она знает Марию...

– Может, в чем-то я мягче, всех человечнее. Многие считают себя честными, более того, хорошими. Я никого не знаю, кто всерьез бы считал себя плохим. В этом мы все похожи: черты разные, привычки, но есть та, что есть у всех – чувствовать себя положительным человеком. И хотеть личного счастья. Известная песня: «Я не виноват, это остальные виноваты... я, конечно, не без греха, но все же получше очень многих!». И вы таковы, верно? Вы не считаете себя виноватой. Вы убили – но вам хотелось личного счастья. Вы

считали себя вправе отвоевать его, если жизнь не бросила его вам в руки просто так.

Маша Воскресенская мечтает о собственном доме, и ласковой лошади, и саде, в котором она будет вечерами пить чай и немного курить...

– Я с себя вины не сбрасываю. Я слабый и не могу устоять... А если это нужно? Нужно же зачем-то, чтобы я был слабый и не устоял. Мне больно смотреть на чужое несчастье, но то, другое, сильнее меня. Раньше жалость и... страх... не за себя, а... страх чужой боли... они меня останавливали. Сейчас – нет, уже не останавливают. Она есть, она, эта жалость, не исчезла, она во мне, она мне мешает, я ее хочу и оберегать, и уничтожить, но она не останавливает. Мне хочется быть спокойным, уверенным, как остальные. Не бояться себя. Почему все это имеют, а я – нет? Это очень и очень тяжело. Это моя жизнь, не вы мне дали эту жизнь, не вам и решать, какая она у меня – больная или здоровая. Мы об этом с Берти бесконечно спорим, он не соглашается... но если жизнь разумна и имеет смысл, хоть какой-то, то разве может быть, чтобы жило существо абсолютно бесполезное? Что это за высшая сила или... если хотите, природа... но что это такое, если оно не знает, что творит? Не может быть таких ошибок. Это нелепо. Чувствовать, что ты не такой, как все, поначалу невыносимо.

Маленькая девочка Маша Воскресенская хочет любви и быть сытой. Кружатся огни, утекает время сквозь пальцы...

– Ужасное есть, оно в тебе само и развивается, а ты только смотришь, смотришь с омерзением, но дождаться не можешь, когда оно наконец-то во что-то существенное выльется... Это неприятно и страшно. Самому страшно. Как же, часть тебя, неотъемлемая часть тебя. Как убежать от себя? Как от себя самого скрыть, если знаешь все о себе, как никто не знает и не узнает, если не расскажешь сам? В юности, с непривычки, особенно боишься. Жалость и страх чужой боли только и спасали раньше. Они и сейчас есть, но не спасают уже. Как переступаешь черту – за этим уже не спасают, хоть бы и оставались в тебе. Я хочу быть счастливым. Счастье... из себя это выпустить... что в тебе бесконечно копилось, мучило тебя, побыть немного собой. Мысли – я их боялся, они меня врасплох застигали... ужасные, о боли, чужой, с этой жалостью, но с чем-то... совсем неизменным. Неужели это у всех? У всех? Все этим мучаются? Какие мысли? Не только у меня. И у всех знакомых... Неужели?.. Или нет? Они иначе чувствуют? Неужели им это не выпало, а только мне – эти мысли, с памятью, что это нельзя, плохо, нельзя, что у меня нет права о таком мечтать... что это не человеческое, а звериное... Как это вышло, что у меня звериное это есть, а у них – нет? В чем моя вина, что я успел плохого сделать? Мне хотелось... чьего-то участия. Чтобы меня выслушали, чтобы я мог говорить об этом, не боясь чужого ужаса, не боясь, что меня обвинят... Меня обвинили бы все, если бы я сказал об этом. А мне хотелось человеческого участия... если бы вы

все знали... чтобы не оставаться наедине с этими мыслями, с этим желанием.

Озлобленная Маша Воскресенская бежит в мучительном желании... Схватиться за ее шубку, сорвать с нее шапку, и толкнуть ее со всей силы, и бежать, и бежать прочь, не забываясь, поймают ли, поймут ли, что это – она. Маленькая Машенька хочет, мечтает, воображает, как ее обнимают, как ее вносят в теплый, безопасный, наполненный нежностью дом...

– Притворяться ужасно. Вначале я успешно все делал. Как все смотрели на меня?.. Такой милый мальчик, с улыбкой, с лаской ко всем, «словно солнышко засветит, так улыбнется». Но я не хотел этой нежности ко мне, я хотел участия. Как я мог сказать кому-то о себе... так себя уже показав... Осуждение – жуть, но и бороться с собой – такая же жуть. Вставать, ложиться с этими мыслями, пытаться гнать их, обвинять себя, а затем – искать оправдания. «Разве это можно? Неужели у меня нет силы воли? Я знаю, что боль – это преступление, а если я это знаю, если у меня есть мораль, если я человек, а не животное... Как это можно, если я разумен? Если у других этого нет, то почему есть у меня? В чем моя жизнь, в чем смысл этой жизни? Неужели – в этом? Неужели я больше ни на что не способен? Альберт хочет ловить преступников и наказывать их. Вот у него светлая, правильная мечта. Почему я не могу быть, как он? Почему я не могу, как он, хотеть такого же честного и светлого?..». Мисмис... она

не снесла этого. Я очень любил ее, и она любила меня. Мы могли бы быть счастливы. Хоть капельку сочувствия от нее, чтобы она знала о моей борьбе, и чтобы она боролась вместе со мной. Она не смогла этого, она ушла от меня. Может, вместе с ней... я бы справился... А сейчас все бесполезно. Я убил в себе это, убил обычного человека, каким всю жизнь хотел быть, – я убил его в себе. Если я захочу зачем-то... все равно к прежней жизни я не вернусь. С партией я уничтожил свою мечту стать обычным человеком, но не жалею. Такое это было облегчение, прилив сил, ощущение... полноты жизни, чувства, гармонии всего. Это было похоже на Божье благословение. Ничто не может с этим сравниться, никакая женщина не даст такого блаженства. Узнав его, как можно от него отказаться? Оно тем сильнее, чем дольше копится во мне. Я верю в Бога, а Он меня не остановил. Он не остановил, Он позволил мне это узнать, зная и то, что после этого я не смогу остановиться. Зачем? Может, так Он назначил мне призвание? У всякого свои способности, склонности, влечения... и это указывает на призвание, что сыграет в жизни человека роль. Значит, и у меня призвание, если я так чувствую. Я себе сопротивлялся, но ничего не вышло.

Несчастливая девочка Маша запуталась и кричит от ужаса!  
– Я люблю партию. Может, я ей больше не нужен, но я люблю ее очень сильно. Меня спрашивали, что меня привлекло. Я ответил: потому, что только в ней я полезен. Только в ней меня приняли. В ней я не боюсь быть собой. Я верю,

что Бог благословил партию на все нынешние грехи.

Но Бог есть любовь.

– Есть притча от Матвея – о месте, которое Бог обрек на уничтожение, потому что его жители отказались пойти к Нему добровольно. Вы ее знаете? «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их». Он поступает не по «любви», как нам кажется, уничтожая город, жители которого отказались прийти к Нему на пиршество. Он сначала уничтожает, Он может, и мстит за нанесенное оскорбление, за пренебрежение Им, но потом Он повторяет свое приглашение – для тех, что узнали Его ярость и Его огонь, и вот тут выжившие и пришли к Нему. Мы отвергаем Его, отказываемся служить Ему, потому что в мире полно бытовых радостей. Мы уходим от Него. И Ему нужно учинить массовое убийство, сжечь все и жизнь сохранить лишь малой кучке, которой ничего не останется, кроме как после учиненного мрака поверить в Спасение и Воскресение. Получается, Бог на стороне тех, кто за «несправедливость» и «зло» – против обывательского бараньего счастья... В безбожные и безнравственные времена снимается лучший урожай.

– Ты сошел с ума, – сказала Мария.

Она сумела встать с кресла. Близ глаз странно плыло, но она впилась ногтями в запястья, заставляя себя, через боль, обрести равновесие.

– Ваше письмо, – печально напомнил Альбрехт.

– Письмо?..

Она чувствовала: в письме этом кроется новое безумие. И все же, пока не пришла в себя полностью, открыла его – лучше сейчас, пока она не спокойна, пока она боится себя, пока ее кружит, как в карусели...

– Это Аппель, – прошептала она.

«Мария! Спасибо Вам за ваше гостеприимство. Оставляю письмо, чтобы вы, конечно, не пытались узнать, что со мной случилось. Сожгите письмо сейчас же, как прочтете. Конечно, вы должны рассказать Берти. Я взял его пистолет. Я хочу поехать в призывной пункт и кого-то убить. Я не знаю, зачем. Я не хочу ехать на фронт. Конечно, плохо – убивать случайных людей. Но, конечно, я их ненавижу. Я хочу их убить. Они – участники этого ужаса. Я, конечно, больше так не могу. Я хочу убить тех, кто призывает нас умирать. Конечно, мне стоит убить и самого себя. Я принес много зла. Конечно, я схожу с ума. Я закончу, чтобы это закончилось. Не пытайтесь узнать обо мне. Я сожалею о Катерине. Простите меня. Попробуйте пережить это. Прощайте».

Она спросила:

– Как все прошло?

Он отмолчался. Она смотрела, как он снимает пиджак и бросает его на спинку дивана. Она повторила:

– Как все прошло?.. Чем все закончилось? Альберт?

– Ничем. Совершенно ничем.

Желание Альберта убежать от честных ответов порой невыносимо бесило Марию.

– Нет, это ты совершенно немислим, – заявила она после паузы. – Не смей уходить! Ты ведешь себя так... словно мне наплевать!

– А тебе на меня не плевать?

– Разумеется, всем на тебя наплевать! А знаешь, в чем дело? В том, что вытягивать из тебя признания нужно как... Черт бы с тобой!

В ином случае Альберт усмехнулся бы на ее тон, но выражение его было прежним – растерянным, даже жалким: он понятия не имел, что теперь делать, и боялся признаться в этом даже себе.

– Так и знала, что Германн тебя не простит. Он ужасно злопамятный. Ты не виноват, что твоя сестра его не любила!

– Но это я виноват. Я обещал присмотреть за ней.

– Ты поступил по-человечески, – перебила Мария, – на твоём месте я поступила бы так же! Пусть злится, сколько хочет, но... Он уволил тебя?

– Нет. Меня уволила партия.

Она прикусила язык, чтобы не высказать, что она думает о партии. Мысленно она прикинула, какие неприятности может нажить себе, якшаясь с политически нестабильным, а затем одернула себя: это же Альберт, он не изменился, он не виноват, что партия не понимает его!

– Расскажи мне, – нерешительно попросила она. – Как это было? Что они сказали?

Открыв окно и закурив, он ответил:

– Ничего особенного: спрашивали, что меня связывает с Мингой, собираюсь ли ехать в Мингу, нет ли у меня знакомых, что за независимость Минги... Обычные вопросы. Я сказал, что я против идей матери и за империю. В каком-то смысле это... правда.

– И какие к тебе могут быть претензии? Ты не виноват, что твоя мать... тем более что твой отец был за партию с самого ее основания. Что им еще нужно?

– Не знаю, Мари. Не знаю.

Она сглотнула и спросила:

– Что же... делать дальше?

Больше всего она боялась, что Альберт повторит прежнее: «Не знаю, Мари, не знаю, не знаю, не знаю...». Оттого, не позволив ему ответить, она выпалила:

– Поезжай к Кате. Вместе вы справитесь. За границей есть эмигранты, они помогут, ты расскажешь им, что партия взъелась на тебя...

– Я не могу поехать к Кете. А один я там не выживу.

– Твое упрямство меня убивает, – заявила Мария, – как можно столько времени сопротивляться своему счастью... я не понимаю, отказываюсь понимать.

– Мари, мне кажется, это немного... не твое дело.

Она разозлилась:

– Ах, прекрасно! Давайте, мучайтесь до бесконечности! Мне-то что?.. Ты только и можешь повторять, что ничего не знаешь! Я даю тебе готовое решение, но нет же, Мария хочет как хуже!

Испугавшись, что перегнула палку, она резко замолчала. Как не слушая ее, Альберт курил в открытое окно и больно расчесывал шею.

Спрашивается, отчего он не хочет уезжать от партии, в один день лишившей его социального статуса, рабочих перспектив – а позже, возможно, и личной безопасности? Страх ли это, привязанность или безволие?

– Я спрошу Альбрехта, – сказал он, когда Мария пошла в свою комнату. – Возможно, у него есть работа или деньги, чтобы переехать.

Она закрыла свою дверь.

Кузен Альбрехт, которого он не видел несколько месяцев, нашел его как-то вечером и, не сказав ничего, присел близ него на скамью. С минуту оба молчали, размышляя, как правильнее начать, а затем Альбрехт произнес:

– Мария сказала мне, где ты. Хм... она беспокоится за

тебя. Она сказала, ты пошел исповедоваться.

– Я пошел спросить совета.

– И как, ответил Бог? Мне не отвечает.

Язвительность Альбрехта непривычно вызвала у него не раздражение, а теплое, на грани с нежностью, чувство – он скучал по кузену, и за то в том числе, что Альбрехт не отказывался от него, что бы ни творилось в их жизни.

– Ты хотел со мной поговорить, – обронил Альбрехт и закусил губу.

– Да... я бы попросил у тебя кое-что...

– Хорошо, мне не привыкать. Что у тебя?

– Я...

Альбрехт терпеливо ждал. Он же рассматривал большой крест напротив; в позе человека на нем читалось нечеловеческое смирение с собственной участью.

– Мне нужна работа, – сумел закончить Альберт.

– Я слышал, что тебя уволили, – ответил Альбрехт, – мне жаль, Берти, честно, жаль... Но отчасти ты сам виноват. Мисмис не заслужила твоей мужественной жертвы.

– У тебя есть работа, Альбрехт?

– Зависит от того... что ты хочешь. Требуется гибкость и практичность.

И, слегка понизив голос, Альбрехт объяснил, что нужен человек максимально бесстрастный, без жалости к арестованным, желательно – с отменными физическими навыками.

– Эм... ты неправильно меня понял.

– Но я не сказал, сколько платят!

– Спасибо, не стоит.

– А больше у меня ничего нет, – возразил Альбрехт. – Тебе нужна работа или нет?

– Не эта.

– А какая? Пожалуйста, отправляйся торговать хлебом, с твоим образованием – отличная работа. Можешь уехать...

– Мне не на что, – признался Альберт.

В глазах кузена промелькнул испуг.

– Как? А что наследство?

– Досталось государству. Моя мать – изменница, Альбрехт! Ты думал, у меня осталось что-то от нее?

– Да как? И квартира в Минге? Не поверю!

– Как хочешь, не верь, я говорю правду. У меня ничего нет. Иначе я бы... не просил у тебя работу, – упавшим голосом закончил Альберт.

На вопрос о личных сбережениях он странно рассмеялся. Ошеломленный его непрактичностью, Альбрехт разразился речью о глупости старшего кузена и что «все давно устроились, абсолютно все – кроме тебя».

– Ты меня все больше изумляешь, Альбрехт. Был уличный мальчишка, витрины бил, хулиганил – а кем стал? Рассказываешь мне о практичности!

– Ну, ничего неизменного не бывает. И не так уж я сильно изменился. Если бы не партия... Я коплю и скоро куплю собственное жилье.

– С ужасом ожидаю продолжения. Да, я уже слышал такие истории и могу предсказать, чем ты кончишь. Заделавшись хорошим работником и завоевав уважение в партии, ты накопишь деньги, купишь дом, присмотришь себе поблизости невесту, этакую улыбочивую и скромную Маргариту, женишься на ней, сделаешь с ней несколько детей, угрохаешь на это все деньги, опять станешь копить, чтобы выучить их и оставить после смерти приличное наследство, тем временем на работе получишь повышение и обрадуешь жену, которая по этому поводу на неделю даст тебе отдых, перестав тебя пилить из-за нехватки денег и твоих поглядываний на сторону, затем ты станешь копать под своего начальника, желая занять его место...

– А мне нравится, неплохо! – слабо рассмеялся Альбрехт. – Но ты любую мелочь обратишь в невообразимую пошлость! Я не стану жить как те же Гарденберги. Ты, кстати, бываешь у них?

– Угу.

– И как?

– Ни лучше, ни хуже остальных.

– Герман прав: снобы и мещане! – резко ответил Альбрехт. – Она и старше его, так?..

Имевший мнение, отличное от его, Альберт все же промолчал. Смягчившись и, кажется, что-то сообразив, Альбрехт заявил:

– Берти, если кратко, могу спросить в криминальной по-

лиции. Но, если возьмут, то не за старый стаж и не за красивые глаза. Хочешь, узнаю?

– Хочу... Спасибо.

– Не за что пока. Я позвоню. А пока... хочешь, угощу тебя обедом? В двух кварталах хорошее кафе.

Позвонил он через пять дней и, дождавшись, пока Мария передаст трубку его кузену, пропел в нее:

– «...Сегодня я, завтра он, послезавтра ты, а автомат мой...». У меня есть вакансия. Слушаешь?.. Работа грязная, на земле, не за столом, как ты привык. Я сказал, у тебя большой опыт в криминальной психологии и в особо тяжких... Ага, особо тяжкие, на местах. И небольшие дополнительные обязанности, без них должность не получишь. Извини. Германн сильно на тебя разозлился. А в криминальной его невзлюбили. Это... больше ничего. Хочешь?.. Обратись к Т., запиши число и время. Он хочет проверить тебя и твои... нервы.

Указанный Т. оказался маленьким человеком в больших круглых очках и с обширной лысиной на затылке. Приветливо улыбнувшись, он выложил временный документ и прошелестел в полной тишине:

– Я сожалею, что мы ставим вас в... это положение. У нас не хватает людей, а приказ поступил.

За документом появился лист с фамилиями.

– Но... мне сказали, что... то есть я таким не занимался. Я работал в прокуратуре. Я сам никого не арестовывал.

– У вас все получится, – тихо ответил человек.

Ужас от глупости его положения и злость на Альбрехта, засунувшего его в эту историю, лишили его способности мыслить быстро и логически.

– Поймите меня правильно, но у меня, во-первых, нет полномочий, я у вас не работаю... и я... – Что же возразить? Что возразить? – И я не знаю, по какому обвинению...

– Шпионаж в пользу соседнего государства, экстремизм, действия, подрывающие внутреннюю целостность государства или же оскорбляющие ее государственные символы, планирование и подготовка террористических атак на территории нашей страны с целью подрыва государственности, это – уже на третьей странице. Какие-нибудь еще вопросы? Вы собираетесь работать или так, просто пришли?

– Нет, только... – Он мельком взглянул на список на столе. – В вашем списке могут быть мои знакомые по партии. Или кто-то из... Это же...

Это же репрессии!

– Лица, нарушившие закон, обязаны быть привлечены к ответственности вне зависимости от того, дружили мы с ними или нет. Вам не нужно будет применять силу. С вами будет группа, ей все разъяснено, вам будут беспрекословно подчиняться... Так вы работаете или нет?

Черт бы побрал Альбрехта с его «сегодня я, завтра он, послезавтра ты». Не послушаться ли Марию, не сбежать ли, заняв денег у нее или Аппеля, или Кроля, сбежать в неизвест-

ность, в незнакомые места, в чужой язык, в вечные поиски непонятно чего...

– Хорошо, – быстро сказал он. – Я согласен на ваши условия.

Зачем я это делаю, спрашивал он себя, зачем я соглашаюсь на то, что не хочу, нет – считаю неправильным, зачем я соглашаюсь с партией, если не люблю ее, зачем не уезжаю, зачем пытаюсь служить во имя того, что не принимаю? Лихорадочно он копался в своей голове, надеясь отыскать ответ: почему, чем дальше, тем меньше он сопротивляется? Страх из бессознательного мешал мыслить здравомысляще.

В каком-то убежище, в которое он залез с еле различимым омерзением, он отыскал свою сильную и болезненную связь с матерью. Возможно, ему не хватало ее любви, мать больше любила Мисмис, ее юное и красивое отражение, Мисмис доставалась ее забота, ее беспокойство, а Мисмис была не похожа на нее – решительная, способная отказаться от навязанной ей роли, готовая убежать, наплевав на последствия... Постоянное соперничество с Мисмис, обычно негласное, соперничество за место главного, лучшего ребенка, за место в сердце матери; не потому ли он стремился понять и стать похожим на мать – чтобы она заметила их схожесть и потянулась к нему в желании обрести родственную душу? Мать, которая никогда не сопротивлялась отцу, прощала ему пренебрежение и измены, смирилась с партией и империей, по-

сколько в них верил ее муж и это было «лучше для семьи» – а после предала и партию, и империю, и память отца, устав от навязанных ролей. Сколько смелости ей понадобилось, чтобы выступить против линии партии? Как она посмела пойти против мужа?

Зачем сопротивляться, если сопротивление бессмысленно? Зачем нарываться на неприятности, если отвратительное случится, как ты ни старайся... Несчастливая мать, что плачет на постели и прогоняет меня в омерзении из комнаты – попытайся я вмешаться, разве я бы спас ее от тех, кто сильнее нас обоих? Ты наказан! Почему ты за меня не заступился? Какой ты мужчина после этого? Как ты мог меня бросить?.. Мурр никогда бы меня не бросил! За что его?.. Я тебя правильно не хотела! Ты за меня не заступился! Твой отец бы заступился... они бы все заступились... а ты... Крыса ты, мерзкая... Из-за тебя его убили! Нет, не нужно разбираться, нужно забыть, запихнуть это обратно.

– Сигарета есть? – спросил кто-то у него.

Молча он протянул свою пачку.

– Ты новый, что ли? Впервые тебя вижу... Ты, наверное, с теми? Все-таки хороши! Хочу себе такой кителек. Наручники у тебя свои есть?

Красивые, румяные, в элегантной форме с любопытством на него уставились – сутулого невысокого человека в некрасивых шляпе и тренкоте, словно вытянутого против воли из прошлого.

– Все тут? В машину – и поехали!

Что же я делаю? Остановись, пока не поздно!

В машине кто-то из них запел, другие, смеясь, подхватили. Он был чужаком – старался отогнать плохие мысли, о которых никто из них не имел понятия.

– А можно к вам обратиться, г-н следователь?

– Ну?

– А вы скольких уже посадили?

– Тебе зачем?

– Может, у вас голова болит? Хотите, мы вам наших таблеток дадим?

– Нет, не хочу.

– Вы мрачный что-то.

– Мне скучно. – Они же только смеются над ним!

Невыносимо остановить механизм, если уже оказался в нем.

На первой же квартире случился ряд неестественностей; затем он обновился – и уже в новом доме.

Тайным чутьем те понимали, что он неопытен, оттого были с ним, как с человеком, и ждали к себе человеческого отношения. Обвинения в оскорблении, террористических актах и шпионаже заставляли их врасплох. Сначала:

– Стойте, выслушайте нас! Это какая-то ошибка! Не может быть такого! Мы честные, мы ни за что бы не... (множество вариантов).

И затем:

– Как – тюрьма? Вы не можете! У нас есть права! У вас нет доказательств! Я пожалуюсь партии!

– Мы разберемся. Указано, что вы нарушили статью.

Карикатурно даже, как по написанному: так должен говорить исполнитель, а вот так отвечает обвиняемый в отказе признавать себя виновным. Но как же сложно говорить решительно в ответ на просьбы и самоуничижительный тон! Не в силах противостоять, он выслушивал жалобные излияния, не возражал, объяснял, что ни в чем не виноват, а только получил приказ и не может его не исполнить. Женщины, отчаявшиеся убедить его, хватали его за руки, провожая, и ему шептали испуганные и умильные слова. Мать одного из задержанных, прося заступиться за ее сына потом, в том страшном месте, опустилась на колени – но его испугал не сам этот жест, а словно бы театральность или же прописанность этого.

– Вы, наверное, считаете, что так за сыновей просят все матери мира, – с необъяснимым хладнокровием сказал он. – Но, увы, каким бы благородным в своей униженности ни казался вам ваш поступок, я не могу принять вашей просьбы. Пожалуйста, не ставьте меня в неудобное положение перед моими людьми.

Она не желала вставать, затем все-таки схватила обеими руками за его плечи, называла его во временном помешательстве «милым, нежным мальчиком». Сын ее, краснея за ее слова, за ее самовольное унижение, не стерпев, сказал

сквозь зубы:

– Как ты можешь унижаться? Мне противно!..

В смутно знакомой комнате его встречала тонкая, светло-волосая женщина. Она тихонько на него глядела, а потом, отвлекшись от помощи мужу, приблизилась и спросила:

– Скажите, пожалуйста, ваша фамилия случайно не Мюнцце? Я не ошиблась?

– Нет, не ошиблись, – сглотнув, узнав ее тоже, ответил он.

– Боже мой... значит, вы тот юноша, тот мальчик, Берти... Вас Альбертом зовут?

– Какое это имеет значение? Я не понимаю.

– А-а-а, я слышала, что ваша мама умерла, и папа... тоже... – испуганно залепетала она. – А-а, вы знаете... это какая-то нелепость! Милый мой, по старому знакомству... – зашептала она. – Это нелепость! Как это? За что? Мы тринадцать лет в партии... За что же это нас?

– Вашему мужу мы это потом объясним. Послушайте...

– Нет, нет, – повторяла она, в волнении не замечая, что больно сжимает его руку. – Мальчик мой... ну что же это? Помилуйте! Не нужно! За что? Мы всю жизнь партии посвятили! Как это? Из памяти о вашем... о вашем... Что вы? Разве можно?..

Она заплакала с громкими всхлипами, дрожа маленькими плечами и светлой склоненной головой. От унижения ее, от близости ее, памяти о ней, Альберт почувствовал себя беспомощным.

– Перестаньте немедленно! Перестаньте плакать!.. Это приказ.

Она плакала, упав головой на его плечо.

– Послушайте! Я вам приказал перестать плакать!

Она взглянула на него, как на глупого; ослабев, присела на диван, по-прежнему дрожала, будто в лихорадке, но уже не плакала. Арестованный вышел в прихожую без нее. Спустя полминуты она выбежала все же за мужем в прихожую, но не за тем, чтобы помочь ему или сказать что-то, а вцепилась с непонятно откуда взявшейся силой в Альберта.

– Пожалуйста, постой, постой! Мы были у твоих родителей, ты помнишь? Что же это такое? Мы свои, ты что, забыл? Не оскверняй их память!

– Да что же вы ко мне пристали?.. Я... я не могу. Отпустите меня! Вы мешаете исполнению моих должностных обязанностей!

Человеческое и профессиональное ругались в нем. Он попытался отодрать ее, случайно замахнулся и попал по ее жуткому лицу. С животным диким воплем она отлетела от него к стене и взглянула уже с болью и яростью.

– Нет, нет, простите! Боже мой, простите, я не хотел! Клянусь вам, я не хотел!

Муж ее, опустив не скованные пока наручниками руки, стоял напротив, глаза уставив в пол. Он отвернулся к стене, чтобы те не заметили, как у него пошла кровь.

Чуть легче было не с партийными, сторонними – эти не

рассчитывали на его прощение и помощь. Женщины их были спокойны; с постными и бледными лицами, не суетясь, ничего не говоря, они занимались сборами. Глаза у них были не злыми и отчаявшимися, а презрительными и сухими, губы – одинаково блеклыми и сжатыми. Они напоминали одновременно его мать и Кете. Он панически боялся причинить им боль. А если причинять боль приятнее, логичнее, естественнее, чем кажется?

Не так ли начинается путь, с которого нельзя сойти?

С кузеном Альбрехтом он встретился в столовой; тот вклинился в толпу оголодавших, бледных коллег и, схватив со стойки последний бутерброд, ринулся к нему. Он стоял у столика, не имея места, пил чай и что-то ел из своего. Альбрехт примостился близ него и расстегнул заляпанный кровью воротничок.

– Что-то ты плохо смотришься, Берти. Голова у тебя не болит?

– Нет, я так, – тихо сказал он, – устал просто. У меня пошла кровь...

– Ты во сколько заканчиваешь?.. А, Берти? Ну?.. Я в одиннадцать буду у себя. Спросишь в четвертом, как меня найти. Хорошо? Посмотришь, где я обитаю. Так забежишь ко мне?

И, завернув оставшуюся еду в салфетки, Альбрехт выбежал за человеком, что отзывал его.

Не уехав с другими, а спросив, как найти кузена, Альберт

пришел в его комнату после одиннадцати. Только вернувшийся с дела Альбрехт снимал новенький французский летний плащ.

– Тяжело?.. – спросил он дружелюбно Альберта. – Да, это не с бумажками работать. Эта работа требует усилий.

– Я так устал, что не смогу заснуть, – признался Альберт, присаживаясь к столу.

– Слышал?.. Генерала Ш. убили.

– Да? Последнего...

– Да. И кого-то еще из генералов. Зря военные нас не боялись. Они считают, что справятся с нами, если возникнет необходимость. Снобы проклятые! Выскочки! На старика рассчитывают. Старик их должен поддержать. А он при смерти лежит, вот-вот в ящик сыграет. Может, теперь они испугаются?

– Можно было договориться с ними, – вяло сказал Альберт.

– Невозможно. Это власть, с них станется путаться и мешать. Победитель может быть только один. Просто старик их умирает, все понимают, что нужно перестраиваться. Они цепляются за старика, защищаясь от нас и пытаясь помешать нам делать то, что мы считаем нужным. Как только он умрет... что будет? Нужно, чтобы они не просто приняли нашу власть, – нет, нужно, чтобы они боялись нас. Помнишь, в книге есть отличное замечание...

Альберт закончил за него:

– «Тот, кто раз позволит себя запугать, впоследствии будет делать это в геометрической прогрессии».

– Именно. Власть военных закончена. Мы сбили с них спесь привилегированного класса. Они запомнят, что любой из них может стать нашей мишенью.

– Это ты убил генерала, не так ли?

Внезапно Альбрехт рассмеялся.

– Нет. Это твой бывший начальник Германн. У меня нет полномочий, чтобы убивать высоких шишек. А ты что-то не очень, Берти... Выпей со мной, что ли.

– Не хочу напиваться.

– Брось, с чего бы? Или боишься что сболтнуть? Мы свои, Берти, ничего.

Решив не протестовать, Альберт выпил с ним три стакана. Перескочив с рабочих вопросов на личные, кузен стал рассказывать о пышногрудой секретарше, которую он соблазнял цветами и конфетами вторую неделю, а она продолжала заигрывать, но не сдавалась.

– Ты бы хотел жениться? – перебил его Альберт на полуслове.

Тот с сомнением нахмурился.

– Нет... зачем жениться на одной, если можно спать с разными? Это скучно. Но... потом нужно, разумеется. Партия не слезет, пока я не женюсь. Эта... как она... рождаемость падает.

– Я думал, ты хочешь жить с Мисмис.

– Вы – мои кузены, – перебил его Альбрехт.

– И что?

– Партия бы не позволила, есть риск этих... отклонений у детей. Ну ее.

– Мы любим вопреки всяким отклонениям.

– Ты, если выпьешь, становишься романтиком, – ответил Альбрехт. – Чушь это. Мы, мужчины, эти... полигамны. Мы не эти... как твой приятель Аппель. Эти вон...

Запутавшись в том, что собирался сказать, Альбрехт замолчал и влил в себя больше алкоголя. От выпивки Альберту стало нехорошо и печально, а спать совершенно не хотелось. Против своей воли он припомнил золотисто-рыжее сияние и сказал:

– Час назад ко мне пришла женщина и предложила переспать с ней.

– Что, правда? – отчего-то захихикал кузен. – А что было дальше?

– Она думала, это я решаю судьбу ее мужа. Она... спросила, хочу ли я ее и готов ли отпустить его, если она станет моей любовницей.

– Так, и что? Она хоть красивая была?

– Я... не знаю.

Нетерпеливо кузен переспросил:

– И чем вы закончили? Как она была?

– Никак. Она... я объяснил, что ничем не могу помочь, и она ушла.

– Что? А сколько ей было? Старая, что ли?

– Нет. Нашего возраста... – И с пьяным вызовом он спросил: – Я что, должен был обмануть ее?

– Нет, но...

– Как бы ты поступил на моем месте?

– Я бы согласился, – без колебаний ответил кузен. – Если она хочет, почему я должен отказываться? Я ее не заставляю. Но к чему мое мнение? Ты не спишь с женщинами, Берти. С этим успехом она могла домогаться монаха.

Он разозлился. Заметив его злость, Альбрехт откинулся на своем стуле, словно пытаясь увеличить дистанцию.

– По-твоему, я не могу спать с женщинами?

– Э-э, я этого не говорил. Я озвучил факт, который...

– Кто тебе сказал, что я с ними не сплю?

Альбрехт нервно рассмеялся и проглотил остаток из стакана.

– Ну... никто. Извини, Берти. Ты наверняка с ними спишь. Ты мужчина... а все мужчины спят с женщинами. Кроме Аппеля, но его мы не считаем, он не мужчина. А ты...

– А что значит быть мужчиной?

– В каком смысле?

– В... моральном. Кроме женщин.

– Хм, это значит быть решительным, безжалостным к врагам. Это... уметь брать все, что тебе хочется, и не важно, на что пойти во имя желаемого. Это... знать, что власть в твоих руках и не бояться ею пользоваться. А что?

– Понятно.

– Тебе хватит, Берти. Давай закончим, а? Давай я отвезу тебя домой.

– Я сегодня ударил женщину. Это мужской поступок?

Тот размышлял, одеваясь и доставая ключи от машины.

– Иногда... это вынужденное действие, – решил ответить Альбрехт. – Иногда женщины нарываюся на то, чтобы им врезали.

– Я не знаю, что такое – быть мужчиной. Альбрехт, я не понимаю. Я... не пьян. Честно, Альбрехт. Я...

– Сейчас я отвезу тебя домой. Хорошо? Ты устал. Поехали, Берти, умоляю тебя.

Но в машине Альберт пересказывал нынешний день, как он боялся и скольких усилий стоило прикрываться безразличием. Кузен же его решительно не понимал, чего от него хотят.

– В этом есть что-то... неправильное. Меньше всего мне бы хотелось причинять кому-то боль. В первую очередь слабым и... женщинам. Я... не знаю, как мне поступить.

– А меня зачем спрашивать?

– Я запутался! Я... очень хочу к Кете.

– Нет-нет, хватит! – запротестовал Альбрехт. – Оставьте свой романтик себе! Ничего не знаю!

– Я запутался. Я... не знаю... Я... жил с мыслью, что быть мужчиной ужасно. В смысле... что быть мужчиной – это быть сильным, безжалостным, не бояться, как ты говоришь,

делать больно... Не бояться брать, что хочешь, ломать чужое сопротивление, ломать все на своем пути. Любить партию и «Единую Империю». Не слушать возражений. Ни в чем не сомневаться. Подчиняться силе сильнейших и показывать силу тем, кто слабее меня. А я... у меня не получается. Я не сильный, не жестокий, я просто...

– Ты такой же, как я, – ответил Альбрехт, – просто не хочешь признаться в этом самому себе.

– Я боюсь сломать кого-то, я боюсь сломать Кете, я боюсь... что не смогу...

– Значит, ты знаешь, что способен на это. Не знаю, Берти, я не понимаю тебя. Мне... Мы приехали. Берти... Берти!

Остановившая его, Альбрехт положил руку на его рукав.

– Берти, в партии и... сейчас нет места нытикам. Ясно? Если не хочешь неприятностей... нужно хорошо работать и заслужить уважение в партии. Мне можешь говорить, как захочешь, но... ты сильный, решительный, смелый и любишь партию... Ясно? Если ты не научишься, ты плохо кончишь.

– Я знаю. Таковы новые правила. Я запомню.

Я люблю партию, я люблю «Единую Империю», я люблю партию... Мне нужно работать и молчать, и работать, не спрашивая, зачем это нужно. Но зачем это партии, во имя чего?

Он не хотел говорить с Марией о случившемся, о том, чем занимаются его знакомые, о политике, как бы ни было

это важно им обоим. Мария знала, что ему снятся кошмары, но не выспрашивала, что именно является к нему по ночам. Проснувшись, услышав, что он стонет во сне, она прибежала к нему с лампой и трясла его, пока он не просыпался; приносила ему воды, старалась позаботиться о нем, все так же ни о чем не спрашивая, а из единственной потребности помочь ему как не чужому человеку. Заметила она, к собственному огорчению, что Альберт с меньшим желанием ходит на работу, и кое-что стала понимать, обнаружив служебную записку в его костюме: «Министр-президент и глава тайной полиции взяли на себя руководство всей полицией страны. По высочайшему приказу все документы, относящиеся к операции последних двух дней, должны быть немедленно уничтожены. Об исполнении приказа доложить». За ужином она притворилась, что ничего не знает, и Альберт, к счастью, не заметил, как ей тревожно и не по себе.

Чуть более чем через месяц газеты вышли уже с траурными рамками, сообщая, что 2 августа, в девять часов утра, умер последний человек, сдерживавший амбициозность партии. Рассказы о прославленной жизни умершего опубликовали все главные газеты, близ них печатались воспоминания воевавших с ним офицеров или знавших его по государственной службе, и тут же, обязательно, – письмо президента, в котором он передоверил свой пост нынешнему главе правительства и единственной партии в стране. Армия приняла присягу новому главе страны уже через полчаса после

смерти прежнего.

– Тут написано, – не отрываясь от газеты, сказала Мария, – что войска «шумно ликовали». Какая любопытная формулировка, особенно если учитывать, что в вашей армии это не принято. Как это все случилось?

– Стоит ли из-за этого волноваться?

– Тебя не волнует, что творится что-то странное? Ты читал присягу?

– Чего ты хочешь? – утомленно спросил Альберт.

– Твоего мнения. «Клянусь беспрекословно повиноваться...».

– Обычная имперская клятва. Если армия не хочет быть оттеснена партийными «толпами», ей нужно клясться, в чем ей скажут.

– Мне беспокойно, – заявила Мария.

– Так поезжай к Катерине.

Она обиженно скривилась и не говорила с ним несколько часов – он посмел напомнить, как она сама посылала его к Кете, если он чем-то был недоволен. В установившемся молчании он размышлял, стоит ли бросить работу и, может быть, уехать в Мингу, но затем отбросил эти мысли. После «испытательного» от него не требовали ничего, что сталкивалось с его совестью, а в Минге у него не осталось ничего, кроме воспоминаний. После колебаний он отменил и желание встретиться с Кете – кто знает, она могла уже влюбиться и выйти замуж и его появление вызвало бы неловкость у обо-

их.

Но отчего Мария остается, если партия не близка ей и она боится тоталитарного мышления? Наверняка бы Жаннет нашла ей место. Наверняка бы Кете была счастлива. Но Мария... у нее оставалась мечта, винить в которой он ее не мог.

Он услышал, что Аппеля зовут работать в «Empire Today». Собственно, посоветовал его Петер Кроль и исключительно из благих намерений – как тот их понимал: Аппель же давно не работал, перебивался дружескими пожертвованиями и экономил на себе безжалостно.

Из любопытства он как-то утром открыл свежий выпуск «Empire Today» и обнаружил на замечательном месте новые стихи Кроля (естественно, сам Кроль их терпеть не мог). Патриотизм в них зашкаливал.

«Святые любят и хотят пиво,  
А мы хотим умереть красиво.  
Изотрем мы мундиров материю –  
Плохие парни спасут империю!  
Не надо больше сосисок с пивом –  
По трупам вражьи́м пройдем локомотивом!  
Святые ноют про мир и сытость  
И ненавистна им народа плодovitость.  
Поднимем в бой мы нашу артиллерию –  
Плохие парни спасут империю!».

– На грани с гениальностью, – с улыбкой ответила Мария.

Ниже были размышления некоего партийного философа, как поговаривали, наиболее влиятельного в партии:

«Признаюсь: я сторонник репрессий. Понимаю: репрессии, вероятно, затронут не только виноватых, но и правых. Я за репрессии в целом, если можно так сказать. Репрессии нужны, чтобы мы все осознали, что должны нести ответственность за свои дела и убеждения. Убежденные люди не отступят и сделают, что желают, а остальные научатся выбирать выражения. Могут ли репрессии коснуться меня? Уверен: могут. Я могу ошибаться. Если мои ошибки принесут зло обществу и стране, несомненно, я должен понести наказание. При этом, разумеется, есть множество фигур, которые сейчас заслуживают кары – либералы и коммунисты, предатели, пацифисты и коррупционеры. Их покарать нужно жестоко. Призывая репрессии, должно понимать: и ты можешь стать их жертвой. Но и они станут жертвами, заслуженно. Репрессии – это тотальность. На них нужно решиться. Главное: начать их, остальное приложится. Тяжело признать: великие страны добиваются успеха благодаря успешному уничтожению сломанных деталей. Заканчиваются репрессии. Начинается разложение и вымирание. Если мы верим в империю и великую войну, мы вынуждены уничтожить демократов и пацифистов. Без иллюзий: если победят наши враги, они с удовольствием уничтожат сторонников империи и войны.

Никогда нам не ужиться на одном клочке земли. За слова и мысли нужно платить как за действия. Ты либерал или пацифист? Занимай тюремную камеру. Не спрашивай, за что тебя наказывают: за то, что ты либерал и пацифист. Если ты, либерал и пацифист, сильнее меня: я сяду на твою тюремную койку. За что: за то, что ратую за империю и великую войну. Твои убеждения хоть чего-то стоят, если ты готов отдать за них свободу и жизнь. Если ты не готов умереть за свои идеи, то у тебя нет никаких идей».

– Я согласна умереть за французскую косметику и «византийское» платье, – сказала Мария. – Жаль, никто меня не спрашивает.

– Попроси у Дитера, он тебе подарит.

В искреннем удивлении она на него уставилась.

– Откуда ты знаешь, что мы снова общаемся?

– Я не слепой. Я видел итальянский платок, зря прятала, я наблюдательный.

– Ха, считаешь, у меня не может быть другого поклонника? – вспыхнула Мария.

– Я знаю, сколько он стоит. Не всякий партийный может купить такой.

– Хорошо, я попрошу у него платье, – с иронией ответила Мария, – и, знаешь, приглашу дизайнера к нам, это платье собирают на хозяйке. Ты же не против?

– Что ты, когда я еще увижу, как собирают платье за несколько десятков тысяч.

Она пожала плечами, показывая, что не намерена реагировать на его колкий тон.

Но, собирая тарелки со стола, она осторожно, напуская невинное выражение, спросила:

– А можно... я приглашу его к нам?

– Зачем?

– Ну... чтобы поболтать вместе.

– Хочешь превратить нашу квартиру в место свиданий?

– Я этого не говорила, – снова вспыхнула Мария. – Мы не можем бывать вместе нигде, повсюду его знакомые. Я прихожу к нему в номер в свой обеденный перерыв. Я хочу хоть иногда видеть его в спокойной обстановке.

– А при чем тут я?

– При том, что это и моя квартира.

– Ты его любишь?

– Да, – с вызовом ответила она.

– Я подумаю в обмен на что-нибудь полезное... мне.

– Тьфу, каким расчетливым ты стал!

Спросить у Дитера можно было разное – таково было его положение в военном штабе и состояние его жены. Отношения с партией у него были нейтральными, но часть партийных оказали бы ему услугу в обмен на близкое знакомство, например, с офицером разведки. Включив его, Альберта, в эту любовную тайну, Мария невольно сделала из него не только соучастника, но и опасного свидетеля. Она и ее любовник не хотели, чтобы об этом узнали, и в их интересах

было посулить ему выгоду за молчание.

– Не верю, что ты попросишь что-то материальное, – сказала Мария двумя днями позже. – К сожалению, это было бы нереалистично просто.

– Ваши деньги мне не нужны.

– А жаль, – ответила она. – Дитер помог бы тебе уехать, если бы ты попросил.

– Есть кое-что... чем он может помочь. Не мне.

– Вот как?

– Да. Нужны связи и, возможно, деньги... чтобы устроить человека на некоторое время.

– Ты скажешь, в чем дело? – перебила Мария. – Кто этот человек?

– Аппель.

Она поежилась, припоминая, сколько проблем заработал его приятель из-за своей несговорчивости.

– А что с... ним? Разве он не работает на...

– Нет. Его забрали в психушку. Мне сегодня сказал Петер. У меня нет знакомых, которые бы вытащили его от психов. Понимаешь?

– Значит, – тихо ответила Мария, – ты просишь, чтобы Дитер поручился за него?.. За... психбольного?

– Ты прекрасно знаешь, что он не псих!

– Он псих, если не уезжает... а вместо этого бросает вызов партии!

Проснувшийся в ней животный страх перекинулся и на

него. На мгновение он усомнился в собственном благородстве. Разве он обязан помогать Аппелю? Не сказать, что он сильно привязан к Аппелю, связывает их мало, напротив – от Аппеля, с его желанием много общаться, порой хочется избавиться. И не подозрительна ли его забота об Аппеле в глазах знакомых?

– Пожалуйста, Мари, – после паузы заговорил он новым тоном, – я больше ни о чем не попрошу. Он же... мой друг. Я не могу бросить его.

– Однажды ты убьешься, – заявила Мария.

Но она поразила Альберта: уже спустя два часа Дитер позвонил ему с уточняющими вопросами и пообещал поспрашивать. На следующее утро он позвонил опять и, зевая в трубку, доложил:

– Либо твой друг соглашается сотрудничать и выходит, либо сдохнет там. Больше ничего сделать не могу. Пусть выбирает.

– Я понял... спасибо.

– Напиши ему письмо, изложи, как есть, хорошо? Отдай Мари, она отдаст мне, и мы тут ему передадим. Убеди его, что подыхать в нашем возрасте очень обидно.

Что написать он решил быстро: «Пожалуйста, сделай это если не ради себя, то ради нас. Никто тебя не осудит. Мы тебя любим и ждем домой».

Позже ему сказали, что Аппель согласился работать и его выпускают. Через Марию Дитер передал деньги и билет до

курорта на берегу моря.

От станции он шел с полчаса пешком. По обеим сторонам старой разбитой дороги высадили позолоченные березы, к ветвям которых привязали ленты в национальных цветах. На высокой колокольне на фоне моря развивался огромный флаг, громко играли патриотические песни: «Чем сильнее давление, тем сильнее отпор. Выше знамя! В этом слове – величие, народ! На тысячи лет растянутся наши победы!». Близ открытых ржавых ворот он снял шляпу и вытер вспотевший лоб. Лежавшие на кушетках у главного входа с любопытством уставились на его утомленную фигуру. Слева, в тени, под песни делали зарядку карикатурно мужественные люди. Он неуверенно прошел мимо них. Кто вам? Скажите, вы знаете, как его найти? А, поняла, он со стороны пляжа, загляните справа.

Аппель был в кресле-качалке. Несмотря на то, что было жарко, он укрылся пледом и даже подбородок убрал под него. Лицо его было странно-рыжеватого оттенка, на висках добавилось седины. Словно не понимая, в чем дело, Аппель взглянул на своего гостя и быстро заморгал.

– А-а-а... конечно, – произнес он еле слышно.

– Я к тебе, – сказал Альберт, хотя это было очевидно.

– Да. Конечно. Там... возьми стул.

Казалось, Аппель не был настроен на беседу. Когда приехавший уселся около него, он тупо уставился на шумящее

недалеко море. Вдали собирались пушистые облака, вода накатывала на берег, по песку босой бродила женщина в безмятежно голубом платье.

– Хорошо тут, – сказал Альберт, – я никогда не был на море. А ты?

– Конечно, был, давно, в детстве.

– Ты купался?

– Я не умею плавать.

Говорил он неестественно безразлично. Боясь понять, что с ним, Альберт покосился на него. Аппель старательно избегал зрительного контакта.

– Я... рад, что ты выбрался, – неловко сказал Альберт.

– Конечно.

– Нет, правда. Я... боялся за тебя. Все, кто тебя знает, – мы боялись за тебя.

– Конечно. Ты очень хотел меня вытащить.

Они помолчали. Аппель безучастно наблюдал за женщиной в голубом платье – вот она останавливается, вот закапывается ногой в мокрый песок, вот оглядывается на него, и выражение у нее опасно-нерешительное...

– Это моя мачеха, – внезапно сказал Аппель, – ее послал мой папаша, чтобы узнать, как я, не спятил ли действительно.

– Вы опять общаетесь?

– Нет. Но, конечно, папаше не нужен сын типа меня. Он размышляет, стоит ли сейчас письменно отказаться от меня

или рано... может, я все же послужу партии немного и обелю имя нашей семейки.

– Мне жаль, Альдо.

– Спасибо, что приехал. – Аппель сумел прямо посмотреть на него. – Мне... было одиноко.

– Я знаю. Ничего, ты скоро вернешься домой. Тебя многие ждут.

Чувствуя прежнюю, как в годы студенчества, близость, они спустились к морю. Аппель снял туфли, но не подвернул штанины и так зашел в воду по щиколотку. Мачеха его молча прошла мимо них – Альберт уловил на себе ее презрительный взгляд. Он взглянул на ее нереалистичную, как у манекена, спину – женщина поспешно уходила с пляжа, видимо, не желая быть свидетелем их общения.

– Какая она странная, – сказал Альберт.

– Она меня, конечно, боится и терпеть не может. Но она во всем слушается папашу.

Аппель вышел из моря и, выжав штанины, сел на теплый песок.

– Можно я не вернусь, Берти?

– Прости, – понимая, о чем он, ответил тот. – Мы сделали... не могли бы сделать больше.

– Вы за меня отвечаете? Да? Конечно. Умно они меня поймали. Знают, что я соглашусь на любую дичь, чтобы не подставить тебя.

– Прости, Альдо, – повторил Альберт.

– За что? У меня был выбор. Ты, конечно, не виноват, что я полный идиот... Посиди со мной, Берти. Ты останешься на обед? У нас подают хорошую курицу с фасолью.

С час они провели на берегу, смотря в блестящее и бесконечное море и обмениваясь незначительными фразами. Затем, пожаловавшись на боль в спине, Аппель надел туфли, и они отправились обедать под новую порцию патриотических песен.

– Конечно, я всегда сижу под навесом и смотрю на воду, – сказал Аппель, возвратившись в кресло-качалку. – Я отвлекаюсь. И здесь меньше слышно музыку. Тебе нравится? Хочешь остаться?

– У меня работа, а отпуск... не знаю.

– Терпеть не могу эти песни – я постоянно считаю, сколько в них слов. Никакого покоя. Их в больнице включали ночами. Конечно, я считал, сколько слов, а потом – сколько букв. Знаю сейчас наизусть, сколько, но считаю все равно. Это ужасно.

– Мне жаль.

– Конечно, мне тоже. Это... конечно, было внезапно.

Аппель натянул плед до самого лба, но оставил нос торчать наружу.

– Я злюсь на Кроля, – глухо заявил он, – это он виноват, конечно.

– Он не знал, чем... чем это кончится.

– Не знаю. – Аппель пожал плечами или нет? – Из-за него

меня вызвали в их министерство «правильных новостей». Это было не приглашение. Это... была повестка, Берти. Конечно, Кроль хотел, как лучше!

– Поэтому ты пошел?

– Мне принесли ее лично в руки, заставили расписаться, что я получил и, конечно, знаю, чем обернется моя неявка. Я... испугался. Я пошел, потому что испугался. Ты что бы, не пошел, а?

– Пошел бы, – признал Альберт.

– Я пришел. Я прошел семь огромных комнат. У них по три люстры в комнате! Конечно, там сидели три чиновника. Они дали мне бумагу с десятью пунктами... чтобы я расписался. В смысле, конечно, чтобы я согласился работать. Я сказал, что ни на что не соглашался. Конечно, это Кроль, а я ничего не знаю. Они молчали 53 секунды. Тот, что слева, сказал: если вы отказываетесь служить родине и выбираете вместо честной работы тунеядство, то вы психбольной и вас должны лечить. Я, конечно, решил, что они меня пугают. Я говорю: я тогда хочу быть больным! Тот, что справа, позволил, и через 32 секунды пришли два санитары. Я начал кричать, что это они, чиновники, сумасшедшие, если хотят человека за отказ им везти в больницу. Меня за 58 секунд повязали. Мне... я очень... испугался.

– Эй, эй, сейчас все нормально! Все хорошо!

Апель с головой накрылся пледом. Альберт положил руку на его плечо и почувствовал, как сильно он дрожит.

– Я бы тоже испугался.

– Я, конечно, трус, Берти. Мне очень стыдно!

– Неправда.

– Правда! Я подписал бумагу. Я подвел тебя. Я... Берти, из-за меня у тебя будут проблемы. Ты отвечаешь за меня. А я, а я...

– Но ты справишься!

– Нет, нет... Я не могу. Я не могу это писать. Это ужасно. Это отвратительно! Конечно, я сам виноват. Я согласился. Я... мне было ужасно. Они пытаются больных, как своих рабов. Я... это была пытка. Я... я... очень слабый.

Слышалось, что он еле-еле сдерживает всхлипы.

– Там три санитаров набросились на меня, они 341 секунду орала на меня. Они кричали, чтобы я снял все, пока они сами все не сорвут с меня. Я... я не мог пошевелиться, я не мог ничего делать, я подумал, меня будут бить или... ну... я... Конечно, они отобрали у меня все. Я голым шел по коридору, они меня 27 раз толкнули, я очень боялся. И меня затолкали в камеру. Если я буду плохо себя вести, они сказали, то пойдешь к буйным пациентам, которые, конечно, будут над тобой издеваться. Поэтому не вздумай буйствовать. Там были тараканы, 6 штук, и на матрасе было 19 пятен. А на пижаме было 4 дырки. Я просился выйти, надо мной 27 минут смеялся охранник. Когда мне разрешили выйти в туалет, он кричал: «Сразу видно, псих! Нормальных здесь нет! А ты, видно, не в первый раз!». В туалете, конечно, нет две-

рей, охранник постоянно смотрит на тебя. И мне 8 раз что-то кололи. Я лежал отекший и не в себе часами. Я 5 раз просил перестать колоть меня, я нормальный и хватит говорить со мной, как с психом! Тетка смеялась и говорила: ты плачешь и споришь – значит, точно псих! Нормальные не плачут и не спорят с профессионалами. Меня два раза кормили насильно, потому что я не мог есть. У меня были судороги 7 раз. Приходил три раза человек в костюме и спрашивал, почему я не хочу сотрудничать, если здоров. Главный отделения, когда я допросился до него, конечно, заявил, что я опасен для общества и меня никогда не выпустят. Я... плакал и объяснял, что журналист, они не имеют права меня держать, что... это ошибка. В костюме 3 раза угрожал, что мне вскроют голову для их экспериментов. Когда он уйдет, когда общество от меня откажется, я, конечно, никогда не выйду, в больнице мне вскроют голову, не хочу верить, я... Я трус, я очень испугался. Софи Хартманн говорила, что это моя судьба – умереть во имя своих убеждений. Что такова воля... я не знаю чего. А я испугался. Когда мне принесли твое письмо, я обрадовался. Ты оправдал мою трусость. Ты дал мне... надежду, что я должен, конечно, спасти себя, что я могу обмануть судьбу, могу... выиграть у нее.

– Ты поступил правильно. Нет смысла... умирать там.

Аппель спустил плед с головы; лицо его было более уныло, нежели испуганно. Казалось, он смирился, хотел, но разучился сопротивляться – что-то из описанного им оконча-

тельно лишило его этой способности.

– Мне жаль, – тихо сказал Альберт. – Партия очень жестока и...

– У меня, конечно, не было иллюзий на ее счет. Но ты... как ты можешь добровольно служить ей? Конечно, я не поверю, что ты считаешь это... правильным.

Столь логичный вопрос Аппеля больно его уколол.

– Кто-то должен защищать людей от преступников, – после паузы сказал он. – Когда я помогаю убийце, насильнику или вору предстать перед судом, я... спасаю других людей... которые могли бы стать их жертвами.

– Конечно, ты же следователь. Кто-то должен разбираться с убийствами за наследство, из ревности или по пьяни. Но как быть с другими убийцами? Ты прикрываешь им спины, ты голосом закона оправдываешь их убийства.

– Наверное, – нехотя ответил Альберт. – Но если я уйду и уйдут мои коллеги, разве что-то изменится? Разве жизнь станет лучше?

Аппель разочарованно промолчал. С болью Альберт чувствовал его осуждение и понимал, что оно вполне заслуженно – в отличие от Аппеля, нынче ему ничего не угрожало.

Мимо них прошла мачеха Аппеля; после обеда она сменила голубое платье на красное и была похожа на окровавленный флаг. Спина ее сохраняла жуткую неестественность. Не взглянув на пасынка и его гостя, она обронила сухо:

– Приветствую, – и зашагала к морю.

Аппель тихо выругался ей вслед и накрылся полностью пледом.

Раз он сказал Альме:

– Вы стали похожи на мою мать.

Неуверенная улыбка испортила ее губы.

– Вот как? Комплимент, полагаю?

– Скорее, констатация факта.

Они стояли на краю склона, а внизу играла скучная, столь любимая военными, музыка. Прячась от осеннего ветра, Альма плотнее закуталась в шерстяную шаль. Он смотрел в безмятежное белоснежное движение в небе.

– Полагаю, общество женщины вам приятнее, нежели общество военных, – с невесомой усмешкой обронила Альма.

– Вы правы. Я скажу вам больше: в последнее время женщины мне приятнее мужчин.

Она рассмеялась:

– Однако все ваши приятели – мужчины. Или я ошибаюсь?

– Я столько сожалел об этом...

– Так чем я напоминаю вам мать? – перебила Альма.

– А вы не оскорбитесь?

– Неужели она была так плоха?

– Нет же... просто... я думал, вы перекуете своего мужа, а получилось... наоборот.

– Думаете, он плохо на меня влияет? – с новой насмешкой

спросила Альма.

– Отчасти. Вы больше не занимаетесь политикой?

– Ах, вот что... Вы очень откровенны, Альберт. Берегитесь, нынче это худшее качество.

В тот день они перешли на «ты».

Чаще всего Альберт приходил к ним вечером и оставался на ужин – жили они теперь в доме Альмы, обставленном лучше и с большим вкусом. В новом году Альма внесла изменения в обстановку, поменяв мебель на новую, из красного дерева, и заменив легкие простые занавески тяжелыми красными портьерами. В столовой, напротив главного места, появился изысканный портрет Его, а позади – физиономия идеолога Мюнце, бледная и не очень четко выполненная, но вполне приемлемая на взгляд неспециалиста в искусстве. Не будучи поклонником ни Его, ни отца Альберта, Дитер позаботился об их присутствии из нежелания отставать от других, что раньше вешали на лучшие места портреты прежнего президента и членов его семьи. Вне брака с ним Альма бы ни за что не повесила партийных знаменитостей в своем доме, но Дитер успешно внушил ей необходимость этого. Отныне она держала язык за зубами, терпела партию с неприятной улыбкой, принимала у себя лояльных партии, а от старых знакомых-либералов открестилась – не бросит же она тень на свою семью и, что не менее важно, на военную карьеру своего супруга!

Часто бывавший у них дома Альберт заметил, что отно-

шения в этом браке выстраиваются на двух условиях: поклонении жены и принятии этого поклонения мужем. С этой страстью Альма бы наверняка любила красивейшего, но самостоятельного кота (не встретить она мужчину, разумеется). Муж, заменивший домашнее животное, позволял себя ласкать и нежить, незаметно внушал хозяйке свою волю, временами выпускал когти, а после лез с требованиями, на которые незамедлительно получал ответ. И обоих, кажется, устраивало такое положение. Дитер нынче был увереннее прежнего; равнодушное или скучное выражение лица в действительности, похоже, скрывало его полное довольство собой и положением, что было достигнуто и успехами на работе, и ежедневным утолением всех имевшихся у него желаний. Не верилось, что этот разомлевший, избалованный богатством и влюбленной женщиной человек способен пожелать большего. Альма бессознательно привязывала его к себе ленивой теплотой, упоительным благополучием, после которого и встать тяжело, не то что уйти от жены.

Спросив его как-то о домашнем, Альберт в ответ услышал:

– Она великолепна как жена. Оказалось, все не так сложно, как я опасался... Не понимаю, с чего бы мне быть недовольным.

Помирившись с получившимся строем, он и жену приучил вести себя соответствующим образом. В первый «партийный» год Альма часто заговаривала с ним о том, чтобы

уехать из страны, но он отказывался, и постепенно, не замечая страшного, все менее боясь за себя, она смирилась с жизнью при режиме. Слухи о якобы арестованных ни за что, часто преувеличенные или просто вымышленные, доходили и до них тоже и поначалу заставляли Альму возмущаться. Затем, обнаружив, к своему облегчению, что многое, если не все, – обычные местные байки, сочиненные противниками режима, она стала равнодушнее к ним. В своей жизни не находя страшного и преступного, она поверила, что и остальным, если они не нарушают закон, ничего не угрожает. Как и она, во всех историях подозревая ложь, Дитер был безучастен, оттого и не мог быть по-настоящему возмущен этими «страшилками»; в глубине же души, если и подозревал что-то, все равно радовался, что его это никоим образом не касается и, если он станет вести себя правильно, не затронет и впредь.

Порой они ссорились и долго не разговаривали. Альма временами пускалась в капризность. Муж, можно сказать, и не стеснялся ее, не следил за выражениями, не думая, что может этим ее оскорбить. Иногда ей казалось, что он посматривает на других женщин, а он смеялся ее подозрительности и повторял, что любит ее одну и лучше нее нет никого на свете.

– Нет, я все понимаю, – со вздохом сказала она Альберту. – Я знаю, что он меня любит. А насчет остального... ну, я не знаю... я слышала, у всех мужчин бывают интрижки. Мне

сложно с этим примириться, хотя он и повторяет, что ничего такого нет... Понимаешь ли, мне бы не хотелось допытываться. А то получится, что я не верю его клятвам верности. И это нечестно было бы с моей стороны... после того, как он сказал мне, что не изменяет мне. В конце концов Софи сказала ему, что я – его судьба и он проживет со мной всю жизнь, так долго-долго...

– Это ему Софи так сказала? – полюбопытствовал Альберт.

– Разумеется. А что?

– Ты же не верила в ее «волшебные истории».

– И сейчас не верю, а Дитер верит. Он верит, что предсказания Софи непременно сбудутся – и что я уготована ему. Зачем мне с этим спорить?

– Пока ни одно ее предсказание не сбылось, – ответил Альберт.

– А что она тебе наколдовала?

– Что я женюсь на женщине, которая уехала в другую страну и которую я давно не видел.

– Возможно, вы встретитесь через полстолетия и поженились. Не отменяй возможность. Хотя, конечно, это глупость.

Но способности Софи запоминать, кому и что она говорила, можно было только позавидовать. Спроси ее Альберт нынче, что она предсказывала ему пять лет назад – и она бы без запинки повторила ту же версию его судьбы. Отлично она запоминала, как свела людей в своем воображении – что

он, Альберт, непременно женится на Кете, а Дитер – на Марии (не скажет ли Софи это в присутствии Альмы?). Но она говорила и об Аппеле – что его убьет партия, а он выбрался, он не убит партией, а работает на нее.

После ареста ее родителей, из либеральной партии, Софи переехала к своему единственному родственнику – кузену Дитеру. Альберт видел ее редко, потому что обычно она сидела в своей комнате и нечасто выходила к гостям. Лицо ее, правильное, красивое, принявшее печать боли, несколько раз являлось ему во снах. Она словно бы звала его, стоя у высокой яблони с золотыми плодами. Глаза ее были неестественно прекрасны, и вся Софи была прекрасна и замечательна, как лесная нимфа, явление иной, таинственной и страшной жизни. После снов с ней Альберт боролся с желанием с ней поговорить. Как-то он столкнулся с ней в дверях – Софи пришла с занятий, – она и взглянула на него, как в его сне, но ее позвала Альма.

– Мы приглашали к ней хорошего врача, – заметив, что Альберт интересуется ею, сказал Дитер. – Он не установил, чем она больна... и больна ли. Но он считает, что психика ее отличается от нашей и большинство вещей она воспринимает... ярче или тусклее, чем мы. Я лично считаю, что она больна.

– А мне она не кажется больной, – ответил Альберт.

– Хм, ты не жил с ней. Когда живешь с человеком бок о бок, поневоле присматриваешься к нему и замечаешь то, что

постороннему в глаза не бросится.

– И что же?

– Странно прозвучит, но... – Дитер пытался выбрать верные слова. – У меня сложилось впечатление, что она не полностью себя осознает, Софи... что она живая... что у нее есть это тело, это лицо, что это она, настоящая, что она человек и женщина. Она как бы в своем теле, но – и не в нем. Мне сложно это описать. Она живет в собственном мире, в своей голове, в своих фантазиях. Если быть с ней осторожным и не пугать ее, она тиха и никому не хочет зла... а если ее силой заставляют... она этого не терпит, она плачет, у нее истерика, она бьется головой о стены и мебель, кричит бессвязно и плачет! Разве же это нормально?

– Нет... нет. – Неужели Софи способна кричать, биться обо что-то?

– Я знаю, что она не глупа; скажу больше, она умна. Забавно, но я верю в ее... истории. Я стал суеверным.

– Ты думаешь, она правда видит будущее? Каждого из нас?

– Нет... Я думаю, она знает, что больше всего хочет сердце каждого из нас. Это другое – и нет. Я думаю, каждый из нас сам знает свою судьбу. Это всего лишь... осуществление желаемого и последствия этого. Чего ты желаешь, Альберт?

– Эм... чтобы мне дали спокойно работать и не мучили партийными мероприятиями.

Тем же вечером, но позже – Альберт болтал с Альмой о

новом английском романе – Дитер прервал его и сказал, что Софи хочет поговорить с ним. Альма сильно удивилась, но не вмешалась. Дитер провел его в затемненную комнату Софи и, явно не собираясь долго оставаться с кухиной, закрыл за ним дверь.

Он заметил ее не сразу – как манекен, она сидела на застеленной постели, руки и ноги ее были как из камня, голова держалась до ужаса прямо. Когда он нерешительно приблизился, Софи подняла на него глаза и прошелестела еле слышно:

– Я хочу попросить вас. Вы выполните мою просьбу?

– Э-э, зависит от того, что вы просите.

– Хотите, я помогу вам тоже?

Он был сбит с толку и напуган. Невыразимо красивые и спокойные глаза Софи внушали странный, необъяснимый ужас. Он сглотнул.

– Что вы хотите от меня, Софи?

– Я расскажу вам кое-что, что поможет вам. Помогите мне... ваш давний друг Петер... я должна выйти за него замуж.

Он промолчал, пытаясь осознать сказанное.

– Вы что, хорошо знакомы?.. Должны?

– Это должно исполниться.

– И что же вам мешает?

– Кузен и его жена – они не позволят мне. Они против него. Помогите мне выйти за него замуж.

– Нет, это чушь какая-то! – воскликнул он. – При чем здесь я? Что я могу?..

Решительность, столь внезапно проявившаяся в ней, ошеломила его. Он топтался на месте, не зная, что делать дальше. Затем промямлил нечто похожее на «я сначала спрошу его» – и выскочил из комнаты.

Спустя час он позвонил приятелю и позвал выпить. Явившийся раньше Петер отругал его за опоздание на три минуты, заметил, что у него ужасный новый шарф и пора бы перейти на галстуки, что актеры пошли пошлые и бесчувственные и...

– Ты встречаешься с Софи? – перебил его Альберт.

Тот замолчал с распахнутыми глазами.

– А? А... Кто тебе сказал?

– Она сама. Ты с ней спишь?

– Что? Нет! – испуганно воскликнул тот.

– Сколько ты ее знаешь?

– Успокойся. – Петер протирал салфеткой чистую вилку. – Мы с ней гуляли после ее гимназии. Зачем она тебе рассказала?.. Ясно. Ее опекун и кузен... Он меня терпеть не может, а?

– Я поговорю с ним, хочешь?

– Зачем тебе это?

– Ну, ты же ее любишь. Или я не прав?

Тот несмело откашлялся и стал протирать свой бокал.

– Она может быть больна... понимаешь?

– Она не больна, – нервно парировал Петер. – Вы не понимаете ее. В ваших глазах она больна. В моих – нет.

– Ясно... Я поговорю с ним. Она... очень красива.

– Да, – поспешно согласился Петер, – и она особенная. Она не то, что другие женщины, – она чиста. У нее в мыслях нет ничего грязного и пошлого. Софи почти идеальна, а я помогу ей стать еще лучше. Во мне живет творческое чутье...

Он размышлял, что сможет сказать ему Софи. Пытаясь сохранить здравомыслие, он все же поймал себя на мысли, что хочет верить ей, как посланной к смертным богине. Прав ли был ее кузен, но Софи говорила, что он, Альберт, мечтал услышать. Понимала ли она, что играет его чувствами? Неужели сама верила в свои страшные и приятные сказки?

Ночью она приснилась ему – в незнакомом саду близ незнакомого дома. Волосы ее утопали в красных цветах, плечи и шея – в зеленых стеблях. В руках она держала золотое яблоко, и он склонился, желая его – а Софи закричала, отстранилась, а он вцепился в ее руки и пытался разжать крепкие пальцы. Яблоко расколосось – и на землю обрушился его сок.

– Ты это серьезно? – спросил Дитер.

Он бегло играл на рояле Gnosienne №3 Сати.

– Софи просила тебя?.. Как назло мне.

– Он – известный человек в партии, – ответил Альберт. – Уверен, он не забудет этого. Вы будете родственниками и...

– Да? Достаточно того, что я разрешил им встречаться. Больше меня не интересует. – И он заиграл быстрее.

– Почему ты против?

– Потому, Альберт, что твой дружок – бездарность, которая возомнила себя поэтом. И он противный и...

– Дружил с Марией?

Аккуратно составленный план сработал – тот так хлопнул крышкой рояля, что его услышала Альма в дальней комнате.

– Нет, я... Не произноси ее имя.

– Прости. – Он виновато потупился. – Я хотел сказать... учитывая то, что Софи меня просила... если хочешь, узнай у нее сам... Я могу поклясться: с Марией у него точно ничего не было.

Тот поспешно взглянул на приоткрытую дверь и прошептал, смиряясь с ситуацией:

– Да-да, я знаю. Я согласен. Если она его любит – пожалуйста.

– Спасибо.

– Пожалуйста, не злоупотребляй, – почти беззвучно добавил Дитер.

– Не злоупотребляю, я помогаю влюбленным обрести счастье.

...Как же хорошо, что он хочет жить с Марией, но не может себе этого позволить.

С его разрешения Альберт зашел к Софи – она вышивала платок близ окна и не взглянула на него. Неприятно, но он

дрожал, стоя в метре от нее.

– Я вам верю, – ответила она и улыбнулась кончиками губ. Глаза ее были прикованы к вышивке. – Вы исполнили мою просьбу. Хотите, я скажу вам?..

– Я хочу быть с Кете.

– Вы будете с ней. Но вы должны кое-что сделать, чтобы предсказание исполнилось. Есть человек, которого вы ненавидите больше всего на свете.

– Нет... – перебил ее он. – Я не понимаю, о ком ты... вы.

– Вы должны его убить.

Он в изумлении уставился на нее. Софи была совершенно серьезна.

– Но... это бессмысленно. Я не понимаю!

Она внимательно рассматривала свою работу.

– Софи! Ты меня за идиота держишь? Что за игры? Это... самое глупое и бессмысленное, что я слышал от тебя!

– Как хотите. Пожалуйста, оставьте меня.

Он вцепился в спинку ее стула. Софи не реагировала.

– Я... не собираюсь никого убивать. Как это пришло тебе в голову? Как я должен ненавидеть человека, чтобы хотеть его убить?

Внезапно она оглянулась – и он провалился в ее глубокие, красивые, яркие, тусклые, ужасные глаза.

– Однажды вы посмотрите в его глаза и поймете меня. Вы узнаете его глаза и захотите убить его. Уходите. Я хочу быть

одна.

– Какая глупость, какая...

Но Софи опять ушла в себя. Она забыла, что он в сантиметре от нее. Она была на противоположном берегу океана.

Он вышел.

Что сейчас с Кете? Путешествует ли она или осела в уютном маленьком месте?

Он послушал, как Мария проверяет напор рукой, как наполняет ванну и, вздыхая, как больная, погружается в воду. Как бы невзначай он свернул в ее комнату, соблазнившись открытой дверью. На туалетном столике, у резной шкатулки и многочисленных баночек с кремами и сыворотками, он нашел желаемое – исписанную знакомой рукой бумагу, много листков, смоченных ее любимым ароматом – яблок в карамели. 20 июля, Живерни. Она писала на смеси двух языков, он понимал лишь часть, но волнительно было держать ее письма и чувствовать, что с ней все хорошо.

«20 июля. Живерни.

Милая сестра!

Как ты поживаешь? Как ты чувствуешь себя?

Помню, я обещала написать тебе из Живерни. Что же, напишу сначала о наших первых впечатлениях.

За завтраком мы с тетей и Алисой узнали, что войска захватили столицу А. в Африке. Приехали мы вечером и сразу

легли спать, и газеты нам попались только утром. Не знаю, как Алисе, а мне стало не по себе. Страшно осознавать, что ничего от тебя не зависит. Популярное утверждение Л.Т., что ужас внешней жизни можно вынести, если жизнь духа не нарушена, не выдерживает сегодня давления этих самых внешних сил.

К слову: от столицы до Живерни около часа езды на поезде, а от железнодорожной остановки нужно добираться пять с половиной километров – либо на машине, если поймаешь, либо пешком. Путешествие не из приятных, но Живерни того стоит. Мы хотели остановиться в "Ансьен-Отель-Боди", но мест там не нашлось. Номера все заняты, в ресторане вечером не протолкнуться. В погожие дни терраса виллы занята любителями солнечных ванн.

Здесь находится дом Моне, близ сада с кувшинками, который он любил рисовать. Сейчас он пустует, за ним, кажется, никто не присматривает, но туристы все равно приезжают. В "Ансьен-Отель-Боди" Моне был постоянным посетителем; здесь есть и розовый сад, а в мастерской далее жил когда-то Сезанн. Обстановка, если нужно выбрать для описания одно слово, классная, поэтому я расстроилась, что мы не сможем тут поселиться; но хозяин нам посоветовал наведаться в дом Мари-Клер Бошер, что на главной улице деревни, и спросить, нет ли там комнат для сдачи. Оказалось, местные особняки предлагают оставшимся без крова туристам жилье и стол за вполне сносные деньги. Места в этом доме для нас

нашлись; у нас здесь две комнаты, обставленные грубоватой, типично французской мебелью, и подают нам Boulettes (фрикадельки) или Ris de veau (телячью зобную железу) и Garniture au choix (овощи), на десерт либо Tarte tatin (сладкий пирог), либо Glace (мороженое), на завтрак – Oeufs sur le plat и Confiture (яичницу и варенье), к ним или Cafe noir, или Chocolat chaud (черный кофе или горячий шоколад). Готовят очень вкусно. К завтраку нужно спускаться до десяти часов, но напитки можно попросить принести наверх.

Насчет И.: все сегодняшние газеты вопят об одном и том же. Какой ужас! Ах, эти проклятые националисты/социалисты/революционеры! Страх какой, куда ни глянь! Туристы из П., остановившиеся в "Ансьен-Отель-Боди", уверены, что будет война. Ох, уж эти наши пессимисты! И сегодня предсказывают новую мировую войну, и через десять лет будут, и через пятьдесят. Одно и то же: о политических спорах, каких-то военных конфликтах, и все мировая война, мировая война, мировая война, нас всех уничтожат, все плохо-плохо-плохо!

Пока, кажется, все. Ты знаешь, я не умею писать письма. Извини меня за это.

Напиши о событиях у вас. О вас болтают всякую чушь. И напиши о вашей Олимпиаде. Но пиши по обычному адресу – мы уезжаем 12 августа, но не знаем, успеем ли получить твое письмо, если ты отправишь его в Живерни.

Остаюсь твоей любимой и любящей сестрой.

С наилучшими пожеланиями, Катя В.

P.S. Пришли мне, пожалуйста, "Унесенные ветром". Тут только на французском. Все только о них и говорят – это прямо книга поколения. Я успела выучить имена главных героев, даже их фразы, которые у нас тут заучивают наизусть и потом цитируют. „О Боже, эти любовь/война/разлука/разруха!“ Не хочу оставаться неучем. Пришли. Спасибо».

Отложив это письмо, он взялся за написанное прошлым вечером, в ответ на первое, из Живерни.

«8 августа.

Дорогие Катя и тетя Жаннетт!

Я вас очень люблю. Простите, что не знаю, что вам написать. Не хочу вас расстраивать своими впечатлениями. Часто я чувствую себя грустно, мне одиноко и страшно без причины. Я не знаю, как мне поступить, но я не хочу беспокоить вас своими проблемами. Простите, что я не нахожу слов для вас.

Со столичным приветом, ваша Мария».

Взяв это письмо Марии, он случайно уронил ее же, но написанное явно не Кете. Мария и не пыталась его спрятать, уверенная, что Альберт не станет читать ее переписку. Скользя глазами по первой строчке, Альберт споткнулся о имя получателя – Мария писала Софи. Любопытство опять перебороло приличия (что бывало часто с ним в последнее

время).

«Я доверяю твоему видению, Софи. Не было дня, когда я бы усомнилась в своей судьбе. Пишу тебе, чтобы ты не подумала, что ты виновата: и без твоего предсказания я бы совершила задуманное. Знаю, мы вольны выбирать. Я выбираю судьбу, которую ты мне описала – и будь что будет. Пусть свершится воля высших сил».

Услышав, что она вышла из ванной, Альберт поторопился вернуть ее письмо на столик. Мария уже пришла в спальню, на ходу вытирая мокрые волосы полотенцем, и осведомилась:

– Чем ты там занимаешься, Альберт?

– Ничем, я...

Он неловко убрал руку со столика и смахнул с него ее шкатулку.

– Не трогай! – крикнула Мария.

Отбросив полотенце, она опустилась на пол и стала собирать содержимое шкатулки.

– Прости меня, – пробормотал он тихо.

– Что тебе понадобилось?

– Я хотел узнать адрес Кете. Ничего больше, клянусь.

– Мог спросить у меня!

– Прости меня.

Прошипев что-то от злости, она собрала в шкатулку свое

прошлое: последнее отцовское письмо из Царицына, его награду за участие в войне и его георгиевскую ленту, старые бумажные деньги и серебряное широкое кольцо.

– Это папино кольцо, обручальное, – зачем-то сказала она. – Когда мама умирала, она оставила его мне, сказала. «Как папа твой приедет, отдай ему, пусть носит и на меня не обижается». Мама верила, что он вернется, поэтому ей важно было мне это сказать. Она не могла умереть, думая, что оставляет нас с сестрой сиротами. Они с папой поругались перед его отъездом. Из-за мамы Кати. У нас же разные мамы. Моя мама была обижена на него. Я сама раньше обижалась, но давно уже перестала. Кто я такая, чтобы их за что-то осудить?.. Папа... тоже разозлился и оставил ей кольцо. Я знаю, он это со злости, он бы нас не бросил, он бы обязательно вернулся, если бы был жив. Так оно у меня и осталось. И его письмо, и кое-что еще. Я помню, он любил меня. Возил меня на лошади, учил кататься на коньках. Помню, он забыл как-то в кармане пряник, хотел мне его потом отдать... а мне так захотелось, я не могла ждать и украла пряник. Папа понял, что это я его взяла. Он не допрашивал, а только спросил меня об этом. Но мне было стыдно признаться, что я украла, и я стала нагло ему врать. Он притворился, что поверил... но то было притворство. Он знал, что я взяла и что у меня не хватает смелости признаться. Мне до сих пор стыдно, что я не смогла признаться. Пустяк, я понимаю... но у меня осталось чувство, что я... лгунья.

– Зачем ты это рассказала? – спросил он.

– Партия сделала нас очень расчетливыми и циничными, – ответила Мария. – Может, просто захотела рассказать?

– Не верю.

– Дитер мне напоминает его, моего отца, – после паузы ответила она. – Только с ними мне было... и есть... хорошо. Я в безопасности и ничего не боюсь. И я... я разорву любого, кто попытается отнять его у меня.

– Это слова. И все.

– У меня никого не осталось, кроме него. Ты знаешь, что это такое? Война отняла у меня родителей. А потом жизнь отняла у меня Кете. Ты же знаешь это.

– Да. Не мне тебя судить.

Она расслабилась, плечи ее опустились.

– Я очень боюсь... за него. Обними меня, пожалуйста. Я очень боюсь за него.

– Почему?

Мария уронила голову на его плечо.

– Мы с ним суеверны. Софи сказала, что он погибнет. Что... что он погибнет там же, где погиб мой отец. Откуда она знает, где погиб мой отец?

– Это невозможно, – с сочувствием ответил он. – Это очень далеко. Он проживет много лет... с тобой.

– Иногда я тебя люблю, Альберт.

– Я знаю, знаю.

Она расплакалась:

– Хочу, чтобы все были дома. Хочу, чтобы мне было двадцать лет. Хочу, чтобы Катя вернулась и мы были все вместе.

– Однажды так и будет, и тебе снова будет двадцать лет. Обещаю. Однажды все вернется.

– Правда?

– Да, Мари, да. Однажды. Однажды все будет хорошо.

Похоже, Альма понимала больше, чем ему бы хотелось. Оттого она, как-то провожая его, остановила его у самых дверей и спросила:

– Скажи, Альберт, мне угрожает что-то?

От неожиданности он закашлялся.

– Прости, я не понимаю, о чем ты...

– Вот как... – Альма смотрела мимо. – Понимаю, ты не хочешь ссориться с моим мужем, вы так сблизились... Но ты бы сказал мне, если бы знал?

– Э-э...

– Его прошлая история... обошлась мне дороговато. Но я готова заплатить больше.

– А, ничего такого, – поспешил ответить он.

– Вот как?.. Что же, хорошо.

Часом ранее она обмолвилась, что они с мужем собираются кататься на лыжах. «Я обожаю кататься, горы – моя страсть...». Она уязвлено улыбалась и цокала языком.

Марию он застал за туалетным столиком – она занималась обычным вечерним уходом. Заметив, что он вошел к ней,

она отвлеклась от нанесения крема и бросила:

– У тебя что-то случилось?

Близ постели ее лежал открытый чемодан.

– Ты уезжаешь? – не ответив, спросил Альберт.

– Что?.. А, уезжаю. А что?

– Кататься на лыжах? Дитер пригласил?

С усмешкой она отбросила ложечку, которой доставала крем из банки.

– Нет. Я еду к Кате в В. Она и тетя пригласили меня в гости. А что?

– Я еду с тобой.

– С какой стати? Ты в чем-то меня... подозреваешь?

– А должен?

В игру эту они могли бы играть вечно. Мария страшно оскорбилась, поняв, что Альберт осведомлен о ее планах, и думала, как избавиться от его навязчивого общества. В сомкнутых яростно губах он угадывал задавленные восклицания: «Да какое тебе дело, куда я еду, с кем и с какими мыслями?!».

Новым вечером они оказались в двухместном купе поезда, что отбывал в В. После нескольких часов молчания, без предисловия, Альберт спросил о случае, о котором упоминала Альма и о котором он не имел понятия.

– А, это Альма рассказала? Глупость: Дитер раньше встречался со своей секретаршей, она якобы забеременела и пришла к Альме требовать денег. Та заплатила ей. Он клял-

ся Альме, что его оговорили, просто секретарша на него взъелась за то, что он решил ее уволить. Она не умела работать и спала с начальниками, чтобы ее не уволили и... помогали ей всячески.

– Тебя это не смущает?

– Мы тогда не встречались, – пожала плечами Мария. – Знаю, ты бы ни за что так не поступил. Но многим мужчинам нравится, очень льстит, если симпатичная женщина сама вешается им на шею. Это просто... ни к чему не обязывает.

– Ты права, я не понимаю.

Чтобы закончить разговор, он раскрыл газету.

– Что пишут? – не отставала Мария.

– А? А-а-а... наши побеждают.

– А новое что-нибудь в газете есть?

– Какой-то город то ли захвачен, то ли разбомблен. В В. опять неспокойно.

– Понятно, вечная тема. Чертовы журналисты, у них все на грани анархии, хаоса и кошмара! Катя пишет, что все спокойно. Ты наведишь ее?

– Я по работе, в штаб-квартиру Интерпола.

– Зачем?

– Я не могу сказать.

– По партийным вопросам? – настаивала Мария. – Мне сказали, что партия хочет подружиться с силовым блоком в В.

– Понятия об этом не имею.

Прожив с ним несколько лет, Мария приобрела замечательное свойство – угадывать большинство его проблем. Формально он бы ничего не нарушил, признавшись ей, что у него направление от партии, но он боялся обсуждения своих мотивов. Зная, что он терпеть не может работать с партией, Мария бы точно спросила, зачем в этот раз он согласился (неужели ты не пытался увильнуть?). И она бы не отстала, пока бы он не признался, какую услугу окажет партия в обмен на его содействие.

С практической точки зрения он был отличной кандидатурой для переговоров с «силовым блоком». Заметные места там заняли эмигранты из Минги, включая его знакомых по университету, многие из них уехали, не желая сблизиться с партией. Его же связи с партией были тeneвыми, не столь крепкими, чтобы в В. он привлекал внимание, но достаточными, чтобы он мог выступать как ее посланник. Главной задачей было донести до налаженных связей, что оккупация «Единой Империей» неизбежна и партия простит всех (и, безусловно, отблагодарит), кто не выступит против нее во время вторжения. Размышляя об этом, он искал себе оправдания: не соверши это он, совершил бы кто-то другой, и это единственный способ... Не может быть, чтобы Мария поняла его. Не стоит говорить об этом с ней.

– Мне не нужно было уезжать из Минги, – сказал он вместо этого. – Столица принесла моей семье одни несчастья. После В. я, наверное, вернусь домой.

– У тебя же нет там ничего, – ответила Мария.

– Я заведу себе собаку и велосипед. У меня в Минге столько знакомых... Устроюсь как-нибудь.

Легли они около полуночи, а рано утром их разбудил крик проводника: поезд прибывает в В., приготовьте документы! Быстро намазываясь кремом, с зеркальцем в руке, Мария как ни в чем не бывало спросила:

– Так ты не поедешь со мной? Я правильно поняла тебя?

– Думаю, ты справишься без меня.

– Но ты мог бы остановиться у нас. Сэкономил бы деньги...

– У нас? У кого это?... Может, ты сначала спросишь у своей тети, ведь это как-никак ее дом, а не твой, и ей решать, как им распорядиться.

– Ты стал невыносимо занудным, – пожаловалась она. – Я скажу Кате, что ты наведишь нас, и ты не посмеешь обмануть ее ожидания. Так ведь?

– Ага. Обожаю такие манипуляции.

Обиженная Мария тихонько фыркнула. Она поспешно нарядилась и причесалась, и отказалась от помощи со своим чемоданом. Когда Альберт усаживал ее в такси, она забыла о своем оскорбленном выражении и оглянулась на него. Он приветливо улыбнулся. Вспомнив, что обижается, она тут же нахмурилась и безобидно выругалась.

Он сел в другую машину и достал список со своими контактами. Что делать дальше, он не имел ни малейшего по-

нятия. Логичнее было бы нанести первые визиты и попробовать собрать поверхностные новости, и все же появилась мысль: не бросить ли начатое, не остаться ли тут и забыть, зачем он приехал? Партия не имеет власти в В. – пока не имеет, поправил он себя. Нет, невозможно помыслить, чтобы отказаться, уже согласившись: партия знает о Марии и наверняка знает о Кете, что живет постоянно в В., и кто знает, чем обернется его несговорчивость. У него не хватит денег, чтобы незаметно уехать из В., тем более с Кете (без нее это бессмысленно), и никто не гарантирует, что его, с его странными связями с партией, не остановят на границе независимой страны. А скрываться в В., в которой партия вот-вот открывает свой штаб?..

В течение четырех суток он не связывался с Марией, жил в отеле, что оплачивала партия, и навязывался знакомым из Минги, что словно с лица его читали, зачем он приехал в В. Многие благоразумно его встречали. Состоялось несколько невинных, если смотреть со стороны, диалогов о возможном присоединении В. к партийной империи. Бежавшие из Минги либо разочаровались в политике ближайшего соседа, либо соскучились по родине, но боялись вернуться. В своем прощении они сомневались, но не отказывались от возможного (если партия окажется в В.) союза. Альберт чувствовал себя глупо, а порой и омерзительно.

В пятый вечер в его номер позвонили и доложили, что к нему пришла его «бывшая коллега». Ею оказалась его сестра

Марта. Она с порога бросилась ему на шею и заплакала.

– Боже, Мисмис, ты пришла?.. Ты с ума сошла!

– Не верю, что партии есть какое-то дело до меня. – Она вытирала слезы и всхлипывала. – Ты очень изменился, Бертель. Зачем ты приехал?

– Это долгая история. Раздевайся. Вот вешалка, снимай пальто.

Слушая его, Мисмис критично осматривала его номер – должно быть, искала прослушку. Перебив себя, Альберт заметил, что она прекрасно выглядит: сестра благородно осветлила волосы и носила модную по-американски короткую стрижку, носила дорогой, в полосочку, белый костюм и лакированные французские туфли.

– Я вышла замуж за газетного бизнесмена, – с легкой улыбкой призналась Мисмис.

– А он знает, что ты не развелась с прошлым мужем?

– Знает, не беспокойся. Он либерал и умный человек, и ненавидит партию. Он знает, что мой первый муж – преступник. Он... – Она закусилла нижнюю губу. – Ты знаешь, что с моим... моим сыном?

– Он с твоим мужем. Большого не знаю. Германн меня уволил... Честно, ты не виновата, я не сожалею о том, что сделал.

С облегчением Мисмис его обняла.

– Тебе хорошо, Мисмис? Ты в порядке?

– Я скучала, – прошептала она. – Я очень боялась за те-

бя... Бертель, хочешь, я упрошу мужа помочь тебе? Не возвращайся к партии. Это плохо кончится! Бертель, послушай меня, пожалуйста!

– Нет, Мисмис, мне нечего бояться. Это тебе нужно бояться. Партия скоро будет здесь.

Она отпустила его плечи и уставилась на кончик его шарфа.

– Не верю. Этого не может быть, Бертель. Они не посмеют... войти в независимую страну.

– Они не считают эту страну независимой.

– В. никогда не сдастся партии. Мы будем сопротивляться. Партия здесь не нужна.

– Я должен был предупредить тебя. Прости, Мисмис. Я должен был сказать тебе это. Правда в том, что партия смеет все и получает все, что хочет.

Она отступила на шаг и с разочарованием спросила:

– Поэтому ты помогаешь им – потому, что они получают все... даже тебя? После всего, что они сделали с нашей семьей? Они убили нашу мать и отобрали у нас наше наследство!

Не скрывая боли, Мисмис села близ открытого окна. В волосах ее запутался свет уличного фонаря. Он боялся приблизиться к ней, боялся, что Мисмис, с которой его связывало множество воспоминаний, мест и былых разговоров, – что она в мгновение оттолкнет его навсегда.

– Пожалуйста... – начала она еле слышно, – объясни мне,

зачем... Мы можем помочь тебе. Мы можем... вытащить тебя. Только... скажи, что они сделали, чем они держат тебя.

– Ты помнишь, как Красная Армия вошла в Мингу?

– Что? О чем ты?

– Это было почти двадцать лет назад, мы были детьми.

Она неуверенно кашлянула.

– Это было в войну... Не понимаю, Бертель. Ты ненавидишь Красную Армию – и что?

– Ты помнишь человека... коммуниста, что жил у нас? С нами.

– Не понимаю, – решительно перебила сестра. – Почему я должна это помнить? Мне было... шесть лет? Семь? Зачем нам вспоминать, что было тогда?

– Ты помнишь это. Тот человек изнасиловал нашу мать.

Она сжалась в страхе, ее голова задрожала.

– Нет, Бертель, нет...

– Ты помнишь это так же хорошо, как и я.

– И что с того? – воскликнула она охрипшим голосом. – Это прошло, это было так давно, очень давно! Остановись, умоляю тебя! Это плохо кончится...

– Партия нашла его. По моей просьбе. Мы можем сделать с ним все, что захотим. Мы можем убить его, если захотим. Можем попросить пытать его или насилловать. Все, что нам захочется.

Марта встала, держась за спинку кресла. Ее белый костюм, казалось, резко потемнел.

– Бертель... пожалуйста, это... безумие. Пожалуйста, ты... отпусти это. Ты зашел слишком далеко. Они тянут тебя за ниточки, они знают, как манипулировать тобой, а ты позволяешь. Они играют на твоих страхах... Отпусти это.

– Я не могу. Я слишком помню это. Он должен понести наказание.

– Бертель, остановись!

И она начала бессвязно рассказывать, как новые и новые взаимные договоренности связывают его с партией, как он запутывается, как вовлекается без возможности отказаться...

– Ты права во всем. Твой муж раньше тебя рассказывал, как партия привлекает к себе. Нас не нужно запугивать и заставлять: мы сами согласимся на любое в обмен на желаемое.

– Страшно слышать это от тебя, – прошептала Мисмис.

Она засобиралась. На брата она больше не смотрела; он чувствовал ее беспокойство и ужас: на что он соглашается? Ему было совестно близ Мисмис. Но, стоило ей уйти, как он испытал облегчение. Казалось, Мисмис уже не была его сестрой, не была никем, и не партия была виновата, а они сами.

– Хорошо, что вы приехали, – сказали ему в тюрьме. – Мы давно уже не видели партийных. Вы заинтересовались? Неужели он может что-то знать? Я не знаю... У нас никто ему не верит.

Он сглотнул болезненный ком в горле и показал открытые служебные документы. Человек доброжелательно кивнул и пустил его в закрытое пространство.

– Я правильно понял, что он у вас организовал тайную ячейку? – спросил Альберт.

– Вы все правильно поняли. Собирал большие деньги. Коммунист, понятно. Часть денег он тратил на агитацию... ну, вы понимаете... листовки, подпольные газеты и все такое. Но большую часть оставлял себе. Что-то докладывал о трудностях в работе, как тяжело найти кадры, что все боится... Жил при этом на широкую ногу. Но месяцев шесть назад, как мы от него узнали, поступил приказ устраивать погромы. Он колебался сначала, но начальство пригрозило, и он испугался: неосторожно набрал активистов, а те разгромили отделение полиции. Ребят этих арестовали, а они, недолго думая, заложили его, чтобы самим за организацию не отдуваться. Его арестовали. Просидел он тихо с неделю, а потом стал просить доложить «наверх», что умоляет о снисхождении, раскаялся в преступлениях и хочет выйти из тюрьмы в обмен на некие «секреты». И что, в крайнем случае, он готов работать на нас. У нас никто ему не верит: ну какие он может знать секреты? Кто бы ему их рассказал? Просто тянет время... просил он, кстати, послать в партию, чтобы вы вызвали его к себе... Он может быть полезен партии?

– Я не знаю, – ответил Альберт, – я пока поговорить.

Человек нерешительно потоптался на месте, а затем вышел, оставив его в комнате с пустыми зелеными стенами. Он же, пытаясь скрыть волнение, стал искать что-то в карманах пальто. Арестованный был подготовлен к встрече с ним, знал, откуда он приехал и также был уверен, что партия заинтересована в его личности или хотя бы в знаниях о коммунистическом движении. Альберт чувствовал, что смотрят на него, как на последнюю надежду. В ответ он надеялся ощутить сладость этой власти – отчего он не упивается осознанием, что от него одного сейчас зависит жизнь и смерть его давнего, единственного врага? Изображая, как занят поиском чего-то (чего, чего, чего?), он испытывал только одно – страх. Мельком взглянув на него, Альберт подумал, что не узнает его; и лишь затем, подавив сильное смятение, он решил лучше рассмотреть его – и обнаружил, что припоминает смутно и лицо его, хоть и постаревшее, и само выражение лица этого, которое когда-то казалось ему мягким, благожелательным и искренним.

Что же сказать ему теперь?

– Я приехал, чтобы поговорить с вами, – тихо, нервно сказал он и наконец сел напротив. – Вы меня не знаете...

– Вы от партии?

– Что?.. А-а-а... можете считать, что от нее.

– Вас интересует, что я знаю?

Что же говорить, как начать после «я знаю, я знаю, я знаю...»?

– Я бы... я бы хотел сначала услышать, что вы рассказали следователю. В чем вас обвиняют? – Он запинается?

– Они грозятся меня расстрелять.

– Я это понимаю... но я бы хотел услышать, в чем вас обвиняют. Если вы не хотите начать сами, что же... Вы работали на коммунистов? Так?

Допрашиваемый подозрительно покосился на его руки. Отвечать он не хотел; замечая нервность, бледность «партийного следователя», беспокойство его глаз, он понимал, что и говорит приехавший как-то не так, странно, будто бы был не тем, за кого себя выдавал. Заметив сомнения арестованного, тот сделался еще нерешительнее. Ни с кем из допрашиваемых он не чувствовал себя так униженно, как с этим, с которым не умел разговаривать, от которого не то что не мог добиться внятных ответов, но и спросить не мог нормально – обнаруженная слабость сожрала накопленный за многие годы профессионализм.

– Почему вы не хотите отвечать мне? – перебил самого себя Альберт. – Вы что, сомневаетесь в моих полномочиях?

– Не сомневаюсь я в ваших полномочиях. Почему?..

– А что не так? Я хочу, чтобы вы отвечали на мои вопросы. Вы сами согласились.

– Извините... но вы как-то не так разговариваете. Словно не то спрашиваете, что хотите.

– Ах, не то! Ну, хорошо, – с обессиленной злобой ответил он. – Давайте тогда начнем с самого начала. Вы помните, что

вы делали на следующий год после войны?

– Это было почти двадцать лет назад. Как я могу помнить?

И что вы хотите, чтобы я вспомнил?

– Вы не помните?.. Но как вы могли забыть? Такое разве можно вычеркнуть из памяти?

– Вы не могли бы, если так... объяснить, какой период вы имеете в виду?

– Я имею в виду, – с возрастающей злостью ответил Альберт, – если вы соизволите вспомнить, весну. Апрель, если быть точным. Где вы были в апреле того года? Где? Неужели забыли? Вот ни за что не поверю! Ложь!..

– Я был в Минге. Красная Армия пыталась удержать город.

– А, так помните! Замечательно!.. Посмотрите сюда! – Он положил на стол заранее подготовленную фотографию. – Вот! Посмотрите! Вы узнаете кого-то на этом снимке? Хоть кого-то?..

Лицо того несколько не изменилось. Знакомое лицо, что болезненно, навечно врезалось в его нервы, склонилось к фотографии женщины с детьми – и в нем не угадывалось ни грамма узнавания. Мужчина, который жил в их доме, гладил его когда-то по голове и однажды за компанию изнасиловал его мать, – он не помнил, за что на него злы, какой след оставил в нескольких судьбах, за что, в конце концов, он получит свою смерть.

– Нет, – после тяжелой попытки припомнить сказал тот, –

я никого не узнаю. Кто это?

– Вы не помните людей, с которыми...

– Я не запоминаю людей, – перебил тот. – Их слишком много, чтобы я запоминал. Кто это? Это мои информаторы? Женщина – мой бывший товарищ из Минги?

– Нет... Конвой!

– Стойте, стойте... – залепетал тот. – Я многое знаю, вы обещали... Партия получит очень многое. Я все расскажу.

– Позже... Спасибо. Конвой!

Того увели. Он остался в комнате и, казалось, не мог встать, настолько был опустошен. Он пытался найти в себе искреннее, сильное, живое желание мести или личного освобождения от прошлого. Как и многим раньше, партия дала ему на время абсолютную власть, но он не испытывал желания ее использовать – эта власть, жалеть или казнить, была слабее власти прошлого, власти воспоминаний и памяти, власти чувств. Даже приговори он этого беспамятного врага к смерти с позволения партии, прошлое продолжит висеть над его головой, как нож гильотины.

Я не хочу его убивать. Я не хочу стать убийцей даже из-за него. Вспомни он меня и мою мать – может быть. Но не теперь – он не поймет, за что я его убиваю. Я помню, а он нет – и его смерть ничего не исправит.

– К Кете и Марии, – сказал он таксисту.

– К кому?

Он полистал записную книжку и назвал адрес.

Жаннетт и Мария встретили его странно – гостеприимно, с большим желанием, но в то же время с плохо скрываемым смущением. Болтая с неловкой улыбкой, Жаннетт показывала его комнату, открывала окно, чтобы ушла духота, проверяла постельное белье, убирала со столика старые газеты...

– Я не уверен, что не стесню вас. К тому же, понимаете, у меня номер в гостинице.

Поспешно она перебила: что вы, вы нисколько не стесните нас, мы очень скучали, вы же наш близкий друг. Она встала в открытых дверях, словно не зная, что делать дальше. Не осознавая, что произошло, он ясно чувствовал себя хозяином, более хозяином в этом доме, нежели Жаннетт. Так могла бы вести себя управляющая в отеле средней руки, что пытается скрыть свое плохое финансовое положение.

Дав ему час, чтобы отдохнуть, затем она позвала его пить кофе с домашним печеньем. Он заметил, что Жаннетт сменила домашний костюм на выходное платье. Взглянув на ее сморщенную обнаженную шею, он подумал, как же быстро идет время – и мысль эта была тяжела для него. Он не ощущал, что ему больше тридцати, а осознает ли, принимает ли Жаннетт, что ей за шестьдесят, что тело ее истощается и моральные силы иссякают? В столице ею восхищались, как сильной, пусть и немолодой, умной, расчетливой, и что осталось от ее влияния? Нынче она не источала уверенность. Близ него сидела усталая, разочарованная женщина,

что мечтает о покое, но не имеет его.

Она первой заговорила с ним о столице, вначале отстраненно, не показывая заинтересованности. Он отвечал кратко, угадывая, к чему ее вопросы. Потом Жаннетт спросила, не по вопросам ли партии он приехал.

– Вам нужно быть очень осторожным, – мягко заметила она. – Вы иностранец здесь, влияние партии здесь пока невелико, и помочь вам будет некому.

– Вы правы: быть иностранным агентом очень тяжело.

– Значит, партия рассчитывает увеличить свое влияние? Возможно, хочет присоединить соседа к своей империи?

Он улыбнулся на столь беззастенчивые расспросы.

– Мне казалось, вы отошли от политики, Жаннетт. Не поэтому ли вы уехали – чтобы отдохнуть?

Она тоже улыбнулась – на его иронию.

– Жизнь в тени партии сделала вас умнее, Альберт. Вы правы: я больше не хочу заниматься политикой. Меня волнует одно – будущее моей племянницы.

– Кете? У вас есть основания волноваться?

Жаннетт размышляла; он почти слышал, как бьются мысли за ее беспокойно-усталыми глазами.

– Она работает с политическим журналистом. И у меня есть сомнения, сможет ли она ужиться с партией и... меня беспокоит, что станет с ней в этом мире бесконечных войн и споров. Мне много лет. Кто присмотрит за ней?

– Уверен, Кете умна и сможет о себе позаботиться.

– Мы живем в опасное время, – как ни слыша его, говорила Жаннетт. – Женщине одной не справиться. Мужчинам сложно, а как же мы?..

Замечательно понимая (впрочем, она тоже понимала, что он все понимает), он одновременно злился на ее навязчивость и сочувствовал ей. Бесконечно можно играть с замалчиванием, но ясно: Жаннетт уехала, чтобы избежать работы с партией, и должно было случиться нечто ужасное, чтобы она захотела отдать любимую племянницу кому-то от этой партии. И раньше не могло быть, чтобы он открыто ухаживал за Кете, но сейчас, чтобы Жаннетт намекала на такое? Он уставился в ее старое лицо, пытаясь прочесть, какого она мнения о нем на самом деле: боится ли она его, ищет его поддержки и через него – поддержки партии, что расширяет влияние, боится за Кете, думает, что выдав ее за партийного, спасет ее?

– Вы очень любите Кете, – заметил он. – Ваши тревоги... естественны. Одному выживать сложно.

Когда Жаннетт молчала, он оглядывался в поисках вещей Кете. Он боялся, что она вот-вот придет и застанет его врасплох (но как, если он ждет ее?), что она не узнает его или же спросит безразлично, зачем он приехал и тем более остается у них пожить. В его воображении Кете становилась то равнодушной и далекой, то отзывчивой и теплой, и он мучился тревогой, не зная, какой образ он хочет встретить через столько времени.

В какой-то момент Жаннетт извинилась и сказала, что собирается выйти с Марией в булочную. Из вежливости он спросил, не пойти ли ему с ними, но она ответила:

– Что вы, отдыхайте у нас, дом полностью в вашем распоряжении.

Они ушли. Он немного посидел в гостиной, прошел в свою временную комнату и осмотрелся. В шкафу отчего-то обнаружили платья и костюмы, точно не Жаннетт, летние туфли и соломенная шляпа с красной лентой, на подоконнике – солнечные очки в модной толстой белой оправе, под кроватью валялся журнал о средневековом искусстве. Из любопытства он полез за ним – но знакомый голос возмущенно спросил:

– Кто вы? Что вам тут нужно?

– А, Кете?..

Она стояла у двери, прижав руку к горлу. Возмущение у нее сменилось полнейшим недоумением.

– Что вы делаете под моей кроватью?!

– Эм, ничего, уже ничего.

К счастью, она быстро отошла и кратко рассмеялась. Он боялся посмотреть на нее, настолько было неловко.

– Мари говорила, что вы приедете, – сказала она, – но не думала, что тетя отдаст вам мою комнату. Вы правда остановитесь у нас?

– Нет... да... я не знал, что это твоя комната.

Он мямлил что-то еще, не в состоянии смотреть на нее.

Кете, казалось, перестала замечать глупость его положения и сказала как ни в чем не бывало:

– Я иду пить кофе, я устала после работы. Хотите со мной? Я только переоденусь.

– Эм... да, хорошо. Мне выйти? А, да, конечно, извини.

В гостиной он боролся с желанием убежать из этого дома. Через силу он признался самому себе, что ужасно, невыносимо ее боится – ее или, может, чувства, что она вызывает против его воли; это было схоже с потерей воли, контроля и благоразумия. Пока он размышлял, не уйти ли, как бы глупо это ни было, Кете к нему вышла и окликнула по фамилии. Он машинально на нее взглянул. Она сменила рабочее зеленое – возможно, костюм – на красный свитер и широкие черные брюки. Спinoй Кете прислонилась к косяку и была знакомо-красива; и все же она уже не та юная, неопытная, только осознающая свои желания девчонка. Близ него стояла самодостаточная, развитая физически и умственно девушка, невыносимо похожая на прошлую Кете, но способная жить хорошо и без него, занятая без него множеством дел, знакомая с миром, в котором он сам себе казался новичком. И эта ее новая осознанность и взрослость были почти болезненно привлекательны. Прежняя Кете спросила бы весело: «Ну как, мне идет?». Нынешняя спокойно спросила: «Ну как, отправляемся? Я очень-очень хочу кофе».

Не может быть, чтобы ничего не осталось от ее чувства. Не может быть, что отныне они – хорошие приятели, не более, и

в ее мыслях витают другие мужчины, что намного лучше его, красивее, умнее, опытнее его. Она уверенно пила кофе и курила, забросив ноги на пустой стул, перешла на язык Минги – конечно, желая сделать ему приятно, напоминая, что раньше оба жили в Минге и познакомились там же. Но в этом воспоминании не было ничего, кроме ностальгии по безопасным временам. Как знакомые, что расстаются без сожалений и потом не помнят друг о друге, они болтали о новых книгах, музыкальной постановке в В., на которой он успел побывать, об известном испанском художнике, о высоких ценах на малоизвестных постимпрессионистов, американском кино, забастовках рабочих, возможном запрете аборт (оба были против запрета), холодной погоде, маленьких зарплатах и дорогом жилье. Кете закурила снова и спросила, бросил ли он. Он закурил с ней. Она спустила ноги со стула и пожаловалась, что сильно устает – по работе бегать по всему городу и дальше.

– Ты не думала вернуться? – спросил он внезапно.

Она выпустила колечки дыма и уточнила:

– Зачем?

– Тебе здесь хорошо?

– Здесь работа и тетя, – пожала плечами Кете. – А там Мария, но у нее давно своя жизнь. Что мне у вас делать? И нет, против партии я ничего не имею.

– Ничего не имеешь? После того, как партия так поступила с Жаннетт?

– Как?.. Большинство моих давних друзей и приятелей – из партии или близки к ней. Мне тяжело говорить о... партии. Извините.

– Я понимаю, – ответил он. – У меня тоже многое связано с партией. Временами я забываю, что ненавижу партию. Больше скажу: многие из тех, кто с ней сотрудничает, ненавидят ее, как я.

– Как же партия может существовать в этих условиях?

– Она будет существовать, пока мы, ее соучастники, будем чего-то желать. Она питается тайными желаниями каждого из нас.

– Философский взгляд, – заметила Кете, закуривая во второй раз. – Получается, партия – не более чем Мефистофель, который принимает разные формы? А вы хотите нечто... запрещенное? То, что разрешит только партия?

– А ты как считаешь?

– Не знаю. – Понимает ли Кете, что он флиртует с ней? – Не замечала, чтобы вы хотели власти или чего-то похожего.

– А ты чего хочешь, Кете?

– Я?.. Найти свое место, заниматься классными делами, любить и быть любимой – ничего, что может выполнить партия, к сожалению.

Она проглотила остатки своего кофе и, перескакивая с темы, заявила, что стоит возвратиться.

В прихожей их встретила Мария и, плохо скрывая недовольство, сказала сестре:

– А к тебе пришли, в гостиной ждут.

– Кто? – спросила та.

– Сказал, что твой начальник. Дмитрий.

– А, Митя. Опять работать? Черт. Спасибо за компанию, г-н Мюнце. Приятно было встретиться.

И формально она поцеловала его в щеку и подтолкнула к Марии.

С этим Митей они не встретились. Он испытывал странное, очень сильное, схожее с неврозом, желание его увидеть, но, как назло, пока он жил у Кете с Жаннетт, Кете больше не пускала к себе своего начальника. В тот же вечер, как Митя явился требовать Кете, Мария с прискорбным выражением пожаловалась:

– Она собирается выйти за него замуж... за этого коммуниста, который забыл, как нас его замечательные коммунисты лишили родного дома. Человек без памяти и чувства достоинства – она хочет выйти за него замуж!

– Кете выходит замуж? – тихо переспросил он.

– Да, Альберт, за этого коммуняка! Это неуважение к нашим родителям, к нашим... ко всей нашей семье, которая пострадала от коммунистов.

И, неожиданно для него, Мария заплакала в ладони. Он был настолько опустошен, что безучастно смотрел, как она плачет и вытирает глаза.

– Поговори с ней, пожалуйста, – чуть успокоившись, продолжила Мария. – Объясни ей, а то она меня не слушает.

Он испугался и залепетал:

– Нет, нет, Мари, и не проси. Это ее решение, ее выбор, я не могу...

Устав от упрямства Кете, что не собиралась отказываться от коммуниста-жениха из-за недовольства семьи, Мария собралась и уехала обратно в столицу. До этого она, разумеется, написала несколько писем Мите, в которых просила его оставить в покое Кете, но ни одно из них не отправила. Узнав, что командировка Альберта подходит к концу, Мария спросила, на какое число он взял билет, на что он ответил:

– Я пока останусь в В. Не знаю, как вернусь. Я написал в отделение, что беру отпуск.

– Вот как. – Мария опустила глаза. – Останешься у Жаннетт или... в отель?

– Не знаю, Мари. Честно, не знаю.

По мнению Жаннетт, вел он себя в последнее время странновато. В одни дни он почти не выходил из бывшей комнаты Кете – а она жила в «спальне Марии», – а потом несколько дней подряд уходил в семь утра, а возвращался около полуночи. Поначалу она списывала это на некие партийные обязанности, но после поняла, что Альберт ничем не занят. Он то валялся с книгами и журналами, то уходил и часами смотрел кино в ближайшем кинотеатре, по кругу посещал одни и те же представления и засиживался часами в кафе. Он незаметно приносил огромные пакеты с едой и раскладывал продукты по полкам, а если Жаннетт спраши-

вала, не он ли принес сыр или молоко, отвечал, что нет и он впервые их видит.

И правда, у него были сэкономленные партийные деньги, но вместо отеля он стеснял двух женщин. После того, как он узнал о ее женихе, Кете стала избегать его. Он тоже избегал ее и старался не показываться ей на глаза, если она отдыхала дома. Логичнее было уехать и не мучить ее, себя, Жаннетт. Несколько раз он заходил в отели и спрашивал номер, но потом придирался к нему и отказывался, и снова возвращался к Кете, чувствуя себя полным идиотом. Она не показывала, что его присутствие мучает ее, и он сам боялся заговорить с ней об этом. И как заговорить с ней о чем-либо?

Когда они, очень редко, оставались наедине, он желал одновременно скрыться от нее и быть с ней рядом. Кете могла читать что-то близ него или заниматься своей одеждой, пить кофе или чай, а он с ужасом и волнением ждал, когда она случайно на него взглянет. Сама близость с ней была очень приятна и настолько же плоха. Когда он извинялся еле слышно и уходил, он очень боялся – сейчас она скажет что-то, остановит его, а он же ничего не может ответить, он абсолютно беззащитен и перед ее спокойствием, и перед ее гневом. Но Кете безразлично кивала и продолжала читать английский роман. Если бы можно было отвлечь ее, сесть вместе, как раньше, еще недавно, поговорить о мелочах или о важном, и чтобы она улыбалась, пробовать с ней флиртовать, того не осознавая, касаться ее ноги рукой и притворяться,

что он случайно и обязательно избежит от этой вопиющей небрежности – и как давно было, что Кете шептала в его губы, что любит его, что хочет его, что все легко и не нужно бояться.

– Кете?

– Что? – спросила она, не отрываясь от чтения.

– Можно с тобой поговорить... как раньше?

Она опустила книгу на колени.

– Хорошо. Конечно. О чем? Давайте поговорим.

Он спросил, нравится ли ей нынешняя погода. Нет, не нравится, а что? А как тебе кофе в кафе Р.? Я там был, отличная обстановка, но не пробовал кофе, стоит ли? Сейчас я знаю, что мне не хватало тебя. Мне было одиноко без наших разговоров. Раньше я отвергал тебя, не понимая, что ты нужна мне. Я боялся, что ничего не получится и я причиню тебе сильную боль. Но сейчас я знаю, что жизнь сломает тебя быстрее, чем я. Физическая и моральная боль от меня – это пустяк в сравнении с остальным, не так ли? Я боялся быть похожим на насильника, я боялся сломать тебя, как отец сломал мою мать, как ломали Мисмис. Я боялся стать ими, как они. Но теперь я знаю, что все и всегда ломает нас, и если мы не сломаем друг друга, то это сделает кто-то другой. Нас силует партия, война, общество, человеческая тупость, случайность и судьба. Как бессмысленно и жалко этого бояться, Кете. Минга, мы можем уехать в Мингу и попытаемся начать сначала, и возможно шторма нового времени нас избегут.

– Очень интересный разговор, спасибо, – сказала Кете.

После ее краткого ответа о качестве какого-то кофе он долго молчал. Устав ждать, она извинилась и сказала, что ложится спать.

А наутро в гостиной появилась фотография ее жениха. Как оказалось, Кете выставила ее, чтобы позлить тетю. Та с утра отказалась говорить с племянницей и ушла за покупками.

– Симпатичный? – спросила Кете.

Он оглянулся с фотографией в руках – она встала за его спиной.

– Нет, – резко сказал он.

– Разве? Совсем не симпатичный?

Плечи у нее дрожали, глаза смотрели вниз. С сильным приступом злости он уставился на это застывшее отвратительное лицо.

– Все коммунисты – сволочи, – заключил он с удовольствием.

– Вы ничего о них не знаете, – ответила она.

– Я? Не знаю?.. Кете, я старше тебя и помню, кто такие коммунисты. Они – пьяницы, насильники, грубияны, бьют своих женщин и готовы отдавать их товарищам во имя «общего удовлетворения».

– Мне очень жаль, – перебила Кете, поняв, о чем он. – Но причем тут Митя? Вы его не знаете. Вы ничего о нем не знаете.

– Да у него на морде все написано! Ты, ты... как ты могла сойтись с ним? Я не понимаю, я... Он что, хорошо тебя трахает? Поэтому?

Она застыла – он, прежний, ни за что бы не заговорил с ней так, о таком, таким тоном.

– Я... Кете, прости... я не то хотел сказать...

Она не пошла за ним. В пять минут он собрал саквояж и, не простившись с ней, выскочил из квартиры. От сильного стыда захотелось забыть Кете и вернуться в столицу. Только не встречаться с ней снова!

На вокзале он спросил билет, но, узнав, что отбыть можно через десять минут, отказался. На него странно посмотрели и захлопнули окошко.

Услышав, что он получил наследство, Мария попросилась с ним в Мингу. Она повисла у него на руке и стала ныть, что давно мечтала съездить в Мингу и вспомнить былые времена – но не ехать же без компании!

– Но что скажет твой любовник, а?

– Глупость, Дитер знает, что мы с тобой старые друзья, – ответила Мария. – Ну поехали, пожалуйста, все равно тебе больше не с кем ехать, согласись.

Она была столь настойчива, что купила билеты на свои деньги. Уже расположившись в двухместном купе, она начала расспрашивать:

– А что, что тебе завещали? Это что-то ценное?

– Поместье в провинции, не более.

– Поместье? – оживилась Мария. – У тебя будет огромное поместье? Как в старом романе? Сейчас почти ни у кого нет поместий. Ты, значит, теперь невероятно богат?

– Нет. Кроме поместья, больше ничего.

– Но как же так? – настаивала она. – Если у твоего дедушки было поместье, значит, были и деньги. На что-то же он его содержал?!

– Нет. Кроме поместья, у него ничего больше не было.

Мария отказывалась понимать, как это возможно. Меньше всего Альберт хотел с ней спорить, оттого и замолчал – и молчали они все время в пути: невероятно, если вспомнить прежние их отношения. Но нынче обоим беспокоило тайное, о чем оба боялись говорить – Альберт вез это в своем саквояже, и Мария об этом знала, как знала и то, что от его решения многое зависит.

Из Минги, не выходя в город, они отправились поездом в родной поселок его отца. Через час они сошли на грязной, полуразвалившейся платформе. Транспорта не было. В километре от станции виднелось почти опустевшее поселение с давно не чиненными крышами, а севернее, в тени горы, казалась другая крыша, выше и длиннее, но такая же обветшалая. Мария покорно пошла за Альбертом по грязи и камням. Новенькие французские туфли не были готовы к провинциальным условиям и через несколько минут утратили свой лоск. Она заметила это и спокойно сказала:

– Ничего, куплю в Минге новые, не хуже.

Скоро показались ржавая ограда и закрытые ржавые ворота. «Поместье» оказалось запущенным двухэтажным домом, близ которого был заросший сорняками сад. Ожидавшая чего-то величественного Мария разочарованно заметила:

– Тут невозможно, просто нельзя жить...

Они постояли немного, подергали закрытые ворота. Мария уже спрашивала, не лучше ли вернуться и попытаться «поймать» поезд, когда главный вход выпустил старика с тонкой палкой; он шел к воротам, радостно выкрикивая нечто невнятное. В мгновение он отпер тяжелые ворота и закричал:

– Вы приехали, мне говорили, что вы появитесь! Какое счастье!

– А вы кто? – спросил Альберт.

– Я присматриваю за поместьем. Я работал на вашего покойного деда. Проходите, проходите, вам понравится, я вам покажу. Никогда не видел вас раньше. Вы никогда не приезжали.

Они прошли по неровной дорожке. Мария пару раз споткнулась о выступающие камни. Их впустили в большой темный зал с пыльной лестницей; от всего, начиная с зеленых портьер и заканчивая раньше изысканной мебелью, несло затхлостью, старостью, смертью. На ступеньках проступали безобразные черные пятна, на люстре не хватало хрустальных подвесок, на двери в гостиную отсутствовала ручка, ди-

ваны и кресла были все в пятнах, на потолке местами виднелась плесень. Не скрывая омерзения, гости закрыли платками носы.

– Кажется, тут умер граф Дракула, – прошептала Мария.

Через грязные и мерзкие комнаты старик провел их в единственную более-менее пристойную, без пыли и плесени. С его слов, в этой спальне последние годы обитал прежний хозяин, что не вставал после тяжелого инсульта. Старик рассказывал быстро; он говорил на местном, но на деревенском диалекте, и Альберт порой не понимал его выражения.

– Как можно было довести дом до такого состояния? – спросил он.

Старик открыл окно, впусив в спальню покойного немного света.

– Из семьи остались только вы... и ваш дед, – с невесомой обидой ответил он. – Вы не приезжали. Это понятно, ваш отец давно порвал отношения с хозяином. Мы жили вдвоем – я и ваш дед. И я работал не за деньги, а за обеспечение.

С нескрываемым любопытством он уставился на Марию. Та отошла, притворившись, что рассматривает ранее величественный бронзовый подсвечник.

– Я не знал ничего об этом доме, – сказал Альберт. – В моей семье никогда его не упоминали. И деда тоже, я знал только о родителях моей матери.

– Да, ваш отец разругался с хозяином. Оба сына бросили семью и уехали в Мингу.

– Почему?

– Пройдите на второй этаж, там библиотека и кабинет.

Они возвратились к лестнице.

– Вы немного знаете о своей семье, г-н Альберт?

– Оказывается, мало.

– Сыновья росли непослушными. Раньше семья была уважаемой. Никто не уезжал из дома. Женились на ближайших соседях. Сыновья должны были слушаться старших, развивать поместье и жениться на местных девушках. А потом в область привезли кино и новые книги, в которых рассказывали о путешествиях и политике. Оба сына заявили, что станут писателями и уезжают в Мингу. Родители были против. Они надеялись, что сыновья одумаются, поймут, что родная область лучше города, и вернуться. Но потом сыновья женились. Ваш отец женился на девушке из Минги, но она была помесью, много чужой крови. Ваш дядя женился на «северянке». Родители запретили оба брака. Раньше в семье ценили чистую кровь и не приняли бы помесь. Раньше в семью не пустили бы иноверку с Севера. Раньше не женились без благословения родителей. Сыновья не вернулись домой. Ваш дядя, я слышал, стал коммунистом. Он ненавидел родителей и в последнем письме называл их «наглыми буржуями». Он ненавидел традиции и семейные ценности. Ваш отец тоже ненавидел семью, из которой вышел. Хозяин думал, что сын пришел к партии из-за этой ненависти к семье.

– Он знал о партии? – перебил Альберт.

– Ваш отец ненавидел ограничения семьи и национальности. Он не понимал, что нельзя нам скрещиваться с северянами, нельзя перенимать традиции с Севера, Востока и Запада. Хозяин говорил: он мечтает разрушить южное самосознание и создать общее, чтобы в большой империи не было северян и южан.

– Но это правда, – ответил Альберт, – мы живем в одной стране, мы все братья, и я...

Неужели я начинаю понимать своего отца? Он любил партию, которая обещала сделать нас, разных, единым целым. Первая война сблизила нас, заставив нас, жителей разных областей, сражаться плечом к плечу. Ты мечтал о новой войне, что укрепит нашу общность. На новую войну за империю Севера, Юга, Востока и Запада пойдём мы все и поймём, что нет разницы между городами, языками и предками. Ты думал, что партия – величайшее благо, потому что она объединит нас. Великая империя, в которой общее будет важнее местного...

– Я понимаю, о чем вы. Я живу на Севере и дружу с северянами. Хуже того, я дружу с иностранками и... и женился бы на одной из них.

Тот оглянулся на Марию – она брезгливо рассматривала пыльные книги на полках.

– Вы идёте дальше, чем ваш отец, – печально сказал он.

– Да, я бы создал одну общечеловеческую страну.

– Да, южное самосознание умирает. Молодежь уезжает в

Мингу, а потом на Север или на Запад. Вы работаете там и женитесь на девушках не южных кровей, что не знают наш язык. Вы говорите на чужом «общем» языке. Хозяин не смирился с этим. Хозяйка была убита горем, но заявила, что не примет у себя детей от женщин «мутных кровей». Она умерла, а хозяин прожил после нее три десятилетия. В области не было женщины, что сравнилась бы с ней по происхождению и национальному достоинству. Это ее портрет, она не признавала фотографии. Она говорила, что фотография и кино убьют традиции, они заманивают молодежь в города, а потом молодежь не возвращается домой.

Со странным чувством Альберт взглянул на большой портрет над пустым камином в библиотеке. Застывшими глазами на него сверху глядела еще молодая женщинами с пышными черными волосами и в устаревшем черном платье. В ее позе и выражении вытянутого белесого лица угадывались жуткая по нынешним временам гордость и неестественная сдержанность, за которыми она словно бы прятала отвращение ко всему существу. Мария тоже подошла посмотреть и прошептала ему на ухо, что изображаемая внушает ей страх. Он очень хотел нащупать что-то общее между ним и нею, его бабушкой, но чувствовал лишь отчуждение. Ничто не связывало его с этой женщиной, с ее семьей, с этим обветшалым домом. Время разрушало все – стены и крыши, родство, связи, традиции, национальности и идеи. Впервые он подумал, что не хочет возвращаться в Мингу. Живи они,

поколение за поколением тут, они бы вымирали. Он бы никогда не увидел заграничное кино, не услышал бы городскую музыку, он бы не выучился, на кого захотел, не служил бы партии и не встретил Кете. Его мир ограничился бы постепенно разрушающимся поместьем и несколькими вымирающими поселками поблизости. Нет, его бы и не было, если бы отец не захотел уехать в большой мир, а остался бы, повинуясь корням и семейным обязанностям. Я продам этот дом, если получится, и не вернусь ни сюда, ни в Мингу, с которой меня не связывает ничего, кроме воспоминаний. Время уничтожает все, прошлого нет, умирает и забывается все.

Он сказал Марии о своем решении, когда они вышли из дома в запущенный сад. Старик оставил их наедине, поняв, должно быть, что новый хозяин ему очень не нравится. Мария пинала ногами камешки, пытаясь попасть ими в высушенный искусственный пруд.

– Что, мы не поедem в Мингу? – спросила она. – Но мне нужны новые туфли. Не могу я ехать в этих домой.

– Купим тебе туфли на вокзале. На одну поездку пойдут.

– Тебе здесь плохо? – понизила голос Мария.

– Нет, просто... не хочу иметь ничего общего с прошлым. Знаю, ты бы радовалась на моем месте. Но я не могу.

– Да, наверное, я бы радовалась, если бы мне вернули дом моих дедушки и бабушки. Но этого никогда не будет.

В отличие от него Мария не желала отпускать прошлое.

– Я знаю, что это ты убила ее, – внезапно сказал он.

Мария занесла ногу, но не коснулась ею острого камешка.

– Что?.. О чем ты?

– Ты знаешь. Альма умерла из-за тебя.

– Ах, вот как!.. Это написано в твоём деле, которое ты таскаешь в своём саквояже?

– Нет. О тебе там пока ничего нет. Но моё начальство... хочет моего мнения. Они считают, что это муж убил Альму... а не ты. Но доказательств у них нет.

– Ах, они рассчитывают, что ты настучишь на него или на меня? Может, у тебя в кармане... не знаю... прослушка? Чтобы они слышали моё признание?

– Ты сама знаешь, что нет. Я бы... Мари, я не враг тебе. И Кете бы меня не простила.

Она устало пожала плечами. Он оглянулся – но, кроме шестла травы, близ них ничего не было.

– Я только... хочу знать. Я хочу понять, почему тебе вообще пришло это в голову.

Мария вздохнула и ответила:

– Вокруг достаточно смертей, Альберт. Что изменит ещё одна?

– Но почему?..

– Потому что я её ненавидела. Этого достаточно?

Она пнула камешек, и он, несколько раз перевернувшись, приземлился на сухое дно пруда.

– Все легко: люди иногда убивают других людей. – Она смотрела мимо. – Я её ненавидела. Ваша Альма – избалован-

ная девка, которая не заслуживала этого. Она ни дня в жизни не работала, но имела абсолютно все. Она думала, что можно купить любовь и уважение. Она думала, что может запугать меня. Она написала мне письмо, в котором грозилась испортить мне жизнь, если я не отстану от ее мужа.

– А он знал, что ты хочешь сделать?

– Нет, нет! Я сказала, что не хочу с ним расставаться. Он оплатил мне дорогу и номер. Я обещала, что не буду выходить в ресторан и не буду кататься на лыжах... чтобы не было скандала, она могла меня узнать. Я не хотела убивать ее... сначала. Я... я... я вспомнила, как тетя Лизель убила своего первого мужа, она столкнула его с лестницы... и никто ничего не понял. Жаннетт рассказывала.

– Лизель?..

– Мать Дитера. Жаннетт говорила, что она убила своего первого мужа, чтобы выйти замуж за отца Дитера. Тогда никто не догадался, кроме Жаннетт. И теперь никто не догадался... кроме тебя. Нельзя выжить... упав с этой высоты. Она... просто упала. Альберт... она просто упала и разбилась. Альберт?..

Он закрыл глаза, чтобы не смотреть в ее приблизившееся нежное лицо. Она зашептала, взяв его лицо в ладони:

– Пожалуйста, милый, Альберт, пожалуйста, пожалей нас, пожалей Кете... и меня тоже. Я ни за что, клянусь... это было наваждение.

– Вы обе... вы обе знаете, как мной манипулировать.

– А ты не хочешь?..

Она тихо рассмеялась и опустила руки.

– Не будь несправедлив. Твоим друзьям можно убивать во имя какого-то Его, твоему кузену можно... а чем я хуже?..

Она была права.

Он сказал, что стоит возвратиться в дом. Мария шла за ним, хлюпая грязными туфлями.

– Хочешь, я продам вам дом? – спросил Альберт у дверей.

– Этот? Нет. Дитер обещал купить нам дом получше. Говорят, после евреев остаются хорошие дома, можно попробовать купить один из них.

## 1940

Она тихо напевала что-то на смеси местного и еврейского. В руках ее лежала ветка шиповника – с необычной настойчивостью она рассматривала то, что осталось от мертвого цветка.

– Ты знаешь, что случилось? – окликнула ее Мария.

Софи не взглянула на нее – поступай так Катя, Мария бы разозлилась, но эта явно не пыталась игнорировать, она лишь не замечала ее присутствия, хотя Мария встала в паре метров от нее.

– Эй... я с тобой разговариваю.

Резкий и громкий тон ее подействовал – как проснувшись только что, Софи заморгала и уставилась на нее затуманен-

НЫМИ глазами.

– Доброе утро... В вашем саду очень красиво, – еле слышно ответила она.

– А-а-а... полагаю, это больше не мой сад.

– Да? Почему?

– Они заберут его у меня, разве не понятно?

С отвратительным безразличием Софи пожала плечами и вновь занялась веткой шиповника. Солнечная красота ее, столь безмятежная, без намека на осознание, взбесила Марию. Софи словно и не почувствовала, как ее схватили за плечо.

– Это все твой муж... я же сказала, чтобы вы убирались, почему ты шляешься тут, как у себя дома?

– Мне жаль.

– Что? Почему тебе жаль?

– Вы пришли требовать ответов, которые я не могу вам дать.

Мария открыла рот, чтобы выругаться во весь голос, но не произнесла ни слова. Магнетическая натура Софи внезапно вызвала у нее приступ сильного страха. Она отпустила ее тонкое плечо, как бы боясь, что сломает ей руку. Софи оторвала сухой лепесток и сказала:

– Грустно, что красивое умирает очень быстро.

Мария сглотнула и, справившись со страхом, спросила:

– Кто... как ты узнала?

– Что я узнала?

– Как это может быть? Как ты узнала? Что они сделают с ним? Что? Почему ты знаешь это?

– Вы хотите большего, на что я не...

– Я уже это слышала! – К ней возвращалась уверенность. – Если ты все знаешь, то что делать мне? Что я должна сделать, чтобы спасти его?

– Я не знаю.

– Знаешь! Ты знаешь!.. Что ты знаешь обо мне? Чем это кончится для меня?

Та оставила шиповник и опустила глаза на свои туфли – маленькие, невыносимо чистые, словно она и не по земле ходила, а плыла по воздуху.

– Вы не можете спасти его. Я не вижу, что это в ваших силах.

– Чушь! Ты же у нас волшебница, так наколдуй мне что-то!

– Это невозможно. Мне жаль. Вы очень упрямы.

– Разве? – воскликнула Мария. – Думать о своих близких – это нынче упрямством называют?

– Мне жаль. Вы скоро умрете. Вы больше не покинете этот дом, вы умрете в нем.

Слова эти были столь нелепы, что Мария невольно рассмеялась, но в том было больше нервозности, чем сомнения.

– Чушь! – выпалила она. – Я совершенно здорова! Я не могу умереть сейчас! И уж тем более я тут не останусь! Ты дура!

Желая оказаться подальше от Софи, она поспешила к дому, и давила в себе сильное желание – оглянуться, узнать, смотрит ли та ей вслед, не хочет ли сказать...

– Я не лгу вам.

– Нет, чушь! – не поворачиваясь, рывкнула Мария. – Ты предсказывала моей сестре Кате долгую и счастливую жизнь! И что? Где она сейчас? С чего я должна тебе верить?

– Она пошла против себя. А вы...

– А что я? – крикнула она и оглянулась.

Шиповник наполовину закрывал Софи от нее. Тонкое платье и волосы той не шевелились – странно, неужели ветер не касается ее?

– Вы не отказываетесь от желаемого, – ответила Софи. – Вы всегда поступаете, как велит вам сердце. Поэтому вы умрете здесь и очень скоро.

– Ну нет! Не дожدهшься! Я тебе не верю!

– Зачем вы пришли спрашивать меня, если не верите мне?

– Что? Я просила помощи, а не пожеланий смерти!

Убирайся, убирайся сейчас же, я кричала, чтобы ты убиралась, хотелось повторить ей, но Софи, охваченная ветром и неизменная, внушала ей потусторонний страх. С ней можно было спорить, но не прогонять.

Ветка слегка тронула красивую щеку – и оставила близ верхней губы Софи отпечаток. Софи не пошевелилась. Осознав, что минуты три уже стоит на дорожке и тарашится на нее, Мария чертыхнулась и побежала в дом.

Что же делать дальше? Звонить в столицу? Сослуживцам мужа? Просить помощи? Но кто из них готов вступиться? Боже, она не может ехать в столицу, сомнительно, что ей позволят снять деньги без разрешения мужа, который арестован, а остановиться негде, дом разрушен заграничной бомбой, как вовремя, и никто не согласится принять у себя жену политического преступника. Преступление против партии! Остается разве что Альберт, у него можно спросить денег и ключи от его квартиры, но в том ли он состоянии, чтобы...

Она остановилась на верхней ступеньке, вспомнив что-то о служанке. Что она собиралась рассказать? Что-то о Кате или ей показалось? Невероятно, нужно рассчитать служанку, а денег нет, хватит на билет и, если она заложит украшения, на пару месяцев аскетичной жизни. Служанка, почему она не встретила ее на первом этаже? Пусть Софи Кроль болтает, а она не помрет, ни за что, ни за что!

– Как вы себя чувствуете?

Кто это? Что ему нужно?

– Вы хорошо себя чувствуете?..

Поразительная любезность. Она промямлила что-то, поскорее отдаляясь от нависшего над ней Альбрехта.

– Понимаю ваши чувства. Это очень тяжело. Вы не отошли с прошлого вечера.

– Вы не знаете, что с моей горничной? – перебила Мария. Сейчас же она заметила, что Альбрехт спускает вниз свой

чемодан – этот мерзкий старый чемодан с заграничными наклейками, не на помойке ли он его нашел?

– А она ничего вам не сказала?

– Что?.. – Она взглянула на него. – О чем? Что должна была сказать?

– «Парле франсе» сбежала. Я заметил: она вышла из вашей комнаты и побежала вниз, а потом я заметил, как она выбежала и пошла в сторону деревни...

– Что? И вы ее не остановили?!

Невольно Альбрехт дернулся от крика.

– А должен был? Зачем кричать?

– Вот черт!

Отчего-то смеясь, словно радуясь возникшей ситуации, Альбрехт оставил чемодан на лестнице и поспешил за ней наверх. В пять шагов она проскочила к своей комнате и, чуть не стукнув Альбрехта дверью, ворвалась в разоренное пространство – постельное белье было сброшено, содержимое шкафа и туалетного столика вывалено на пол. Судорожно она полезла в нижний ящик шкафа, замок на котором был сломан. Украшений не было. Не было и денег, что хранились в узком зеленом конверте (его, впрочем, тоже не было). Без сил Мария села у ног Альбрехта. Он цокал языком, рассматривая оставленное воровкой, и повторял: «Как я вам сочувствую, как сочувствую...».

– Как... не позвали меня?

Она не узнала свой голос. Альбрехт опустил голову и

невозмутимо ответил:

– Вы были слишком заняты. Не мог же я мешать вам.

– Это просто... просто...

– У вас больше ничего нет? Совсем?

– Я... не знаю. Я...

Унизительно было плакать близ него, но сил больше не было. Осознание постепенно захватывало ее мозг. Жизнь была странной, невероятной и вместе с тем невыносимо реалистичной.

– Этого не может быть! – воскликнула она сквозь слезы. – Так не бывает! Хватит! Этого не может... быть...

Нет, нет, не вспоминай все, нельзя вспоминать все! Если сложить все несчастья этих дней в единую картину, она не выдержит.

– Жаль оставлять вас в таком положении, – спокойно сказал Альбрехт и достал кошелек. – Знаю, что вы скажете: «Вы ужасно бестактны!». Но не все ли равно?

Она безразлично пожала плечами. Сил сопротивляться нежеланной благотворительности у нее не было.

– Вставайте. Плакать удобнее на кровати.

Она сжалась, поняв, что Альбрехт оставил ей почти все наличные. Она встала, кое-как схватившись за его руку, и уставилась в его безразличные глаза – но как его наигранное безразличие отличается от истинного, космического безразличия Софи!

– Нет, нет, пожалуйста...

– Вы очень проницательны, Мария. Печально, что вы раньше не воспользовались этой чертой.

– Не уходите! Не надо!

– У меня нет другого выхода. Мне некуда пойти. Я обязан вернуться.

– Идиот! – вырвалось у нее.

Натужно Альбрехт рассмеялся и пошел из ее комнаты. Ранее притупившийся страх вновь пополз в ее крови. Она потрогала щеки и почувствовала, что они горят. До чего она дошла – она готова бежать за безумным маньяком, который наверняка пытал кого-то и, безусловно, убивал, бежать за ним, чтобы умолять не уезжать? Она готова унижаться, опять унижаться, чтобы спасти его, нельзя думать, что она опять потеряет человека, пусть Альбрехта, но знакомого, давно знакомого человека, потеряет его навсегда, как потеряла Катю, Дитера, Аппеля, Жаннетт...

Крыша опускалась. Стены приближались. Желая спрятаться от них, она закрыла голову руками. Альбрехт, Альбрехт, она потеряет и его, она останется одна на свете!

– Альбрехт!

Она вылетела на лестницу, выкрикивая его имя. Альбрехт уже стоял у двери и искал на вешалке свою фуражку. Она бросилась вниз, крича так громко, как умела:

– Нет, не уезжай, пожалуйста! Пожалуйста, не уезжай!

Альбрехт знал ее и потому не удивился. С новыми слезами она схватилась за его плечи и уткнулась в его грудь.

– Пожалуйста, не надо! Они заберут тебя! Они тебя убьют!

Он тихо вздохнул и положил руку на ее волосы, давая выплакаться.

– Ничего, – как Мария немного успокоилась, сказал он, – у вас есть Берти. Не уверен, что он сможет о вас позаботиться. Не знаю даже, нужна ли вам эта забота...

– Не нужна мне забота! Просто перестаньте умирать! Хватит! Хватит!

– Хм, в ином настроении вы наверняка бы сказали, что я заслуживаю мучительной смерти.

– Перестань смеяться! – перебила Мария. – Это не смешно! Это так страшно!

– Страшно, – согласился Альбрехт, – но закономерно, чем я лучше остальных? Моя идеология оказалась излишне жестокой для нашего консервативного времени... Отпустите мое плечо, мне больно.

– Ох...

Она отступила. Тот поспешно отвернулся.

– Твоя фуражка – вон там... Она падала с вешалки, ее перевесили в шкафчик.

– Что же, спасибо.

Боже, не верится, что вежливый, способный на сочувствие и все же внутренне опустошенный человек, что он – безжалостный маньяк, державший в страхе несколько тысяч заключенных. Наверняка и приятели, и жены остальных не понимают, что общего у их заботливых и нежных близких с

ночными кошмарами узников там, за тысячей решеток. Ее пробрала дрожь.

– Горничная должна была сказать мне что-то.

– А, – Альбрехт оглянулся, – вы с ней не говорили?

– Нет... Она говорила мне о Кате.

– Вот как... ну что, скрывать мне смысла нет. Она мне рассказала. Она скрыла, что с вашей сестрой на мосту был мой кузен.

Мария отступила. Лицо Альбрехта было печально.

– Что? Но почему? – непонимающе ответила она. – Альберт был с сестрой... но это невозможно. Она покончила... покончила с собой. Она оставила записку. Она... этого не может быть.

– Я не сомневаюсь, что она покончила с собой. Альберт был с ней и... не сумел остановить ее... или не хотел.

– Это чушь какая-то! Не может быть! Она бы так не поступила... не в его присутствии! Она его любила!

– Мы часто причиняем боль тем, кого любим.

Как она призналась, что столкнула ее: ее голова на плече у Дитера, она больно держится за его шею, а он сжимает руки на ее спине и шепчет, что никто ничего не узнает. Длинные лыжи, полосы на снегу и закрытые глаза, золотые волосы треплет горный ветер – а потом обрыв, жалобный внезапный вскрик, головокружение и страх быть обнаруженной, и сильное чувство торжества и всемирного счастья. Она убила человека. Возьми то, о чем мечтаешь. Бога нет. Убивают все.

Она убила человека.

– Что... произошло там, на мосту?.. Ты знаешь.

– Я не знаю. Альберт виноват...

– В чем? В чем виноват?

Она схватила его за рукав. Альбрехт теперь не сопротивлялся.

– Это не моя история, спросите у него. Это... игра страсти и ревности. Не мне рассказывать его тайны. Аппель сто раз пожалел о своем порыве. Вы меня отпустите?

– Нет!

– Это глупо... Я был прав: все зло в этом мире – от женщин. Всех мужчин губят бабы! Отпустите!

Он рванул руку – и она отшатнулась, решив, что он собирается ее ударить. Альбрехт грустно усмехнулся, подобрал чемодан и вышел навстречу ветру.

Этого не может быть, повторяла она утомленным разумом, не может быть, чтобы Альберт был виноват, Катя написала бы, уж после смерти она бы призналась, она бы намекнула, кто причина ее самоубийства. Она справилась с палитрой чувств – отчаянием, гневом, страхом, любовью и ненавистью. Она перечитает, что написала Катя, и ворвется в комнату Альберта. Наплевать, как он нынче, смог же он говорить с человеком из столицы, ответит и на ее вопросы. Она заставит его ответить на вопросы, она заставит его встать с постели, бросить все, отвечать на ее вопросы, пока...

Только не это! Она бросилась на второй этаж. В потолке

прогремел выстрел.

**1939**

Она почти не вставала с постели. В теплом плену было хорошо и спокойно, и хорошо, что получилось полностью завесить окно в спальне и в комнату почти не проникал солнечный свет. За стенкой часто плакала женщина – возвратившись в В., она узнала, что ее единственного сына убили в бою. Временами она начинала стучать в стены и кричать: «Да сколько же можно, когда это кончится?!». Внизу разбирали хлам, грузили в машины осколки домов, автомобилей и людей и вывозили на свалку вне столицы. Громкоговорители просыпались и кричали: «Граждане! Можете быть спокойны! Боевые действия закончены! Вы под защитой!». Не верится, что Ганна Каминская погибла. Отчего же ее не похоронили вместе с дочерью?

Лежа все время в постели, она чувствовала ужасную усталость, словно прошлый день вообще не садилась и не спала несколько суток. Несколько раз она вспоминала, что ничего не ела, и отправлялась в долгое путешествие, в кухню, чтобы наскрести горсть крупы или отыскать за пустыми бутылками банку консервов. В кухне есть было невозможно из-за солнечного света, и она шла обратно в спальню. Чтобы занавески на окне не развевал ветер (стекло в нем давно выбило), она «закрепила» их приставленным к подоконнику столом.

Нужно ли заботиться о новом окне? Неужели наступит зима? И принесет снег и морозы, от которых, без окна, не спасет слабое отопление? Она не хочет вставать и искать стекла, или новые рамы, или рабочего, что с ними справится, и не все ли равно, если она лежит в постели, укрытая с головой?

Через день или два она заметила, что рот болит не от выбитых зубов, включая тот, что так мучил ее – нет, боль не проходит, потому что она маниакально кусает себя, грызет слизистую щек и внутреннюю сторону губ. Несколько раз она находила силы, чтобы почистить зубы, и всякий раз она сплевывала, как ей казалось, много крови. Хотя ей было больно, она испытывала странное желание затягивать эту боль, кусать больше, чтобы ранки не заживали, чтобы крови было больше. Ночью она заплакала: желание кусать себе рот было нестерпимым, и чем больше она уговаривала себя перестать, тем сильнее ей хотелось искусать себя. Мысли, чувства, желания стали ее врагами. Из-за стенки постучали – наверное, она плакала очень громко: «Тихо, тихо, не мешай спать, шлюха, оккупантская шлюха!». Она постучала в ответ. «Шлюха, оккупантка, заткнись, ты сдохнешь, когда союзники освободят нас, они убьют тебя, они повесят тебя, мразь, за наших мальчиков, шлюха, мразь!».

Внизу говорили, что война окончена и новые земли благополучно вошли в состав великой империи. Империя и партия обязуются помогать новым жителям и защищать их права: «Не слушайте наших врагов, партия обеспечит вас всем

необходимым, империя позаботится о вас, не препятствуйте истории, она любит империи и великих завоевателей!». Враги сложили оружие, признав поражение слабого и необратимость сильного. Мы даем вам права. Мы даем вам новые паспорта. Мы восстановим ваши дома. Мы принесем мир на эти земли. Смирите гордыню и примите сторону «Единой Империи».

Неужели в этой империи ее заставят встать с постели? Стоило бы отправиться на поиски провизии, попробовать найти работу и деньги. Опустошенная, она только сильнее прижималась к подушке и обгрызала губы.

А потом в дверь позвонили и попросили впустить – к ней пришел пыльный и усталый Дитер и сказал, что его направили временно к ней, поселиться, потому что в штабе нет условий и, как-никак, лучше жить со знакомым человеком, чем с агрессивно настроенными местными.

– Я принес тебе письмо от Мари, – сказал он, уверенный, что она отгадает после этих слов.

Письмо она забросила в верхний ящик своего стола. Ее зять принес хорошую еду, попросил себе постель, уходил в штаб, возвращался в чужой дом, пробовал завязать разговор, обижался, что его не принимают, замыкался, уходил ужинать в офицерский клуб, ложился спать раньше, звонил приятелям, стучался к ней, чтобы предложить кофе, много курил, закрывался в ванной и подолгу лежал в теплой воде, чистил униформу, позвал мастера, чтобы починил окна, оставлял в

прихожей шоколад для нее, писал Марии и жаловался ей на одиночество. Скоро Дитер заметил, что она не выходит из дома и вообще старается не покидать спальню. Поначалу он списал это на свой счет, но, поразмыслив, решил поговорить об этом.

Он зашел к ней после работы и, хотя она накрылась с головой, начал:

– Я понял, что ты не выходишь... Не хочешь рассказать, почему?

Она не ответила. Он сел на постель.

– Катя, мы за тебя беспокоимся... я и... Мари. Ты боишься выходить? Кого ты боишься?.. На улице уже не стреляют. Тебя никто не тронет. Если к тебе обратится солдат или офицер, ты сможешь ответить, он услышит, что ты говоришь без акцента, и не обидит тебя. И просто, если не ответишь... тебя никто не обидит, поверь мне. Или это из-за этих... местных? Я слышал, они оскорбляют тебя. Я сказал им, чтобы они не смели тебя трогать. Они ничего больше не скажут тебе, если не хотят проблем. Ты... тебе ничего не угрожает. Хочешь, мы вместе выйдем из дома? Я... поверь мне, я хочу тебе помочь. Я хочу понять, что мне сделать.

– Ничего.

Она больно сжала зубы на губе. Чтобы Дитер не слышал, как она плачет, она крепче завернулась в одеяло. Это же Дитер, почти брат мне, я знаю его столько лет, я помню его, я люблю его и хочу, чтобы он меня обнял и погладил по голове,

чтобы выплакаться у него на плече, крича, как все ненавижу и как сильно устала, и что не знаю, кто он и зачем пришел, если его никто не звал. А Мария?..

Он погладил ее по голове через одеяло, тяжело вздохнул и вышел. Когда дверь закрылась, она доползла до стола и нашла в нем письмо Марии. Почерк Марии – он не меняется, он такой же, как десять лет назад. Сколько же лет прошло?..

«Милая моя Катя!

Я не знаю, получишь ли ты мое письмо. Я ничего не знаю и очень боюсь за тебя, но не могу не писать тебе. Мысли переполняют мою голову.

Весь сентябрь я боялась за вас обоих, мне было тяжело спать, мне снились ужасы: якобы кого-то из вас убили, и я не узнаю, как это произошло, и не смогу похоронить вас по-человечески. Я знаю от знакомых, что вашу столицу бомбили с воздуха. Я пишу это через час после объявления – эта война закончилась. Да, мы еще воюем с союзниками, но у нас мало кто верит, что это сдвинется с мертвой точки. Боевые действия закончились.

Расскажу, как мы живем. О, о нашем пакте с Советами. Я помню, как мы были поражены, узнав о его заключении. Если мне не изменяет память, сообщили нам о нем в понедельник, приблизительно за час до полуночи – я могу припомнить, который час был, потому что в это время в августе приходил с работы муж. И я помню, что по радио пере-

давали какую-то музыкальную программу. Затем ее прервали, и диктор нам сказал, что заключен пакт с Советами. Это было очень странно – после стольких оскорблений красных, которые меня полностью устраивали. Но пакт сложно было уложить в голове. Нам же говорили много раз: "Коммунизм – зло, Советы – зло, репрессии, хаос, кровь, кровь, кровь!". Как можно было изменить политический курс и объявить это хорошим, правильным – и дружественным нам? Аппель написал что-то такое: "Мир ныне поставлен перед выдающимся фактом: два народа нашли общую позицию в международной политике, которая, основываясь на длительной, традиционной дружбе, обеспечит фундамент для всеобщего взаимопонимания". А с полок магазинов убрали антикоммунистические книги. Я спросила знакомых – и они были за пакт! В большей степени из-за надежд: дескать, поддержка красных напугает *их* союзников и войны не будет... Никто до последнего не верил, что будет война.

В августе нам объявили о карточной системе. В воскресенье мы с Дитером ездили на озеро, а когда вернулись вечером, купили газету на вокзале. И там писали, что со следующего дня вводятся карточки на продовольствие, мыло, уголь, ткани и обувь. Дитер помнит о карточках больше, чем я. Я, можно сказать, почти и не помню ничего о тех карточках. Голод? Военный дефицит? Невозможность купить новое платье, туфли, сапоги? Но разве мы раньше много покупали? К примеру, вот наши недельные нормы: мяса – 700 граммов,

сахара – 280 граммов, кофе – 40 граммов. Как может хватить взрослому человеку 700 граммов мяса в неделю? Остается варить мясные супы. С отбивными можно попрощаться. В ресторанах требуют карточки! Дитер сказал, что попробует доставать продукты через черный рынок, но, если военное положение продлится несколько лет, мы на покупке еды у перекупщиков просто разоримся. Хорошего сыра нынче не найти. В магазинах косметики невероятный ажиотаж – наши девушки сметают с полок заграничные кремы. Новых поставок не будет. Скоро хорошая помада будет по цене бомбардировщика. В первый день возмущались все, кого мы знаем. Отовсюду на нас смотрели опечаленные, напряженные, утомленные лица.

Партию ругают. Власть ругают. Не партийные против войны, потому что не понимают, зачем она нужна. Я много раз слышала в августе: "Из-за чего это, зачем воевать? Мы не слышали об этом "коридоре" почти двадцать лет, а теперь его зачем-то потребовалось срочно возвращать, и зачем, какого черта сейчас, ни с того, ни с сего, поднимать этот вопрос?". Нам сказали, что нельзя быть эгоистами, речь о возвращении исторических земель и спасении соотечественников. Наши газеты невыносимы. Не знаю, сколько истины в СМИ, но можно ли нагнетать, как это делали они? "Они обстреляли наши пассажирские самолеты!". "Ужасный хаос в П.! Наши соотечественники спасаются бегством. Вражеские части приблизились вплотную к нашим границам!". "П. охвачена

военной лихорадкой! Мобилизовано полтора миллиона человек!". "В сторону нашей границы бесперебойно следуют транспорты с войсками! П. хочет начать войну!". Посыл понятен: мобилизуйся тоже или проиграешь!

Мы не знали, как начнется война и в какой час. Помню, мы грешили на ночь на 31 августа. В ту ночь наше агентство новостей объявило, что будет работать круглосуточно. Мы следили за новостями в прямом эфире. Дитер сказал, что уедет на войну, если она начнется. Как военный он не может отказаться. У него большой штабной опыт, и ему заранее сказали, что его отправят в один из армейских штабов. Он пришел поздно ночью и сказал: "Мари, утром начнется война. Мне подтвердили в штабе, я выезжаю в армию для начала наступления". Я знаю, ему требовалась моя поддержка, а вместо этого я кричала, что никуда он не поедет, а если поедет, то мы разводимся. Я подумала, что он не вернется... как папа. Он обнял меня и успокаивал, повторяя, что его не убьют и он скоро вернется. Он уехал, а я не спала всю ночь, ожидая новостей. Ужасно: я вспомнила, как наши отцы уходили на войну и гибли на ней, оставляя вдов и сирот. Рано утром на улицу вынесли экстренные выпуски. Я выбежала к ним, набросив на пижаму пальто, и прочитала, что началась война. Там была прокламация к армии. Не вспомню в точности слова, но смысл: "Вражеская страна отказалась от мирного урегулирования конфликта и сама взялась за оружие. После нескольких нарушений нашей границы мы, дабы оста-

новить это безумие, решили, что нет другого выхода, кроме как отныне и впредь силе противопоставлять силу". Мне было очень страшно. Я вернулась домой и включила речь из парламента. Чему мне верить? Так ли важно, кто начал это безумие? Важно то, что на войне умирают наши мужья. Я возненавижу того, кто взял оружие и нацелил его на моего мужа. "Прошлой ночью солдаты нашего противника учинили стрельбу на нашей территории – в первый раз. Несколько часов мы отвечали огнем, теперь их бомбам мы противопоставим свои бомбы... поражение равносильно смерти...". Я не знаю, чему верить.

Через час ко мне пришел Альберт и объявил, что его вызывают. "Ты не военный, не партийный, ты же по уголовным преступлениям, – возразила я. – Что делать тебе на этой войне?". Он ответил: "Я нужен на случай агрессии со стороны штатских. Они должны иметь право на объективное рассмотрение их преступлений". Я спросила, как он поступит, если ему прикажут вынести смертный приговор 16-летней девчонке, что убила домогавшегося ее офицера. Он ответил: "Я не хочу никого убивать, но, если мне не оставят выбора... Могли бы послать кого-то жестче. Я – не самый безжалостный вариант".

Почти все наши мальчишки ушли на войну. Даже Аппель, который статьи пишет, поехал к военным – чтобы статьи лучше получились. Петер Кроль занимается культурной программой для армии. В столице никого не осталось. А если

они не вернуться? Мне очень страшно. Мы не хотим хоронить пустые гробы.

P.S. Письмо не отправляю простой почтой. Его взял мой хороший знакомый.

Люблю тебя. Пожалуйста, береги себя. Мы должны пережить это».

Получается, Альберт уехал в армию. Впервые за столько дней она почувствовала прилив сил. Она поняла, что Дитер ни разу не упоминал его. Не может же быть, что он ничего не знает об Альберте. Страх, что Альберт может быть мертв, заставил ее встать с постели. Альберт, Альберт, Альберт – почему он не написал ей, почему он не приехал, чем он занимается, что у него нет времени приехать или написать?

– Можно спросить?.. – выпалила она.

Зять ее лежал на застеленной постели с французской книгой.

– Естественно, – не показав, что удивлен, ответил он.

– Что с Альбертом?

– С Альбертом... – повторил он. – В каком смысле – что?

– Не притворяйся. Ты знаешь, о чем я! Что с ним?

Не осознавая, она сильно повысила голос.

– Ничего особенного. Пишет учебные пособия по криминалистике. Вот...

Пытаясь скрыть выражение, он склонился к тумбочке и извлек учебное пособие, написанное Альбертом для студен-

тов. Она скрестила руки, понимая, что ее трясет. Странность этого диалога была невыносима.

– Что с ним? – хрипло спросила она. – Он погиб? Он погиб?!

– Нет, нет... Не кричи, умоляю. С ним все нормально. Он приезжает через неделю. Я спрашивал и... Полагаю, мне стоит найти жилье. Альберту нужно остановиться в... ну, ты поняла. Вместе мы не поместимся.

– Спасибо, спасибо...

Вместе с учебным пособием он достал маленькую книжечку в синем переплете.

– Хочешь взять? – спросил он с долей неловкости.

– Что, пособие? Если можно.

– Нет, тут... это дневник твоего мужа. Я случайно его получил и...

Он запнулся, всматриваясь в ее лицо; ранее выражавшее сильное облегчение, после слов о Мите оно превратилось в страшную отрешенную маску.

– Митя... вел дневник? Я не знала... об этом.

– Катя, я должен сказать тебе. Он погиб. Он не мучился, его застрелили и...

– Это ты убил его? – тихо перебила она.

– Нет. Нет, я не убивал его. Клянусь тебе. Я должен был сказать раньше. Прости, я... не знал, как сказать.

Она отвернулась.

– Прости, но... тебе не нужен врач? Я могу вызвать зна-

когого. У тебя... кровь на зубах и губах.

– Нет, нет, все хорошо.

...Это она взяла? Она пришла к себе и села на постель? Ее мысли разрушают ее?

Нет, нет. Приезжает Альберт, он жив, и Дитер сказал, что он остановится у нее, как же больно и одиноко, если бы Альберт обнял ее и она бы обняла его голову и плакала от облегчения, и не осталось бы ничего вне их маленького мира...

Разрушенные дома, мосты и воспоминания, они принесли с собой боль, взрывы, смерть, унижения, оружие, патроны, танки, бомбардировщики, много бомб и оружия. Митя! Он погиб, он не вернется. Они убили его. Они закопали его в неизвестном месте, бросили его в яму или хуже – проехали по нему машинами и танками, и его плоть ели их страшные псы. Сколько тел они уничтожили своими машинами во имя великой империи? Как захватчик, вместе с сильными, Альберт проезжает мимо пепелищ, а под колесами его лакированного автомобиля хрустят кости.

Одумайся, ты – жертва их войны, а он – оккупант. Пусть не желая того, но он выстрелил в тебя – и ты снова дашь ему оружие, ты позволишь стрелять в тебя, как в мишень, ты забудешь защищавшего тебя Митю и побежишь в объятия оккупанта, что целился в твой дом, сжег половину города и едет сюда с чувством превосходства; это он ударил тебя тогда, это он убил Митю, это он заставил тебя бояться жить дальше, это он принес войну в твою душу и разрывает на

кусочки твой разум.

За что, почему здравый смысл, гордость и мораль не будут сильнее любви?

Накрывшись с головой, она открыла учебное пособие.

«Пример 23. В лесу был обнаружен труп с обезображенным лицом, тщательно спрятанный злоумышленником. Как позже было установлено, это был труп Ф. – студентки, о пропаже которой заявлено ранее не было. По показаниям близких Ф., она жила на съемном жилье, отдельно от родителей и других родственников, друзей не имела и раньше часто пропускала занятия, поэтому никто не забеспокоился и не заявил о ее пропаже. В каких случаях и с какой целью преступник прибегает к сокрытию трупа и обезображиванию как к способу сокрытия преступления? Какие в связи с этим могут быть выдвинуты версии по данному делу о лице, совершившем преступление?»

Пример 24. В прокуратуру поступило заявление от гражданки Л. о том, что она была изнасилована шофером такси, который вез ее прошлой ночью из курортной зоны в город. Потерпевшая показала, что таксист, свернув с дороги, стал требовать от нее вступить с ним в интимную близость. Она смогла вырваться и выскочить из машины, но преступник догнал ее, повалил на землю, сорвал с нее одежду и вступил с жертвой в насильственный половой акт. После совершения

преступления он заставил ее сесть в машину и довез до ближайшей трамвайной остановки, где и высадил. Потерпевшая выдала одежду, на которой имелись следы грязи, кровь и семенная жидкость. Согласно судебно-медицинской экспертизе, у потерпевшей были обнаружены ссадины и кровоподтеки на внутренней поверхности бедер, на предплечьях, ссадины на шее и кровоподтек на правой щеке. Ведущий дело следователь не стал осматривать машину подозреваемого и место преступления, решив, что насильственный характер действий гражданина К. подтверждается наличием характерных повреждений на теле и одежде потерпевшей. На допросе подозреваемый К. показал, что действительно подвозил потерпевшую на машине и с ее согласия, на обочине, совершил с ней половой акт. О происхождении телесных повреждений потерпевшей он ничего не знал. Правильно ли поступил следователь, отказавшись от осмотра места происшествия? Какие следы могли быть обнаружены на месте происшествия? Какие еще следственные действия нужно было провести по данному делу?».

Помоги мне, Альберт, я больше не могу.

Дневник Мити она бросила в верхний ящик. Не все ли равно, если он мертв и она его не любила?

Утром она встала и набросила пальто поверх пижамы. От осознания, что она вот-вот окажется вне приятной постели

и относительно безопасной комнаты, ее потряхивало. Пришлось держаться за стены, чтобы сохранить равновесие. Ничего, успокаивала она себя, несколько коротких шагов – и она за порогом.

Дверь показалась ей невыносимо тяжелой: она слабо дергала ее, пока не сообразила, что нужно открыть ее ключом. За дверью никого не было. С бьющимся сердцем она выглянула на лестницу, боясь встретить знакомого. В квартире снизу неизвестный громко включил патристически-окупантские песни. Она узнала стихи Петера Кроля – разумеется, кто, если не он, написал бы столь бессмысленный и убийственный текст!

Чтобы не побежать обратно, она со всей силы схватилась за перила. Она стояла на верхней ступеньке и смотрела вниз, в эту одинаковую бесконечность. Не рухнет ли она, пытаясь спустить ногу ниже? С минуту она прислушивалась к себе: ужас, что она останется в квартире Мити, в этой квартире воспоминаний, останется навечно – ужас пересилил страх ступеней, дверей, улиц и чужих лиц. Она не останется здесь, она поедет домой, у нее есть дом, в котором ее всегда ждут. Мария и Альберт, Мария и Альберт, и Дитер – она постарается, чтобы увидеть их снова. Две или три ступеньки – не более. В первый день достаточно сделать пару шагов, а после она научится – убрали ли с улиц мусор и трупы? Разумеется, она слышала, как вне комнаты ездят автомобили, даже грузовики и, кажется, она слышала звонок трамвая – может, и

войны не было, и ей все приснилось?

– О, это вы, конечно...

Упорно смотря на свои ноги – она опустилась на две ступеньки, – она не поняла, кто говорит с ней. От страха ее затрясло.

– Приветствую. А я к вам, конечно. Позвольте?

Столько «конечно» на ее памяти употреблял лишь Аппель. Она сумела взглянуть на него. Небрежный, с грязными волосами и потрепанной физиономией, тот остановился чуть ниже и с любопытством смотрел на нее.

– Я к вам, конечно, от Альберта, – поняв, что его не встречают, как должно, поспешно добавил он.

– А-а-а...

– Можно войти? Конечно, может, вы хотели уйти, извините, но вы...

– А-а-а. – Она покраснела и запахнула пальто. – М-можно. Я... я только...

– Спасибо. Я на минутку.

Теперь она заметила, что Аппель несет кожаный портфель, похожий на тот, в котором военные носят бумаги. Она прошла за знакомым в кухню (возвращение далось ей легче), а Аппель уже, как у себя, уселся у стола и выкладывал из портфеля колбасу, консервы и яблочный джем в высокой баночке.

– Хлеба нет, – извинился он. – Не получилось, конечно, достать без карточек.

– У меня все есть, – ответила она. – Мне зять приносит, вон все полки ломаются.

– О, понятно, – разочарованно ответил Аппель. – Берти не был уверен и попросил... А можно я поем у вас? Раз у вас много всего.

– Да... пожалуйста.

Получив разрешение, Аппель окончательно расслабился и по-хозяйски полез в шкафчики в поисках лучшего съестного. Открыв мясные консервы и запустив в них вилку, он опять извинился:

– Простите, я с дороги и ничего сутки не ел. Я сразу поехал к вам. Берти очень волновался за вас. Я должен позвонить ему и доложить, что вы сыты и благополучны.

– Альберт приезжает? – глухо спросила она.

Аппель закашлялся с новой порцией во рту.

– А, конечно. В субботу. Но он отправится в гостиницу, он так сказал. Конечно, он вас навестит... наверное. Вы живете с Дитером?

– Он сегодня съезжает.

Она почти слышала, как в голове Аппеля шевелятся нехорошие мысли. Что бы ни изображал Аппель, оба знали: он ее терпеть не может и, будь его воля, сделал бы все, чтобы она не встречалась с Альбертом. Отчего-то Аппель не торопился, словно желал растянуть ее неприятные чувства; он ел медленно, а потом достал из портфеля газету и уставился в нее с наигранно увлеченным видом. Вытянув шею, она

заметила, что газета не местная, а из столицы империи. Она спросила:

– Вы правда были в войсках? Мне рассказал Дитер.

Аппель отвлекся на нее.

– А, это... конечно. Вкусные у вас консервы. Штабным дают самые лучшие. Кстати, вы знаете, что не то число плиток?

– Что?

– Неправильно положили. – Он показал на пол. – На плитку меньше. Должно быть 16, а не 15, как вон в том ряду.

– Так вы были на войне? – перебила она.

– Ну, в некоем смысле. Конечно, я писал статьи о нашем... доблестном наступлении. А что?

– Я не читала. Их публикуют?

– В столице.

– Можно мне... газету?

Поколебавшись, Аппель отдал ей свою газету.

– Мне нравились ваши статьи... из прошлой жизни, – с намеком сказала она.

Тот помрачнел; не доев, отодвинул банку и с вызовом спросил:

– И что я в них писал? Конечно, что-то оптимистичное.

– Тетя называла вас самым талантливым автором нашего поколения.

– Очень лестно, конечно.

– Никто так бескомпромиссно не громил всяких чиновников и... партийных... как вы. Помню, однажды вы напи-

сали, что, если «Трибун» займет нынешний пост, страна от этого не отмоеется.

– Тебе стоит меньше открывать свой миленький рот, – резко ответил Аппель. – Не тебе судить меня, ясно?

– А то что?

Она нисколько его не боялась – к ее облегчению, на осознание этого потребовалось не больше минуты. Странно, что она нисколько их не боится, а выйти из дома ей страшно, страшно даже смотреть в окна. Поняв, что она безразлична к его резкости, Аппель ничего не ответил и собрался уходить. Он был уязвлен.

Чтобы справиться с гневом, она сильно кусала себе щеки и губы. Она пыталась разобраться, что же вызывает гнев – изменения, отказ от прошлого, разочарование, ревность, обреченные мысли, что ничего не изменится и Аппель тоже в этом виноват? Теплые вечера на набережной, школа и кожаный портфель с учебниками, рыжая листва, легкая музыка из открытых дверей кафе и клубов, пирожные на углу А. и отвратительный кофе на Ф., ласковая кошка, с которой постоянно сыплется шерсть, и она просит купить ей свежий корм, книги на лотках, и можно расстегнуть пальто, а на набережной играют и поют, и просят положить денег в шапку: «И ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких, как ты, не одну. Словно куклой в час ночной...».

Газета из империи по-прежнему была в ее руках. Она открыла ее, желая найти в ней статью Аппеля. Нет, не может

быть, этого не может быть, это сон, это кошмарный сон, это чушь, безумие, обычное безумие! Неужели Альберт приезжает?

«Нам часто говорят, что нужно проявлять снисхождение к врагам. Но понимают ли снисхождение те, что напали первыми? Наш враг горел желанием разрушить нашу государственность. Сильная и независимая от Запада и Востока империя беспокоит их, наших врагов. Наша страна, по их плану, должна была рухнуть, но мы отстояли ее после поражения в прошлой войне. И мы отстоим ее на новой войне. Это битва за нашу независимость. Наш враг пытался напасть на нас ранним утром, без объявления войны. Нам ничего не оставалось, как начать наступление. Эта военная операция была необходима, чтобы война не пришла на нашу землю. Враг, взявший в руки оружие, должен быть по максимуму уничтожен на поле боя. А после окончания боевых действий преступники, развязавшие эту бойню с единственной целью – уничтожить нашу страну, – должны быть примерно и показательно наказаны. Должна быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены любые организации, которые разжигают ненависть к нашей стране. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивным соучастником этой ненависти к нашей Империи. Они поддерживали расизм в отношении нашей нации. Они поддерживали преступную власть и угрожали нам войной. Они хотели сравнять с землей

наши города и угнать в рабство наших детей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. В дальнейшем, для искоренения расизма и еврейского влияния, необходимы идеологические репрессии, не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования. Именно через культуру и образование была подготовлена и осуществлена глубокая массовая пропаганда ненависти к "Единой Империи" ...».

Статьи Аппеля воистину оружие массового поражения. Она почувствовала себя больной. Какая же горячая голова!.. Неужели Альберт приезжает?

Мы проснулись в новом мире. Война против агрессивного союзнического блока стала чертой, разделившей историю на до и после. Мы вступили в схватку за будущее мира. Во имя нового мира мы уничтожим города, построим тысячи новых тюрем. Демократия – ложь западных политиков, еще один способ манипулировать собственным населением и натравливать его на «не демократичные» нации. Время расплаты за позор нашей страны пришел. Они обстреляли наши поезда! Они убили наших соотечественников: они остановили их на границе, потребовали документы, а потом зарезали отца, мать и грудного младенца. Сегодня будущее нового мира в руках наших солдат – они сражаются за мир для нас всех.

Мы отличаемся от наших вечных врагов. В прошлые войны они вырезали мирное население. Но мы действуем иначе, мы стараемся минимизировать жертвы. Война будет идти ровно столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач. Здесь точно не стоит спешить. Годами мирное сообщество не замечало геноцид нашей нации, годами оно игнорировало притеснения наших соотечественников за границей. Только сейчас мы слышим первые показания запуганных и замученных соотечественников, что наконец-то, после стольких лет, вернулись в родную гавань. Их годами притесняли наши враги, они говорят, что их унижали за их национальность и не давали говорить на родном языке. За это наступает расплата. Мы уничтожим всех, кто унижал нашу страну, кто мечтал колонизировать ее и превратить нас в своих рабов. Годы терпения закончились!

Она проснулась в страхе. За стенкой плакала женщина, взывая к мертвому сыну. Часы показывали половину десятого – утра, скорее всего, окно было плотно зашторено и не пропускало дневной свет. Губы были в крови – она сильно кусала их во сне.

Я схожу с ума. Я схожу с ума. Я схожу с ума. Выпить воды. Принять ванну. Надеть чистое платье. Механически, но чтобы вернуть устойчивость. Съесть кусок хлеба с джемом. Поставить вариться кофе.

Сегодня суббота!

Стакан выпал из ее рук и разбился в раковине. Она бро-

силась к окну в спальне и одним движением отдернула шторы. Сквозь слепящий свет она увидела знакомую улицу. В доме напротив зияла страшная открытая рана. Но внизу, у ее подъезда, – Альберт, он стоит и курит, и что-то говорит Аппелю, и они, они смеются. Она распахнула окно, чтобы услышать этот смех – такой знакомый, веселый, нежный, беззаботный... Альберт приехал!

Она чуть не сорвала дверь, чуть не потеряла туфлю, сбегая по лестнице, быстрее, быстрее, пока он не ушел! Он оглянулся и заметил ее. Она с разбегу врезалась в него, и он еле устоял на ногах, а она вжималась в его плечи и громко, истерически плакала. Альберт, Альберт, мне было так плохо! Мне было так страшно! Мне было так одиноко!

– Все хорошо, все хорошо, Кете, я тут, все хорошо...

Расстроенный Аппель, не простившись, ушел.

Знал он или нет, но он изменился. Что изменило его, она не хотела или боялась узнать. С ней он стал спокойнее, исчезло вечное напряжение, с которым он обнимал ее раньше – словно бы и желая обнимать, и желая оттолкнуть. Сейчас в его объятиях было тепло и безопасно. Он не боялся к ней прикоснуться и не боялся первым ее обнимать, и трогательно гладил ее по волосам, пока она кричала и била руками по своим коленям. Она плакала и повторяла: мне было страшно, мне было холодно, мне снились ужасные сны, рушилось все, все умирало, война, оружие, я умру одна под завалами, я хочу домой, я боюсь, я хочу домой, мне страшно, я боюсь

войны, я боюсь умереть, я хочу домой, я хочу, чтобы все закончилось, хочу, чтобы было как раньше, пожалуйста, я хочу домой, пожалуйста!

Я отвезу тебя домой, Кете. Я обещаю. Я думал, ты умрешь. Прости, что не увез тебя тогда. Мы поедем домой вместе.

Правда? Правда? Я хочу домой. Я не хочу здесь жить. Здесь страшно. Мне здесь страшно! Я хочу забыть, я хочу забыть! Помоги мне, я схожу с ума. Я схожу с ума.

Я позабочусь о тебе, Кете, я все для тебя сделаю. Ты будешь в безопасности. Все будет хорошо. Я твой, я люблю тебя, прости меня за прошлое, я ничего не понимал. Я увезу тебя отсюда. Мы поедем домой. Ты будешь моей женой, мы проживем много счастливых лет. Я сделаю все, чтобы стереть это. Поверь мне, Кете, Катерль, я все сделаю.

Уверенность его утешала и поддерживала. Теперь, когда она не имела сил что-то решать и потеряла равновесие, Альберт держал ее крепко и собирался взять непосильную для нее ответственность. От облегчения она снова заплакала и уткнулась носом в его шею. Она отдохнет, вернет себе устойчивость, найдет новые причины жить в этом военном, очень опасном мире, а Альберт поможет собрать осколки прежней, утраченной ею личности. Руки эти так нежны, в них столько силы и заботы... Она тихо засмеялась.

– Я очень ждала тебя, Альберт.

– Я рад это слышать, Катерль. Я приехал так быстро, как смог. Я возвращаюсь в криминальную полицию, но мне дали

отпуск, и мы... Хочешь? Я хочу отвезти тебя в Италию. Я очень хочу показать тебе Флоренцию и Венецию. Я слышал, они очень хороши.

– А ты был там?

– Нет, никогда, но всегда мечтал поехать. Ты поедешь со мной?

Вместо согласия она со счастливым возгласом прижалась к его щеке. Губы у нее сильно болели, иначе бы она точно прижалась к его губам своими. Но не хотелось, чтобы он почувствовал вкус ее крови.

Чтобы в купе не проникал свет, они опустили занавески на окне. В купе нежно пахло яблоками и глинтвейном, который Альберт купил на станции, шерстяными одеялами и крахмаленным постельным бельем. Несколько раз их уважительно спрашивали, хорошо ли им, не нужно ли чего принести; наверное, они походили на типичного партийного и его типичную любовницу. Чтобы она не стеснялась себя в поездке, Альберт отвел ее в салон, в котором ей эффектно остригли волосы, сделали пушистую челку и окрасили каштановым несколько прядей, благодаря чему она приобрела сходство с молодыми богатыми итальянками. Близ вокзала, в магазине заграничного платья, Альберт купил ей несколько костюмов, платье, туфли и шляпу. Беспечность, с которой он тратил деньги, не беспокоила ее, необычнее было обнаружить в оккупированной стране довоенные товары и непло-

хой по меркам времени сервис. Альберт спросил, какой букет ей нравится (они ждали у витрины), но она сказала, что съела бы яблок. «А помнишь, как мы ели яблоки в карамели? Но вкуснее всего их делают в Минге...».

В купе зашли, чтобы посмотреть их паспорта. На ее документ посмотрели со смесью сомнения и удивления, но, заметив партийный значок ее спутника, ничего не спросили и разрешили ехать дальше. «Ты снимешь его?» – «Позже, нынче с ним удобнее». Чтобы посмотреть, что за окном, Альберт вставал и выходил в коридор, и подолгу стоял у окна, а возвращался с замечанием, что ехать осталось немного. «Конечно, две ночи, но...». Как замечательно налажено сообщение, и война не помешает путешествию из В. в Италию. Раз Альберт спросил, разрешит ли она на время приподнять занавески, но она столь недвусмысленно пожала плечами, что он отказался от своей просьбы и снова вышел из купе.

Оставшись с ней в купе, тесном и немного жарком, он заметно стеснялся. Она спокойно скинула уличный костюм и надела халат с глубоким вырезом, лежала на своем месте, качая ногами в воздухе, и читала современный английский роман. Он же, хотя было душновато, не снимал пиджака и галстука, а когда пришла пора ложиться спать, сначала погасил свет, чтобы она не могла его видеть. С час она ворочалась, думая о всякой отвлеченной чуши, позже заснула, но снилось ей что-то неопознанное, но ужасно мерзкое и липкое. «Что такое? Кете, это я, что с тобой?». Альберт тряс ее

за плечи. От страха она оттолкнула его и чуть не упала на пол. «Тише, тише, это я, это я, Катерль!». Со слезами она вцепилась в его шею. «Мне страшно, страшно, очень страшно!» – «Я знаю, знаю, Кете. Мне тоже страшно. Но все закончилось, закончилось... Никто тебя не тронет». Сколько он успокаивал ее, качая на руках, она не запомнила. Проснувшись, она почувствовала, что его голова лежит на ее животе – Альберт заснул полулежа, обнимая ее ноги. Боясь разбудить его, она не шевелилась. Потом он тихо что-то прошептал и открыл глаза. «Привет, Кете» – «Привет» – «Как твои губы и щеки?» – «Лучше, я почти не кусаю их» – «Хорошо, а то я беспокоюсь. Ты уверена, что тебе не нужен врач?» – «Нет, все нормально, честно... Спасибо, Альберт».

Они проезжали мимо Минги. В прошлом Альберт бы выглянул в окно, чтобы посмотреть, но теперь он безразлично выслушал объявление: «Минга, остановка пять минут, Минга, остановка...». «А я люблю Мингу и пожила бы в ней потом. А ты бы хотел?» – «Не знаю. Раньше бы хотел, а сейчас... в любом месте будет хорошо, лишь бы были деньги. С тобой хорошо в любом месте». За окном громкоговорители кричали о величии империи и всеобъемлющей силе партии. «Партия общечеловечна» – «О чем ты, Кете?» – «У нее нет обличия. Это та сила, что вечно обещает благо, но вечно совершает зло. Она обманывает всякого, кто хочет что-то получить за ее счет» – «А, я понимаю. Ты права: она знает, как сыграть на наших слабостях».

В Италии пахло выпечкой и пылью. Они приехали в отель с окнами на площадь. Номер у них был двухкомнатный, в гостиной поставили свежие розы и принесли газеты с черным кофе. Газеты они не читали – не понимали язык. На вокзале Альберт купил путеводители и уселся изучать их с таким увлеченным видом, будто ничего интереснее местных музеев и старинных домов на свете не было. Раз за разом он спрашивал, куда она хочет пойти, она же отвечала: «Лучше решай сам. Я пойду, куда ты сам пойдешь» – «Нет, так не пойдет, я хочу, чтобы тебе тоже было интересно». В итоге в первый день они никуда не пошли, ужин заказали в номер, опустили шторы, потому что она попросила, и болтали о романе, который она успела дочитать в поезде.

Спустилась темнота. Вернувшись из курительного салона с конфетами для нее, Альберт опять поинтересовался, куда бы она хотела пойти завтра. Разомлевшая после шампанского, она лежала поперек кровати и безразлично пожимала плечами. «Кете, неужели тебе ничего не интересно?» – «Да нет, интересно. Но мне немного... лень. Я бы немного побывала тут. Тут хорошо, тепло и спокойно. Если ты хочешь в музей, я тебя отпускаю, можешь развлекаться» – «Нет, Кете, это... я не брошу тебя в номере. Я хочу побыть с тобой» – «А если мне лень гулять? Ты что же, собираешься со мной лежать тут целыми днями?» – «Да, собираюсь!». Они начали спорить. Она повысила голос, заявив, что он мог вообще не везти ее в это захолустье, раз ей настолько наплевать на

окружение и гулять она не может. Альберт тоже повысил голос, чтобы доказать ей, что он прекрасно проведет время в номере с ней и ни один музей ему не понравится, если он бросит ее одну в отеле в сложный для нее период. «Да откуда ты знаешь, какой у меня период? Ты ничего не понимаешь!». Она поежилась от собственных слов. «Нет, Альберт, прости, прости, я не хотела...» – «Я знаю... но больше не говори, что я тебя не понимаю. У тебя есть рот, ты можешь мне все объяснить. Верно?». Вместо слов она прижалась к его губам своими.

В ту ночь они стали любовниками.

Вместо запланированных в поезде прогулок по итальянским достопримечательностям они несколько недель сидели в номере, ели необычные местные блюда, пили шампанское и ликеры, играли в карточные игры, читали книги и занимались любовью. В какие-то дни они вовсе не вставали с кровати, превращая постель в стол, книжный шкаф и игровую. Потом Альберт заказал для них шахматы, и они, как раньше, часами разыгрывали одну партию, перебивая ее легким пьянством и поцелуями. Лучше знакомый с алкоголем, Альберт и пил меньше, и лучше держал себя в руках. Она же, прежде почти не пившая, по неопытности могла опьянеть и со смехом бросалась в своего противника шахматными фигурами, потом отправляла в него доску, а затем сама бросалась на него, словно бы желая его поколотить, но на самом деле желая, чтобы ее успокоили и приласкали. Она никогда

не слышала, чтобы Альберт так беззаботно и много смеялся, она и сама давно не смеялась так много и заливисто, как теперь, добровольно заперев себя с ним в номере, в чужом городе.

Лежа в постели, она со слабым беспокойством сказала. «Мне нужно больше времени, но я уже скоро буду выходить, я хочу выходить и гулять, я не буду всю жизнь сидеть в комнате, понимаешь?». Она чувствовала, что он улыбается в темноте. «Я понимаю, Кете, я не хочу тебя торопить. Я сказал, что позабочусь о тебе... Да, нам скоро придется вернуться, но я позабочусь, чтобы тебя ничего не тревожило». О возвращении они говорить боялись, понимая, что другого выхода нет: у Альберта осталась работа, а денег без нее нет, в Италии они не останутся, не зная языка, уехать во вражеские страны невозможно, а в те, что сохраняют нейтралитет – слишком, невыносимо дорого. Как ни хотелось оторваться от реальности, отель и рестораны требовали оплаты. Не желая ни о чем заботиться, она жалась к Альберту и повторяла, что скоро начнет активную жизнь, но сама не верила в это. Более всего она мечтала остаться с Альбертом в этом номере, только с ним, никуда его не отпускать и чтобы он не отпускал ее, и пусть бы сгорел в войне этот проклятый мир, лишь бы сохранился на крошечном островке земли их маленький отель. Ах, Альберт, Альберт, зачем нам нужно ехать, к чему нам возвращаться, если мы есть друг у друга?.. Она кусала его плечо и ловила губами его стоны, и в накатывающем

наслаждении пыталась нащупать вечное и безусловное, что невозможно разрушить ни одним снарядом.

Она узнала его голос; не сомневаясь, распахнула дверь и спросила:

– Зачем вы приехали?

Несколько обескураженный ее приемом Аппель отступил на шаг.

– Конечно, с вашей стороны это не очень вежливо...

– Зачем вы приехали? Что вам нужно от нас?

– Альберта с вами нет, конечно же? – спросил Аппель и вежливо отгеснил ее обратно в номер.

Зло она смотрела, как он снимает кожаные перчатки.

– Похоже, вы собираетесь преследовать нас до могилы.

Нехорошо с вашей стороны.

– Вы, конечно, излишне драматизируете. Я, между прочим, принес вам важные вести, г-жа Колокольникова.

– Не называйте меня так, – огрызнулась она.

– Но это же ваше имя, фамилия вашего законного мужа...

С поразительной развязностью Аппель открыл окно, впуская в комнату дневной свет. Затем наклонился, прислушиваясь к демонстрации внизу. Она зажмурилась.

– Пожалуйста, перестаньте навязываться. – Она понизила голос. – И оставьте в покое Альберта. Сомневаюсь, что он вас приглашал и...

– Меня никто не приглашал, – перебил Аппель. – Я при-

ехал к вам, а вы, конечно, не знаете, с чем я к вам ехал.

– Я знаю, что вы любите Альберта, и совсем не как приятеля! Оставьте его в покое наконец! Вы ему не нужны!

Удивительно, но незваный гость сохранил безучастность. От злости, что не получилось его уязвить, она оттолкнула его от окна и хлопнула рамой. Полутьма вновь сменила солнечный свет.

– Вы боитесь света? Конечно же, как истинный вампир.

– Не ваше дело. Убирайтесь.

– Не показывай зубки раньше времени, Катерина, это, конечно, нехорошо.

Да он намеренно выводит ее из себя!

– Тогда говори, чего тебе надо, и проваливай! – грубо сказала она.

– Я, конечно, насчет вашего мужа. Законного, а не... нынешнего, вы понимаете.

– Он погиб, – заявила Катя, – и больше меня это не волнует. Что-то еще? Или вы приехали сказать, что он волшебным образом выжил?

– Нет, что вы... Сядь. Сядь, пожалуйста. Думаю, Берти скоро вернется. Я видел его внизу, у нас есть минут десять.

Нехотя она села напротив. Плохое предчувствие заставляло ее подчиняться.

– Вы знаете, как погиб мой муж? – очень тихо спросила она.

Недолгое благополучие, вырванное у судьбы и войны сча-

стье рассыпалось у нее на глазах, а она ползала на коленях, собирая острые зеркальные осколки.

**1940**

Ступени были бесконечными; делая новый шаг, она снова и снова хваталась за перила, боясь потерять равновесие, а выше зияли новые ступени, за которыми были такие же длинные, короткие, многочисленные, единственные ступени. Мария сильнее схватилась за перила и почувствовала, как болят от этого ногти. Казалось, вот-вот в ее плоть врежется это тяжелое и...

Она замерла, заметив полосу света на полу – комната Софи и ее мужа была приоткрыта. Тонкая желтоватая полоса на испачканном чужими ногами полу... Она схватилась за виски, понимая, что мысли ускользают от нее. Думать было мучительно. Как слыша голос с приказом, Мария прошла точно по этой светлой линии и положила руку на холодную ручку. Комната была пуста – не иначе. По ногам потянуло непривычно морозным воздухом, словно новый день принес вместо летнего дождя первую осеннюю метель. Что же она стоит на месте?

Софи стояла у накрытого стола, оглянувшись на нее – Мария так и застала ее – в совершенной обездвиженности. Глаза Софи не изменились; она заполняла собою все.

– Что?.. Зачем?

После ее слов Софи ожила – шея ее выпрямилась, глаза заморгали, можно было решить, что голос Марии был для нее ключом, который оживляет механическую куклу. Пожав плечами, Софи положила на стол пистолет.

– Я... это... оружие моего мужа...

– Да.

– Ты взяла оружие моего мужа...

Как ни в чем не бывало Софи присела на единственный чистый стул и уставилась в окно, а скорее в тонкие занавески, что едва его закрывали. Второй стул лежал на боку, на ножки его попала кровь. Человек близ него сумел перевернуться на живот и, бессмысленно хватаясь за пол, зашептал:

– Помогите мне... Мари, пожалуйста, помогите мне...

Почему она не может шевельнуться?

– Нет, нет, нет... нет, нет, нет!

Это был невозможный сон. Безумие. Дикая фантазия – любое, любая чушь, но не реальность. Она стоит и смотрит, как он умоляет ее помочь. Она, она, она, она – что же творится в моей голове?

Села она на пол или упала? Она вжималась в стену и прятала глаза за руками, чтобы не соприкоснуться со страшным. Человек истек кровью и замолк. Она вообразила на мгновение, как его кровь растекается по комнате, и вцепилась в собственные волосы. Нет, нет, нет, перестаньте, остановитесь!

– Возьмите.

Это была Софи – она приблизилась, встала близ нее и

наклонилась с протянутой рукой. Дрожа от ее спокойствия, Мария помотала головой. Зачем она посмотрела на ноги Софи? Туфли Софи были в крови ее мужа.

– Возьмите, – повторила Софи.

Голос ее звучал уверенно, не повелительно, но сопротивляться Мария не могла. Она соприкоснулась с идеальной тонкой кожей Софи; та разжала пальцы, расставаясь с пистолетом.

– Он заряжен, из него можно стрелять, – сказала Софи.

– Зачем?.. Ты убила его. Ты... убила своего мужа!

Великолепное лицо той не изменилось. В ужасе от ее безграничного безразличия Мария сильнее прижалась к стене.

– Не знаю, – сказала Софи. – Так должно было случиться.

– Что?.. Это безумие.

– С самого начала так было назначено. Мне жаль его.

– Ты сошла с ума! – от страха воскликнула Мария. – Ты чокнутая! Ты, с твоими бреднями! Ты помешалась!

– Я знала, что должна выйти за него замуж и убить его, как настанет его срок. Я выполнила волю судьбы.

– Ты чокнутая! – перебила Мария.

Она крепче прижала к себе пистолет, как бы уверенная, что Софи набросится на нее после ее обвинений. Но Софи распрямилась и поплыла прочь из комнаты.

– Что? Зачем ты это сделала? Зачем?.. Я вызываю полицию! Я... я... Ты же говорила, что судьба совершается, когда мы делаем то, что очень хотим! Ты это говорила! Значит, ты

знаешь, почему ты его убила! Это из-за твоей матери? Он отправил на смерть твою мать. Поэтому?

Выкрикивая бессмысленные слова, Мария знала, что Софи не ответит на них – и ее пугало ее безмолвие и непонимание ее мотивов. Начни Софи речь о своей злости на Петера Кроля, она бы бросилась ей в объятия и заплакала от жалости к ней – и все же Софи была слишком далеко.

Тело источало ужас и одиночество, от которого Марии захотелось пронзительно закричать. Нежный свет, пробивавшийся сквозь занавески, слепил ее. Пыль, кружится пыль, и она замечает, как пыль сталкивается и кружится, ухватившись, готовясь к столкновению. Нет, нельзя смотреть на него! Нельзя быть одной! Нужно сохранить разум! Пожалуй-ста, Мария, соберись, вставай, тебе стоит... осторожнее с пи-столетом – но что с Софи, неужели она ушла и больше не вернется?

Какие бесконечные стены! Они наклоняются. Они покрываются черными пятнами – или ее обманывают глаза? В комнате опрокинут стул, на нем засыхает кровь. А если Аппель мертв? Почему он не сказал ей прямо, что собирается сделать? А если Дитер... Остановись, нет, нет, нет, перестань!

Что это в ее руке? Мария опустила глаза и поняла, что держится за ручку – такую же, что у двери комнаты Софи и Петера. Она не вернется в их комнату, ни за что! Ручка не слушалась ее; открылся проем, в котором показался рабочий стол ее мужа. В кресле Дитера, вертя нож для бумаг, сидел

Альберт.

– Что?.. – Зачем она пытается заговорить?

– Кто-то стрелял? – безучастно спросил Альберт.

– Я... там... Софи... она убила его.

– Кого?

Стул напротив болезненно манил ее. Оперевшись на стол, Мария села.

– Я немного убрал беспорядок, – сказал Альберт.

– З-зачем?

– Они оставили ужасный бардак. Я подумал, стоит убрать-ся в кабинете Дитера.

Что, что, что он говорит?

– Ты... немного не в себе, – смогла произнести Мария.

– Я? Что у тебя в руках?

– Что?

– Пистолет. Отдай его мне.

В новом приливе страха Мария сильнее сжала оружие.

– Он может выстрелить, ты же этого не хочешь, не так ли?

– Он пуст, – ответила Мария.

– Разве?.. Позволь я проверю. Мне он не за чем, я просто не хочу, чтобы ты себя покалечила. Ну же, Мари!

Должно быть, он разжал ее руки – она и не поняла толком. Проверив пистолет, Альберт возвратился в кресло ее мужа, а оружие положил близ себя. Мария спросила:

– Почему на ноже кровь?

– Пустяк, я порезался. – Нож отправился в верхний ящик

стола.

– Софи убила Петера. Она опасна, она... ее нужно оставить, пока... она убила его, он лежит там в крови!

– Хорошо, – безразлично ответил Альберт.

– Я сплю, этого не может быть... Я не верю.

Она закрыла глаза, отвлекаясь на спасительное воображение: вне этих стен шумит листва, пекут свежий хлеб, мяукают кошки и лают собаки, шерсть которых нагревает летнее солнце, шелестят книги, стучат пивные кружки и чашки со свежесваренным кофе, пахнет белыми розами, блестят новые платья и лоснятся старые шляпы, собираются тучи и спускаются вниз холодные капли, и портят продуктовые карточки, размываются дороги, в ямах отсиживаются незнакомые люди, пролетают самолеты, разлетаются дома, разлетается пепел, бумаги, камни, воспоминания, прошлое, будущее, кости и плоть, нет, нет, нет!

– Ты убил мою сестру.

Она открыла глаза, чтобы посмотреть ему в лицо; оно было непонятно ей, словно она впервые увидела его.

– Я знаю.

Неужели она умела ранее злиться, кричать? Она не чувствовала ничего – кроме абсолютного бессилия; нестерпимо захотелось спать, как после нескольких суток тяжелой работы.

– Я должна была понять... Понятно.

С омерзительно умиротворенным выражением, не смот-

ря на нее, Альберт закурил. Мария сдержалась, чтобы не отшатнуться – слишком он напомнил Софи.

Ничего уже не изменишь, все бессмысленно, все заканчивается, Мария, все заканчивается – ничего, все заканчивается, абсолютно все.

**1939**

В А., что благодушно встречала своего нового повелителя, он впервые почувствовал собственную неотделимость от партии и выстроенной ею империи. Не так было важно, понимал и принимал ли он ее решения и их смысл. Намного важнее было то, как эти, противники партии и империи, смотрели на него. Он мог не носить партийные значки, не иметь партийного билета, не иметь за спиной партийных преступлений – но он был намертво связан с партией, и, пожелай он отрицать это, лишь доказал бы этим свою приверженность партии и великой империи. В глазах всякого противника и соучастника он читал узнавание. Противник отверг бы его, не услышав объяснений. Равнодушный тем более не стал бы слушать – не все ли равно, кем я тебя считаю, к чему же эти оправдания?

Наверное, и Кете уверена в его беспрекословной покорности партии. Пожалуй, ее мнение было тем единственным, что заставляло его чувствовать вину – сам он уже разучился оценивать свои поступки с точки зрения обычной нрав-

ственности. Сквозь былой культ морали пробивалось, порой аморальное и жестокое, желание жить хорошо и счастливо, не хуже Марии, что столкнула свою соперницу и получила ее мужа и ее богатство. Ничто не достается легко и бесплатно. Совесть – небольшая плата за счастье, и наплевать, что внушали им в юности – что на чужом несчастье не построить счастья, что жизнь лучше прожить бедно, но с достоинством, что нужно терпеливо нести крест печали и смирения и не бунтовать, быть «хорошим» во имя посмертной жизни, некоего, уже переписанного, закона или хотя бы во имя себя, несмотря на безнравственные желания.

Если быть честным – все же счастливы, кроме него. Счастливы Мария и Дитер, хотя за это им пришлось заплатить не своей кровью. Счастливы кузен Альбрехт, нашедший применение своим садистским талантам, и Петер Кроль, что пишет эти ужасные стишки, и отчего-то его фотографии печатают с припиской «гениальный поэт нового времени». А Аппель? Не сомневаюсь, ему лучше на нынешней работе, нежели в заключении с психами (нет, не вспоминая, что партия заключила его в эти условия!). Дело не в партии – бесполезно сопротивляться своим желаниям. Партия не более чем исполнитель, а я могу попросить у нее все – и, как остальные, заплачу за полученное старыми принципами. Ничего не проси у вышестоящих, Альберт. Кто знает, что они потребуют в обмен за несколько ступеней к счастью.

– Мне очень жаль, – сказала Мария.

Он в непонимании застыл. Она закончила:

– То, что случилось с твоей сестрой... Это ужасно. Я очень сочувствую.

Он ничего не ответил – пытаюсь найти боль, но обнаруживая на ее месте чистейшую пустоту.

– Да, мне тоже жаль. Это было... убийство.

Мимо, не оборачиваясь, шагали прохожие, но внизу, слева от виселицы, стояла белокурая, в распахнутом пальто, женщина. Лицо ее было странно безразлично и невыносимо осознанно. Заметив его, она внезапно сорвалась с места и, приблизившись, плюнула на его пальто. Это было столь резко и неожиданно, что он застыл в полном замешательстве. Но женщина уже билась в крепких руках, выкрикивая ругательства. Вы убили ее, вы маньяки, вы убили мою маму, твари, чтобы вам в аду гореть, чтобы вы вечно горели в аду, твари, мрази! Ее утащили. Дальше, справа от виселицы, стояли мужчины, и с ними был Германн; плакал ребенок, дергая его за рукав: пошли домой, пошли домой, пошли домой, пошли домой! Издали он узнал ребенка – эти черты перешли к нему от матери, что теперь болталась в петле со сломанной шеей. Ребенок не смотрел и не узнавал никого, и не нужно было ему говорить ничего о матери, которая бросила его ради другого будущего, а закончила вот так, хуже, чем если бы она осталась и смирила свой свободолюбивый характер. Печальный и вместе с тем успокоенный Германн был стражем новой эпохи, что уничтожала любого несогласного с ней че-

ловека.

Германн не заметил его. Сказав что-то охраннику, он подхватил плачущего мальчика и понес его к служебной машине. Поняв, что они едут домой, ребенок перестал ныть и, пока его сажали в машину, спрашивал, позволят ли ему съесть на ужин мороженое.

– Я видел ее сына, – сказал после паузы Альберт. – Я увидел его впервые за эти годы, он очень похож на нее.

– Это он, Германн приказал убить Марту? – глухо спросила Мария.

– Мне сказали знакомые... Ты права, это был его приказ.

– Ну конечно, так и знала, что он больной на всю голову. Он был самым отбитым. Я же говорила...

– Я не помню, чтобы ты говорила. Да и какая теперь разница? Убил ее Германн или нет, она все равно умерла. Убил бы ее Германн, партия или что-то еще...

Мария с сожалением замолчала.

Они пили кофе в знаменитом столичном кафе. Платила Мария (она сейчас платила за всех, потому что имела денег больше, чем у всех друзей вместе взятых). Она осторожно спрашивала о В., наверное, рассчитывая услышать что-то и о Кете, но он упрямо избегал упоминаний о ней.

– Я очень переживаю за Катю, – начала она наконец. – Она поступает ужасно глупо. Она невыносимо упряма и... кажется, она намерена просто испортить себе жизнь. Сойтись с коммунистом, который непонятно кто и на что спосо-

бен?..

– Эм, она очень упряма и... а, не все ли равно?

– Нет, не все равно, мне не все равно, – перебила Мария. – Она его не любит. Выйти за человека, которого ты не любишь, из упрямства и чтобы что-то доказать... Это невысказано! Это глупо!

– Она вышла за него?

Должно быть, голос его прозвучал странно. Мария взглянула на него с некоторой опаской.

– Это несерьезно, – сказала она и разом проглотила свой кофе.

– Меня это не касается. – И, заметив, что Мария намерена спорить, добавил: – Давай перестанем о ней говорить, хорошо? Это не мое дело.

Зная Марию давно, он понимал: она не может смириться, что мужем Кете стал не он, человек ее окружения и приемлемых взглядов. Она не имела на Кете никакого влияния, и это сильно ее обижало. Словно они чужие, как так? И Кете, что не слушает близких, не слушает и себя, а совершает глупости, по которым наплачется очень скоро!

Позже Мария показала ему фотографию – красивый юноша, приятно остриженный, с выразительными светлыми глазами, с коммунистическим значком на галстукке – он вызывал омерзение и смутную ненависть. Снова взглянув на него, Альберт запомнил его. Он не умел объяснить себе это, но впервые готов был ненавидеть человека просто за факт его

существования. Мария назвала его – Митя. Митя, что женился на Кете, которая его (или кого из них?) не любит.

Кете живет с каким-то мужчиной, тот спит с ней, его она обнимает во сне.

– Можешь считать, что хочешь, – собирая его к Кете в августе, сказала Мария. – Я знаю, все можно исправить. Она любит тебя, а не его. Он ей не нужен, я знаю точно. Она боялась, что ты не ответишь взаимностью и... Она неопытная и глупая – вот и все.

Он ехал с мыслью, что Кете обязательно возвратится с ним домой. Пусть не во имя возможных отношений, но из страха она согласится... но она осталась. Он ехал обратно, проматывая в голове варианты: чем же это кончится? Если бы не муж, который, более того, оставил ее и выбрал работу – если бы не он, Кете бы уехала. А она осталась и может умереть. Партия, которая начнет войну, – и она там, далеко, и никто не заступится за нее, никто и ничто не спасет ее.

Они с Марией мыслили похоже. Она плакала на его плече, и он чувствовал, сколько ужаса и тоски она изливает на его, единственного, кто остался с ней. Отчего-то он испытывал больше усталость, нежели страх. Но, хотя у них не было эмоционального сближения сейчас, он знал, что лихорадочно бьется в ее голове: это все уже было, мы уже пережили это, это уже было с нами, и мы опять, опять испытаем это, а мы клялись себе, что не повторим это...

Помнишь, как мы голодали в детстве? Мы радовались куску свежего хлеба, как наши дети теперь бы радовались десертам с фруктами и взбитыми сливками. Помнишь, как мы засыпали, вспоминая наших мужчин, наших братьев и отцов, не зная, живы ли они или костяная рука войны уже раскрыла для них какую-то из миллионов могил? Мы ждали неделями весточки с фронта и смотрели, как плачут наши матери над близкими, что оставили нас ради очередной политической цели. Убитые любимые, в память о которых позже поставят памятники, они – истерзанные, похороненные на чужбине, забывшие, за что мы сражаемся против таких же, как мы. Разрушенные дома, миллионы беженцев – и я, Альберт, война выбросила меня сюда, и родина отказалась от меня, и я никогда не увижу свой дом, я не приеду на могилу своего отца – и, может быть, я никогда больше не увижу Катю и она погибнет, как погиб наш отец, столь же бесславно, так же, как погибли миллионы других.

Сквозь ее воспоминания пробивался настойчивый и мягкий, странно успокаивающий голос. Уважаемые граждане Единой Империи! Дорогие друзья! Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на границе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности нашей Империи. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отноше-

ние к нашим интересам и абсолютно законным требованиям? Ответ ясен, все понятно и очевидно. Вторая Империя ослабла, а затем и вовсе развалилась. Весь ход происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня, он убедительно показал, что паралич власти, воли – это первый шаг к полной деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе, и все – баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют. Уговоры и просьбы не помогают. После развала Второй Империи при всей беспрецедентной открытости новой современной Империи, готовности честно работать с западными партнерами и в условиях фактически одностороннего разоружения нас тут же попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно. Да, собственно, и до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать, никогда и ни у кого этого не получалось. Не получится и сейчас. И конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос: а что же делать дальше, чего ждать? Мы хорошо знаем из истории, как одна страна стремилась предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Для это-

го в том числе старалась буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществляла или откладывала самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения. В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полной силу встретить Великую войну. Уже сейчас, по мере расширения коалиции против нас, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Для Европы это так называемая политика сдерживания Империи, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны – это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа. И это не преувеличение – это так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Они ее перешли. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов наших соотечественников, которые надеются только на Империю, надеются только на нас с вами. Развал Второй Империи разбросал нас по разным странам. Весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение Империи с Европой неизбежно. Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Мы не позволим этого сде-

лать. Единая Империя не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от наших европейских соседей и в первую очередь с территории П. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Империю, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Наши соотечественники с отнятых у нас П. после развала Второй Империи земель – они обратились к Империи с просьбой о помощи. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории П. режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ Империи будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты.

Они сидели в темноте и захлеб вспоминали свое детство: мертвых родителей, Мингу и Петербург, с которыми они потеряли связь, старшего брата, убитого коммунистами, из-

можденную мать в дешевом гробу, обручальное кольцо (последняя ее ценность), письмо от пропавшего отца, послевоенный голод, воровство, маленькую капризную Мисмис, вечно голодную Катю, засохшие цветы и дырявые крыши.

– Неужели мы прошли через это? – спросила Мария. – Звучит как из прошлой жизни... Мы с Дитером были маленькими, он ужасно доставал меня, и я страшно бесилась на него... А как-то он купил мне... и попросил отдать ему кожуру...

Не включая света, она прошла в свою спальню и принесла старую шкатулку. Села близ Альберта на пол и достала обручальное кольцо. Попробовала – и оно пришлось ей впору.

– Ты скучаешь по матери? – спросил Альберт.

– Нет. Я хочу, чтобы Катя вернулась. Чтобы Дитер был со мной, чтобы мы все были вместе, как раньше, как... раньше. Я не хочу знать, кто и за что воюет. Я хочу, чтобы все мои были со мной – не больше. Разве это много?

– По нынешним временам – невозможно много.

– Хочешь выпить со мной? – спросила она. – У меня много бутылок, вино, в основном. А?

– Да нет, мне утром выезжать.

С быстротой животного Мария приблизилась и схватила его за подбородок.

– Что? Ты уезжаешь?... Тебя... призвали?

– Нет, я сам... попросился. Это не армия.

– Что? Ты с ума сошел? Ты не можешь меня бросить! Ты

не можешь... Если вы погибнете разом, у меня никого не останется!

Она повысила голос. Наверное, она сильно злилась.

– Я хочу попасть в В. У меня нет другого шанса. Пойми меня, Мари.

– Ты сошел с ума! – заявила она и оттолкнула его. – Ты хочешь сдохнуть там? Ты даже не умеешь воевать, ты не сможешь там... А если мы проиграем?

– Да... это возможно. – Он помолчал. – А все же давай выпьем. Потом долго не получится.

В ответ Мария потребовала объяснить ей внятно, чем он собирается заниматься и точно ли уверен в благоразумности этого.

– Это быстрый суд, – помедлив, ответил он. – С точки зрения обычного права – преступление. А с военной точки зрения – неизбежное зло. Я буду разбирать на месте дела гражданских, которые не требуют отлагательств... либо казнить за преступления против наших солдат, либо отправлять в другой суд, выше, который назначит заключение или... если мой приговор покажется слишком мягким...

– Постой, постой... – понизила голос Мария. – Ты возьмешь на себя... такое? Ты не сможешь!

– Почему? Я же работал прокурором раньше.

– Нет, Альберт, ты никогда не выносил приговоров. Тебе придется казнить людей!

– Мне необязательно их казнить, – возразил Альберт. –

Я уже сказал, что могу разбирать их дела и отправлять их дальше. А там они решат, нужно ли...

– Не верю. Это... ты сам понимаешь, что это не так просто. Ты...

Она включила свет и внимательно уставилась в его лицо. Он постарался улыбнуться, но вышло совсем уж неуместно.

– Мне кажется, что Катя сводит тебя с ума, – сказала Мария.

– Да?.. Ты сама знаешь, ты сама сказала: она одна, она может умереть. Я должен найти ее и...

– Ты не спасешь ее, став палачом, – отрезала Мария.

– А я не собираюсь... Ты нальешь мне или нет?!

Нехотя она принесла им вино и разлила по бокалам. Он быстро выпил первый бокал и наполнил новый.

– Осторожнее с похмельем, знаешь ли.

– Ничего. Пойми меня, Мари. Пожалуйста. Я... я должен быть там. Я... только сейчас понял, как я ошибся, позволив ей остаться. Если с ней что случится, я не прощу себе. Понимаешь?

– А чем ты ей поможешь? Что, перебежишь к нашим врагам? Чтобы они отправили тебя в В.? Или что? Или хочешь войти победителем в В.? Я знаю, что такое война, она... Ты войдешь победителем не в столицу. Ты войдешь в руины, оставшиеся на которых будут ненавидеть тебя всей душой. И когда она увидит тебя среди тех, кто разрушил ее дом... ты думаешь, она обрадуется тебе?

– Я не знаю, Мари, я ничего не знаю. Но если я не пойду, я больше никогда не увижу ее.

– Чушь! Полнейшая чушь!

Она отобрала у него вино (он хотел пить дальше) и вылила остаток в цветочный горшок. Потом она заплакала и стала приговаривать, что останется одна и все, кого она любит, погибнут. Устало он смотрел на нее и ничего не отвечал.

Какая страшная усталость! Что случилось с прочими желаниями? Осталось одно – убедиться, что Кете в порядке, и обнять ее. Жизнь ничего не стоит, если никого не хочется обнять.

Интересно, чем я лучше остальных? В каждом из нас безразличие и усталость, отличаемся мы лишь переживанием их.

Юноша, что возил его в автомобиле по разбитым дорогам, что курил в салоне украденные у местных сигареты, что много жаловался на запах гари, от которого у него болело в горле – он говорил: «Кто бы спорил, война – это нехорошо. Я бы не хотел остаться тут. Но война началась, это не изменишь. Война заканчивается чьим-то поражением. Наше поражение – это большое унижение, допустить этого мы не можем. У нас нет иного пути, нам нужно победить. Поэтому я честно исполняю свой долг».

Смутно знакомый офицер из штаба курил с ним, вслушиваясь в артиллерийские раскаты: «Я сомневался, нужна ли

нам война. Но раз она началась... не хочу нашего проигрыша. Помним, что было после прошлой войны. Мы столько лет выстраивали наш мир, с нуля выстраивали, а если мы снова проиграем... мир, к которому мы привыкли, рухнет и опять наступит нищета и разруха. Может, не нужно было поддаваться на провокации. Может, мы ошиблись. Но проигрыш недопустим».

Тревожный секретарь из штаба, что как-то ночевал с ним в одной комнате, рассказывал за стаканом дешевого вина: «Я вот раньше жил за границей. До своего переезда я думал, что ненависть к нашей стране – это байки партии. Но я жил в трех местах, и в них я встречал ненависть к нам, к нашей нации и нашей стране. Я думал, что это пропаганда партии, но я сам убедился, что там нас терпеть не могут. Боятся, что не самое плохое. Не хотят иметь с нами никаких дел. Я пытался открыть свое дело, а закончил тем, что мне разрисовали окна и написали угрозы: чтобы я проваливал обратно, а иначе они убьют меня. Я не мог ужиться с партией, а вернулся, когда понял, что жить за границей еще хуже. Война – это плохо, да. Но иногда она лучше худого мира, кто бы что ни говорил».

И снова: «Мы проиграли нашу дипломатию. Но мы же не одни виноваты? Мы не смогли на них воздействовать. Но у них тоже был выбор, они могли договориться с нами, а не развязывать эту бойню. Они могли не заводить все слишком далеко и выполнить наши требования. Они бы потеряли часть своей территории, но сохранили бы себя как независи-

мая страна и нация. Разве мы виноваты, если так посмотреть, что для П. земля важнее человеческих жизней? Они готовы убить множество своих людей, но не уступить нам часть земли, на которую мы исторически имеем право. Думаю, уступи они нашим требованиям, люди на этих территориях точно не стали бы жить хуже. Возможно, стали бы жить даже лучше. Но нужно было зачем-то развязывать войну, в которой им не выиграть».

И снова: «Их правительство могло решить вопрос без жертв. Вместо этого оно поверило в военную помощь Запада (и где она, эта помощь?). Они думали, что их придут защищать их западные союзники. В итоге их города разрушены, их экономика уничтожена, их страна вот-вот перестанет существовать. Зачем им нужно было это начинать?».

Снова: «Они представляли опасность нашим восточным границам. Если бы мы отступили, испугавшись конфликта, мы бы потеряли влияние в этом районе. Не сомневаюсь, что любая страна Европы решится на агрессию, если почувствует опасность у своих границ».

Снова, снова: «Власть не трогает тех, кто не лезет со своим, неправильным, мнением. Логично быть с властью, если она не делает лично тебе ничего плохого. За границей нас считают зверьем, для них мы не люди, им нас не жалко. Логичнее поддерживать власть и верить в ее победу, чем надеяться на добрую волю очередного заграничного политика, который называет нас тварями. Я не сторонник войны, счи-

таю, можно было все решить без стрельбы. Но каяться всю жизнь и платить репарации я тоже не хочу».

Ночами, если не спалось, он пытался найти в этом потоке похожих мыслей те, что отзывались бы его чувствам (собственных мыслей все равно не было). Но, кроме бесконечной усталости и тоски, он не испытывал ничего. Временами его это тревожило. Не может быть, чтобы мир, наполненный событиями – странными, неприятными, опасными, – не вызывал у него эмоций. Но если он и испытывал что-то, то быстрое и лишенное индивидуальности: неприязнь к военным запахам, испуг от внезапного выстрела, животный страх, что по пути или во сне что-то случится. Способность рефлексировать была им утрачена. Не было сил даже на то, чтобы различить собственные желания, четкими были лишь два – спать больше положенного и встретиться с Кете. Порой он становился безразличным и к своей жизни, и в такие моменты исчезала и возможность бояться.

Когда появлялось немного сил (в солнечный день или после дождя, когда накрывало приятной влажностью), он пытался зацепиться за прошлое и сравнить его с нынешним: как страшно ехать по уничтоженной земле, а если бы эта земля была его, если бы он вырос на ней и знал бы все улочки обстрелянного поселка? Если умом получалось сопоставить, было хорошо и вместе с тем омерзительно. Но, и отмечая неестественность этой войны, он оставался безразличным, ум словно жил отдельно от чувств, и вместо ужаса от

сотворенного на него накатывала усталость. Понимаю ли я, что творится на моих глазах? Поблизости стреляют. Горят незнакомые крыши. Дымятся устаревшие танки противника. Тела хоронят с опозданием. Чьи это тела? Зачем они тут?

– Мне написали, что ваша работа оценивается пока слабо. В ваших служебных качествах сомневаются.

– Хорошо, – спокойно ответил он. Речь словно бы шла не о нем.

Человек в непонимании на него уставился.

– Нет... – ответил он. – Они считают вас недостаточно эффективным. Они считают, что вы даете слишком мягкие наказания.

– Хорошо.

Человек неуверенно потоптался.

– М-м-м... если вы не улучшите показатели, вас попросят уйти.

– Хорошо.

Поняв, что ничего не добиться, человек этот ушел.

Этот приносил ему новые, чужие проблемы. Устроившись в импровизированном кабинете близ какого-то штаба, он большую часть времени пялился по сторонам и слушал музыку. Человек же этот напоминал, что нужно работать во имя Империи. Мы, напоминаю вам, воюем! Война требует решительных действий! И в кабинете появлялись поспешно сляпанные описания: что нам делать с тем-то, что оскорбил нашего военнослужащего, или отказал ему в доме, или про-

чая глупость, что не должна требовать вмешательства работника уголовной полиции. К счастью, большинство «гражданских конфликтов» решались между самими гражданами и оскорбленными ими военнослужащими. Но отчего-то вместо того, чтобы разобраться самостоятельно, некоторые обиженные тащили своих обидчиков к юристу и требовали ему большего (и правильного, с точки зрения военного времени) наказания, нежели обычное избиение или разграбление имущества. Они заставляли его работать, а кто-то требовал результата. Раз офицер, которому в добровольном соитии отказала местная девушка, притащил ее судить и потребовал приговорить ее к повешению за оскорбление его мужского достоинства.

– А я вам зачем? – спросил Альберт. – Если вам надо ее убить, то делайте. Или вам нужно мое разрешение?

Смутившись, офицер начал мямлить, что «он уважает закон» и не собирается устраивать самосуд.

– То есть, если я ее отпущу, вы согласитесь с моим решением, потому что я – представитель закона?

– Нет, но она же... она оскорбила меня! Вы должны разобраться с этим.

Ситуацию спасало разнообразие наказаний – можно было не только отправлять виновных выше и самолично выносить смертный приговор; допускались еще большие штрафы, законное изъятие имущества, принудительные работы и прочие административные наказания. Человек, что служил

его связью с оскорбленными и арестованными, говорил, что Альберт единственный, кто к этим административным наказаниям всерьез прибегает. Но отправить человека работать в местный госпиталь под угрозой виселицы было проще и хоть немного соотносилось с его прошлыми моральными убеждениями. Девушку, что отказала офицеру, он отправил работать, чем обиженный был очень недоволен и требовал потом объяснений.

– Отказ вам не является преступлением как таковым, – заявил Альберт. – Казнь в ответ на оскорбление – слишком большая мера. Это может напугать население.

Тот был оскорблен еще больше.

– Я на вас пожалуюсь! – воскликнул он. – Вместо того, чтобы заботиться о комфорте и спокойствии соотечественников, вы ставите наших врагов... вы позволяете им нас оскорблять!

– Девушка будет работать на нашу армию. Если она будет плохо выполнять свои обязанности или попытается сбежать, ее убьют. Это плохо для армии, вы считаете?

Начав остывать, офицер все же спросил, на основании чего он, Альберт, принимает такие «сомнительные решения».

– Мы на войне. Тут не работают ваши законы из столицы. Откуда вам знать?..

– Именно, мы на войне и закона тут нет, – согласился Альберт. – Поэтому у меня есть полномочия делать то, что я считаю нужным и правильным. Если вы не согласны, можете

пожаловаться на мою некомпетентность.

Написал ли тот жалобу или нет, он так и не узнал. Время от времени у него запрашивали результаты и почти все время требовали большей жесткости. Но в действительности никто не хотел этим заниматься. Легче было писать, как безжалостно карать гражданских, сидя в столичном кабинете, чем самому разбираться с этими местными где-то близ фронта, под угрозой стать жертвой очередного снаряда. Каким бы равнодушным к делу он ни был, он выполнял работу в срок и не боялся ездить за военными по захваченным дорогам, и он не отпускал виновных, а назначал им наказание, пусть и ниже низшего предела, по мнению столицы.

Легче всего работать было с гражданскими, что подозревались в диверсиях и убийствах военных. Они якобы поджигали дома с солдатами внутри, разрушали железнодорожные пути и уничтожали запасы продовольствия, чтобы оно не досталось врагу. В большинстве случаев это были отчаянные, озлобленные люди, что готовились к смерти и не шли на разговоры с оккупантами. Некоторые успели пройти через специальный отдел и были сильно избиты при попытке выяснить, есть ли у них сообщники. Штаб, с которым работал Альберт, хотел, чтобы этих казнили немедленно, но он подготавливал материалы и отправлял их с арестованным на «суд троих», который, без сомнения, выносил только смертные приговоры.

– Разве вам есть разница, убьют их здесь или там? – отве-

тил он на один из неприятных вопросов.

– А вам есть? – ответили ему тоже. – Зачем тратить время и силы на то, чтобы доставить их в ваш суд, когда можно решить вопрос здесь и сейчас? У вас есть полномочия на это.

– Полномочия есть, а обязанности к ним прибегать – нет.

На него ворчали и злились: что хватит назначать на важные должности юристов, тем более следователей из уголовной, они ничего не понимают в военных потребностях, можно обойтись и без закона, если ясно, кто виноват. Раньше он наверняка бы переживал, теперь же ему было абсолютно все равно, что о нем скажут, не уволят ли его, не накажут ли. Если уж его не трогает суть войны, то с чего бы ему переживать из-за этой глупости? Всех, кому он не нравился, он отправлял к своему начальству, и ему опять писали письма с сомнительными угрозами и просьбами быть строже. Но и те, кто жаловался, и те, что требовали, понимали, что бесконечное военное насилие сильнее их претензий: не все ли равно, как они поступают, не все ли равно, если тут, в нескольких километрах, линия фронта и письмо может и не достичь адресата? Странно, но в этой войне заключался дух извращенной свободы, что дается лишь под угрозой смерти, и многие под ее влиянием творили вещи, ранее не совместимые с их личностью.

Однажды ночью, проснувшись около двух часов, он заметил, что, через опустошение и усталость, в нем пробивается что-то сильное и очень приятное – осознание, что он

может делать все, что захочет. Это было невыносимое желание жить, болезненное, близкое к желанию кусать, разрывать на части. Впервые он настолько сильно почувствовал тягу к физическим удовольствиям: к женщине, к отдыху, к путешествиям, вкусной еде, к свежему воздуху. Державшее его раньше – страхи, привычка, неуверенность, сомнения, – оно исчезло, и в темноте он заплакал от облегчения и почти нестерпимого желания – выжить, закончить это и жить хорошо, забыв о случившемся. В действительности нет ничего правильнее жизни. Никакая мораль и рефлексия не важнее жизни и ее удовольствий. Прав тот, кто жив. Неправ тот, кто мертв, и наплевать, за что он сражался. Они выживут, и скоро Кете будет с ним, и они проживут счастливую жизнь, наслаждаясь уютом и обществом друг друга. Обязательно так будет. Иначе быть не может.

Как-то, мгновенно, он узнал этот почерк. Он не понимал ничего из написанного, но эта рука – он словно бы встречался с ней раньше, хоть и не мог припомнить, как и зачем.

Партия говорит, что у него множество врагов, но на самом деле, если у него и есть враг, то он существует в единственном экземпляре. В прошлом своем состоянии он бы не воспринимал его как противника, разве что испытывал к нему липкое презрение. Сейчас же, узнав, как ему показалось, его почерк, он испытал прилив бесконтрольной ненависти; это было схоже с неврозом – сильное, животное и вместе с тем

человеческое, чувство злобы, отвержения, ненависти, брошенности и детской обиды собственника.

Он невыносимо отчетливо ненавидел человека, который (раньше ли, по-прежнему?) жил с его Кете. Несомненно, Кете коммуниста этого не любила, этот союз был извращением, но он продолжал держать ее узами совести и морали.

Посыльный, что пришел на его зов, удивился, что его отправляют в другой штаб, тем более не со служебными документами. Он вручил тому запакованный пакет с дневником и письмом и велел поскорее довести его до заместителя (какого-то генерала) Гарденберга. В письме он изложил просьбу: в интересах «важного расследования» перевести дневниковые записи до обеда пятницы. Рассчитывать, что Дитер войдет в положение и переведет дневник в срок, он боялся, но зато можно было оправдываться перед другими: они не отправляют задержанного на суд выше, поскольку недостаточно доказательств против него (полнейшая чушь, но не все ли равно, если требуется оттянуть срок?).

*Этого* задержали наступающие части. Со слов офицера, *этот* отстал от своих, желая заработать материал о противнике. «Неосторожный журналист, возможно, шпион, может знать что-то интересное». Он не сомневался, что *этот* ничего не знает, случайно попал в плен, и если и в состоянии рассказать что-то, то, с большей вероятностью, это будут истории о плохом снабжении противника и стремительном от-

ступлении. Поскольку *этот* был штатским, его отправили не к военным, а по политически-криминальной линии, как штатских, что угрожают оккупантам. Насилие к нему не применяли.

– Он может быть известным журналистом, – заявил Альберт. – И вообще не стоит угрожать представителям прессы.

Это распоряжение хоть и сочли несколько странным, к задержанному после этого относились сдержанно-омерзительно. Пятница была крайним сроком по решению – либо отправлять *этого* в высший орган, чтобы там уже определяли наказание, либо наказать его в полевых условиях, и здесь варианта также было два – временный лагерь, если вина не доказана, либо казнь, если вина установлена и преступник угрожает безопасности империи. Поэтому он с раннего утра пятницы ожидал посыльного от Гарденберга с переводом. Не справившись с чувствами, он пошел посмотреть на задержанного; тот сидел в камере, уставившись в стену. Сбоку Альберт вспомнил его лицо – он видел его фотографию у Марии, а позже и дома у Кете. Он поборол желание зайти к нему и сказать что-то ужасное – что он сам виноват, что он бросил Кете одну во время войны, что коммунисты заслуживают смерти, что мужья Кете, кем бы они ни были, в принципе заслуживают смерти и пусть не жалуется, что их...

Но это убийство. Так же, как убили Мисмис – за то, что она была «плохой женой» и посмела уйти. Значит, я стану как Германн? Я повешу своего врага... не за поступок, а за

личную неприязнь? Война и партия – две страшные силы.

Как я могу убить его?

Место ненависти занял ужасный стыд. Как бы плох ни был *этот* муж Кете, он не заслужил такой мучительной и унижительной смерти. Он ушел к себе и занялся какой-то чушью, но не мог ни на чем остановиться. Мысли и чувства путались. Митя – так его зовут! Он вспомнил его имя!

За дверью спросили, можно ли войти. От Дитера принесли пакет с оригиналом дневника и несколькими листами перевода. Он подумал, не лучше ли выбросить пакет или уничтожить его, но желание узнать, что же *этот* писал (может быть, о Кете?) было сильнее. Зачем убивать его? Это уже не война. Это убийство.

«...Сложно бывает сконцентрироваться, мысли разбегаются. Что я запомнил из сегодняшнего? Я могу вспомнить гнетущую серость всего, что меня окружало, какие-то вспышки, близость наступающей вражеской армии и глухие раскаты грома за горизонтом, скопление сизо-белой тяжести там же, и вязкость, и прибывавшую с сумерками черноту теней в бункерах, чье-то слабое дыхание, заставлявшее колебаться рыжий свет... Мне запомнились коричневая пыль от марша и чернильные тяжелые облака, будто бы спускавшиеся к нам. От усталости, сонливости я еле шел, давила на плечи моя холщовая сумка, и если я шагал, то машинально, от того, что так было нужно и я не мог отставать от колонны. Я

шел с поднятой головой, но с опущенными глазами, пытаюсь не закрыть их, не лишиться ощущения реальности, дышал очень тяжело – и внезапно различил близ себя влетевшее в колонну багряно-апельсиновое пятно, оказавшееся, как я заметил далее, большим кленовым листом с красными прожилками. Наступать на него я не хотел, но так колонна бы сломалась, и, не имея шанса застыть или замедлить шаг, я позволил ноге скользнуть по его поверхности и сделал это с забившимся сердцем, а когда опять опустил глаза, заметил, что лист прилип к моей подошве и не отстает, скукожившись уже слегка. Попытавшись стряхнуть его, я опять чуть было не нарушил строй, и после шел, не глядя себе под ноги, рыская глазами по облакам, и все же хотел посмотреть на свою ногу и узнать, что же случилось с моим рыжим пятнышком. Лист от чеканного шага, смешавшись с грязью, сделался сначала коричневым, по жилам разорвался, а после съежился до размеров распрямленной детской ладошки, изорванный и неживой, угольно-черной; и на привале, отцепляя его остатки от сапога, я глупо захотел заплакать, что из-за собственной оплошности погубил такую красоту...».

«... Там была девушка, жила у узенькой речки, на которой войска, отступая, удержались, собирались останавливаться там на ночь. Девушка, как узнали быстро, жила с вражеской фамилией и считала себя той, противной ныне, национальности. Мне отлично запомнились эта речка, ее мутная уны-

лость и ее прохлада, и санитары походного медпункта, что стирали в ней использованные бинты, чтобы после пустить их по второму кругу. Ночью, отдалившись от своих, спавших вповалку, я заметил эти бинты, развешенные ржавыми длинными полосами на иве, и ощутил от этого сильный дискомфорт. Тихо сбегая по песчаному берегу, я скоро достиг воды и, смочив руки, стал ими после сновать по лицу и голове, увлажнять волосы. Затем, отвлекшись, я увидел опрокинутый метрах в десяти от меня велосипед, переливавшийся серебряным руль его, а ближе к воде – небольшой, с приставшим к нему песком, башмачок, должно быть, женский, как заметил я издали по его размеру. От оставленного кем-то велосипеда далее, приблизительно метра на три, шла постепенно сужавшаяся светлая полоска, а за нею влагою блестела высокая трава; там слышались мужские голоса. Более любопытствующий, нежели встревоженный, я вслушивался в знакомые речи, пытаюсь догадаться, что происходит, а затем, за жалобным женским голосом, фразой неразличимой, молниеносно все понял и замер, и жутко испугался. Мужские голоса, словно узнав, что в них некто вслушивается, смолкли, стихли и женские причитания после того всхлипа, что бывает, если человеку зажимают рот, и тишина установилась полная. Размышляя в этом же спокойствии, нужно ли что-то сделать, я с жадным интересом ждал и злился от того, что ничего не слышу. Бывало, за зеленым занавесом чувствовалась какая-то возня, но спрятавшиеся за ним молчали, и лишь

колыхание его напоминало, что они остаются там. Но позже он, занавес этот, зашевелился сильнее, и стали слышны болезненные женские стоны и всхлипывания. Затем уже тонкие, смоченные полосы разошлись в разные стороны, и на песок выползло, с вытянувшимися от туловища красными руками, облепленное зеленью существо, абсолютно голое и ужасное в этой кирпично-грязной обнаженности. Загребая руками, пытаясь как-то помочь ногами, оно ползло к воде, показывая испуганному мне свой просверленный болью и стоном рот. Я смотрел на это существо, явно не бывшее человеком, женщиной, настолько оно страшно себя показывало. Отвержение завладело мной и захотелось раздавить эту, словно бы обваренную, мерзость, что попыталась ухватиться за меня, ища утешения и помощи, и от которой я еле отцепился. Наклонив темную голову, не используя рук, она стала пить, захлебываясь водою и стонами, вздрагивая спиною и некрасивыми ногами. Я в страхе попятился: из-за травы показался высокий военный. Он схватил ее за затылок и окунул влажное лицо в воду, стал держать и ее плечи и шею, все ее тело до живота, потому что она начала сопротивляться. Я в ужасе спрятался. Он не позволял ей высунуть голову из реки, пока не понял, что она не шевелится более, а затем, намкнув сам, бессильное тело отдал течению. Потом он ушел. Дрожа с головы до ног, присев после случившегося на берегу, я заметил, что на меня смотрят те – и я испугался их и поспешно ушел. Проснувшись двумя часами позже вместе с остальными

ми, я испугался, решил, что увиденное мною – сон, но после, за обнаружением велосипеда на берегу, осознал, что не спал, а было все в действительности, и не мог уже понять, как со мной могло подобное произойти...».

«...Как страшно, какая страшная война! Все полыхает на горизонте. Я хочу быть наивным, но – верить в Человечество, в лучшее в Человеке. Пусть я прослышу глупцом, но я не хочу верить ученым, которые любят повторять, что мы – животные, а наше устремление в Вечность, к Свободе и Человечности, – фальшь, желание возвыситься над прочими живыми организмами, порождаемое гордостью. Я не хочу быть животным и жить инстинктами. Я устал от повторений этих, что мы творим насилие, как животные, и не способны переосмыслить это, взывая к нравственности, – "инстинкты" нам не позволяют. Принижают человека те, что сами слабы и не хотят жить по-человечески; они успокаивают себя, ссылаясь на животную сущность и на якобы "инстинкты", а проявление самостоятельного мышления у человека воспринимают, как вражескую диверсию, и против чего – против "безусловных законов природы", отменить которые, по их понятиям, нельзя и отказаться от которых, полагаясь лишь на разум, невозможно...».

«...Прошлой ночью страшная мысль пришла мне. Мы на фронте, но не на самом краю. Ливень был ужасный, все за-

бились в бункер, уселись поближе к печке, стали готовиться ко сну. Хлеб от влаги весь заплесневел. Мы сами все мокрые и простывшие. Но о чем я пишу?.. Мысли разбегаются... А, вот, конечно. Ливень и ночь, ужасная эта ночь. Я спал, но позже проснулся и ощутил ту тяжесть, что испытывал, кажется, лишь во сне, – необъяснимую душевную тяжесть. Она потянула меня наружу. Из-за ливня и тьмы ничего нельзя было различить дальше пяти шагов, и молчание было полное, за исключением этого проклятого шума – как разбиваются капли о землю. Это мучение. Я знаю, что есть какие-то другие люди, и якобы они живут за этой темнотой, но как я могу быть уверен в их существовании, если я не вижу, не чувствую их, и существуют они в моем разуме лишь теоретически, потому что я слышал, что они есть, не могут не быть. Но, может статься, нет ничего за этими темными и мокрыми стенами, как нет ничего и никого за стенами ночной квартиры, увиденного и услышанного мною, и что за тем, что я могу почувствовать, только пустота, домысленная мною, мною же населенная другими существами, чтобы не исчезло у меня это пресловутое ощущение реальности, как исчезает оно во сне, стоит тому выйти за установленные пределы и показать свою несостоятельность. Солипсизм. "И сном окружена вся наша маленькая жизнь...". Не рамки ли затянувшегося сна удерживают меня? Что творится в нем, когда я ухожу от него в глубины бессознательного, что показывает мне другие, отвлекающие картинки? Кажется, если что и способно

меня удержать в этой сузившейся из-за моей неспособности ее охватить человеческой реальности, то лишь мои чувства, живость души, – только она одна не может быть подвергнута сомнению. Только и есть, что это скопление человеческих чувств и то немногое, что я способен охватить зрением, слухом; только ослабевшая горсточка людей на крошечном залитом острове... Не могу забыть об убитой девушке. Зачем нужно было поступать жестоко? Не от похоти же, не от садизма это было сделано! Устройство человеческого общества? Не верится, что насильники хотели этого насилия, а убийца – самого убийства. Нет, так принято. Принято выражать ненависть к противнику и ему сочувствующим, это коллективное, не подвергаемое сомнению. Это не политика уже. Принятое – воспитание ли, условности ли, поведение остальных, – оно заставляет действовать "правильно", даже если это противоречит разуму и воле. Не политика, не жесткий режим лишает нас человечности. Если и нужно нынче за что-то бороться, так это за право на милосердие. Мне кажется, что с этого права начинается человечность и наша свобода; его же первым и отнимают, низводя человека на уровень животного или, если угодно, расчетной единицы. У общества может быть право на низость, на разврат, корысть, но во времена, когда требуется быть человеком в высшем значении этого слова, отрицается право на человеческое отношение, гуманное отношение. Система, построенная человеком, разваливается, сталкиваясь с тем, что заставляет нас на-

зывать его Человеком, и тут – не политика, опять же, и не пропаганда, а среда, в которой человек вынужден обитать и которая не оставляет ему возможности в определенный момент проявить благородное, и честное, и лучшее. Большая жизнь...».

«...Отчего не может краткое признание: "Я – человек" – сейчас звучать гордо, как завещал покойный Максим Горький? Не можем мы достойно выговорить звание наше. Через миллионы лет – и стыдно. Как у проворовавшегося звание. Большая жизнь, милая моя Катишь...».

– Вам нужен... переводчик?

– Нет.

*Этом* покачал головой, показывая, что понимает достаточно. Скованные руки он опустил, голову тоже; заметно было, как он устал.

– Я читал ваши записи. Почему вы не вмешались, если знали, что совершается преступление?

*Этом* не понимал и оттого ответил:

– Я ничего не знаю. Я не знаю.

– Вы понимаете, что я спрашиваю?

– Я понимаю.

– Это ваши записи?

– Да.

– Почему вы не вступились за женщину?

– Я... не знаю. Не знаю.

*Этот* не узнавал его. Он не замечал разницы в лицах и голосах противников, сторонников партии, оккупантов. Но если я убью его, это не станет правосудием. Если я казню его, то исключительно по своим мотивам, а правосудие – не более чем прикрытие, способ исполнить желаемое. «Я не хочу верить ученым, которые любят повторять, что мы – животные, а наше устремление в Вечность, к Свободе и Человечности, – фальшь, желание возвыситься над прочими живыми организмами, порождаемое гордостью». Мы созданы прекрасными животными, которые, повинувшись бессознательным порывам, готовы рвать друг друга в клочья. Партия и война лишь показывают нас теми, кто мы есть на самом деле.

*Этого* увели; он понимал, что его ждет смерть, и ждал ее с неприятным для смотрящих смирением. Впервые Альберт составил полевой смертный приговор. Это было легче, чем ему раньше казалось. Убийство, совершенное вот так, несколькими листами и росчерком, было так просто, что и не чувствовалось как преступление. К собственному облегчению, он не казался себе виноватым. Напротив, в глубине его темной сущности шевелилось унижительное удовлетворение. Кто знает, возможно, у него бы хватило моральных сил, чтобы набросить петлю *этому* на шею. «Времена такие, и я как все, как ты, как я так же, как мы все». Поистине нет убийства приятнее, чем убийство самого себя.

Позже он пошел посмотреть, как *этого* вешают. *Этот*

был покорен, понимая, что неминуемо умирает. Убийство врага было приятно. Не так ли, это ли не лучший способ решения? Он пытался отогнать это в глубину разума, но на языке чувствовал – как физически это приятно. Почти торжественно. Жаль, что *этого* убивали бескровно.

– У вас кровь на глазах, – сказал кто-то и протянул ему белоснежный платок.

Когда он ехал к Кете на хорошей партийной машине, он видел из окна множество похожих казней. На кое-как установленных виселицах болтались несвежие тела разных возрастов и форм. Он закрыл окно, чтобы в салон не проникал гнилостный запах. Похоронят ли их? *Этого* закопали без гроба, без таблички, под ветвями старого дерева, вместе с еще двумя десятками погибших и убитых, у многих из которых и имен-то не было, как и прошлого.

Кете ничего не спросила. К счастью, у нее не появилось желания узнать, что случилось с ее мужем, хватило краткой справки от Дитера. Она избавилась от фотографии покойного и поехала в Италию. В полутьме красивой спальни он обнимал ее нежные плечи и талию и шептал ей на ухо, что она в безопасности и может довериться ему. В облегчении Кете расплакалась, впилась ногтями в его шею и зашептала, как долго она его ждала.

– Я очень счастлив с тобой, Кете, любимая.

Он зарывался руками в ее волосы, и она ласково смеялась

в его губы.

– А если я всегда буду... как сейчас? Если я больше никогда не буду выходить сама?

– Мне все равно.

– А если я всегда буду кусать свои щеки?

– Все равно, я люблю тебя. Ты можешь быть любой со мной.

Он размышлял и понял, что, останься она усталой и вечно больной, это бы не изменило его нынешнего чувства. Как никто он понимал, что войну невозможно стереть из памяти и стать прежним, исключив ее последствия. Больше всего он бы хотел, чтобы она много смеялась, стремилась исследовать большой мир, пускалась в сарказм, мечтала об огромной и счастливой их жизни, но, и не в состоянии позаботиться и о собственном благополучии, она не переставала быть Кете, с которой, как оказалось, он желал быть столько лет. И эта Кете хотела валяться в постели и ничего не делать, отдыхать наедине с ним, не встречать посторонних, быть только с ним – и все сильнее он проникался чувством, что, кроме нее, ни в чем не нуждается. Кете, как самое светлое пятно в его жизни, постепенно становилась для него абсолютно всем.

Когда деньги у них закончились, им пришлось поехать в столицу. За ним сохранилось место в уголовной полиции. После отставки на фронте получилось договориться, что с год минимум от него не станут требовать «военных достижений». У него кратко спросили, с кем он живет и не соби-

рается ли жениться, на что он спокойно ответил, что состоит в отношениях с не самой безукоризненной, по мнению партии, женщиной, но она мотивирует его работать много и хорошо – и, как ни странно, этого оказалось достаточно, чтобы его оставили в покое. Кете на правах хозяйки поселилась с ним. К ней рвались знакомые и Мария (временно она жила вне столицы), но Кете всякий раз, как он спрашивал ее, отказывалась от любых попыток свести ее с близкими и старыми друзьями.

Что делает она целыми днями, не выходя из дома, он не знал. Порой он заставлял ее за чтением или рисованием, иногда она слушала музыку и сидела на балконе, рассматривая прохожих внизу. Услышав дверной хлопок, она бросалась ему навстречу и через секунду оказывалась у него на шее. От нее пахло новыми заграничными духами, которые она, в отличие от других женщин, не берегла на торжественные случаи, и надевала она выходные платья и костюмы, должно быть, чтобы быть всегда соблазнительной в его глазах. Готовила она нечасто. Поэтому за пару месяцев он привык заходить в кафе внизу и брать для них ужин. Обычно они садились за столик у окна и поедали то небольшое, что можно было получить нынче по карточкам. Раз или два он доставал для нее на черном рынке мармелад; они ели его в постели, пачкая им белье. Зная, что она расстроится, он не предлагал ей выйти с ним на улицу, но, чтобы она не теряла связи с реальностью, приносил ей письма от знакомых, газеты и новые

книги и музыкальные пластинки.

– Ты не позвонишь Марии? Нет?

– Нет, – ответила она и затянулась сигаретой.

Но однажды он возвратился после работы и не застал ее дома. Несколько раз он прошелся по комнатам в поисках объяснения, но ни Кете, ни записки не обнаружил. Одежда, новая и старая, висела в шкафу. На столе стояла недопитая чашка с чаем. Получалось так, что Кете сама вышла – сама взяла и вышла! Он прождал ее час, потом еще час, доедая свою порцию ужина, затем позвонил Марии, а та спокойно, словно ничего необычного не произошло, доложила, что ее сестра поехала куда-то с ее мужем Дитером по «личным делам» и вернутся они ближе к утру.

Он не спал всю ночь. Кете появилась около пяти часов утра, и застал он ее в непонятной ситуации – она снимала ботинки, которые он недавно купил ей, совершенно новые ботинки, что были ужасно измазаны грязью. Почувствовав, что на нее смотрят, она быстро распрямилась и испуганно замерла, заметив его в дверях гостиной.

– Почему ты ничего мне не сказала?

Она отступила на шаг, словно испугавшись его.

– В чем дело? Кете?.. Ты в порядке? Тебя никто не обидел?

Она повела плечами и осторожно ответила:

– Кто? Зачем?.. Я ездила вместе с Дитером и Альбрехтом.

Они бы меня защитили.

– Ты могла бы дождаться меня, чтобы... Хорошо, раздевайся. Ты замерзла, я вижу. Я заварю тебе чай.

Беззащитная, она застыла у двери, опустив голову и вздрагивая всем телом.

– Кете, Катерль, что случилось? Что с тобой?

Она позволила обнять ее.

– Я... очень испугалась... я хотела... узнать, что с моим мужем... поэтому я... попросила их помочь мне... я не хотела ранить тебя...

– Кете, Кете? Ты не можешь ранить меня таким. Кете... зачем? Зачем?

– Меня беспокоит... что я так легко его забыла. В смысле... что я даже не узнала, что с ним произошло.

– Я понимаю, Кете, я очень хорошо тебя понимаю.

– Ты злишься?

– Нет, нет, это твое право, ты так чувствуешь... Как я могу злиться? Ты единственное, зачем стоит жить. Мне больше ничего не нужно, только ты.

Искренне она льнула к нему и повторяла сбивчиво, как она счастлива возвратиться домой. «Не отпускай меня, Альберт, не отпускай меня ни за что, я очень хочу быть с тобой, очень хочу, чтобы мы прожили долгую и замечательную жизнь...».

Позже он спросил кузена Альбрехта, как было на «могилах» Мити, что они показали Кете. И Альбрехт ответил, что у «его Кете» была истерика, она плакала, билась о землю и

ужасно кричала.

«Дитер решил обо мне позаботиться. Несколько раз в неделю он появляется у меня, рассказывает о Марии и делится новостями: как они обустраивают новый дом, какую хотят купить машину вместо старой, какую хотят собаку завести, якобы уникальную породу. Я не спрашиваю ничего, а он все же рассказывает, словно в желании меня впечатлить или увлечь. Не добившись ничего, он как-то спросил, не хочу ли я прокатиться с ним до кафе. Я не хочу, мне... не по себе. Мы отправимся на машине. Поразмыслив, он добавил: "Ты не можешь всю жизнь прожить взаперти, Катя". В тот раз я отказалась, но потом он спрашивал, не собралась ли я поехать с ним выпить кофе. Не знаю, с чего я согласилась. Оттого, что мне тяжело? Или, быть может, мне захотелось посмотреть на знакомую столицу? Или я устала, что на меня все смотрят, как на больную?..

Он крепко держал меня, чтобы я не убежала обратно. Я закрыла глаза и так, цепляясь за его руку, смогла дойти до машины. Дитер сел за руль и спросил, хочу ли я сразу поехать в кафе или, возможно, я хочу прокатиться – как хорошо он меня понимает! "Прокати меня, пожалуйста" – ответила я. Он повез меня по центральным улицам, и я узнавала и не узнавала их. Сложно описать, как место становится твоим, а после кажется тебе чужим и опасным. Вон там я покупала лучшие пирожные в моей жизни. А там я училась

– только свернуть налево, в переулок, и пройти 150 метров. Тетя Карла все так же продает цветы близ мясного магазина, но платье на ней другое, в цветах национального флага. Всюду партийная символика, и на бульваре уничтожили деревья, чтобы на их месте проявилась величественность имперской архитектуры. Нынче Альберт носит на пиджаке национальную ленту и партийный значок. Зная, что мне не нравится, он снимает их в подъезде и кладет в карман, чтобы я не видела их на его одежде, но я однажды нашла их, проверяя пиджак перед стиркой. На штатском Дитера ничего нет. Я спросила, как у него получилось перевестись обратно в столичный штаб, и он ответил: "За деньги можно купить очень многое". Что разрабатывают в его огромном штабе на Б.? Наверняка он использует свой фронтовой опыт, чтобы помогать составлять новые и новые планы наступлений. Я не решилась об этом спросить. "Альберту нормально в уголовной полиции?" – спросил он, поглядывая в зеркало, на меня. Нормально. Вернее, он не говорит со мной о своей работе. "Это логично, я тоже с Марией не говорю о своей работе". Поняв, как плохо звучат его слова, Дитер поправил себя: "Думаю, он прав, оберегая тебя. Я слышал, он занимается бытовыми убийствами". А, понятно. Он рассказывал? А, он рассказывал, что женщина убила своего сына, ее комната до потолка была заляпана кровью... Извини. Зачем она его убила? Не знаю, об этом Альберт не рассказывал.

Машина остановилась близ знакомого места. "Луна и

день" – и Дитер заказал нам вафли, политые клубничным джемом. Мне было 16, и мы с Альбертом ели эти вафли, а Мария говорила, что стоят они безбожно и она, если мы попросим, приготовит ничуть не хуже. "Мария нынче готовит, печет что-то?" – спросила я. Он не понял; затем улыбнулся и ответил: "Нет, зачем? Мари больше ничего не готовит, у нас есть прислуга". Почему? Не хочет портить руки, или ей скучно. Она занимается музыкой и пробует рисовать. Я уверен, она захочет нарисовать и тебя – пожалуйста, не сопротивляйся. За столом слева смеялись юноша и девушка немного моложе меня. Справа пожилой человек пил кофе с ликером и решал кроссворд. Я не смогла съесть вафли – я заплакала. Наверное, на меня уставились остальные, но мне было наплевать. Не знаю даже, с чего я заплакала. Все было хорошо, все возвратилось – я же мечтала прийти опять в "Луну и день" и съесть мои любимые вафли с клубничным джемом. Почему же я не могу их есть?!

В машине Дитер сел не за руль, а близ меня и обнял меня за плечи. Я всхлипывала, позволяя ему придерживать меня. "Я понимаю, что ты чувствуешь, – сказал он. – Ты вправе считать, что я не способен понять тебя – я не обижаюсь. Но мне больно от того, что... творится с тобой". Ты, ты, ты чуть не убил меня! Ты мог убить меня! Я усилием воли остановила себя: но он же не хотел, он не виноват, что его призвали и заставили стрелять в мой дом. Дитер служит много лет, и явно не за тем он пошел в армию, чтобы разрушать дома в

чужой стране. А если он считает это необходимостью? "Нет, я не считаю это оправданным, – как прочитав мои мысли, сказал он. – Я читаю заграничные газеты. Я знаю, что нам не угрожали, я знаю, что мы устроили это и виноваты". Так зачем ты в этом участвуешь? Он молчал, то ли не желая отвечать, то ли не зная. Ты ненавидишь нас? Империю, партию? Нет, я ненавижу то, как легко считать себя сильным и убивать тех, кто слабее, аргументируя это политической необходимостью. Я отстранилась от него. "Мне жаль, что я ничего не могу изменить" – сказал Дитер и пересел за руль.

...Добавляю. Мы встретились с Альбрехтом – и кажется, он несколько не изменился с нашей встречи. Отчего я не боюсь его? Как я устала – возможно, я злюсь на жизнь, партию или что-то такое, но Альбрехт не злит меня и даже не пугает. Оттого ли, что я знаю, что мне ничего не угрожает? Альбрехт ни за что не обидит меня. Как ни странно, он хорошо относится ко мне, пошутил, что я сошлась с его кузеном. Альбрехт заметил, что навестит меня: скоро у него командировка в столицу, и он бы пригласил меня с Альбертом в "интересный клуб". "Я бы сходила, но без Альберта" – сказала я – зачем, почему? Почему я не хочу?.. Альбрехт, если и не понял меня, согласился, что сохранит наш "страшный секрет" в тайне от кузена. Дитер стоял поодаль и курил, уставившись на дым и трубу. "Не тяжело жить, с таким воздухом?" – небрежно спросил он у Альбрехта. Тот ответил, что вечерами бывает тяжело, особенно если долго нет дождя.

В машине, без Альбрехта, он спросил о моем самочувствии. Я смотрела в окно – на поле и деревья вдаль. Неплохо, не так страшно, как в городе. Ты его не боишься? А я должна его бояться? Внимательно он смотрел на меня и долго молчал. Он меня не понимает – но понимаю ли я себя сама? Тебе безразлично, чем занимается Альбрехт? Я уловила в его голосе непонимание и боль: словно я его обижаю, обвиняю в соучастии войне, а с Альбрехтом готова пить за компанию, хотя он намного хуже и опаснее... "А тебе не все равно, с кем я?" – резко ответила я. Нет, пожалуйста, как хочешь! Но я... местами я... Меня не понимаешь? Он мрачно замолчал. Ничего не понимаю.

...А он хорошо меня понимает, наверное. Я сижу часами, ничем не занимаясь. Почти все время я в постели или в кресле у закрытого окна. Он не спрашивает, что из нового меня тревожит (и я не хочу писать об этом), но в его напряжении я замечаю узнавание. Он не навязывается. Никто не заботился обо мне так спокойно и не требуя ничего взамен. Что же я чувствую? Утром он встает и, целуя меня, убегает на работу, а я несколько часов лежу с закрытыми глазами, не засыпая, но и не желая вставать. Мыслей у меня никаких. Мне нравится лежать без сна и без мыслей. Он считает, что я очень устала – но устала ли я? Устала?! Временами у меня появляются силы и мысли – и что, как справиться с этим? Мне внезапно хочется собрать вещи и уйти – нет, не к Марии, я не знаю, уйти, просто уйти, бросить его, закончить это, больше

не смотреть на него, ни за что, я не могу, я не хочу этого, я должна уйти, я должна выбраться! Сейчас соберу вещи, он оставляет мне ключи, чтобы я встречала Дитера, я могу уйти в любой момент, он слишком доверяет мне! Но деньги? Я не возьму у него ничего!

...Я собралась. Знаю, я справилась бы с собой и вышла, страх выйти так же силен, как страх остаться. Почему я снова осталась? Я заплакала в прихожей. Мне было так плохо! Мне захотелось умереть. Я не могу с ним больше оставаться. При чем тут Митя? Я не могу простить. Эта сила, сила насилия, она заставляет нас убивать, она сжирает нас. Животное, узнавшее вкус человеческой плоти, – его нужно убить, оно помнит вкус нашего мяса, оно с наслаждением вспоминает, как кромсало плоть и как хочется повторить... Он пришел. Я спрятала саквояж в шкаф и надела выходное платье. Он принес мне кусочек торта, который ели нынче на его работе, и спросил, не хочу ли я встретиться с Марией. "Она звонила, спрашивала, может ли заехать... ее обижает, что ты общаешься с Дитером, но не с ней". А что мне сказать ей? Что Катя несчастна? "Хорошо, пусть приезжает" – ответила я. Он что-то съел и сел писать по работе. У него мягкие волосы. Зачем мне убегать, к чему, почему? Я хочу остаться с ним. Я люблю его и хочу жить с ним. Знакомый запах, знакомые глаза, как хочется обнимать его, и чтобы он впивался ногтями в мою кожу. Пожалуйста, помоги мне. Я ничего не понимаю о себе. Я не знаю, что со мной, я брожу в темноте, я хо-

чу выйти, пожалуйста, выпусти меня! Обожаю, как нежно он трогает меня, обожаю, как он берет мои волосы, мое лицо, мои руки, живот, ноги. Я сплю, прижавшись к нему, и слушаю сквозь сон его тихое дыхание. Как тепло и хорошо. Я в безопасности. Никто не посмеет тронуть меня. Никто. Они – мои близкие. Мои старые приятели. Альбрехт ни за что не причинит мне боль. Никто из них. Как они все ласковы со мной, я забываю себя, ничего не было, я не уезжала, не было войны, мне снились разные ужасы, пока не пришел Альберт и не разбудил меня.

...Пришла Мария. Она тут же обняла меня, и я почувствовала, что она пахнет очень тонкими, нежными духами. Я так скучала по тебе, Катя! Я так боялась за тебя! Она не спрашивала, почему я избегала встреч с ней. С собой у нее были новый костюм, красное пышное платье и черные туфли на каблуках. "Опять начали носить пышные платья, – заявила она, – историзм в самом разгаре. Это платье привезли из Англии". Она осеклась и покраснела. "Прости, Катя. Меньше всего я хочу напоминать тебе...". Разве в империи можно носить заграничные платья? Это не патриотично. "Это все чушь, – сказала Мария. – На словах много что нельзя, мне и краситься ярко нельзя, если на словах, и рожать нужно десять детей, и вязать вещи для фронта... Но в действительности всем наплевать!". Конечно, если у тебя столько денег, то можно не беспокоиться, что о тебе скажут партийные. Мне не нужно вечернее платье, я не выезжаю. "Вот как? А я при-

ехала пригласить тебя на фестиваль... Помнишь, мы как-то ездили смотреть на самолеты? Это вон там. На поезде можно доехать". Мне пришлось повторить, что я не выезжаю. Она не отставала: "Но я хочу пригласить тебя к нам, наконец-то мы лучшим образом украсили загородный дом. Места невероятные, Катя! Ты обязана приехать!". Мне было неуютно. Я держалась, чтобы не оскорбить ее. Но как же она меня не понимает! Она была уверена, что я начну пищать от восторга, увидев заграничное платье за много тысяч. Она думала, я немедленно померю его, надену туфли, напшикаюсь духами и буду красоваться перед ней – ведь она бы так сделала! Мария! Я внимательнее посмотрела – и ясно же, она боится, что я заговорю о войне! Она не хочет говорить о войне. Мари хочется смеяться, болтать о костюмах и косметике, обсуждать фейерверки на фестивале – не говори о войне, о смерти, не надо про лагерь! Историзм. Заграничные ленты, которые после начала войны... нет, нет, отечественное кино лучше! Итальянское кино – вот, на что стоит равняться. Голливуд мы не любим! Их кино нам не нужно! А эти духи год назад мне привезли из города, который нынче обстреливают наши солдаты. Не надо про войну. Не сходи с ума, войны нет, разве ты слышишь выстрелы? Война далеко, она на экранах, в газетах, хочешь выпьем кофе, из Аргентины привезли оригинальные сиропы! Я знаю, как Альберт любит кофе, вот я и принесла ему попробовать... этот с экзотическим фруктом, не вспомню, как он называется. "И горе мне, если впал я в

безмолвие или уставился на лик луны". Фейерверки и много сувениров. И много музыки, невероятно красивой музыки, Катя! И скачки! Соревнования! И кино, покажут заграничную ленту... наших союзников, разумеется. Мария обняла меня и спросила, что я попрошу взамен. "Что хочешь проси, но я хочу, чтобы ты навестила нас с Дитером". Я сказала: "Если ты пригласишь всех... наших... Альбрехта, Аппеля, Софи...". Она возразила: "Только не Софи! Ни за что! Петер Кроль не отпустит ее, нужно приглашать и его! Ни за что! Ни я, ни Дитер не хотим". Но я хочу встретиться с Софи. Зачем? А что она может сказать обо мне? Мария обняла меня и сказала: "Софи говорила, что вы с Альбертом – счастливая пара. И я очень счастлива за вас. Ты же тоже счастлива?". Она не понимает, зачем мне Аппель и Альбрехт. Понимаю ли я сама? Не знаю. Я чувствую, что должна с ними встретиться. Ты пригласишь их всех? Иначе я не поеду. Нехотя она ответила, что спросит согласия Дитера. Я не боюсь их – это ужасно. Они по-прежнему – мои хорошие знакомые. Я никого из них не боюсь. Митя был прав: я часть них, хотя и не понимаю, какая и как так получилось. Любой чужак испугается их присутствия. Дитер сказал: "Не зря Альбрехту боятся смотреть в глаза". Боюсь ли я смотреть в его глаза?

...Альберт против фестиваля, с его слов "хороших впечатлений" там меньше, чем "плохих". Оттого, что он против, я заявила, что хочу на фестиваль. Впервые он вспылил: "Я не понимаю, чего ты хочешь! Ты хочешь, чтобы тебе было

плохо? И заставишь меня в этом участвовать?". Я бы могла поехать с Дитером и Марией, у них есть машина, и можно их попросить... Кете, если ты объяснишь свои мотивы, я попытаюсь понять тебя. Я заплакала. Я не знаю, я не знаю, я не знаю! Я ничего не понимаю! Я не знаю, что чувствовать. Страстью к тебе я пытаюсь выдавить страшные мысли. Я не выживу, если мне не в чем будет забыться. Когда находит плохое и мутится в голове, я хватаюсь за тебя, сжимай меня сильнее, чтобы было больно и хотелось еще, только не это, не это, пожалуйста! Митя сказал бы, что я чокнулась на сексе. Наверное, Альберт тоже немного не в себе. Пожалуйста, не отпускай меня, мне плохо без тебя.

...Мне уже не так страшно. Я смогла сама спуститься к Альбрехту и сесть в его автомобиль. Мы поехали в клуб. Хорошо, что с нами не было Альберта – это бы меня сковывало. В клубе играет заграничная музыка и пьют заграничный алкоголь. Мы сели, и я смотрела в его глаза – как эти глаза похожи на глаза Альберта! Альбрехт мило шутил и делал комплименты моему "итальянскому" облику. Вам понравилось в Италии, Кете? Я смогла наврать, что много гуляла и посмотрела (какие?) музеи. С Альбрехтом легко и спокойно, он источает дружескую симпатию. Что потом скажет Альбрехт? Что его заставили? Что мы не так его поняли? Труба и дым, на которые смотрит Дитер, закуривая американскую сигарету. Кто эти люди? Почему они смеются? Спрашивая, не желаю ли я потанцевать, Альбрехт лукаво мне подмигива-

ет. Он вежливо обнимает меня за талию и слегка приближает к себе. Он пахнет чистотой, хорошим парфюмом и дорогим костюмом. Запах печей. Почему они смеются? Мы ничего не знали. Играет музыка из прошлой жизни, и, кажется, я слышала ее на фестивалях из прошлого. Это мой дом. От Альбрехта пахло безупречностью и нежностью. Я не сошла с ума! Близ нашего стола стояла женщина – она спрашивала Альбрехта. "Я хотела сказать спасибо, что посоветовали мне П. Он смог меня выслушать. Теперь эта девка получит наказание". Позже Альбрехт объяснил: та написала на свою ученицу, которая распространяла по школе антивоенные и антипартийные материалы. Они смеются надо мной! Хватит!

А. Как обстоят ваши дела на работе?

Она. Вы знаете, я пожалуюсь на любого, кто посмеет обо мне сказать плохое слово. За спиной болтают... но что с того?

А. Вы – очень мужественная женщина.

Она. Прекрасный комплимент, спасибо. Мать Л. тоже имеет грешки. Л. наверняка считает меня "доносчиком". Ха, я горжусь тем, что я сделала. Позор – видеть преступление и пройти мимо. Как бы вы поступили на моем месте?

А. Не знаю. В любом случае вы честно послужили Империи.

Она. Именно. Отвратительно, что такие личности оплевывают наших мальчиков. Они защищают нас, а вы? Не нравится вам наша страна – уезжайте! Но оплевывать наших ге-

роев – это подлость. Я сама пацифистка и...

А. Вы? Правда?

Она. Да. Любой нормальный человек против войны. Другое дело, что нам не оставили выбора, нужно было действовать на опережение. Мы обороняемся, и оскорблять нас за это... Она писала в своих листках дезинформацию: якобы наши военные специально стреляют по жилым кварталам, чтобы убить больше людей, что якобы наши мальчишки насилюют тех девок зачем-то, как будто им мало нормальных женщин. Да я ни за что в это не поверю! Нас выставляют монстрами. Сколько можно? У меня брат воюет. Никогда наши мальчишки не пойдут на такое. Очень жаль, что гибнет мирное население, но обвинять в этом нас?..

Меня затошнило. Я сказала, что должна выйти. Зачем-то Альбрехт пошел со мной на улицу, и когда меня стошнило, помог мне вытереться и выпрямиться. "Да, жизнь очень жестока" – спокойно сказал он. Зачем? Я бы убила его, но он позаботился обо мне. Что же со мной творится?

...Почему мне снится этот сон? Я проснулась в ужасе и поняла, что плачу. Альберт спросил, что со мной случилось. Я плакала и не могла объяснить. Я словно бы, как раньше, работала фотожурналистом. Я и мои коллеги, мы приехали в незнакомое место, и словно бы мы пришли во время войны в место, из которого отступила вражеская армия. Нас обстреливают, и мы не можем долго оставаться в нем. Зачем мы здесь? Мне говорят: чтобы засвидетельствовать преступле-

ния оккупанта. Я не помню, что вижу: может быть, какое-то поле, лес или что-то похожее, я не запомнила их, не запомнила своих коллег, разве что Митя... Но после мы сворачиваем направо – и я вижу много земли, много тел и много земли. Приехавшие вместе с нами рабочие откапывают их. А мы приехали задокументировать, как эти тела извлекают из земли, чтобы все знали, что сделали с ними наши враги. Мне становится плохо. Странно, но во сне я не плачу. Мне плохо внутри, но я не показываю, как мне страшно и мерзко. Эти тела в земле – и во сне мне кажется, что хуже со мной ничего не было и мне нужно написать об этом в своем дневнике. А потом нас обстреливают – и мы отступаем, сжигая деревянную церковь. А потом нас увозят на корабле, и я, и я – я просыпаюсь. Альберт спросил, что за сон мне приснился, и я не сумела ответить ему. Он не настаивал, баюкал меня и рассказывал, что я в безопасности. Но толку-то с его безопасности».

– Кете, Кете?

Странно, как через силу, она улыбнулась на его ласковый оклик. Затем сжала его запястье и прошептала:

– Все хорошо, я готова.

Из сумрака автомобиля они вышли в ослепительно яркий день; он оглянулся на Кете и заметил, как она напряглась, должно быть, растерявшись от узнавания. Она вспомнила, что была в этом месте – и как изменилось оно за минувшее

десятилетие.

– Кете?..

Мария с мужем прошли чуть дальше, к палаткам с разноцветными крышами, в которых торговали свежими пирожками и засахаренными яблоками. Кете боязливо смотрела в их спины, почесывая левую руку; потом она сошла с места и приблизилась к Альберту, и позволила поправить воротник ее красного английского платья.

– Тебе нехорошо, Кете?

Она помотала головой и сильно сжала губы.

– Мы можем вернуться... Пожалуйста, не кусай себя.

К его облегчению она сглотнула и разжала губы. Желая внушить ей чувство уверенности, он взял ее локоть и повел за собой. Новая весенняя трава приятно поскрипывала от движения – Кете упрямо слушала эти звуки, в ее открывшихся губах он читал: «Как хорошо, как хорошо, эта трава...».

Жуя пирожок с мясом, Мария крикнула им, что собирается слушать известную певицу, из тех, что поет романтические баллады под классическое фортепиано. Слева, в ста метрах, расположилась новая сцена, и ее как раз оккупировала трагически-красивая женщина в патриотическом кружевном платье. Наклонившись, он спросил Кете, хочет ли она есть.

– Нет... А тут есть самолеты?

– Нет, все самолеты на фронте.

Зачем мы приехали, Кете? Чтобы смотреть в незнакомые

лица? Чтобы ты прошла по траве? Чтобы послушать случайные песни? Она спрашивала, есть ли тут тир, как раньше.

– Тут есть лимонад. Тот же, что и раньше. Хочешь, я куплю тебе лимонад?

От близости незнакомых ему было не по себе: Кете больно держалась за его руку и смотрела упрямо на свои пальцы, и передвигаться с ней в разукрашенной толпе, что сновала между киосками, было проблематично. Кете шла за ним, как собака, стараясь поверить, что хозяин знает дорогу. Он сдержался, чтобы не сказать в ответ на ее страх: зачем мы приехали, Кете?

Как и десять лет назад, он купил ей лимонада. Кете начала пить через трубочку, держа стакан одной рукой, а второй по-прежнему держась за рукав Альберта.

«Свободен путь для наших легионов,  
Свободен путь для танковых колонн.  
Империя – вот выбор миллионов,  
Она даст хлеб, вернет спокойный сон».

Вместо трагической певицы, что пела о погибшей в море девушке, на сцену вышел кто-то с низким мужским голосом, что явно был создан для исполнения патриотических гимнов. Как не слыша его, Кете упорно пила.

– Кете?.. – Волосы ее были ярче и светлее этого дня.

– Спасибо. Мари говорила, что можно потрогать лошадей.

И снова патриотический гимн сменился лирической песней – на этот раз в ней пелось о юной невесте, что была брошена женихом на растерзание диких волков. Марии слушать это наскучило, оттого они нашли ее близ лошадей, которых готовили к соревнованию. Потрогать их можно было за отдельную плату. Мария крикнула, что все оплатит.

– Это самая быстрая, я поставлю на нее, – заявила она, показывая на серую в яблоках. – Прошлая фаворитка выбыла. Жаль, соревнование очень маленькое, места не так уж и много... У нас тоже есть лошадь. Но она у Дитера. Я хочу себе тоже, но... – Она не закончила.

Неловко улыбнувшись, Мария поправила на сестре платье и прошептала:

– Оно смотрится на тебе невероятно... Знаешь, ты в нем такая красивая!

– Спасибо, ты тоже очень красивая.

– Стало много патриотического материала, – сказал Альберт Марии, рассчитывая, что она почувствует себя виноватой.

Но та не собиралась винить себя за то, что заразила Кете мыслями о фестивале.

– Но остального тоже хватает, – возразила она. – Те же скачки, а вечером устроят самый большой фейерверк, нам сказали, что больше не устраивали... Мне кажется, это замечательно.

«Родина наша, слезы утри,  
Умоются кровью враги-дикари.  
Одна ты моя любовь и услада –  
Наша империя – и наша армада».

Отчего-то Кете отказалась трогать животных и за рукав потянула Альберта к выходу. Он тихо пожаловался на ее крепкую хватку, и, к счастью, она немного расслабила руку и пошла спокойнее, не торопя его.

«Что же вы, недруги, вдруг загрустили?  
Думали, нас навсегда покорили?  
Вы не найдете здесь подхалимажа,  
Смерть вам готовит родина наша».

В закрытой палатке показывали фокусы. С час они провели, смотря, как красивый белоснежный человек извлекает из пиджака голубей, разрезает, а затем оживляет женщин и делает банкноты из книжных листов. Позже к зрителям вывели дрессированных собачек, что эффектно прыгали через кольца и выли по указанию. Взглянув сбоку на черты Кете, можно было все же заметить, что она ничего не понимает; глаза ее упорно смотрели, как причесанное маленькое нечто прыгает через второе маленькое прилизанное нечто, но за этим не было не то что интереса, но и обычного осознания, на что она, собственно, смотрит.

– Хочешь... уйдем? – наклонившись к ней, спросил Альберт.

Она согласилась. Они вышли из палатки, и Кете, не отпуская его руки, спросила:

– Мы можем... пойти в машину Марии?

– Тебе нехорошо, Кете?

– Нет, все нормально. Но я хочу побыть в машине.

Мария и Дитер обнаружили за напряженным соревнованием наездников. Кое-как протиснувшись к ним, Альберт спросил у них ключи от машины, а те были столь увлечены, что расстались с ними без лишних вопросов.

Все это время Кете стояла недалеко от машины, на траве. Она сбросила туфли (их она положила на капот) и мяла голыми ступнями теплую зелень.

– Ты можешь заболеть, – сказал Альберт.

Ничего не ответив, босиком, она прошла с ним к машине и, стоило ему открыть ее, взяла его голову и быстро приблизилась к себе.

– Кете, ты серьезно?

– А что?

– Мы же не... Ну не в машине же твоей сестры!

– А почему нет? Я хочу.

Как заставляя его, она впиалась в него губами и держала очень сильно, пока он не расслабился и не подчинился ей. Все же в этом было что-то неестественное, и в том, как сильно Кете хваталась за его тело, боясь, что он отпустит ее, – в

этом ее порыве была не столько любовь, сколько страх. Потом она лежала на нем (было очень тесно) и впитывала губами его дыхание, но, в отличие от его, ее тело оставалось скованным и несчастным.

– Хочешь, отправимся с тобой в Аргентину? – сквозь легкий сон спросил он.

– А что там?

– Очень много зелени и очень тепло, ты сможешь каждый день ходить по траве, если захочешь.

– Там очень красиво?

– Божественно. Помню, я смотрел фильм, и в нем показывали, как хорошо в Аргентине.

– И ты возьмешь меня с собой?

Спрашивала она робко, словно сомневалась в его желании ехать обязательно с ней.

– Я не смог бы поехать без тебя, Кете. Честное слово. А ты – ты бы поехала без меня?

– Нет... ни за что.

В приятном молчании он помог ей поправить платье и надеть туфли, и они вышли наружу.

– Очень жалко, что нет самолетов, – прошептала она.

Темнело, загорались оранжевые фонарики на палатках, включились «светлячки» по краям сцены.

«Мы вместе все вперед идем уверенно.

Врагам не верь, пощады не проси!

Единая великая Империя –  
Мы верные сторонники твои».

– Я сказала Марии, чтобы она пригласила Альбрехта, Ап-  
пеля и Софи... иначе я не хочу.

– Ты хочешь встретиться с ними? – серьезно спросил он.

– Мне сложно сказать, но... Наверное, мне это нужно.

Внезапно, как осознав себя, она отпустила его руку и по-  
шла в толпу, что встречала нового исполнителя. Жест ее был  
настолько невероятен, что Альберт на полминуты потерял-  
ся, а стоило ему понять, что Кете действительно ушла, как  
он ее потерял – Кете вошла, растворилась в чужих спинах,  
и он не знал, как найти ее в этом человеческом тесте. Бело-  
курый человек, маленькая копия Петера Кроля, появился на  
возвышении – и он узнал стихи все того же Петера, написан-  
ные после сентября.

«Мы – это буйство имперской крови

И мое пожелание

Мы...».

– Кете?

Его не слышали. Он осторожно шел, стараясь не наткаться  
на чьи-то обезличенные тела. Близ человека появился вто-  
рой человек, что нес первому небольшую жестяную коробку.  
Остальные смеялись и пели, заглушая бессмысленное «Кете,

Кете, Кете...». Он вытер с век капли крови.

«Это флаги, что реют вдали, это  
Мы – не пред кем не склоняемся и  
Мы храним нашу верность,  
И мы – это истина нами воспета,  
Это мы».

Человек нажал на что-то в протянутой коробке – и фестиваль разорвался от резких, глухих, узнаваемых взрывов. Красные всполохи в темном небе осветили сузившийся до нескольких сотен метров мир. С отражением этого красного, а потом золотого огня он заметил Кете – она стояла у сцены и смотрела на фейерверк.

– Кете! Зачем ты ушла? Ну зачем?

– Всем все равно.

Огонь дрожал в ее глазах, и оттого, возможно, они казались безумнее и страшнее, чем когда бы то ни было.

Мария прошептала ей на ухо: приехал Аппель, как ты и просила, остальные появятся позже, возможно, уже завтра, но ты не расстраивайся. Аппель стоял, потупившись, как в осознании собственной вины. Спасибо, что приехали. С непониманием, зачем она заговорила с ним, Аппель показал глаза и кашлянул. Вы отлично... себя чувствуете? Намного лучше, вы очень любезны. Конечно, хорошо, что вы приеха-

ли, и Альберт тоже. Не слушая его, Мария повела ее в комнаты. Ну как тебе? Мне очень нравится. Дитер уехал утром, его вызвали по работе, но с завтрашнего дня он весь наш. Хочешь, я потом покажу, как мы держим лошадь? Она нужна, во-первых, потому, что Дитер любит кататься верхом. А во-вторых, он ездит в деревню и на станцию, к счастью, там мы тоже нашли хорошего человека, который присматривает за его любимицей. Сюда невозможно добраться на машине, ужасные дороги, хорошо, что есть поезда, вроде бы туристический уголок, летом много туристов, вот увидишь, они приезжают посмотреть на пропасти и мост, но дороги сделать – не судьба. Да, у Аппеля прекрасная внешность, я попрошу его позировать. Должен же быть от него толк! Я учусь рисовать людей. Дитер говорил, что у меня новое увлечение? Я пробую рисовать людей, но пока больше получается природа. Людей ужасно сложно рисовать. Хочешь, я и тебя попробую нарисовать? Не знаю, как получится, а вдруг тебе не понравится? А, вот ваша комната. У вас очень большой дом. Ты о таком и мечтала? Да, очень, Дитер учел мои пожелания. После прошлых хозяев остался беспорядок, дом был безбожно запущен, мы купили его на аукционе, на нем распродавали изъятое имущество. В нем жили евреи? Кажется, так. У них был непонятный мне вкус. Мы сделали ремонт, чтобы в комнатах было уютно и светлее. Раньше было темновато, честно говоря. Хочешь, мы и тебе купим дом? Это может быть дешево, и Дитер согласится, я его знаю, он исполняет

все, что я у него прошу. Мне хорошо у Альберта. Он хочет жениться на тебе? Мы об этом не говорили. Вот как? Он не состоит в партии, полагаю, прямого запрета у него нет. Мы об этом не говорили. Появилась горничная – Мария приказала ей разместить багаж приехавших. Хотите отдохнуть с дороги? Или попросить накормить вас чем-то? Мне все равно, Мари, спасибо. Мария прижалась губами к ее лбу, а затем вышла; как она открыла дверь, стало слышно, что Аппель пытается заговорить с Альбертом, а тот резко его обрывает. Аппель прошел с ним немного, но поняв, что навязывается и его не принимают, развернулся и побежал за Марией. Хочешь прогуляться, Кете? Нет, я полежу. Погуляй, если хочется. Она легла в обуви на застеленную постель и уставилась в красивый потолок. Как ты, очень устала? Хочешь, я останусь с тобой? Нет, я хочу полежать, и я... Я бы прошелся, если я тебе не нужен. Конечно, а я посплю. Он распаковал вещи, чтобы найти новый светлый пиджак – чтобы не было так жарко. Она смотрела на него сбоку. Достань, пожалуйста, мое новое платье, синее, с открытыми плечами. Я, пожалуй, пройду с тобой. Но ты же хотела полежать! Нет, мне лучше пройти с тобой. Я слышала, тут очень... атмосферно.

Ужасно пекло голову но она была в соломенной шляпе ее Альберт тоже достал из ее вещей. Тяжело дыша Альберт обмахивался собственной шляпой. Жарко очень не понимаю туристов которые приезжают нынче. Кете? Тебе не слишком

жарко? Нет тем более я почти в тени. Он не понимал как ей не жарко. Хорошо что плечи у нее были открыты но на руки она надела плотные перчатки что отлично сошли бы на осень но никак не на жаркое лето. Может спрячемся в саду Марии? Нет я бы прогулялась. Они пошли мимо бесконечной солнечной красоты что портилась временами несколькими случайными людьми. Эти люди шли навстречу им или обгоняли их снимались на фоне деревьев размышляли стоит ли рвать цветы и не опасно ли на мосту. Кете хочешь прогуляемся до моста? Можно если тебе не слишком жарко. Какие красивые скалы. Мария говорила что мост раньше был деревянным позже его перестроили. Какие высокие песчаные скалы они ни на что не похожи. Они оказались в тени. Ветка сбила ее шляпу но она не наклонилась за ней. Кете возьми ты не ушиблась? Она не ответила. Она безотрывно смотрела на пропасть. Я хочу немного спуститься. Нет Кете это опасно! Давай пройдемся по «тропе художников» это безопасно мы оба в легких туфлях и... Я хочу спуститься. Кете это опасно. Она стояла близ спуска. Слева и справа скалы и позади них скалы а они стоят на узкой плохо огороженной тропинке. Кажется она хотела перелететь через ограждение но Альберт успел схватить ее за руку. Кете все может посыпаться понимаешь? Любое неосторожное движение... Но я хочу смотреть вниз. Кете дальше мост там можешь смотреть сколько тебе хочешь хорошо? Он не отпускал ее. Нехотя она пошла за ним как привязанная. Высокие опасные заросшие

зеленым песчаные скалы. Они поднимались выше по человеческим ступеням взбираясь выше к маленькому мосту с которого открывался вид на второй мост огромный каменный мост. Кажется мы пошли по сложному маршруту тот мост был бы ближе если мы бы свернули направо. На мосту сильно грело солнце. Альберт надел на нее шляпу чтобы защитить ее голову. Я хочу на большой мост. Хорошо обязательно сходим завтра сегодня будет тяжело. Ты говоришь со мной как с ребенком. Что Кете о чем ты? На площадке появились две туристки в военных пилотках что фотографировали окрестности с восторженными вздохами. Ты говоришь со мной как с глупым ребенком или больной. Это не так! Я не глупа. Вы со мной говорите как с больной. Кете мне очень жаль что тебе показалось что я говорю с тобой не тем тоном но... Как хочешь мне все равно. Кете я тебя не понимаю. Если тебе плохо мы можем уехать хоть сегодня. Дело в Аппеле или в Марии? В чем? Ни в чем. Туристки смеялись позируя на фоне солнечных скал. Отправлю это жениху. Хорошо что в В. нет красивых девушек. А еврейки? Не считается все равно. Ты заметила кто-то живет в еврейском доме? Там был указатель и дом ухоженный в нем кто-то живет. Наверное его выкупили а что? А почему не убрали еврейский указатель? Хочешь пожаловаться? Не знаю. Ах ты завидуешь ты не можешь купить себе дом вот и злишься. Это пока Л. вернется через год ему много заплатят и мы сможем купить дом ничуть не хуже а то и лучше. И точно не еврейский. А ев-

рейские дома говорят неплохие. Ты что! В нем остается еврейский дух. Это плохая энергетика она сводит с ума всех кто не еврей. Я не верю в энергетика. А я верю! Как по-твоему они начали эту войну? Они заразили людей своей энергетикой свели их с ума и те начали угрожать нам. Евреи так стравливают народы чтобы истребить всех кто не еврей. Л. со мной согласен он в В. и говорит что жителей В. отравила еврейская энергетика поэтому они в В. нас ненавидят и хотят истребить и истребили бы под влиянием евреев если бы мы не пресекали там еврейское влияние. Война им выгодна они мечтают истребить нас чужими руками сами они ни на что не способны кроме как заражать. Пойдем домой Кете. Она послушно пошла за ним вниз обратно по искусственным ступеням. Потом стянула с себя шляпу и разом скомкала ее. Кете давай уедем это плохо кончится. Да? А почему? Кете ты на нервах пожалуйста успокойся и мы сможем поговорить пожалуйста Кете. О чем поговорить? О чем тут говорить? Не кричи умоляю нас могут услышать. А если услышат то что? Ты хочешь чтобы у нас были неприятности? А с чего бы им быть? Что может случиться? Хватит Кете зачем ты это делаешь? Зачем? Зачем я это делаю? Я? Я постоянно молчу. Ты доволен? Кете тебе кажется нравится издеваться надо мной да? Со злости она отшвырнула скомканную шляпу.

Мария перебрасывалась неловкими шутками с Аппелем и что-то копала в своем саду О чем она думает смирившись с

присутствием Аппеля Забавно что она своими руками украшает собственный сад а Дитер говорил что она бережет руки и поэтому не готовит Мария вытирает руки о протянутую горничной салфетку Ну наверняка мне скажут в конце сезона что я ужасный садовник и мне нужно рисовать и играть на пианино не женское дело копать в земле не так ли Она захлопнула окно чтобы не слышать что говорит Мария Кете пожалуйста поговори со мной Она оглянулась на его голос Альберт внимательно смотрел на нее с постели Помнишь как мы раньше разговаривали Кете Это легче чем тебе кажется Расскажи что случилось Я не могу больше читать твои мысли А зачем тебе слушать меня Любит ли она его Кажется она его ненавидит Впервые близ него ей отчетливо захотелось бить руками кровать разбрасывать рвать бить вещи об стены и вопить чтобы оглушить его чтобы он оглох от ее крика Не понимая что она испытывает он приблизился и обнял ее напряженные плечи Ты злишься на меня Кете пожалуйста ответь мне Я так больше не могу Обними меня Альберт Она ужасно злилась и хотела обратить эту злость во что-то иное потому что терпеть ее было невозможно эта злость расширялась Он бережно обнял ее голову и она прижалась к нему так больно что показалось сейчас у нее лопнет грудь Это Альберт Альберт Не отпускай меня я тоже больше не могу я ничего не понимаю не отпускай меня я так люблю тебя очень люблю Альберт Даже если я сбегу на край света если я попытаюсь забыть прошлое тебя Марию войну В я больше не обрету это

чувство безопасности я всюду буду чувствовать опасность и ужас от возможного столкновения с ней Ты один можешь дать мне безопасность Пусть это иллюзия пусть это чушь как говорит Мария но хотя бы с тобой я не боюсь каждую секунду Мир уничтожается Мир взрывается в нем взрывается все красный фейерверк в котором сгорит этот мир Я боюсь всего я боюсь новых людей я ненавижу новые места я ненавижу знакомые места Даже когда я смотрю на твоего кузена или Дитера или Марию я помню что мир уничтожается каждую секунду я помню что рядом с нами взрываются дома и рассыпаются люди Я могу бояться вас я могу не бояться вас я могу смеяться с Альбрехтом могу говорить с Аппелем и не думать что я на него злюсь но я не смогу стереть до конца ощущение что рядом с нами расплзается растекается взрывается фейерверками этот огромный мир Только когда ты обнимаешь меня я забываю ненадолго об этом Мир стирается но не взрывается Он растворяется его нет но я не вижу его агонии Умоляю не отпускай меня не отпускай не отпускай Я очень устала Всегда держи меня иначе я сойду с ума я схожу с ума если ты не удержишь меня над этой пропастью Я знаю что ты убил Митю Он поднял голову с ее живота кратко взглянул на нее и поцеловал ее шею Аппель рассказал мне что ты убил его И ты поверила ему А разве он солгал мне Нет не солгал Пожалуйста не разжимай руки мне страшно без тебя все горит красным Зачем Зачем ты это сделал Что он сделал тебе Я выполнил свой долг Это был мой долг Он был преступни-

ком в глазах партии Неправда Зачем ты врешь Ты думаешь  
я поверю А почему ты не веришь Твой муж помогал врагам  
партии Что я должен был делать Ты даже не можешь сказать  
мне правду Она оттолкнула его и схватилась за волосы Ис-  
пуганно Альберт схватил ее за плечи и потянул на себя Хо-  
рошо Кете хорошо признаю Я признаю Хорошо я отправил  
его на казнь Я не убивал его сам Честное слово Кете И что  
мне с того Кете я не могу это объяснить Хорошо Кете я его  
убил хорошо я убил Это неправильно И что тебе понрави-  
лось Тебе понравилось смотреть как его убивают Зачем ты  
так Кете А как Ты убийца Ты убил его потому что он был  
моим мужем Нет Кете не поэтому Я не могу объяснить Я не  
знаю Хорошо я захотел его убить Довольна Довольна Кете  
Ты все разрушаешь Кете Ты нас разрушаешь Он оттолкнул  
ее плечи и спустился с постели Она осталась на постели ис-  
пуганной и беззащитной Альберт ходит по комнате в непо-  
нимании что делать дальше а я думаю как Софи была права  
она всегда была права она знала что я не могу жить без него  
я умираю от ужаса я ненавижу этот красный взрывающийся  
мир Пожалуйста я не могу без тебя я умираю Всем наплевать  
здесь Альберт Что На что наплевать О чем ты Всем напле-  
вать что вокруг умирают люди Всем наплевать здесь у лю-  
дей поездки красивый сад английские платья лошади маши-  
ны деньги куча развлечений А там я никому не нужна Я ни-  
кому не нужна Неправда Ты нужна нам мне Марии Дитеру  
А тебе не наплевать Тебе правда интересно через что про-

ходят люди каждый день Кожей она почувствовала насколько он зол Ты знаешь наплевать Ты права Кете В мире всегда кто-то страдает Каждый день в этом проклятом мире умирают люди от голода от войны от страшных болезней которые мы не умеем лечить и что дальше Как я могу это исправить Разве мы в этом виноваты Твоя партия уничтожает тысячи миллионы жизней Но какое тебе дело Альберт Тебе приятнее сидеть тут и спать со мной Какое тебе дело что делает партия твои друзья и ты сам Нет это невозможно Кете С тобой невозможно говорить Я увезу тебя в Ш Это лучше всего А сам ты останешься Да Или ты хочешь всю жизнь напоминать что я сделал Хорошо я поеду в Ш От ужаса в ней что-то умерло Она сжалась в страхе Злость на него ненависть и ужас оттого как уничтожается плавится взрывается Нет нет нет Пожалуйста Я не могу Я не хочу слышать этот фейерверк Закрой мне уши Я слышу его он близко он слишком близко Прости Кете прости Альберт возвратился к ней на постель и потянулся к ее голове Прости меня прости Кете пожалуйста Ты хочешь чтобы я уехала Нет нет Кете Ну что ты Я хочу быть с тобой я не хочу больше быть без тебя Не отпускай меня Альберт пожалуйста Он убил Митю Ты же распробовал как это убивать Теперь ты знаешь как легко это бывает Ты понял какую власть дала тебе партия Ты наш страшный судья И когда ты попробовал как легко добиться своего одним решением ты не остановишься в следующий раз чтобы получить желаемое Однажды убедившись что насилие самый эф-

фактивный способ решения проблемы ты будешь прибегать к нему снова и снова чтобы Пожалуйста не отпускай меня мой разум разрушается когда ты бросаешь меня в красные взрывы

какая огромная пропасть не называл ли аппель ее глубину и какой теплый камень какой он теплый если положить на него голые руки она стоит опустив руки на каменную опору и смотрит как красиво блестит зелень внизу жаль что не успела побывать на противоположном берегу реки кете она оборачивается чтобы рассмотреть голос альберта какой же у него обычный вид и все же он совершенно меня не понимает я поговорил с аппелем я постараюсь сделать так чтобы он не беспокоил тебя ты хочешь остаться или уехать мир разрушается что кете что ты говоришь мир разрушается зачем тебе лопатка мариин а конечно она держит лопатку которую Аппель взял из сада мариин не знаю взяла она мне понравилась хватит смотреть на него это больно невыносимо больно кете пойдем домой мимо к концу моста проходит какая-то женщина альберт боязливо смотрит на незнакомую спину кете пожалуйста пойдем домой он понял мое настроение с запозданием но он улавливает что со мной не смотри на меня замолчи альберт ты соблазняешь меня когда говоришь я не в силах противиться твоему голосу ты делаешь меня своей рабой я не могу сопротивляться так спокойно и тепло в твоих объятиях мир разрушается куда бы я ни пошла я чувствую

как он горит в нашем безумии я обречена всегда быть рабой этой любви не говори со мной умоляю кете пожалуйста она смогла забраться на балюстраду как же высоко как страшно какая бесконечность это ужасно это невозможно кете не нужно не приближайся ко мне не приближайся все хорошо кете пожалуйста давай поговорим кете не говори со мной замолчи я не могу думать когда ты говоришь замолчи как избавиться от этого как забыть это какая ужасная высота кете как я его не услышала альберт успел схватить ее ноги и крепко сжать она пошатнулась но устояла нет кете спокойно я держу тебя сделай что-нибудь что мне сделать кете что мне сделать отпусти я повернусь к тебе поверив мне альберт отпустил мои ноги и отступил на шаг медленно я поворачиваюсь боже как же страшно как страшно как страшно это же смерть у тебя закружится голова кете спускайся пожалуйста не приближайся ко мне хватит со мной говорить кете альберт делает шаг обратно и безбоязненно обнимает ее ноги немного ниже талии из левого глаза у него идет кровь сейчас я намного выше него почему мне спокойно и хорошо даже над пропастью как хорошо и я даже не боюсь умереть когда альберт меня обнимает я не могу умереть если мне страшно какой парадокс кете пойдем домой пойдем домой умоляю все будет хорошо мы уедем я все сделаю что ты захочешь пойдем домой кете я обнимаю его так сильно как могу а вдруг ему больно я сделаю ему больно за что за что за что он не виноват передо мной зачем я издеваюсь над ним я стою у смерти и как спо-

койно и хорошо он держит меня над пропастью так близко почему с ним я перестаю бояться всего даже смерти кете любимая спускайся пойдём домой дома все будет хорошо если он отпустит меня я испугаюсь и спущусь пока ты держишь меня я не боюсь смерти когда ты отпустишь меня я снова буду бояться этого мира и смерти и самой себя отпусти меня мир заалеет когда ты отпустишь меня и я спущусь к тебе смотреть как он догорает только не отпускай меня альберт что мне ни с кем не было так хорошо как с тобой кете не надо кете помоги мне спуститься он ослабляет хватку чтобы я могла спуститься к нему и ведь я крепко держусь за него и не упаду пока так сильно сжимаю его но я разжимаю руки отталкиваю его и отталкиваюсь назад и мир и я уничтожаются

– Альберт... – Она позвала его.

– Что?

– Почему ты не сказал мне? Ты мог все рассказать мне.

– Я не знал, что помню об этом.

Она боялась дышать. В кабинете стояла духота, от которой ломило в висках, в теле, в голове, в руках и ногах. Или виной тому были страх и растерянность?

– Поговори со мной, – прошептала Мария. – Поговори со мной, умоляю.

Опять эта тишина. Что творится в ее голове?

– Как это можно забыть? Как? Это? Можно? Забыть?!

– Я клянусь тебе. Пока ты не спросила, я ничего не... А,

все равно.

– Поговори со мной, Альберт. Давай разговаривать.

– Я помню.

– Что, что помнишь? – повторила она.

– Я вспомнил.

– Нет, нет!

В страхе она упала со стула и закрылась руками. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Пожалуйста, перестаньте! Хватит, остановитесь!

Пистолет громко упал слева от стола и справа от ее головы. Она боялась пошевелиться. Раз, два, три, четыре – все хорошо, тебе нечего бояться – пять, шесть, семь – нет, нет, нет, нет! – восемь, девять... Кровь! Кровь!

Мария больно укусила себя, чтобы не завопить. От зубов остались красные отметины – и как она может замечать такую чушь краем глаза? Нет, нет, нет! По полу, не боясь испачкаться, она поползла к месту мужа и схватилась за повисшую ослабевшую руку. Чтобы снова не завопить, она хваталась за нее зубами, но не помогло.

– Нет, нет, нет! Не бросай меня! Не бросай! Пожалуйста! Умоляю!

Альберт, что ты молчишь? Ну хватит, пожалуйста! Дитер рассказывал, что умереть с первого выстрела в висок не так-то легко, тем более если ты не специалист по части выстрелов в голову. О, Альберт, он рассказывал мне историю оскорбленного офицера, который дважды стрелялся в один и тот

же висок и два раза пуля не пробивала черепную коробку, потом он правда выстрелил себе в сердце, но это ничего не меняет. Не правда ли, история как раз для тебя?.. Альберт, что ты молчишь? Крови немного. Ты не умрешь от потери крови, я тебе гарантирую. Альберт... пожалуйста, поговори со мной, не молчи!

Она вытерла руку о подол юбки и кое-как встала. Смотреть на Альберта было страшно. Мария поборола желание взять пистолет. Комната теряла отчетливость – или глаза ей закрывали плотные слезы? И она опять плачет?

Она привалилась к смутно знакомой стене, не способная двигаться дальше. Она и узнавала это место, свой дом, и все же словно оказалась в гостях, у которых многое неизвестно и на все нужно спрашивать разрешение. Не смотреть на отпечаток крови – собраться с мыслями, найти решение, понять, что делать дальше!

Проснувшись в кресле, она заметила, как тихо, невыносимо тихо стало в многочисленных комнатах. Она и не помнила, как оказалась в гостиной, в кресле, с окровавленными руками, и как смогла заснуть, несмотря на напряжение. За окном ласково разливался дневной свет, шелестела листва. Как хорошо поехать с Дитером на пикник! Скоро Дитер вернется, ах, уже четыре часа, получается, он появится через час, и я скажу, что мы собираемся купаться и обязательно должны взять с собой бутылочки с лимонадом. Возьми их из холодильника, с третьей полки, кажется, горничная не забы-

ла убраться их на этот раз. Нет, Катя остается, она увлечена новым американским романом, в нем ковбой влюблен в божественно красивую местную, а местных страшно притесняют американские колонизаторы. Возьми, мне, пожалуйста, с газом и... Нет, нет, нет, нет!

Она вскочила в испуге. Дитера нет. Кати нет тоже. И Альберта, Альберта – его тоже нет. Никого не осталось! Тут никого больше нет, кроме меня. Мария прислушалась, надеясь услышать хоть что-то, знакомый, пусть даже чужой голос, голос грабителя, который вломился к ним, рассчитывая на богатый улов. Но грабителя не было. Не было никого – кроме нее. Дитера увезли, Катю похоронили, а Альберт – он лежит там, в кабинете, с простреленной головой. Она осталась одна.

Какое безумие! Что же мне делать?

Спала она или бегала по комнатам? Она не понимала, как оказалась в спальне, а потом снова в гостиной. Она осознала себя, оказавшись близ комнаты Альберта. Быть может, ей приснилось – и вот откроется дверь, и Альберт спокойно лежит себе в постели, или читает, или безучастно смотрит в окно? Альберт, Альберт... В комнате никого. Она бросается к его вещам, словно в поиске чего-то, осматривает его рубашки и костюмы, впивается в них ногтями и повторяет, повторяет – пожалуйста, поговори со мной, пожалуйста, поговори! Что-то стукнуло больно по ее ноге – книжка или блокнот, он выпал из какого-то кармана, а она и не заметила бы,

если бы не боль. Это, это, это... это же почерк Кати. Он забрал дневник из комнаты Кати.

Она лежала на полу, обняв дневник руками, сжавшись, словно вот-вот ожидая ударов. В оконном проеме плясала пыль – и как это красиво. Альберт, ты приедешь через час, и мы вместе пойдем гулять, и если захочешь, я испеку тебе твой любимый пирог, для тебя мне не жалко трудов и времени, ты же знаешь. Пожалуйста, возвращайтесь, Мария очень вас любит и ждет, Мария будет любить вас всегда. Но нынче вы отпустите Марию, вы позволите ей уйти? Я обязательно вернусь к вам, честное слово, обмануть в этом вопросе я не смогу. Но Мария еще поживет. Мария еще...

Шла или бежала она в свою комнату? Сил на решительность оставалось немного. Остановись она – и ужас случившегося поглотил бы ее окончательно. В диком чувстве самосохранения она бросала случайные вещи в случайную сумку, лихорадочно пересчитывала деньги, которые дал ей Альбрехт перед отъездом, перерывала постель, безуспешно надеясь найти в ней что-то ценное. Лишь собрав сумку и переодевшись в чистое платье, она заметила, как сильно сжимала все это время ключ от главной двери. Останавливаться было нельзя. Со злостью она отшвырнула ключ в дальний угол, сунула в карман летнего плаща дневник Кати и схватилась за сумку.

Ничего, ты держишься правильно, Мария! Ты не даешь обстоятельствам взять верх над тобой! Я ухожу! С меня хва-

тит! Можете убиваться, сколько хотите! А я хочу жить! Этот дом проклял нас. Я уезжаю и никогда не вернусь. Поубивайте друг друга дома или на войне – мне больше нет до этого дела. Меня ничто не касается, кроме меня. Я уезжаю в Ш. Меня выпустят, я буду жить в Ш., денег хватит, чтобы устроится на первое время. Дитер? Он сам выбрал свою судьбу. Я не могу спасти его, это не в моей власти. Мне жаль. Я буду хранить о тебе светлую память и, возможно, больше никогда не выйду замуж.

Она остановилась, не дойдя до лестницы – дверь в комнату Кати была настежь открыта. Мария помнила, что закрывала ее. Она застыла в ужасе, будто ожидая, что на нее бросится призрак сестры – но в комнате было, как ей казалось, тихо, а в призраков Мария не верила. Сумка выпала из ее руки и с грохотом стукнулась об пол. Катя, Катя вернулась! Но Катя... она же мертва! Открытой двери было достаточно, чтобы остатки решимости вышли из ее разума. Мысли, которые она старательно отгоняла, завладели ей, бились друг об друга, и, не в состоянии справиться с ними, она теряла контроль и над собственным телом.

Ей некуда идти. Ей некуда убежать. Воспоминания будут преследовать ее до могилы. Катя звонко смеется и бросается на ее шею, и спрашивает, любят ли ее по-настоящему или только играют. Катя лежит в гробу, изуродованная после падения, а она плачет и бьется, умоляя Катю не умирать, хотя видно, что Катя мертва, потому что с ее травмами не вы-

живают. Ты взрослая, Мария, ты должна помнить, как хрупко человеческое тело. Наверное, Катя похожа на Альму – неужели это она убила Альму, неужели я столкнула ее, и кто-то смотрел на нее в гробу, как я смотрела на Катю, и кто-то бился от боли, не понимая, как Альма могла умереть, она же так близко, так близко! Я наказана за свое преступление. Я отдала больше, чем взяла. Катя, не умирай! Я помню тебя крошечной, ты, ты, ты не можешь умереть раньше меня. Почти не осознавая себя, она шла к распахнутой двери и повторяла имя сестры. Дитер, Дитер, вернись ко мне, не бросай меня! Она больше никогда его не увидит. Дитер умрет, они заставят его умереть. А Альберт лежит в трех комнатах от комнаты Кати. Никого не осталось. Куда я пойду? Снова бороться за жизнь? Бросать вызов нищете? Опять быть несчастной, униженной беженкой в чужой стране, у которой нет денег, знакомств, которую любой может пнуть и не услышит от других и слова упрека? Сколько же можно? Одна. Совершенно одна.

В окно светило яркое солнце. Напротив окна стоял стул. Над ним болталась петля. Чуть поодаль, слева, стояла Софи и в ожидании смотрела на Марию. Она взглянула в петлю – большой овал солнечного света, – а потом на лицо, на которое ложилась густая тень. Софи подготовилась и ждала ее, а она сильно опаздывала. Она сделала к окну два неуверенных шага и пошатнулась. Если бы я понимала... если бы я ее не послушалась... Бессилие и боль звали ее. Она подошла

ближе и хотела сбросить с плеч плащ, но случайно почувствовала в нем твердое что-то – часть Кати, единственное, что после нее осталось, что можно спрятать и сохранить. Я очень люблю вас – но отпустите меня. Отпустите. Пустите меня. Что же мне делать без них? Она взглянула на Софи – и омерзительное спокойствие той вернуло ей равновесие. Она попятилась.

– Ну нет. Знаешь что... плевала я на твои предсказания. Не дожدهшься, сука. Я ухожу.

Она бежала, боясь оглянуться, на бегу схватила сумку и бежала по лестнице, спотыкаясь и чуть не падая, но чудом раз за разом спасаясь. Дом отпустил ее. С криком облегчения она выскочила наружу и бежала до калитки, боясь остановиться, зная, что единственное сомнение в собственных силах погубит ее. У калитки она вспомнила о лошади Дитера, красивой рыжей лошади, о которой с сутки никто не заботился. Силой воли она подавила желание пойти к ней и освободить, взять с собой – ей некуда забирать лошадь, и прошлое нужно оставить в прошлом, если она не собирается сойти с ума в ближайшее время.

Начинало темнеть. Мария вышла к деревянному указателю, надпись на котором ей перевела Катя: «Входи, путник, тут силы зла не коснутся тебя». Это был путь к дому, который они отняли у других, но так и не смогли подчинить его своей воле. На минуту Мария обняла его.

– Ты теперь сторож тех, кого я любила.

Мимо прошли, ничего не замечая, незнакомые люди. До нее никому не было дела. Но мир как-то жил дальше.

– Береги их, пока я не вернусь, хорошо? Сторожи их очень хорошо. Пообещай мне. Однажды я за ними вернусь.